

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

10

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Украинская старина
Стихотворения
Письма из-за границы
Не вытанцовалось



Г. П.
ДАНИЛЕВСКИЙ

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Украинская старина

Стихотворения

Письма из-за границы

Не вытанцовалось

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

в десяти томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

Том десятый



МОСКВА
«ТЕРРА» - «TERRA»
1995

ББК 84Р1
Д18

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Данилевский Г. П.
Д18 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 10. — М.: ТЕРРА, 1995. — 752 с.
ISBN 5-300-00056-6 (т. 10)
ISBN 5-85255-702-1

В десятый том включен сборник историко-литературных исследований «Украинская старина», цикл стихотворных произведений, путевые очерки «Письма из-за границы», а также повесть «Не вытанцовалось».

Д $\frac{4702010100-090}{А30(03)-95}$ Подписное

ББК 84Р1

ISBN 5-300-00056-6 (т. 10)
ISBN 5-85255-702-1


Украинская
старина

I

ХАРЬКОВСКИЕ НАРОДНЫЕ ШКОЛЫ

(С 1732 по 1865 гг.)

Школы времен Петра I и Анны Иоанновны. — Завещание пращура. — Мандрованные, бродячие, дьяки. — Условие помещика с учителем. — Роммель. — Кантонисты

Слободская Украйна, с 1835 г. Харьковская губерния, населилась в XVII столетии беглыми днепровскими казаками и другими жителями западной Малороссии, в новых колониях искавшими спасения от тогдашних польских смут.

В качестве казацкой колонии Слободская Украйна несла с остальною Малороссией общую судьбу и в отношении первых попыток народного образования.

«За полтораста и более лет назад, — как говорил в XVIII веке Шафонский («Топографическое описание Черниговского наместничества 1786 года», изд. 1851 г.), — будучи Малая Россия под державою польскою, завела у себя в монастырях латинские школы. В сих училищах прежде, кроме латинского и польского языка, да несколько Аристотелевой древней философии, красноречия и богословия, никаких наук не обучали. В позднейшее время стали несколько греческому, еврейскому, немецкому и французскому языкам и новейшей Баумейстеровой философии учить; но все сие учение весьма слабое и недостаточное. Бедное содержание учителей, а оттого и недостаток в хороших учителях и в книгах причиною, что наука и просвещение по сие время в

сем крае весьма в худом и бедном состоянии находится. Должно малороссиянам ту справедливость отдать, что они охотно в науки вступают, так что не только достаточных, но и самые бедные мещанские и казачьи дети с доброй воли в вышеописанные училища идут и мирским подаянием ежедневной пищи, списыванием для собственного и других обучения печатных книг живут и, терпя холод и голод и всю скудость и нужду, охотно и прилежно учатся, и многие из них, как в духовном, так и в светском звании, достойные выходили люди. Лет за сорок назад (именно в 1746 г.), когда малороссияне, кроме самой Малой России, нигде не искали службы, дворянские и самых почтеннейших дети, обучась дома русской грамоте, вступали в латинские школы и, обучась там лет десять и больше латинскому языку, затруднительному и темному стихотворству, красноречию и философии, будучи уже в возмужалых летах, вступали в гражданскую службу канцеляристами, не поставляя то себе нимало за стыд и подлость. Ныне достаточные дворяне содержат учителями иноземцев, — так что уже в малороссийских латинских школах одни почти поповские в другие церковнические дети учатся».

Эти-то польско-латинские школы при монастырях в Малороссии были рассадниками грамотности в тех сельских и приходских школах, которые оказываются во многих деревнях и нынешней Харьковской губернии, в царствование Петра I и еще более при Анне Иоанновне.

Автор «Историко-статистического описания Харьковской епархии», преосвященный Филарет, у которого были под рукой документы местных церковных архивов, говорит (изд. 1852 г., стр. 14—15): «При обозрении церквей мы видим, что в Слободской Украйне при многих церквах — в 1732 г. — были приходские школы. По ставленническим делам видим, что здесь учились почти все те, которые после исправляли должность причетников при церквах, а потом иные поступали и в священники. Понятно, что в этих школах учили немногому — читать и писать. Ставленники, согласно с духовным регламентом, обязывались подпискою выучить

катехизис. Но каковы были священники в приходах? Получив священный сан, более уже не заботились они знать догматов веры, и многие не видали и в руках своих книжки после священия своего. В 1749 г. вменено в обязанность, дабы в каждой протопопии были проповедники для обучения народа истинам веры и благочестия в воскресные и праздничные дни. Но оказалось, что учительных священников, которые могли бы говорить проповеди своего сочинения, было мало; многие из священников были из неучившихся ничему, кроме часослова и псалтири». Священникам поэтому разослали книгу о тайнах, с объяснением их звания и обязанностей. Но в 1752 г. преосвященный Иосаф Горленко нашел в одном из уездов своей епархии 10 таких священников, которые «были до того грубы и нерадивы, что даже не прочли этой книжки», как не читали ничего на свете...

В «Историко-статистическом описании Харьковской епархии» перечисляются народно-церковные школы начала XVIII века в Слободско-Украинской губернии. По переписи 1732 года упоминается: близ Харькова в г. Кураже «при соборе шпиталь, где призреваются нищие, и две школы, из которых в одной три наставника, а в другой один дьячок»; в г. Харькове при Троицком храме, «кроме богадельни, школа с 7-ю наставниками-дьячками»; в 15 верстах от Харькова, в селе Деркачах «школа и шпиталь, богадельня»; в 30 верстах от Харькова «в селе Должике школа, а в селе Рогозянке школа и шпиталь»; в городе Валках «школа и шпиталь»; в селе Новой-Водолаге, в том же 1732 г., показаны две школы, на иждивении тамошних жителей, с 4 наставниками в одной и с одним в другой; в том же селе позднее заведено училище, в котором «священнические дети обучаются латинскому языку до риторического класса, также арифметике, российской грамматике, правописанию и катехизису, по способности». Вот все остальные школы того времени: в селе Водолажке две школы; в г. Ахтырке 1 школа (она же значится и по ахтырским купчим № 911); в городе Сумах 5 школ, из коих при церкви Троицкой школа с 2 учителями

и богадельня для мещан; в селе Нижней-Сыроватке 1 школа, где учителей, т. е. «школярей 7»; в селе Бабрике 1 школа (на 328 душ муж. пола); в селе Стецковке 1 школа и «2 школяри-учителя» (на 1124 души муж. пола); в селе Хотень 1 школа; в селе Кровном 1 школа с 4 дьячками; в Белополье 1 школа с двумя учителями и *братерский* двор при соборе, а при Ильинской церкви еще 1 школа и 2 учителя; в селе Ворожбе (Сумской) 1 школа с 4 наставниками; в делах правления 1754 г. есть просьба Даниила Чепиринцова, который пишет: «1741 г. имел я учительство Лебединского уезда в селе Михайловке, при церковной школе»; в помещичьем имении «подданных подпрапорного Павла Штепенка», в селе Штеповке, упоминается 1 школа с 3 наставниками; в селе Балаклее 1 школа и проч.

В 1732 г. в Слободской Украйне, нынешней Харьковской губернии, было 15 приходских школ, где учителями были дьячки и священники. Следовательно, одна школа приходилась на 3000 человек жителей.

Называя древнюю школу в селе Боромле, пр. Филарет говорит, что при Боромлянском храме соборном, Ахтырского уезда, существует школа с древних времен. Один из уроженцев Боромли, сумской иеродиакон Марк Мушенко, перед посвящением своим в иеромонахи в 1744 г. давал такое показание о себе: «По смерти отца своего остался он 5-ти лет и в 1709 г. пошел в училище, в городе Боромле, церкви Рождества Богородицы в школу, к бывшему в то время дьячку Ивану Ивченку, своею волею». Другой черкашенин (казак из-за Днепра), уроженец села Криничного, монах Сумского монастыря Дорофей, в 1749 г. показывал, что «от роду ему 30 лет; книжному чтению и пению обучен он ахтырского (слободско-украинского) полку села Тростинца дьячком Петром; а по изучении русской грамоты *бывал он при церковных школах дьячком*». Эти два показания очень важны, говорит пр. Филарет: они доказывают, что при церквах значительных черкасских (харьковских) местечек

уже около 1700 года были школы и учителями школ были дьячки. Отселе несомненно, что выражение, так часто встречающееся в делах о посвящении дьяконов и священников черкасских старого времени — «обучен дьячком», означает то же, что «обучен в церковной школе». По справке с документами оказывается, что заведение школ при церквах Слободской Украйны современно самому ее населению и что это учреждение принесено черкассами из-за Днепра, *где уния вынудила рано приняться за книги*, чтоб быть в состоянии бороться с проповедниками унии — иезуитами.

В тех же документах говорится: «Обучен чтению и пению по разным школам дьячками, а по изучении был в маетности (имении) г. полковника в селе Жуках дьячком *по черкасскому обыкновению, в школе, 9 лет*». «В селе Капустянце был (другой) при Воздвиженской церкви, по черкасскому обыкновению, дьячком, а он, Алексей, жительство имеет в селе Грунке (Полтавской губернии), при церкви святого Михаила в школе». И еще выражение: «Он, Иоанникий, по изучении славянской грамоты, ходил по разным местам лет с 27 в дьячковском звании; русского письма чтению и пению обучен он *мандрованным дьяком*, Павлом». Приводя сведение о школе в селе Кровном, пр. Филарет говорит: «В 1742 г. дьячок Иван Григорьев в селе Кровном, поставлявшийся в священники на место отца своего, показывал: русского письма чтению и пению обучен он, Иван, той же церкви дьячком Василием; а по изучении русской грамоты отдан был в *харьковские славено-латинские школы* и трактовал до поэтики, под учителя Варлаама Тищинского, и из показанных латинских школ определен той же церкви действительным дьячком». Упоминая школу в селе Семеренках, пр. Филарет говорит: «Дьякон Яков Иванов, которому велено было непременно выучить наизусть катехизис и тогда через год явиться к посвящению в священники, показывал о себе в декабре 1737 года: родом он, Яков, малороссиянин; чтению и пению изучен в селе Семеренках, в школе, дьячком; взят был по указу в славено-латинские школы и учен

в аналогии и инфиме профессором Петром Венсовичем, в грамматике Пелчинским, в синтаксисе и в поэтике Корабановичем, в Харькове, в риторике Тапольским два года, и по окончании риторики дан ему отпускной патент; в учении был 7 лет». Наконец, называя школу в селе Балаклее Змиевского уезда, пр. Филарет говорит: «Послушник Святогорского монастыря, он Изюмского полка в городе Балаклее; отец его при школе Василий Жутовский в консистории показал о себе: родился Успенской церкви города Балаклеи, обучал *школяров и крылосному пению* и жил при отце своем в школах в том городе *Балаклее* до возрасту своего и учил; а по смерти отца своего живал в том же Изюмском полку по разным местам — в школах».

Таким образом, в Слободскую Украйну наука перешла из-за Днепра, вместе с жителями, в начале XVIII века. Сперва она носила чисто латинско-польский, схоластический характер, как произведение религиозных смут и унии. Тогдашние школы далеко еще не были школами для народа, т. е. для поселян-пахарей и мещан. В них обучалось бедное и грубое сельское духовенство, из которого вскоре вышли первые учителя будущих народных училищ, возникших при Екатерине II, и даже учителя помещичьих детей, купцов и горожан. Украинский дьяк, так характерно обрисованный Квиткой-Основьяненко в его романе «Пан Халявский», и бурсак, предок гоголевского Вия, были первыми сеятелями науки на юге России в начале XVIII века. Считаю полезным, для обрисовки понятий того времени о науке, привести в точной копии напечатанное в газете «Харьков» (1865 г., № 1) *завещание моего пращура*, бывшего Изюмского слободского полка андреевской сотни сотника, Данилы Данилевского. Это завещание писано последним в 1716 г., 24 декабря, засвидетельствовано в бывшей тогда белгородской конторе крепостных дел в 1719 г. и найдено мною, в двух подлинных копиях, в харьковском архиве гражданской палаты при одном тяжебном деле прошлого XVIII века. Сотник Данило в 1709 г. 31 июля угощал у себя на хуторе, на

Донце, в сотенной крепостце[1], царя Петра I, в проезд последнего через земли Изюмского полка к полтавскому войску перед знаменитой баталией с Карлом XII, а в 1717 году был схвачен, по ложному доносу Сербина-Чиркова, и увезен «в навечерии Рождества Христова» в Петербург, в розыскную канцеярию кн. Юсупова, где и умер, оправданный, впрочем, за несколько недель перед своей смертью. Он тогда чуть не лишился всего своего громадного состояния, приобретенного им по заимке, по купчим и от царя Петра I в подарок «за службу и за полонное его терпение», — ложно обвиненный в мнимой измене. Он был подолянин, выходец из заднепровской Украйны, и, как православный, на берегах Донца явился в числе первых осадчих, или населителей земель Слободской Украйны, вместе с Донцами-Захаржевскими, Квитками, Шидловскими, Савичами и другими. Об этом сотнике Даниле Данилевском и о его сыне Евстафии, потом известном полковнике Изюмского полка, во времена царицы Анны Иоанновны осталось в фамильных бумагах гг. Данилевских множество сказаний и официальных документов. Приводимое здесь завещание писано Данилою Данилевским наскоро, перед глазами присланного за ним грозного «юсуповского посла», и обращено к полковнику Михайле Донец-Захаржевскому, который, как оказывается из этого завещания и из других бумаг, теперь находящихся в моих руках, был зятем завещателя, будучи женат на его дочери, Варваре Даниловне Данилевской. Данило Данилович, всего за 25 лет перед тем, со своими верными товарищами-казаками и подпомощниками бежал от «ляшской справы» из Подолии на берега новой своей родины, на Донце, в нынешний Змиевский уезд, где его потомки до сих пор владеют его «купленным, подаренным от царя и старозаимочным, по его черкасской обыкности», наследством, селом Пришибом, с хуторами, лесами, озерами,

---

[1] До 1800 г. Великое Село, а теперь лесная пустошь, купленная Д. Д. Кузнецовым, ныне принадлежащая Я. И. Гееру.

рыболовнями и степями. Вот это завещание, замечательное тем взглядом на науку, какой внесли на берега Донца тогдашние украинские православные выходцы из Подолии:

«Пане полковнику, милому моему зятю!

Объявляю вашей милости, також всему дому, кому о сем надлежит, едучи в назначенный мой путь, в Санкт-Петербургский, жадая (1) по вас не оставить моего куреня (2), в случаях, аки вся Богу возможно. То помнить надлежит всем моим детям по Бозе и по Пресвятой Богородице; и ныне сродников и родников в упеку всех вручаю полковникови Михаилу Захаржевскому, абы, прозираючи по годности детей моих, чтоб кому вделить, по реестру моей кровавой працы (3), что ныне остается, як в доме моем, такое и в разных местностях (4) и хуторах, також в мельницах. Первое, что ни есть в скрыне (5) моей в погребе запечатанных денег, то все полковникови и все в его рассмотрение, серебро, також иконы и сукманы (6). Ныне осталось по отъезде моем сто восемьдесят кухв (7) горилки; ту горилку попродав, роздать по монастырям и по церквам и убогих, за душу. Что нынешней зимы нароблят (8); то продавши, в монастыре Змиевском зробить каменную трапезу. Жене моей Анне, с моей працы, строить обеды, а в доме моем жить ей до смерти и всем господарствовать, что ни есть на Андреевце, мельницами, гутою (9), пасикою, винницею (10), маетностями и бидлом (11). Что есть же на Балаклейках (12) и в Курба-

---

(1) Желая. — (2) Дома. — (3) Труда. — (4) Движимое имение. — (5) Сундуке. — (6) Суконные платья. — (7) Бочек. — (8) Сделают. — (9) Стеклянным заводом. — (10) Винокурней. — (11) Скотом. — (12) Реки, впадающие и теперь в Донец. — (13) Колеса. — (14) Сыну того полковника Михаила, кому писано завещание. — (15) Внуку Татьяны Захаржевской. — (16) Рассудителен. — (17) Не учится. — (18) Два огромных имения, Великий и Малый Бурлук, принадлежавшие в 1716 г. Д.Д.Данилевскому, после частью перешли в руки гг. Задонских. — (19) Сын сотника Григорий был, как видно, своему отцу неприятнее еще Максима; Максим только был не суден, а этого отец зовет и мужиком и валянцей, т.е. пьяницей; имение ему не дано. — (20) В долгу у бывшего «ларечного» казначея. — (21) Не учились. — (22) Отменно.

тове, також балаклейскими млинами; что надлежит Евстафию — по смерти моей, жене Анне; да мельница купенская и левковская — два кола (13) Анне; а в возврат Евстафию купенская и левковская мельницы до смерти особо владеть ей. А по смерти жены моей та купенская мельница внукови между Михайлови Захаржевскому (14); а левковские кола два Ташке внуци (15). Змиевской грунт, если суден (16) будет Максим, сильно есть ему; если ж так, как ныне не вчится (17), то только одну мельницу ему, которая от Лиману; також тогда и ольшанский грунт, что есть нашего и что в городе заводов наших; а мельница полковникови Змиевская. Печенежский грунт Иванови, со всем бидлом, и оба Бурлучки (18). Грицькови мужикови, простому валянце (19), тысяча рублей, что в ярми бывшего ралечного (20). А что остался Прокоп триста рублей виноват с давних долгов, теми церковную работу в Андреевце сделать. А что есть где долгов в записной книге, и то доправивши чинить по рассмотрению. Детям моим сынам с грошей ничего не дать. За них много грошей страчено, а иные и сами не стоят, за то, что не вчились (21). Нехай ныне за то страждут, в юности не хотяще труждатися. А когда пожените, то в том по своему рассмотрению зробите, кому что дасте, памятуючи на смерть. Затем, вам предложивши зичливо (22) всего добра и вручая Господеви моему и Пресвятой Богородице и всем святым, ваш родич, зичливый на послушание — Данило Данилевский. Змиевского хутора в навечерии Рождества 1717 г.».

Найдя в приведенном выше документе у пр. Филарета выражение «мандрованный дьяк», я обратился в 1865 г. к старожилу г. Харькова, Т. И. Селиванову, с просьбой объяснить, что это значит?

— Очень хорошо знаю и понимаю, что это такое было, — ответил г. Селиванов, — дьячки в старину нанимались, по добровольным сделкам с прихожанами, к церквам для пения, чтения и для учения в церковных школах. Учитель-дьяк при школе, обучая будущего такого же дьяка, обыкновенно говорил ему такую поговорку: «Как станешь

сам учителем, *учи так, чтоб не отбил школы!»*, т. е. не открывай своему ученику всего, чтоб ученик у тебя не отбил в приходе школы и не сел бы на твое место. Вот этого-то *всего*, всей сути школьного познания и добивались узнать разными хитростями у своих учителей поступающие в школы дьячки... Для этого-то, между прочим, они переходили из школы в школу, бродили по селам, «мандровали» — по-украински. Бродячий или *мандрованный дьяк* являлся в сельскую школу, притворялся ничего не знающим, узнавал часть нужных сведений у одного учителя-дьяка, часть у другого, шел дальше и вскоре становился сам знающим все, перехитривши своих учителей, из которых каждый между тем вырос на пресловутой поговорке: учи так, чтоб не отбил школы...

— В чем же состояло это могучее всезнание тогдашних церковных школ?

— Я сам учился в семинарии, — ответил Т. И. Селиванов, — лет за 60 перед этим. А у нас были свои старожилы по 60 и 80 лет. От них-то мы и узнали о былых временах. Вот в чем было знание мандрованных дьяков. Первые сведения везде в сельских школах, в прошлом веке, состояли в чтении псалтыря. Потом шло обучение пению 8 гласов: на «Господа воззвах к тебе!»; потом 8 гласов на «Бо Господи явися нам»; затем на ирмосы 8 гласов. Но были еще на те же псалмы и ирмосы пение самогласное, т. е. на свой собственный голос, своего сочинения, и подобное, т. е. двойные слова, двойной текст на один мотив или голос. В тот отдаленный век только и можно было щегольнуть что этими мудростями пения. Оттого-то и были у нас тогда мандрованные дьяки, учившиеся ирмосам в Водолаге у одного учителя, а самогласному пению в Боромле или подобному в Балаклее. И не одни дьяки знали такие премудрости. Крестьяне тонули в невежестве; зато некоторые купцы знали все эти тонкости и на домашних беседах и пирушках распевали псалмы самогласные и подобные. Еще в мое отрочество славились в Харькове екатерининцы-купцы такого рода:

А. Д. Скрынник, И. Т. Ващенко и И. Г. Решитько. Так что о таких людях говорили в городе: «Они училися у мандрованных дьяков, да и сами, кажется, из мандрованных», т. е. разумнейших.

Вскоре ученость дьяков в губернии вошла в известность. Их и семинаристов стали брать *«на кондиции»*, т. е. к детям своим в домашние учителя, богатые помещики. Гоголь в повести «Вий» приводит верное изображение этих бурсаков, отправлявшихся на кондиции из городов по деревням. «Самое торжественное для семинарии событие было вакации. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Последние отправлялись на кондиции, т. е. брались учить или приготовлять детей людей зажиточных и получали за то в год новые сапоги, а иногда и сюртук. Каждый тащил с собою мешок, в котором находилась одна рубашка и пара онуч. Завидев в стороне хутор, тотчас сворачивали с дороги и, приблизившись к хате, выстроенной поопрятнее других, становились перед окнами в ряд и во весь рот начинали петь кант. Хозяин долго их слушал, подпершись обеими руками, потом рыдал прегорько и говорил, обращаясь к своей жене: «Жинко! то, что поют школяры, должно быть, очень разумное; вынести им сала и чего-нибудь такого, что у нас есть!» Так поступали полтора века назад бессмертные богослов Халява, философ Хо́ма Брут и ритор Тиберий Горобец у Гоголя.

Я спросил Т. И. Селиванова, не помнит ли он, как в старину приглашались такие семинаристы на кондиции?

— Как не знать! Обыкновенно зажиточный какой-нибудь харьковский помещик писал к архиерею или к ректору семинарии такое письмо с дворецким своим: «Ваше преосвященство, мне нужен учитель учить детей грамматике, риторике, поэзии; жалованье ему десять или пятнадцать рублей в год и одежда». Архиерей выберет семинариста, и последний, с одною книгою «Письмовником Курганова», этой полнейшей энциклопедией того времени, едет учить, и им очень довольны. Бывали с этими бедняками-учителями грустные

истории. Так, помещик Сумского уезда Хрущов, в конце прошлого XVIII века, обратился к архиерею Аггею с просьбой об учителе, прибавляя, чтоб выслал такого, «который учил бы детей говорить *по-русски*, а не по-малороссийски». Мы, — прибавил при этом Т. И. Селиванов, — застали уже в 1807 г. в училищах самого Харькова учителей, что так и резали по-украински с учениками; да мы, т. е. новоприбывшие из семинарий учителя, по распоряжению начальства, сломили их и приучили говорить *по-русски*. В статье В. И. Каразина «Взгляд на украинскую старину» мы нашли очень характерную заметку по части украинского языка и его судеб в украинских школах прошлого века: «Города наши *прежде* заселились великороссиянами, преимущественно торговыми людьми; школы *прежде* ввели русский язык» («Молодик» 1843 г.). Вот и поехал к Хрущову на кондицию, из духовного народного училища, семинарист Павловский, — продолжал Селиванов, — приехал к помещику учить его детей. Дети выросли, оставили науку; Павловский так сжился с хозяевами, что стал учить его крестьянских детей. Пока был он учителем в доме Хрущова, он с хозяином и обедал, а тут уже перевели его в людскую. Прошло еще несколько лет; стал он от скуки и конторой заниматься, а тут его уже почти и приказчиком делают. Потяготился он, стал проситься из деревни. «Ты что? — спрашивает его Хрущов. — Не слушаться? *ты ведь мой!*» Одели Павловского по-мужицки, заставляют уже и жениться на крестьянке. «Нет, этого не будет!» — «Нет, будет!» — «Да почему же я ваш?» — «*А потому, что я тебя, братец*, — говорит Хрущов, — *записал в шутку за собою по ревизии крестьянином своим крепостным*». Словом, свободный учитель из семинаристов Павловский стал нежданно мужиком барина Хрущова. Заплакал он, стал тосковать; гонят его уже и на панщину, на работу. Искать, жаловаться? Но кому? Попал в ревизию, и баста. К счастью его, явился по соседству, за сбором, иеромонах из того же училища, где был когда-то и Павловский. Разговорились. Павловский умолил его навести справ-

ки, отыскали в архиве семинарии ордер архиерея об отсылке Павловского в учителя и вызволили его, с выговором Хрущову: что-де он мог записывать за собою крестьян переходных, но не свободных учителей. Этот Павловский, бывший на своем веку через учительство в крестьянах, жил 80 лет и умер в 1848 году. По его словам, не он один попадал в крестьяне в то время. Некоторые так и не освободились и остались крепостными за помещиками, у которых учили детей или были после приказчиками...

Т. И. Селиванов передал мне еще следующий очерк учителя того времени: «Был некто дворянин Федор Иванович Кудрицкий. Учился он в харьковском коллегиуме и знал, хоть плоховато, французский язык. Он поехал на кондиции к купянскому помещику Сошальскому. Сошальские тогда были «громкие», а Кудрицкий был бойкий из бойких. Бурсаки тогда еще «мирковали», т. е. побирались под окнами, распевая канты. У Кудрицкого всего имущества была вязаночка книг, да войлочек и подушка. Рассказывают, что когда он приехал и лег в пуховую постель, приготовленную ему белыми ручками из белоснежных простынь г-жею Сошальскою, так с него снялся целиком отпечаток на белье, точно чернилами... Барыня и вся семья сбежались в ужасе, узнали, что у учителя, кроме халатика, нет никакого белья, сшили ему рубаху, чунарку и прочее — он стал учить хозяйских детей, и они, как передают, после недурно говорили по-французски».

В «Истории Руссов», т. е. Малороссии, Георгия Конисского приводится следующая черта о школах, или скорее украинских школьниках конца XVIII в.: «Царствование Петра III, продолжавшееся только половину года, отличалось воинскими ополчениями, экзерцициями и приготовлениями к ним. Столица его и окрестности ее наполнились звуком оружия. В Малороссию посланы от сего государя зазывы, самые лестные для молодых людей, приглашающие в военную службу голштинскую. Юношество здешнее всех состояний и воспитаний, как бы волшебною силою, возмутилось и под-

нялось птичьим полетом на север. Все дороги были наполнены сими голштинцами. Одетые из них в тонкое шелковое платье, т. е. панычи, текли вместе с ободранными и полунагими молодцами и равнялись с ними гарусными галстучками, надетыми наподобие обрончиков (ошейников) на их шеи. Студенты и ученики училищ приняли на себя военные обрончики и тянулись вслед за первыми вербовщиками. Но, как все скорое и порывистое имеет и такой же конец, так и они, с июня месяца 1762 г., по кончине государя, быв уничтожены и распущены восвояси, волоклись всеми дорогами в Малороссию и, подходя к своим жилищам, прятались в лесах и байраках до ночи, не показываясь от стыда своим знакомым». Этот школьный погром помнят еще многие и в здешней губернии из рассказов старожилов.

Европейские смуты в конце XVIII в. снабдили Россию учителями из эмигрантов всех наций. Так и Слободская Украйна увидела многих из этих почтенных лиц, родом немцев, венгров, чехов, французов, итальянцев и даже швейцарцев. Старожилы помнят южнорусских учителей гг. Санбефа, Ивана Вернета (этот швейцарец был потом любимым харьковским журналистом) и многих из первых харьковских профессоров, о которых, по отношению их к тогдашним народным школам, скажется ниже. Но последующие гувернеры и сельские учителя из иностранцев далеко не были тем, чем первые из иностранцев, явившихся в конце XVIII в. просвещать южные степи и то из ее сословий, которое тогда только и училось рядом с духовенством, т. е. дворянских детей...

Вот замечательное *«условие помещика с учителем»* за 63 года назад, которое может легко обрисовать положение тогдашних первостепенных сельских учителей, т. е. иностранцев. Как же смотрели тогда на учителей из русских? Выписываю это условие слово в слово; оно озаглавлено в «Молодике» 1843 г. с «чернового, писанного рукою г-на помещика»: «1806 года, октября дня, я ниже подписавшийся Прусской нации Фридрих Лот обовязал с сим контрактом отвступления моего вдолжность жить год вдоме Харьков-

ского уезда у г. помещика подполковника К. обучать зимние месяци детей его немецкому языку граматическим правилам читать и писать и нижних классов арифметики и за сином ево К. иметь неусипное смотрение за поведением ево и доставлять всякое ему благонравие как воспитанию благородному дитяти принадлежит без малейшего упущения *весть себя всегда трезво* и добропорядочно, как честному человеку принадлежит быть для хорошего примеру, в противном же случае за несмотрение мое или пянство и худые поступки повинен я Лот отвечать по законам; *и по прохождснее зимних месяцей*, мне Лоту за ево сыном уже более не смотреть и детей не учить, *а вступить мною вдолжность садовничую* и старатця сделать два аглицкие сада завести теплицы цветники и парники крытые алей ранжирею и огороды порасаживать деревья и делать прививки колеровки и отводи самым искусным образом по сей должности старатся не леностью делать приобретения разные размножению фруктовых деревьев, дабы неусыпным рачением моим и трудами заслужить мог себе похвалу и награждение; мне Лоту получить в год от его К. пшеницы пять и ржи 4, круп одну, пшена одну, гороху одну, овса две четверти, всего четырнадцать четвертей, масла коровьего пуд, масла постного ведро, сала свиного 2 пуда, соли 2 пуда, свечного сала топленого пуд, уксусу ведро, *наливки 2 ведра горячего вина 3 ведра*, солонины 4 пуда, ветчины пуд, свежего мяса 6 пудов и пристойное число крошева свеклы квашеной и годового жалованья 120 рублей. Буде же я хотя окажуся в сих должностях незнающ и нерачителен, то вольно ему меня отпустить, заплатя за тот термен мне жалованье, что я проживу в его, всю провизию и прочее все то, что я заслужу».

Пока высшее сословие в губернии, записывая в шутку своих учителей в крепостные, само еще не в шутку смешивало звание их с званием садовника и не думало о просвещении своих и окрестных простолюдинов, правительство приняло ряд мер, давших образование пока духовенству и горожанам губернии.

В рукописной заметке г. Кеппена, находящейся в архиве Харьковского университета, под названием *«Училища в Харькове»*, я нашел некоторые данные касательно возникновения народных школ в крае. «Первоначальное заведение публичных школ в Харькове, кажется, — говорит г. Кеппен, — должно отнести к 1726 г., когда Епифаний, епископ белогородский и обоянский, перевел туда основанное им в 1722 г. в Белгороде училище. Заведение сие, обязанное существованием духовному регламенту 1721 г. и грамоте, дарованной императрицею Анною Иоанновною 16 марта 1731 г., именуется славено-греко-латинскою школою. К нему была приписана покровская церковь, почему и названо харьковским училищем покровским монастырем, с тем, чтобы учить всякого *народа* и *звания* детей православных не только пиитике, риторике, но и философии и богословию, и языкам славено-греческому и латинскому. Князь М. М. Голицын, в то время бывший главнокомандующим на Украйне, снабдил училище (вотчинами в 50 верстах от Харькова, в Валковском уезде, с. Песочки с хуторами), а генерал-майор Шидловский подарил училищу каменный дом. Таким образом, положено было основание харьковскому духовному коллегиуму, в котором архиепископ Петр Смелич (с 1736 г.) ввел языки французский и немецкий, историю, географию, вызвал из европейских училищ потребное число учителей. По отлучении его от епархии в 1741 г. эти науки там прекратились, но введены снова Екатериной II, по инструкции 1765 г., данной сенатом слободскому губернатору. О последнем просили царицу сенаторы: Шаховской, Панин и Олсуфьев, в докладе 1765 г., по комиссии слободских полков. Классы предоставлены ведению губернского правления, с тем чтобы ученики коллегиума обучались в них без всякого платежа. Сироты и неимущие обучались на казенном содержании, проживая в так называемом сиропитательном доме (в бурсе). Тут в училище обучались: языкам французскому и немецкому, геометрии, геодезии, фортификации, артиллерии, рисованию, музыке, танцеванию и пр.». Коллегиум, по словам статьи

«Молодика» 1843 г., «воспитал многих государственных мужей, архиереев, губернаторов, отличнейших врачей и даже отличных воинов, ибо дворянство училось в нем совместно с духовенством».

В «*Топографическом описании Харьковского Наместничества, с историческим предуведомлением о бывших в сей стране с древних времен переменах*» и пр. 1788 г., приведена грамота императрицы Анны Иоанновны 1731 г. об открытии народной школы при харьковском Покровском монастыре, где говорится: «Понеже дядя наш Петр Великий особливое попечение имел о размножении училищ и школ, как духовных, так и для светских наук, в 1721 году объявлено, чтобы каждый архиерей в своих епархиях имел школы и семинарии; а ныне — Епифаний епископ в г. Харькове основал школы каменные и учредил игумена над школами ректором, да еще префекта и учителей, а именно всех 8 человек, отчего-де не токмо священству, *но и отечеству российскому* не малый плод происходит; и чтоб на подкрепление тех школ и свободного в них учения, дабы и впредь были от его сукцессоров содержаны ненарушимо, дать нашу жалованную грамоту; такожде стараться, чтоб науки вводить на собственном *российском языке*; а неспокойных и вражды творящих учителей и учеников унимать и смирять» и пр.

В «*Южном Сборнике*» (учено-литературный журнал, изд. Н. Максимова, 1859 г., Одесса) напечатаны в высшей степени любопытные «воспоминания профессора Роммеля о своем времени, Харькове и Харьковском университете» с 1811 по 1815 гг. в переводе г. Я. Балясного с подлинника, изданного в 5-м томе известного собрания Бюлау: «Geheime Geschichten und räthselhafte Märchen». Нельзя не пожалеть, что наша литература представляет так мало подобных мемуаров. Покойный Роммель (умер в 1859 г.) приводит кучу анекдотов о профессорах, своих былых товарищах, рисует смело картину первых насаждений науки в крае. В Харькове, между прочим, до того тогда грязном, что профессора были вынуждены учредить для студентов «грязные каникулы»

feriae luti — в 1811 г. в отношении к науке был еще совершенный хаос. «Все это (устройство школ), — говорит Роммель, — было в каком-то хаотическом состоянии, напоминавшем времена св. Винфрида и его учеников, Штурма и Лулля. Отдельным учреждением был *училищный* комитет, из шести ординарных профессоров, по выбору; члены его отряжались для обозрения гимназий и уездных училищ и, на время отсутствия, заменялись, при чтении лекций, адъюнктами». Описывая научные командировки профессоров, Роммель при очерке своей поездки в Славянск говорит (стр. 49): «Постоялых дворов не существовало; их заменяло украинское гостеприимство; издержек на пищу почти не было; зато всякая починка повозки или саней требовала много веревок; поэтому, не задумываясь, ставили на порванные веревки страшно высокие счеты». Уездные училища тогда едва возникали, причем украинские помещики, финансовые основатели университета, показали много патриотизма; дворянство взяло на себя содержание училищных зданий, а священники первое недалекое преподавание. Дворянская молодежь, по словам Роммеля, «смотрела на занятия, как на ступень к высшим чинам по службе; студенты, уже не молодые, из окрестных дворян, поступившие с тем, чтобы выдержать особенный экзамен для повышения в чинах, были подчинены нелепой, почти военной дисциплине». «В качестве члена училищного комитета, — говорит Роммель, — я открыл два главные недостатка: нравственную порчу учеников, которые были в постоянном заговоре против учителей, и чрезмерное самоуправство директоров гимназий, больше выслужившихся и полуграмотных офицеров военной и даже морской службы». Делая намеки на «обкрадывание казны» даже членами университета, Роммель с горечью рисует физиономии профессоров, этих членов тогдашнего училищного комитета: «Успенский был русский крючок; по должности синдика, он умел толковать указы вкривь и вкось... Все эти господа отличались большим притворством и хитростью. В заседаниях, хладнокровно и зорко следили они за ходом споров, ловили

каждое слово иностранцев, не всегда разборчивых на выражения, и умели пользоваться минутою, когда кто-нибудь из них, в пылу спора, увлекался открытым выражением своего мнения. Тотчас же из их фаланги поднимался голос: «В протокол записать! *довести до сведения начальства!*» Всегдашнею их тактикой было: представить неосторожного вольнодумцем, врагом порядка и правительства. И это они называли «служить верою и правдою!» От этого профессор Шад однажды в совещании до того забылся, что сказал: «Вы все холопы!» На него впоследствии был сделан донос; лекции метафизики по Шеллингу выданы за атеизм. Его препроводили из Харькова до границы, и он кончил несчастную жизнь в Вене, где Гете и Шиллер приняли его и поручили вниманию русского посланника. В 1817 г. у него была мысль издать записки о всех пережитых им на Руси несправедливостях и скандалах, но *крайняя нищета* заставила его, незадолго до смерти, продать свою тайну».

Таким образом, хотя школы в Слободской Украйне были открыты еще в начале XVIII века усилиями местного духовенства, но в них приготовлялись только будущие служители клиросов и алтарей. Грамотность через них в народ собственно не проникала, зато, готовя певчих, понамарей, дьячков и дьяконов, эти петровские школы в то время в этих лицах готовили будущих учителей. Народ тогда искал в науке одного: узнания немногих молитв, догматов веры и пения церковных кантов. Последние распевались даже на званых частных пирушках. Спеть кант значило тогда то же, что теперь сыграть польку или вальс. Но если в начале XVIII века в петровских греко-славянских школах преобладала стихия церковная, внешнеобрядовая, влиявшая на народ, в конце XVIII века в полулатинских и также полудуховных народных наших школах было также народного одно название. Мало утешительного принес этим школам и XIX век. Тут сельские школы подавлены чиновничьим влиянием в обширнейших размерах.

В 1860—61 гг. на юге России закрыты школы военных кантонистов, одна память о которых до сих пор составляет пугало в деле развития грамотности в среде народа. Эти школы теперь уже принадлежат истории, вследствие уничтожения самих военных поселений; следующие данные о них извлечены мною из местных архивов. В 1835 г. состоялось постановление, дабы солдатские сыновья, при родственниках до 20 лет оставляемые, отнюдь не проживали при них долее сего возраста под опасением штрафа. В весеннее время солдатские дети (до 20 лет) *высылались* в губернские города тех губерний, где они проживают. Тут они поступали в ведение командиров внутренних гарнизонов, где сперва образовались в выправке и маршировке, без оружия. К кантонистам причислялись по Своду Военных Постановлений «все сыновья, прижитые военными нижними чинами не из дворян, во время нахождения их в службе военной»; «сыновья, коими матери, при вступлении мужей их в военную службу, остались *беременными*; все дети мужского пола, *незаконнорожденные* солдатками или *рекрутскими женами* при жизни мужей, и незаконнорожденные от солдатских *вдов*, от солдатских *девок* до брака и от дочерей *сих девок* до брака же»; «*подкидыши* мужеского пола к нижним военным чинам или *служителям* регулярных войск»; «сыновья кантонистов, поступивших в межевое ведомство»; «сыновья солдатских сыновей» и пр. (статьи 64, 65 и 66 кн. 1, гл. 1 Свода Военных Пост.). По окончании срока учения в кантонистских батальонах и полубатальонах, «кантонисты, менее способные к фронту, поступали наиболее в писаря, а также цейхшреберы, цейхдинеры, фельдшера, цирюльники и аптекарские ученики, а затем, малоспособные по понятиям в науке — в вагенмейстеры, надзиратели больных и служители при церквах военного ведомства»; «выпускаемые же на службу определялись рядовыми»; а иных «через три года, не ранее, производили при этом в унтер-офицеры» (статьи 161—168). В архиве с. Ан-

дреевки мы видели старую книжку издания 1826 года. В ней означено во множестве табелей: число стульев для учителей, табуретов для кантонистов, число бутылей для квасу, на них воронок больших и средних, и проч.; в числе бессрочных вещей поставлены: ведер 8, квашень 8, лоханей 12 и проч. до утиральников, тюфяков, набитых соломою, поставленных также в графу бессрочных, тут же сказано, что в классах учебного батальона столы должны быть длиною в 5 аршин, шириною в 1 аршин, высотою в 1 аршин 8 вершков. Все столы выкрашиваются черною краскою и в каждом вделывается 3 чернильницы. Столы сии должны стоять против окон по два вместе, чтобы между стеною и столами осталось еще места на 1½ аршина. Во время преподавания наук ученики сидят спиною к свету; в каждом классе имеется по одной доске на каждые два стола; длина доски 2 аршина, ширина 1½ аршина; каждая из 3 ножек стойки ее имеет в длину 3 аршина; сии доски ставятся в 2 шагах от передних столов и пр. Учебным дивизионом заведовал *один из штабротмистров полка*, по назначению полкового командира. Обучение кантонистов состояло: в военном ученье, ученье в классах и ученье в мастерских. В военном ученье было: пешее и конное ученье, верховая езда, рекрутская школа, эскадронное и полковое ученье, фехтование и фланкирование. Для этого содержались казною лошади (до 139) и огромная прислуга, до 68 унтер-офицеров и вице-унтер-офицеров при дивизионе. В классах преподавались: закон божий, российский язык, арифметика, геометрия, судопроизводство, бухгалтерия, чтение воинского устава, рисование. Между прочим, здесь преподавалось и словосочинение, и составление бумаг, употребительных по службе. Верховая езда между тем производилась ежедневно. Кантонисты встают по утру в 5 часов; умывшись, они оправляют свои постели, одеваются; по воскресеньям содержат караулы в селениях и проч. Школы кантонистов, изобретение прошлой нашей бюрократической жизни, стали плохо приниматься в губернии: неудачи в них вызвали карательные меры местных начальств.

Строгости к кантонистам были неимоверны. Я видел кучу «штрафных журналов» (рукописных) в андреевском архиве Змиевского уезда, по 1-й батарее кантонистов 1-й артиллерийской дивизии. На каждом шагу вы встречаете отметки о розгах. Так, в журнале, с 6 ноября 1836 г. по 19 июня 1844 г., кантонисты Касьян Каверзнев и Кирилло Грешечник «за неопрятность в одежде и неоднократные приказания отдавать честь гг. штаб- и обер-офицерам» наказаны: первый 25 и второй 50 ударами розог. Пометку скрепил поручик г. М-в, которого подпись в таких случаях повторяется в тетради, имеющей 22 страницы, 122 раза; сперва на 14 страницах под каждым случаем сечения, а с 14-й по 22-ю только внизу страницы, в виде скрепы. Г. М-в в том числе наказал кантониста Андрона Пимонова (мальчика от 14 до 18 лет) «за слабое смотрение вверенного ему взвода», как говорится в его отметке, «по моему приказанию, 100 ударами розог». Кантонист Тарас Федосеенко «за картежную игру, мая 16, 1839 года, наказан 100 ударами розог»; какой-то кантонист Шивцов — 100 ударами просто «за шалость»; Егор Гнучий — 30 ударами «за несвоевременное прибытие в школу»; Степан Гончаров «за неопрятность — 100 ударами». Полкниги занимают отметки неизвестной руки, вероятно, одного из солдат, такого рода: «...по приказанию господина поручика М-ва, наказан фейерверкер Петр Комисаренко за непорядки палками 25 ударами, в 5-й раз; палками 30 ударами Егор Иванов, в 4-й раз».

Несмотря на пометки ревизоров для *высшего* начальства «о хорошем сбережении кантонистов и о здоровом виде их», на инспекторских смотрах, в делах архива, мы встречаем другого свойства донесения *низших* ревизоров, так сказать, в их домашней переписке с ближайшим начальством. Так, в предписании одному штаб-ротмистру говорится: «При *постоянном* посещении моем столовой залы кантонистского дивизиона, я находил в оной большую нечистоту и беспорядки, а именно: на стенах во многих местах цвель, полы в столовой до такой степени нечисты, что грязи на них на целый вершок;

почему предлагаю вашему благородию приказать столы счистить *железными* лопатками и вымыть, а кантонистам велеть, входя, вступать сапогами в (приготовленный) песок, а потом уже входить в залу».

Чтобы как-нибудь обратить внимание высшего начальства на школы кантонистов и уверить его, что они представляют нечто вроде художественно-гражданских школ, местные их командиры пускались на тысячи хитростей. О подобных проделках кантонистских командиров, иногда разгаданных, но большею частью удававшихся в пользу их изобретателей, села бывших военных поселений в губернии полны многими легендами. Вспомним, что по уставу о кантонистах (см. «Инвалид», статьи по поводу полемики о Чугуевском военном училище 1863 г.), штат их был на 10 000 человек в России, а в натуре их оказалось 40 009 чел., почему их и размещали по деревням, собирая партиями для мастерских, шагистики и проч.

Что же выходило из этих кантонистских школ в губернии? Ими наполнялись военно-поселенские и армейские канцелярии. Писаря из кантонистов доныне славятся отличным почерком и полнейшею безграмотностью. Попадавших в полки кантонистов скоро производили в унтер-офицеры, фельдфебели и вахмистры. О последних из кантонистов и теперь вздыхают многие бойкие эскадронные и полковые командиры.

1865 г.

II

ГРИГОРИЙ САВВИЧ СКОВОРОДА

(1722—1794 гг.)

ГЛАВА I

Значение Сковороды. — Слободская Украйна до конца прошлого века. — Харьковское наместничество. — Вид сел. — Харьков в восьмидесятых годах прошлого века. — Коллегиум. — Записки Тимковского. — Остатки вольницы

В старые годы Харьков имел несколько значительно распространенных изданий. В первой четверти этого столетия в нем издавались журналы: *Украинский Вестник* (Филомафитского и Гонорского), *Харьковский Демокрит* (Масловича), *Украинский Журнал* (Склабовского) и *Харьковские Известия*, газета политическая и литературная (Вербицкого). Одновременно с этими журналами и после них здесь издавался целый ряд альманахов и ученых сборников: *Записки филотехнического общества* (Каразина), *Подарок городским и сельским жителям* (Вербицкого), *Утренняя звезда, Украинский альманах, Сочинения и переводы студентов Харьковского университета, Труды общества наук при Харьковском университете, Акты филотехнического общества*, сборник *Запорожская старина* (Срезневского), *Снип* (Корсуна), *Южно-русский сборник* (Метлинского) и богатый материалами альманах *Молодик* (Бецкого) — те-

перь справочная книга для каждого, работающего над малорусскою былою жизнью. Харьковская литература имела в то время большой успех, вполне заслуженный. Все названные здесь издания составляют теперь библиографическую редкость. Но если в настоящее время большинство украинских писателей перенесло свою деятельность в столичные журналы, не надо забывать, что долгое время почти все столичные журналы относились к провинциальной жизни свысока и мимоходом, питая к ней полное безучастие. Эту долю в особенности испытала наша так называемая украинская старина, которой Киев посвящал тоже когда-то и с таким успехом свои сборники («Киевлянин» и др.), Чернигов свой «Черниговский листок», а г. Белозерский почтенную «Основу».

Из первых, по времени, харьковских писателей следует назвать Григория Сковороду.

Личность Сковороды мало известна в русской литературе. О нем существуют до сих пор отдельные небольшие заметки в давно забытых сборниках и журналах; но никто еще не посвящал ему труда, где бы собраны были и проверены возможно полные сведения о жизни этого писателя. Сковорода, как Квитка и другие родственные ему украинские писатели, Котляревский и Нарежный, имеет чисто народное, туземное значение.

Желая, в возможной полноте и целости, представить читателю характеристику Сковороды, о котором доныне в редком уголке его родины не вспоминают с сочувствием, мы коснемся и самих трудов его.

Сковорода был человек самостоятельный, вольнолюбивый, с большою стойкостью нравственных убеждений, смелый в обличении тогдашних местных злоупотреблений. Несмотря на свой мистицизм и семинарский, топорный и нередко неясный слог, Сковорода умел на практике, в своей чисто стоической жизни стать совершенно понятным и вполне народным человеком во всей Украйне тогдашнего времени. Его хвалители тогда восхищались и его духовными умство-

ваниями, называя его степным Ломоносовым. Если уже гоняться за литературными кличками, то с деятельностью Сковороды скорее можно найти сходство в деятельности питомца другой мистической школы, Новикова.

Новиков работал в типографиях, в журналах, на ораторских кафедрах литературных обществ и в избранных кружках Москвы, уже обвеянной тем, что тогда выработали наука и общество на западе Европы. У него было состояние, много сильных и самостоятельных друзей. Сковорода был голыш и бедняк, но действовал в том же смысле. Видя все бессмыслие окружающей его среды, откуда, действительно, выходили схоластики и тупицы, он самовольно отказался от чести кончить курс в киевском духовном коллегиуме, обошел, с палкой и с сумой за плечами, некоторые страны Европы и, возвратясь на тихую и пустынную родину тем же голодным и бездольным бедняком, стал действовать в поле, на сходках — в деревнях, у куреней отдельных пасек, в домах богатых предрассудками всякого рода тогдашних помещиков, на городских площадях и в бедных избах поселян. В Сковороде олицетворилось умственное пробуждение украинского общества конца XVIII столетия. Это общество, вслед за Сковородой (увидевшим, как его нравственно-сатирические песни стали достоянием народным и распевались бродячими лирниками и кобзарями), стало выходить из нравственного усыпления. Сковорода был сыном того времени на Украйне, которое вскоре создало ряд прочных школ, гимназий, университет и, наконец, вызвало к жизни украинскую литературу.

Сковорода более действовал в Украйне восточной, Слободской. В 1765 году, указом императрицы Екатерины II, из вольных Слободских полков была учреждена *Слободская Украинская губерния*; ее губернским городом назначен Харьков. Отдельные полковые города переименованы в провинциальные. В каждой провинции установлено, для гражданского управления, по шести комиссарств; казачьи полки переформи-

рованы в гусарские. На войсковых обывателей наложен *подушный оклад*; на пользующихся правом винокурения по 95 коп., а на лишенных его — по 85 коп. с казенной души. Но вот пришел 1780 год. Слободско-Украинская губерния переименована в *Харьковское наместничество*, которое 29 сентября в том году и открыто. Страна, еще недавно почти дикая и малообитаемая, населялась и принимала, наконец, вид благоустроенного общества. Пустынные, но плодородные земли нового Харьковского наместничества стали привлекать богатых переселенцев с юга и с запада России. Еще в 1654 году в его границах было не более 80 тысяч жителей мужского пола, в 1782 году, по словам новейшего изыскателя[1], в Слободской Украйне было уже до 600 церквей, при которых заводились в иных местах приходские школы, обучавшие детей поселян и помещиков читать и писать. И в то время, как оседлые переселенцы с «тогобочной» заднепровской Украйны, убегая от притеснений поляков, заводились здесь хлопотливою домашнею жизнью, вольными грунтами и пасечными угодьями, лесами и прудами с пышными «сеножатями», мельницами и винокурнями, распадающееся Запорожье не переставало их тревожить набегами отдельных отважных шаек. В это время уважаемый некогда запорожец, «рыцарь прадедовщины» считался уже многими наравне с татарами, являвшимися изредка из Ногайской стороны выжигать новорассаженные по берегам Донца и Ворсклы ольховые пристены и сосновые пустоши. Чугуев, где новейшие изыскания указывают следы печальной судьбы Остряницы, попавшего сюда, по их указаниям, около 1638 года, в середине XVIII столетия, уже обзаводился «садом большим регулярным» и другим, «за оградой, садом *виноградным*».

В «*Топографическом описании Харьковского Наместничества, с историческим предуведомлением о бывших в сей*

---

[1] См. Историко-статистическое описание харьковской епархии, преосв. Филарета.

стране, с древних времен, переменах» (Москва. В типографии Компании Типографической, с указного дозволения, 1788 г.) мы нашли много интересных подробностей о частной жизни Украйны того времени, о ее нравах, производительности жителей и земли и о состоянии ее высших сословий. Любопытно видеть смешение разнородных начал в этом юном, еще неутвердившемся обществе. С одной стороны, наружное благоденствие жителей деревень и местечек; с другой — извращение властей и всякого рода насильства частных лиц, богачей и дерзких проходимцев, чему мы приведем примеры из других источников того времени. Названная нами топография края, под 1788 годом, говорит о домашнем быте украинцев той поры: «Се есть характер, или начертание, домоводства южных россиян, отличающий их от северных, селение украинское, при разных земли выгодах состоящее, отменный кажет вид. Здесь между пахотным полем видно несколько запущенных и долговременно неоранных облогов; в самом селении на гумнах только посредственное количество хлеба; притом хворостяные повети, коморы и всякая городьба; малого иждивения стоющая ворота — с первого взгляда влагают нам, великороссиянам, догадку о скудости селения и о небрежении жильцов. Но с другой стороны, покрытые сеном луговые сеножати и облоги оправдают пред всяким род их хозяйства; *обремененные пастбища великорослым и играющим скотом* наращают цену к имуществу жилища. Кладовые коморы, скотинные сараи и городьба, деланные из хворосту, доказывают, что они строятся для защиты только от воздушных перемен и зверей, а крепкая и дорогая городьба была бы в сем деле для хозяев убыточна». «Липовые покои по сту лет слишком пребывают невредимы, чисты, светлы и здоровы... Дух европейской людскости, отчужденной азиатской дикости, питает внутренние чувства каким-то услаждением: дух любочестия, превратясь в наследное качество жителей, предупреждает рабские низриновения и поползновения, послушен гласу властей самопреклонно, без рабства. Дух *общего соревнования* препинает стези *деспотизма и монополии*».

В этих витиеватых словах современного летописца много истины. Описывая забавы и увеселения старых харьковцев, он говорит: «Самый скудный человек без скрипиц свадьбы не играет». «Простой народ употребляет горячее вино с малолетства»[1]. «Половину праздничного дня просидят пятеро человек, пьючи между тем полосьмухи вина; они пьют *медленно и малыми мерами, больше разговаривают*». Средоточием образования того времени был в Слободской Украйне харьковский духовный коллегиум, единственный приют науки до открытия в 1805 году Харьковского университета. В названном нами «Топографическом описании Харьковского Наместничества» сохранились и о нем любопытные данные. Автор прежде говорит: «В Харькове считается ныне, в 1778 году, — партикулярных домов 1532; в них жителей — купцов, мещан, цеховых, отставных нижних чинов, *иностранцев*, войсковых казенных обывателей, однодворцев, помещичьих подданных черкас, помещичьих крестьян, *цыган и нищих*, мужеска полу 5338 душ». Далее: «После состоявшегося в 1721 году Духовного регламента, Белгородский епископ Епифаний Тихорский основал в 1722 году епархиальную семинарию в Белегороде, откуда в 1727 году перевел училище в Харьков[2]. К сему главною помощью и основанием было патриотическое усердие покойного генерал-фельдмаршала, князя М. М. Голицына, бывшего тогда главнокомандующим на Украйне. Потом училищный дом наименован Харьковским Покровским училищным монастырем». Императрица Анна Иоанновна в 1731 году даровала жалованную

---

[1] Что удивило русского, не составляет ничего вопиющего для украинца. Здесь причина чисто медицинская. Вино на юге — единственно доступное и удобное средство для избавления детей от золотухи, лихорадок и других болезней, убивающих детей.

[2] Подробная статья о коллегиуме напечатана в «Молодике» 1843 г., стр. 7—32 неизвестного автора, под именем: «Основание Харьковского коллегиума нынешней Харьковской духовной академии». О харьковском коллегиуме помещена также статья в «Харьков. Губ. Вед.» за 1855 г

грамоту, где, «ревнуя дяди Петра Великого намерению и определению» указала: «Учить всякого народа и звания детей православных не только пиитике, риторике, но и философии, и богословию, славено-греческим и латинским языкам; такожде стараться, чтоб такие науки вводить на собственном российском языке». В заключение грамоты сказано: «Чего ради сею жалованною грамотою тот монастырь, *и в нем школы, и в них свободное учение утверждаем*». Вместе с этим повелено все книги покойного митрополита муромского и рязанского, Стефана Яворского, передать на основание библиотеки харьковского училища. «В ней книг разных языков, в том 1788 г., — говорит автор, — более 2000; но рукописей достопамятных не имеется, а только хранится собственноручная летопись св. Димитрия Ростовского. Здесь же хранятся фамильные бронзовые медали, присланные из Вены от князя Д. М. Голицына, для памяти, что покойный его родитель тому училищу основатель». «Потом Белгородский архиепископ *Петр Смелич* дополнил Харьковское училище классами французского и немецкого языков, математики, геометрии, архитектуры, истории и географии, на что вызвал из европейских училищ учителей, выписав к тем наукам потребные книги и математические инструменты». «Но, — замечает автор, — по отлучении его, 1741 года, от Белгородской епархии, классы французского языка, истории и математических наук оставлены, а от инструментов только некоторые поврежденные остатки до сих времен дошли». «Сие оскудение продолжалось до времен Великой Екатерины». В 1765 году снова к наукам здесь прибавлены французский и немецкий языки, даже инженерство, артиллерия и геодезия, кафедры которых в 1768 году, в феврале, и открыты бесплатно. Бедным же дозволено обучаться и остальным наукам даром. «В 1773 году прибавлен класс вокальной и инструментальной музыки».

Другие записки о малороссийском обществе того времени представляют не менее любопытные черты переходного состояния страны, медленно оставлявшей казачество, запорож-

скую воинственность и предания гетманщины для новых обычаев и стремлений. Эти записки принадлежат бывшему директору Новгород-Северской гимназии *Илье Федоровичу Тимковскому* и напечатаны в отрывке в «Москвитянине» (1852 года, № 17) под заглавием: «*Мое определение в службу*». Автор представляет черты воспитания детей тогдашних помещиков, для которых еще не существовало ни гимназий, ни лицеев, ни университетов. Он говорит: «Первому чтению церковно-славянской грамоты заучили меня в селе Деньгах мать и вроде моего дядьки, служивший в поручениях из дедовских людей Андрей Кулид. Он носил и водил меня в церковь, забавлял меня на бузиновой дудке или громко трубя в сурму из толстого бодяка и набирал мне пучки клубники на сенокосах. Не без того, что ученье мое, утомясь на складах и титлах, бывало в бегах, и меня привязывали длинным ручником к столу». «По общему совету семейств, нас четверых с весны отдали учиться, за десять верст, в Золотоношский женский монастырь. У монахини Варсонофии мы составили род пансиона. С нею жила другая монахиня, Ипполита, племянница ее, тоже грамотная, цветная блондинка. Та ходила за нами и учила нас». Потом автора, когда он подрос, отдают к сельскому дьячку, осанистому пану Василию, с длинною косою. В избе дьячка «столы составили род классов, на букварь, часослов и псалтирь; последние два с письмом. Писали начально разведенным мелом на опаленных с воском черных дощечках неслоистого дерева, с простроченными линейками, а приученные уже писали чернилами на бумаге. Из третьего же отделения набирались охотники в особый ирмолойный класс, для церковного пения, что производилось раза три в неделю: зимою — в комнате дьячка, а по весне — под навесом. Шумно было в школе от крику 30 или 40 голов, где каждый во весь голос читает, иной и поет свое. Отцы за науку платили дьяку, по условию, натурою и деньгами. Окончание класса школьником было торжеством всей школы. Он приносил в нее большой горшок сдобной каши, покрытый полотняным платком. Дьяк с своим

обрядом снимал платок себе, кашу разъедали школьники и разбивали горшок палками на пустыре, издалека, в мелкие куски. Отец угощал дьячка. К праздникам он давал ученикам поздравительные вирши».

Но вот еще одна перемена учителя. Учение у дьячка, описанное еще интереснее в «Пане Халявском» Квитки, становится уже недостаточным. Автор воспоминаний изображает это очень живописно. «Раннею весною явились на дворе две голубые *киреи*. Они позваны в светлицы. То были переяславские семинаристы, отпущенные, как издавна велось, на испрошение пособий, с именем эпетиции. Такие ходоки выслуживались более пением по домам и церквам, проживали по монастырям и пустыням, еще имевшим в то время свои деревни; иным эпетентам счастливилось, что одно село разом их обогащало; иные пробирались даже на Запорожье. Начав труды, они учреждали свои складки, разживались на лошадь и привозили запасы себе и братии, привозили ум и журналы, что видеть, слышать и узнать досталось. Пришельцы наши — один рослый, смуглый, острижен в кружок, другой белокурый, коренастый, с косою — поднесли отцу на расписанном листе *орацию*. Он поговорил с ними, посмотрел у них бумаги и почерки; задал им прочитать из книги и пропеть «Блажен муж»; первого принял моим наставником, второго наделил чем-то». «К праздникам для своих поздравлений учитель готовил расписные листы с особым мастерством. Имея запас разных узоров, наколотых иглою, он набивал сквозь них узоры на подложенную бумагу толченым углем, сквозь жидкое полотно, и по черным от того точкам рисовал рашпилем, а по нем отделывал пером с оттушевкою. В такие рамы он вписывал подносимые своего сочинения *орации* (9—10 с.). Ученик скоро уже мог щегольнуть ученостью и на дворовой сходке, на всеобщее удивление, неожиданно начать по латинской Геллертовой грамматике вычитывать и пророчить бабам всякий вздор, о чем хотели».

Если наука в новом обществе туго принималась и приносила тощие и скудные плоды — нравы и обычаи изменялись еще

медленнее. Дети помещиков от дьячков переходили в монастырские школы и обратно; окончательно доучивали их бродячие эпетенты-семинаристы. Духовные высшие коллегиумы, в Харькове и в Киеве, оставались для большинства высшего общества чужды. Туда стекались обучаться только дети духовенства. И напрасно в классах эпетентов раздавались особые одобрения числом похвал на доске, «laudes», из которых за вины положена была такса учетов, так что в зимние месяцы ученики выслуживали до 500 похвал, а в привольные весенние съезжали на десяток и менее. Напрасно и на дверях самих семинарий, по словам Тимковского, изображались символы степеней тогдашней науки: на первой двери символ грамматиков — нарисованный «мудрец с долотом и молотком, обтесывающий пень в пригожего подпоясанного ученика, с книгами под рукой»; на второй двери — символ пиитов и риторов — «колодец с воротом над ним о двух ушатах, из которых один опускается порожний, а другой выходит так полон воды, что она струями проливается, и на третьей двери — символ философов и богословов — «большой размахнувшийся орел, далеко оставивший землю и парящий прямо против солнца». Грамматики тогдашние были порядочными «пнями неведения», пииты и риторы мало почерпали знаний из колодца черствой риторической науки, и философы далеко не походили на орлов. Большинство народонаселения оставалось в полном невежестве. Поселяне работали и вели мирную жизнь, обуреваемую нередко попойками от распространявшегося более и более свободного винокурения. И. Маркевич, в своей «Истории Малороссии» (1842 г., т. 2, с. 647), под 1761 годом, говорит: «Вскоре гетман (последний гетман, граф *К. Г. Разумовский*) обнародовал универсал, в котором говорил, что малороссияне, *пренебрегая земледелием и скотоводством*, вдаются в *непомерное винокурение*, истребляют леса для винных заводов, а нуждаются в отопке хат; покупают дорого хлеб и не богатеют, а только пьют; во избежание этих беспорядков, он запретил винокурение всем, кроме помещиков и казаков, имеющих грунты и леса». От А. М. Лазаревского, владеющего списком названного

универсала, я получил следующую выдержку из этого документа:

«Его ясновельможности собственными примечаниями усмотрено, что в народе малороссийском винокурение в такое усилие пришло, что от великого до наименьшего хозяина все, без разбору чина и достоинства своего природного, равно винокурение во всем малороссийском краю производят, так что почти тот токмо вина не курит, кто места на винокурню не имеет: от чего хлебу в Малой России рождающемуся столь великое повсягодное истребление бывает, что сия страна паче других областей, в случае недороду, опасности голода подвержена быть должна».

В универсале приводится несколько частных примеров вредных последствий распространения винокурения, из которых я выписываю два. «Полковник Лубенский, Кулябка, донес ясновельможности, яко многие казаки его полку, не имея собственного своего довольного хлеба, покупают оный по торгам дорогою ценою и вино курят не для какой своей корысти, но ради одного пьянства, и леса свои вырубкою для винокурения пустошат, так что и для отопления в хатах едва что остается. Да и не имеющие собственных своих винокурен казаки, взимая у посторонних куфами и ведрами вино, вышенковуют убыточно и пьянством истощевают страну». «Хмеловский сотник, Шклярович, доносит ясновельможности, что казаки его сотни от винокурения обнищали и к службе казачьей несостоятельными учинились, ибо-де кои имели винокурни, те прежде леса свои на винокурение пожгли, а после у других, своей братии, покупая, или за вино выменивая, то же учинили и, пристрастясь к пьянству и разленясь к работам и не имея откуда себя снабдить лошадьми и амунициею к службе казачьей, принуждены, у можнейших, своей братии, занимая деньги, давать в заклад свои грунта и за невыкуп на сроки вечно терять их должны».

Вследствие развития винокурения в таких огромных размерах, гетман Разумовский был принужден ограничить его строгими положениями.

Любопытны также следующие строки г. Маркевича: «Около этого времени, 1763 года, появились в Малороссии *пикинерия* и *вербунки* (вербования). Мельгунов ездил по Заднепровью и, описывая народ полудиким, подал мысль вербовать. Явились вербовщики. Мельгунов останавливался в шинках, его шайка пела, плясала, пила донельзя, поила казаков и народ; потом пьяным предлагала записаться на службу в пикинеры, прибавляя, что пикинеры даже лучше, чем казаки, потому что начальства не боятся и шапки ни перед кем не снимают. Беднейшие и «великие опияки» записывались с радостью. Грамотные шинкари и церковники становились ротмистрами и поручиками. Но когда начали их учить строевой службе, они, увидя беду, разбежались по запорожским куреням и по хуторам новосербским». Мелкое чиновничество грабило по мелочам и крупно простой народ. Чиновничество покрупнее брало увесистые взятки натурою и деньгами с помещиков, на деревенской скуке поднимавших бесконечные тяжбы друг с другом. Дворянство ленилось и давило чернь. Опекуны грабили опекаемых. «Похождения Столбикова» Квитки в этом отношении не простой вымысел, а истинная летопись, подтверждения которой рассыпаны во всех тогдашних делах. Кто из высшего ошляхеченного чиновного и помещичьего люда тогда не тягался с соседом или не тянул дома горькой чаши, представлял образец Ивана Никифоровича, проводившего время с утра до вечера на ковре, в натуре, утучняемого снадобьями домашней кухни и мучимого одним только горем житейским, изредка икотою или нежданно завистливым помыслом о каком-нибудь дрянном ружье или бекеше своего соседа, Ивана Ивановича. Напрасно и Екатерина II вводила новые меры и законы: в крае наставления ее принимались медленно.

Дворянству указано служить в войске и в местах правосудия. В 1782 году, после ревизской переписи 1764 года, произведена новая народная перепись; тогда же учреждены малороссийские губернии. Из полков, назначенных в состав

губерний, войсковые чины бывших правлений созваны в губернские города. Самых деловых и достаточных из них положено тотчас определить на места. Любопытно рассказывает об этом роковом времени Тимковский (13 стр.): «Переяславский вельможный полковник, Иваненко, поступил председателем палаты. Оболенский, владелец семи тысяч душ, стал совестным судьею. Заметим, что он боялся льдов на реках, и зимою, подъехав к Днепру, выходил из кареты и переезжал длинным цугом по льду, *в лодке*». В рассказе Тимковского появляется и образ его отца — олицетворение тогдашнего времени, «Малороссии, скидающей кунтуш и красные сапоги для вицмундира и канцелярского зеленого стола». «Тогда и отец мой, — говорит он, — отправясь в Киев, возвратился избранный заседателем уездного суда, в Золотоношу. Он явился в другой перемене. Поехал в черкеске, с подбритым чубом, шапкою и саблею; приехал в сюртуке и в камзоле, с запущенною косою, мундиром, шляпою и шпагой. «То-таки бувало выйде, — говорили меж собой люди, — або на коня сяде, уже пан, як пан; а теперь — *або-що: німец не німец, а так собі підщипанный!*» И я помню, помню эту крепкую, вольную героическую фигуру, в черкеске, с турецкой саблей по персидскому поясу, на злом коне, каких он до страсти любил... Было слово и о моем благородстве: не переодеть ли и меня? Отец рассудил оставить года на два в черкеске, стриженным в кружок».

Новые носители камзолов и кос служили плохо. Богатые только числились на службе и сидели по деревням. Бедняки лезли плечом вперед, протирая на засаленных столах локти и совесть, ябедничали, кривили душой и грабили. Имя комиссара равнялось имени разбойника. Благотворный свет просвещения и правосудия едва проникал в далекий, глухой, непочатый край. Суд и расправа были оценены и продавались всяким щедрым даятелям. Этим пользовались охотники до всякой сумятицы и своеволия. Падение Запорожья напустило на Украйну целую толпу разобиженных выходцев, которые овладевали мелкими и большими дорогами, держали откуп на проезд по

лесам и оврагам и всячески своевольничали. Но общество нуждалось в более честных охранителях правосудия. Последние, за извращением настоящих правителей и судей, являлись в среде самих разбойников. Предания того времени представляют любопытный образец одного из подобных «кулачных судий» на Украйне. Я говорю об известном разбойнике *Гаркуше*, похождения которого составляют в высшей степени интересные и живописные черты жизни того времени.

О нем читатель найдет любопытные подробности в повести А. П. Стороженко «Братья-близнецы», в статье г. Маркевича, опубликовавшего полное судебное дело о Гаркуше, а также в моей статье «Одесского Вестника», 1859 г., № 21 и 22: «Романтические типы старосветской Украйны. 1. Разбойник Гаркуша».

В такой-то разлад и сумятицу украинского общества явился писатель, практический философ и поэт Сковорода. Его сочинения, встреченные с сочувствием, были большею частью писаны под влиянием школы мистиков. Для нашего времени они имеют значение лишь со стороны его отношений к народу и обществу, на которое он действовал примером своей жизни, своими речами и убеждениями.

ГЛАВА II

Неизданные записки Коваленского. — Детство Сковороды. — Определение в придворную капеллу. — Въезд имп. Елисаветы в Киев. — Сковорода ускользает за границу — Его путешествие и возвращение в Малороссию. — Уроки у помещика Тамары. — Москва и «Тит Ливий». — Жизнь у Коваленских, Сошальских и Захаржевских. — Странствование и первые сочинения. — Предложение Екатерины II — Анекдоты о Сковороде. — Начало известности.

Сообщаю жизнеописание Сковороды по *неизданным* до сих пор *запискам* Коваленского, в списке, полученном мною от М. И. Алякринского, из Владимира на Клязьме. По-

длинная рукопись Коваленского из Киева была передана М. П. Погодину.

Г. Коваленский говорит:

«Григорий Саввич Сковорода родился в Малороссии, Киевского Наместничества, Лубенского округа, в селе Чернухах, в 1722 г.[1] Родители его были простолюдины: отец — казак, мать — казачка. Мещане по состоянию, они были недостаточны; но их честность, гостеприимство и миролюбие были известны в околотке.

Григорий Сковорода, уже по седьмому году, получил наклонность к музыке и наукам. В церковь он ходил охотно, становился на клирос и отличался пением. Любимою песней его был стих Иоанна Дамаскина: «Образу златому на поле Деире служиму, трие твои отроцы небрекоша безбожного веления»[2].

По охоте сына к учению, отец отдал его в киевскую академию, славившуюся тогда науками. Мальчик скоро превзошел своих товарищей сверстников. Митрополит киевский, Самуил Миславский, человек острого ума и редких способностей, был тогда соучеником его и во всем оставался ниже его.

Тогда царствовала императрица Елисавета, любительница музыки и Малороссии. Способность к музыке и приятный голос дали повод избрать Сковороду в придворную певче-

---

[1] *Гесс-де-Кальве* («Украинский Вестник» 1817 г.) неверно сообщает, что Сковорода родился в Харьковской губернии и что его отец был бедным священником. Коваленский знал Сковороду короче и потому нельзя не отдать ему в этом случае предпочтения перед другими биографиями. Так и И. И. Срезневский неточно сказал («Утренняя Звезда» 1834 г.), что Сковорода родился в 1726 году.

[2] *Г Снегирев* («Отечественные Записки» 1823 г.), почерпнувший сведения о Сковороде из рукописи Коваленского и еще «от двух почтенных мужей, знавших его лично», прибавляет: «Сперва играл он на дудочке, а потом на флейте; один ходил по рощам и лесам или, приютившись дома, сидел в уголке и на память повторял читанное им или слышанное»

скую капеллу, куда он и был отправлен при вступлении императрицы на престол». Г. Аскоченский, пересказывая жизнь Сковороды по рукописи Коваленского, прибавляет еще от себя («Киев. Губ. Вед.» 1852 г., № 42): «В Киевской Академии юный пришелец с первого раза обратил на себя внимание *дирижера певческой капеллы* и немедленно поступил в хор; а отличными успехами в науках заслужил себе похвалу от всех наставников. При восшествии на престол императрицы Елисаветы Петровны, в Малороссии набирали мальчиков для придворной капеллии. Сковорода попал туда из первых».

В. В. Стасов доставил мне любопытную выписку из архива придворной конторы, которую он сделал для составляемой им «*Истории церковного пения в России*». Известно, что придворная капелла, еще со времен Алексея Михайловича, постоянно пополнялась голосами из Малороссии. В делах придворной конторы постоянно встречаются слова: «Вновь привезенным ко двору *из Малороссии* певчим выдавать жалованье». Императрица Елисавета, по известной своей набожности и по любви к духовному пению, еще до восшествия на престол имела своих певчих. Имена Иван Доля, Григорий Берло, Максим Бокуш, Панок Григорий, Гаврило Головня и другие ясно говорят об их происхождении. Места, откуда из Украйны брались певчие, следующие. В указе *1784 года, октября 16-го*, сказано: «*Дисканты*: города Лохвицы, войскового товарища Максима Афонасьева, сын, 6 лет; г. Кролевца, войскового товарища, Дойголевского, сын, 8 лет; г. Ромны, священника Клименка, сын, 6 лет; Стародубского словесного судьи сын; Роменского казака, Обухова, сын, 7 лет; Стародубского мещанина, Бокурина, сын, 6 лет; Новгорода-Северского, мещанина Кушнерева, сын; Роменского уезда, села Галки, казака Галайницкого, сын, 8 лет. *Альты*: Прилуцкого уезда, села Дедовец, священника Тройницкого, сын, 7 лет; Знобовского жителя, Стожка, сын, 6 лет; Стародубского значкова товарища, Горлича,

племянник, 8 лет. *Подписано*: Новгород-Северского Наместничества верхней расправы председатель, бунчуковый товарищ Рачинский».

При отставке за потерю голоса они обыкновенно снова возвращались на родину. Так, *под 1734 годом*, читаем: «Пять человек, которые спали с голоса, от двора уволить в их отечество, в малую Россию, и дать им абшиты, а для пропитания их в пути дать им за службу по 25 рублей, от камер-цалмейстера Кайсарова». При капелле они получали столько же: «...а жалованья давать в год по 25 р., вычтя на госпиталь». Иногда давалась и особая винная порция: «Певчему Кирилле Степанову выдать вина простого пять ведер» (1731 года, собственная подпись: *Елисавета*). Певчие набирались из Украйны, из дворян и простого звания. Под *1746 годом* стоит: «Указали мы двора нашего певчим, *дворянам и прочим*, жалованье и за порции деньгами и хлебом производить». Наряд носили такой: «1741 г., декабря 15-го. Императрица изволила указать двора своего певчим, уставщику Ивану Петрову с товарищи, сделать вновь: мундир из зеленых сукон, а именно, немецкое: кафтаны, камзолы и штаны, и на кафтанах обшлага из зеленого сукна; малым черкасское, долгое платье, кафтаны и штаны из зеленого сукна, полукафтаны и штаны из шелковой материи, пунсовые или алые». Под *1745 г., февраля 14-го*, читаем: «Новопривезенным из Малороссии певчим, всего 34 человекам, по новости их, до учинения им жалованья, сделать на каждого рубах и порты по пяти пар, полотенцев по три, из среднего полотна, сапогов, и башмаков, и чулков по две пары, шапок по одной, рукавиц по одной паре, и раздать им с распискою». Под *1747 г., февраля 18-го*, стоит: «Изустный указ. Тенористу Ивану Иванову сделать платье немецким манером, суконное, кофейного цвета, подбить стамедом или камлотом, и пугвицы гарусные». Заботливость императрицы Елисаветы простиралась до того, что на росписи *1784 г., марта 26-го*, она собственною

рукою приписала: «Четырем на верхние кафтаны широкого позументу положить и взять у Дмитрия Александровича». (Вот любопытный указ о благочинии во время службы и церковного пения. 1649 года, января 5-го, повелено: «Во время службы, ежели кто какого бы чина и достоинства ни был будет с кем разговаривать, на тех надевать цепи с ящиком, какие обыкновенно бывают в приходских церквах, которые для того нарочно заказать сделать вновь, для знатных чинов медные вызолоченные, для посредственных белые луженые, а для прочих простые железные».) С 1751 года, для обучения певчих, был принят «французской нации учитель Паж Ришард». Что касается до Сковороды, то его прозвища мы нигде в бумагах конторы не нашли. Это, быть может, оттого, что певчих знали только по имени, обращая отчества в фамилии. В указе *1740 г., января 8-го*, при выдаче наград «за славление и поздравление в Рождество», в числе других стоит «робятам» таким-то: «Каленику, Екиму, Павлу и *Григорию* по 6 рублей каждому». В числе старших, получивших по 10 рублей, тут же назван еще «*Григорий Сыновоенич*» (не Саввич ли?). В указе же *1741 г., декабря 21-го*, стоит: «*Вновь привезенным из Малороссии певчим сделать мундир. А каковы имена больших и малых певчих, о том взять за рукою уставщика, иеромонаха Иллариона, реестр*». Можно с большим вероятием полагать, что в последних был именно и Григорий Сковорода, потому что в этом случае слова указа по времени совпадают с рассказом Коваленского, переданного им со слов самого Сковороды.

В «Отрывках из записок о старце Сковороде» И. И. Срезневского («Утренняя Звезда» 1834 г.) читаем дополнение к рассказу Коваленского: «Находясь там около двух лет, он сложил голос духовной песни *Иже херувимы*, который и доселе употребляется во многих сельских церквах на Украйне». К этим словам г. Срезневского тут же сделано примечание Г. Ф. Квитки: «Напев сей духовной

песни, под именем *придворного*, помещен в обедне, по высочайшему повелению напечатанной и разосланной по всем церквам, для единообразия в церковном пении. Кроме сего, Сковорода сложил веселый торжественный напев: «Христос воскресе» и канон Пасхи: «Воскресения день», ныне употребляемый в церквах по всей России, вместо прежнего унылого ирмолойного напева, и везде именуемый: *Сковородин*». Квитка знал Сковороду лично и был сам несколько лет монахом. Его слова должны быть здесь авторитетом. Но, к сожалению, тут есть неточности. Изыскания г Стасова в архиве придворной конторы, равно как и справки инспектора придворной певческой капеллы, П. Е. Беликова, которые благосклонно отвечали на мои сомнения, не могли не подтвердить слов Квитки и И. И. Срезневского. Сковорода не сочинял, в бытность в Петербурге, духовной песни «Иже херувимы», которая введена в России, и подобный напев, под именем придворного, напечатанный в обедне, изданной под руководством Бортнянского в 1804 году, не принадлежит Сковороде. Если же Квитка приписывает ему, по памяти, некоторые, принятые в церквах духовные напевы, из которых один именовали даже прямо «Сковородинным», то это могло легко случиться, потому что даровитый мальчик Сковорода, возвратясь из Петербурга, учил желающих придворным напевам тогдашних знаменитостей вроде его земляка Головни, и эти песни сохранились в памяти потомства вместе с его именем.

Впрочем, Сковорода сочинял духовные канты. Профессор петербургской духовной академии В. П. Карпов, к которому я также обращался с вопросом по этому случаю, отвечал мне письменно: «Живя в Киеве, я имел случай слышать напевы, приписываемые Сковороде. Но эти напевы не введены в церковное употребление, а употребляются келейно, в частных, обычных собраниях киевского духовенства, любящего заветную старину».

В бытность Сковороды в Петербурге, придворным певчим было неслыханно привольное житье. В то время были

в зените славы Разумовские, украинцы по происхождению и по душе. Мальчиков, взятых ко двору за голос, лелеяли, ласкали. В числе певчих были дети и значительных малороссийских панов, каковы Стоцкие, Головачевские. Старея, если их не возвращали на родину, они сохраняли важный, сановитый вид и гордились, нося название певчих двора любимой императрицы. Но Сковорода оставался при дворе недолго — около двух лет.

«Императрица, — продолжает Коваленский, — скоро предприняла путешествие в Киев, и с нею весь круг двора. Сковорода прибыл туда вместе с другими певчими».

Это было в августе 1744 года.

В «Киевских Губернских Ведомостях» 1846 года[1] (августа 23-го, в неофициальной части, стр. 327—328) мы нашли статью: *«О посещении императрицею Елисаветою Петровною Киева»*, где говорится следующее об этом любопытном событии: «Елисавета здесь прожила несколько недель; пешком посещала пещеры и храмы, раздавала дары священству и неимущим. Ее встречали и конвоировали войска малороссийские[2]. Войска были одеты наново, в синих черкесках, с вылетами, и в широких шальварах, с разноцветными по полкам шапками. Из киевской академии были выписаны вертепы: певчие пели, семинаристы представляли зрелища божественные в лицах и пели канты поздравительные. А в Киеве молодой студент, в короне и с жезлом,

[1] Подробности о путешествии императрицы Елисаветы по Малороссии помещены в «Черниговских Губерн. Ведом.» 1852 г., № 29 и 45 («Рассказ современника, из дневника подскарбия» Андрея Марковича).

[2] В *«Записках о слободских полках»* с начала их поселения до 1766 года (Харьков, 1812 г.), при описании встречи императрицы у города Севска, говорится: «При этом бригадир Лесевицкий, по старости и слабости, а харьковский полковник Тевяшев, по неизвестной причине, отказались быть при отряженных командах, и полку харьковского отрядом командовал полковой обозный Ив. Вас. Ковалевский». Оба последние лица впоследствии играли роль в жизни Сковороды.

в виде древнего старца, выехал за город в колеснице, названной «фаэтон божественный», на двух конях крылатых, которых студенты назвали пегасами и которые были не что иное, как пара студентов. Этот странник представлял киевского князя Владимира Великого, на конце моста встретил он государыню и произнес длинную речь, в которой называл себя князем киевским, ее — своею наследницею, приглашал ее в город и поручал весь русский народ во власть ее и в милостивое покровительство.

При возвратном отбытии Двора в Петербург, — продолжает Коваленский, — Сковорода получил увольнение, с чином придворного уставщика, и остался в Киеве продолжать учение»[1].

Гесс-де-Кальве прибавляет: «Там молодой Сковорода занялся ревностно еврейским, греческим и латинским языками, упражняясь притом в красноречии, философии, метафизике, математике, естественной истории и богословии. Но он совершенно не имел расположения к духовному званию, для которого, впрочем, преимущественно отец назначал его. И его нерасположенность возросла до такой степени, что он, замечая желание киевского архиерея посвятить его в священники, прибегнул к хитрости и притворился сумасбродным, переменил голос, стал заикаться. Почему обманутый архиерей выключил его из бурсы как непонятного и, признав неспособным к духовному званию, позволил ему жить где угодно. Этого-то и хотел Сковорода; будучи на свободе, он почитал себя уже довольно награжденным за несносные для него шесть лет, которые, впрочем, он совсем иначе употребил, нежели

[1] Этот чин давался обыкновенно всем лучшим придворным певчим при оставлении ими капеллы и означал запевалу в хоре, смелого и одаренного острым слухом. Уставщик же при дворе носил особое платье и в хоре был с булавой (со слов П. Е. Беликова).

как думали все его окружавшие. Он приобрел большие сведения в разных науках» («Украинский Вестник» 1817 г.).

«Круг наук, преподаваемых в Киеве, — продолжает Коваленский, — показался ему недостаточным. Сковорода пожелал видеть чужие края. Скоро представился к этому повод, и он им воспользовался охотно.

От Двора был отправлен в Венгрию, к Токайским садам, генерал-майор Вишневский, который, для находившейся там греко-российской церкви, хотел иметь церковников, способных к службе и пению. Сковорода, известный уже знанием музыки, голосом и желанием своим быть в чужих краях, также знанием некоторых языков, был представлен Вишневскому и взят им под покровительство. Путешествуя с генералом Вишневским, он получил его позволение и помощь к обозрению Венгрии, Вены, Офена, Пресбурга и других мест Австрии, где из любопытства старался знакомиться более с людьми учеными. Он говорил чисто и хорошо по-латыни и по-немецки и порядочно понимал греческий язык, почему легко мог приобретать знакомство и расположение ученых, а с тем вместе и новые познания, каких не имел и не мог иметь на родине».

Гесс-де-Кальве, также коротко знавший Сковороду, сообщает об этом еще несколько любопытных подробностей: «Он взял посох в руку и отправился истинно философски, т. е. пешим и с крайне тощим кошельком. Он странствовал в Польше, Пруссии, Германии и Италии, куда сопровождала его нужда и отречение от всяких выгод. Рим любопытству его открыл обширное поле. С благоговением шествовал он по сей классической земле, которая некогда носила на себе Цицерона, Сенеку и Катона. Триумфальные врата Траяна, обелиски на площади св. Петра, развалины Каракальских бань, словом — все остатки сего владыки света, столь противоположные нынешним постройкам тамошних монахов, шутов, шарла-

танов, макаронных и сырных фабрикантов, произвели в нашем цинике сильное впечатление. Он заметил, что не у нас только, но и везде, богатому поклоняются, а бедного презирают; видел, как глупость предпочитают разуму, как шутов награждают, а заслуга питается подаянием; как разврат нежится на мягких пуховиках, а невинность томится в мрачных темницах». Гесс-де-Кальве здесь несколько фантазирует, но легко могло быть, что это отступление от речи строгого историка навеяно ему рассказами самого Сковороды. Далее он говорит: «Наконец, обогатившись нужными познаниями, Сковорода желал непременно возвратиться в свое отечество. Надеясь всегда на проворство ног, он пустился назад. Как забилось сердце его, когда он издали увидел деревянную колокольню родимой своей деревушки! Вербы, посаженные в отеческом дворе тогда, как он был еще дитятею, распростирали свои ветви по крыше хижины. Он шел мимо кладбища; тут большое число новых крестов бросало длинные тени. «Может быть, многих, — думал он, — теперь заключает в себе мрак могилы!» Он перескочил через ограду, переходил с могилы на могилу, пока, наконец, поставленный в углу камень показал ему, что уже нет у него отца. Он узнал, что все его родные переселились в царство мертвых, кроме одного брата, коего пребывание было ему неизвестно. Побывавши в родимой деревушке, он взял опять свой страннический посох и, многими обходами, пошел в Харьков» (стр. 110—112)[1].

---

[1] О месте родины Сковороды, селе *Чернухах*, я нашел в «Черниговских Губернских Ведомостях» 1853 г., № 4, сведение, что это село издавна представляет людное и торговое место. В этой статье о старине села Чернух сказано: «В Чернухах, лубенского полка, бывает в год четыре ярмарки. Из Киева, Лубен, Прилук и Лохвицы сюда приезжают торговцы с сукнами, кожами и мелочными товарами, а из околицы — хлебом, лошадьми и питейными товарами».

Но еще до посещения Харькова Сковорода испытал одну любопытную превратность судьбы. Об этом говорит Коваленский.

Возвратясь из чужих краев, полный учености, но с весьма скудным состоянием, в крайнем недостатке всего нужнейшего, проживал он у своих прежних приятелей и знакомых. Состояние последних было также невелико; потому они изыскивали случай, как бы употребить его труды с пользою для него и для общества. Скоро открылось место учителя поэзии в Переяславле, куда он и отправился, по приглашению тамошнего епископа Никодима Сребницкого[1].

Сковорода, имея уже обширные, по тогдашнему времени, познания, написал для училища «Руководство о поэзии» в таком новом виде, что епископ счел нужным приказать ему изменить его и преподавать предмет по старине, предпочитавшей силлабические стихи Полоцкого ямбам Ломоносова. Сковорода не согласился. Епископ требовал от него письменного ответа, через консисторию, как он смел ослушаться его предписания. Сковорода отвечал, что он полагается на суд всех знатоков, и прибавил к объяснению своему латинскую пословицу: «Alia res sceptrum, alia plectrum» (Иное дело пастырский жезл, а иное дело — пастушья свирель). Епископ на докладе консистории, сделал собственноручное распоряжение: «Не живяше посреде дому моего творяй гордыню». Вслед за тем Сковорода изгнан был из переяславского училища.

Бедность крайне его стесняла, но нелюбостяжательный нрав поддерживал в нем веселость и бодрость духа.

Он перешел жить к своему приятелю, который знал цену его достоинств, но не знал его бедности. Сковорода не смел

---

[1] По словам О. М. Бодянского, в Переяславле существует предание, что в ту пору сотоварищами по переяславской семинарии у Сковороды были две другие знаменитости: протоирей Гречка и известный впоследствии проповедник Леванда — оба не менее Сковороды богатые разнообразными приключениями.

просить помощи и жил молчаливо и терпеливо, имея только две худые рубашки, камлотный кафтан, одни башмаки и черные гарусные чулки. Нужда сеяла в сердце его, по словам Коваленского, семена, которых плодами обильно украсилась впоследствии его жизнь. Невдалеке жил малороссийский помещик, Степан Тамара, которому нужен был учитель для сына. Сковороду представили ему знакомые, и он принял его в село Каврай.

Здесь Коваленский останавливается со Сковородою несколько долее. Старик Тамара от природы был большого ума, а на службе приобрел хорошие познания от иностранцев; но придерживался застарелых предрассудков и с презрением смотрел на все, что не одето в гербы и не украшено родословными. Сковорода принялся возделывать сердце молодого человека, не обременяя его излишними сведениями. Воспитанник привязался к нему. Целый год шло учение, но отец не удостаивал учителя взглядом, хотя он всякий день сидел у него за столом со своим воспитанником. Тяжело было такое унижение; но Сковорода желал выдержать условие: договор был сделан на год. Тут случилась одна неприятность. Как-то разговаривал он со своим учеником и запросто спросил его, как он думает о том, что говорили? Ученик ответил неприлично. Сковорода возразил, что, значит, он мыслит, «как свиная голова»! Слуги подхватили слово, передали его барыне, барыня мужу. Старик Тамара, ценя все-таки учителя, но уступая жене, которая требовала мести «за родовитого шляхетского сына», названного свиною головою, отказал Сковороде от дому и от должности. При прощанье, однако, он с ним впервые заговорил и прибавил: «Прости, государь мой: мне жаль тебя!»

И вот, за «свиную голову» Сковорода опять остался без места, без пищи, без одежды, но не без надежды, заключает Коваленский.

В крайней нужде зашел он к своему приятелю, переяславскому сотнику. Тут ему представился случай ехать в Мо-

скву, с каллиграфом, получившим место проповедника в московской академии. С ним и поехал. Из Москвы они проехали в Троицко-Сергиевскую Лавру, где был тогда наместником Кирилл Флоринский, больших познаний человек, бывший впоследствии епископом черниговским. Кирилл стал уговаривать Сковороду, уже знакомого ему по слухам, остаться в Лавре для пользы училища; но любовь к родине влекла его в Малороссию. Сковорода возвратился снова в Переяславль, «оставя по себе в Лавре имя ученого и дружбу Кирилла»[1]. Сковорода уже отдалялся от всяких привязанностей и становился странником, без родства, стяжаний и домашнего угла.

Не успел он приехать в Переяславль, как Тамара поручил знакомым отыскивать его и просить снова к себе. Сковорода отказался. Тогда один знакомый обманом привез его, сонного, в дом Тамары ночью, где его и успели уговорить остаться. Он остался без срока и без условий.

Поселясь в деревне и обеспечив свои первые нужды, он стал предаваться уединению и размышлениям, удаляясь в поля, рощи и аллеи сада. «Рано утром заря была ему спутницею, а дубравы собеседниками». Это не осталось без последствий. Коваленский сохраняет в своем рассказе выдержку из оставшихся у него «Записок» Сковороды. Из этой выдержки видно, что Сковорода жил у Тамары в 1758 году. Значит, со времени его петербургской жизни уже прошло четырнадцать лет, и он вступал в тридцать шестой год

---

[1] Вероятно, к этому времени относится черта, сохраненная в статье г Снегирева «*О старинном русском переводе Тита Ливия*» («Ученые записки Импер. Моск. Университета» 1833 г., ч. 1, стр. 694—695). Вот слова г. Снегирева: «Перевод Тита Ливия хранится в патриаршей библиотеке, под № 292, в четырех больших томах, писан скорописью; на заглавии IV тома надписано «Переведена с латинского диалекта на славенский трудами учителя Коллегиума Черниговского, року 1716». На бумажной закладке, вложеной в один том, подписано *рукою Григория Сковороды*, известного под именем украинского философа: «*196 году, месяца Мая, в 29 день, купил Сковорода, дал восемь алтын*»

жизни. Учителю Тамары стали видеться чудные, знаменательные сны.

«В полночь, ноября 24 числа, 1758 года, в селе Каврае, — говорит Сковорода, — казалось во сне, будто рассматриваю различные охоты жития человеческого, по разным местам. В одном месте я был, где царские чертоги, наряды, музыка, плясания; где любящиися то пели, то в зеркала смотрелись, то бегали из покоя в покой, снимали маски, садились на богатые постели. Оттуда повела меня сила к простому народу. Люди шли по улицам, с скляницами в руках, шумя, веселясь, шатаясь, также и любовные дела сродным себе образом происходили у них». Сон заключается картиною сребролюбия, которое с «кошельком таскается» всюду, и с видом сластолюбия, попирающего смиренную бедность, «имеющую голые колени и убогие сандалии». Сковорода кончает словами: «Я, не стерпя свирепства, отвратил очи и вышел».

Более и более влюблялся он в свободу и уединение. Мысли просились к перу. Он писал стихи. Прочтя одно из них, старый Тамара сказал: «Друг мой! Бог благословил тебя даром духа и слова!»[1]

Сковорода продолжал учить сына Тамары языкам и первым сведениям. Вскоре ученику выпало на долю перейти в другой круг; Сковорода также вступил на новое поприще. В Белгород прибыл епископ Иосаф Миткевич. Он вызвал из Переяславля своего друга, игумена Гервасия Якубовича. Последний заговорил о Сковороде; епископ вызвал к себе бывшего учителя Тамары и доставил ему место учителя поэзии в харьковском коллегиуме в 1759 году[2].

---

[1] Эти стихи написаны на тему: «Ходя по земле, обращайся на небесах» и помещены в рукописном сборнике «Сад песней» под № 2.

[2] В это время ректором коллегиума был архимандрит Константин Бродский, из префектов московской академии, а префектом — Лаврентий Кордет, игумен (См. статью о коллегиуме в «Молодике» 1843 г., стр. 30).

Отрадно остановиться здесь над Сковородою. Жизнь ему на время улыбнулась. Он явился уже в простом, но приличном наряде. Чудак начинает в нем пробиваться по поводу пищи, которую он принимал только вечером, по захождении солнца, и ел только овощи, плоды и молочные блюда, не употребляя ни мяса, ни рыбы. Спит в сутки только четыре часа. Встает до зари и пешком отправляется за город гулять; как замечает Коваленский, пред всеми «весел, бодр, подвижен, воздержан, благодушенствующ, словоохотен, из всего выводящий нравоучение и почтителен». Год прошел, и он, оконча срочное время, приехал в Белгород к Иосафу отдохнуть от трудов. Епископ, желая удержать его долее при училище, поручил Гервасию уговаривать его, как приятеля, вступить в монашеское звание, обещая при этом скоро довести его до высокого сана. Сковорода отказался. Гервасий стал с ним холоден. Тогда Сковорода, на третий же день по прибытии в Белгород, дождавшись в передней выхода Гервасия, подошел к нему и попросил себе «напутственного благословения». Гервасий понял его намерение и благословил его, скрепя сердце. Сковорода отправился к новому своему приятелю, в деревню Старицу, в окрестности Белгорода. Это было хорошенькое место, богатое лесами, водоточинами и уютными «удольями», по словам Коваленского, «благоприятствующими глубокому уединению». Здесь Сковорода принялся изучать себя и на эту тему написал несколько сочинений. Гервасий донес епископу о поступке Сковороды. Иосаф не досадовал, а только пожалел о нем. Пустынножительство Сковороды продолжалось в Старице. Соседи, заслышав о его нраве, съезжались с ним познакомиться. Он также посещал некоторых по деревням, и, между прочим, вздумал снова посетить Харьков. «Некто, — говорит Коваленский, — из познакомившихся с ним, сделавшись приятелем его, просил, чтоб, будучи в Харькове, познакомился он с племянником его, молодым человеком, находившимся там для наук, и не оставил бы его добрым словом». Здесь Коваленский под именем племянника говорит о себе самом. С

этой поры он познакомился с Сковородою, и ему мы обязаны достоверным жизнеописанием Сковороды. Встретившись с ним в Харькове, Сковорода, смотря на него, полюбил его, и полюбил до самой смерти.

Иосаф между тем, не теряя Сковороды из виду и желая привлечь его снова в харьковское училище, предложил ему должность учителя, какую он захочет. Полюбив нового своего знакомого, Сковорода принял предложение епископа и остался в Харькове преподавать в коллегиуме синтаксис и греческий язык.

Покинув Белгород для Харькова, Сковорода, кроме коллегиума, занялся с новым своим другом, М. И. Коваленским. Он стал чаще и чаще навещать его, занимал его музыкою, чтением книг, — словом, невольно стал его руководителем. Молодой человек, воспитываемый до той поры полуучеными школьными риторами и частью монахами, с жадностью стал вслушиваться в слова нового учителя. Одни говорили ему, что счастье состоит в довольстве, нарядах и в праздном веселье. Сковорода говорил, что счастье — ограничение желаний, обуздание воли и трудолюбивое исполнение долга. Вдобавок к этому, словам Сковороды отвечала и жизнь его, и его дела. Ученик проходил с ним любимых древних авторов: Плутарха, Филона, Цицерона, Горация, Лукиана, Климента, Оригена, Дионисия Ареопагита, Нила и Максима-Исповедника. Новые писатели шли с ними рядом. Предприняв перевоспитать своего ученика совершенно, Сковорода почти ежедневно писал к нему письма, чтобы ответами на них вкратце приучить его мыслить, писать. Вскоре, именно в *1763 году*, как сам Коваленский приводит в выдержке из своих тогдашних «Поденных Записок», он увидел сон, в котором на ясном небе представились ему золотые очертания имен трех отроков, вверженных в печь огненную: Анания, Азария и Мисаила. От этих трех слов на Сковороду сыпались искры, а некоторые попадали и на Коваленского, производя в нем легкость, спокойствие и довольство духа. «Поутру, — говорит он, — встав рано, пересказал я сие

видение старику, троицкому священнику, Бор., у которого я имел квартиру. Старик сказал: молодой человек! слушайтесь вы сего мужа; он поставлен вам от Бога руководителем и наставником. С того часа молодой сей человек предался вседушно дружбе Григория Сковороды». Три отрока, говорил ему Сковорода, — это три способности человека: ум, воля и деяние, не покоряющиеся злому духу мира, не сгорающие от огня любострастия. Это объяснил ему Сковорода уже через тридцать лет самой тесной дружбы с своим учеником, за два месяца до своей кончины, потому что последний не решался ему рассказать прежде своего сна.

В беседах с своим учеником, разделяя человека надвое, на внутреннего и внешнего, Сковорода этого внутреннего человека называл Минервою, по сказке о происхождении Минервы из головы Юпитера. «Таким образом, часто, — говорит ученик, — видя робкого военачальника, грабителя судью, хвастуна ритора, роскошного монаха, он с досадою замечал: вот люди без Минервы! Взглянув на изображение Екатерины II, бывшее в гостиной у друга его, сказал он с движением: вот голова с Минервою!»

В своих беседах он приглашал ученика в поздние летние вечера за город и незаметно доводил его до кладбища. Тут он при виде песчаных могил, разрытых ветром, толковал о безумной боязливости людской при виде мертвых. «Иногда же, — замечает Коваленский, — он пел там что-либо, приличное благодушеству; иногда же, удаляясь в близлежащую рощу, играл на флейттраверсе, оставя ученика своего между могил одного, чтоб издали ему приятнее было слушать музыку. Так он укреплял бодрость мысли и чувств своего ученика.

В 1764 году Коваленский поехал в Киев из любопытства. Сковорода решился ехать с ним, и они отправились в августе. Там они осматривали древности, а Сковорода был их истолкователем. «Многие из соучеников его и родственников, — замечает Коваленский, — будучи тогда монахами в Печерской Лавре, напали на него неотступно, говоря: «Полно бро-

дить по свету! Пора пристать к гавани! нам известны твои таланты! ты будешь столп и украшение обители!» — «Ах, — возразил в горячности Сковорода, — довольно и вас, столбов неотесанных!» Через несколько дней Коваленский возвратился домой, а Сковорода остался погостить у своего родственника, печерского типографа Иустина. Спустя два месяца он снова приехал из Киева в Харьков. Украйну он предпочитал Малороссии за воздух и воды. «Он обыкновенно, — замечает его ученик, — называл Малороссию матерью, потому что родился там, а Украйну теткою, по жительству в ней и по любви к ней».

В Харькове был тогда губернатором Евдоким Алексеевич Щербинин, человек старого века, но поклонник искусств и наук, а в особенности музыки, в которой сам был искусен. Он много наслышался о Сковороде. Один старожил передал мне о первой встрече его с Сковородою. Щербинин ехал по улице, в пышном рыдване и с гайдуками, и увидел Сковороду, сидевшего у гостиного двора, на тротуаре. Губернатор послал к нему адъютанта. «Вас требует к себе его превосходительство!» — «Какое превосходительство?» — «Господин губернатор!» — «Скажите ему, что мы незнакомы!» Адъютант, заикаясь, передал ответ Сковороды. Губернатор послал вторично. «Вас *просит* к себе *Евдоким Алексеевич Щербинин!*» — «А! — ответил Сковорода, — об том слыхал; говорят, добрый человек и музыкант!» И, снявши шапку, подошел к рыдвану. С той минуты они сошлись. Коваленский сохраняет черты их дальнейших отношений. «Честный человек, для чего не возьмешь ты себе известного состояния?» — спросил его Щербинин в первые дни знакомства. «Милостивый государь, — отвечал Сковорода, — свет подобен театру. Чтоб представить на нем игру с успехом и похвалою, берут роли по способностям. Действующее лицо не по знатности роли, но за удачность игры похваляется. Я увидел, что не могу представить на театре света никакого лица удачно, кроме простого, беспечного и уединительного; я сию роль выбрал, и доволен». — «Но, друг мой! — про-

должал Щербинин, отведя его особенно из круга, — может быть, ты имеешь способности к другим состояниям, да привычка, мнения, предубеждение...» («мешают» — хотел он сказать). — «Если бы я почувствовал, — перебил Сковорода, — сегодня же, что могу рубить турок, то привязал бы гусарскую саблю и, надев кивер, пошел бы служить в войско. А ни конь, ни свинья не сделают этого, потому что не имеют природы к тому!..»

Любимым занятием Сковороды в это время была музыка. Он сочинял духовные концерты, положа некоторые псалмы на музыку, также и стихиры, певаемые на литургии. Эти вещи были, по словам Коваленского, исполнены гармонии, простой, но важной и проникающей душу. Особую склонность питал он к ахроматическому роду музыки. Сверх того, он играл на скрипке, флейттраверсе, бандуре и гуслях. По словам г. Срезневского («Утренняя Звезда» 1834 г., кн. I), «он начал музыкальное поприще в доме своего отца — *сопилкою*, свирелью. Там, одевшись в юфтовое платье, он отправлялся от раннего утра в рощу и наигрывал на сопилке священные гимны. Мало-помалу он усовершенствовал свой инструмент до того, что мог на нем передавать переливы голоса птиц певчих. С тех пор музыка и пение сделались постоянным занятием Сковороды. Он не оставлял их в старости. За несколько лет до смерти, живя в Харькове, он любил посещать дом одного старичка, где собирались беседы добрых, подобных хозяину, стариков. Бывали вечера и музыкальные, и Сковорода занимал в таких случаях всегда первое место, пел primo и за слабостью голоса вытягивал трудные solo на своей флейте, как называл он свою сопилку, им усовершенствованную. Впрочем, он играл и пел, всегда наблюдая важность, задумчивость и суровость. Флейта была неразлучною его спутницей; переходя из города в город, из села в село, по дороге он всегда или пел, или, вынув из-за пояса любимицу свою, наигрывал на ней свои печальные фантазии и симфонии.

В 1766 г., по повелению Екатерины II, харьковским училищам, по предстательству Щербинина, прибавлены некоторые науки под именем «прибавочных классов». Между прочим, благородному юношеству было назначено преподавать правила благонравия. Начальство для этого избрало Сковороду, которому было уже сорок четыре года, и он принял вызов охотно, даже без определенного оклада жалованья, ссылаясь, что это доставит ему одно удовольствие. В руководство ученикам написал он тогда известное свое сочинение: «*Начальная дверь к христианскому добронравию для молодого шляхетства Харьковской губернии*» [1]. Все просвещенные люди, замечает при этом Коваленский, отдали Сковороде полную справедливость. Но нашлись при этом завистники и гонители. Г. Срезневский, в своей статье: «Отрывки из записок о старце Сковороде» («Утренняя Звезда», кн. I), сохранил об этом несколько любопытных подробностей. Воротившись из-за границы, Сковорода был полон нового учения, новых животворных истин, добытых на пользу человечества, любящий все доброе и честное и ненавидящий ложь и невежество. «Бедный странник, — говорит г. Срезневский, — в рубище явился он в Харьков. Скоро распространилась молва о его учености и красноречии». В предварительной лекции, по получении кафедры правил благонравия в училище, он высказал некоторые свои мысли и напугал непросвещенных своих товарищей. И в самом деле, могли ли они не быть поражены таким громким вступлением! Выписываю оное слово в слово: «Весь мир спит! Да еще не так спит, как сказано: аще упадет, не разбиется; спит глубоко, протянувшись, будто ушибен! А наставники не только не пробуживают, но еще поглаживают, глаголюще: спи, не

---

[1] Напечатана вполне в «Сионском Вестнике» Феопемпата Мисаилова, 1806 г., ч. III, и в «Утренней Звезде», 1834 г., кн. I, в отрывках, в статье И. И. Срезневского. Начало этого сочинения, под именем *Преддверия Сковороды*, напечатано еще в «*Москвитянине*», 1842 г., ч. I с заметкою: доставлено г. Срезневским.

бойся, место хорошее... чего опасаться!» Волнение было готово. Но это только начало, и скоро все затихло. Сковорода начал свои уроки, написал вышеупомянутое сочинение, как сокращение оных, отдал рукопись, и тогда-то буря восстала на него всею силой. Рукопись пошла по рукам. С жадностью читали ее. Но как некоторые места в ней найдены сомнительными, то Сковороду осудили на отрешение от должности. Конечно, тут действовала более зависть; но невежество было для нее достаточною подпорою, и оно-то всего более оскорбило Сковороду. Назначены были диспуты. Сочинение разобрано на них с самой дурной стороны, все истолковано в превратном смысле. Сковороду обвинили в таких мыслях, каких он и иметь не мог. Сковорода опровергал противников умно; но решение осталось прежнее, Сковорода был принужден удалиться из Харькова».

Коваленский продолжает рассказ. Близ Харькова есть место, называемое *Гужвинское*. Это — поместье Земборгских, покрытое угрюмым лесом, в глуши которого была устроена тогда пасека, с хижиною пчельника. На этой пасеке, у любимых им помещиков, поселился Сковорода, укрываясь от молвы и врагов. Здесь написал он сочинение «*Наркиз, познай себя*»; вслед за тем, тут же он написал рассуждение: «*Книга Асхань, о познании себя*»[1]. Это были первые полные сочинения Сковороды; прежде, говорит Коваленский, он написал только «малые отрывочные сочинения, в стихах и в прозе». «Лжемудрое высокоумие, не в силах будучи уже вредить ему, употребило другое орудие — клевету. Оно разглашало повсюду, что Сковорода восстает против употребления мяса и вина, против золота и ценных вещей и что,

---

[1] Первая не напечатана. Второй также я нигде не нашел в печати. Но в списке сочинений Сковороды, переданном мне от преосвященного Иннокентия, сказано: «Асхань, о познании себя» напечатана в Петербурге, в 1798 году». Это, вероятно, книга под другим именем: «*Библиотека духовная, дружеская беседа о познании себя*», о которой я скажу ниже, в перечне сочинений Сковороды.

удаляясь в леса, не имеет любви к ближнему, а потому называли его манихейцем, мизантропом, человеконенавистником». Сковорода, узнавши об этом, явился в город и в первом же обществе нашел случай разгромить очень диалектически своих врагов. «Было время, — говорил он, по словам Коваленского, — когда он воздерживался, для внутренней экономии своей, от мяса и вина. Не потому ли и лекарь охуждает, например, чеснок тому, к которому вредный жар вступил в глаза?» И стрелы его против «оглагольников его» сыпались без числа. Слушавшие его только робко переглядывались и не возражали. Он раскланялся и вышел. Новое уединение влекло его к себе.

В Изюмском округе, Харьковской губернии, продолжает Коваленский, жили тогда дворяне *Сошальские*, младший брат которых приглашал Сковороду разделить его жилище и дружбу. Сковорода поехал с ним в деревню его, Гусинку, полюбил снова и место, и хозяев и поселился у них, по обычаю своему, на пасеке. Тишина, безмятежность и свобода снова возбудили в нем чувство несказанного удовольствия. «Многие говорят, — писал он при этом к Коваленскому, — что делает в жизни Сковорода, чем забавляется? Я радуюсь, а радование есть цвет человеческой жизни!» В это время бывший ученик его поехал на службу в Петербург. Это было в ноябре 1769 года. Там прожил он три года, превознося своего учителя. Сковорода, между тем, в 1770 году с Сошальскими уехал в Киев. Там поселился он у своего родственника Иустина в Китаевской пустыни, близ Киева, и прожил тут три месяца. «Но вдруг, — по словам Коваленского, — приметил он однажды в себе внутреннее движение духа, побуждавшее его ехать из Киева. Он стал просить Иустина отпустить его в Харьков. Родственник начал его уговаривать остаться. Сковорода обратился к другим приятелям с просьбою отправить его на Украйну. Между тем пошел он на Подол — нижний Киев. Сходя туда по горе, он, по словам его, вдруг остановился, почувствовавши сильный запах трупов. На другой же день он уехал из Киева. При-

ехавши через две недели в Ахтырку, он остановился в монастыре, у своего приятеля, архимандрита Венедикта, и успокоился. Неожиданно получается известие, что в Киеве чума и город уже заперт». Поживя несколько у Венедикта, он обратно отправился в Гусинку, к Сошальским, где и обратился к своим любимым занятиям. Здесь Коваленский делает маленькое отступление в объяснение того, почему Сковорода при жизни подписывался в письмах и сочинениях еще иногда так: *Григорий Варсава Сковорода*, а иногда *Даниил Мейнгард*.

В 1772 году, в феврале, Коваленский поехал за границу и, объехавши Францию, в 1773 году прибыл в швейцарский город Лозанну. Между многими учеными в Лозанне сошелся он с Даниилом Мейнгардом. Этот Мейнгард был до того похож на Сковороду — образом мыслей, даром слова и чертами лица, что его можно было признать ближайшим родственником его. Коваленскому Мейнгард пришелся поэтому еще более по сердцу, и они так сблизились, что швейцарец предложил русскому страннику свой загородный дом под Лозанною, с садом и обширною библиотекой, чем тот и пользовался в свое пребывание в Швейцарии. Возвратясь в 1775 году из-за границы, Коваленский передал о своей встрече Сковороде. И последний до того полюбил заочно своего двойника, что с той поры стал подписываться в письмах и в своих сочинениях: *Григорий Варсава* (по-еврейски: вар — сын Савы) и *Даниил Мейнгард*. Это были его псевдонимы.

В 1775 году Сковороде было уже пятьдесят три года, а он по-прежнему был такой же беспечный, старый ребенок, такой же чудак и охотник до уединения, такой же мыслитель и непоседа. С этого времени его жизнь уже принимает вид постоянных переходов, странствований пешком за сотни верст и кратких отдыхов у немногих, которых он любил и которые гордились его посещениями.

Здесь рассказ Коваленского я прерву воспоминаниями других лиц, писавших о Сковороде. Коваленский говорит:

«И добрая, и худая слава распространилась о нем по всей Украйне. Многие хулили его, некоторые хвалили, и все хотели видеть его. Он живал у многих. Иногда местоположение — по вкусу его, иногда же люди привлекали его. Непременного же жилища не имел он нигде. Более других он в это время любил дворян Сошальских и их деревню Гусинку»[1].

Гесс-де-Кальве говорит об этой поре («Украинский Вестник» 1817 г., кн. IV): «В крайней бедности переходил Сковорода по Украйне из одного дома в другой, учил детей примером непорочной жизни и зрелым наставлением. Одежду его составляла серая свита, пищу — самое грубое кушанье. К женскому полу не имел склонности; всякую неприятность сносил с великим равнодушием. Проживши не-

---

[1] В объяснение слов Коваленского, Гесс-де-Кальве и Ивана Вернета, потомок этих Сошальских, *Е. Е. Сошальский*, доставил мне, от 15 января 1856 г., следующие заметки своего отца: «Друг Сковороды Алексей Юрьевич Сошальский жил в *Гусинке*, возле церкви, где теперь живет В. Ф. Земборгский. Он был старый холостяк, оригинал, упрямого характера и, будучи бездетен, все имение хотел передать своему племяннику, моему отцу. Но рассердился на него за то, что тот приказал выбросить из пруда конопли, которые он велел мочить, и конопли были причиною того, что имение перешло в разные руки. Отец мой после выкупил небольшую часть. Это — то место, где теперь я живу, т. е. хутор Селище, близ леса, называемого Васильков. Я помню и самого Алексея Юрьевича, и дом его, особой архитектуры. Это было очень высокое здание в три этажа. Верхний, по имени летняк, был без печей. Тут с весны проживал хозяин, друг Сковороды. У него были еще два брата, Осип и Георгий — мой дед. Первый жил также в Гусинке, а второй в *Маначиновке*. Недалеко от Гусинки есть лес. Там в то время была хижина и пасека, где Сковорода проживал иногда вместе с Алексеем Юрьевичем. Место называлось Скрынники и получило имя «Скрынницкой пустыни». Друзья ходили оттуда в церковь в Гусинку, где и теперь в алтаре хранится зеркало Сковороды, взятое по смерти его из домика Скрынницкой пустыни. Еще слово. В роде Сошальских было также монашеское звание. Один из предков наших потерял жену от чумы, занесенной в Украйну. Возле матери найден был живым ребенком сын ее. В зрелых летах он часть имения, именно хутор Чернячий, впоследствии взятый в казну, пожертвовал на Куряжский монастырь, близ Харькова, и сам пошел в монахи».

сколько времени в одном доме, где всегда ночевал — летом в саду под кустарником, а зимой в конюшне, — брал он свою еврейскую Библию, в карман флейту и пускался далее, пока попадал на другой предмет. Никто, во всякое время года, не видал его иначе, как пешим; также малейший вид награждения огорчал его душу. В зрелых летах, по большей части, жил он в Купянском уезде, в большом лесу, принадлежавшем дворянину О. Ю. Шекому (Ос. Юр. Сошальскому). Он обыкновенно приставал в убогой хижине пасечника. Несколько книг составляли все его имущество. Он любил быть также у помещика И. И. Меч-кова (И. И. Мечникова). Простой и благородный образ жизни в сих домах ему нравился. Там он воспитывал детей и развеселял разговорами сих честных стариков».

Г. Срезневский говорит о его характере («Утренняя Звезда» 1834 г., кн. I): «Уважение к Сковороде простиралось до того, что почитали за особенное благословение Божие дому тому, в котором поселился он хоть на несколько дней. Он мог бы составить себе подарками порядочное состояние. Но что ему ни предлагали, сколько ни просили, он всегда отказывался, говоря: «Дайте неимущему!» — и сам довольствовался только серой свитой. Эта серая свита, чоботы про запас и несколько свитков сочинений — вот в чем состояло все его имущество. Задумавши странствовать или переселиться в другой дом, он складывал в мешок эту жалкую свою худобу и, перекинувши его через плечо, отправлялся в путь с двумя неразлучными: *палкой-журавлем и флейтой*[1]. И то, и другое было собственного его рукоделья». В тех же «Записках о старце Григории Сковороде» г. Срезневский говорит (стр. 68—71): «Сковорода от природы был добр, имел сердце чувствительное. Но, росший сиротою, он должен был привыкнуть поневоле к состоянию одиночества,

[1] По словам Хиджеу, в статье «*Три песни Сковороды*», — песни Сковороды малороссийские слепцы поют под названием «*Сковородинских веснянов*».

и сердце его должно было подпасть под иго меланхолии и загрубеть, и судьба наконец взяла свое: с летами созрело в нем это ледяное чувство отчуждения от людей и света. Ум Сковороды шел тою же дорогой: сначала добрый, игривый, он мало-помалу тяжелел, делался своенравнее, независимее, дичал все более и, наконец, погрузился в бездну мистицизма. Притом вспомним время, когда жил Сковорода: мистики или квиетисты разыгрывались тогда повсюду в Германии. Сковорода побывал в этой стране и навсегда сохранил предпочтение к ней перед всеми прочими, исключая родины своей. Легко понять, отчего Сковорода заслуживал часто имя чудака, если даже и не юродивого. С сердцем охладелым, с умом, подавленным мистицизмом, вечно пасмурный, вечно одинокий, себялюбивый, гордый, в простом крестьянском платье, с причудами, — Сковорода мог по справедливости заслужить это название. Сковорода жил сам собою, удаляясь от людей и изучая их, как изучает естествоиспытатель хищных зверей. Этот дух сатиризма — самая разительная черта его характера. Вот что говорит Сковорода сам о своей жизни: «Что жизнь? *То сон Турка, упоенного опиумом, — сон страшный*: и голова болит от него, сердце стынет. *Что жизнь? То странствие*. Прокладываю и себе дорогу, не зная, куда идти, зачем идти. И всегда блуждаю между несчастными степями, колючими кустарниками, горными утесами, — а буря над головою, и негде укрыться от нее. Но — бодрствуй!..» Впрочем, Сковорода не искал ни славы, ни уважения. Он жил сам собою. Он не мог равнодушно сносить, чтоб унижали его мысли. Любил иногда похвастаться своими познаниями, особенно в языках. Кроме славянского церковного, русского и украинского, он знал немецкий, греческий и латинский и на всех прекрасно говорил и писал. Сказав, что Сковорода вообще отличался особенною умеренностью как в пище, так и в питии, что он был настоящий постник, и «по сказанию всех, знавших лично его, почти вовсе не употреблял горячих напитков» — г. Срезневский старается защитить Сковороду против замечаний к статье

Гесс-де-Кальве издателей «Украинского Вестника», где указывается на письмо Сковороды, приложенное к статье «Вестника». Письмо писано к харьковскому купцу Урюпину, из Бурлука, от 1790 года, 2 июля; в конце послания «старец Григорий Варсава Сковорода» выражается так: «Пришлите мне ножик с печаткою. Великою печатью не кстати и не люблю моих писем печатать. Люблю печататься еленем. Уворовано моего еленя тогда, *когда я у вас в Харькове пировал и буянил*. Достойно! *Бочоночки оба отсылаются*, ваш и Дубровина; и сей двоице отдайте от меня низенький поклон и господину Прокопию Семеновичу». К словам г. Срезневского в статье «Утренней Звезды» сделал примечание Квитка-Основьяненко, подписавшись буквами: Г. Ф. К-а. Он решает вопрос так: «Хотя Сковорода и не был пьяница, но не был и враг существовавшему в его время здесь обыкновению, в дружеских и приятельских собраниях поддерживать и одушевлять беседы употреблением не вина, которого в то время здесь, кроме крымских и волошских, и слыхом не было слышно, а разного рода наливок в домах приятельских».

Г. Срезневский сохраняет еще одну черту из жизни и нрава Сковороды, которую должно упомянуть прежде, нежели я перейду к дальнейшему развитию рассказа Коваленского.

В «Московском Наблюдателе» 1836 г., ч. VI, г. Срезневский поместил повесть «*Майор-майор*», где рассказывает, как судьба испытала было Сковороду в сердечных стремлениях его, как он чуть было не женился, и остался все-таки холостяком. Среди вымысла разговоров и обыкновенных повествовательных отступлений, автор сберегает любопытные черты, взятые им из преданий старожилов, знавших Сковороду. После того, как Сковорода «с восторгом надел стихарь дьячка греко-российской церкви в Офене, только для того, чтоб убежать из Офена, и, пространствовав на свободе по Европе», беглым дьячком исходил он Венгрию, Австрию, северную Италию и Грецию; странствовал потом по Украйне и «*в 1765 г. зашел в наши Валковские хутора*». Значит, ему было тогда уже сорок три года. Свернув с какой-то тропинки на

проселок, а из проселка на огороды, он наткнулся на садик близ пасеки, где видит девушку, распевавшую песни. Он знакомится с отцом ее, оригинальным хуторянином, носившим прозвище «Майор», часто беседует с ним, учит его дочку; дочка заболевает горячкой, он ее лечит. Тут дочка Майора и Сковорода влюбляются друг в друга. Сковорода, по словам биографов, «вовсе не склонный к женскому полу», увлекается сильнее; его помолвили, ставят под венец. Но тут предание, в рассказе г. Срезневского, сберегает любопытную черту. Природа чудака берет верх — и он убегает из церкви из-под венца... Или Сковорода об этом не рассказывал своему другу Коваленскому, или Коваленский умолчал об этом из деликатности: только в его рассказе этого эпизода не находится.

Продолжаю записки Коваленского.

Полюбя *Тевяшева*, воронежского помещика, Сковорода жил у него в деревне и написал тут сочинение: «Икона Алкивиадская»[1]. Потом он имел пребывание в Бурлуках, у *Захаржевского*, где поместье отличалось красивым видом. Жил также у *Щербинина*, в селе Бабаях, в монастырях Старо-Харьковском, Харьковском училищном, Ахтырском, Сумском, Святогорском, Сеннянском, у своего друга, Коваленского, в селе Хатетове, близ Орла, и в селе Ивановке, у *Ковалевского*, где потом и скончался. «Иногда жил он у кого-либо, — замечает Коваленский, — совершенно не любя пороков своих хозяев, но для того только, дабы через продолжение времени, обращаясь с ними, беседуя, нечувствительно привлечь их *в познание себя, в любовь к истине и в отвра-*

[1] По случаю жизни Сковороды в Воронежской губернии уцелело несколько строк в «*Москвитянине*», 1849 г., ч. XXIV, под именем «*Анекдот о Г. С. Сковороде. Свидание Сковороды с епископом Тихоном III в Острогожске*». Подпись: «Сообщенено Н. Б. Баталиным из Воронежа». Это известие начинается словами: «Некогда Г. С. Сковорода жил в Острогожске». В это время епископу рассказывали о нем как о диве. Епископ, между прочим, в разговоре с ним спросил: «Почему не ходите никогда в церковь?» — «Если вам угодно, я завтра же пойду» И он кротко повиновался желанию епископа.

щение от зла». «Впрочем, во всех местах, где он жил, он избирал всегда уединенный угол, жил просто, один, без услуги. Харьков любил он и часто посещал его. Новый начальник тамошний, услышав о нем, желал видеть его». Губернатор с первого же знакомства спросил, о чем учит его любимая книга, «книга из книг», священная Библия? Сковорода ответил: «Поваренные книги ваши учат, как удовольствовать желудок; псовые — как зверей ловить; модные — как наряжаться; а она учит, как облагородствовать человеческое сердце». Тут он толковал и спорил с учеными, говорил о философии. И во всех его речах была одна заветная цель: побуждение людей к жизни духа, к благородству сердца и «к светлости мыслей, яко главе всего». Из Харькова он надолго отправился в Гусинку, к Сошальским, в «любимое свое пустынножительство». Он был счастлив по-своему и повторял заветную свою поговорку: «Благодарение всеблаженному Богу, что нужное сделал нетрудным, а трудное ненужным!» Усталый, говорит Коваленский, приходил он к престарелому пчелинцу, недалеко жившему на пасеке, «брал с собою в сотоварищество любимого пса своего, и трое, составив общество, разделяли они между собою свечерю». «Можно жизнь его было назвать жизнью; не таково было тогда состояние друга его!» — заключает Коваленский и переходит к описанию собственного положения, когда он почти на двадцать лет расстался с Сковородою и, увлеченный вихрем света и столичной жизни, свиделся с ним опять уже в год смерти бывшего своего учителя. Здесь я на время расстанусь с рассказом Коваленского и пополню его слова из других источников о Сковороде, а именно несколькими анекдотами о странствующем философе, записанными харьковскими старожилами, без означения времени.

По словам Ф. Н. Глинки, Екатерина II знала о Сковороде, дивилась его жизни, уважала его славу и однажды, через Потемкина, послала ему приглашение из Украйны переселиться в столицу. Посланный гонец от Потемкина, с юга Малороссии, застал Сковороду с флейтою на закраине дороги, близ которой ходила овца хозяина, приютившего на

время философа. Сковорода, выслушав приглашение, ответил: «Скажите матушке-царице, что я не покину родины...

Мне моя свирель и овца
Дороже царского венца!»

В «Украинском Вестнике» (1817 г., кн. IV) сохранили о Сковороде несколько любопытных черт Гесс-де-Кальве и Иван Вернет.

Гесс-де-Кальве говорит: «Чтобы дать понятие об остроумии и скромности Сковороды, приведу два случая. При странном поведении его, неудивительно, что некоторые забавники шутили над ним. Г***, умный и ученый человек, но атеист и сатирик (он был воспитан по-французски), хотел однажды осмеять его. «Жаль, — говорил он, — что ты, обучившись так хорошо, живешь как сумасшедший, без цели и пользы для отечества!» — «Ваша правда, — отвечал философ, — я до сих пор еще не сделал пользы; но надобно сказать — и никакого вреда! Но вы, сударь, безбожием вашим уж много сделали зла. Человек без веры есть ядовитое насекомое в природе. Но байбак (суслик), живя уединенно под землею, временем, со своего бугорка, смотря на прекрасную натуру, от радости свищет и притом никого не колет!» Г*** проглотил пилюлю; однако она не подействовала: он остался, как и был, безбожником до последнего издыхания». «Другой анекдот, — говорит Гесс-де-Кальве, — показывает скромность Сковороды. Многие желали познакомиться с ним. Иные, будучи водимы благородным чувством, а другие, чтобы над ним почудиться, как над редким человеком, полагая, что философ есть род орангутангов, которых показывают за деньги. В Таганроге жил Г. И. Коваленский, воспитанник Сковороды (это, вероятно, брат Коваленского, автора записок о Сковороде). Чтобы навестить его, пустился наш мудрец в дорогу, на которой, как он сам говорил, промешкал более года. Когда же он прибыл в Таганрог, то ученик его созвал множество гостей, между которыми были весьма знатные люди, хотевшие познакомиться с Сковородою. Но сей, будучи враг пышности и многолюд-

ства, лишь только приметил, что такая толпа милостивцев собралась единственно по случаю его прибытия туда, тотчас ушел из комнаты, и, к общей досаде, никто не мог его найти. Он спрятался в сарай, где до тех пор лежал в закрытой кибитке, пока в доме стало тихо». Гесс-де-Кальве заключает свои воспоминания словами: «Вот несколько довольно странных его изречений: «Старайся манить собаку, но палки из рук не выпускай», «Курица кудахчет на одном месте, а яйца кладет на другом», «Рыба начинает от головы портиться».

Вот несколько черт, переданных во всей наивности Иваном Вернетом, еще любопытнее. «Подле Лопанского моста, в Харькове, в доме почтенного моего приятеля, *П. Ф. Пискуновского*, досталось мне видеть в последний раз Григория Саввича Сковороду. Он был муж умный и ученый. Но своенравие, излишнее самолюбие, не терпящее никакого противоречия, слепое повиновение, которого он требовал от слушавших его — magister dixit, — затмевали сияние дарования его и уменьшали пользу, которую общество могло ожидать от его способностей. Ему надлежало бы, по совету Платона, который относил слова свои к Ксенократу, *почаще приносить жертву грациям*. Истина в устах его, не будучи прикрыта приятною завесою скромности и ласковости, оскорбляла исправляемого. Всех более удивлялись ему достопочтенные Я. М. Донец-Захаржевский и А. Ю. Сошальский. Сковорода преимущественно любил малороссиян и немцев. Сия исключительная любовь была причиною моего с ним прения и несогласия при первом свидании. Сковорода был музыкантом. Его духовные канты мне нравятся. Но стихи его вообще противны моему слуху, может быть, от того, что я худой знаток и ценитель красот русской поэзии. При всем том, я чувствую в себе склонность подражать ему в некоторых отношениях. И вместо того, чтобы чувствительно оскорбиться тем, *что он меня назвал мужчиною с бабьим умом и дамским секретарем*, я еще был ему весьма обязан за сии титла. Это было в те счастливые лета, когда человек, у *коего не тыква на месте головы и не кусок дерева вместо сердца*, поставляет все свое

благополучие в том, чтобы любить и быть любиму; когда чувствительное сердце ищет себе подобного, и когда милая улыбка любимого предмета так восхищает сердце и душу, как после суровой зимы солнечная теплота, пение птиц и природа во всем ее убранстве» («Украинский Вестник» 1817 г., кн. IV). Модное некогда, как впоследствии — разочарованность, «чувствительное сердце» Ивана Вернета заставило его сказать в конце от души: «Я нарочно ездил из Мерчика (имение Шидловских) в деревню Ивановку, Богодуховского уезда, для посещения могилы, в коей почивают бренные останки незабвенного Сковороды. И. Вернет. *Софийское, Валковского уезда. В марте 1817 года».*

Г. Срезневский сообщает также любопытный анекдот о Сковороде («Утренняя Звезда» 1834 г., кн. I): «Редко, очень редко Сковорода изменял своей важности, а если и изменял, то в таких только случаях, когда действительно было трудно сохранить оную. Суровый старец, он был, однако, застенчив и не мог терпеть, когда пред ним величали его достоинства. Он становился сам не свой, он терялся, когда пред ним внезапно являлся кто-нибудь из давно желавших видеть его и разливался в приветствиях. Так случилось однажды в доме *Пискуновского*, старика, любимого Сковородою. Это было вечером, во время их обыкновенной стариковской беседы. Молча, с глубочайшим вниманием слушали старики рассказы и нравоучения старца, который, выпивши на этот раз лишнюю чарку вина, среди розыгра своего воображения, говорил хотя и медленно и важно, но с необыкновенным жаром и красноречием. Прошел час и другой, и ничто не мешало восторгу рассказчика и слушателей. Сковорода начал говорить о своем сочинении «Лотова жена», сочинении, в коем положил он главные основания своей мистической философии. Сковорода рассказал уже очерк. Начинаются подробности. Вдруг дверь с шумом растворяется, половинки хлопают, и молодой Х-в, франт, недавно из столицы, вбегает в комнату. Сковорода при появлении незнакомого, умолк внезапно. «Итак, — восклицает Х-в, — я,

наконец, достиг того счастья, которого столь долго и напрасно жаждал. Я вижу, наконец, великого соотечественника моего, Григория Саввича Сковороду! Позвольте...» — и подходит к Сковороде. Старец вскакивает; сами собою складываются крестом на груди его костлявые руки; горькой улыбкой искривляется тощее лицо его, черные впалые глаза скрываются за седыми нависшими бровями, сам он невольно изгибается, будто желая поклониться, и вдруг прыжок, и трепетным голосом: «*Позвольте! тоже позвольте*!» — и исчез из комнаты. Хозяин за ним; просит, умоляет — нет. «С меня смеяться!» — говорит Сковорода и убежал. И с тех пор не хотел видеть Х-а».

Выписываем еще несколько строк из повести г. Срезневского «*Майор-майор*» («Московский Наблюдатель» 1836 г., ч. IV), где он сохранил, по рассказам старожилов, портрет Сковороды, относящийся к его поздней жизни в Харькове и окрестностях. «Сухой, бледный, длинный, — говорил он, — губы изжелкли, будто истерлись; глаза блестят то гордостью академика, то глупостью нищего, то невинным простодушием дитяти; поступь и осанка важная, размеренная». В это время слава Сковороды шла уже далеко, и украинские бродячие певцы, называемые «бандуристами» и «слепцами», подхватывали его стихи и духовные канты и распевали их на больших дорогах, именуя их «псалмами».

ГЛАВА III

Переписка Сковороды. — Письма Коваленского. — Свидание с другом через двадцать лет разлуки. — Болезнь, старческая суровость и смерть. — Надгробная и вызов через «Московские Ведомости» читать его сочинения. Письмо Н. С. Мягкого. — Заключение

Начиная с 1775 года, когда Сковороде исполнилось уже за пятьдесят лет, его биографы оставляют в его жизни пробел, вплоть до самой его смерти. Коваленский, выразившись,

что около 1775 года расстался с ним, «увлеченный великим светом», возбудившим в нем «разум внешний», на двадцать лет, прямо уже переходит к рассказу о Сковороде в 1794 году, когда снова столкнулся с ним и навеки оплакал своего друга. Г. Срезневский, после всего взятого мною из его «Записок о старце Григории Сковороде», также кончает свою статью коротеньким описанием его смерти. Этот пробел почти в двадцать лет, кроме приведенных мною анекдотов, хотя несколько могут осветить выдержки из немногих уцелевших писем Сковороды. Эти письма приложены частью к нескольким изданным его сочинениям, частью же сопровождают его рукописные сочинения, с которыми постоянно и списываются как необходимое предисловие к его рассуждениям, обращавшимся постоянно к тем, к кому он писал письма. Кроме того, два письма Сковороды помещены отдельно в «*Украинском Вестнике*», при статье Гесс-де-Кальве и Ивана Вернета, и несколько отрывков их напечатано в статье В. Н. Каразина и И. И. Срезневского в «*Молодике*» 1843 года. Нельзя не упомянуть при этом и нескольких намеков на письма, именно на подписи их года и числа и места жительства Сковороды, в подстрочных выносках при статье Хиждеу, в «*Телескопе*» 1835 года. В тех письмах сохранена история появления сочинений Сковороды, изредка прерываясь краткими и скупыми намеками на собственную жизнь автора. Пособием в сведении этой переписки послужил мне присланный от преосвященного *Иннокентия*, из Одессы, и неизданный еще нигде список нескольких писем Коваленского к Сковороде, от 1779 до 1788 года, сделанный вскоре после смерти Сковороды, в конце прошлого века.

«Самое старое из писем Сковороды, — говорит г. Срезневский в отдельной своей статье «Выписки из писем Г. С. Сковороды» («Молодик», 1843 г.), — есть то, которое помещено перед его книжкой (неизданной) «О древнем змие или Библии». Оно писано к какому-то высокородию, и во всяком случае до 1763 года, когда это сочинение было списано С. Ф. Залесским».

Вот отрывок этого письма: «Учил своих друзей Епикур, что жизнь зависит от сладости и что веселье сердца есть живот человеку. Силу слова сего люди не раскусив во всех веках и народах, обесславили Епикура за сладость и почти самого его величали пастырем стада свиного, а каждого из друзей его величали Epicuri de grege porcus. *Всякая мысль подло, как змия, по земле ползет; но есть в ней око голубицы, взирающее выше потопных вод на прекрасную ипостась истины*» («Молодик» 1743 г., стр. 241—242).

При изданной книге Сковороды «*Басни Харьковские*» (Москва, 1837 г.), в виде предисловия, напечатано, с пометкою: «*1774 года, в селе Вабаях; накануне пятидесятницы*», следующее письмо Сковороды. Вот это письмо:

«Любезному другу, Афанасию Кондратовичу Панкову.

Любезный приятель! В седьмом десятке нынешнего века, отстав от учительской должности и уединяясь в лежащих около Харькова лесах, полях, садах, селах, деревнях и пчельниках, обучал я себя добродетели и поучался в Библии; притом, благопристойными игрушками забавляясь, написал полтора десятка басен, не имея с тобою знаемости. А сего года, в селе *Вабаях*, умножил оные до половины. Между тем как писал прибавочные, казалось, будто ты всегда при том присутствуешь, одобряя мои мысли и вместе о них со мною причащаясь. Дарую же тебе три десятка басен: тебе и подобным тебе!

Отческое наказание заключает в горести своей сладость, а мудрая игрушка утаевает в себе силу.

Глупую важность встречают по виду, выпровожают по смеху, а разумную шутку важный печатлеет конец. Нет смешнее, как умный вид с пустым потрохом, и нет веселее, как смешное лицо с утаенною дельностию; вспомните пословицу: *красна хата не углами, но пирогами*. Я и сам не люблю поддельной маски тех людей и дел, о коих можно сказать малороссийскую пословицу: *стучит, шумит, гремит. А что там? Кобылья мертва голова бежит*. Говорят и великороссийцы: *летала высоко, а села недалеко*, о тех,

что богато и красно говорят, а нечего слушать. Не люба мне сия пустая надменность и пышная пустошь; а люблю тое, что сверху ничто, но в середке чтось: снаружи ложь, но внутрь истина. Картинка сверху смешна, но внутрь боголепна. Друг мой! Не презирай баснословия. Басня и притча есть тоже. *Не по кошельку суди сокровище.* Праведен суд судит! Басня тогда бывает скверная и бабия, когда в подлой и смешной своей шелухе не заключает зерна истины: похожа на орех свищ. От таких-то басен отводит Павел своего Тимофея; и Петр не просто отвергает басни, но басни ухищренные, кроме украшенной наружности, силы Христовой неимущие. Иногда во вретище дражайший кроется камень. Как обряд есть, без силы Божией, пустошь, так и басня без истины. Если ж с истиною: кто дерзнет назвать лживою?

Всё, убо, чисто чистым, оскверненным же и неверным ничтоже чисто, но осквернися их ум и совесть.

Сим больным, лишенным страха Божия, а с ним и доброго вкуса, всякая пища кажется гнусною. Не пища гнусна, *но осквернился их ум и совесть.*

Сей забавный и фигурный род писаний был домашний самым лучшим древним любомудрцам. Лавр и зимою зелен. Так мудрые и в игрушках умны, и во лжи истинны. Истина острому взору их не издали мелькала, так, как низким умам, но ясно, как в зеркале, представлялась; а они, увидев живо живой ее образ, уподобили оную различным тленным фигурам.

Ни одне краски не изъясняют розу, лилию, нарцисса столько живо, сколько благолепно у них образует невидимою Божию истину тень небесных и земных образов. Отсюду родились символы, притчи, басни, подобия, пословицы...

И не дивно, что Сократ, когда ему внутренний гений, предводитель во всех его делах, велел писать ему стихи, тогда избрал Езоповы басни. И как самая хитрейшая картина неученым очам кажется враками, так и здесь делается.

Приими ж, любезный приятель, дружеским сердцем сию не безвкусную от твоего друга мыслей воду. Не мои сии

мысли, и не я оные вымыслил; истина есть безначальна! Но люблю!.. Тешь мои *люби* — и будут твои. Знаю, что твой телесный болван далеко разнится от моего чучела, но два разноличные сосуды одним да наполнятся елеем; да будет едина душа и едино сердце! Сия-то есть истинная дружба — мыслей единство. Все не наше, все погибнет. И самые болваны наши. Одне только мысли наши всегда с нами; одна только истина вечна! А мы в ней, как яблок в своем зерне, сокрыемся.

Питаймо ж дружбу! Приими и кушай с Петром четвероногая, звери, гади и птицы. Бог тебя да благословляет! С ним не вредит и самый яд языческий. Они ничто суть, как образы, прикрывающие как полотном истину. Кушай, поколь вкусишь с Богом лучшее! Любезный приятель, твой верный слуга, любитель Священной Библии, Григорий Сковорода».

Вслед за этим идут письма Коваленского к Сковороде, по рукописи преосвященного Иннокентия. Ничего наивнее и трогательнее этих писем нельзя себе представить. В них сохранились любопытные черты, дорисовывающие окончательно образ Сковороды и показывающие всю степень любви, которую питали к нему современники и друзья его.

Привожу следующее, помеченное 1779 г., нигде не изданное замечательное письмо Сковороды к лицу неизвестной фамилии, найденное мною в рукописях библиотеки Харьковского университета в 1865 году, в сборнике рукописей Сковороды, подаренных университету И. Т. Лисенковым в 1861 году.

Вот оно:

«Из Гусинской пустыни, 1779 г., февраля 19-го.

Любезный государь Артем Дорофеевич, радуйтесь и веселитесь! Ангел мой хранитель ныне со мною веселится пустынею. Я к ней рожден. Старость, нищета, смирение, беспечность, незлобие суть мои в ней сожительницы. Я их люблю и они меня. А что ли делаю в пустыне? Не спрашивайте. Недавно некто о мне спрашивал: скажите мне, что он там делает? Если бы я в пустыне от телесных болезней

лечился, или оберегал пчелы, или портняжил, или ловил зверь, тогда бы Сковорода казался им занят делом. А без сего думают, что я празднен, и не без причины удивляются. Правда, что праздность тяжелее гор кавказских. Так только ли разве всего дела для человека: продавать, покупать, жениться, посягать, воеваться, тягаться, портняжить, строиться, ловить зверь? Здесь ли наше сердце неисходно всегда? Так вот же сейчас видна бедности нашей причина: что мы, погрузив все наше сердце в приобретение мира и в море телесных надобностей, не имеем времени вникнуть внутрь себе, очистить и поврачевать самую госпожу тела нашего, душу нашу. Забыли мы себе за неключимым рабом нашим, неверным телишком, день и ночь о нем одном пекущесь. Похожи на щеголя, пекущегося о сапоге, не о ноге, о красных углах, не о пирогах, о золотых кошельках, не о деньгах. Коликая ж нам отсюду тщета и трата? Не всем ли мы изобильны? Точно, всем и всяким добром телесным; совсем телега, по пословице, кроме колес — одной только души нашей не имеем. Есть, правда, в нас и душа, но такова, каковые у шкорбутика или подагрика ноги, или матросский алтына не стоящий козырек. Она в нас расслаблена, грустна, нравна, боязлива, завистлива, жадная, ничем не довольна, сама на себя гневна, тощая, бледна, точно такая, как пациент из лазарета, каковых часто живых погребают по указу. Такая душа, если в бархат оделась, не гроб ли ей бархатный? Если в светлых чертогах пирует, не ад ли ей? Если весь мир ее превозносит портретами и песньми, сиречь одами величает, не жалобные ли для нее оные пророческие сонаты:

В тайне восплачется душа моя (Иеремия)
Взволнуются... и почти не возмогут! (Исаия).

Если самая тайна, сиречь самый центр души изнывет и болит, кто или что увеселит ее? Ах, государь мой и любезный приятель! плывите по морю и возводьте очи к гавани. Не забудьте себе среди изобилий ваших. Один у вас хлеб уже довольный есть, а второго много ль? Раб ваш сыт, а Ревекка довольна ль? Сие-то есть?

О сем последнем ангельском хлебе день и ночь печется Сковорода. Он любит сей род блинов паче всего. Дал бы по одному блину и всему Израилю, если б был Давыдом. Как пишется в книгах Царств: но и для себе скудно. Вот что он делает, в пустыне пребывая, любезный государь, вам всегда покорнейшим слугою — и любезному нашему Степану Никитичу г-ну Курдюмову, отцу и его сынови поклон, если можно, и Ивану Акимовичу». На письме адрес: «М. гос. г-ну Артему Дорофеевичу — в Харькове».

В рукописях преосвященного Иннокентия найдено мною следующее письмо от М. Коваленского к Сковороде: «1788 г., февраля 13-ого, Санкт-Петербург. Возлюбленный мой Мейнгард! Так ты уже и не пишешь ко мне оригинально, а только через копию говоришь со мною? Вчера получил от Якова Михайловича Захаржевского письмо, в котором ты препоручаешь ему целовать меня. За дружеское сие целование душевно благодарю тебя, друг мой; но желал бы я иметь целование твоею рукою Мейнгардовою! Вид начертанных твоих писем возбуждает во мне огнь, пеплом покрываемый, не получая ни движения, ни ветра; ибо я живу в такой стране, где хотя вод и непогод весьма много, но движения и ветров весьма мало, — а без сих огонь совершенно потухает. Ты говоришь в письме, что все мое получил, но меня самого не получаешь. Сего-то и я сердечно желаю. Давно уже направляю я ладью мою к пристани тихого уединения! Тогда-то я бы утешился тобою, другом моим, услаждая жизнь собеседованием твоим! Прости! Не знаю, что послать тебе. *Да ты ни в чем не имеешь надобности, что прислать можно: все в тебе и с тобою*! Я слышал о твоих писаниях. По любви твоей ко мне, пришли мне оные. Я привык любить мысли твои. Ты много оживотворишь меня беседою твоею. Впрочем, не беспокойся, чтобы я оные сообщил кому другому. Может быть, Бог велит мне увидеть тебя скоро. Я покупаю у Шидловского, Николая Романовича, село *Кунее*, в Изюмской округе. Сказуют, что места

хорошие там; а ты бы еще собою мне сделал оные прекрасными. Друг твой и слуга верный, Михайло Коваленский. Надежда моя посылает тебе *пармазану*, с детьми Якова Михайловича, *и шесть платочков*. Прийми их от дружбы».

Там же найдено мною письмо от 1788 г., 6 марта, за подписью «*Василий Тамара*»: «Любезный мой учитель Григорий Савич! Письмо ваше через корнета *Кислого* получил я, с равною любви и сердца привязанностию моею к вам. Вспомнишь ты, почтенный друг мой, твоего Василия, по наружности, может быть, и не несчастного, но внутренне более имеющего нужду в совете, нежели когда был с тобою. О, если бы внушил тебе Господь пожить со мною! Если бы ты меня один раз выслушал, узнал, то б не порадовался своим воспитанником. Напрасно ли я тебя желал? Если нет, то одолжи и отпиши ко мне, каким образом мог бы я тебя увидеть, страстно любимый мой Сковорода? Прощай и не пожалей еще один раз в жизни уделить частицу твоего времени и покоя старому ученику твоему — Василию Тамаре».

Во всех этих письмах, сильнее всякой биографической похвалы, говорит за Сковороду страстная любовь, которою его встречали и провожали все знавшие его. За отсутствием другого, высшего нравственного интереса в украинском обществе того времени, за отсутствием литературы и науки в главном городе Слободского наместничества к Сковороде стремились все тогдашние живые умы и сердца. О нем писали в письмах друг к другу, толковали, спорили, разбирали его, хвалили и злословили на него. Можно сказать, что по степени уважения, которым он пользовался, его можно было назвать странствующим университетом и академиею тогдашних украинских помещиков, пока, наконец, через десять лет после смерти Сковороды, Василий Каразин послужил к открытию в Харькове университета.

Рукопись неизданного сочинения Сковороды «Книжечка, называемая Silenus Alcibiadis» (1777 года, марта 28-го), сопровождается неизданным письмом Сковороды к «Высокомилостивому Государю, Степану Ивановичу, Господину

Полковнику, *Тевяшову*». Письмо кончается следующими словами:

«Я в сей книжечке представляю опыты, коим образом входить можно в точный сих книг разум. Писал я ее, забавляя праздность и прогоняя скуку; а вашему высокородию подношу, не столько для любопытства, сколько ради засвидетельствования благодарного моего сердца за многие милости ваши, на подобие частых древесных ветвей, прохладною тению праздность мою вспокаивающих. Так что и мне можно сказать с Мароновым пастухом: Deus nobis haec otia fecit! Вашего высокородия всепокорнейший и многодолжен слуга, *студент, Григорий Сковорода*».

В письме к бабаевскому священнику Иакову Правицкому, от *1785 г., октября 3-го*, Сковорода, пересылая ему новое свое сочинение «*Марко препростый*» из села Маначиновки, изъясняется по-латыни. Вот отрывок из этого письма, приведенный И. И. Срезневским:

«*1785, окт. 3.* Из Маначиновки. В «Post scriptum»: Si descripsisti novos meos jam libellos: remitte ad me Archetypa. Etiam illum meum Dialogum, quem per alios laudare soles: simul cum Archetipis mitte. Descriptus, ad te remittet iter Deo volente. Dicat ille Dialogus: «*Марко препростый*».

Тут же образец его латинских стихов:

Omnia praetereunt: sed Amor post omnia durat.
Omnia praetereunt: haud Deus haud et Amor
Omnia sunt aqua; cur in aqua speratis, Amici?
Omnia sunt aqua; sed Portus Amicus erit.
Hac Kephâ tota est fundata Ecclesia Christi.
Istbace et nobis Kephâ sit atque Petra», etc.

1787 год был годом проезда императрицы Екатерины II через Харьков, в ее полное див странствование по Югу. Сковорода все это время, как видно из его писем, прожил в деревне Гусинке у Сошальских и ничем не откликнулся царственной гостье.

Впрочем, я получил, из Константинограда, от г. Неговского письмо, где он пишет следующее: Императрица Ека-

терина, проездом чрез Украйну, наслышавшись о Сковороде, увидала его и спросила: «Отчего ты такой черный?» «Э! вельможная мати, — ответил Сковорода, — разве же ты где видела, чтоб сковорода была белая, коли на ней пекут да жарят, и она все в огне?»

Изданная в 1837 г., в Москве, книжка Сковороды «Убогий жаворонок» сопровождается, в виде предисловия, письмом автора к Ф. И. Дискому от 1787 года. Ф. И. Диский — один из бывших друзей Сковороды. От него достал М. И. Алякринский присланную мне рукопись Коваленского «Житие Сковороды». Полагаю, что читателю любопытно будет узнать об этом Диском подробнее, и потому сообщаю о нем письмо г. Алякринского: «О Ф. И. Диском известно мне, что он был из малороссийских дворян, проживал в Москве, имел небольшой домик на Девичьем Поле, недалеко от Девичьего монастыря. По ограниченному ли состоянию или по усвоенному им учению Сковороды, образ жизни вел очень простой и скромный. Несмотря на то, пользовался приязнию людей весьма почтенных; из них памятны мне: профессор Московского университета Мудров и директор коммерческого училища Калайдович. Ф. И. Диский к памяти Сковороды имел какое-то благоговейное почтение, а сочинения Сковороды были самым любимым его чтением. Мое знакомство продолжалось с ним от 1826 по 1828 год. Впоследствии я узнал о несчастной смерти Диского: 3 июля 1833 года работавший в его доме плотник разрубил ему топором голову; вместе с ним убита еще бывшая у него в услужении женщина».

Вот письмо к Дискому: «Григорий Варсава Сковорода любезному другу, *Федору Ивановичу Дискому*, желает истинного мира. Жизнь наша есть ведь путь непрерывный. Мир сей есть великое море всем нам плывущим. Он есть Окиан. О! вельми немногими счастливцами безбедно преплываемый! На пути сем встречают каменные скалы и скалки. На островах сирены; во глубинах киты; по воздуху ветры; волнения повсюду; от камней претыкание; от сирен прель-

щение; от китов поглощение; от ветров противление; от волн погружение. Каменные ведь соблазны суть неудачи. Сирены суть то льстивые други, киты суть то запазушные страстей наших змии. Ветры разумей напасти. Волнение — мода и суета житейская. Непременно поглотила бы рыба младшего Товию, если бы в пути его не был наставником Рафаил! (Рафа — по-еврейски значит медицину; Ил или Эл — значит Бог). Сего путеводника промыслил ему отец его. А сын нашел в нем Божию медицину, врачующую не тело, но сердце. По сердцу же и тело, Иоанн, отец твой, в седьмом десятке века сего (*в 62 году*), в городе *Купянске*, первый раз взглянув на меня, возлюбил меня. *Услышав же мое имя, выскочил и, достигши на улице, молча в лицо смотрел на меня* и проникал, будто познавая меня, толь милым взором, яко до днесь, в зеркале моей памяти, живо мне он зрится. Воистину прозрел дух его, прежде рождения твоего, что я тебе, друже, буду полезным. Видишь, *коль далече прозирает симпатия*. Приими, друже, от меня маленькое сие наставление. Дарую тебе «*Убогого моего Жайворонка*». Он тебе заспевает и зимою, не в клетке, но в сердце твоем, и несколько поможет спасатися *от ловца и хитреца, от лукавого мира сего*. О, Боже! Коликое число сей волк, день и нощь, незлобных жрет агнцов! Ах! Блюди, друже, да опасно ходиши! Не спит ловец! Бодрствуй и ты. Оплошность есть мать несчастия! Впрочем, да не соблазнит тебя, друже, то, что тетервак (тетерев) назван *Фридриком*. Если же досадно, вспомни, что мы все таковы. *Всю ведь Малороссию Великороссия нарицает тетерваками*. Чего же стыдиться? Тетервак ведь есть птица глупа, но незлоблива! *Не тот есть глуп, кто не знает* (еще все перезнавший не родился), *но тот, кто знать не хочет*! Возненавидь глупость: тогда хоть глуп, обаче будеши в числе блаженных оных тетерваков! Обличай премудрого и возлюбит тя. Яко глуп есть, как же он есть премудр? яко не любит глупости! Почему? Потому что приемлет и любит обличение от другов своих. О! да сохранит юность твою Христос от умащающих елеем главу

твою, от домашних сих тигров и сирен! Аминь. 1787-го лета; в полнолуние последния луны осенния».

В «Молодике» (1843 г.), при «Письме к издателю» Василия Каразина, приложено письмо Сковороды к Коваленскому от 1790 года. Каразин пишет: «Посылаю к вам то самое письмо украинского нашего философа, которое вы иметь желали. Только оно не подлинное, а писанное мною с подлинника, пред самым его отправлением на почту в Орел, к тайному советнику Михайле Ивановичу Коваленскому. Я тогда, т. е. за полстолетия слишком, сохранил не только правописание почтенного Сковороды, но, сколько мог, даже и почерк его. Вот почему некоторые ошибались, почитая этот список за подлинник. Так я о нем и слышал, потеряв, за давностью времени, из виду и памяти все это обстоятельство. Почему вы вообразите мое удивление, когда я увидел мой список в руках нашего архипастыря пр. Иннокентия, который столь благосклонно предложил его для нас. Сковорода жил тогда в деревне давно умершего моего отчима, кол. советн. *Андрея Ив. Ковалевского*, в Ивановке, которая теперь принадлежит г. Кузину. Там его и могила. Она украсится достойным памятником, как обещал мне Козьма Никитич Кузин. Тогда, может быть, напишу я биографию нашего мудреца. Мы под чубом и в украинской свитке имели своего Пифагора, Оригена, Лейбница. Подобно, как Москва, за полтораста лет, в *Посошкове*, своего Филанджери, а Харьков ныне имеет своего Иоанна Златоуста».

Вот отрывок из письма Сковороды, от 1790 г., к Коваленскому: «До «Дщери» случайно привязалася «*Ода Сидрония — Езуиты*». Благо же! На ловца зверь, по пословице. После годовой болезни, перевел я ее в Харькове, отлетая к матери моей, пустыне. Люблю сию Девочку. Ей достойно быть в числе согревающих блаженну Давидову и Лотову старость оных. Прилагаю тут же, как хвостик, и *закосневшее мое к вам письмишко Гусинковское*. Ныне скитаюся у моего Андрея Ивановича Ковалевского. Имам моему монашеству полное упокоение, лучше *Бурлука*. Земелька его есть нагор-

ная. Лесами, садами, холмами, источниками распещрена. На том месте я родился *возле Лубен*. Но ничто мне не нужно, как спокойна келия; да наслаждаюся моею невестою оною: сию возлюбих от юности моея... О, сладчайший органе! Едина голубице моя, Библия! О, дабы собылося на мне оное! Давид мелодивно выгравает дивно. На все струны ударяет! Бога выхваляет! *На сие я родился.* Для сего ем и пию; да с нею поживу и умру с нею! Аминь! Твой друг и брат, слуга и раб, *Григорий Варсава Сковорода, Даниил Мейнгард*».

В публичной библиотеке, в Петербурге, находится рукопись Сковороды: «*Книжечка Плутарха о спокойствии души*». Здесь приложено письмо Сковороды: «Высокомилостивому Государю, Якову Михаиловичу Донцу-Захаржевскому», от 1790 года, апреля 13-го. В начале он говорит: «Приимите милостиво от человека, осыпанного вашими милостями и ласками, маленький сей, аки лепту, дарик; уклонившись к Плутарху, перевел я книжчонку его».

Г. Коваленский так описывает свое последнее свидание со Сковородой:

«Удручен, изможден, истощен волнениями света, обратился я в себя самого, собрал я рассеянные по свету мысли, в малый круг желаний и, заключа оные в природное свое добродушие, прибыл из столицы в *деревню*, надеясь тамо найти брег и пристань житейскому своему обуреванию. Хотя свет и там исказил все и я в глубоком уединении остался один, без семейства, без друзей, без знакомых, в печалях, без всякого участия, совета, помощи и соболезнования, — но был, наконец, утешен. Сковорода, семидесятитрехлетний, по девятнадцатилетнем несвидании, одержим болезнями старости, несмотря на дальность пути, на чрезвычайно ненастливую погоду и на всегдашнее отвращение к краю сему, приехал в деревню к другу своему, село *Хотетово*, в двадцати пяти верстах от Орла, разделить с ним ничтожество его». Это было, значит, в год смерти Сковороды, в *1974*

году. Сковорода привез к нему свои сочинения, из которых многия приписал (посвятил) ему. Читывал оные сам с ним ежедневно и, между чтением, занимал его рассуждениями и правилами, каковых ожидать должно от человека, искавшего истины во всю жизнь не умствованием, но делом, и возлюбившего добродетель ради собственной красоты ее. Они толковали о сектах. «Я не знаю мартинистов, — говорит Сковорода. — Но всякая секта пахнет собственностию! А где собственность, тут нет главной цели или главной мудрости». Доходя до толков о «философском камне» и о «соделании состава для продления человеческой жизни до нескольких тысяч лет», Сковорода говорил: «Это остатки Египетского плотолюбия, которое, не могши продлить жизни телесной, нашло способ продолжать существование трупов, мумий. Сия секта, меряя жизнь аршином лет, а не дел, несообразна тем правилам мудрого, о котором пишется: «*пожив в мале, исполн лета долги*».

Иногда, говорит Коваленский, разговор Сковороды касался смерти. «Страх смерти, — замечал он, — нападает на человека всего сильнее в старости его. Потребно благовременно заготовить себя вооружением противу врага сего не умствованиями, но мирным расположением воли своей. Такой душевный мир приуготовляется издали, тихо, в тайне сердца растет и усиливается чувством сделанного добра. Это чувство венец жизни». И, наконец, говорил: «Друг мой! величайшее наказание за зло есть сделать зло, как и величайшее воздаяние за добро есть делать добро!»

Услыша в окружности о прибытии Сковороды к другу своему, «многие желали видеть его, и для того некоторые приехали туда. Из начальства правления окружного, *губернский прокурор*, молодой человек, подошел к нему и приветственно сказал: «Григорий Саввич! прошу любить меня!» «Могу ли любить вас, — отвечал Сковорода, я еще не знаю вас!» Другой из числа таковых же, *директор экономии*, желая свести с ним знакомство, говорил ему: «Я давно знаю вас по сочинениям вашим; прошу доставить мне и личное

знакомство ваше». Сковорода спросил: «Как зовут вас?» — «Я называюсь так-то!» Сковорода, остановясь и подумав, ответил: «Имя ваше не скоро ложится на мое сердце!»

Простота жизни, замечает Коваленский, высокость познаний и долголетний подвиг Сковороды «в любомудрии опытном» раздирал ризу «высокомудрствующих». Они от зависти говорили: «Жаль, что Сковорода ходит около истины и не находит ее!» В это же время он «увенчеваем был уже знаменами истины».

Вот последние строки Коваленского.

«Старость, осеннее время, беспрерывно мокрая погода умножали расстройку в здоровье его, усилили кашель и расслабление. Он, проживая у друга своего *около трех недель*, просит отпустить его в любимую им Украйну, где он жил до того и желал умереть, что и сбылось. Друг упрашивал его остаться у него зиму провести и век свой скончать, со временем, у него в доме. Сковорода ответил, что дух его велит ему ехать, и друг отправил его немедленно. Напутствуя его всем потребным, дав ему полную волю, по нраву его, выбрать, как и куда, с кем и в чем хочет он ехать, предоставил ему для дороги нужный запас, говоря: «Возьмите сие; может быть, в пути болезнь усилится и заставит остановиться, то нужно будет заплатить!» «Ах, друг мой! — сказал он, — неужели я не приобрел еще доверия к Богу? Промысл его верно печется о нас и дает все потребное за благовременность!» Друг его не беспокоил уже с своим приношением. 1794 года, августа 26, отправился он в путь из Хотетова в Украйну. При расставании, обнимая друга, Сковорода сказал: «Может быть, больше уже не увижу тебя! Прости! помни всегда, во всех приключениях твоих в жизни то, что мы часто говорили: «Свет и тьма, глава и хвост, добро и зло, вечность и время...» Приехавши в Курск, пристал он к тамошнему архимандриту Амвросию, мужу благочестивому. Проживя несколько тут, ради беспрерывных дождей, и улуча вёдро, отправился он далее, но не

туда, куда намеревался. В конце пути он почувствовал побуждение ехать в то место, откуда поехал к другу, хотя совершенно не был расположен. Это была слобода *Ивановка*, помещика Ковалевского. Болезни, — старостью, погодою, усталостью от пути, — приближали его к концу его. Проживя тут больше месяца, всегда почти на ногах еще, часто говорил он с благодушием: «Дух бодр, но тело немощно». Далее Коваленский замечает, что пред смертию он было отказался совершать некоторые обряды, положенные церковью, но потом, «представляя себе совесть слабых», исполнил все по уставу и скончался *октября 29, поутру на рассвете, 1974 года.*

Подобное же резкое уклонение от общепринятых обрядов, при всем своем благочестии, Сковорода оказывал и в других случаях. *К. С. Аксаков* передал мне следующее предание о Сковороде. Однажды, в церкви, в ту минуту, как священник, выйдя из алтаря с дарами, произнес: «Со страхом Божиим и верою приступите», — Сковорода отделился от толпы и подошел к священнику. Последний, зная причудливый нрав Сковороды и боясь приобщить нераскаявшегося, спросил его: «Знаешь ли ты, какой великий грех ты можешь совершить, не приготовившись? И готов ли ты к сему великому таинству?» «Знаю и готов!» — отвечал суровый отшельник, и духовник, веря его непреложным словам, приобщил его охотно.

Здесь я пополню очерк последних минут Сковороды следующими любопытными строками из статьи г. Срезневского «Отрывки из «Записок о старце Григории Сковороде» («Утренняя Звезда» 1833 г.): «В деревне у помещика К-го» (Ковалевского), небольшая «кимнатка», окнами в сад, отдельная, уютная, была его последним жилищем. Впрочем, он бывал в ней очень редко; обыкновенно или беседовал с хозяином, также стариком, добрым, благочестивым, или ходил по саду и по полям. Сковорода до смерти не переставал любить жизнь уединенную и бродячую. Был прекрасный день. К помещику собралось много соседей погулять и повеселиться.

Послушать Сковороду было также в предмете. Его все любили слушать. За обедом Сковорода был необыкновенно весел и разговорчив, даже шутил, рассказывал про свое былое, про свои странствия, испытания. Из-за обеда встали, будучи все обворожены его красноречием. Сковорода скрылся. Он пошел в сад. Долго ходил он по излучистым тропинкам, рвал плоды и раздавал их работавшим мальчикам. Так прошел день. Под вечер хозяин сам пошел искать Сковороду и нашел под развесистой липой. Солнце уже заходило; последние лучи его. пробивались сквозь чащу листьев. Сковорода, с заступом в руке, рыл яму — узкую длинную могилу. «Что это, друг Григорий, чем это ты занят?» — сказал хозяин, подошедши к старцу. «Пора, друг, кончить странствие! — ответил Сковорода, — и так все волосы слетели с бедной головы от истязаний! Пора успокоиться!» — «И, брат, пустое! Полно шутить! Пойдем!» — «Иду! но я буду просить тебя прежде, мой благодетель, пусть здесь будет моя последняя могила...» И пошли в дом. Сковорода не долго в нем остался. Он пошел в «кимнатку», переменил белье, помолился Богу и, подложивши под голову свитки своих сочинений и серую «свитку», лег, сложивши накрест руки. Долго его ждали к ужину. Сковорода не явился. На другой день утром к чаю тоже, к обеду тоже. Это изумило хозяина. Он решился войти в его комнату, чтоб разбудить его; но Сковорода лежал уже холодный, окостенелый».

Коваленский замечает: «Пред кончиною завещал он предать его погребению на возвышенном месте близ рощи и гумна и следующую, сделанную им себе, надпись написать:

«Мир ловил меня, но не поймал».

Коваленский кончает свое «Житие Сковороды Григория Саввича, описанное другом его» словами: «Друг написал сие в память добродетелей его, благодарность сердцу его, в честь отечества, в славу Бога.

1795 года, февраля 9-го, в селе Хотетове. Надгробная надпись Григорию Саввичу Сковороде, в Бозе скончавшемуся, 1794 года, октября 29 дня.

«Ревнитель истины, духовный Богочтец,
И словом, и умом, и жизнию мудрец.
Любитель простоты и от сует свободы,
Без лести, друг прямой, доволен всем всегда, —
Достиг на верх наук познаний дух природы,
Достойный для сердец пример *Сковорода*».

Сочинение друга его М. К.».

Это стихотворение помещено под единственным, повторенным в нескольких изданиях, портретом Сковороды, по словам Снегирева («Отеч. Зап.» 1823 г., ч. XIV, стр. 263), *гравированным П. Мещеряковым*. После отдельного издания этот портрет перепечатан в «*Утренней Звезде*» 1834 г. при статье Срезневского, без стихов; в «*Картинах Света*» Вельтмана 1836 г. при статье о Сковороде, со стихами; и без стихов, при статье о Сковороде, в дурной копии, в «*Иллюстрации*» 1847 г.

Замечу кстати, что рукописные сочинения и переписка Сковороды, оставшиеся после его смерти, находились долгое время в руках П. А. Ковалевского, от него переданы преосвященному Иннокентию, и благосклонностью последнего были сообщены для этой статьи мне из Одессы, куда я в свое время их возвратил.

Пересказавши в отрывках рукопись Коваленского, Снегирев делает следующее любопытное замечание со своей стороны: «*Один его почитатель вызывал к себе чрез Московские Ведомости желающих читать сочинения Украинского мудреца*».

Такова была в свое время дань любви к Сковороде и громадная известность этого «Украинского мудреца».

Хиждеу, в примечаниях к своей статье в «Телескопе» 1835 г. (ч. XXVI), говорит: «Магистр киевской духовной академии, Симеон Рудзинский, сообщал мне описание и рисунок *Сковородинской сумы*, оставленной у его отца; но она не принадлежит к роду «бесаг» (двойная сума, разделенная на две ноши, соединенная вместе швом). Это просто «торба» или обыкновенная «котомка». Это также показывает всю силу уважения, каким пользовался некогда Сковорода на родине...»

Собирая сведения о Сковороде, я снесся с помещиком Харьковской губернии *Н. С. Мягким*, живущим в ближайшем соседстве с имением Ивановкою, где последние дни жил и умер Сковорода. Вот письмо, которое я получил от *Н. С. Мягкого*, от 10 января 1856 года:

«Г. С. Сковорода жил последнее время у моего тестя, коллежского советника Андрея Ивановича Ковалевского, в селе Ивановке, в сорока верстах от Харькова. Он имел большое влияние на хозяина, укрощая его крайне вспыльчивый нрав, разражавшийся грозою над домашними и дворнею, и уважая от души его жену, умную и благочестивую женщину. От прочих же женщин Сковорода удалялся. Похоронен он был в Ивановке на возвышенном берегу пруда, близ рощи, на любимом своем месте, где по зарям игрывал он на своем заветном флейттраверсе псалмы. Через двадцать лет тело его было перенесено оттуда и похоронено в саду священника, близ памятника владельцев, по старанию одного из его учеников, который прибыл, после смерти его, из Петербурга и издал впоследствии его портрет. От тестя моего имение перешло к его сыну, коллежскому советнику Петру Андреевичу Ковалевскому, от него к Александру Кузьмичу Кузину, и теперь принадлежит малолетней дочери последнего. По времени, имя Сковороды в Ивановке было почти совсем забыто, и к могиле его не имели никакого уважения. От этого, по мнению тамошних жителей, происходили нередко странные события и, большею частью, с семействами тех, к кому переходил садик с могилою «философа»: или умирали неожиданно сами владельцы этого места, или лишались своих жен. Чаще же этого, в продолжение пятидесяти лет, кончалось тем, что или владельцы, или их жены спивались с кругу. В былые годы этот порок не был диковинкой. Предпоследний владелец сада и хижины обратил особое внимание на место покоя Сковороды, и дожил дни спокойно. Нынешний же даже обложил могилу дерном, а вблизи устроил свою пасеку — место, свято чтимое у нас искони. Еще любопытная черта действий памяти о Сковороде на впечатление потомков. По другую сторону рва, где была хижина Сковороды,

садовник построил себе избу и мне рассказывал о странном событии, бывшем с ним. Однажды, вслед за его переселением, откуда ни взялся вихрь, влетел с визгом и громом в окно, растворил настежь двери, чуть не сорвал крыши и перепугал до смерти его жену. Бедный садовник не знал, что на том месте жил необыкновенный старик, Сковорода. Наконец, когда Ивановка принадлежала П. А. Ковалевскому, жене последнего одна юродивая сказала: «У тебя, матушка, в имении есть клад!» Увы, эти слова были приняты за чистую монету; но клада не нашли, как ни старались».

Заключу описание жизни Григория Саввича Сковороды сожалением, что слова В. Н. Каразина в письме его к издателю «Молодика» (1843 г.) о Сковороде — не сбылись. Каразин писал: «Ивановка принадлежит теперь господину Кузину. Там могила Сковороды. Она украсится достойным памятником, как обещал мне Козьма Никитич Кузин, этот редкий гражданин и чрезвычайный человек добра общественного». Теперь село Ивановка, или «Пан-Ивановка» (на Украйне села часто называются именами владетелей — «Пан-Васильевка», «Пан-Лукьяновка»), — принадлежит сыну Козьмы, Павлу Кузьмичу Кузину. Никакого памятника на могиле Сковороды не существует.

ГЛАВА IV

Известность Сковороды. — Характер и особенности его философского учения. — Отрывки его «басен» и «стихотворений». — I. Перечень печатных сочинений Сковороды. II Перечень неизданных сочинений Сковороды. III. Перечень печатных статей о Сковороде с 1806 по 1862 год

Увлечение личностью Сковороды у его современников было так сильно, что даже позднейшие статьи о нем называли его украинским Сократом, сравнивали его с великими иностранцами и с Ломоносовым, от чего, впрочем, сам Сковорода благоразумно отрекался, и наконец,

как Хиждеу в «Телескопе», подступали к разбору его философских начал, как современная наука подступает к Гегелю или к Канту.

И вот что замечательно: *Сковорода при жизни не печатал ничего*. По моим усиленным розысканиям оказалось что только через два года после его смерти, в Петербурге, без его имени, издана каким-то М. Антоновским крошечная его книжечка: «*Беседа о познании себя*». Потом, в 1806 г., в мистическом «*Сионском Вестнике*» помещено несколько страничек из его «Преддверия». Наконец, уже только в 1837 г., заботами Московского Человеколюбивого Общества издано несколько его брошюр, о которых теперь знает редко кто даже из библиографов. Для печатного мира и публики, читающей книги, Сковорода с своими произведениями, можно сказать, вовсе не существовал и не существует.

Но, быть может, его произведения нашли к публике доступ другою дорогою, в области так называемой нашей *письменной литературы*? Быть может, они удостоились в свое время судьбы таких сочинений, каковы: «Ябеда» Капниста, «Горе от ума» Грибоедова и второй том «Мертвых душ» Гоголя, которые задолго до печати ходили по рукам в сотнях и тысячах списков? Вопрос решается иначе, нежели можно было бы ожидать. Сковорода писал для тех горячих и бескорыстных поклонников всего, что живо говорит сердцу и мысли, которые умеют служить любимому писателю и составляют его громкую славу помимо печатного мира и типографий. Сковорода действительно имел таких безвестных, услужливых поклонников; это были люди серьезные и не легко увлекающиеся. Да и было это в те времена, когда наука у нас шла черепашьими шагами, а литература не расплодила еще переписчиков, не имевши еще ни автора «Кавказского пленника», ни авторов «Демона» и «Горя от ума». Сковорода писал тяжело, темным и странным языком, о предметах отвлеченных, туманных, способных заинтересовать круг слишком ограниченный, почти незаметный. Значит, его сочинения списывали только люди одного с ним направления

и жизни, профессоры и ученики духовных академий, старики-помещики и те немногие досужие люди, которые списывали произведения Сковороды, иногда сами их не вполне понимая, в чем я убедился, сличая некоторые списки прошлого века, — списывали и держали их просто как произведения человека странного, причудливого, непонятного, о котором ходило столько споров и толков и которого, со всеми его странностями, им удавалось видеть лично.

Несколько полудуховных, полусатирических стихотворений Сковороды, как, например, известное стихотворение «Всякому городу нрав и права», тогда же были переложены на музыку и распевались бродячими слепцами-бандуристами на торгах и перекрестках дорог. Некоторые песни, как и вышеназванные, даже попали в круг любимейших простонародных произведений, то есть в круг таких, которые народ считает своею собственностью, дополняет их, переделывает и сокращает по собственному своему произволу, по врожденному поэтическому чутью и вкусу. Образчик этого г. Срезневский привел в своей статье в «Утренней Звезде» 1834 года, напечатав песню Сковороды «Всякому городу...» и ее вариант — произведение уже народное. Подобной участи достигли в наше время некоторые стихотворения Пушкина и Кольцова и известная песня Ф. Н. Глинки «Вот мчится тройка удалая», автор которой до сих пор многими считается за лицо спорное, неизвестное, причем существует множество вариантов этой песни.

Собирая в продолжение нескольких лет сведения о жизни Сковороды, я, по непреложному опыту, пришел к тому убеждению, что списков даже самых любимых сочинений Сковороды могло существовать при его жизни много-много два-три десятка. И у кого же встречаются эти списки? Или у помещиков, почти безвыездно живших в своих деревнях, людей несообщительных по характеру и полных мистического, сурового настроения, или в тишине ученых, строгих кабинетов нашего академического духовенства. Самые, наконец, любимые стихотворные канты Сковороды проникали в читающий,

печатный и письменный мир украинский и русский очень недалеко. Между списками прозаических сочинений Сковороды, стихотворных я почти нигде не встречал, за исключением одного. В печати же только появились, в начале тридцатых годов, три стихотворные песни его в «Телескопе» и в «Утренней Звезде».

Значит, безошибочно можно сказать, что печатною славою сочинения Сковороды на Украйне вовсе не пользовались. Письменную их известность на родине Сковороды и вне ее поддерживал ограниченный кружок людей несообщительных, полузатворников, не составлявших живой и особенно плодотворной стихии современного ему общества. А распеваемые его сатирические канты слушались не высшим обществом; им внимали на торгах и перекрестках простой народ, жители украинских сел и местечек, поселяне и казачество, чумаки, бурлаки и далеко не грамотные еще тогда мещане, среди которых Сковорода жил и сильнее всяких прозаических и рифмованных своих произведений действовал на народ собственною личностию. С этой точки зрения на него должно смотреть. С этой точки зрения и вытекает тот несомненный, по моему мнению, вывод, что если сочинения Сковороды и удостоились вращаться вместе с его именем в устах его современников, то эти современники большею частью говорили об этих сочинениях со слов других, бескорыстно смешивая их значение с значением и личным характером самого Сковороды. Действительно, если проследить большую часть его рассуждений, что, впрочем, теперь, по странному, тяжелому и вычурному их языку, добровольно сделает разве записной библиоман, окажется, что, пожалуй, Сковорода был и замечательно начитан по-своему, и отлично знал греческих и римских авторов, прочитав их в подлиннике, и вообще был целою головою выше своих сверстников по воспитанию и украинских ученых по науке. Историк духовно-философского учения в России отведет ему почетные страницы в своем труде и скажет, быть может, много похвал Сковороде как благородному, честному и горячему поборнику науки, которая до

него шла путем ребяческих, школьных, никому не нужных риторических умствований и от которой он так смело стал требовать смысла и силы, самоотвержения и службы общественным пользам и нуждам. Автор статьи о Сковороде, А. К., в «Воронежском Сборнике» 1861 года говорит, что Сковорода имел ясные понятия о значении народа и о народном воспитании. Вот, между прочим, собственные слова Сковороды: «*Учителю подобает быть из среды народа русского, а не немцу и не французу. Не чужое воспитание должно быть привито к русскому человеку, а свое, родное.* Нужно его уметь силой найти, выработать его из нашей же жизни, чтобы снова осмысленным образом его обратить в нашу же жизнь».

Итак, еще раз скажу, я смотрю на Сковороду преимущественно как на «человека общественного», дельца и бойца своего века, который беседами и примером своей жизни, горячею, почти суеверною любовью к науке и каким-то вдохновенным, отшельническим убийством своей плоти во имя духа и мысли, во имя божественных целей высшей правды и разума, добра и свободы, пробуждал дремавшие умы своих соотечественников, зажигал их на добрые дела и, чего ни касался, все просветлял каким-то новым, ясным светом. Не тетрадки его сочинений, пересылавшихся от автора к мирным приходским духовникам и его друзьям, помещикам, а жизнь и устное слово Сковороды сильно действовали. Помимо украинских коллегиумов в Харькове и Киеве, он был любимейший ходячий коллегиум. То, что теперь молодежь выносит из университетов: жажду познаний и жажду добра и дел, пользы и чести — все это выносилось тогда из бесед странника и чудака, украинского философа Сковороды. Примеры этому я представил в его жизнеописании. Но лучшее доказательство общественного значения Сковороды то, что без него в известной степени не было бы долго основано первого университета на Украйне. Дело Каразина — открытие Харьковского университета, кончилось так легко потому, что в 1803 году первые из подписавшихся помещиков на

беспримерную сумму в *618 тысяч руб. сер.*, для основания этого университета, были большей частью, все или *ученики*, или *короткие знакомые* и друзья Сковороды.

Вот почему Сковорода должен занять почетное место в истории украинского общества, рядом с *Каразиным*, *Квиткой-Основьяненко* и *Котляревским*, первыми настоящими умственными двигателями малороссийского общества. Сковорода составляет переход от мира былой казацкой вольницы, на его глазах уничтоженной одним взмахом пера Екатерины II, к миру государственному, к миру науки, литературы и искусств. Сын приходского священника, он бросает схоластическую академию для странствования за границей. Голыш и бедняк, бросает он потом в Переяславле, в Харькове и в Москве удобства профессорства для свободной и бродячей жизни независимого мыслителя. С этой точки зрения он, современник Сечи и хаоса нового степного общества, современник Гаркуши и былой неурядицы на Украйне, достоин полной признательности.

Определение философского учения Сковороды изложено в «*Истории философии в России*» (1840 г., ч. IV) *А. Гавриила*. Разбирая историю русской философской мысли от времен древних, он вслед за первыми ее представителями: *Никифором, киевским митрополитом, Владимиром Мономахом, Даниилом Заточником, Нилом Сорским, Феофаном Прокоповичем и Георгием Конисским*, разбирает и сочинения Сковороды. «В простонародной свитке, с «видлогою» и «торбою» за плечами, с дудкою за поясом и с палицею в руках, говорит Гавриил, Сковорода ходил по селениям, просвещал народ старинным малороссийским слогом, не льстил временщикам и, при богатстве внутреннего самодовольствия, почитая всякую почесть мышеловкою для души своей, часто говаривал: «Я все пока ничто; как стану что, то с меня ничто. Добрый человек везде найдет насущный хлеб и людей, а воду дает ему земля без платы; лишнее не нужно». «Меня хотят мерить Ломоносовым, — замечал Сковорода, —

как будто бы Ломоносов есть казенная сажень, которою так же всякого должно мерить, как портной одним аршином мерит и парчу, и шелковую материю, и ряднину. Прошу господ не заказывать мне своих вощяных чучел, я ваяю не из воску, а из меди и камня. Мне не нужны подорожные: я отважно вступаю в море не для прогулки, чтобы вилять из губы в губу, но чтобы объехать землю и для открытия нового света». Как Сократ, не ограничиваясь ни местом, ни временем, он учил на распутьях, на торжищах, у кладбища, на папертях церковных, на праздниках, когда, по его острому словцу, скачет пьяная воля, и во дни страды, когда в бездождии пот поливает землю. «Как мы слепы в том, что нужно нам есть... На Руси многие хотят быть Платонами, Аристотелями, Зенонами, Эпикурами, а о том не рассуждают, что академия, лицей и портик произошли из науки Сократовой, как из яичного желтка вывертывается цыпленок. Пока не будем иметь своего Сократа, дотоле не быть ни своему Платону, ни другому философу...» Энтузиазм Сковороды часто простирался до такой степени, что по некоторым частным явлениям его жизни можно бы почесть его за теоманта, испытавшего все переходы вдохновения».

«Сковороде, в энтузиазме, казалось, что его дух, носимый в океане беспредельных идей, как бы осязает вселенную в ее бесконечности, — как говорит А. Гавриил, — видит в соединении обеих; но вселенною для него была Русь, человечеством — народ Русский. Энтузиазм Сковороды преимущественно отразился в его драмах или, по его надписанию, видениях, в коих он представил борьбу старого и нового образования, как про благих и злых духов, о человечестве и народности. Видения эти можно называть тьмо-светом неподдельного русского патоса, и они достойны особого историко-критического изучения, в сравнении с *Прометеем* Эсхила, с *Аяксом* Софокла, с *Бакхами* Эврипида, кои все были известны Сковороде в подлиннике, и с чуждыми для него: с *Благоговением ко кресту* и с чудодейным *Магом*

Кальдерона, с *Фаустом* Клингера и *Фаустом* Гете, с *Каином* и *Манфредом* Байрона. Ирония Сковороды была, большею частью, прикрытием его энтузиазма; ее игривая молния всего чаще тогда отражалась, когда преломляла высшую степень восторга. Ирония Сковороды до того роскошествовала, что он обращал даже в шутку свое собственное имя, называя мысли свои блином белым, спеченным на черной сковороде. О самопознании, как об основном начале своего учения, Сковорода, громе Наркиза и Аскания, написал 6 разговоров о внутреннем человеке, с коими соединена Симфония о природе. С раскрытием в Сковороде внутреннего побуждения, как народного мыслителя и наставника, раскрылась вместе и потребность приобресть сознание простонародности. Потому Сковорода, оставив учительство в школе, проводил жизнь, как старец, преимущественно в селениях, кои он называл пустынями, в тихой и смиренной доле и, обращаясь в кругу простого народа, старался изучить его природу, его волю, его язык и обычаи: ибо, по его мысли, учитель — не учитель, а только служитель природы. Мысль эту относил Сковорода и к званию законодателя, и она прекрасно развита им чрез уподобления. Таково было педагогическое искусство Сковороды в образовании простого народа, и оттого жизнь и все создания Сковороды целомудренны и свободны, как Библия и наши предки. Сковорода сам называл учение своею тканкою и плеткою простонародною, а себя называл другом поселян, чужим для тех ученых, кои так горды, что не хотят и говорить с поселянином, и он гордился именем народоучителя, презирая кривые толки и насмешки педантов своего времени. «Надо мною позоруются, — говорил он, — пускай позоруются; о мне бают, что я ношу свечу пред слепцами, а без очей не узреть светоча — пускай бают; на меня острят, что я звонарь для глухих, а глухому не до гулу — пускай острят: они знают свое, я знаю мое, и делаю мое, как я знаю, и моя тяга мне упокоение». «Барская умность, — пишет Сковорода, — будто простой народ есть черный, видится мне смешная, как и

умность тех названных философов, что земля есть мертвая. Как мертвой матери рождать живых детей? И как из утробы черного народа вылупились белые господа? Смехотворно и мудрование, якобы сон есть остановка и перерыв жизни человека: я, право, не вижу толку в междужитии и междусмертии, ибо что такое живая смерть и мертвая жизнь? О, докторы и философы! Сон есть часть жизни, т. е. живая смена в явлении жизни, в которой замыкаются прелести внешнего мира и отворачиваются духовные мечты, чтобы свергнуть познание свыше, из внутреннего мира. Мудрствуют: простой народ спит, — пускай спит, и сном крепким, богатырским; но всяк сон есть пробудный, и кто спит, тот не мертвечина и не трупище околевшее. Когда выспится, так проснется; когда намечтается, так очутится и забодрствует». Такое сознание было первое, новое, образцовое на Руси; оно не было ни подражание инородному, ни продолжение своему прежде данному, и потому Сковорода называл свое учение, из его самородного сознания построившееся, новою славою. В одном видении, в коем его душа извергалась кипучею лавою энтузиазма и иронии, он представил свое состязание с бесом, враждовавшим его новой славе. «Даймон: Слышь, Варсава! Младенький ум, сердце безобразное, душа, исполненная паучины, не поучающая, но научающая! Ты ли творец новой славы? — Варсава: Мы-то, Божиею милостью, рабы Господни и дерзаем благовестить новую славу. — Даймон: О, странность в слове, стропотность в пути, трудность в деле: вот троеродный и источник пустыни новой. — Варсава: И лжешь и темноречишь! Кто может поднять на пути злато или бисер, мнящий быти нечто бесполезное? Не виню мира, не вини и славы новой!.. Кто же винен? Ты, враже! ты, украшенная гробница!»

Здесь приводятся отрывки из лучших произведений Сковороды, по слогу более доступные для современного читателя. Его богословских сочинений, очерченных Гавриилом, я

не касаюсь. Из этих выдержек легко видеть, чем питалась в то время украинская муза, вскоре нашедшая художественное развитие в позднейших произведениях Квитки-Основьяненко и Гулака-Артемовского.

Лучшим для нашего времени произведением Сковороды в этом роде можно считать его «*Басни Харьковские*», изданные в 1837 году в Москве.

Вот их образчики:

«*Чиж и Щегол*». Чиж, вылетев на волю, слетелся с давним своим товарищем — Щеглом, который его спросил: «Как ты, друг мой, освободился?.. Расскажи мне». «Чудным случаем, — отвечал пленник. — Богатый турка приехал с посланником в наш город и, прохаживаясь, для любопытства, по рынку, зашел в наш птичий ряд, в котором нас около четырехсот у одного хозяина висело в клетках. Турка долго на нас, как мы один перед другим воспевали, смотрел с сожалением; наконец молвил: «А сколько просишь денег за всех?» «25 рублей», — отвечал хозяин. Турка, не говоря ни слова, выкинул деньги и велел себе подавать по одной клетке, с которых каждого с нас выпущая на волю в разные стороны, утешался, смотря куда мы разлетались. «А что ж тебя, — спросил товарищ, — заманило в неволю?» — «Сладкая пища, да красная клетка, — отвечал счастливец. — А теперь поколь умру, буду благодарить Бога этою песенкою!

«Лучше мне сухарь с водою,
Нежели сахар с бедою!»

Сила: Кто не любит хлопот, должен научиться просто и убого жить».

«*Старуха и горшечник*». Старуха покупала горшки. Амуры молодых лет еще и тогда ей отрыгалися. «А что за сей хорошенький?..» «За того возьму хоть три полушки», — отвечал горшечник. «А за того гнусного (вот он), конечно, полушка?» — «За того ниже двух копеек не возьму...» — «Что за чудо?» «У нас, бабка, — сказал мастер, — не глазами выбирают: мы испытуем, чисто ли звонит?» Баба, хотя была не подлого вкуса, однако, не могла больше говорить,

а только сказала, что и сама она давно сие знала, да вздумать не могла.

Изрядная великороссийская пословица сия: *не красна хата углами, красна пирогами!* Довелось мне в Харькове, между премудрыми эмблемтами, на стене залы видеть следующий написан, схожий на черепаху, гад с долговатым хвостом: средь черепа сияет большая золотая звезда, украшая оный. Но под ним толк подписан следующий: «Под сиянием язва!» Сюда принадлежит пословица, находящаяся в Евангелии: «гробы повапленные».

В книге Сковороды *«Дружеский разговор»* приводится басня об Индии:

«Я мальчиком слыхал, от знакомого персиянина, следующую *басенку*. Несколько чужестранцев путешествовали в Индии. Рано вставши, спрашивали хозяина о дороге. «Две дороги, — говорил им человеколюбивый старик, — вот вам две дороги, служащие вашему намерению! Одна напрямик, а другая с обиняком, советую держаться обиняка. Не спешите, и далее пройдете. Будьте осторожны. Помните, что вы в Индии». «Батюшка! мы не трусы, — вскричал один востряк, — мы европейцы! Мы ездим по всем морям, а земля нам не страшна вооруженным». И, шов несколько часов, нашли кожаный мех с хлебом и такое же судно с вином. Наелись и напились довольно. Отдыхая под камнем, сказал один: «Не даст ли нам Бог другой находки? Кажется, нечтось вижу впереди по дороге. Взгляньте, по ту сторону бездны чернеет что-то...» Один говорил: кожаной мешище. Другой угадал, что огорелый пнище. Иному казался камень, иному — город, иному — село. Последний угадал точно. Они все там посели: нашедши на индийского дракона, все погибли. Спасся один, находясь глупее, но осторожнее. Сей, по некиим примечаниям и по внутреннему предвещающему ужасу, притворился остаться за нуждою на сей стороне глубочайшей яруги и, услышав страшный умерщвляемых вой, спешно воротился к старику, одобрив старинных веков пословицу: «боязливого сына матери плакать нечего».

Из стихотворений Сковороды более известна его песня: «*Всякому городу нрав и права*». Привожу ее в заключение моей статьи из сборника Сковороды: «*Сад божественных песен*», присланного мне Е. Д. Розальон-Сошальским. Список сделан в 1792 году соседом г. Сошальского, Дятловым. Вот она:

ПЕСНЬ X. «ВСЯКОМУ ГОРОДУ»

Всякому городу нрав и права́,
Всяка имеет свой ум голова.
Всякому сердцу своя есть любовь,
Всякому горлу свой есть вкус каков.
А мне одна только в свете дума́,
А мне одно только не идет с ума.

Петр для чинов углы панские трет,
Федька купец при аршине все лжет.
Тот строит дом свой на новый манер,
Тот все в процентах: пожалуй, поверь!
А мне одна только в свете дума́,
А мне одно только не идет с ума!

Тот непрестанно стягает грунта́,
Сей иностранны заводит скота́.
Те формируют на ловлю собак,
Сих шумит дом от гостей, как кабак.
А мне одна только в свете дума́,
А мне одно только не идет с ума!

Строить на свой тон юриста права́.
С диспут студенту трещит голова.
Тех беспокоит Венерин амур,
Всякую голову мучит свой дур.
А мне одна только в свете дума́,
Как бы умерти мне не без ума!

Смерти страшна, замашная косо́!
Ты не щадишь и царских волосов!
Ты не глядишь, где мужик, а где царь!
Все режешь так, как солому пожар?
Кто ж на ее плюет острую сталь?..
Тот, чья совесть, как чистый хрусталь!

III

ВАСИЛИЙ НАЗАРЬЕВИЧ КАРАЗИН

(1773—1842 гг.)

I

Предки. — Детство В. Н. Каразина. — Отъезд в Петербург и бегство за границу. — Резолюция императора Павла. — Записка, поданная императору Александру I. — Близость ко двору. — Отрывки из формуляра В. Н. Каразина. — Его характер. — Статья В. Анастасевича

Василий Назарьевич Каразин, основатель Харьковского университета, первый эманципатор из украинских помещиков и долгие годы неутомимый, редкий деятель в молодом еще тогда слободско-украинском обществе, до сих пор не имел у нас биографии. В нашей литературе вы тщетно стали бы искать даже списка его сочинений или хотя двадцати строк последовательного, в общепринятых словах, перечня годов его жизни и служебного формуляра. С большим трудом, при помощи его семейных бумаг, благосклонно вверенных мне сыном его, Ф. В. Каразиным, и при некоторых любопытных библиографических указаниях Г. Н. Геннади, мне удалось, наконец, открыть целый ряд неизвестных и разбросанных в куче наших журналов (с 1807 по 1842 год) сочинений В. Н. Каразина. Одна забытая статья покойного вызывала находку другой, и, таким образом, впервые, составился у меня, по годам, список сочинений В. Н. Каразина с под-

робным указанием их появления и, где нужно, краткого их содержания, прилагаемый здесь в конце статьи. По ним лучше всего определяются черты этой замечательной личности. Затем, прося знающих дополнить то, что здесь могло быть пропущено, спешу оговорить, что в рассказе о жизни В. Н. Каразина я ограничивался, для первой попытки, подлинными выписками, собранными из разных мест его печатных статей, приводя везде ссылки на страницы их (по подробному списку этих статей в конце моего очерка), прибавил к этим выпискам отрывки из неизданного, письменного, подлинного рассказа о жизни отца, составленного для адмирала Лазарева сыном В. Н. Каразина, Ф. В. Каразиным, отрывки из сохраненного в семействе покойного его послужного списка; и только в нескольких местах, для соединения разрозненных черт, я позволил себе привести отзывы о нем посторонних лиц, с ссылкою на последних. От души желаю, чтобы мой очерк вызвал, наконец, полные рассказы других, особенно петербургских современников покойного, и с радостью спешу прибавить, что вскоре может осуществиться предприятие издания подлинных «*Записок и писем В. Н. Каразина*», хранимых в его семье. Повторяю: мой очерк есть свод указаний, основанных на несомненных данных для полной биографии В. Н. Каразина, о котором в наше время носится еще столько разноречивых толков.

Василий Назарьевич Каразин родился 30 января 1773 года[1]. Отец его был происхождением грек, из дворянского семейства *Караджи*. В собственноручных заметках «Дневника» В. Н. Каразина, сохраненного в его бумагах, находится такое известие: «Я родился 1773 г., на рассвете января 30-го, в селе Кручике, Слободско-Украинской губернии, Краснокутского комиссариатства, впоследствии Богодуховского уезда, в простой хате крестьянина нашего, Минченка,

[1] Весь этот начальный рассказ заимствую из «*Записки о жизни отца*», составленной Ф. В. Каразиным, кроме указаний, найденных мной самим в других местах.

по случаю того, что дом отца моего еще не был кончен, родился замертво и был назван Богданом, а при крещении это имя заменено Василием».

Отец его матери, Як. Ив. Ковалевский, был сотник харьковского полка, женатый на М. В. Магденко, по первому мужу своему бывшей Логачевой.

Родоначальник семейства Караджи, переселившегося в Россию при Петре I, Григорий Караджи был софийским архиепископом в Болгарии. Сын его, Александр, был уже капитаном русской гвардии и умер в 1753 г., в селе Рублевке, близ украинского местечка Мурафы. Сын Александра и отец виновника этой статьи, Назар, был уже, однако, известным человеком. Говоря по-гречески и по-турецки, он получил от императрицы Екатерины II поручение отправиться секретно в Турцию для осмотра и снятия планов крепостей. Это было перед началом нашей войны с Турциею. Назар Каразин был представлен императрице, как хороший инженерный офицер. Переодетый монахом, с отрощенною бородой, с просительною книгой в руках и с бочонком воды за плечами (в бочонке было четыре дна, между средними были спрятаны бумаги и чертежные инструменты), он отправился в путь пешком, проник в глубь Турции, все осмотрел, выведал и снял на бумагу. В Адрианополе его схватили, на рассвете утра, за работою над съемкою какого-то бастиона. Он успел бросить бочонок в кусты. Но его чуть, по приказанию паши, не посадили на кол. Он убежал из заключения, доставил в Россию свои заметки и планы и привел еще с собою 3000 арнаутов, вслед за ним бросивших Турцию. Его сделали их начальником, и с этим отрядом он пошел перед нашей армией, открывшей войну с неверными. В. Н. Каразин в примечании к одной из своих печатных статей говорит: «Майор, а впоследствии полковник Назар Каразин был употреблен, в 1768 и следующих годах, до открытия турецкой войны, в секретные посылки и негоциации в Молдавию, Валахию и Морею. Великий граф Румянцев-Задунайский жаловал его лично, удостаивал своими письма-

ми даже после его отставки, а Екатерина II наградила недвижимым имением» («Речь о любви к отечеству»). В печатных *«реляциях»* о Екатерининских войнах об этом человеке сохранено несколько известий. Так, под 1770 годом, говорится: «7000 турок напали на полковника Каразина, бывшего в монастыре Комите, в тридцати верстах от Букареста. Все почти, предводимые Каразиным, пали...» Спасся сам предводитель, с немногими арнаутами. Зато, по словам реляции 1768 года: «Подполковник Каразин, со вверенными ему арнаутами, приблизясь к Букаресту, столице Княжества Валахского, выгнал из него турецкое войско и взял в полон валахского господаря, Григория Гику, с братом его, сыном и всеми придворными, коих и привел в город Яссы». В отставке он подвергался зависти и интригам, но императрица Екатерина II наградила его поместьем[1] в 500 душ крестьян в шестидесяти верстах от Харькова. О нем также есть сведения в «Русской Истории» Глинки (т. IX). Этим ограничиваются мои источники о роде Каразиных.

В. Н. Каразин, по словам его сына, Ф. В. Каразина («Записка о жизни отца»), начальное свое воспитание получил сперва в кременчугском, а потом в харьковском частных пансионах. Далее, в отрывках из статей В. Н. Каразина («Речь о любви к отечеству»), я привожу найденный мною отзыв его о содержателях этих пансионов. Теперь скажу, что имена этих замечательных людей были: Хр. Ив. Фирлинг и Ив. Пет. Шульц. «Записка» его сына говорит, что на одиннадцатом году В. Н. Каразин сам лично, придя из пансиона, подал прошение графу Румянцеву-Задунайскому, проезжавшему тогда через Харьков, о желании своем поступить в военную службу. Я уже сказал, что граф жаловал его отца, умершего между тем в том самом 1783 году.

[1] Формуляр В. Н. Каразина от 1830 года говорит: «Имение Богодуховского уезда, село Кручик, 340 душ крестьян мужеского пола, на 2660 десятинах земли».

Я упомянул уже, что в числе моих источников находится «*Формулярный список о службе Василия Назарьевича Каразина от 1830 года*» (когда он уже был пятидесяти лет от роду и в чине статского советника), выданный ему, за подписью «губернского предводителя дворянства Слободско-Украинской губернии, статского советника Времева». Здесь говорится: «Быв записан, на одиннадцатом году, по собственному прошению в кирасирский орденский полк (шефом оного, фельдмаршалом графом Румянцевым-Задунайским) в 1783 году, на действительную службу вступил лейб-гвардии в семеновский полк сержантом, 1791 г. января 22-го, на осьмнадцатом году».

«Записка» его сына говорит: «Но между тем он продолжал учиться. Служба не помешала ему предаваться любимым его занятиям: теоретическому и практическому изучению человека и природы. Горный корпус, лучшее из тогдашних казенных заведений, был посещаем им постоянно, в продолжение нескольких лет, и тут-то приобрел он те познания в точных науках, которыми впоследствии изумлял гораздо уже образованнейшее поколение. Между прочим, проф. Кнорре не хотел верить, чтобы астрономия не была исключительным предметом его занятий. С математикою, химиею, физикою, ботаникою, медициною и вообще естествословием ознакомился он так, что мог бы с честью занять кафедру каждой из сих наук в любом заграничном университете. Французский, немецкий и латинский языки были им также изучены в совершенстве. С этим то запасом сведений он, по внушению своего сердца, начал действовать на пользу отечества. Прежде всего он захотел ознакомиться в подробности с нуждами обширной России. Для этого он, пользуясь свободою, которая предоставлялась тогда молодым гвардейцам отлучаться из столицы, объездил многие губернии. Военное поприще представляло ему мало пищи. Он решился перейти к делам гражданским; но чуть было не испортил навсегда всей своей дороги. Как пылкий энтузиаст, у которого еще мало было почвы под ногами, он решился прежде всего бежать из Рос-

сии, чтобы воспитаться за границею. При трудности тогдашних отлучек в чужие края он ушел тайно, без паспорта, но был задержан объездом екатеринославских гренадер в Ковне, ночью, 3 августа 1798 г., при переправе чрез Неман...»

Я видел в бумагах В. Н. Каразина собственноручное ветхое письмо его к императору Павлу, набросанное им впоследствии по памяти. Будучи арестован и видя свою гибель, этот беглец в жертву науки, этот восторженный молодой человек решился все чистосердечно передать великодушию императора и послал из Ковно на имя его эстафету, чтобы предупредить донесение о нем местного озадаченного начальства. Вот что он писал тогда (1798 г., 14 августа): «Великий монарх! Я не имел нужды спасаться бегством; оно будет загадкою для моих следователей. Я бежал учиться!..» Прочтя простосердечное покаяние молодого беглеца, император Павел, как приписывает в конце этой копии В. Н. Каразин, простил его. «Следствием оного была немедленная посылка за мною курьера, с весьма милостивым принятием на службу. Я был рекомендован, от имени Его Величества, начальнику, которого позволено было мне самому выбрать». «Записка» его сына прибавляет: «Вместо того, чтоб строго наказать дерзкого подданного, который признавался ему прямо, что намерен был бежать из его империи, император сказал ему, при личном представлении моего отца: «Я докажу тебе, молодой человек, что ты ошибаешься! Скажи, при ком ты хочешь находиться?» Смущенный мой отец назвал наугад одно из правительственных лиц, к которому и был немедленно определен секретарем». Формуляр его говорит: «Произведен при определении, по Высочайшему повелению, к статским делам, в канцелярию государственного казначейства и главного медицинской коллегии директора (барона Васильева), коллежским переводчиком 1800 г. февраля 3-го». В следующем, 1801 году, января 22-го, по словам формуляра, он «за собрание материалов к истории медицины в России, также и к истории финансов, награжден чином коллежского ассессора».

Но вот взошел на престол император Александр I. Это было в 1801 году, 12 марта. Через десять дней, именно 22 марта того же 1801 года, В. Н. Каразин уже стал известен молодому императору и заставил говорить о себе целый Петербург. О любопытном поступке его знают теперь многие: все собственные устные рассказы В. Н. Каразина при его жизни были полны этим событием, положившим яркий след во всей его остальной жизни. Так об этом замечательном случае передает «Записка» его сына: «Воспользовавшись одним из дворцовых церемониалов, он нашел случай пробраться в царские покои, и там оставил на столе запечатанный пакет, с надписью на имя императора. В пакете том заключалась, без подписи автора, бумага, в которой изложены были надежды русского на юного царя. Император Александр, прочтя эту бумагу, велел непременно отыскать сочинителя. Это нетрудно было исполнить: приказание отдано было случайно тому самому вельможе, при котором отец мой тогда служил, и которому слог и почерк его очень были знакомы. На другой же день отец мой был представлен императору. «Ты написал эту бумагу?» — «Я, Государь!» — «Дай обнять тебя и благодарить за благие твои пожелания мне и чувства истинного сына отечества! Продолжай всегда так чувствовать и действовать сообразно с этими чувствами. Продолжай всегда говорить мне правду! Я желал бы иметь побольше таких подданных!» Вне себя от восторга, В. Н. Каразин бросился к ногам императора и, заливаясь слезами, долго не мог вымолвить ни слова... Наконец, вырвалась из стесненной груди его клятва — исполнять волю монарха...»

Эта любопытная бумага, отрывок из которой напечатан в «Вестнике Европы» 1843 г. (№ 1), с пометкою: «Место, взятое из бумаги автора, в конце марта 1801 года, препровожденной к одной великой особе, содержит собственно похвальное, горячее и полное страстной любви слово о России, с указаниями, что может сделать с нею «юный монарх, отдающий всего себя в жертву за ее благоденствие». Эта за-

писка входит в «Собрание писем и записок В. Н. Каразина», предпринятое к изданию, и потому я не имею права поместить ее здесь целиком. Автор говорит в ней, между прочим: «Время теперь возвести Россию на верх славы, по обету Твоему! Ночью, проходя мимо чертогов Твоих, я размышлял, представлял себе картину благословенного Твоего политического положения, каковы будут пути Твои! Я думал, — говорит автор, — Он доставит нам непреложные законы! Клятвою многочисленных племен своих Он утвердит их в роды родов! В сем будет Он действовать медленно, как действует природа в таинственных путях, ей уготованных. С доверенностью к правительству, на одной степени поставит Он веру к правосудию! Он презрит новых лжеполитиков, утверждающих, будто для государства все равно, как ни переходит собственность из рук в руки! Он предоставит весь суд избранным от народа; удалит их от соблазна не законами, безгласными по необходимости, а доставлением судьям избыточного содержания, — например, сбором с отыскиваемых дел в одну кассу со всех губерний! На сей конец, поднимет Он судий общественным мнением! Суд при дверях открытых; право тяжущимся публиковать определения! Он обеспечит право человечества помещичьим крестьянам; он введет у них собственность; поставит пределы их зависимости — постепенностью обычая, который бы укрепил более общественные связи сословий!» (В примечании, под строкой: «Это для опыта ввел я в имении моем с давнего времени, и, как хозяин, не имею причины раскаиваться!») В конце записки он указывает молодому, его выслушавшему монарху: «Просвещение, заботы о мануфактурах, свободу торговли, мир с державами и улучшение путей сообщения!» Он кончает словами: «Слышал я, что юный наш владетель с равнодушием принимает затверженные восклицания поэзии, которая бесстыдно приноровляла их ко всем царствованиям, уверяя каждое, что оно лучше своих предшественников! Я смел начертать сии мысли: о, Ты, которого обожает мое сердце, не отвергни сию дань его!»

В отыскании автора и в представлении его императору помогли гр. Пален и Дм. Прок. Трощинский («Записка» сына).

Наш историограф, носивший созвучное имя с В. Н. Каразиным, в 1808 году, вновь вспоминая с императором об этой записке, назвал ее в разговоре «pia desideria».

Кстати, В. Н. Каразин был в переписке с Н. М. Карамзиным (я видел письма последнего в семействе В. Н. Каразина), любил его и в шутку иногда, отдавая должную честь стойкости и благоразумию своего великого сверстника, говаривал при случае: «Э! господа, вы, кажется, смешиваете меня с Карамзиным?! Между нами одна маленькая разница в букве *мыслете!*

«Записка» его сына продолжает: «Сделавшись таким образом известен императору Александру, отец мой некоторое время продолжал быть в небыкновенных для подданного сношениях с царем. Нередко удостаивался частной с ним беседы в его кабинете и собственноручных его, совершенно приватных писем. Беседы эти имели всегда целью какое-нибудь новое, ко благу России, учреждение. Прежде всего он обратил внимание императора на необходимость образования народного. Он предлагал для этого: искоренить рабство, исподволь, давая крестьянам голос в их делах, право выбора представителей в сельскую думу: подать в пользу помещика он полагал только за землю последнего, по ежегодно собираемым справочным ценам, где бы шел процент и на священника. И это не одна его идея. О необходимости присоединения униатов к православной церкви хлопотал он с 1804 по 1806 год, возбудивши на себя гонения, как, например, от князя Чарторыжского, что и состоялось тридцать восемь лет спустя. Он предполагал умножить приходские училища, основанные Екатериною II, применив их к потребностям поселян, и написал для этого катехизисы — религиозный и гражданский[1]. Считал нужным составить особое

---

[1] Они, к сожалению, утрачены.

министерство народного просвещения, обработавши для этого и самый проект. Министерство состоялось. Положивши основание ему, он стал хлопотать о распространении учебных заведений в России. Любимая его Малороссия пришла ему прежде всего на мысль, как край, где до того времени не было ни одного высшего училища. Он отпросился в отпуск, и плодом этого отпуска был сбор громадной суммы 61 000 руб. сер., которую он и представил Государю от дворян и купцов харьковских, прося Его о дозволении открыть в Харькове университет...»

На этом я остановлюсь. Слова «Записки» его сына подтверждаются следующими местами формуляра В. Н. Каразина:

«За труды, кои были лично известны блаженной памяти Государю Императору Александру Благословенному, пожалован (*через чин*) в коллежские советники, 1801 года апреля 11-го». «И в тот же день награжден богатым перстнем». «За продолжение оных удостоен в разное время нескольких весьма милостивых собственноручных рескриптов Его Величества». «Избран от слободско-украинского дворянства депутатом для испрошения у престола подтверждения привилегий сей губернии 1801 года 7 мая». «При образовании министерства народного просвещения Высочайше определен правителем дел главного правления училищ, 1802 года сентября 8-го». «В обоих сих званиях подал мысль слободско-украинскому дворянству к основанию в Харькове университета (который Высочайше и утвержден в 1803 году), *послужил орудием к пожертвованию на оный из двух губерний 618 000 руб. сер.* Уклонился от Всемилостивейшей награды за оный подвиг. Но между тем, за особливые труды по *«комитету составления ученым в Российской Империи заведениям новых уставов»* награжден орденом св. Владимира четвертой степени, 1802 года сентября 22-го». «Продолжая деятельно участвовать в устроении всего, принадлежащего к упомянутому университету, по необходимости в художниках в г. Харькове, доставил туда *тридцать*

два семейства иностранных мастеров на собственном иждивении, хотя впоследствии, по особенной Высочайшей милости, употребленная им на то сумма 12 200 рублей, была ему возвращена в 1803 году».

Так как весь в точности приведенный мною любопытный формуляр В. Н. Каразина оканчивается еще немногими только строками, то привожу и их здесь целиком, для дальнейшего рассказа о его жизни. Формуляр говорит:

«В 1814 году был учредителем Высочайше потом одобренного филотехнического общества». «Получил в благодарность изъявляющие отзывы министров: *внутренних дел* — за учреждение и успешный ход филотехнического общества, 1815 года, апреля 15-го; *военных сил* — за представление об облегчении заграничного продовольствия войск и флота, которое одобрено учрежденным нарочно для рассмотрения сего комитетом, и о умножении в государстве селитры, 1815 года, августа 20-го; *полиции* — за представление особливой идеи о хлебных магазинах, 1818 года, октября 3-го». «Вторично был избран депутатом слободско-украинского дворянства, для всеподданнейшего ходатайства о ненарушимости привилегий губернии, 1819 года в феврале». «Пользовался Высочайше дарованным ему в 1801 году правом беспосредственной переписки с Государем». «Отставлен, с награждением чина статского советника, 27 августа 1804 года». «Имеет детей: дочь Пелагею и шестерых сыновей — Василия, Егора, Фильдельфа, Александра, Николая и Валериана». «Под судом никогда не был».

Довольно любопытный очерк этого характера я нашел в двух следующих изданиях.

Неизвестный автор статьи «Иван Филиппович Вернет» в «Современнике» 1847 года за подписью Л.[1] говорит о В. Н. Каразине следующее: «Помню еще другую летнюю

---

[1] По мнению С. И. Кованько, подпись Л. означает Лесли, итальянского выходца, знавшего хорошо Вернета и Каразина.

поездку в Богодуховский уезд, к человеку, во многих отношениях замечательному. В. Н. Каразин был происхождения греческого. Жизнь его была исполнена самых разительных превратностей; и что бы о нем ни говорили, с какой бы точки ни рассматривали его общественный характер, но одно не подлежит сомнению: рано или поздно Харьков, да и вся Украйна, отдадут ему должное и открыто признают в нем одного из своих благотворителей. Его когда-то сильному влиянию Харьков обязан своим университетом. Им было созвано в этот город множество иностранных ремесленников. Через его посредство призваны туда и некоторые отличные европейские ученые. Каразин был человеком всемирным: ни одна отрасль наук или искусств не ускользала от его прозорливого внимания. От плуга и химической лаборатории до самых коренных вопросов науки или общественной жизни, — он везде был дома, по крайней мере, теоретически. Его *библиотека* обнимала, как и он сам, все отрасли человеческих знаний. Это был ум, жадный к познаниям, душа пылкая, сжигаемая жаждой деятельности. Живя поочередно то в деревне, то в городе, он, несмотря на их отдаленность от центров просвещения, следил за всеми движениями века, получал множество журналов и книг и, деятельно занимаясь сам всем понемногу, поощрял и других к самобытным занятиям, к живому труду. К сожалению, сам он не всегда обнаруживал тот практический смысл, какого требовал от других. Его попытки, дорого ему стоившие, ввести в свою деревню особенное, чересчур искусственное устройство, сельскую думу, суд и расправу, — а вместе с тем сложную отчетность, иностранное земледелие и различные ремесла, — не могла уже и потому увенчаться успехом, что они не сопровождались достаточным практическим знанием и слишком отражали на себе характер самого владельца... Нетерпеливый и отвлеченно-теоретический, Василий Назарыч оставался теоретиком и в практике. Страсть к проектам по всем отраслям наук и гражданского устройства, беспокойное стремление к преобразованиям всякого рода — делали его неспособным к

холодному, настойчивому исполнению предначертанного. Он весь, и самыми недостатками, принадлежит к истории русской общественной жизни... Кто его знал, кто знал пламенную любовь к успехам отечества, одушевлявшую его во всю жизнь с неизменным жаром и ревностью, тот согласится, что Каразин принадлежит к знаменательным, поучительным явлениям нашего современного общества, и не откажет ему в уважении и признательности».

Мне попалось также любопытное письмо известного в Украйне *А. А. Палицина* к В. Н. Каразину, от 1799 года, 4 июля, из с. Поповки («Молодик» 1844 г.), где говорится о юности В. Н. Каразина: «Прелюбезный друг мой, Василий Назарьевич. Следуйте всегда *вашим здравым правилам*: избирайте и любите людей по себе; знакомьте их, сближайте тем, чтоб сказать вашим словом все доброе, но притом терпите и прощайте прочих, не требуйте никогда великодушия от душ малых, ума от дураков, терпимости от фанатиков, бескорыстия от алтынников; вы верно также предохраните себя от ненависти к людям, какие бы несправедливости от них ни испытали!» В этих словах к будущему учредителю Харьковского университета я вижу затаенную иронию холодного практического старика. В. Н. Каразин сам испортил свою блистательную небывалую дорогу. Он стал вскоре за первыми успехами так заносчив, так далек от почвы, на которой стоял, что самой небольшой интриги его врагов было достаточно, чтобы смять его и выставить перед доверчивым к нему государем в самом черном виде. Я не берусь ни защищать, ни строго судить В. Н. Каразина. У меня нет на это права потому, что нет для этого достаточного числа источников. Другим остается пополнить этот пробел. Я скажу одно, что под конец и сам В. Н. Каразин смирился и, вполне сознавши свое положение, с грустною улыбкою под старость говаривал: «Да! я был неопытно-самонадеян. Я был бабочкой, опалившей себе крылья и зрение в сфере, куда мне, скромному труженику науки, не следовало залетать!»

За приведение этой фразы на меня заявил претензию его сын, Фил. Вас. Каразин, но эту же фразу читатель найдет в статье В. Анастасевича.

В «Чтениях общества истории и древностей российских при московсковском университете» 1861 г. напечатана в высшей степени любопытная «Записка о В. Н. Каразине» В. Анастасевича. Вот она целиком; привожу ее в надежде, что живут еще на свете люди, знавшие В. Н. Каразина, которые, быть может, снабдят ее нужными разъяснениями. В некоторых данных она расходится с другими приводимыми мною материалами, а некоторые дополняет и подтверждает.

«Каразин, Василий Назарьевич, отставной статский советник, помещик Харьковской губернии, Богодуховского уезда, села Кручика, умер в г. Николаеве, 4 ноября 1842 года. Первое мое личное с ним знакомство началось в конце января 1802 года, через покойного родственника моего (стат. сов., умершего в г. Кременчуге), Николая Николаевича Новицкого, служившего тогда в канцелярии Д. П. Трощинского, знакомого с Каразиным до того за несколько времени и имевшего с ним дружеские сношения в бытность свою при флигель-адъютанте графе Иване Петровиче Салтыкове, в Москве. Василий Назарьевич, будучи тогда знаком с князем А. А. Чарторыжским, искал чиновника, могущего занять место старшего письмоводителя при сем князе, как попечителе Виленского университета, и я, по Высочайшему повелению, на доклад министра народного просвещения, графа Петра Васильевича Завадовского, из бывшей военной коллегии был определен 14 февраля 1803 года, занимавшись уже до того несколько времени вместе с Василием Назарьевичем и с вывезенным им тогда с собою из харьковского коллегиума студентом Александром Степановичем Бируковым, поступившим потом в штат министерства народного просвещения (о сем указе было особое дело, конченное сенатским указом). Занятия мои тогда с Василием Назарьевичем особенно состояли в начертании предварительных правил министерства

народного просвещения, Высочайше утвержденных 24 января того же года, в некоторых проектах для образования Харьковского университета и, в особенности, по канцелярии князя Чарторыжского, также в приготовлении диплома и общих уставов для преобразования Виленского университета и его округа, по прежним уставам бывшей училищной (едукационной) коллегии, существовавшей в последние годы (до 1794 г.) прежнего польского правительства, с применением их к настоящему времени, и когда образовалась сия часть Виленского округа, то мои служебные сношения с Василием Назарьевичем продолжались, как с правителем дел главного правления училищ, и по случаю основанного им издания от того же правления: «Ежемесячное сочинение об успехах народного просвещения», также во все время, пока В. Н. оставил сие место и уволен вовсе от службы. С тех пор началось уже частное мое с ним дружеское сношение, когда он, после неудачи в женитьбе на Надаржинской, женился на Александре Васильевне Мухиной (падчерице Г. М. Бланкеннагеля) и приезжал сюда по временам, а после отъездов его вел я с ним довольно частую переписку. Последнее мое личное с ним свидание было в тот день, когда он из квартиры в доме N, угольном от Литейной в Бассейную, потребован к военному генерал-губернатору, графу М. А. Милорадовичу, и от него отправлен в Шлиссельбург, о чем на другой день уведомила меня жена его и просила сперва узнать, где ее муж, а потом найти средство доставить ее письмо Государю, бывшему тогда за границею, с прошением о помиловании, в чем я и успел, чрез общего нашего знакомого в главном штабе, покойного генерала Павла Осиповича Дейриарда, вследствие чего позволено было ему, по освобождению из Шлиссельбурга, жить в его селе, Кручике. О причине прежней к нему милости, а потом немилости Государя Александра I рассказывали мне различно разные лица, знавшие его, а отчасти я слышал от него самого, но всегда сбивчиво. В. Я. Языков говорил, что В. Н. в Спб. Петропавловской крепости находился до вступления на престол

Государя Александра I, который, будучи великим князем и наследником, и в звании генерал-губернатора столицы, часто посещая Петропавловскую крепость, заметил в числе узников В. Н. и, после беседы с ним, полюбил его, оказывал ему возможные, по тогдашнему времени, благоволение и пособие Согласно с сим окончанием слышал я и от Д. Н. Б.-Каменского, но иначе рассказывал мне сам В. Н., в начале моего с ним знакомства, а именно: что отец его, у коего был еще и другой сын, Иван (неизвестно мне, были ли у них двух и другие братья и сестры), в одну турецкую войну, будучи из сербов или болгар, оказал России важные услуги и, переселясь в Россию, получил от императрицы Екатерины II, в Харьковской губернии, 2 тысячи душ крестьян, которые по смерти его и достались пополам сим двум его сыновьям. Иван, получа увольнение от военной службы, с чином поручика, занялся сельским хозяйством и долго вел мирную жизнь, потом был училищным смотрителем, имел неприятности по сей части от письмоводителя при попечителе Харьковского университета, Корнилове, о чем В. Н., будучи в С.-Петербурге, незадолго перед отосланием его в Шлиссельбург, жаловался тогдашнему министру народного просвещения, князю А. Н. Голицыну, но в таких выражениях, что более его рассердил, чем доставил справедливость обиженному своему брату, потом женившемуся несчастно и, после разных семейных раздоров, умершему в чаду (о чем мне рассказывал Н. К. Мавроди, женившийся на воспитаннице Василья Назарьевича и, помнится, служивший в департаменте внутренних дел по медицинской части). Василий Назарьевич, заложив свое имение, намерен был тайно уехать в чужие края, но схвачен на границе нашей и, по повелению Павла I посаженный в крепость, содержался во все время царствования сего Государя. Александр I, узнав его там, как выше сказано, по вступлении своем на престол, тотчас освободил его, приблизил к себе так, что он мог запросто входить в кабинет Государя, без доклада, как сам В. Н. мне сказывал, получал часто от Государя своеручные самые

дружеские записки: «Mon cher Kar...» etc. Такое благоволение к нему Государя особенно обнаружилось в бытность Александра I в Москве, для коронации, о чем также рассказывали разнообразно. Д. Н. Бантыш-Каменский: что Василий Назарьевич незваный явился на бал к главнокомандующему, графу И. П. Салтыкову, когда ожидали Государя; хозяин, заметив его и по особенно резким чертам лица, и по поступи, не весьма светской и ловкой в гаком блистательном собрании, послал одного из своих чиновников спросить, кто он и зачем? В. Н. отвечал, что он сам доложит его сиятельству и, подойдя, подал ему письмо: оно было от Государя, с выражением принять его благосклонно. Едва лишь публика имела время изъявить удивление свое внезапно оказанному от графа сему гостю отличному приему, как объявлено о прибытии Государя. Все бросились навстречу. Государь, вошедши, заметил Василия Назарьевича, изъявил ему рукою знак благосклонности и тотчас сам рекомендовал его графу; этим еще более увеличилось удивление собрания. Но Д. И. Языков слышал от бывшего тогда в Москве обер-полицеймейстера Каверина так: император Александр I предварил графа И. П. Салтыкова, что будет к нему на вечер, но чтобы не было посторонних, кроме близких и родных графу. Не успел граф спросить Василия Назарьевича, как он тут явился к нему, в то самое время, когда сказано, что Государь прибыл, и хозяин с гостями своими поспешил навстречу высокому гостю, который, вошедши и увидев здесь Василия Назарьевича, сказал графу, чтобы он извинил его за непредварение о сем госте, коего ему рекомендует, и все не могли понять тогда сего отличия. Василий Назарьевич, пользуясь тогда такою милостью Государя, нашел случай сказать ему, что он намерен жениться на Надаржинской (не могшей получить значительного наследства по причине иска). Приготовя о сем записку чрез обер-прокурора синодского, Пукалова, своего друга, он, единственно по сему уважению, получил от Государя утверждение прав законной наследницы и, как невесте своей, богатые серьги, или фер-

муар, а для протопопа харьковского, Прокоповича, орден св. Анны. В. Н., прибыв в Харьков, публично сам возложил этот орден на сего протопопа, для показания, что он значит у Государя. Притом же, чтоб еще более угодить мнимой невесте своей, о коей не мог и подумать, чтоб она не оценила по достоинству таких для нее благодеяний, привез ей ее родственника из пажеского кадетского корпуса (не спрося дозволения начальства). По прибытии к Надаржинской с царским подарком и имея уже готового, преданного себе Прокоповича, лишь только попросил руки ее, как она наотрез ему отказала, сказав, что уже отдала свое сердце другому (за которого тогда же и вышла, т. е. Корсакову), а его вечно будет считать своим другом и благодетелем. Говорят, что она тут же подала 50 тысяч руб., или выкупленные ей векселя его на эту сумму, но он их бросил ей и пешком, не опомнясь, вышел из ее дома. Иные же говорят, что он принял те деньги, и Государь, узнав о том, положил на него свой гнев. Но вероятнее, что Государь, получа от начальства рапорт об увозе самоправно кадета, или пажа, прогневался и вслед послал повеление: лишь прибудет Василий Назарьевич в Харьков, посадить его на гауптвахту, а кадета прислать в корпус. Как бы то ни было, но так рушилось намерение В. Н. жениться на богатой невесте, воспользовавшейся опрометчивостью, свойственною ему и в разных других случаях его жизни обнаруженною, а враги В. Н. могли внушить Государю, что, в самом деле, как казалось, повидимому, цель его была корысть, а не страсть душевная к сей, чрез него выигравшей свое дело, девице. К причинам гнева на В. Н. от Государя относят и то, что он выражался о своем министре, графе Завадовском, обидными словами, что он лишь возит Государю портфель, наполненный бумагами, обработанными им, В. Н.

Речи сии или подобные могли быть с прибавлением переданы графу Завадовскому бывшим сперва домашним учителем детей у Завадовского, а тогда директором его канцелярии, Ив. Ив. Мартыновым, жалким педантом, же-

лавшим к своему жалованью, 2500 р. (по сему званию), присоединить такую же сумму, какую получал тогда В. Н. по званию правителя дел главного правления училищ, в чем и успел совершенно и чрез то избавился даже зависимости своей от сего, далеко превосходившего его, сверстника. К сему должно присовокупить еще одно обстоятельство. По новом образовании, вместо бывшей комиссии народных училищ, главного правления училищ, коего, как места, сохранившего еще прежний коллегиальный вид, все попечители учебных округов были членами и собирались под председательством своего министра народного просвещения (Завадовского), как президента, В. Н. все сохранял к себе благорасположение, в особенности князя Чарторыжского и его друга, графа Северина Осиповича Потоцкого, назначенного попечителем новоучрежденного тогда Харьковского университета, который обязан своим существованием Василию Назарьевичу, склонившему дворян к знатным пожертвованиям для сего высшего в том крае училища. Но когда граф С. О. Потоцкий, получа отпуск за границу, оставил В. Н-чу некоторые суммы в распоряжение, с тем, чтобы об их употреблении относился он к нему, графу Потоцкому, то В. Н. некоторыми распорядился сам, на выдачу некоторым профессорам и т. н. издержки, чем навлек на себя неудовольствие от графа Потоцкого, и тем более уже не благоволившего к нему по вышеупомянутым наговорам, министра графа Завадовского, а потому дело Надаржинской и увоз ее родственника, кадета, могло быть представлено Государю в гораздо худшем виде, нежели как оно было в самой сущности. Здесь сбылась пословица: «на бедного Макара и шишки валятся» или: «где тонко, тут и рвется». Женитьба его на А. В. Мухиной[1] не только не вознаграждала ему потери Надаржинской, но

---

[1] Скончавшейся только 24 мая 1861 г., на 79-м году, и погребенной в подмосковной. См. «Моск. Ведом.», № 114, стр. 914. О.Б.

вслед за тем начинается длинная цепь его горестей. Финансы его были довольно расстроены прежними неудачами. В селе своем, Кручике, бросался он на разные опыты хозяйственные, по своим новым теориям, коих впредь ему не было довольно времени и терпеливости поверить с должностным вниманием на самом деле; издержки давно уже превосходили его состояние. Требования семейства возрастали, и нужно было удобство жизни, к коей из детства привыкла жена его. Учреждение филотехнического общества, кажется мне, было мерою отчаянною, которая, судя по степени средств и понятий членов, вошедших в состав оного, едва ли могла быть удачною и при лучших обстоятельствах, вещественных и невещественных, самого учредителя. Возгласы его в собраниях были гласом вопиющего в пустыне, а слободско-украинские степи действительно были слишком обширны для сего полезного, даже самого благонамеренного, дела. Кому неизвестно, что если не люб делатель, не любо и дело его? Выданные им акции, с тайным знаком в одной из клеток, написанные химическим составом, с условием, что акция теряет свою данность, если сей знак обнаружится (который в самом деле сам собою обнаружился зеленого цвета от теплоты записной карманной книжки), еще более умножили колебавшуюся к нему доверенность. Имение его, коим он обеспечил акции, подверглось тяжбе с подписчиками, верителями и прочими.

Жалобы самого зятя его, Н. К. Мавроди, долго не удовлетворяемого по векселям (данным ему по случаю женитьбы на дочери В. Н-ча), опала от Двора, назначение за ним присмотра, запрещение переписки, литературные его ссоры с Карамзиным и с некоторыми другими, раздражение кн. А. Н. Голицына, сомнительное покровительство графа В. П. Кочубея, в кабинете коего он писал разные смелые бумаги, передаваемые, без его ведома, Государю, потом, тяжебные дела по имению, умножившие число недругов, несчастие, постигшее сына его Василия в школе подпрапорщиков, откуда он пошел в Свеаборг, вооружение

против себя Общества соревнователей (рушившегося 14 декабря 1825 года), в котором был почти общий на него заговор за статью об ученых обществах (самой неприятной сцены я сам был свидетелем в бурном оного же общества заседании, из коего и я тогда вышел с Василием Назарьевичем, давно заметив, что там многие члены таились от непричастных с чем-то недобрым): все сии обстоятельства и случаи и, вероятно, многие мне неизвестные или не приходящие теперь на намять, при беглом сем воспоминании столь давних событий, все это могло сильно потрясти пылкий дух, горячую голову и раздражительное сердце Василия Назарьевича, как бы обреченного на борьбу с самою неприязненною ему судьбою, сперва так злобно, так предательски ласкавшею и возводившею его выше и выше, чтоб потом сделать ему чувствительнее падение. Во всех отношениях, во всяких случаях и обстоятельствах есть, конечно, Наполеоны, шагающие, как бы одним скачком, из Бриеннской школы, чрез престол империи, за экватор, на остров св. Елены! И наш добрый, умный и даже глубокомысленный Василий Назарьевич, если бы ограничил себя или на литературном, или на ученом, или даже на хозяйственном поле, мог бы благополучно возделать оное, пожать обильные плоды и поделиться ими с своими соотчичами и с потомством; но он, как бабочка, слишком приблизился к пламени... и опалил себе крылья, слишком поверил Двору и забыл, что там не все говорится, что на душе. Когда Александр, воспитанный Лагарпом, в начале царствования своего, задолго до событий 1812 и 1814 гг., в юной душе своей еще упивался идеями конца XVIII века, Василий Назарьевич, сам не будучи главным, примерным помещиком, вооружился против эманципации крестьянства и дразнил молодое поколение, обожавшее в своем Государе сочувствие с своими идеями, дразнил даже финансовую систему, которая возвращение в казну дворянских имений, за каждым последним стуком молотка, не услышанным помещиками, может быть, считала своим барышом. Говорят, что В. Н., будучи сначала близким Государю, огорчил его своею

«альфою и омегою» (род наставления, как царствовать), вероятно, в тех же правилах, какие В. Н. писал для себя и для своего села Анашкина (если не ошибаюсь). Не хотелось бы мне так заключать, но я знал в Вас. Наз. много подобных сим аберраций[1]. Говорят, что Василий Назарьевич также что-то неприятное писал Государю за границу, по случаю беспокойств, вспыхнувших и тотчас потухших, в казармах гвардейского Семеновского полка, за полковника Шварца. В этом он мне никогда не признавался, хотя часто любил спорить со мною, если я его хладнокровно убеждал, и иногда заставлял соглашаться со мною в таких предметах, которые непременно требуют долговременной опытности, наипаче в государственной администрации, и которых никак нельзя решительно судить по одной теории, может быть, не у нас одних еще долго не могущей явно развиться, когда вся административная практика, не говоря о правительственной, заключена в кабинетах, не только министров, но даже в их департаментах. Моя переписка с Василием Назарьевичем, по мере сжатия круга от неблагоприятных обстоятельств, также более и более сжималась и редела. Сперва она вознаграждалась частыми нашими беседами при свиданиях, когда он, после оставленной им службы, раза два приезжал сюда, до последнего отъезда в Шлиссельбург и потом в Кручик. При посещении им Москвы было еще несколько его отзывов; но это уже не в том духе и не с прежними сердечными изли-

---

[1] Д.И. Языков рассказывал мне еще одну прежнюю нескромность В.Н., бывшую также одною из главных причин, навлекших на него неблагосклонность Государя. Император Александр поручил ему написать статью по части законодательства, с тем, чтоб до времени не говорил об оной; но В.Н. не утерпел, прочел ее бывшему министру юстиции, Г.Р. Державину, не предварив его, однако, о запрещении от Государя открыть ее. Державин был потом с докладом у Государя, который завел речь о сем предмете и показал ему ту статью. Державин лишь взглянул, то сказал, что он ее уже читал. Удивленный Государь спросил, когда и у кого? Державин отвечал: «Каразин мне прочел ее». Несколько примеров мне известно, как строг был Государь сей за подобную нескромность.

яниями. Сердце его могло, конечно, черстветь и от того в отношении ко мне, что нечем было более отогревать оное; я также, оставив службу, отставал даже от здешних многих прежних сверстников и знакомых, оставшихся в службе и далеко меня опередивших».

II

Отрывок из записок Державина. — Открытие университета в Харькове. — Попытки эмансипации собственных крестьян. — Филотехническое общество в Харькове.

Певец Фелицы оставил любопытные суждения и известия о В. Н. Каразине в изданных в минувшем 1859 году в «Русской Беседе» (ч. V) собственноручных «Записках Державина». Под отделением VII, «Царствование Императора Александра», Державин говорит, везде называя себя в третьем лице: «Едва же приехав из Москвы, а именно 23 ноября (1801 г.) ввечеру, Державин был позван чрез ездового к Государю. Он предложил ему множество изветов, от разных людей к нему дошедших, о беспорядках, происходящих в Калужской губернии, чинимых губернатором Лопухиным, приказывая, чтоб ехал в Калугу и открыл злоупотребления сии формально, как сенатор, сказывая, что нарочно посланными от него под рукою уже ощупаны все следы. Державин, прочетши сии бумаги и увидев в них знатных особ замешанными, просил Императора, чтоб он избавил его от сей комиссии, что из следствия его ничего не выйдет и он только вновь прибавит врагов. Император с неудовольствием возразил: «Как, разве ты мне повиноваться не хочешь?» — «Нет, Ваше Величество, хотя бы мне жизни стоило, правда перед вами на столе сем будет! Только благоволите уметь ее защищать!» — «Я тебе клянусь поступать как должно!» Тогда отдал он ему изветы и промолвил: «*Еще получишь в Москве от коллежского советника Каразина.* А между

тем, заготовь и принеси ко мне завтра указ к себе и к кому должно...» Державин без огласки сие на другой день исполнил. 5 января 1802 г. отправился он без огласки в Калугу. Прибыл в Москву, где получил от упомянутого Каразина нарочито важные бумаги, между прочим, и подписку, секретно именем Государя истребованную от калужского помещика и фабриканта Гончарова, в том, что губернатор Лопухин у него, Гончарова, выпросил сперва заимообразно 30 000 рублей на год, дал ему вексель и после, поехав будто осматривать губернию, заехав к нему в деревню и придравшись к слухам, что будто у него в доме происходит запрещенная карточная игра, грозил ему ссылкою в Сибирь, велел для допросов явиться к себе в Мосальск, а между тем, через приверженного к себе секретаря Гужова, велел ему сказать, что ежели он упомянутый вексель уничтожит, он следствия производить не прикажет. Бедный Гончаров согласился и отослал вексель с приказчиком своим в Калугу. Гончаров все сие в помянутой секретной подписке, писанной его собственною рукою, под присягой объявил Каразину; а сей отдал оную в Москве Державину, как равно и другие бумаги, доказывающие преступления губернатора. Снабженный таковыми от Императора и Каразина, приехав в Калугу, остановился в квартире, Каразиным приисканной, в доме у купца Бородина, градского головы». «Началось сперва разведывание городских слухов, потом следствие. Открыто тридцать четыре важных и двенадцать неважных дел. Державин послал курьера к Императору, губернатор — к друзьям-вельможам, жалуясь на Державина, будто он завел у себя тайную канцелярию и в ней мучит людей, в том числе самого Гончарова, который в самом деле, по непонятному случаю, скоропостижно, от апоплексического удара, в кабинете Державина заболел и, едва вышел в сени, умер. Он испугался, когда Державин, показавши ему «секретную его подписку, взятую от него Каразиным», объявил, что желательно было бы, «чтоб подал ему формальное прошение с доказательствами» — «ибо подписка взята у него по секрету, то

и неприятно ему таким инквизиционным средством бесславить кроткое царствование владеющего Государя». После разных столкновений, через 6 недель Державин оставил Калугу; пробыл в Москве две или три недели и, оставя там доклады Государю, поехал в Петербург. Новые огорчения встретили его там. Но, наконец, составлен независимый комитет, и Лопухин, преданный суду, обвинен во всем...»

Оставя известие о такой близости Каразина к императору, Державин, коснувшись еще раз этого человека, набрасывает на него тень значительно темную. По принятому мною способу передачи известий о Каразине, заношу в точности и этот рассказ Державина, не имея возможности ни подтвердить его, ни опровергнуть. Предоставляю это другим. Суровый царедворец трех царствований, жестким и шероховатым своим слогом беспрестанно жалуясь в «Записках» на своих врагов и соперников по службе, говорит: «Державин получил довольно небезважное поручение от Императора. Вышеупомянутый Каразин, будучи человек умный и расторопный, хотя, впрочем, не весьма завидной честности[1], имел доступ к Государю. Он показывал, в Москве, к нему писанные такие благосклонные или, лучше сказать, дружеские рескрипты, что могли привести всякого в удивление доверенностью к нему Монарха. Приобрел он сие, живучи в Москве, уведомляя его о московских всякого рода происшествиях как выше явствует, по извету безымянных лиц, к сведению Императора дошедших. Между тем как производил Державин, по его разведываниям, в Калуге следствие, успел он из Москвы, прежде его, приехать в Петербург и тут узнать о тяжебном важном деле, находящемся уже в государственном совете, между некоторою госпожою *Надаржинскою и Кондратьевым*. Сей последний опровергал ее брак и дочь, вне брака зачатую, чем он приобретал, после ее мужа, а своего

[1] Слух, по которому Державин так резко выразился о Каразине, «Русская Беседа» назвала «неосновательным». Этот упрек и мне непонятен, тем более, что в этих делах Державин сам подал голос за Каразина.

дяди, великое недвижимое и движимое имение, в Малороссии находящееся. Разные были мнения на той и на другой стороне, а сильнейшая партия тогдашнего времени, то есть гр. Зубова, была на стороне Кондратьева. Каразин, сведав о сем деле, и хотя он прежде был на стороне *племянника*, но, узнав, что вдова имеет дочь, лет тринадцати, которая, по утверждении законности ее рождения, могла быть богатая невеста, имеющая в приданое более 5000 душ, то и вознамерился ходатайствовать за нее, с тем, чтобы получить ее себе в замужество[1]. Он подольстился к матери, и хотя через переписку, весьма ласкательную, не получил точного обещания о получении руки ее, но весьма великую надежду, с тем, что ежели он дело ее исходатайствует, приобретет ее склонность. В таком намерении успел он внушить Государю, чтобы, ежели дело Надаржинской, в которой он, как в своей сговоренной невесте, берет участие, по запутанности и пристрастию членов совета, поручит рассмотрению *г. Лагарпа*, учителя Государя, который был тогда в Петербурге, и Державина, как людей совестных и знающих юриспруденцию, то они ему удобнее представят наилучшее мнение. Император на сие соизволил, и гр. В. А. Зубов привез Державину, когда он совсем не ожидал, сие дело, при записке Каразина, с Высочайшим повелением, чтоб он представил свое мнение хотя один, для того, что Лагарп уже уехал во Францию. Державин дал свое мнение в пользу сей несчастной сироты. Гр. В. А. Зубов, которого Государь очень любил и уважал, принес было к нему заготовленный уже указ в пользу Кондратьева, что и хотел Государь подписать и взял уже перо; но сей молодой вельможа, хотя интересовался за Кондратьева, но столько был благороден и *честен*[2], что, остановя руку его, советовал ему потребовать прежде от Державина письменного

---

[1] «Русская Беседа» к этому месту делает примечание: «Это предположение Державина не исполнилось, да и вряд ли было основательно. Василий Назарьевич Каразин женат был на девице Бланкеннагель, родной внучке Голикова, собирателя известий о Петре Великом».

[2] Явное противоречие Державина своему мнению о Каразине.

заключения. По поднесении Державиным подробных объяснений и доказательств правости девицы, состоялся указ в ее пользу...»

«Записка» сына Каразина прибавляет, в пояснение важных поручений, возлагавшихся в первые годы царствования императора Александра на В. Н. Каразина: «Расскажу один пример из множества слышанных мною. Представлено было однажды на высочайшую конфирмацию одно уголовное дело. Брат убил брата, оба были богатые владельцы; следствие длилось очень долго, наконец прошло все инстанции, и результат был тот, что братоубийцу оправдали. Государь, читавший всегда со вниманием подобного рода дела, заметил какое-то обстоятельство, которое показалось ему сомнительным. Он призывает моего отца и говорит: «Поезжай на место и разведай все обстоятельно!» Отец мой едет и через короткое время привозит неоспоримые доказательства, что преступление было вопиющее и покрыто кучею денег. Между прочим, губернатору дано было 100 000 рублей... Проверили факты, и все открылось ясно, как день...»

Державин почти вполне подтверждает это известие, слышанное Ф. В. Каразиным от своего отца. Он прямо относит его к событиям калужской поездки и говорит: «Открылись злоупотребления губернатора в покровительстве смертоубийства, за взятки, помещиком Хитровым брата своего родного, за что он в подарок давал губернатору на 75 000 ломбардных билетов». Губернатор Лопухин, как сказано выше, за все это осужден и наказан.

Заслуги Каразина на пользу Украйны останутся навсегда памятными. И если он после навлек на себя опрометчивыми письмами и представлениями гнев правительства, это самое правительство всегда чтило его достойные труды.

Возвращаюсь к блистательной поре, когда тридцатилетний пылкий молодой человек, В. Н. Каразин, взялся за основание университета в Харькове.

«Записка» его сына говорит: «Чего стоило ему собрать деньги от людей, большая часть которых коснела еще в не-

вежестве и бегала от одного имени просвещения! Зато надобно было видеть, как он принялся за это дело, как воспользовался даром своим говорить и убеждать людей! Надобно было слышать произнесенную им речь в дворянском собрании! 25 лет спустя, один из бывших тогда в собрании вспомнил как-то об этой речи при мне и не мог без слез говорить о восторге, произведенном юным оратором... Просьбы на коленях, мольбы со слезами, обещания разных наград у правительства — все было им употреблено! Другой, на месте его, поехал бы после этого с торжеством в столицу, выставил бы себя, прокричал бы о подвиге своем во всех концах вселенной, и на него посыпались бы почести, награды! Но он скрыл себя совершенно, выставил только других... А участия с его стороны было столько, что оно положило начало разорению его имения, которое теперь почти все распродано по частям за долги!..»

Наша литература сохранила верные данные об этом подвиге В. И. Каразина.

Вот они.

В напечатанной в «Молодике» 1844 г. любопытной «Копии с протоколов дворянства и купечества, пред основанием Имп. Харьковского университета, 1802 г., сентября 1-го», за подписью губернского предводителя дворянства, слободских украинских дворян и харьковских купцов и граждан, говорится: «Дворянство, обратив внимание на положение своего края, предметом своим избрало просвещение и полагает учредить в губернском городе своем университет. Он должен иметь под ведением своим две школы для людей низших состояний: школу сельского домоводства и ремесел, и рукоделий. Для положения основания сему университету, *слободское украинское дворянство* полагает взнести *от дворянских имений* сей губернии *400 000 рублей.* Упомянутою суммою признают украинские дворяне себя должными государству от сего дня, но тем не ограничат ревность свою. Слободское дворянство полагает пригласить к усугублению капитала губернии: Курскую, Орловскую, Воронежскую,

Новороссийскую, Полтавскую и Черниговскую, и к сему же граждан других состояний в Слободской Украйне, испросив на все сие позволение Всемилостивейшего Государя Императора. *На сей конец* поручает оно депутату своему, коллежскому советнику Василию Назарьевичу Каразину, в сходство настоящего положения, от имени дворян, сделать всеподданнейшее представление». В отдельном протоколе от харьковского купечества, того же 1802 г., 1 сентября, говорится: «Видя в учреждении сем явное благотворение городу, яко то: умножение его населенности, распространение торгов и промыслов, необыкновенное приращение в обороте денег, гражданство полагает и с своей стороны: 1) взносить в пользу университета, в течение десяти лет, с капиталом по 1¼% ежегодно; 2) достаточнейшие от купцов готовы на частные взносы; 3) просить Его Величество о соизволении, чтоб половина откупной суммы на все последующее время (пожалованная в 1783 г. в пользу горожан) предоставлена была в пользу университета; для того и уполномочивает г. коллежского советника Василия Назарьевича Каразина» и т. д. Всего же собрано 618 000 руб. сер.

Эти оба протокола были вызваны пылкою речью В. Н. Каразина от 11 августа того же 1802 г. в собрании харьковского дворянства (там же, стр. 245—250), которую Каразин начинает словами: «Благодарность! Она будет предметом, которым я вас занять осмеливаюсь, благородное и высокопочтенное собрание! Она наполняет мое сердце! Таковы мои чувствования бывают каждый раз, когда удается мне навещать благословенные небом и землею наши пределы. Но сколь возвышены они обстоятельствами нашего времени! Я имею счастье быть возвестителем воли благодетельнейшего из Монархов... *Мне позволено сказать Его устами, что подвиг, предпринимаемый нашим обществом, приятен Ему!* Что Он ожидает исполнения наших, донесенных Ему обетов... Сие чувствование радости и надежды, упоявшее меня уже при посещении края моего рождения, угодно было вам усугубить благосклоннейшим приемом в первое собрание,

когда представил я вам *предначертание того учреждения*, коим вы хотите украсить свою страну, отличить ее в пространной России... Вся жизнь моя посвящена будет на доказательства в том! Она принадлежит моему отечеству, но в особенности — краю, который был отечеством для понятия моей юности! Блажен уже стократно, ежели случай поставил меня в возможность делать малейшее добро любезной моей Украйне. Так я смею думать, что губерния наша предназначена разлить вокруг себя чувство изящности и просвещения. Она может быть для России то, что древние Афины для Греции. Благотворен наш воздух; удобен прельстить иностранцев, которых мы пригласим к себе... Я полагал, что мы посадим мудрость в судах, что купцы придут почерпать у нас познания; что от нас изыдут витии, стихотворцы; что мы умножим число врачей... Я смел еще мечтать, что необыкновенное стечение украсит, распространит сей город... Простите дерзновение мое! Самые сии мысли обнаружил я и пред августейшим Монархом! Исполнители его велений уверили меня, что приятно ему было назначить Украйну средоточием просвещения... Высокопочтенное собрание! Неужели обвините вы меня за высокие мысли, которые от юности моей питал о стране нашей?.. Представлю ли вам, что не столько низок в душе, судя по моим понятиям, по самому политическому моему положению, чтоб питать намерения личности, вне которой я решительно себя поставил при вступлении моем в общество?.. От вас зависит теперь — оправдать меня или предать стыду и отчаянию! Здесь предстою пред вами, в лице вашего друга или преступника!»

«Записка» сына В. Н. Каразина говорит: «Дворянство и купечество поддержали отца моего. Дело было сделано по его мыслям и мольбам. Щедро наградивши дворян и купцов, Государь захотел наградить и главного виновника всего дела. Находился тогда отец мой в Харькове, в отпуску. Вдруг его призывает губернатор и спрашивает: какой награды он желает? «Позвольте подумать!» — отвечал мой отец. И вслед затем берет тройку, скачет в Петербург, там бросается к

ногам Государя и умоляет не давать ему никакой награды: «Да не будет сказано, что я делал все из желания получить награду!» Государь его обнял». Ф. В. Каразин заключает: «Подробности эти отец мне передавал однажды сам, тридцать пять лет спустя, в минуту особенной откровенности... Лгать ему было не для чего, особенно перед сыном и в то время!»

В. Н. Каразин всегда стремился привить прочное, здравое и практическое воспитание к обществу своей родины.

Я нашел следующую любопытную позднейшую его заметку о воспитании.

Насмехаясь над французскими гувернерами и домашними учителями своего времени («*Чистая правда*», стр. 286—288), В. Н. Каразин говорит 24 сентября 1819 года: «Продолжая и здесь, в С.-Петербурге, спорить с женою о преимуществах общественного воспитания над домашним, я так же, как и в деревне, принужден сдаться. Скрепя сердце, приискал я детям учителя француза из *лучших*, по часам. Является m-r Chevalier de** и приносит son cahier d'Histoire.. Вот ее начало. «L'Histoire est le récit des événements, qui se sont passés dans le monde» (Парижанин жив не хочет быть без происшествия)! Бедный мой Вася, который уже проходил г. Кайданова, должен был его оставить. Со вздохом и глубоким поклоном заплатил я десять рублей за час и отпустил m-r Chevalier...»

Представивши, в 1806 году, в совет Московского университета мысли о новом способе винокурения, при котором более «сберегалось дров» («Описание снаряда для гонки вина», стр. 73—74), В. Н. Каразин говорит: «С прошедшего, 1805 года, основав постоянное мое жилище в краю моего рождения, Слободско-Украинской губернии, должно мне было начать с того, чтобы *приобресть о ней познания сколько-нибудь полнее тех, которые могли мне доставить одни первые годы мои, в ней проведенные*. При начальном взгляде на недвижимые тамошние имения, мое собственное и других помещиков, нельзя было не поразиться опустошением

лесов. Из вычисления оказывается, что более 200 квадратных верст леса истребляется в России ежегодно на одно винокурение. Эта мысль, с желанием сберечь мою собственность, заставила меня вникнуть в сей предмет».

Известный украинский писатель Основьяненко, сверстник В. Н. Каразина, также свидетельствует о его подвиге в основании университета.

В статье *«Город Харьков»*, без подписи автора, в «Современнике» 1840 г. (т. XX) говорится (эта статья напечатана также в сокращении в «Харьковских Губернских Ведомостях» 1838 года, с подписью *Квитки*):

«В 1802 году, при общем собрании всего дворянства Слободско-Украинской губернии, по случаю принятия Высочайшей грамоты, пожалованной в подтверждение прав и привилегий сей губернии, когда нельзя было не чувствовать общей готовности во всем сословии на патриотическое пожертвование, бывший в собрании статский советник и кавалер Василий Назарович Каразин, помещик сей губернии, предложил на рассуждение дворянства *мысль об учреждении университета.* Мысль сия была всем собранием единодушно принята, и по соображении способов и надобностей при таком учреждении, положено: от имени каждого помещика внести назначаемую часть в определенный срок, что составляло всей суммы четыреста тысяч рублей. Дворянство уполномочило Каразина повергнуть к подножию престола назначение свое и испросить утверждение на учреждение в Харькове сего высшего училища. Император Александр I, «в уважение патриотического приношения слободско-украинского дворянства», повелел учредить в Харькове университет, который и открыт 17 января 1805 года. В. Н. Каразин из первых признан почетным членом университета».

А между тем какое общество на своей родине застал тогда В. Н. Каразин? Я опять могу привести по этому соображению любопытную заметку его самого.

В своей статье *«Взгляд на украинскую старину»* («Молодик» 1844 г.) В. Н. Каразин говорит: «Между учителями

коллегиума заметим *Сковороду* и протоиерея *Шванского*. Я имел честь в моей молодости видеть сих почтенных мужей, которые в свое время могли бы занять место между германскими учеными, наиболее уважаемыми. *Палицын* имел вкус к архитектуре, украсил несколько наших городов и множество сел зданиями. Действуя на богатых помещиков, в числе которых Шидловские и Надаржинские были его друзьями, он заохотил их к строениям, лучшему расположению домов, украшению их приличными мебелями, к заведению библиотек. Ему обязаны мы большею частью началами европейского быта на Украйне. Я помню еще, что дома помещиков, имевших от 500 до 1000 душ, были покрыты тростником; что в гостиных стояли лавки, покрытые коврами; что за столом служили девки, в белых сорочках, пестрых исподницах и червонных черевичках; что главные паны в губернском городе хаживали по улицам с музыкой, надвесель... До открытия университета, кто бы подумал, что в Харькове будет каменный, весьма благообразный театр, пять аптек, четыре литографии, две типографии, могли бы существовать еще две...» Говоря здесь, как в старые годы было на Украйне изобилие во всем, он прибавляет: «Не один подобный пример цитировал мне, еще юноше, стодвадцатилетний однодворец *Масалитинов*».

Велика была радость В. Н. Каразина, когда в 1838 г. (см. его статью: «О целебной воде над Орелью»), он приветствовал практические труды университета по изучению окрестного края. Он говорит так: «Grâce á l'Université, рано или поздно мы познакомимся со всеми природными дарами нашей Украйны, будем иметь и Фауну, и Флору, и полное описание минералов и вод полуденных губерний. Я долгом почитаю указать гг. ученым целебную воду в имении Константина Константиновича Ковалевского. Как благодарен я приглашению А. С. Лашкарева, соседа этой дачи, осмотреть вместе любопытные воды — 8 сентября 1838 года».

В самой мысли об университете он шел не вровень с другими. По словам «Записки» его сына, сохранившего все

его устные рассказы, «университет его был не школа, по немецкому образцу устроенная, а всеобъемлющее училище. С ним соединена была его давнишняя, любимая мечта освобождения Греции; сюда последняя, по его мнению, должна была прислать своих сынов в науку. И таким образом Россия воздала бы наконец Греции за то, что получила от нее, за 1000 лет назад, свет христианства и наук!» Заношу этот отрывок из рассказа сына как намек на юношеские мысли по этому поводу самого В. Н. Каразина.

Вслед за основанием университета в родном городе, куда он тут же вызвал 23 семейства лучших иностранных мастеров, типографщиков, переплетчиков, часовщиков, столяров, резчиков, слесарей, каретников, кузнецов и проч. («Записка» сына), В. Н. Каразин увлекся другою блистательною мыслию. Он составил план постепенного освобождения двух своих имений: *села Кручика* Харьковской и *села Анашкина* Московской губерний, написал уставы эмансипации обоих имений, подписал их и ввел тут же лично в действие на месте. Устава первого имения я нигде не мог найти, устав же второго я нашел в печати; привожу его здесь.

Издавая *временный устав сельца Анашкина*, с деревнями («Опыт сельского устава», стр. 1 и 16), В. Н. Каразин говорит: «Беру смелость издать подобный опыт; поелику я уверен, что взаимное и публичное сообщение друг другу, моей собратии помещиков, таковых идей — может наилучшим образом содействовать к усугублению благосостояния поселян, следовательно — и помещиков самих. Сие маленькое постановление исполняется, на самом деле, Московской губернии, в Звенигородском уезде, в пятидесяти верстах от Москвы, где оно введено для испытания прежде, нежели может быть дан поселянам устав постоянный и подробный, *существующий* с пользою четырнадцать лет (от 1805 года) в другом моем имении, которое находится в Слободско-Украинской губернии. Издаваемый теперь опыт есть как бы первый шаг, или вступление, к слободско-украинскому уста-

ву, содержащему вполне мои начала. На издание сего последнего испрашиваю я особое позволение и не умедлю представить его просвещенной публике, когда сии первоначальные черты внимания ее удостоены будут».

Вот главные черты этого оригинального *устава сельца Анашкина*. Ст. 1: «С поселян прежде всего взыскивается, чтоб они были христиане и верные подданные царя своего, не по имени только, но самым делом, т. е. исполняли бы законы Божий и Царский, любили бы ближних, почитали бы всякое установленное начальство и взносили исправно подати». Ст. 2: «По жительству господ в другой губернии учреждается в селе Анашкине начальником сельский *староста*. Для совета ему назначаются два *выборные*. Последний будет заведовать все, что принадлежит до сельской полиции, и по сей причине назовется *полицейским*. Все трое вместе составляют *сельскую думу»*. Эти лица, как и видно, назначались самим владельцем. В примечании к ст. 6 устава говорится: «Предполагается, что со временем *выбор* членов думы предоставится *самим поселянам*, отцам семейств». Ст. 3: «На каждого из выборных поселяне могут жаловаться в думе; но на старосту или на решения думы господам». Ст. 4: «Сельская анашкинская дума собирается каждую субботу, после обеда, для учреждения общественных дел; может собирать мирскую сходку, под председанием приходского священника». Ст. 5: «Мирская сходка без повещения думы не может собираться. Она составляется из отцов семейств, не обесславленных явно». Ст. 6: «Сельская дума ведает все общественные дела, ведет о них самую краткую записку и посылает донесение (ежемесячное) господам, кои священник метит словом: верно». Ст. 8: «Дума в сборах делает раскладки». Ст. 9: «На содержание думы положено 800 руб.». Ст. 11: «Дума должна заниматься исправлением нравов поселян, т. е. чтоб они были благочестивые и честные люди. Для чего она имеет право наказывать, обращая к исправлению: пьяниц, непочтительных к родителям, нерадивых о своем хозяйстве. Наказания могут быть: денежные пени, работа

на общество и телесные». Ст. 12: «*Телесные наказания имеют производиться лозою, а не палкою.* Они даются только за непокорство и лживый поступок пред начальством, от одного и до сорока ударов, разумеется, что последнее может иметь место в самых редких случаях. На десять ударов делается приговор думы». Примечание: «Простой народ — везде народ, и воображать руководить его чувством одной чести или страхом наказаний, единственно на ней основанных, есть жестоко заблуждаться. А в тех землях, где испытали отменить отеческое наказание лозою, видят себя принужденными гораздо чаще наказывать лишением жизни или продолжительным заключением в темницы и железы». Ст. 13: «Кража наказывается взысканием цены украденной вещи вдесятеро. Пять долей из сего поступают в общественную сумму, три хозяину, а две доносителю или открывшему кражу». Ст. 15: «Староста есть начальник, представляющий господ». Ст. 18: «На мирской сходке собираются голоса положением в две шапки маленьких жеребейков из белых и черных прутиков». Ст. 19: «Со стороны господ отпускается ежегодно в общественную сумму 500 руб., обязывая думу: учредить *оспопрививание* и содержать *надзирателя за больными*, также *училище для малолетних поселян*, по данному ей наставлению». Ст. 20: «Остатки от общественной суммы поручается сельской думе раздавать в заем поселянам, на год, два, четыре и восемь лет с надежными поруками и со взысканием ежегодных процентов в пользу сей суммы. Сиротские деньги в ней же должны быть хранимы и раздачею в заем умножаемы». Ст. 21: «*Поселянам сельца Анашкина с деревнями дается слово на всегдашние времена:* I. Предоставить во владение их все угодья, каковые в сем имении числятся по документам, исключая только господскую усадьбу и заповедные леса. II. За владение сими угодьями взимать с них оброк не выше шести процентов с истинной цены имения ежегодно. III. Не продавать из них, не отдавать в рекруты и не брать в дворовое услужение ни одного лица мужеского или женского пола, также не сменять членов сель-

ской думы, без особенного на то или другое приговора мирской сходки. IV. Почитать и заставлять почитать собственность всякого поселянина неприкосновенною. V. Всякий поселянин мужеского пола, желающий быть от господ уволен в казенное звание, получает отпускную немедленно, когда он взнесет за себя и за движимую свою собственность цену 2000 дней земледельческой работы. А сии деньги, равно как получаемые при продаже, по приговору мирской сходки и плата за вывод невест, поступают не в число господских доходов, но в общественную сумму сельца Анашкина с деревнями». Примечание: «Подлинный подписали помещик и помещица — за себя и за малолетних их детей». Еще примечание, под строкой: «Различение *собственности* помещика от *полицейской его власти*, без всякого ослабления сей последней и именно: в намерении охранить моральную ее чистоту, составляет главнейшее в обоих моих уставах. *В. Каразин»*.

Современные практики не раз улыбнутся, читая эти строки. Но вспомните, господа, что это писал человек молодой, без образцов и товарищей, по убеждению одной своей пылкой головы и любящего сердца.

Не будучи никогда особенно склонен к изящным искусствам, В. Н. Каразин с 1805 г. стал более и более склоняться к применению естественных наук и в 1811 году приступил к основанию *филотехнического общества домоводства* в Харькове.

«Сколько российских миллионов рассыпано в суетном намерении удивить Париж или Лондон! Сколько употреблено их на вывоз из Италии так называемых антиков или других художественных произведений!» (Речь в Обществе «Испытателей природы» 1807 г.) — так он выражался, тоскуя о малопрактичности своих соседей и сверстников.

«Помещика я разумею, — говорил он, — наследственным, чиновником, которому, или предкам его, верховная власть, дав землю для населения, чрез то вверила попечение о людях-поселянах. Он есть природный покровитель, их

гражданский судья, посредник между ними и высшим правительством, ходатай за них, наставник во всем.

Одним словом, в отношении к государству, он есть их *генерал-губернатор в малом виде*» («О необходимости усилить домоводство», 1813 г.).

III

Заботы о домоводстве и хозяйстве Украйны. — Остальная жизнь в деревне. — Пожар дома и библиотеки. — Признательность общества в 1833 году. — Участие в местных ведомостях. — Отъезд в Крым и смерть

В. Н. Каразин продолжал свои сношения с дельными практиками всякого рода.

«Автор с удовольствием признается, — говорил он, — что он большую часть познания о местных обстоятельствах российской торговли и промышленности почерпнул из прилежных бесед с умными доброжелателями своему отечеству. Особливо долгом поставляет упомянуть имя калужского гражданина, *Дм. Ив. Подкованцева*» («О необходимости усилить домоводство»).

В деревне он не оставлял своих опытов.

«Продолжая, в 1809 году и далее, — говорит он, — мои испытания средств облегчить произведение селитры, которой умножение в государстве было тогда не последним предметом, я уклонился от составления селитряных бурт или стен, вздумал употребить пары от гнилой винокуренной барды, кои, от пропущения электрических искр, обращались в селитряную кислоту. Я непосредственно за тем начал метеорологические наблюдения, по ночам, один, в моей деревне» («Выписка из письма к В. Г. Муратову»). Эту страсть к пользам отчизны он поясняет в другом месте: «Да будет мне позволено в благодарном сердца излиянии поместить имена Ивана Петровича Шульца и Христиана Ивановича Фир-

линга, одного германца, другого родом из Страсбурга, но прямого римлянина по чувствам, которые оба, не родившись в России, любили ее чистосердечно и меня научили *прежде всего* любить ее. Их давно уже нет на свете!.. Они были содержателями пансионов: первый в Харькове, другой в Кременчуге между 1780—1790 годами» («Речь о любви к отечеству»). Враги, между прочим, не покидали его и в деревне.

«Легко доказать, — говорит В. Н. Каразин при одном случае, в оправдание себя от упреков, что в некоторых своих статьях и он, по духу времени, употребляет тексты св. Писания, — что в 1801, 1802 и 1811 годах я употреблял тексты, гораздо прежде многих, ибо я люблю прекрасный славянский язык, и как литератор, и как добрый христианин» («Речь о любви к отечеству»).

Привожу письмо Каразина, писанное 1802 года, мая 2-го, в Харьков к одному духовному лицу[1]. Оно в высшей степени интересно как отголосок той минуты, когда в умах здешнего общества зарождалась первая мысль о создании того университета, которым Харьковская губерния и ее общество теперь так сознательно гордятся:

«Мая 2 д. 1802 г.

Здравствуйте, душевно-чтимый, любезнейший отец Василий!

Совещуся, что не беседовал с вами так давно; в полной мере чувствую мою вину, но в то же время я за нее и наказан вашим безмолвием.

Прекращая оное с моей стороны, при случае представления вам искреннего приятеля моего, Моисея Григорьевича Ушинского, скажу вам, моему почтенному другу, что я ему дал важное поручение. Будьте ему подпорою и советом; вы, по самым свойствам вашим, которые напоследок имеют должную цену свою, можете много. Признаюсь охотно, что на

[1] По мнению В. М. Черняева — известный по одной истории священник Фотиев. Это письмо передано в харьковскую университетскую библиотеку профессором И. Ф. Ловаковским.

вас у меня величайшая надежда. Не представляю вам далее никаких побуждений, вы друг добра и о добре идет дело.

Не знаю, в каком положении у вас теперь важный предмет общественного воспитания. Что значат, например, по существу своему казенные училища и народное? Соединены ли они с первым и на каком основании хотят располагать кадетский предварительный корпус? Сделано ли уже с сей стороны представление куда следует, что получено в ответ, какой составлен план, какая предположена собраться сумма и сколько ее собрано? — все это мне несовершенно известно. Но, быв удостоен, вскоре по возвращении своем в Петербург, беседы доброго Государя, осмелился я сказать ему идею о заведении в Харькове университета, который был бы образован лучше московского и достоин бы называться средоточием просвещения полуденной России. Идея моя принята с благоволением, и я принялся уже было за начертания плана к нему, в котором величайшее пособие могу я здесь заимствовать от нескольких любящих меня добрых людей, как другие упражнения отвлекли меня. Я сто раз собирался писать к вам, но ожидал сведений о новых кадетских корпусах, которые мне обещали доставить, ожидал также я решительного случая, который я предвидел.

Теперь настиг сей случай, занимающий меня самым приятным образом, именно: угодно было Всемилостивейшему Государю учредить особый комитет для рассмотрения уставов двух академий и Московского университета; в сем комитете с членами, тайными советниками Муравьевым и графом Потоцким, и академиком Фусом, рассудил Его И-е Величество поручить мне письмоводство. К нам вступило множество бумаг, содержащих планы и соображения разного рода по сим заведениям. Между прочим, нашли мы, что еще в 1786 году покойная Государыня Императрица имела намерение учредить в России на первый случай три университета, и на сей конец поднесен ей был превосходный и сообразный местным сведениям государства и народному характеру прожект. Можно воспользоваться им и еще усовер-

шить со стороны, о которой тогдашние обстоятельства думать не позволяли. Сия мысль заняла всю мою душу, и я ожидаю только согласия общества дворян, чтоб действовать. Не для чего распространяться описывать пользу сего учреждения и славу, которая от сего для нашей отчизны Украйны проистекти имеет. Вы далее моего все сие видите, и можете другим представить с тою убедительностью, которая вам свойственна. Скажу только, что издержек — была б на самое дело благая воля — бояться нечего. Они будут весьма неприметны. Ежели дворянство, положив собрать 200 тысяч рублей, то есть по одному рублю с души помещичьей, пригласит к тому городских жителей разных состояний, хотя по малому количеству, или если часть винных городских доходов и других общественных сумм на сие обратится, то составится с избытком сумма на ежегодное содержание университета процентами. Я говорю *положив* собрать, ибо скапливать вдруг никакой суммы не надобно. Довольно, если каждый обяжется пристойным залогом взносить ежегодные проценты с причитающейся ему на часть суммы. Сие будет весьма легко. На предварительные ж издержки и заведение обязываюсь я испросить должные дворянству казною 70 тысяч рублей, а может быть, и сверх того, как удостоверен я в участии, какое Гений России берет во всем, что до блага его подданных касается. При университете можно учредить и богословский факультет по примеру иностранных, которого вам первым богословом быть прилично. Сердце радуется, представляя влияние, какое произведет сие учреждение на край наш во всех отношениях, — моральных, физических и политических. Харьков процветет в самое короткое время и будет иметь честь доставлять просвещеннейших сынов отечеству, которые во все состояния разольют пользу, счастье и ту деятельность духа, которая творит прямых граждан.

Прежде нежели доставлю вам подробный план, скажу вам некоторые черты оного, сколько позволяет короткое время и мои нынешние занятия, сверх чаяния собственными делами умножившиеся на сих днях.

1) Народное училище полагаю я оставить совершенно на том основании, какое в уставе 1786 года положено, прибавив только класс латинского языка для тех, которые готовить себя будут в университет из дворян и разночинцев. Другой не надобно гимназии.

2) В университете должны быть четыре факультета: философский, юридический, медицинский и богословский.

3) Потребные профессора должны быть выписаны, не жалея издержек, из лучших краев, чрез посредство одного известного мне профессора здешнего, который возьмет на себя поездку в Германию.

4) Полное число студентов будем мы всегда иметь из нашей и других соседственных губернских семинарий. Латинский язык послужит способом преподавания, он сам собою усовершится от частого употребления и возвышенной словесности, которой класс ввести надобно.

5) В новых и обширных зданиях ни малейшей нет нужды. Можно изобресть средства разместить университет со всеми к нему принадлежащими людьми за двадцать или тридцать тысяч рублей.

6) Иностранцев, полагаю я, приманит к нам сколько климат и изобилие, подобие представляющее их отечества, столько жизненные выгоды и обеспечивание их состояния, по прошествии известного числа лет, и их семейств, по смерти их посвятивших себя сему званию. Уважение доставят им чины, которые по новому уставу присвояются каждому члену университета и прочих училищ, без всякого постороннего представления.

7) В сем учреждении не будет никаких разделений, от состояний или богатства зависящих. Каждый студент будет равен другому, кто бы ни был его отец. Одни таланты и прилежание доставят преимущество; сии только свойства, при выпуске в аттестатах обнаруженные, доставят чин, по мере достоинства, но не менее 14 класса и до 12-го. Сие равенство родит соревнование и произведет рано или поздно в общем понятии равенство состояния, недостаток которого есть при-

чиною, что духовенство нимало не уважено (как вы в прекрасных своих бумагах приметили). Однако, вы сами видите необходимость сохранить сие в тайне до произведения в действо. Таким образом, видя одинакое уважение, присвоенное тому или другому классу людей, одинакие выгоды по мере лишь услуг, оказанных обществу, дворяне без разбору будут поступать в духовенство и бедные из них не возгнушаются принять на себя почтенного звания наставника или прославлять край рождения своего изящными художествами.

Вот главные черты сего плана, который я готовлю, и если увижу, что дворянство уполномочит меня сделать формальное представление Монарху, постараюсь, чтобы он был Высочайше конфирмован, и приеду для личных и местных распоряжений в течение настоящего же лета.

Обнимите патриотическим вашим духом все, что я пропустил в сем беглом начертании, и согрейте мои идеи жаром вашего сердца. Вы можете прежде всего побеседовать с Василием Михайловичем и Григорием Романовичем[1]. Я буду писать к ним с первою почтою, а может быть, еще и теперь успею.

Ваши мысли сообщены моему Благотворителю, который будет (Бог свидетель глубокой моей в том уверенности!) Благотворителем своего отечества; вы, кажется мне, получите Его собственный отзыв.

Продолжайте мыслить так ангельски, как вы мыслите, и будьте деятельны и тверды, лучшие люди в государстве почтут за честь быть с вами в связи: камергер Витовтов получил было поручение от Г.[2] вызвать вас для своей части, которая, чаю по газетам, вам известна, но я удержал это до свидания нашего.

Простите! с живейшими чувствованиями преданности и почитания обнимает вас верно-усердный слуга, В. Каразин».

---

[1] Г. Р. Шидловский.

[2] Т. е. Государя Александра I.

Описание открытия Харьковского университета найдено мною в «С.-Петербургских Ведомостях», в особом Прибавлении № 13, 1805 года, во вторник, в статье: «Порядок, каким образом происходило открытие Имп. харьковского университета, последовавшее сего 1805 г. генваря 17 дня», стр. 128—130, 8 столбцов. Открытие произошло при губернаторе Ив. Ив. Бахтине; преосвященный Христофор Сулима говорил слово, равно как и соборный протоиерей Андрей Прокопович. Их речи и речь латинская попечителя С. О. Потоцкого приложены к этой статье 1805 г. Об открытии университета важнейших особ в городе повещали церемониймейстеры из адъюнктов, а разные части города — особый чиновник от городской полиции с пристойным сопровождением.

Сетуя впоследствии на М. П. Погодина за непомещение одной статьи его об угле, до того времени помещенной уже в другом месте, В. Н. Каразин 24 мая 1842 г. писал к нему: «Кто знает, например, скажу вам, что живущий ныне, хотя уже в гроб заглядывающий старик, дал идею и выполнил ее на полустопе бумаги, своею рукою *об отдельном министерстве народного просвещения*, которое нигде в Европе не существовало? Насилу проговорили где-то в журнале, что он-де подал мысль к основанию такого-то университета. И только-то! Кто знает, что тот же старик бился, как рыба об лед, домогаясь воссоединения униатов, которое совершилось спустя больше тридцати лет? Кто знает, что он же, в 1805 году еще, учредил у себя постановление, точь-в-точь такое, на каковое вызывает теперь указ 1842 года 2 апреля? Что он изобрел давно и в начале 1838 года напечатал о карболеине, присвоенном другим в 1839 или 40 годах? Что он для царского дворца предлагал отапливание или, справедливее сказать, нагревание водяными парами, заключенными в трубках, которое теперь произведено в Берлине, в тамошней библиотеке?.. Право, скучно и писать, не только жить в этом мире! Да и листок к концу. Сберегаете ли вы письма друзей ваших? Так хоть для по-

томства? Прощайте!» К этому письму, посмертному, М. П. Погодин сделал примечание: «Думал ли Каразин, что это письмо так скоро сделается материалом для его биографии?» («Москвитянин» 1843 г., № 2). С 1811 года, как я сказал, он занялся новым делом.

Издавая *«Предначертание правил филотехнического общества»*, В. Н. Каразин говорит о бедности домоводства и хозяйства наших южных губерний, где «поля обрабатываются скудно, хижины напоминают времена первобытные, куда с севера выписываются прививки и садовники, где грязные винокурни, дымом ослепляющие глаза работников и пожравшие немилостиво большую часть прекрасных лесов наших, подобные же им селитроварни суть единственные наши фабрики», и прибавляет: *«Пора нарушать нашу сладкую дремоту!! Очевидно уже становится, что доходы, основанные на хозяйстве наших предков, недостаточны для удовлетворения день ото дня возрастающих наших издержек!»* И далее: «Уже о сю пору есть селения (в Украйне), имеющие не более двух десятин пахати на каждую душу мужеского пола». Он заключает: «Почтите меня вниманием так, как верного сочлена, который *в свое время*, ознаменовал себя приверженностью к вашей славе и вашим пользам, невзирая на то, что самое событие не во всех частях согласовалось с его предположениями». Самый устав нового общества говорит так. В § 1: «Филотехническое общество будет иметь предметом — распространять и усовершать все ветви досужества и домоводства в полуденном крае Российской Империи. Круг действия его составят губернии: Екатеринославская, Харьковская, Таврическая, Полтавская, Черниговская, Слободско-Украинская и Воронежская. А средоточие и место собраний общества — город Харьков». § 2: «Для вступления в (неопределенное) число членов не требуется ничего более, как поместье в показанной выше окружности и отзыв о желании». § 3: «Предметом его будут не умозрения и рассуждения, *но действие*: то оно может обойтись без президента. Никто не будет носить сего имени. Однако,

во время съезда членов, они изберут председающего на то время». § 4: «Съездов может быть два каждый год, именно — в крещенскую и успенскую ярмарки». § 5: «Общество будет стараться иметь образцовые заведения». § 6: «Заведения должны приносить очевидный доход». § 9: «Член, распоряжающийся образцовыми заведениями, имеет называться *правителем для филотехнического общества*». § 12: «Всякий из членов, прибыв в поместье правителя дел, имеет право требовать от него сообщения книг (для исторической записки происходящего в образцовых заведениях и для ведения счетов, составленных им)». § 14: «Общество, в первые годы, не издает никаких журналов, так как цель его — не умствование о сих заведениях, но усовершение их». § 15: «Сумма для заведений составится от взносов членов. Сей взнос, при вступлении, не может быть менее ста рублей ассигнациями. Правитель дел, при получении их, за своим подписанием выдаст расписку в виде акции». § 16: «Каждая акция филотехнического общества приносит в год шесть процентов *по крайней мере*, которые и выдаются в Харькове, в течение успенской ярмарки». § 19: «В обеспечение всей вступающей от членов суммы и платежа с оной процентов, правитель дел общества обязан ему представить из имения своего достаточный залог, на первый случай не менее 10 000 руб. асс. Залог сделается официальною выдачею закладной в слободско-украинской палате гражданских дел на имя трех членов, по выбору первоначальных членов». § 21: «Всякий член имеет право избирать из заведений то, которое наиболее прилично его мнению и ему угодно. Правитель дел обязан пещись, чтобы таковое заведение было устроено в поместье того члена». § 23: «В случае смерти правителя дел, наследники его обязаны выплатить обществу все акции, с приходящими на них процентами». («Мысли об учреждении филотехнического общества», стр. 3—25).

В письме Григор. Ром. Шидловского к А. Ф. Квитке, от 27 ноября 1810 г., напечатанном при брошюре В. Н. Каразина «Мысли об учреждении филотехнического общества»,

сказано: «Василий Назарьевич Каразин, конечно, говорил с вами о намерении своем — сообщить селитряным заводчикам из слободско-украинского дворянства новый способ готовить селитру. Желая в сем удостовериться, его превосходительство Осип Ив. Хорват и я просили Василия Назарьевича сделать хотя маленький опыт в наших глазах, например, у меня, *в селе Мерчике*, как в месте, соседственном с его жилищем. Г. изобретатель сначала находил свои затруднения, говоря, что опыт таковой немедленно откроет всю его тайну, с которою сопряжены его выгоды, *но напоследок решился, оставя в стороне предполагаемое им производство селитры...* Сего 1810 года, июля 28-го дня, при селитряных моих буртах в Мерчике, в присутствии моем были сделаны опыты. В первых числах сего ноября выщелочена вторая пробная куча. «Луг» (щелочь селитряная) всего двенадцать ушатов, в запечатанной бочке, при нарочно отряженном от меня человеке, отправлен в село Кручик (Каразина), дабы оный там выварить в лаборатории Василия Назарьевича, на его снаряде». Письмо кончается полным торжеством для изобретателя. Г. Шидловский вполне подтверждает истину и пользу его изобретения (стр. 26—32).

В 1811 году, как видно из «Известия о филотехничесом обществе» от 16 августа 1811 г., В. Н. Каразин продолжал заниматься улучшением и упрощением селитроварения, винокурения, кожевенного производства, сушения плодов по новому им придуманному способу «теплотою водяных паров», сушения «червца», т. е. кошенили, приготовления плодовых наливок и водянок, вишневого спирта (киршвассер), опытами над красильными травами («матерника») и минералами.

В 1818 году В. Н. Каразин, как говорит его «Отчет филотехнического общества за 1818 год», занимался выращиванием у себя иностранных «жит»: «китайской пшеницы», «испанского ячменя», опытами унавожения своих полей (небывалого в степях), причем за свидетельством богодуховского исправника, г. Ковальчинского, представил доказательства, что унавоженные полосы степной земли дали пшеницы

двумя третями более против неунавоженных. Также занимался проектами новых «хлебных хранилищ», «нового изобретенного им *украинского овина*, для сушки снопов», «клуни к овину», «усовершенного им китайского молотильного катка» и опытом, в собрании общества, над приготовленными в Англии, обошедшими вкруг света и сваренными в Харькове «*мясными консервами*». В. Н. Каразин тогда же горячо взялся за дело, которому в 1857 году было суждено осуществиться в обществе «*Сельский хозяин*» в Ростове и Таганроге. Вот любопытный отчет Каразина об этом опыте, помещенный под строкой, в примечании к «Отчету филотехнического общества за 1818 год» на стр. 18—20: «Оба ящика были открыты перед собранием, которое прежде их осмотрело по наружности. Оба они сделаны из английской жести, наподобие прежних пудряных жестянок, и не только совершеннейше запаяны, но, сверх того, покрыты лаком. На меньшем была наклеена надпись по-английски: «14. Febr. 1815. Boiled Beef, from Messer Donkin Hall et Cambeefort Place, Bermondsey lane № 30 Lombard-Street. London». Больший ящик, с телятиною, чрезвычайно пострадал на почте; но, к счастью, и в измятых местах не оказалось никаких скважин: решительный опыт и торжество английского мастерства над небрежностью русских почтальонов! Признаюсь, что я ему еще более удивлялся, нежели самому сохранению мяса. Когда присутствующие уверились, что ящики не в Харькове приготовлены, — жестянщик Торшинский (единственный в здешнем крае) вскрыл ящик с говядиною. Она была выложена на блюдо и, к общему удивлению, найдена совершенно свежею, вареною, сытною, жирною и вкусною, частью мяса, которому подобное редко встречается на столах, снабжаемых от наших мясников. Все, в том числе дамы весьма разборчивого вкуса, кушали сию *четырехгодовалую говядину* с удовольствием. И в самом деле, куски говядины этой совершили два пути вокруг земного шара, т. е. из Кронштадтского в Камчатский Петропавловский порт и обратно; два раза пересекли экватор, прошли почти все кли-

маты и, побывав близ островов Канарских, на брегах Бразилии, в морях Китая, Японии и Камчатки, между Азиею и Америкою, возвратились в Европу; наконец, из С.-Петербурга, на перекладных телегах, достигли Харькова и села Кручика». Его мысли находили отголосок в других и осуществлялись. Он считал себя ограбленным и негодовал...

Говоря, что англичане в 1842 г., 9 апреля объявили как о новом изобретении о движении непосредственно парами судна, без машин, и что он это знал уже в 1809 г., В. Н. Каразин, между прочим, прибавляет («О новом открытии в Англии»): «Когда в первые годы моей сельской жизни, *начиная с 1805 года*, я занялся опытами парового винокурения, — как первый воспитанник химии и естественных наук, попавших в нашу Украйну, по страсти к ним из детства, я был и остался весьма плохим хозяином. Переходя от одного предмета к другому, я любил исследовать причины явлений, делать опыты, не имея в виду экономических результатов: они бы отвлекли меня от науки. Мысль, что пары, при внезапном охлаждении, могут служить движущею силою, занимала меня долго. Я велел строить лодку. Лодка не была еще кончена, как я, по обстоятельствам, должен был оставить сельские занятия, ехать в Москву и в Петербург. Мысль моя затмилась тысячею других и, наконец, изгладилась из памяти. Я же столько лет указываю на воздушное электричество. Это было изложено в 1817 г. в «Сыне Отечества», и предложено в 1818 г. одному знаменитому ученому обществу. Оно осталось до сих пор без всякого отзыва».

Домоводство и сельское хозяйство, в обширном смысле, не оставляли его сил и стремлений ни на минуту.

Говоря о необходимости лесоразведения в Украйне, В. Н. Каразин упоминает («О лесоводстве»), что это нетрудно: «Умерший змиевский помещик, Иван Яковлевич Данилевский, оставил своим детям до семи сот десятин бора, которым он покрыл сыпучие некогда пески, и многие из сосен уже строевые деревья о сю пору. Данилевский, по

ходатайству гражданского губернатора Бахтина, был награжден за это орденом св. Владимира». Говоря об английской конторе Буза, из которой можно было выписывать всякие семена через харьковскую контору, он прибавляет: «Я лично берусь за труды выписки, если угодно, равно как и за доставку прутьев канадской тополи...»

Снова затеявши мысль о торге с чужими краями нашим спиртом, В. Н. Каразин объявляет («О торге спиртом»): «Большой тут премудрости не надо! скажу я с Дмитриевым. С лишком за год началась уже переписка с чужестранными негоциантами по сему предмету. Завод почти готов. Составим общество для опыта, назначив акцию во сто рублей асс. Есть налицо четыре члена, которые будут ожидать извещения от желающих в харьковскую справочную контору».

До последних дней жизни он был верен своим мыслям первой молодости. В 1840 г. В. Н. Каразин предлагал устроить общество на двадцати акциях, по 25 р. асс. каждая, для опытов в харьковских лабораториях над «превращениями древесных веществ в питательные».

Тогда же, в 1840 г., в статье «О значении Харькова для полуденной России» он предлагал «восстановить филотехническое общество», закрывшееся с 1818 г., и говорил: «Тогда пойдут из южных губерний в чужие края: крупичатая мука, крахмал, солодило или диастаз, алкоголь-спирт, сухие бульоны, макароны, коровье масло, масло постное, свечи, эссенции трав, ягод, лекарственных растений, масло шпанских мух, мыла, кожи, красильные вещества, цикорный кофе, нашатырь, сода, деготь, скипидар и прочее, все в концентратах».

Говоря о бальзамировании «пирогоном» животных тел, В. Н. Каразин (в статье «О жжении угля») в 1841 г. говорит: «Я подарил знаменитому г. Гумбольдту, в его проезд чрез Москву, огромную жабу, приготовленную сим образом, которую с первого взгляда можно было почесть за живую». И прибавляет: «Случилось мне добыть вещество в кристаллах, которое профессор Сухомлинов почел подходящим еще

ближе к алмазу. Я имею о сем его собственноручную записку, представленную им г. попечителю Е. В. К. Это было в январе или феврале 1823 г., следовательно, несколькими годами ранее опытов алмазотворения гг. Каниар-Латура и Ганналя (1829 г.). Надобно кончить благодарностью г. верховажскому купцу Александру Ивановичу Персикову, которого любопытству и вызову «Коммерческой Газеты» я обязан за повод написать эту статью. Но вместе с тем я публично принесу ему и просьбу о сделании хотя небольшого опыта *дегтярного заведения*».

Каждая бойкая мысль о приложении научных открытий к делу тотчас у В. Н. Каразина находила самое исполнение. Он ни на минуту не задумывался, хлопотал, суетился, предлагал затеянное дело обществу, тратил на него между тем собственные деньги, не видел этому сочувствия, огорчался и хандрил...

Очень часто В. Н. Каразин, как я уже и выше говорил, в самые первые годы своей деятельности терпел замечательные неудачи и, со всею простотою труженика, объявлял о них печатно. Так, в «Отчете» за 1813 г. филотехнического общества он говорит: «Я в январе, вследствие отчета моего за 1812 г., избрав коммиссионером общества помещика Полтавской губернии, Зеньковского повета, г. воинского товарища *Жадька*, отправил с ним в армию образцы питательной вытяжки (род сухого бульона), алкоголя (наикрепчайший очищенный спирт) и других подобных припасов, которые бы могли с выгодою быть доставляемы на самые отдаленные расстояния. Сколько поставки *в натуре* затруднительны, доказывает, что четверть сухарей в декабре 1812 г. из некоторых губерний до Вильны обошлась в 200 р. Сей коммиссионер был адресован к его светлости князю М. Л. Кутузову-Смоленскому. Бесчисленные затруднения, встреченные им на пути, и между тем победоносное движение российских войск во внутренности Германии сделали то, что он мог представиться полководцу лишь в первых числах апреля. 16-го числа трудная болезнь пресекла его жизнь. Но

и в расслаблении сей истинный сын отечества обратил внимание на нашу посылку, удостоил нашего коммиссионера приглашением к столу штата своего, на все то время, которое нужно б было прожить ему до получения решительного ответа, и наконец, приметя, что силы его вместе с жизнью погасают, препроводил г. Жадька к начальнику генерального штаба армии, *кн. П. М. Волконскому*, при своем отношении. Между тем достопочтенный наш сочлен, граф А. А. Аракчеев и П. П. Коновницын сделали все возможное для успеха его поручения, последний — даже невзирая на мучительную рану, которая удерживала его в постели неподвижно... *Но... по необъяснимому стечению обстоятельств, которое я должен приписать единственно несчастию г. Жадька, он в продолжении шестинедельного трудного следования за армией, по Саксонии, не получил от начальника генерального штаба никакого ответа.* И напоследок, единственно щедротами вышепоименованного нашего сочлена, одолженный способами к возвращению из столь дальнего пути, привез мне *обратно*... записки о предмете его посылки. В сей записке было представлено пособие к продовольствию войск за границею доставлением им из России, в виде вытяжек, сухих экстрактов, не только хлеба, мяса, вина, но даже и отечественных *щей*, всего за такие цены, за которые их в Германии отнюдь не можно иметь! Это был не проект, но решительное предложение... Мы уверены, что всякое сердце, любящее русского солдата, разделит с ним безмолвные чувствования о худом нашем успехе!» (Это он издал, бывши, по его словам, «довольно времени в Москве» по делам своего семейства.)

Почти безвыездно живя в деревне, с. Кручике, близ Богодухова, В. Н. Каразин продолжал заниматься химией и опытами всякого рода; много читал, выписывал кучу журналов и следил за погодой, стараясь найти законы метеорологии.

Он в это время развел обширный сад; пересадил в свои поля, для тени на межах, множество диких дерев из леса и

продолжал улучшать свое хозяйство, которое, впрочем, от больших затрат на опыты всякого рода не давало достаточных доходов для его жизни... Между прочим, он усердно занимался личным наблюдением за воспитанием собственных детей и сам их учил. *В 1824 году* он был избран заочно в совестные судьи в Харьков, но не был утвержден в этом звании, так же как в *1828 г., 27 сентября* — в председатели палаты уголовного суда, в полном собрании дворянства губернии.

По словам «Записки» сына, В. Н. Каразин удостоился счастья составлять и особого рода *журнал* для императрицы Марии Феодоровны, писанный весь его рукою и не бывший в печати, «в котором помещались, в виде разных аллегорических рассказов, мысли его о воспитании детей».

Думая о воспитании других, он заботился о воспитании собственного своего семейства. Г. Н. Геннади передал мне неизданное следующее письмо его от *1825 года, 18 мая,* из села Кручика, к неизвестному журналисту.

«Милостивый государь мой! Простительно отцу ходатайствовать в пользу сына, даже и в таком случае и отношении, когда о самом себе ходатайство было неприлично. Любители просвещения, кто бы они ни были, как бы ни разделяли их местное расстояние и другие земные обстоятельства, хотя бы они друг другу совсем незнакомы были, должны быть готовы на взаимные услуги. Имея одну цель и быв великой монархии света и истины сограждане, житель Новой Голландии может относиться о содействии смело в Москву или в Париж... На сих основаниях прошу я вас, в журнале вашем, обратить внимание публики на издаваемый теперь труд моего старшего и любезнейшего сына, который слушает лекции в Харьковском университете. Дабы вы могли надлежащим образом судить о сем сочинении, беру я смелость приложить первые отпечатанные уже листы и корректурный лист таблиц, за неименением другого здесь в деревне. Вы можете сказать свои о «*Илиодометре*» мысли. Пишущий к вам любил всегда святую истину и за все никогда не сердился. «Илиодометр»

составит книжку в 300—350 стр. Иные думали, что это киевский календарчик...»

Здесь идет дело о книге его сына, Василия, под именем: «*Илиодометр, для поверки часов, или показатель времени восхождения и захождения солнца во все дни года*, под 48 параллелями, от 40 до 69 степени северной широты. *Издал Василий Каразин*. 2 части. Харьков, в унив. типогр. 1825 г. в 8 д. л.». В смирдинском каталоге под № 4095 эта книга ошибочно приписана В. Н. Каразину. Этого же его сына в «*Украинском журнале*» 1824 г., № 23 и 24, стр. 238—253, помещена статья «*О луне*». В примечании к ней сказано: «Из Astronomie de l'amateur, par G. Hirzel, 1820 г. Перевод студента физико-математического отделения, Василия Каразина».

В 1836 г. В. Н. Каразин зимовал в Харькове. Его зять, доктор И. Севцилло, поехал из города к нему в деревню, нашел деревенский дом нетопленным и велел его протопить. Неловкие слуги, по словам Ф. В. Каразина, «...затопили разом во всех печах. Зять хозяина деревни пошел по хозяйству, воротился, увидел дом, объятый пламенем, и так потерялся, что вместо того, чтобы спасать его, велел запрягать лошадей, сел и уехал...»[1].

В этом роковом пожаре сгорела вся замечательная библиотека В. Н. Каразина, все автографы и редкие рукописи и до 5000 томов книг разного названия. Потеря замечательная, которую он тщетно оплакивал остальную свою жизнь[2].

---

[1] Село Кручик досталось теперь по покупке отца, по наследству, двум дочерям этого зятя В. Н. Каразина, Ол. Ив., П. Ив. Севцило, в замужестве г-же Мягкиной и г-же Зимборской. Село Анашкино, близ Москвы, досталось сыну владельца Ник. В. Каразину, дочь которого, внучка В. Н. Каразина, Нат. Николаевна, была в замужестве за князем Назаровым, ныне за г. Гундиус.

[2] В это время мне было шесть лет, и я помню, в зимний бурный вечер, худого седого старичка, который заехал на хутор моего отца и плакал, рассказывая о пожаре... Это был В. Н. Каразин.

От пожара библиотеки и дома уцелели, однако, семь томов собственноручных записок и копий с *«Писем В. Н. Каразина — с 1821 по 1842 год»*. Это число показывает, как обширны были мемуары за остальные годы жизни В. Н. Каразина!

Живя в деревне, он вел громадную переписку, писал в год до 1200 писем. У него остались письма С. О. Потоцкого, М. М. Сперанского, В. П. Кочубея и др., с 1802 по 1825 г. И что замечательно, в то время, как он писал, рядом с ним сидел его грамотный слуга и тут же копировал его письма. Одно время списывал слуга его Яков Котенко. Последним списывателем его писем был его крепостной человек *Федор Минжеренко*, после приказчик с. Кручика (со слов Ф. В. Каразина).

Хозяйственные дела В. Н. Каразина шли между тем хуже и хуже. Я достал любопытные копии с официальных писем университетского и городского харьковских обществ по случаю помощи, оказанной ими в 1833 г. В. Н. Каразину, когда последнего готовили объявить несостоятельным. Вот они:

1) Письмо *Вл. Филатьева*, попечителя харьковского учебного округа, к председателю гражданской палаты, *Я. И. Кашинцеву, от 1833 г., 12 января*.

«Милостивый государь Яков Иванович! Господа профессоры и преподаватели в Императорском харьковском университете, узнав, что Василию Назарьевичу Каразину следует внести в харьковскую гражданскую палату, в возврат графу Подгоричани, пошлинных 2384 рубля, коих он, по стесненному своему положению, в назначенный срок представить не может, — не могли остаться в равнодушном бездействии при сем столь близком для нас обстоятельстве; но, движимые сердечною благодарностью и уважением к г. Каразину, как первому, единственному виновнику основания здесь университета, в котором большая часть из них получили образование свое, в котором вместе с сим открыто им завидное поприще передавать образование молодым людям

и тем принести усердную дань благоговения согражданам своим и отечеству, просят меня взнесть в помощь г. Каразину собранную ими сумму.

С полным чувством сердечного удовольствия разделяя стремление душевной признательности гг. членов университета к г. Каразину, я честь имею препроводить при сем, чрез г. проректора Кронеберга, 1280 р. к вам, как к председателю палаты, для взнесения оной куда следует. *Вл. Филатьев*».

2) Письмо харьковского городского головы *Антона Матузка, от 1833 года, 17 января*, к тому же лицу:

«М. г. Яков Иванович! Уведомился я, — статский советник Василий Назарьевич Каразин имеет в слободско-украинской гражданской палате дело; по окончанию оного потребна сумма 1200 руб. Желая предупредить его в доставлении сей суммы, по желанию моему и граждан, кои в полной мере чувствуют труды и предстательства г. В. Н. Каразина пред престолом блаженной и вечнодостойной памяти покойного всеавгустейшего Монарха Александра I, об учреждении в г. Харькове университета, который распространил свои учебные отрасли; чрез сие самое г. Харьков улучшил свое положение, а торговый класс возвысил свое состояние; сей малый знак истинной признательности покорнейше вас, м. г., прошу оную сумму 1200 р. асс. принять и употребить по делу вышеприписанному. *Антон Матузок*».

С 1838 г. основались в Харькове «Губернские Ведомости». В. Н. Каразин принял в них участие и, с 1838 по 1842 год, поместил в них ряд статей о нуждах края и о своих любимых занятиях.

В 1842 году В. Н. Каразин уехал в Крым, где задумал указать несколько улучшений в принятом там, довольно грубом, способе виноделия. Он ездил там на перекладной, простудился в туманную, дождливую погоду и, пробывши на заводах в Никитском саду, близ Ялты, с сентября по октябрь, прибыл уже больной в Николаев, где служил при знаменитом Лазареве сын его, Ф. В. Каразин.

В конце ноября в Одессе получено было печальное известие из *Николаева*, что там, 4 ноября 1842 г., в восемь часов пополудни, в доме генерала Кумани, от горячки, скончался *Василий Назарьевич Каразин...*

17 января 1865 г. исполнилось, 60-летие со времени открытия Харьковского университета. На обеде у ректора университета, В. А. Кочетова, между присутствовавшими возникла речь о постановке памятника В. Н. Каразину в Харькове, на площадке университетской горки, наподобие того, как Одесса имеет у себя памятник Дюку де-Ришелье, основателю ее лицея, и об объявлении премии за биографию В. Н. Каразина, со стороны Харьковского университета. В 1873 году в Харькове праздновалось столетие дня рождения В. Н. Каразина и последовало высочайшее соизволение на общую подписку для постановки ему в Харькове памятника.

1860 г.

IV

ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ КВИТКА-ОСНОВЬЯНЕНКО

(1778—1843 гг.)

Родословная Г. Ф. Квитки. — Его детство. — Служба военная и гражданская. — Поступление в монастырь. — Возвращение к светской жизни. — Литературные труды. — Музыкальные и театральные занятия. — Милиция. — Танцевальный клуб. — Харьковский театр. — М. С. Щепкин. — Женитьба и семейная жизнь. — Харьковские журналы. — Участие в «Вестнике Европы». — Литературная известность. — Успех «Малороссийских повестей». — Участие в «Современнике» и «Отечественных Записках». — Знакомство с Жуковским и Гребенкой. — Болезнь и смерть Основьяненко

I

Григорий Федорович Квитка родился в 1778 году, 18 ноября.

Место рождения его — подгородное харьковское село *Основа*, принадлежавшее издавна фамилии Донец-Захаржевских, а потом перешедшее во владение фамилии Квиток. От имени этого села, о котором я скажу подробнее в своем месте, произошел (в 1834 году, впервые) псевдоним *Основьяненко*.

Род Квиток — один из замечательнейших в истории Слободской Украины. Основьяненко, в своей статье о Харькове и его истории, выводит его несколько романтически из

Приднепровской Украины, заставляя маленького героя-сироту, красивого, как цветочек, по-малороссийски *квитка*, после долгих похождений попасть на берега трех степных речек, где в то время возникал городок Харьков.

В летописях слободских полков имя Квиток встречается впервые около 1666 года. В 1703 году полковником Харьковского полка был *Григорий Семенович Квитка*, прадед нашего писателя, который неусыпно заботился об укреплении Харькова от набегов татар, строил в нем новые здания, помещал толпы переселенцев, которые тогда стекались под знамена слободских полков.

Сын этого харьковского полковника, *Иван Григорьевич Квитка*, дед писателя, в 1743 году, 22 ноября, грамотою императрицы Елисаветы Петровны, посланною на его имя в Изюмский Слободский полк, пожалован в звание полковника этого полка.

Изюмский полковник Иван Григорьевич Квитка скончался в 1751 году, 14 февраля. Сын его *Федор Иванович Квитка*, был отцом Григория Федоровича Квитки-Основьяненко.

У Федора Ивановича Квитки и жены его, Марьи Васильевны Шидловской, очень образованной, но гордой, самолюбивой и суровой женщины, были еще другие дети. Старший сын, *Андрей Федорович*, был до конца жизни, в течение двух царствований, Александра I и Николая, в числе первых харьковских общественных деятелей, так как около двадцати пяти лет сряду он был по выбору губернским предводителем харьковского дворянства. В окрестностях и в городе иначе его не называли, как «Андрей Федорович», и всяк уже знал при этом имени, о ком идет речь. Он принимал в Основе императора Александра; смоляные бочки горели на всем расстоянии дороги от Харькова до Основы. Император, войдя в великолепный дом Основы, с оранжереями, богатою мебелью, огромными зеркалами и мраморными статуями, спросил с улыбкой: *«Не во дворце ли я?»* Три сестры Квитки, по замужестве, были: *Марья Федоров-*

на Зарудная, в доме которой, на Екатеринославской улице, против Дмитриевской церкви, невдалеке от нынешней станции Азовской, Полтавской и Курской железных дорог, впоследствии жил Квитка-Основьяненко, *Елизавета Федоровна Смирницкая* и *Прасковья Федоровна Булавинская*. Отец Основьяненко скоро умер; мать еще жила в начале двадцатых годов. Брат его, Андрей Федорович, скончался вскоре после смерти Григория Федоровича (1843 год). Последний с первых дней жизни оказался ребенком тощим и слабым. Скоро показались в нем признаки сильной золотухи. Эта болезнь так развилась в малютке, что он потерял зрение и до пятилетнего возраста оставался слепым. Исцеление его произошло во время поездки его с матерью в соседний Озерянский монастырь на богомолье. Этот случай оставил глубокие следы в душе ребенка и впоследствии, вместе с другими событиями, в особенности же вследствие семейных примеров, вызвал довольно замечательное событие в жизни Основьяненко, именно, поступление его, на двадцать третьем году, в монастырь.

Харьков, обстроенный при императрице Екатерине II, представлял общество совершенно патриархальное, в духе старосветских украинских преданий. Университет еще не был открыт. О литературе не было и помину. Помещики соседних и дальних деревень приезжали в губернский город на торги и на ярмарки запасаться привозными с севера и юга товарами; другие ездили по делам службы или по тяжебным делам, которых было в то время, по словам Нарежного, *без числа*. Высшее ученое место в Харькове был духовный коллегиум, имевший очень ограниченный круг действия. В Харькове и окрестных уездах, незадолго до рождения Г. Ф. Квитки, появилось лицо, которому было суждено оставить глубокий след в умах современников. Это был оригинальный и причудливый философ, которому я посвятил отдельную статью. По его духовным наставлениям многие возлагали на себя монастырский обет!

Сковорода появлялся во многих домах в Харькове. Он бывал, между прочим, и в доме *Квиток*. Молва о Сковороде затронула мысли ребенка. Двенадцати лет уже он открыто пожелал оставить свет для монастырских стен. В семейной жизни Квиток были также предания, способствовавшие этому направлению. В книге *«Историко-статистическое описание харьковской епархии», Москва, 1852 г.»* (на стр. 11) сделана выписка из «Фамильной летописи Квиток», где говорится, что сестра известного *Иосафа Горленкова*, белгородского епископа в прошлом веке, была замужем за дедом Основьяненко, изюмским полковником Иваном Григорьевичем Квиткою. Из этой же выписки, между прочим, видно, как горячо любил своих родственников этот высокочтимый окрестными жителями епископ. Здесь упоминается, что он *стоял на Основе* с июня по август 1851 года. На Основьяненко имел сильное влияние еще другой пример: посвящение в монашеский сан друга его отца, артиллерии поручика *Белевцова*, бывшего, под именем Палладия, настоятелем Курского монастыря. Но главный пример был пребывание в монастыре родного его дяди, иеродиакона Наркиза, бывшего потом настоятелем Куряжского монастыря, куда поступил и Основьяненко.

Такие предания и примеры наполняли жизнь тихой семьи в Основе, когда ребенок, исцеленный от расстройства зрения, в пятилетнем возрасте стал присматриваться и прислушиваться к окружающему. Жизнь его текла невесело. Учился он кое-как или почти совсем не учился. Об этом он говорит в любопытном неизданном письме к П. А. Плетневу от 15 марта 1839 года из Основы следующее: «Я и родился в то время, когда образование не шло далеко, да и место не доставляло к тому удобств; притом же болезни с детства, желание не быть в свете, а быть может, и беспечность, и леность, свойственные тогдашнему возрасту, — все это было причиною, что я не радел о будущем и уклонился даже от того, что было под рукою и чему мог бы научиться. Выучась ставить каракульки, я положил, что, умея и так писать, для

меня довольно; в дальнейшие премудрости не пускался и о именительных, родительных и прочих, как то: о глаголах, междометиях, — не мог слышать терпеливо! С таковыми познаниями писатели «не бывают». Молодость, страсти, обстоятельства, служба заставляли писать; но как? Я в это не входил. *Еже писахъ, писахъ*!..»

Склонный к молитве и уединению, Основьяненко на двенадцатом году изъявил непременное желание поступить в монастырь. Однако до четырнадцатилетнего возраста, по неотступной просьбе отца и матери, оставался в доме родителей, в Основе. По совету врачей, для укрепления здоровья и рассеяния, он был определен в 1794 году, 11 декабря, вахмистром в лейб-гвардии конный полк, но уже через год, в 1795 году, по слабости здоровья (а может быть, и по особым соображениям родных малороссийского барчонка, выросшего под теплым родительским кровом), он перечислился в гражданскую службу, где и состоял, по 13 октября 1796 года, *не у дел*, при департаменте герольдии. Над этим он впоследствии сам трунил, придумав для одного из своих псевдонимов подпись: *Аверьян Любопытный, состоящий не у дел коллежский протоколист, имеющий хождение по тяжебным делам и по денежным взысканиям.* Шестнадцати лет он снова перешел в военную службу и определился ротмистром в северский карабинерный полк. Указом императора Павла I, от 5 января 1795 года, он определен в харьковский кирасирский полк, уже в чине ротмистра, причем также велено ему явиться в этот полк к сроку. Это было в 1797 году. Жизнь дома, среди воспоминаний печального и болезненного детства, опять возымела на него сильное влияние. Примеры семейства и тогдашнего времени увлекли его душу, и без того настроенную к уединению. Он достиг желанной цели и на двадцать третьем году, после женитьбы старшего брата, поступил в *Куряжский монастырь* послушником, где и оставался, с промежутками (когда переселялся гостить в Основу), около четырех лет.

Старожилы харьковские до сих пор помнят, как Основьяненко, в черном, смиренном наряде, ездил, стоя на запятках, за каретою преосвященного. Срок испытания прошел; но как ни желал молодой послушник остаться в монастыре, как он ни боролся с просьбами отца и матери, здоровье не позволяло ему принять пострижение, и он возвратился в дом родителей. Основьяненко, стянувший грудь свою ремнем послушника и отрастивший бороду, в самом разгаре юности и страстей, не мог долго противиться просьбам отца. Отец его начал видимо ослабевать и близиться к гробу. Основьяненко, следуя его убеждениям, снова отдал свои силы свету, трудам и заботам на пользу ближних, на пользу родины и родной литературы. Под конец своего пребывания в монастыре, он брал на себя самые трудные работы: ходил, между прочим, за монастырскими лошадьми, а лошадей он боялся всю жизнь. Силы постоянно изменяли ему. Однажды он повез на паре волов продавать в Харьков сделанные на монастырском рабочем дворе бочки. Была осень, и страшная грязь наполняла харьковские улицы. На рыночной площади воз покачнулся и засел по оси в грязь. Напрасно Основьяненко хлопотал над ним; мальчишки сбежались кругом, узнали молодого человека и стали кричать: «Квитка, Квитка!..» Он махнул рукою, бросил воз на улице и возвратился на Основу. С той поры он уже не думал об удалении от света. Но впечатления недолгой жизни в монастыре, в прекрасной, живописной местности, в уединении и молитве, остались надолго в душе Основьяненко и всю жизнь отзывались в лучших его сочинениях. Сюда относятся большая часть элегических повестей Основьяненко, где добрые, свежие, полные любви личности его простонародных героев и героинь согреты этою простодушною, прямою религиозностью, — каковы его знаменитые повести: *«Маруся»*, *«Божие дети»*, *«Сердечная Оксана»* и *«Ганнуся»*. Кроме отдельных мест в повестях, у него есть и статьи чисто церковно-исторического содержания, каковы *«Краткое содержание жизни преосвященного Иосифа Белгородского»* и рассказ *«О святой мученице Александре-царице»*.

По выходе из монастыря Основьяненко мало-помалу опять пригляделся к свету. Сперва, впрочем, он собою во многом напоминал отшельника: ходил в Основе с церковными ключами, благовестил к обедне по праздникам и большую часть времени проводил в молитве. До конца жизни в его комнате стоял аналой с молитвенником и постоянно теплилась лампадка. Здоровье его совершенно поправилось. Он окреп и, — хотя вскоре, приготовляя домашний фейерверк, от взрыва пороха опалил себе лицо и глаза, отчего остался на всю жизнь с синеватыми пятнами на лбу и потерял левый глаз, — начал появляться в обществе, которого в начале, по возвращении в свет, дичился. Играя на флейте, он просиживал тогда по целым ночам в тени сада, в Основе.

Наконец молодость взяла свое. Врожденная его землякам веселость явилась и в нем. Это двойственное направление образовало в нем смесь наивного и веселого комизма с строгою, высокорелигиозною нравственностью. Он недолго оставался праздным. В промежутках 1804 и 1806 года, он занимался музыкою и играл у себя в домашнем театре, причем обыкновенно выбирал себе роли самые веселые и трудные. Раздавшаяся весть о народном ополчении окончательно вызвала его из бездействия; он тогда уже подвергся сатире одного бойкого пересмешника, кольнувшего его за непостоянство характера довольно злою эпиграммою. В 1806 году он снова, и уже в последний раз, определился на военную службу, по провиантской комиссии в милицию Харьковской губернии, и оставался здесь год. В 1807 году он вышел в отставку.

II

Харьков в это время совершенно преобразился. Причиною тому было основание высшего учебного заведения, которое оживило и осветило целый край. В 1805 году, 18 января, в Харькове открыт университет. Были в Харькове

еще частные пансионы. Все они были заведены прусскими или французскими эмигрантами и только доставляли способ наживаться учредителям. А теперь сыновья помещиков, после долгих домашних проводов и домашних слез, стали снаряжаться в дорогу и наполнили мало-помалу харьковские аудитории. Как студенты, так и профессора надевали мундиры только в большие праздники. На лекции являлись в чем попало. Желтые фраки и синие брюки, голубые сюртуки и чудовищные жилеты, фуражки необыкновенных цветов и размеров, палки и трубки в карманах, — все это являлось в аудитории.

С первых же годов университет обогатился замечательными профессорами, которые положили основание литературной деятельности в Харькове изданием разом нескольких журналов и газеты при университетской типографии, заведенной Каразиным, где потом печатались почти все малороссийские книги. В этих журналах участвовали все писавшие тогда профессора. Тут же явился впервые и Основьяненко, под собственным именем Квитки.

Харьковское начальство старалось исподволь доставить городу развлечения. Был заведен «дворянский клуб» в доме Черкесова, потом в доме Зарудного. Его содержатель, бывший фехтовальный учитель при университете, Ле-Дюк, один из наполеоновских гвардейцев 1812 г., бился из всех сил о поддержании веселостей этого собрания. Танцевали тут до упаду, и главную роль в экосезах, полонезах и a la grecque играла студенческая молодежь. Здесь же начал появляться, уже как светский человек, и Основьяненко. Сперва он был простым гостем, потом одним из членов-распорядителей и, наконец, *директором танцевального клуба*. Вообще, где возникало что-нибудь новое и нужно было дать толчок, являлся Основьяненко. Так, вскоре он дал прочное значение харьковскому театру, позднее основал *институт для девиц*, а в промежутках своих хлопот о театре и об институте стал издавать первый харьковский журнал.

Выйдя в отставку в 1807 г., он оставался в бездействии до 1812 г., когда в Харькове возник правильный и постоянный городской театр. Он помещался тогда на площади, против нынешнего дворянского собрания; директором театра вскоре явился Основьяненко. Имея обыкновение горячо и страстно браться за всякое дело, он до того увлекся театром, что чуть даже не женился на одной из его актрис, известной тогдашней красавице и львице Преженковской, но был остановлен своею матерью. В 1841 г. он напечатал любопытную «Историю харьковского театра от старинных времен». Еще в 1780 г. в Харькове давались представления, нечто вроде балетов, отставным петербургского театра дансером Иваницким. Потом, на временных подмостках, красовалась какая-то «маляривна» и «Лизка». Здесь, у антрепренера Штейна, явился впервые робкий, застенчивый дебютант из Курской губернии, игравший до того времени в Полтаве, имя которого было Щепкин... Он появлялся в драмах и трагедиях, где играл роли принцев и графов. Основьяненко однажды за кулисами поймал его и сказал ему: «Эх, брат, Щепкин! Играй в комедиях: из твоих фижм и министерства постоянно выглядывают мольеровские Жокрисы!» Эти слова были многозначительны для будущности великого комика. М. С. Щепкин мне говорил, между прочим, что в драме «Железная маска» он исподволь в Харькове сыграл все роли, от часового, лакея, офицера и до герцогов. По словам знаменитого артиста, Квитка способствовал тому, что опера Котляревского «Наталка-Полтавка» поставлена впервые в Харькове. Она, без цензуры, сперва была дана в Полтаве, по личному разрешению Г. Г. Репнина. Щепкин хотел ее дать в свой бенефис в Харькове. Квитка сказал ему: «Назначьте какую-нибудь старинную пьесу, а перед самым днем бенефиса сошлитесь на нездоровье какого-нибудь актера и просите официально дать, за поспешностью, «Наталку-Полтавку», — пьесу, уже разрешенную для Полтавы». Пьеса была дана...

Основьяненко бросил звание директора театра по случаю занятий по институту, но любовь к сцене осталась в нем навсегда и выказалась впоследствии не один раз в его трудах для сцены. Штейн содержал театр с 1816 по 1827 год, когда передал его Млатковскому. Млатковский был последнею знаменитостью в числе старинных харьковских антрепренеров.

В 1811 году Каразин учредил филотехническое общество. Успех этого общества вызвал мысль основать благотворительное общество, нечто вроде петербургского Общества Посещения Бедных. Как успешны были занятия этого общества, видно из того, что уже на первых порах оно положило основать и основало на свой счет институт для образования беднейших благородных девиц. Первая мысль об учреждении этого института принадлежала Основьяненко, который был в то же время ревностнейшим членом и правителем дел благотворительного общества и даже свое литературное или печатное поприще начал статьею в «Украинском Вестнике» 1816 г. об этом институте. Общество благотворения, направляемое в своих действиях влиянием Основьяненко, собрало значительную сумму общих приношений, — и институт для девиц был открыт в 1812 г., через семь лет после открытия университета и через год после открытия филотехнического общества. Акт на открытие института подписан в один день с актом об ополчении, 27 июля 1812 г. На Квитку было возложено открыть институт 10 сентября, что он и исполнил в то время, как неприятель занимал Москву... Основьяненко было вверено главное управление делами института, на который он «принес в жертву почти все достояние свое». Вскоре, по ходатайству Основьяненко, императрица Мария Феодоровна приняла Харьковский институт под свое покровительство. Это было в 1818 г.

Оставаясь в звании правителя дел общества благотворения, Г. О. Квитка оказал краю услугу, которой одной достаточно было бы для сохранения памяти о нем. Одним из

попечений общества было доставление воспитания юношеству бедных семейств...

Дети мужского пола были определяемы на иждивение общества, в пансион при губернской гимназии; для воспитания же девиц ни в Харьковской, ни в соседних губерниях не существовало еще тогда общественных учебных заведений. Квитке принадлежит первая мысль об учреждении такого заведения в Харькове; его же заботливости, трудам и жертвам принадлежит и осуществление этой мысли. По его старанию открыт институт, где должны были получать воспитание из каждого уезда Харьковской губернии по две девицы благородного происхождения из беднейших семейств, чтобы потом, в свою очередь, быть наставницами и учительницами дочерей достаточных помещиков. Скоро туда были помещаемы и дочери помещиков, на их собственном иждивении и на счет казны императрицы Марии Феодоровны.

Когда институт, по представлению Квитки, уже избранного в 1817 г. предводителем дворянства Харьковского уезда, поступил в число казенных заведений, учредителю его поручено составить совет для управления институтом. В январе 1818 года Основьяненко, по выборам, учрежден членом институтского совета и оставался в этой должности до мая 1821 года. В 1816 году Основьяненко сочинил «Кадриль» для встречи возвращавшихся в Харьков из Парижа войск.

Позже его же стараниями открыты в Харькове: кадетский корпус, переведенный потом в Полтаву, и публичная библиотека при университете. Основьяненко в некоторых из своих неизданных писем в 1839 году с восторгом вспоминает об этом времени и о заслуженном своем торжестве. Харьковский институт имел еще особенно благое значение для Квитки. Через институт он узнал одну из достойнейших его классных дам, на которой вскоре и женился. Свадьбе предшествовала самая страстная любовь. В 1818 г. из Петербурга приехала в Харьков на место классной дамы одна из пе-

пиньерок Екатерининского института. Тогда Основьяненко было уже *под сорок лет*. Через два года по приезде в Харьков, около 1821 г., классная дама вышла замуж за Основьяненко и осчастливила его, по собственным его словам, на всю жизнь. Это была почтенная Анна Григорьевна, которой имя так часто встречается в «посвящениях повестей» ее мужа, которая принимала участие во всех заботах и трудах Квитки, лелеяла его жизнь, выслушивала и поправляла его сочинения, смотрела на его литературную судьбу как на свою собственную, на его сочинения как на что-то сверхъестественное, и когда не стало на свете ее старого друга, она бросила свет и «с нетерпением ждала минуты, когда могла за ним сойти в могилу».

Анна Григорьевна, в письмах к П. А. Плетневу 1839 года, между прочим, пишет: «Я — Вульф, первая выпущенная в 1817 г. и на другой же год из пепиньерок отправленная, по воле императрицы Марии Феодоровны, в Харьковский институт, где, находясь два года, вышла замуж за основателя и члена сего же заведения, ныне известного Грицька Основьяненка... Вы справедливо сказали, что я счастлива, ибо какое благо в мире может сравниться с тем неоцененным сокровищем, которое я имею в моем муже-друге! О, как вы хорошо разгадали эту редкую душу! Вышедши замуж, я не переставала мечтать о Петербурге и часто просила моего мужа найти какую-нибудь должность и переехать туда; но он, *любя свою родину* и привязан будучи к своим родным, никак на то не решался!»

Во время женитьбы Квитка жил у своей матери, в ее доме на Екатеринославской улице, невдалеке от Холодной горы, против Дмитриевской церкви. Институт был тогда тоже близко, тотчас за церковью, и Основьяненко со службы шел к матери прямо через калитку институтского сада. Его помещение заключалось в двух комнатах: большой, в три окна во двор, и маленькой спальне в одно окно, выходившее в сад.

Дом, где он жил, принадлежал Кундиной. В этой квартире три первые месяца он провел и женатый; туда ему носили, между прочим, от матери, жившей по соседству, в доме своей дочери, чай, а обедал он с матерью. Мать Квитки была в числе директрис института. Основьяненко во время обеда шутил, рассказывал об институте и шалуньях-институтках; он тогда носил темный сюртук с многочисленными мелкими складками на талье, *чунарку*, как ее называли.

III

В доме жены губернского прокурора Любовниковой, которую до сих пор с почтением вспоминают бывшие тогда харьковские студенты, стали собираться по вечерам *для чтения*. Эти первые «литературные вечера» собирали цвет тогдашнего харьковского ученого и литературного света, профессоров, студентов и всяких дилетантов — словом, все мыслящее общество маленького городка, где было тогда не более двенадцати тысяч жителей. Здесь стал появляться, со своими малороссийскими анекдотами, игрою на флейте и пьесами для фортепьяно, своего сочинения, и Квитка.

За вечерами Любовниковой открылись литературные чтения у Гонорского, молодого адъюнкта русской словесности. Основьяненко, появляясь здесь, уже не сидел молча, а позволял себе рассуждать о тогдашней русской литературе. Читалось, однако, тогда мало. Книги привозились в Харьков до 1805 г. московскими книгопродавцами во время ярмарок. Павловский в 1818 г. издал: «Грамматику малороссийского наречия», где поместил целый рассказ по-украински, отрывок из истории некоего малороссиянина. В это же почти время раздались в печати и первые звуки художественно-литературного украинского языка: то был известный автор «Энеиды, вывороченной наизнанку» Котляревский. В «перелицованной Энеиде», писанной в 1789, 1808 и 1809 гг. и

изданной вполне уже в 1842 г., господствует чистый малороссийский язык «puritatis legitimae», каким впоследствии писал редкий из южнорусских писателей, не исключая и Квитки, писавшего на смешанном харьковском наречии. Вслед за «Энеидою» Котляревский написал две оперетки: «Наталка-Полтавка» и «Москаль-Чаривник», обе изданные только в 1838—1841 гг. Между Котляревским и собирателями украинской старины является в одно время с Основьяненко Гулак-Артемовский, автор пьес «Твардовский», «Тюхтий та Чванько», «Солопий та Хивря, або горох при дорози» и перевод из Горация, названного им «Гараською»...

Украинские сочинения печатать было негде. При всем желании посетителей вечеров у Любовниковой и Гонорского, издание собственно харьковского журнала долго не осуществлялось. Наконец, журнал — гордость маленького городка — в начале 1816 года вышел, и Основьяненко в нем, с первых же номеров, является прямо *одним из издателей.*

Журнал, который стал выходить при харьковской типографии, назывался «Украинский Вестник». Он выходил в шестнадцатую долю листа, в 1816, 1817 и 1818 гг., и составляет теперь для самих библиоманов *библиографическую редкость.* Редакторами его были Филомафитский и Гонорский. В конце четвертой и последней части этого журнала за первый год, при известии об издании его в следующем году, во главе этих двух издателей подписался и Основьяненко настоящим своим именем: *Григорий Квитка.*

Под редакцией Основьяненко и двух других издателей «Украинский Вестник» тотчас стал на твердую ногу.

Основьяненко печатал здесь, за подписью *Григория Квитки,* отчеты о благотворительном обществе и об институте и статьи юмористические, производившие в Харькове фурор, под псевдонимом *Фалалея Повинухина.* Но недолго блаженствовали издатели на лаврах... В Харькове основался другой журнал — совершенная противоположность «Украинскому Вестнику», журнал под названием «Харьковский Де-

мокрит, тысяча первый журнал», издаваемый Масловичем Издатели «Украинского Вестника», преклонив оружие, сами стали в ряды сотрудников веселого «Демокрита» и его редактора. Между прочим, Основьяненко появился здесь с стихотворениями, под которыми везде стоит полная его подпись: *Григорий Квитка.* Эти стихотворения — «Воззвание к женщинам» и искусные «Двойные акростихи» — любопытны тем более, что их писал будущий веселый автор украинских повестей, и писал почти на сороковом году жизни.

«Харьковский Демокрит» прекратился в начале своем (в 1816 г.); «Украинский Вестник» перестал выходить в начале 1820 г. В промежуток же этого времени выходили, при той же университетской типографии (с 1817 по 1823 г.), «Харьковские известия, листы в четырех отделениях». Это был род газеты, где помещались внутренние происшествия, заграничные новости, смесь и объявления. В 1824, 1825 и 1826 г. выходил еще в Харькове, при университете, «Украинский Журнал», издание А. Склабовского. Здесь уже господствовала строгая наука, в настоящем смысле этого слова. Основьяненко здесь не участвовал.

IV

Женившись, по прекращении «Украинского Вестника», Квитка перенес свои труды в «Вестник Европы», журнал, издававшийся в Москве Каченовским. Здесь он участвовал с 1820 по 1824 год, продолжая печатать юмористические письма под псевдонимом *Фалалея Повинухина* и под другими псевдонимами; главное лицо, к которому обращались эти письма, был *Лужницкий Старец.*

В № 5 «Вестника Европы», за март, явился Основьяненко с статьей «Письма к Лужницкому Старцу» и подписью: «Аверьян Любопытный, состоящий не у дел коллежский протоколист, имеющий хождение по тяжебным делам и по денежным взысканиям». В 1822 г. в «Вестнике

Европы» «Письма к Лужницкому Старцу» наконец являются прямо уже с подписью Фалалея Повинухина. Здесь, между прочим, болтливый автор описывает свою судьбу с *Евдокией Григорьевной*, в имени которой нельзя не узнать Анны Григорьевны, а обитаемый им город называет *Хар*... Наконец, в том же году, в «Вестнике Европы» помещены пять «Малороссийских анекдотов», перемешанных с малороссийскими фразами, анекдотов без подписи.

С той поры начинается новая эра в жизни Основьяненко, вызвавшая появление его комедий и повестей около 1830 года. В это время Квитка достигает литературной известности, которая вызывает против него на родине ряд сплетен, перешедших в стихотворные пасквили. Даже основатель Харьковского университета, Каразин, не удержался от написания на Квитку сатиры, которая начиналась словами:

Был монахом, был актером,
Был поэтом, был танцором!

Другое четверостишие неизвестного автора говорило следующее:

Не надивлюся я, Создатель,
Какой у нас мудреный век:
Актер, поэт и заседатель —
Один и тот же человек!

Эти эпиграммы сильно действовали на Квитку, особенно в глухой провинциальной среде.

В 1832 году Квитка напечатал впервые под псевдонимом «Основьяненко» повесть «Харьковская Ганнуся» — в «Телескопе», в переводе на русский язык М. П. Погодина.

В 1827 году он написал комедию «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе» (напечатанную в 1840 году). Эта комедия впоследствии оказалась очень близкою по внешности с «Ревизором» Гоголя, опубликованным ранее, но написанным позднее комедии Квитки. Я в свое время проследил это сходство по рукописи Квитки, процензурованной московским цензором, известным С. Т. Аксаковым, в 1828

году. Ознакомясь с «Ревизором» и зная близость С. Т. Аксакова к Гоголю, Квитка пришел в неописанное смущение. Действие в «Приезжем из столицы» Квитки происходит, как и в «Ревизоре», в уездном городе, в доме городничего, куда тотчас переводят мнимого ревизора; последний, как и Хлестаков, мальчишка, не окончивший учения и ненадежный по службе. Другие лица — по внешности — тоже напоминают героев «Ревизора»: судья Спалкин, от слова *спать*, и почтовый экспедитор (Печаталкин), который, как и у Гоголя, в конце развязывает всю пьесу, и смотритель уездных училищ (Ученосветов), и частный пристав (Шарин), напоминающий Держиморду, и, наконец, *две приятные дамы*, сестра городничего Трусилкина и племянница его, которые также влюбляются в «милашку ревизора». Здесь также вся кутерьма происходит от темного и сбивчивого известия из губернского города; чиновники также представляются ревизору, и тот у них занимает деньги, от 27 р. 80 к. асс. до 500 р. асс., куша, взятого у городничего. Здесь, так же, как и у Гоголя, дамы толкуют о *храме изящества* и о том, *как печально из столицы вкуса быть брошену в такую уединенную даль!* Наконец, при развязке, также происходит *немая сцена*, причем всех, как громом, поражают слова частного пристава о новом, настоящем, как видно, ревизоре: *«Вот бумага от губернатора, с жандармом присланная!»*

Хотя покойный С. Т. Аксаков, на мой вопрос, писал мне, что «Ревизор» не мог быть создан под влиянием комедии Квитки, так как Гоголь писал его, не зная о существовании «Приезжего», но нельзя не прийти к мысли, что внешний план, рамки «Ревизора» могли быть даны Гоголю его другом, С. Т. Аксаковым, который, в качестве цензора, прочел пьесу Квитки еще в 1828 году. Это не умаляет крупных достоинств «Ревизора».

С 1817 года Квитка был избран в дворянские предводители Харьковского уезда и пробыл в этом звании четыре трехлетия, по 1829 г. В это время он написал другую комедию, «Дворянские выборы», затем «Шельменко — воло-

стной писарь», которая имела на Украине колоссальный успех. В 1832 году Квитка был избран совестным судьей в Харькове и оставался в этой должности девять лет, до 1840 года.

В 1834 году явились два тома известных *«Малороссийских повестей, рассказанных Грицько Основьяненко»*. Успех этих повестей превзошел ожидания издателей и сразу упрочил в России знаменитость украинского писателя. Петербургские и московские журналы стали наперерыв искать его сотрудничества. Жуковский, в проезд через Харьков, отыскал Основьяненко, ободрил его и советовал — писать и писать более, выбирая сюжеты из местной украинской жизни, и привез перевод нескольких его повестей в подарок «Современнику», издававшемуся тогда П. А. Плетневым. По поводу этого завязалась у Основьяненко обширная переписка с Плетневым, которая длилась до смерти Квитки (до 1843 года). Основьяненко напечатал в «Современнике» ряд повестей, отрывков из романов, рассказов, очерков и воспоминаний и переводы на русский язык почти всех своих малороссийских повестей. С 1839 года он сотрудничал в «Отечественных Записках», где напечатал половину известного своего (и лучшего) романа «Пан Халявский» и исторические монографии «Головатый», «Предания о Гаркуше», «Татарские набеги на Харьков», «Двенадцатый год в провинции» и пр.

V

В 1840 г. Квитка был избран в председатели Харьковской палаты уголовного суда; на третьем году исполнения этой последней должности он умер.

Последние годы жизни Квитка провел в той же тихой, семейной среде, где за ним, как за ребенком, ухаживала его Анна Григорьевна. Это была бесспорно умная, образованная, хотя и некрасивая женщина, малосообщительная с посторон-

ними и нравом строгая пуританка. Отправив утром мужа на службу, она чопорно одевалась и в уединении домика Основы ожидала его к обеду. Основьяненко любил покушать, особенно своих национальных блюд, кислых пирогов, галушек, блинов, вареников. Хозяйством заниматься он не любил. После обеда обыкновенно отправлялся в свой кабинет, и тогда наставали для него лучшие часы в жизни. Он писал, не тревожимый никем, писал на своем родном украинском наречии или хоть и по-русски — но о своей родной, дорогой, ничем не заменимой Украйне...

Свои произведения он обыкновенно прежде всего прочитывал своей жене, доверяя ей слепо во всем, даже в своих литературных делах.

К Квитке изредка заезжали городские гости, приезжие из столиц. Его особенно порадовало знакомство с молодым тогда писателем, тоже украинцем, Гребенкой.

В городе он дружбы ни с кем не вел. Чтение столичных книг и газет заменяло ему живых людей. Тяжелый на подъем, он не любил движения и мало гулял. В поездке на службу он обыкновенно беседовал с старым кучером *Лукьяном*, от которого заимствовал сюжеты большинства своих рассказов.

Основьяненко страстно любил детей, любил им рассказывать сказки, вмешивался в их игры и был кумиром детей. От монашества же осталась в нем любовь к церкви, духовная ученость, почему он любил бывать в обществе духовных, сам пел на клиросе и руководил сельским хором своего брата. Неимение собственных детей набрасывало грустный оттенок на тихую супружескую жизнь кротких и уединенных «Филемона и Бавкиды».

Покойный Погодин говорил мне, что Гоголь перенес некоторые их черты в своих «Старосветских помещиков», слыша о Квитках в свои проезды через Харьков, — а кто тогда не знал не только в Харькове, но и в родной Гоголю Полтаве о славном, гремевшем на Украйне авторе «Маруси», «Пана Халявского» и «Шельменко — волостного писаря».

Основьяненко во всю жизнь далее Харькова и его окрестностей ничего не видел. В раннем детстве его возили почему-то в Москву; этого он сам не помнит.

Встреча с Гребенкой произошла так. Гребенка, проездом через Харьков, нанял извозчика и велел ему его везти в Основу. Тащась по невылазному песку, он разговорился с извозчиком и был пленен тем, что извозчик был знаком не только с Квиткой, но и с произведениями последнего.

Под окном домика, где жил Основьяненко, Гребенка увидел старика за книгой и спросил:

— А чи дома пан Основьяненко?

— А чи не Гребиночка? — спросил прерывающимся голосом из окна Квитка, узнавши Гребенку по портрету.

С той поры Гребенка стал ревностным ходатаем Квитки в его литературных делах в Петербурге, где в 1841 году вышел большой роман Квитки «Похождения Столбикова». Вскоре некто Фишер затеял в Петербурге издание «Полного собрания сочинений Основьяненко». Это издание остановилось и принесло старику-автору одни огорчения. Квитка рассчитывал из первых доходов от издания сделать жене сюрприз: выписать ей из Петербурга новую лисью, крытую бархатом, шубу. Сюрприз разлетелся мыльным пузырем, и Квитка потом сам с горечью трунил над своею попыткой — продать кожу с неубитого медведя.

Огорчения более и более скоплялись в душе старика. Окружающее местное общество с недоверием и даже с ненавистью смотрело на писателя-земляка, которого произведениями наполнялись журналы. Всяк узнавал себя в его забавных очерках. А тут поднял войну против Квитки известный тогдашний критик, ненавистник украинской литературы, польский писатель барон Брамбеус (Сенковский). Его язвительные выходки против украинского «жарта» (юмора) Основьяненко имели влияние на позднейшие отзывы русской критики. Последняя справедливо преклонялась перед гением Гоголя, но несправедливо игнорировала поэтическое скромное дарование его земляка Квитки. Известному профессору Пе-

тербургского университета, академику Изм. Ив. Срезневскому, почитатели Квитки обязаны тем, что И. И. Срезневский, перейдя из Харьковского университета в петербургский, первый возвысил голос с кафедры за Основьяненко и первый указал на его несомненное, крупное дарование и на воспитательное, для целого поколения южнорусских современников Квитки, влияние его произведений.

В 1842 году, за год до смерти, Квитка, издав замечательную брошюру по-украински «Листы до любезных земляков», написал на малороссийском языке «Краткую священную историю» и «Краткий (для простонародья) свод уголовных законов».

К нравственным огорчениям вскоре присоединилась серьезная болезнь. Г. Ф. Квитка простудился, получил воспаление легких и 8 августа 1843 года скончался на руках любимой жены, в Харькове, в доме Краснокутского, за Лопанью, на базаре, против церкви Благовещения и нынешней харьковской 2-й гимназии.

Основьяненко жил *шестьдесят четыре года* без трех месяцев. Через девять лет после него умерла его жена, Анна Григорьевна (31 января 1852 г.). Оба они похоронены в Харькове, на кладбище Голодной горы, под которой ныне расположена станция трех здесь сходящихся железных дорог. Могила Г. Ф. Квитки находится на краю обрыва, с которого виден весь Харьков. На его могиле стоит белый мраморный памятник.

Через два года после смерти Квитки, Копенгагенское общество северных антиквариев прислало на его имя диплом, не зная, что Квитки давно нет на свете.

Более известны и считаются в Украйне в числе любимых произведений Квитки его повести «Солдатский портрет», «Маруся», «Божьи дети», «Конотопская ведьма», «Козырь Дивка», «Харьковская Ганнуся», «Мертвецкий велик день (Пасха)», «Перекати-поле», «Сердечная Оксана»,

«Подбре́хач» и «Щира любовь»; роман «Пан Халявский»; комедии «Сватанье на Гончаровке» и «Шельменко — волостной писарь». Его исторические монографии также имеют немало достоинств. Сюда относятся «Основание Слободских полков», «Головатый», «О Харькове и уездных городах Харьковской губернии», «Украинцы», «История театра в Харькове», «Предания о Гаркуше», «Татарские набеги», «Двенадцатый год в провинции» и проч.

Кружок почитателей Г. О. Квитки, празднуя в 1878 году, в Харькове, память о столетии со дня его рождения, предпринял издание полного собрания его сочинений и собрал по подписке сумму, необходимую для устройства Квиткинской школы, в память любимейшего и достойнейшего из украинских писателей.

1855 г.


Стихотворения

ПРИВЕТ РОДИНЕ

Итак, исчезни сон блаженный,
Меня лелеявший порой, —
С твоей младенческой мечтой
Исчезнешь ты в пучине бренной!..
На крыльях радости любимой
Летел с тобой я в край родной!..
Но с силой злата нелюдимой
Я не вхожу в неравный бой.
Я не хочу рукой младою,
Еще не сведанной с бедою,
С судьбы таинственной сорвать
Всей жизни грозную печать.
Но где б я ни был в жизни дальной,
Хоть в келье сумрачной, печальной,
Хоть и в суде перед столом,
За вечно страждущим пером, —
. . . . . всегда, всегда душою
Умчусь к родимой стороне,
Где я, взлелеянный мечтою,
Расцвел, — где помнят обо мне.
Итак, исчезни, сон блаженный,
Печали мне не навевай,
Исчезни лучше в жизни бренной
И скукой думы не играй!..
Но об одно молю: домчися
К моим любимейшим мечтам,
И в мысли . . . . . вселися,
Дай радость жизни их часам,

Утешь моею их мечтою,
Что я любил, любил порою...
Скажи, что я не в их стране, —
Где, верно, помнят обо мне...
Умчись же с тяжкою слезою,
Мне вольной груди не стесняй,
Залейся бурною волною
И сердца мне не надрывай!

1845 г., Москва.

ХУТОРОК

(Юл. Ег. Замятиной)

О вы, которым суждено
В столицах бедственной судьбою
Иметь единое окно
Перед фабричною стеною;
Которых тесный уголок
Не ведал жизненной удачи,
А вечный серенький денек —
Переселения на дачи;
Которым снится наяву
«Приют убогого чухонца»,
Лес на Крестовском острову
И «Стрелка» с захожденьем солнца...
Скорей спешите окунуть
Себя в затишье нив безбрежных,
Вслед беглым, на сиротский путь,
Путь утесненных и мятежных...
Придите, сирые, под тень
Широколиственного клена,
В объятья греющего лона
Забытых рек и деревень...

Я вам отдам моих знакомых,
Отдам — над водной глубиной —
Плеск рыб и стаи насекомых
В пахучем воздухе, зарей;
Луга, усыпанные маком,
От ветра волны по овсу;
Над потемнелым буераком
Гречихи белой полосу;
Пруды, сверкающие сталью,
Скирды пшеницы золотой,
И дождь косой над синей далью,
И лес, как дым, над крутизной.
Молчит забытая дорога,
И не летят из камышей
Ни звук серебряного рога,
Ни крики пестрых егерей.
Зато весь день, скользя, ныряя,
То крик веселый затая,
То воздух звонко оглашая,
Кружится ласточек семья, —
Рядком уселася, щебечет...
Вот потянуло ветерком —
А тополь, как фонтан, лепечет
Зеленолиственным столбом...

Но нескончаемо прекрасен
Тот миг в селе, когда молчат
И высь, и даль, и степь, и сад,
А воздух ночи нем и ясен.
На пламя свечки, мимо глаз,
В окно влетают непрестанно
То алый яхонт, то алмаз,
То песня мушки златотканой.
Пустыня, глушь и сон кругом;
Сова колышет ветвь сирени;

От яворов упали тени,
И в них заснул, как в люльке, дом...
А жук-рогач гудит протяжно
И, как звенящая струна,
Несется медленно и важно
Вдоль растворенного окна...
    Как мерный стук часов ленивых,
Удары сердца вторят в лад
Напевам грез неторопливых, —
И стаи замыслов ретивых
Завороженные молчат

1857 г.

ГРОЗА

(Отрывок из поэмы)

    Давно дождя, давно нам бури!
Хлеб чахнет, зноем обожжен...
Клубятся тучи по лазури,
И меркнет день со всех сторон.
С набега ветер злобно рвется,
Дверьми и ставнями стучит;
Отсталый голубь в небе вьется,
И вихорь по двору летит.
Солома, пыль, трава сухая,
Бумажки, перья, все столбом
Кружится, в небо улетая, —
И вот громыхнул первый гром...
    Сквозь тучи молния сверкнула
И, как огнистый, длинный змей,
Мелькнув, за рощей утонула...
Вновь тишина и мрак полей.

По темным облачным волокнам
Ползет седая полоса;
Забарабанил град по окнам,
Дождь опрокинулся в леса.
Хвосты цыплят, как веер бальный,
Раскрыл звездою вихрь нахальный;
Выходит пахарь на крыльцо, —
Дождь хлещет наискось в лицо.
Девчонка с глиняною крынкой
Бежит, а ветер вслед за ней,
Оплел ей голову косынкой
И не дает прохода ей.
Вдали стремглав табун несется,
Погонщик машет и кричит,
И гул от топота копыт
В степи стемневшей раздается...

Дождь перестал, и гром затих.
Омытый луг и сад так блещут,
На каждом листике трепещут
Алмазы капель дождевых.
И каждый ствол, жучок, букашка,
За садом мост и ближний пень,
Сарай, расшатанный плетень,
Полуистлевшая бумажка,
Петух, разбитое стекло, —
Все смотрит бойко и светло...
Паук вчера оплел две розы, —
И ожерельем золотым
По паутинкам голубым
Нависли дождевые слезы.
Душист и мягок чернозем;
Звенит и реет все кругом...
С небес, сквозь облаков оконце,

Омывшись, выглянуло солнце;
И пар дымится над землей,
И мчатся гуси за рекой.

1858 г.

СТЕПЬ

Пролетела гроза. Меж высокой травой,
В перелеске, у зеркала вод,
Я к березке, усталый, припал головой, —
Надо мной голубой небосвод.
Я дремлю — не дремлю,
Сонным взором ловлю
Тени туч,
Звонкий ключ
И по мхам пробегающий луч.

В паутине, как в люльке, качается жук;
Стрекоза, пролетая, звенит;
Изумрудную мушку опутав, паук
На чуть видимой нити висит;
А в луче, меж травой,
Все в пыли золотой —
Лепестки,
Мотыльки
И махрового мака цветки.

Дождевые росинки по ветвям висят,
Степь полна сладкой неги и сна;
Дунул ветер, и перлы на землю летят,
И березка звучит, как струна.

Шепчет сказочный бор,
И встает разговор
    По лугам,
    По долам
И синеющим, дальним холмам.

Я тону в нежном шепоте лип и берез,
В гордом шуме дубовых ветвей,
В тихом шелесте трав, в звучном лепете лоз,
В плеске вод и в жужжаньи шмелей;
И я жажду обнять
Грудь пустыни, как мать,
    Меж дерев
    И цветов —
Я заснуть, как младенец, готов!

1852 г.

У КОЛЫБЕЛИ

Романс

Спи, малютка! Над тобою —
И покой, и тишина,
Колыбель твоя фатою
Дорогой осенена.
Колыбель твою качает
Няня с левой стороны, —
С правой Ангел навевает
На тебя святые сны...
Чуть твой лик улыбкой милой
Озарится под фатой,
Припадает шестикрылый
С поцелуем над тобой...

Спи ж, дремли... Так в полдень жаркий,
Опустившись на листок,
Под жасминной белой аркой
Дремлет крошка-мотылек!..

1849 г.

К ЖЕНЕ

Друг мой, Ю-ка, ужели
Мы на жизненном пути
Все цветы сорвать успели
И других нам не найти?
Нет, мой пролесок бесценный:
Чья душа любви полна,
Для того во всей вселенной
Вековечная весна!

1874 г.

К ***

Когда моя радость шумит и хохочет,
Начнет щебетать, лепетать, стрекотать,
Она так щебечет, лепечет, стрекочет,
Что сил нет словечка у ней потерять;
Нет сил ей ответить, нет сил разговором
Прервать мою птичку, блаженство мое...
Я молча ловлю ее трепетным взором:
Все слушать бы, слушать, да слушать ее!
Но чуть звонкий лепет и хохот голубки
Лукавые глазки восторгом зажгут,
Блеснут средь кораллов перловые зубки,
Румяною вишенкой щечки блеснут, —

Тогда-то смелей и смелей я пронзаю
Глазами глаза ей, и сил нет внимать,
И жадно уста я с устами смыкаю,
Хочу целовать, целовать, целовать...

1856 г.

***

Ни пред одной красавицей колен
Ты не склонял с рыданьем и с мольбою;
Тебе еще неведом сердца плен
С его грызущими цепями.
Твоя душа младенчески мирна, —
В ней нет ни грез, ни холода, ни зноя;
Она, как ночь пред пасхою, полна
Молитв и тихого покоя.
Но час придет, глагол речей иных
В ее тиши нежданно отзовется;
Она, как к воле рвущийся орел,
Почуяв крылья, встрепенется.
Настанут дни борьбы и острых ран,
Созреет страсть с мучительными снами,
И занесет их лютый ураган
Тебя палящими песками!

1852 г.

***

Средь моря жизненной пустыни
Искал я, брошенный в волнах,
Мне заповеданной твердыни
На Араратских высотах.

И вот, с зеленою маслиной
В ковчег осиротелый мой
Слетел твой голос голубиный,
Дыша землей, дыша весной.

Сойдя на берег лучезарный,
Я в высях той благой страны
Костер воздвигнул благодарный,
Да вьется к небу дым алтарный
Благовестителю весны!

СЛАВЯНСКАЯ ВЕСНА

Скоро по небу снова направит
Бег Световид,
За морем зимнюю шубу оставит,
Все оживит.
Между фиалок, в роще тенистой,
Сядет Услад;
В кубки нацедит влаги душистой
Всем виноград.
В дебрях русалки свесят Купала
Вновь колыбель,
И перед всеми, без покрывала,
Явится Лель...

1846 г.

ДОРОГИЕ СЛЕЗЫ

(Во время въезда Ее К. В. принцессы
А. Саксен-Альтенбургской)

Что за шум, и пальба, и восторг неземной,
И богатый кортеж выступает?
Удальцов-усачей экипаж золотой,
Словно соколов строй, провожает...

Светел, радостен люд, и кричит и валит
За Голубкой своей ненаглядной...
Что же ты, старичок мой, матрос инвалид
Слезы льешь на сюртук свой парадный?..
«Ничего-с... так себе... сердцу трудно стерпеть,
Сами брызнули слезы-злодейки;
Из глуши я спешил и успел поглядеть,
Словно с мачты, вон с этой скамейки, —
На отраду Руси, на младую *Княжну* —
На невесту Вождя всего флота...
Мне ль не плакать от счастья, когда я взгляну
На жемчужину царского рода?
Я матрос... я старик — но отрадней всего
Видеть образ звезды ненаглядной...
Разгулялась душа, — плачу я, ничего...
Плачет пусть и сюртук мой парадный!»

1848 г.

РАШЕЛЬ

в императорской публичной библиотеке
(накануне 1854 года)

В чертог победного союза
Труда и мысли мировой
Она, пленительная муза,
Слетела тенью неземной.
Гостеприимная чужбина
Ее ввела в знакомый храм,
Между Корнеля и Расина,
К ее наставникам-друзьям!
И, узнавая ученицу,
Собор седых учителей
В ней принимал искусств царицу,
Склонясь, как нянька, перед ней!

И ликовали эти сени,
Когда почтительной стопой
Их проходил бессмертный гений
В лице артистки молодой!

ПАМЯТИ В. А. КАРАТЫГИНА

Еще один высокий гений,
Еще художник, полный сил,
Среди несмолкших сожалений,
Свой чудный светоч угасил!
Последний исполин дубравы —
Он отошел во след других,
Во след жрецов добра и славы,
Поэтов, свету дорогих...
В семье родной, родимым словом,
Осиротелый, встречен он;
В семье родной, в венце лавровом
Он вечной славе приобщен!

И той порой, как, трепетные внуки,
Сырой земле его мы предаем,
И наша грудь полна тоски и муки,
И слезы мы признательные льем,
В тот чудный миг, когда благословляет
Его талант им восхищенный мир, —
Бессмертного на небесах встречает
С улыбкой светлою Шекспир!..
Бодрей же в путь, таланты юной сцены,
Живой, могучей, дружною толпой:
Да процветает царство Мельпомены
На нашей родине святой!

1853 г.

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА СЕРВЕ

Вам, упоительный Рубини
В небесном пении смычка!
Вам, вдохновенный Паганини,
Чуть ваша дивная рука
Начнет метать огонь летучий.
Мечтаний, грусти, нежных грез,
И светлой радости созвучий,
И безнадежной страсти слез!
Вам, странник ветреного света,
Я приношу мольбу поэта,
Да будет каждый ваш аккорд
Сочувствием в России горд!

1852 г.

РАСКАЯНИЕ РАЗБОЙНИКА

С тех пор, как суждено судьбою
За кровь невинных мне страдать,
Нигде не видел я покоя,
Всего был должен убегать!..
Но вдруг... опять мне счастье веет,
Умолкла совесть наконец,
Опять меня луч солнца греет,
И хлеб насущный шлет Творец!
Ужель разгневанной судьбою
Опять прощенье мне дано?..
Ужели жизнию святою
Опять мне жить здесь суждено?!
О, чудо! — нет в душе сомненья,
Надежда сердце вновь живит,
И с Верою — путем спасенья —
Любовь к Всевышнему горит!

1844 г.

КАЗНЬ СТРЕЛЬЦОВ

Allez donc! ennemis de son nom, foule vaine!..
V. Hugo.

Несдобровать тебе, Москва!
Не долго бунтовать придется...
Ты слышишь, уж кипит и льется
В тебе зловещая молва:
Царь Петр из Вены возвратился!
Зовут стрельцов, зовут народ, —
В Преображенском эшафот
Как коршун в небо взвился...
Затих мятеж перед Судьей;
Но хмурит бровь стрелец бунтливый,
Все суеверный и кичливый,
Не никнет гордой головой!..
Не знает он, какие раны
В груди царевой растравил, —
Не видит он, как вьются враны
Над массой вырытых могил...
Но — пробил час... нет слов прощенья,
Отец отцов махнул рукой —
Стрельцы погибли! Поколенья
Их не вспомянут со слезой...
Когда последнего на плаху
Взвели, и царь вблизи стоял:
«Прочь, Государь, — он закричал, —
Тебя забрызжу», — и с размаху
В мешок скатилась голова,
Глотая дерзкие слова...

1847 г.

К ГРАФИНЕ ***

Колымяжские палаты
Всеми дивами богаты!
Колымяжские сады —
Чудо сельской красоты!
Над водой лазурно-яркой
Мост повис воздушной аркой,
А под ним, в струе живой,
Опрокинут мост другой...
Мягкий луг, оранжереи,
Вазы, портики, аллеи;
Средь развесистых берез,
Мрачных дубов, елей, роз
И душистых декораций
Из цветущих лип, акаций, —
Дом, увенчанный гербом
(Казаком, венцом и львом).
Это все поэмой дышит...
Но мое ль перо опишет
Эти дива и красы?
Ах, графиня, бьют часы,
Надо ехать, — нет отваги
Примириться с злой судьбой, —
И оставить Колымяги
С их хозяйкой молодой.

1850 г.

К ГРАФИНЕ ***

Казачка гордой красотою,
Графиня сердцем и умом,
Жорж Занд возвышенной душою
И своенравностью во всем!
О вас гремит недаром слава:
Вы муза всем и Меценат...
Я воспевать вас вечно рад,
Моя Аспазия и Са́фо!
Ваш светлый ум, ваш милый взгляд
Встречать в безмолвном восхищеньи,
Воздушный, легкий ваш наряд
Следить в лесном уединеньи —
Такой блистательный удел,
Такое полное блаженство,
С тех пор, как пало совершенство
И рай земной осиротел!..

1851 г.

КРЫМСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

БАХЧИСАРАЙСКАЯ НОЧЬ

Сакли и утесы
Мглой осенены.
На террасах розы
В сон погружены.
Песня муэззина
Так грустна, грустна,
Что тоски-кручины
Вся душа полна.
Ханское кладби́ще
Глухо и темно
И, как пепелище,
Призраков полно...
Вязов-великанов
Сонный ряд стоит...
Тихий плеск фонтанов
От дворцов летит.
И молчат утесы,
И сады молчат,
И одни лишь слезы
На очах дрожат.

СТЕПИ АККЕРМАНА

Сонет ***

Плыву в степях сухого океана,
И в бездне трав качается мой челн,
Минуя куст пурпурного бурьяна
И купы роз среди зеленых волн.
На небе мгла. Тропинкой ехать трудно.
В пространствах звезд маяк мой не горит.
Но вот, вдали, пожар восходит чудный —
То пышный Днестр играет и блестит.
Смолкает степь. Мы стали одиноко.
И слышно мне, как чуткий змей скользит,
Как журавли летят-звенят высоко,
Как мотылек травою шелестит.
Жду голоса с отчизны... Ухо внемлет...
Но тихо все! Вперед! Пустыня дремлет.

ПОУТРУ

Ворвался в саклю луч дневной,
Озолотил Фатимы щечки,
На грудь, на шелковые строчки
Ее узорчатой сорочки
Упал волнистой полосой.
Лежит и млеет красота!
Расстаться с грезами нет мочи...
Но вот она раскрыла очи,
Припомнила виденье ночи
И покраснела от стыда!

СЛЕЗА

Прозябала бедная улитка
В глубине холодной океана;
Без конца потемок вечных пытка
Жгла ее, как пагубная рана.
Зарыдала жертва дна морского,
Из слезы жемчужина сложилась
И в венце властителя земного
Между звезд алтарных засветилась...
Так и ты, поэт тоски и горя,
Меж людей проходишь одиноко...
Так и ты, как перл роскошный моря,
Наконец возносишься высоко.

МИСХОР

Видел я роскошный сон,
День и ночь мне снится он.
Видел я, что ты со мной,
Мы вдвоем сидим с тобой.
Любо нам, не нужно свеч, —
Без огня свободней речь.
Знаю я и без огня,
Что краса ты у меня,
Что головки от твоей
Брызнул ключ живых кудрей!
Воспаленная рука
И стыдлива, и робка.
Скрыт впотьмах румянец щек,
Скрыт лукавый башмачок...
Но — светла и хороша
Обнаженная душа!

ИОСАФАТОВА ДОЛИНА

(Караимское кладбище близ Чуфут-Кале)

В мерцаньи зарницы,
В сиянии звезд перекатных,
Белеют гробницы
Под сенью кустов ароматных.
Лиловой сиренью,
Косами плакучей ракиты
И лунною тенью
Одеты гранитные плиты,
Ни крику, ни шума...
Спят крепко в могилах евреи,
Спит сердце и дума,
И спят, между камнями, змеи.
Но вот улетает
Далеко тревожная память.
Тоска поднимает
На сердце и бурю, и замять.
Из света зарницы
Выходит восток предо мною...
Палаты столицы
Кипят беззаботной толпою...
Я вспомнил невольно
Любовь, красоту и искусства...
И страшно мне больно
За бедные смертные чувства!

ПОСЛАНИЕ ИЗ УЗЕМБАША

«Monsieur NN lui-même autrefois faisait des vers... mais ses vers étaient d'une mediocrite deplorable».
A. Chenier.

Ты предался с младенчества искусству,
И, свеж и нов, твой гений молодой
Доступен был восторженному чувству.
Ласкал тебя родитель добрый твой...
Ты затвердил, что грустной жизни муки
Не подсекут тебя, что не возьмешь
Ты топора в изнеженные руки,
Что за сохой на пашню не пойдешь,
Что для труда тебе не распинаться,
Житейских благ пред ним не покидать,
Не убегать от света, не терзаться
И горький хлеб слезой не обливать...
Что все твои исполнятся желанья,
Что жизнь тебе все лучшее отдаст.
Что мир свои научные познанья
Тебе за золото твое продаст!
И ты пошел на зов родного слова.
Но первого труда тернистый путь
Не закалил таланта молодого,
Не развила могучих мышцей грудь:
Ты пренебрег младенческим ученьем,
Ты не вскормил родимым молоком
Родных страстей, ты с дерзким нетерпеньем
Растратил их в разгуле молодом,
Ты примирился с мимолетным счастьем,
Красы чужого творчества скупил...
Пресытил ум незрелым любострастьем
И жгучей негой сердце иссушил!
Ты потерял зиждительные силы,
Ты потерял сознанье красоты!..

И, как убийца беглый, до могилы
Терзаться вечно будешь ты!
Всем видно, всем, как чутко ты блуждаешь
Средь юных муз... Не дремлет зоркий дух...
Ты с ними дик; завистливый евнух,
Ты в их гарем за золото впускаешь...

ТАТАРСКАЯ БАСНЯ

(Я. П. Полонскому)

Над лукоморьем пышных Орианд
Вознесся дуб, таврический гигант,
И с трех сторон уютный палисадник
Пред ним заплел кудрявый виноградник,
И лавр, и мирт, и мрачный кипарис
Вокруг него роскошно разрослись...
И дождь, и гром, и быстрые метели
Над ним напрасно бились и гремели.
Он невредим, он одинок стоял
И холодно окрестность созерцал.
С его листов росы жемчужной слезы,
Звеня, спадали на листочки розы.
В тиши его бестрепетных ветвей
Рыдал и пел залетный соловей.
И много лет, покоем гордым полн,
Качался он над бездной синих волн.
Сквозь щель скалы, цепляясь по каменьям,
К нему подполз по виноградным звеньям
Трехгранный плющ — и лиственную ткань
Стал расстилать на мраморную грань.
Покорно, робко к дубу он склонился,
И старец им лукаво соблазнился,
И принят был от любострастных струй
Томительный и жгучий поцелуй!

И прянул плющ... Без страха обвиваясь
И тысячами нитей разрастаясь,
И тысячами устьиц и корней
Точа кору, как изумрудный змей
Над бронзовой, ветвистою колонной
Он заплетаться стал тесьмой зеленой, —
И почернел печальный страж садов
Под язвами невидимых зубов!..
Но и врагу пошла не в прибыль злоба,
И дуб, и плющ иссохли разом оба...
И так погиб таврический гигант
Над лукоморьем пышных Орианд...
И ныне дождь его нагорный мочит,
Незримый червь его останки точит,
Да, корни помертвевшие поя,
Шумит под ним свободная струя.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЗ ЕВПАТОРИЙСКИХ РАВНИН

Ветер по полю шумит,
Весь в крови казак лежит, —
На кургане головой,
Под зеленой осокой,
Конь ретивый в головах,
А степной орел в ногах.
Ах, орел, орел степной,
Побратаемся со мной!..
Ты начнешь меня терзать
И глаза мои клевать.
Дай же знать про это ей,
Старой матери моей!
Чуть она начнет пытать, —
Знай, о чем ей отвечать.
Ты скажи, что хан-султан

Взял меня служить в свой стан,
Что меня он отличил,
Что могилой наградил...
Что с сынком уж ей не жить,
Что волос ему не мыть!
Их обмоет ливень гроз,
Выжмет, выветрит мороз,
А расчешет их бурьян,
А раскудрит ураган...
Ты не жди его домой,
Зачерпни песку рукой,
Да посей, да поливай,
Да сыночка поджидай...
И когда цветок взойдет,
Твой казак к тебе придет!..

НОВЫЙ ГРЕК

Не для дел живых художеств,
Не для строгих дум, —
Для ничтожеств из ничтожеств
Тратишь ты свой ум.
Мелкий торг и щепетильность
Барышей земных
Извратили меркантильность
Пылких чувств твоих.
Позабыл ты славу дедов,
Пинд и Геликон,
Платонических обедов
Смелой лиры звон.
Позабыл ты войны спартов
И стихи Афин...
Стал играть в лото и в карты
Средь родных руин.
Пренебрег ты дива Рима
И его судьбы,

И отчизны бедной дыма
Мрачные столбы!
Ты не хочешь знать Орфея,
Термопильских львов
И страдальца Прометея
Средь кавказских льдов!..
Вазы, торсы к пилястры
Побросал ты вон
И отдать готов за пьястры
Весь свой Парфенон!..

В КАРАСУБАЗАРЕ

Поздравьте меня с талисманом,
Я весел, и важен, и сыт...
Я зажил таврическим ханом
Под тенью плакучих ракит.
Мой нрав был до этого зелен,
Скорбел я, надежды тая.
Как дерзок теперь я и хмелен,
Как мысль разгорелась моя!
Теперь-то мне сердце любое
Открыто, как мой кошелек,
Теперь-то блаженство земное
Заглянет и в мой уголок...
Скорее ж кувшины с бузою
Несите к Фатиме моей!
Не долго — от вас я не скрою —
Искать мне отрады у ней.

ГЕЙНЕВСКИЙ ФАУСТ

«Я вызвал черта. Черт явился,
И много черту я дивился.
Он не урод и не калека,
Он тип лихого человека,

Добряк во цвете лучших лет,
Учтив, болтлив и знает свет.
Он очень тонкий дипломат
И обо всем поспорить рад,
Немного бледностью страдает,
Да это нас не удивляет:
Он от санскритского не спит
И век свой Гегеля зубрит!
Хвалил мое он направленье
И изыскательный мой ум;
Сказал, что сам он, в цвете дум,
Имел к нему поползновенье.
Признался мне, что в нашей дружбе,
Что во взаимной нашей службе
Не будет проку нам за светом.
Он мне раскланялся при этом,
Спросил: «Кажись, еще сходился
Я с вами где-то?» Робко я
Взглянул на черта, спохватился,
И тут же с ним я согласился,
Что мы — старинные друзья!»

МЕРТВАЯ КОСА

(В Керчи)

Ни мраморные бюсты, ни гробницы,
Ни урны с пеплом киммерийских греков,
Ни золотые кольца, ни запястья,
Ни вазы, ни каменья, ни слезницы,
Ни пышные, блестящие венцы,
Ничто меня в моей Пантикапее
Так не могло пленить и поразить,
Как длинная коса, коса гречанки,
Коса давно умершей красоты!..

Недвижимый, растерзанный печалью,
Стоял я в темной зале перед ней
И был готов излюбленное сердце
Опять огнем желаний распалить...
Кого коса такая осеняла,
На чьей она головке распускалась?
Простая ль девушка в цветы и в ленты
Ее безмолвно убирала, тщетно
Дружка с морей далеких поджидая,
Не дождалась, измучилась, страдая,
Невидимо угасла в нищете,
Была, как должно, сожжена, как должно,
Зарыта в землю, в погребальной урне,
Тысячелетье света не видала —
И вновь себя спасенною косой
Напомнила забывчивому свету?..
Иль гордая красавица — кумир
Ленивой молодежи, стихотворцев
И городских румяных объедал,
И городских, роскошных сибаритов —
Ее венцом лавровым осеняла,
Готовясь сесть за брачную трапезу
С богатым гражданином пышной Кафы,
Была внезапно быстрою чумой
Поражена, скончалась в страшных муках,
Легла на стол веселья бледным трупом,
Была рукой наемников дрожащих,
Пугая самый воздух, сожжена,
И, наконец, тебя нам завещала,
Душистая и черная коса —
Немая и таинственная надпись
Над урною погибшей красоты?

ХУТОРОК В НОГАЙСКОЙ СТЕПИ

(Три октавы)

Я ночевал на хуторе недавно,
В саду, под группами черешен вековых;
И эту ночь опять я вижу явно...
Вокруг меня из трав и лоз сухих
И звон, и стон встают, несутся плавно,
Вдали села протяжный говор стих...
А там, в лесу, как зеркалом ручья,
Гремят и льются песни соловья...
Чем свет, уж я вскочил. Черта зари пунцовой
Зажглась, и степь очнулася. Чуть-чуть
Колеблясь, лентой дым везде встает лиловый;
И перепел кричит, и хочется вздремнуть,
И нега жжет глаза... Меж тем несут сотовый,
Душистый мед... Горит и млеет грудь...
А тополь, как фонтан живой, лепечет
И в воздух лист свой изумрудный мечет.
Но вот зажглась лазурь небес незримо,
И зной пахнул... Все ставни на крючок...
Тарантулы ползут из норок... Нестерпимо
Томит и жалит солнце... Вихрится песок
Без ветру... Чернозем истрескался... Но мимо
Плывет гроза... И, как шальной, сверчок
Ракетой алою над рожью пролетает,
Звенит и крыльями усталыми сверкает...

1850 г.

ТАЙНА МОХАМЕДА, ОТКРЫТАЯ ДРУГУ ЗОПИРУ

(Из Вольтера)

«Когда б ты был другой, а не Зопир, тогда бы
С тобой я говорил, как божеский пророк,
А меч да алькоран в руках моих кровавых
Заставили б молчать неверных наглецов.
Мой голос роковой, как гром, над ними грянет,
И я увижу их у гордых ног... Но знай:
Я говорю с тобой, как человек, и много
Силен я для того, чтоб все тебе открыть!
Вот Мохамед каков! С тобой одни мы, — слушай!
Я горд, как человек, как он — честолюбив,
И никогда жрецы, вожди, владыки мира
В душе не строили того, что я воздвиг!
По очереди все народы славны были
Ученостью своей, победами, до нас;
Теперь пришла пора Аравии по свету
Греметь! Народ ее давно уже замолк
И славу позабыл в своих пустынях. Знай же:
Теперь настали дни — и вырастет колосс!
Давно разрушен мир от Запада к Востоку:
Персидский славный трон веками потрясен,
Египет усмирен, вся Индия в неволе,
И светлый Цареград в цепях молчит, как раб;
Не видишь ли, как Рим-гордец совсем в упадке,
Гроза былых времен, растерзанный скелет...
На этих-то частях безжизненного мира
Возвысит новый мир Аравии сынов!
Слепой стране нужны и новые законы,
И силы новые, и даже — новый бог...
А знаешь ли, успех — завиднейшее дело:
Так почему и мне неввериться мечте?
В Египте Озирис, царь Нума в древнем Риме,

В роскошной Персии бессмертный Зороастр —
Ведь люди ж были все, — а посмотри: народы
Всех святят, как богов, и чтут за веру их!
Вот, наконец, и я, спустя тысячелетье,
Иду сменить ярмо законов грубых их...
Прочь идеалы... Грядет пророк могучий с неба:
Он царь, он свет для родины святой!»

1847 г.

ПИР ВАЛТАСАРА

(Из Байрона)

На троне царь сидит, красавец-полубог;
Он сладостно на пир глядит в изнеможеньи;
Сатрапы, женщины — все тонет в наслажденьи,
И блещет весь в огнях окуренный чертог.
Песнь исступленная бесстыдно раздается;
Венки давно уже свалились с головы;
Горячие уста прилипли к кубкам, — льется
Язычников вино — в сосуды Еговы...

Но вдруг, как молния, упавшая с небес,
Кровавая рука простерлась над толпою,
Чертя по мрамору огнистой полосою,
Как по песку, перстом: «мани́, факе́л, фаре́с».
Не так ужасен час преступника у плахи,
Лентяя юноши — у старости седой,
Как страшны были всем руки чертящей взмахи,
Сверкнувшие мечом над грешной головой.

Трепещет гордый царь, на смолкший пир взирая;
Предчувствие ножом вонзилось в грудь его.
Он, не боявшийся на свете ничего,
Впервые побледнел, к рабам своим взывая:

«Бегите, варвары, к кудесникам моим!
Ведите их сюда, мудрейших в целом мире...
Одни они прочтут успешно и своим
Всезнанием сотрут пятно на нашем пире».

Явились мудрецы-халдейцы, но темно
Осталось и для них пророчества значенье;
Тройною мглой от всех заслонено
Казалось им то дивное виденье.
Седые головы, мудрейшие земли,
И первые из магов Вавилона,
Повергнувшись в пыли у царственного трона,
Взглянули на слова — и слов тех не прочли...

Но вот предстал один, далекой Иудеи,
Врагом плененный сын, — пророк твой, Егова!
Он надпись ту прочел... Смутилися халдеи,
И ясны стали всем безмолвные слова...
Заутра все сбылось и памятно доныне:
В могиле Валтасар, народ его в цепях,
И гордый Вавилон, как лютый змей в пустыне,
Издох, раздавленный карающей стопой.

ИЗ МИЦКЕВИЧА

Красавица моя! к чему нам речь пустая?
К чему влюбленных душ, их пламень разделяя,
Не можем просто мы друг в друга перелить?
К чему их на слова летучие дробить,
Слова, что на устах ветреют, застывают,
Пока родных сердец и слуха достигают?

«Люблю тебя, люблю!» — сто раз тебе твержу я,
Ты ж этим смущена, ты ропщешь, негодуя,

Что я любви своей не в силах одолеть,
Не в силах выразить, ни вымолвить, ни спеть, —
И нет в моей душе, как в летаргии, силы
О жизни знак подать, сходя во мрак могилы.

Я истомил уста напрасными мольбами;
Теперь я жажду их с твоими слить устами
И лишь биеньем сердца с милой говорить,
Лишь поцелуями, да вздохами здесь жить —
И так проговорить часы, и дни, и лета,
До окончания и по скончаньи света.

1858 г.

НАШИ КРЫЛЬЯ

(Из Новалиса)

Ночь придет, окошко отворю я,
Отворю его на милый юг...
Грустный взор надеждой оживлю я,
Пробужу мольбы застывший звук.
Нам доступна всем небес дорога,
Чтоб лететь по ней душа могла,
Нам любовь, нам ум даны от Бога —
Два святых, два ангельских крыла.
Разверну же их я на свободе,
И душа помчится высоко...
И Творца тогда во всей природе
Будет мне благословить легко.

1848 г.

МАДОННА

(Из Новалиса)

В тысяче образах я созерцал Тебя,
Дева пречистая, Матерь спасения;
Но всех верней — Тебя только душа моя,
Только она начертит в час моления.

Близится ль час этот, — в мирном сиянии
Звезды, как птички, на небо слетаются.
Вижу ль Тебя тогда, — в сладком молчании
Мысли, как звезды, в душе загораются...

1848 г.

ИЗ ГЕЙНЕ

На дальнем горизонте,
Сквозь розовую мглу,
Чуть виден тихий город
И башни на валу.
Ленивый ветер зыблет
Верхи лазурных волн,
Печальным взмахом гонит
Гребец мой легкий челн.
Вот вспыхнул луч последний,
Мелькнул и там упал,
Где я любовь, безумец,
Где все я потерял.

Когда разлучаются люди,
Друг друга они обнимают,
Томятся в тоске и в тревоге,
Вопят и так горько рыдают.

С тобою же мы не рыдали,
Без слов и без воплей простились.
Те слезы, тоска и проклятья
За нашей разлукой явились!

Смерть — это прохладная ночь,
Жизнь — зноем пышущий день.
Смерклось, — мне спится, мне лень,
Я утомился невмочь.
Дуб над могилой моей,
С дуба поет соловей...
В песнях и радость, и стон,
Песни я слышу сквозь сон.

К небу взор задумчивый лиле́я
Возвела печально из воды;
Страстью вспыхнул бледный месяц, глядя
На нее с лазурной высоты.
Оробев, стыдливою головкой
Вновь она склонилася к волне, —
А бедняк немой и бледный снова
На нее глядит и в глубине...

Где, скажи, тот лик заветный,
Пред которым так, бывало,
Сердце жаждой безответной
И весельем трепетало?
Истощен ли пламень бурный,
Или нет у сердца власти,
И все песни, эти — урны
С пеплом юности и страсти?

1856 г.

ЭЛИЗИУМ

(Из Шиллера)

Стенящие вопли минули!
В пирах Елисейских полей
Печали и скорбь утонули!
Дней замогильных теченье,
Вечного счастья восторг и паренье,
В светлых лугах тихоструйно журчащий ручей!

Юно-лелеющий
Май, вечно веющий,
Носится здесь по долам;
Время во снах золотых пролетает,
Дух в бесконечных пространствах витает,
Истина рвет свой покров пополам!

Восторг без конца
Здесь волнует сердца;
И нет здесь печальному горю прозванья,
И сладким блаженством зовется страданье!
Странник усталый, от зноя сгорая,
Члены в тени шепотливой склоняя,
Ношу кладет здесь навек наконец;
Серп из руки утомленной роняет
И под бренчание арф засыпает,
Грезя о жатве поконченной, жнец.

Знамя ли чье громы бури вздымали,
Стоны ль убийства чей слух поражали,
Иль у кого под громовой пятой
Горы дрожали порой:

Тихо тот дремлет у звучного лона
Ясных ключей, меж осокой зеленой
Бьющих живым серебром, —
Чужд ему воинский гром!

С верным супругом обнявшись, супруга
Пьет поцелуи средь злачного луга,
Нежит их сладкий зефир;
Светлый венец свой Любовь обретает
И жала смерти навек избегает,
Празднуя вечно свой свадебный пир!

1858 г.

RÉSIGNATION

(Из Шиллера)

И я, друзья, в Аркадии родился;
На утре бытия
И мне мой рок в блаженстве поручился;
И я, друзья, в Аркадии родился, —
Но вся в слезах прошла весна моя!

Не дважды май нам в жизни расцветает:
Моя весна прошла.
Молчанья бог — о, плачьте! — уж взывает,
Молчанья бог мой светоч погашает,
И греза отцвела!

Я пред тобой, о Вечности равенство, —
У полных тайны врат!..
Возьми свою расписку на блаженство;
Она цела — не знал я совершенства,
Возьми ее назад.

К тебе несу моей души признанье,
Праматерь-судия!
Есть о тебе между людей сказанье,
Что ты царишь, с весами воздаянья,
Венец всех дел тая.

Там, слышно, смерть встречает преступленья,
Добро — восторги ждут;
Вскрываются сердечные стремленья,
Решаются загадки Провиденья,
И ты даешь нам суд.

Там кров родной изгнанным возвращают,
Нет терний в той стране...
Но дочь богов, что Правдой называют,
Что все бегут, немногие лишь знают,
Несет оковы мне.

«В иной стране, — отдай свою мне младость, —
Я расплачусь с тобой;
Порукой мне моих обетов сладость!»
Я взял обет и отдал жизни радость
Ей до страны иной.

«Отдай мне все, что есть в тебе святого,
Лауру — страсть твою!
За гробом скорбь я уврачую снова...»
И сердце я рассек и из больного
Ей вырвал страсть мою.

«Ищи ж уплаты за своей могилой!»
Мне наглый свет кричал:
«Обманщица, подкупленная силой,
За призрак, тень, — земной твой Рай купила! —
Чтó без него ты стал?»

Людской толпы мне слышалась огласка:
«Твой страх — одна мечта!
И чтó богов твоих больная сказка,
Как не вселенной бедная развязка,
Земных умов земная острота?

Чтó будущность, гробов предназначенье,
Чтó Вечность гордая сама —
Почтенная, в туманном сокровеньи,
Как не громадных страхов отраженье
На зеркале пугливого ума?

Превратный лик безжизненного тела,
Ты, мумия времен,
Что в холоде могильного предела
Смола надежд нам сохранить умела
И что тобой бессмертьем наречен!

За луч надежд — найдем ли правду где мы?
Ты отдал жизнь насущную свою!
Шесть тысяч лет уста могилы немы;
Восстал ли труп из тленья, чтобы все мы
Уверили в Праматерь-судию?»

Я видел: век к тебе за веком мчался,
А мир земной
Бездушным трупом вслед распростирался;
Никто ко мне из гроба не являлся,
Но верил я обету всей душой!

Я все заклал перед твоим престолом
И вот явился наконец...
Презрев толпы лукавой произволом,
Я лишь одним твоим внимал глаголам;
Богиня, где же мой венец?

«Я вас равно люблю, земные чада!» —
Богиня мне в ответ, —
Есть два цветка у вас, средь вертограда,
Есть два цветка — премудрых душ отрада:
Надежд и Наслаждений цвет!

Кто взял один, другого не касайся!
Ученье всех веков:
Не веришь ты — живи и наслаждайся;
Уверовал — страдай и распинайся!..
Судья миров — история миров!..

Ты взял мечты — ты принял награжденье,
Ты веру взял — она твой клад!
Спроси у мудрых мира разрешенья:
Что взято нами силой у Мгновенья,
Отдаст ли Вечность нам назад?»

1861 г.

ПЕСНЯ МОГИЛЬЩИКА

(Из Гёльти)

Ну-ка, заступ, не гуляй,
Полно, старый друг, ворчать...
Всем достанет места, знай,
Хоть тесна в могиле доля, —
Ну, да мертвым что́ за воля?..
Станут, что ли, танцевать?!

Этот череп — как он глуп!
Звал же каждого глупцом...
Нынче без ушей, без губ,
Не помадится плешивец,
А как вспомнишь — был счастливец,
И ходил-то петухом!

Эта рожа — без ноздрей,
Стан роскошный — поми́най!
Сколько в свете щеголе́й
Поклонялись ей, проворных...
Щели вместо глазок черных,
И скелет весь — хоть бросай!

Ну-ка, заступ, не гуляй,
Полно, старый друг, ворчать....
Всем достанет места, знай,
Хоть узка в могиле доля...
Ну, да мертвым что́ за воля,
Станут, что ли, танцевать?!

1846 г.

ФА́РИС

(Из Мицкевича)
Арабская песнь, в честь эмира Тадж-уль-Фе́хра

Как резвый челн, с прибрежья убегая,
Ныряет вдоль кристаллов голубых
И, веслами грудь моря обнимая,
Лебяжью шею клонит между них, —
Так со скалы араб коня свергает
В простор степей, и вороной летун
В песке с глухим шуршаньем утопает,
Как в брызгах вод расплавленный чугун...
Мой конь плывет в сухих волнах; пучина
Песков шумит под взмахами дельфина...
Все быстрее, все быстрей,
Хрящ кремнистый он взметает;
Все сильнее, все сильней,
И над пылью сам взлетает!
Мой конь, что хмара черная над нивой;
Звезда чела денницею блестит;
По ветру веет страусовою гривой,
И молния от белых ног летит!
Мчись, летун мой белоногий,
Горы, дебри, прочь с дороги!

Напрасно пальма молодая
Сулит мне тень свою и плод;
Я мчусь, ее не замечая...
И в глубь оазиса, под свод
Дерев, она, смутясь, бежит
И гневною листвой шумит.

С границ пустынь утесы диким взором
На бедуина пристально глядят
И, звук копыт подхватывая хором,
Так грозно мне во след гремят:
«О, безумец, что он скачет!
Там от солнечных лучей,
Как от жгучих стрел, не спрячет
Головы нигде твоей
Куща пальм листвой зеленой,
Ни наметов белых лоно...
Там один вокруг намет —
Беспредельный небосвод!
Только скалы там ночуют,
Только звезды там кочуют!..»
Напрасные, напрасные преграды!
Я мчусь, удвоив бег коня;
Гляжу, а гордых скал громады
Уже далеко от меня
И, друг за другом, предо мной
Бегут, — исчез их длинный строй...

Угрозы их услышал коршун; слепо
Пленить араба в поле он решил,
Взмахнул крылом и трижды мне свирепо
Венцом он черным голову обвил.
«Чую, — каркал, — будут трупы,
Конь и всадник — оба глупы;

Всадник ищет здесь дороги,
Ищет корма белоногий...
Всадник, — сил пустая трата! —
Нет из тех краев возврата!
Там лишь ветр степной шагает,
След свой тут же заметает;
Не коню тех пашен клады:
Там пасутся только гады,
Только трупы там ночуют,
Только коршуны кочуют!»
Прокаркал, мне когтями угрожая,
И трижды мы взглянули око в око...
Кто ж струсил? коршун! Он взвился высоко...
Когда ж я лук напряг, отмстить желая,
И, целясь вверх, в него я взором впился,
Уж он висел вверху, как серый шарик,
Как воробей, как бабочка, комарик,
И наконец в лазури растопился!
Мчись, летун мой белоногий...
Скалы, коршун, прочь с дороги!

Вот из-под солнца тучка заревая
Оторвалася, через купол синий
Меня на крыльях белых догоняя;
Со мной, гонцом песчаной той пустыни,
Она сравняться в небе захотела —
И, надо мной повиснув, зашумела:
«О, шальной! куда он гонит?
Там от жажды нет росинки;
Туча с неба не уронит
На лицо твое дождинки!
Звонкий ключ, в лугах кремнистых,
Не промолвит слов сребристых;
Лечь роса не успевает,
Ветер влет ее глотает!»

Я не боюсь угроз! Лети, гонец!
И стала тучка по небу метаться,
Челом усталым ниже преклоняться
И оперлась на скалы наконец...
Когда ж мой взор к ней гордо обратился, —
Уже на целый небосклон
От ней вперед я унесен!
И злобный умысел открылся:
Румянец гневного чела
Ей желчью зависть облила,
И наконец, как труп черна,
В горах укрылася она...
    Мчись, летун мой белоногий...
    Тучи, птицы прочь с дороги!

    Смело с краю и до краю
    Я вкруг солнца взор бросаю, —
    Ни внизу, ни над землей
    Больше нет гонца за мной!
    Сонм стихий заснул, не дышит,
    Он шагов людских не слышит.
Спит природа вкруг немая,
Как зверков незлобных стая, —
Чьи глаза, впервой от века,
Видят образ человека!

Но, Боже!.. Я не первый здесь... Ограда
Песчаная сверкает вкруг отряда...
То странники ль, злодеев ли засада?
Я к ним — они стоят; зову — молчат бойцы...
    То мертвецы!
То древний караван, забытый
И ветром из песков отрытый...
На костяках верблюдов и коней —

Скелеты высохших людей;
Сквозь щели глаз и голых щек
Сочится струйкою песок...
И слышу я, со всех сторон
Твердит мне их зловещий стон:
«О, бедуин! в какие страны
Летишь? глупец, там ураганы!..»
Я несусь — я чужд тревоги!
Мчись, летун мой белоногий...
Трупы, вихри, прочь с дороги!

Пустынный ураган, вождь вихрей африканских,
Властительно гулял среди песков гигантских;
Завидел вдруг меня вдали, остолбенел
И, закружась юлой, зловеще заревел:
«Что там за жалкий вихрь, мой младший брат? кого-то
Я вижу? — мелок он и низкого полета!
Как смеет он топтать тот край, где я один
От века властелин?»
Сказал и ринулся за мной
Он, с пирамиду высотой;
Но, устрашить бойца не успевая,
Ногой от злости оземь бил,
Дыханьем огненным палил;
Покой Аравии смущая,
Как гриф, меня когтями рвал,
Крылами прах степной взметал...
Тискал в горы, бил в долины,
Громоздил песку стремнины...
Я лечу, сражаюсь смело,
Я песчанистое тело,
Как безумный зверь, зубами
Четвертую, рву клоками...
И он в руках моих забился,
Столпом рванулся к небесам,

Не вырвался и лопнул пополам,
Дождем песку с высот пролился —
И, как твердыни длинный вал,
	У ног моих безжизнен пал!..

Я отдохнул! Взглянул на звезды ночи,
И все они, все — золотые очи
Склоняют на меня с вершин...
На всей земле я был один!
Как сладко грудью всею отдохнуть!
Широко, полно так вздыхает грудь,
И воздуха Аравии всей мало,
Чтобы на вздох один мне стало!

Как сладко ныне смелый взор
Мне устремлять вокруг в простор!
И так далёко, так широко
Ночную мглу пронзает око,
Что вижу дале я и шире,
Чем небосклон простерся в мире...

Как сладко мне объятья распахнуть,
Их с лаской к свету протянуть!
И мнится, небо я и землю
С востока к западу объемлю...
Стрелою мысль, до грани звездной,
Все вверх и вверх летит над бездной...
И, как пчела в глубь раны жало гонит
И сердце с ним навек хоронит,
	Так душу в высь я устремил
	И в небе с мыслью схоронил!

1858 г.

ТИТАНИЯ

(Из Поля Лельевра)

I

В вечерний час, под кровлею моею,
Когда шел снег и гаснул небосклон,
Я обогрел Титанию, ту фею,
Что обожал зеленый Оберон.

Она ко мне нежданно постучалась:
Скорей, скорей, поэт мой, отопри;
Засыпал снег, без свиты я осталась...
Скорей, скорей: мне холодно, смотри!»

Вошла, — в углу, у очага, присела, —
Вся бледная, дрожа от вьюги злой;
Блеск камелька ее одеждой белой
Играл, мерцая тенью голубой.

Метель, валя сугробы, грохотала
Без устали у моего окна...
«А я без свиты! — мне она сказала, —
И в эту мглу скиталась здесь одна!

Ты приютил меня, о, мой спаситель...
Что хочешь взять на память встречи той?
Кольцо ль, грядущего провозвеститель,
Иль с головы венец мой золотой?

Клянусь, — и что б ни стоило мне это, —
Я в эту ночь внемлю твоей мольбе...
О, говори, я слушаю поэта:
Не славы ли желается тебе?»

II

Я отвечал: «Ни славы мне не надо,
Ни с русых кос короны золотой;
Чтоб память о тебе была усладой,
Царица, я любви молю одной!»

И голос мой звучал в истоме нежной;
Титания, с улыбкой, мне в ответ:
«Люби! зовет тебя порыв мятежный,
Люби, о, мой возлюбленный поэт!

В цветущий май, под вековою ивой,
Ты у тропинки сядь, в глуши лесной;
Там, с урнами на плечах, горделиво
Красавицы проходят в час ночной...

И ты увидишь ту, о, мой мечтатель,
Которой взгляд, один лишь взгляд, в груди
Раздует пламя, что вложил Создатель
В тебя... Она там будет, приходи!»

III

И я присел под вековою ивой,
Чтоб у дороги видеть, в тьме лесной,
Как, с урнами на плечах, горделиво
Красавицы проходят в час ночной.

Во блеске звезд тень ночи золотилась,
Все небо было тихо и светло;
Но сердце смутным ожиданьем билось,
И жаждой грудь пылающую жгло.

И видел я, одна вслед за другою
Они в лесу прошли от тихих вод;
Их лица были бледны под луною,
И в полный голос пел их хоровод.

Их светлый гимн, как их душа живая,
Из мрака к небу звездному всходил;
И этот ропот женский, услаждая
Мне сердце, дух мой алчущий палил.

Ночь напролет, пока лишь в отдаленьи
Мерцал последней зорькой небосвод,
Как призраки в роскошном сновиденьи,
Все шел и пел богинь тех хоровод.

И, молчалив, тоской снедаем бурной,
Все думал я: из белокурых фей —
Которая, склонясь заветной урной
К моим устам, мне тихо скажет: пей?!

IV

И в тот желанный миг, когда в безбрежной
И бледной выси сумрак утопал
В мерцании рассвета, голос нежный
Раздался вдруг, и я затрепетал.

Услышал я речь женщины прекрасной;
Казалось, речь та с высоты неслась.
Я ей внимал, любовь волною страстной
В моей душе опять лилась, лилась!

Былых скорбей умчалась вереница,
Как тяжкий сон, и пробудился я...
Со мной была она, моя царица,
Влюбленная красавица моя!

О, пойте, пташки, — страсть пылает снова;
О, пойте, пойте! петь хочу я сам...
Вы, ласточки, у зеркала речнова,
Вы, зяблики, по хлебным зеленям!

Она с зарей пришла неторопливо,
С той стороны, где так восток пылал;
Ее прихода я нетерпеливо,
Всю ночь, всю ночь, так страстно ожидал...

О, пойте, пташки! пламень жизни бурный
Мне жарким солнцем залил сердце вновь...
О, пойте, пойте! я из сладкой урны
Моей богини жадно пью любовь!

1858 г.

ЕРУНДА ПО ОТДЕЛУ ВЕСЕННИХ РАДОСТЕЙ

Я пришел к тебе с приветом —
Рассказать, что тьма пропала,
Что в журналах, вслед за Фетом,
Жизнь везде затрепетала...
Мир печати вновь проснулся,
Весь проснулся, книгой каждой,
Каждый славой встрепенулся
И доходов полон жаждой!
На дубу, сосне, на вербе ль,
Всюду стон весенний бродит:
Перевел Шевченка Гербель,
Мей евреев переводит...
Братство — честь родимых краев!
Вновь поют, о, берег невский,
Про Краевского Панаев,
Про Панаева Краевский!
Те *кузе́ны* злой судьбою
(Короли так встарь звалися!)
Жить под кровлею одною
И ругаться поклялися...
Распря их, с былою страстью,
Обещает вспыхнуть снова,
Насолить друг друга счастью
И подписчикам готова!
Вслед за ними, сонм журнальный,
Верно, также не отстанет,
И филиппикой скандальной
В Тур Катков с Кампаньей грянет...
Слышу всюду, вижу всюду,
Раздраженья духом веет...
И кого, не знаю, буду
Сам ругать, а брань уж зреет!

1861 г.

СТАНСЫ К СОРОКИНУ

(По поводу ареста Миреса в Париже)

Откуда сие мне, Сорокин-Зевес,
Все зрится Мирес мне, Мирес и Мирес,
И дни его бедствия злые?..
Засну ли я — Ротшильд в глазах предо мной,
Проснуся — Перейра, кредит подвижной,
И Рим, и капут Византии!..

Сидит налегке он в Мазаской тюрьме,
Галеры, и клейма, и цепь на уме...
Долой уж князья Полиньяки!
А ты, о Сорокин, тебе кто палач?
Сотрудник ли *Норда*, московский богач,
Иль Ицка, иль сам Дмитрандаки?

Уймись! Твои семьдесят сгинут домов,
И сам, как Мирес, ты падешь от врагов!
Смотри, за тобой уж отряжен —
От «Искры» чиновник... Ты взят за грехи
И, прямо от трапезы, в эти стихи.
На цепь «Развлеченья» посажен!

Падешь, адвокаты не придут на зов,
И будешь вопить ты напрасно: О-бов,
О—бов, де-Пуле, Чернышевский!
Все клики и вопли тут будут вотще...
И разве поможет — Морни, да еще
Андрей Александрыч Краевский.

1861 г.

ЕЩЕ НЕПРОХОДИМАЯ ЕРУНДИЩА

(Из книги *«Нет более нравственного геморроя, или Разоблачение городов, местечек, сел, лиц, понятий и непониманий»*)

*Посвящается моему высокому патрону,
Ивану Александровичу Чернокнижникову,
и другу моему Евгению Колмогорову.*

I

ПЛАЧ КОЗИХИ И РАЗГУЛЯЯ

Ой, кабы тетка Нева да вспять побежала!
Кабы можно, братцы, начать жить сначала!
Ой, кабы остроумие Байбороды измерить,
Кабы филантропии Кокорева верить!
Ой, кабы мы Рафаэля по Шевыреву изучили,
Да в кафтанах вместо кургузых фраков ходили!
Ой, кабы Ивану Яковличу пышно поминки-то справить,
Да о нем бы «Искру» помолчать заставить!
Ой, кабы квас, а не ром, подносили мы ко рту,
Кабы все журналы побоку да к черту,
Да кабы в Москву-то патер Аскоченский...
То-то пир настал бы на Руси вселенский!

II
ПИСАТЕЛЬНИЦЕ, МАМЗЕЛЬ ***

Знаю я, в литературе
Ты, как в жизни, не робка:
Я в журналах вижу часто
След знакомый башмачка...
Правда, славу в наше время
Гонорарий заменил.
Ты не даром, ты не даром
Избрала судьбы чернил!
Гонорарий от *Записок*,
Гонорарий от *Пчелы*,
От милорда от Каткова
И газеты Гымалы...[1]
Но боюсь я, Анна Львовна,
Как бы где-нибудь в угле
Да тебя б не подкузьмили
Те, что так тебя хвалили —
Де-Пуле и Гымале!

III

Чудная картина,
Как ты мне родна!
Тот же все Случевский
И мораль одна!

---

[1] Сие индийско-монгольское имя почтенного сотрудника Андрея Александровича, очевидно, взятое из книги Зенда-Веста, по настоящему толкованию Н. И. Греча об иностранных несклоняемых словах, не подлежало бы склонению. Но А. Ф. Вельтман считает язык санскритский языком, заимствованным из России, Московской губернии, Коломенского уезда, что на Оке, посему сие неудобопроизносимое имя Гымале нами и предано склонению.

Нет стихов хороших,
Нету и плохих,
Повестей бывалых,
Критик молодых;
Холод, желчь и цифры,
Пасквиль — что ни лист,
Да «Свистка» над ухом,
Точно зуб со свистом —
Добчинского свист...[1]

1861 г.

К N. N.

(Из письма в Петербург)

Где, скажи, средь этих свистов
И средь сих журнальных ветров,
Критик Очкина Басистов
И Григорий Благосветлов?
Стих ли глас их мольно-дурный,
Иль они по новой части,
И их песни нынче — урны
С пеплом юности и страсти?..

1861 г.

---

[1] *Примечание автора*:

Список субскрибентам
Тиснуть ли опять? —
Это оппонентам
Хорошо б узнать...
Или холод света
С больной головы —
На вопрос крестьянский
Сложите и вы?

ЭПИЗОД ИЗ ПОЭМЫ АДВОКАТСТВО ЖЕНЩИНЫ, ЕВГЕНИИ САРАФАНОВОЙ

I

Я человек, и потому
Дела людские мне не чужды!
Бесценны сердцу моему
Все наши радости и нужды.
Отвергнув века своего
Себялюбивые искусства,
Елеем слова моего
Хотела б я в дела и чувства
Людей, родных и близких нам,
Пролить целительный бальзам!
Мне не страшна борьба со светом,
Я жажду на нее вступить,
Я жажду истине служить —
Слезой, печалью и приветом...
Наука русская свежа,
Растет она средь изысканий,
Как древле, в горне испытаний,
Росла славянская душа!
Зачем же нам, как лживым слугам,
Таланты в землю зарывать
И дел, и слов могучим плугом
Роскошных нив не освежать?

Иль Ольга вывелась меж нами,
Иль Коростень забыли мы,
Иль старины святой делами
В нас не воскормлены умы?
Не мы ль кавалерист-девице
Вручили славных дедов штык,
Когда к Москве, Руси столице,
Пришло дванадесять язык?

Mesdames, mesdames! возможно ль это.
Какая ветреная блажь!
Покинуть шум большого света,
Покинуть милый ералаш!..
Покинуть мир, в котором столько
Имеет силы и бобер,
И протанцованная полька,
И из избы носимый сор!
Покинуть Марио счастливца,
Неисправимого ленивца,
Врага фиоритур и гамм
И жертву модных эпиграмм?
Покинуть все, перчатки скинуть,
Взять меч, сандалии обуть,
Забрало на чело надвинуть
И грудь колчугою стянуть!
Нет, нет, вы морщитесь, бежите,
Меня вы слушать не хотите;
Вам страшен женщина-трубач,
Как над оврагом бородач!
Не бойтесь, слушайте спокойно:
Я поведу слова пристойно
И расскажу вам обо всем,
Да и о многом о другом.

В чужом глазу мы видим спицы,
В своем не видим и бревна.
Мы модных пошлостей страницы
Читаем жадно издавна.
Рассказов сердца сокровенных,
Историй душ обыкновенных,
Когда б не мода, господа,
Мы не бросали б никогда!
«Записки Пиквикского Клуба»
И «Торг житейской суеты» —
Для нас безжизненны и грубы,
Не любопытны и просты.
Французских сказок и куплетов
Мы день и ночь тревожно ждем
И старых английских поэтов
За «Мускетеров» отдаем!..

Станицкий, Юрьева, Крестовский
Т. Ч. и, с Сафою московской,
Сатирик-Лейла, всех я вас
Прошу послушать мой рассказ.
Грешна я, милые кузины:
Во время оно без ума
И я ходила от «Полины»
И от волшебного Дюма!
И я любила погремушки,
И фельетонные игрушки,
И я поэта «Двух судеб»
Не поняла, прости мне, Феб!..
Post scriptum этого признанья
В том состоит, что вы должны
Мне извинить мои мечтанья,
Кокетство доброй старины.

И не всегда прямую совесть,
И злость, под мирной простотой, —
Все, чем богата эта повесть
И этой повести герой!

II

Роман Романыч сам не знает,
Чего ему недостает.
Роман Романыч процветает
И припеваючи живет.
Роман Романыч — старый хрен,
Как говорят у нас — бывалый;
А впрочем, статный джентльмен
И в полном смысле добрый малый.
Конечно, если б в мире мне
Быть «добрым малым» приходилось,
Я б без оглядки утопилась,
Как Кларенс, в дедовском вине.
Но мой герой смиренье любит
И жизни попусту не губит!
В нем все здорово, все живет,
Все веет чутким, бойким духом:
Такой характер наш народ,
Как Гоголь свету выдает,
Зовет «удачею» и «ухом»!..
Блеснуть он в обществе не мог,
Как дива нам родной эпохи,
Импровизатор, вантрилог
Или танцующие блохи.
Но, чем пышней цветет цветок,
Тем он скорей и отцветает:
Живет доныне Поль-де-Кок,
А кто *** — а читает?..

Роман Романыч — человек,
Которым начат новый век!
В сочельник, в восемьсотом годе.
Родился он, как все мы, жил
Без церемонии, по моде,
Слегка шалил, слегка хандрил
И паразитом всюду был.
Носил он цепи байронизма,
Баллад Жуковского шишак,
Очки и кудри гегелизма,
Браду и шармеровский фрак!
И вот он жар свой остудил,
Стал очень тих и очень мил,
Стал заниматься откупами,
Степным хозяйством, векселями,
Как новый Крез, разбогател
И препочтенно растолстел.
Торгуя хлебом и дровами
И занимаясь откупами,
Он никогда при том не прочь
И ближним братиям помочь.
Он на балах творца Ночей
Индейских, римских и японских
Внимает Гунглю, меж огней
И меж дерев и скал чухонских!
Он пляшет польку за хромых,
Он за голодных ест котлеты
И созерцает, за слепых,
Великолепные ракеты!
Прапращур нашего героя,
Когда предания не лгут
Был из воинственного строя
Опричников, прозваньем Пуд.
Он гнул рубли, ломал подковы,
Пил мед двуштофною стопой
И, засуча рукав бобровый,

Крутил спесиво ус шелковый,
Гарцуя в стане под Москвой.
Его потомок отдаленный
Женился на княжне Древской,
И, так как с нею род княжо́й
Кончался, титул сей почтенный
Ему досталося носить,
Чтоб имя рода сохранить...
И так Пудавов князь явился
И в этом мире поселился!
Сказанья древности гласят,
Что князь сей Савлом прозывался,
Был простоват, вельми богат
И жизнью в городе смущался...
Три внука Савла: внук Лукьян,
Внук Фараклей и внук Демьян —
Служили в войске. Всех скромнее
Быль говорит о Фараклее:
«Князь Фараклей любил покой,
Любил покушать в день скоромный
И умер тихо, под Коломной,
В своей деревне родовой!»
Лукьян, с женой его Федорой,
Семьей и честью был богат.
За Минодорой, Митродорой
И за дородной Нимфодорой
Ему был послан сын Панкрат.
Но ни Панкрат, ни княжьи дочки
Вкусить, как должно, не могли
Благоутробия земли...
Их жизнь была на волосочке!
Панкрат был оспой изможден
И жизнь окончил от порухи,
А бич повальной золотухи
Убил до времени княжен.
Печально князь Лукьян простился

С золотоглавою Москвой
И над рекою, над Окой,
В селе Мездрянке водворился...
Но не таков был князь Демьян!
Младший брат в семействе княжем,
Он был стрельцом лихим и ражим,
Дороден, честен и румян.
Царь Петр женил его на немке,
На русокудрой иноземке,
Супругов милостью сыскал
И к ним в деревню заезжал.
В их роде, в восемьсотом годе,
Роман Романыч был рожден,
Воспитан по тогдашней моде
И в свет блистательно введен.
Заметим, все его родные —
Мы для примера, хоть тайком,
Их имена здесь приведем —
Все наши славы молодые!
Кузен Онегину, земляк
И сват Адуеву, Большову
Он кум, Печорину свояк
И брат троюродный он Ноздреву...
Уж не сродни ли с ним и вы,
Орфеи юные Невы,
Певцы, поэты и артисты
И всех газет фельетонисты?..
Горою он за вас стоит,
Про ваши он кричит победы
И, задавая вам обеды,
Вас и поит, и веселит...
(Мои собратия писаки
Узнали, где зимуют раки,
И любо им: мои друзья,
Не басней кормят соловья!)

III

Итак, пожмем друг другу руки,
О мой читатель дорогой!
Роман в стихах: какие звуки,
Как это веет стариной!
Твоя пленительная радость
Опять живет, опять цветет,
И к ней былая рифма *радость*
Опять играючи идет!
Опять веселых отступлений,
Мечтаний, доброй простоты,
И романтических стремлений,
И речи сердца ищешь ты...
Среди словесных ураганов,
Психологических романов
И прозаических поэм
Тебя измучили совсем!
Не обмани ж своих стремлений,
Не обмани ж моих надежд,
Да не падет поэтов гений
Средь апатии и невежд!
И бросит мелочь аналитик,
И бросит бред славянофил,
И разольет голодный критик
Яд полемических чернил!
Роман Романыч... Что за диво,
Что за милейший человек!
С какой прилежностью ревнивой
Его взлелеял шумный век!
Как я отрадно разбираю
Его любовь ко сну и чаю,
Его пленительную лень
В тени наследных деревень,
И жирные, как смоквы, губы,
И перламутровые зубы,

И беспримерный аппетит,
И круглый стан, и здравый вид!
Как милы мне его штиблеты,
Его сапожек каблуки,
И шелком шитые жилеты,
И на тесемочках лорнеты,
И раздушенные платки!
Его кошачая походка,
Брюшко и кроткий, нежный взор,
И два умильных подбородка,
И оживленный разговор!
И, наконец, его проворство,
Его открытость, непритворство,
И вкуса тонкого пример —
На среднем пальце солитер!
Я седовласому герою,
Винюсь, читатель, куры строю.
Что у кого из нас болит,
Об этом тот и говорит!
Герой мой стар, герой мой бледен,
Герой мой драматизмом беден;
Но страсть, как говорится, зла:
Придет, полюбишь и козла!

Роман Романыч вдов. Дворцом
Глядит его роскошный дом.
Московским трипом, зеркалами,
Сибирским золотом, парчой,
Британской жизни простотой,
Кавказско-крымскими цветами
И вкусом петербургским он
Обогащен и наряжен!
Медали строгие Толстого,
Картины Бруни и других,

От Айвазовского, Брюллова,
До Майкова и Соколова,
Сверкают в рамках золотых
В его покоях расписных...
Ковры, атласные гардины,
От Тура мебель, на дверях
Портьеры, в плюще и цветах,
И в каждой комнате камины...
Бильярд, с гимнастикой кругом,
Фонтан, столовая без окон,
Как шелковичный, теплый кокон,
С лепным, пахучим потолком
И с палисандровым столом...
Ни шума целый день, ни крика
Во всех этажах; в пять часов
Обед со свечами, таков
Плод комфортабельного шика,
Быт современных мудрецов!
Люблю портреты я Зарянки,
Высоких комнат теплоту,
И пух ковров, и оттоманки,
И камелечек у лежанки,
И блеск, и всюду чистоту!
Люблю я кресла кабинета,
Рабочий стол, рояль в углу,
И нежный трепет полусвета,
И мех медвежий на полу...
Люблю я милую небрежность
Домашних платий и речей,
Работ обдуманных прилежность
И грезы пылкие ночей...
Мой идеал — мотив Шопена,
Семейный мир мой идеал,
В часы волшебной грезы плена
С друзьями выпитый бокал,

Библиотека, статуэтки
Львов журналистики родной
И лавра славы модной ветки
Над вдохновенной головой!

IV

Роман Романыч зиму любит
В столичном шуме проводить:
Роман Романыч деньги губит,
Как все мы грешные! Попить
В кружке отборной молодежи
Он не откажется вовек;
Как современный человек,
Абонированные ложи
Во всех театрах каждый день
Имеет он! Как дух, как тень,
На рысаке перелетает
От одного к другому он,
Огнем искусства распален.
С Вольнис рыдает, вызывает
Milá (которая мила,
Остра, жива и весела);
Виоля с хохотом встречает,
А через миг букет бросает
То Прихуновой, то Перро...
Хоть слушать Гамлета старо
У нас иным отважным франтам,
Роман Романыч верен был
Театра нашего талантам...
Он от души превозносил
Игру Мартынова, глубоко
Ценил Тальма родной Руси
И нашей будущей Плесси
Предсказывал удел высокий...

Дождемся ль, от своих людей,
Дождемся ль русского Шекспира?
Нам тяжела сатира дедов,
Их зоркий взгляд нас тяготит,
И вдохновенный Грибоедов
Покинут нами и забыт!
Пустеет Шаховского сцена,
Молчат филиппики его,
И сходит с трона своего
Родная наша Мельпомена!
А между тем, что год, растет
Водевилистов новых счет,
И распеваются куплеты,
И раскупаются билеты,
И автор вызван каждый раз
Друзьями — свету на показ!
Оно, конечно, наслажденье
В театр забраться в воскресенье
И хлопать, хлопать от души
На наши кровные гроши!
Но согласитесь сами, право,
Водевилистов наших слава —
Урок печальный для детей
Живых и трезвых наших дней!
В чем их успех? Не в слове зрелом
Суда житейской суете,
А в каламбуре устарелом,
Иль в переводной остроте!..
Есть три-четыре дарованья,
Их ценит критика и свет;
А остальное — подражанье
Или печальный пустоцвет.
Порой невинная безделка
Получит и иной успех...
И что же? Автор-скороспелка
Уж свысока глядит на всех!

Уж ум его — депо сокровищ,
Он смело судит и рядит
И нам торжественно дарит
Фалангу маленьких чудовищ...
Роман Романыч хоронил
С другими вместе этих франтов,
И дельных ожидал талантов,
И русской сцены не бранил.
И был к ее он пляскам падок,
Злом цветобесия томим,
И дорог был ему, и сладок
Ее кофейни серый дым.
Роман Романыч даже тени
Не признавал постыдной лени...
Он каждый день пешком гулял,
По Невскому, франтил, лукаво
В кругу красавиц выступал,
Глядел налево и направо
И шляпу по сто раз снимал
От Миллионной до Садовой,
И «шуттингкот» его бобровый,
И с головой кабаньей трость —
Все возбуждало толки, злость
И зависть в наших денди! Грешен
Был старый лев: носил усы
Неподражаемой красы!
Он, как ребенок, был утешен,
Как вслух роптал безусый фэшен.
Любил в бильярд он поиграть,
Полюбоваться на мост новый
И в час, по мостовой торцовой,
В коляске венской проскакать...
«Листок художественный» Тимма
Он не выписывал, затем,
Что всякий раз, гуляя мимо
Тех окон, где на диво всем

Открыты русские гравюры
И русские карикатуры,
Он мог, копейки не платя,
Налюбоваться всем, шутя.
Болонок крохотных, на лентах
Красавиц, в острой болтовне,
По «просвещенной» стороне
Проспекта, в тонких комплиментах
Он, жмуря глазки, восхвалял
И очень ловко их ласкал...
Он бенефисы в пользу Лизы
В цыганских операх следил.
Зато он гнал, зато громил
Леве, онёры и ремизы...
И пестрый карточный мелок
(С лихой козы хоть шерсти клок)
Употреблял лишь в мирных счетах,
В своих коммерческих работах.
Роман Романыч забегал
В Пассаж, к Пазетти, ел тартинки,
И макароны, и сардинки,
Газеты новые читал,
Курил душистую сигару
И, полный споров, полный жару,
Он от Debâts спешил домой
И утешал себя *Пчелой*...
В журналах толстых он охотно
Отделы смеси пробегал,
Романы скромно опускал,
Спал над стихами беззаботно,
Спал над науками порой
И только с критикой иной,
В журнале палевого цвета,
Он фантазировать любил,
Да в *Современнике* следил
Творенья Нового Поэта...

У нас семь пятниц на неделе!
Давно ль хвалили романтизм?
И что ж? К нему мы охладели,
И романтизм — анахронизм!
Давно ль у нас в великой моде
Был эстетический туман,
Географический роман
И подражания природе?
И вот уже невдалеке
Филологическая школа:
Спасают нас от произвола
В литературном языке!
И содрогнутся наши деды,
И внуки нас благословят,
Когда в России буквоеды
Идеалистов победят!

V

Все знал Роман Романыч. Шашни
Литературы для него
Не укрывали ничего.
Он не пахал родимой пашни, —
В печальной праздности старел
И сочинять сам не хотел.
А в годы юные стремился
Вослед за временем своим,
В изданьях Дельвига трудился,
И был ценим, и был любим.
Не верит он теперь надежде —
Зажечь огнем искусства грудь,
Мечтать, страдать, любить, как прежде,
И славным быть когда-нибудь.
И в золотом своем приюте
Он, улыбаясь, говорит:

«Минута нам принадлежит,
Как мы принадлежим минуте!..»
Он залил мертвою водой
Свою придирчивую совесть,
Он окропил водой живой
Обычных наслаждений повесть,
И самолет-ковер сложил,
И отвернулся от искусства,
И невидимкой-шапкой чувства
Навек для творчества закрыл!
Наука строгая когда-то
Своею областью богатой
Его на время увлекла:
Он бросил светские дела,
Засел за Нестора, трудился,
В делах, давно минувших, рылся...
Но скоро он сознал отсталость
Неспециальности своей,
И безнадежная усталость
Легла на мир его идей.
Он с горьким вздохом убедился,
Что ни Гизо, ни Роберт Пиль
С его дендизмом не мирился;
Что наших летописей пыль
И жизнь халатная в отставке,
Шекспир и Сю, Ньютон и Гримм —
Мешались грустно перед ним;
Что он еще на школьной лавке
Энциклопедией идей
Подрезал жизнь души своей!
Ума и мысли безграничность
Его наполнила тоской,
И погрузилася в покой
Его порывистая личность...

Бывают дни, когда без цели
Мы уносились бы, как тень;
Когда, как раненый олень,
Бежать бы вечно мы хотели!
Надежды светлые губя,
Мы ищем боли и страданья:
Трепещет в нас одно желанье —
Укрыться от самих себя!
Пространен мир, могучи крылья...
Но нет! душа дрожит, как тать;
Напрасны жаркие усилья:
Нам от себя не убежать!
Не убежать суда преступной
И уличенной суете;
Не спит каратель неподкупный,
В своей бесстрашной правоте!
Он, совесть грозная, жестоко
Бичует нас, и мы идем
Не без друзей, не одиноко,
Своим обыденным путем.
И наш герой — и он терзался
Своей недремлющей судьбой,
И он с убитою душой
По миру шумному скитался, —
И он страдал, и он бежал,
Бежал из пышных, светских зал...
Бежал в края родимой степи,
На океан зеленых волн,
Где острова — курганов цепи,
Где утлый воз казачий — челн;
Туда, туда, к пустынной сени,
В приют молитв и вдохновений,
В забытый, тихий уголок —
В мелкопоместный хуторок!

VI

В глуши степей лежит Ольшанка,
Под косогором, над Днепром,
В селе военная стоянка,
В садах черемух старых дом.
Ольшанка — теплое местечко
Для лиц, ушедших на покой.
Меж камышей зеленых речка
Струится лентой голубой.
Под облаками вьется кречет,
И реют ласточки кругом,
И тополь, как фонтан, лепечет
Зеленолиственным столбом.
Прекрасен, чуден край пустыни,
Огни и песни косарей,
И горизонта воздух синий,
И в небе крики журавлей.
Сладка роскошная душистость
И нега летних вечеров,
Темно-зеленая цветистость
В тумане тонущих холмов.
Прекрасен бедный вид деревни:
Кругом бурьян, да осокор,
Без темных дебрей, башни древней
И голубых наметов гор...
Не поразит в степи туриста
Блестящий раут на водах,
С игрой пленительного Листа
И с фейерверком на скалах, —
Руины мрачного аббатства,
С мостом, повисшим над рекой,
С фронтоном рыцарского братства
И с кастеляншей молодой...
Молчит забытая дорога,
И не летят из камышей

Ни звук серебряного рога,
Ни крики пестрых егерей.
Зато в селе уединенном,
От бурь и света заслоненном
Стеной черешень и ракит,
Живее сердце говорит.
Зато под крышею убогой
Свежей и пламеннее труд,
И над пустынною дорогой
Цветы несмятые растут...
Зато роскошной жатвы нива
Мила, как верная жена,
И расстилается красиво
Холмов и пашен перспектива
У растворенного окна...
Сады, усыпанные маком,
Поля зеленого овса,
Над обнаженным буераком
Гречихи белой полоса...
Река, синеющая сталью,
Скирды пшеницы золотой,
И дождь над розовою далью,
И храм под белою горой,
И крик тоскующей овсянки,
И ржанье конских табунов,
Под тенью дремлющих дубов
Живая песня поселянки...
О вы, которым суждено
В «Пальмире северной» судьбою
Иметь единое окно
Перед фабричною стеною!
Которым Невский — степь и Крым,
А Институт Лесной — Алупка
И за стаканом чаю трубка —
Благоуханий южных дым!
Которым мил язык чухонца,

Плавучий мост через Неву
И на Крестовском острову
В июле захожденье солнца!..
Скорей бросайте преферанс,
В вагон, а после в дилижанс,
Садитесь, мчитесь пышным садом,
Степями, вольным вихрем с градом,
И приезжайте, сбросив лень,
На хутор маленький, под сень
Широколиственного клена,
На берег речки голубой,
У воскрешающего лона
Природы чистой и живой!
Я вам отдам моих знакомых,
Отдам на дремлющих прудах
Свирель овсянки в камышах
И тучи пестрых насекомых
В дрожащих воздуха струях.
Я научу вас наслаждаться,
Я научу вас удаляться
Туда, в безмолвный, темный сад,
В ряды древесных колоннад,
Туда, где хмель оплел шиповник,
По ветвям лип перебежал,
Седыми блондами заткал
Сухой, игольчатый терновник,
На пень сосны перескочил
И пень гирляндами увил;
Туда, где ясеней плакучих
Развесилась живая прядь,
Где между лип и роз пахучих,
Дитя, любила я гулять...
Там, по запутанным дорожкам,
Так любо мчаться легким ножкам,
Срывать листочки на лету,
Глотать прохладный воздух жадно,

И, утомившися, отрадно
Склониться к темному кусту!..
А эхо, звук поймав, несется
С холма на холм, лепечет, вьется,
И каждый надо мною лист
И свеж, и зелен, и душист.
Везде весельем, негой веет,
Звенят малиновки в кустах,
И на земле, и в небесах
Душа привольной птицей реет.
И вижу я родник в траве,
К нему протоптана дорожка,
Как шелком вышитая стежка
На пышном, пестром рукаве.
Я упадаю на колени,
Я пью кристальную струю,
И перепархивают тени
В ней через голову мою.
Но больше всех красот люблю я
Тот час в селе, когда молчат
И степь, и даль, и дом, и сад,
И на крыльце одна сижу я.
На пламя свечки, мимо глаз,
В окно влетают непрестанно
То алый яхонт, то алмаз,
То песня мушки златотканой...
Пустыня, глушь и сон кругом;
Сова колышет ветвь сирени;
Решеткой лиственные тени,
Качаясь, устилают дом...
И дремлет черный ствол каштана,
И темя дальнего кургана,
Как будто белой простыней,
Покрыто лунной полосой...

И тихо, тихо сердце бьется,
И светлы помыслы души...
Читатель мой! в степной глуши
Легко и сладостно живется!

VII

Роман Романыч хладнокровно
Покинул свой столичный дом;
Размежевался полюбовно
С соседом, скучным стариком.
Сперва он свел и сверил книги,
Объездил пашни и леса
И, отпустивши волоса,
Сложил тяжелые вериги
Забот, ольшанский дом убрал,
Завел коней, собачьи своры,
Театр домашний, певчих хоры,
И стал давать за балом бал...
В азарте он с большой дороги
Набегом брал степные дроги,
Проезжих в дом свой залучал
И их на славу угощал...
Тогда гремели музыканты,
Стреляли пушки, аксельбанты
Кружились, дом как жар горел,
И певчих хор в саду гремел!
И он трубил, что в мире нужен
Для счастья: маленький умок,
Свободный грошик, вкусный ужин
И приднепровский хуторок...
Но ран душевных не укроешь,
Упреков сердца не зароешь
В наружном счастьи, и близка
Неукротимая тоска!

И, опустив в бессильи руки,
Не раз бродил он меж полей,
Глухой и острой полон муки,
С печалью тяжкою своей...
Любил он степи вольной бури!
Бывало, выйдет на балкон,
А тучи мчатся по лазури,
И меркнет день со всех сторон...
Холодный ветер злобно рвется,
Дверьми и ставнями стучит,
И вот гроза шумит и вьется,
И вихорь по двору летит...
Солома, пыль, трава сухая,
Бумажки, перья, все столбом
Кружится, в небо улетая.
И вот ударил первый гром.
Сквозь тучи молния блеснула,
И, как пунцовая змея,
На темном небе промелькнула
И в дальней роще утонула
Ее звездистая струя...
По сизым, облачным волокнам
Ползет седая полоса;
Забарабанил град по окнам,
Оделись дымкою леса...
Хвосты цыплят, как веер бальный,
Раскрыл звездою вихрь нахальный.
Мужик выходит на крыльцо,
И ливень бьет ему в лицо.
Девчонка, с глиняною крынкой,
Бежит, а ветер вслед за ней
Оплел ей голову косынкой
И не дает проходу ей.
А там, вдали, табун несется,
Погонщик машет и кричит,
И гул от топота копыт

У дальних мельниц отдается...
И снова дождь, и снова град,
И снова бури шумный ад.
Гроза прошла. Природа блещет
Невыразимою красой,
На каждом листике трепещет
Алмаз росинки золотой.
Шалфей, пионы, мак, крапива,
Река, село, под лесом жнива,
Колодец, серенький плетень,
И каждый кустик и кремень,
И каждый гвоздик, банка, пряжка,
Полуистлевшая бумажка,
Петух, разбитое стекло —
Все смотрит бойко и светло.
Паук вчера оплел две розы,
И ожерельем золотым
По паутинкам голубым
Повисли дождевые слезы...
Душист и мягок чернозем,
Звенит и реет все кругом...
С небес, сквозь узкое оконце,
Глядит заплаканное солнце,
И пар дымится над землей,
И мчатся гуси за рекой.
Роман Романыч, возрождаясь
И новой жизнью наполняясь,
Глядел на будущность сквозь слез,
У гроба падших снов и грез...
Но, вспоминая скромных дедов,
Дела их мирных, тихих дней,
Оригинальность их затей
И колоссальность их обедов,
Гостеприимство их домов,
Домов в тени живых садов,

И оценив свою ничтожность,
Ничтожность при избытке сил,
Себе помочь он находил
Еще отрадную возможность...
Роман Романыч был отец —
Я вам открою наконец.

1853 г.

ГВАЯ-АЛИР, ИЛИ МЕХИКАНСКИЕ НОЧИ

Е. И. Ам-ой

I

Не был я меж вами, Аллегани,
Чудный мир природы и людей!
Не занес задумчивых сказаний
Я на Русь от ваших дикарей!
Под шатром полночи темно-синей,
Медноцветный, с кольцами в кудрях,
Мне не пел печальный сын пустыни
О своих таинственных отцах...
Но — я жду; свершится путь заветный!
Жадно я гляжу вперед, вперед...
И в душе — смущенной — незаметно
Светлый образ Мехики встает!

II

Так и вы... Ни жизнь, ни сон ошибкой
Вас со мной на свете не свели;
Ни слезой, ни словом, ни улыбкой
Породнить они нас не могли.

Чужд я вам, — торжественно-высоко
Ваш удел по жизни вас ведет...
Но... я жду — незримо, одиноко...
Я терплю — пора моя придет!

1849 г.

НОЧЬ ПЕРВАЯ

«Sweet is a legacy!..»
Lord Byron.«D. Juan», IV

I

Затворник хронику кончал.
В ней автор так повествовал:
Великий бог — Тескатлепок[1]
В удел ацтекскому народу
Дал все — роскошную природу,
Богатство, славу, мир, свободу, —
Бессмертья только дать не мог.
Не мог затем, что в мир из рая
Тогда б и духи все сошли,

[1] *Тескатлепок* — душа и творец вселенной ацтеков. Без него человек ничто, и под его кровом весь мир находит защиту и покой. Его описывают вечно юным красавцем. Праздник в честь его был ежегодно 9 мая, в день полугодия, после начала нового солнца.

И ни о чем мольба святая
Не вознеслась бы от земли...

Как чаша счастия, полна
Красами Мехики долина[1],
Порфиром Анд окаймлена
Ее картинная равнина,
И купы сел равнины той
Теснятся пестрою толпой.
И, как индийская царица,
Под сенью исполинов гор,
Великолепная столица
Задумчивый склоняет взор
Над синим зеркалом озер...
Лучом вечерним блещут горы.
Давно лиловый небосклон
Оделся в тонкие узоры
Лучитых, легких волокон.
Чуть-чуть рисуясь, островами
Несутся тучки над водой,
И мчится голубь молодой,
Свистя пурпурными крылами,
Над тихо дремлющей землей.
На город пал ночной туман,
Оделись мглой ковры саванн[2],
Пирамидальными горами
Гнездятся капища богов, —
И ходит дым под облаками
С неугасаемых костров...

---

[1] *Столица Мехико* находилась на острове, посреди большого озера, которое в свой черед было центром овальной долины Мехико (от богини — Мехитлы), или *Тенохтитлана*.

[2] *Саванна* — высокая, лугообразная долина, покрытая холмами и растениями ползучих *лиан*.

Но вот над озером, у храма,
Толпится радостный народ:
Там песнь звучит под гром тамтама
И вьется страстный хоровод.

II

Во мгле банановых садов
Воздвиг палаты Монтецума[1];
Он жизнь ведет в кругу жрецов,
Вдали от городского шума.
Кацик теперь не тот, что был
Когда-то прежде. Жар моленья
В нем дух воинственный сменил.
Умножил он жрецов именья
И храму сан свой посвятил...

Вдали молитв он — прежний. Стены
Его дворцов в коврах, цветах;
Как прежде, в тайных теремах
Живут, не ведая измены,
Его подруги; также с каждой
Он сердце делит, — хоть оно
Теперь другой, сильнейшей жаждой,
Другою думой зажжено.

---

[1] *Монтецума*, или, правильнее, *Монтекусома* — последний кацик, царь ацтеков, видевший в свое правление появление испанцев. Он значит по-мексикански — печальный человек. Герб его — орел, несущий в когтях дикую кошку.

III

В плаще, в коралловых серьгах,
В венце, в запястьях на ногах,
Покинув ванну золотую,
Идет за трапезу святую
Кацик. И молча, босиком,
Потупя взор, вожди седые,
Держа сосуды дорогие,
За ним становятся кругом.

И выдыхая, и глотая
Дым упоительной травы,
Царь задремал; но головы
Ко сну не клонит. Догорая,
И быстро пала ночи тень...
Давно погас палящий день,
И быстро царь встает, идет
И верных слуг своих зовет.
В глухую полночь, в отдаленьи,
Чертог пустынный засиял.
Туда к жрецам, в немом волненьи,
Владыка Мехики предстал...

IV

И вот над озером, у храма,
В садах горят костры огней.
Меж тем как купы дикарей,
Под звуки громкого тамтама,
Танцуют, вьются между них, —
Толпы красавиц молодых

Проходят робкими рядами
Перед кациком и жрецами...[1]
И в паланкине золотом,
Даров заветных ожидая,
Сидит, уборами сияя,
Роскошный юноша. Кругом
Его с знаменами святыми
Вельможи гордые стоят,
И молча факелы пред ними
Рабы косматые дымят...
Окончен выбор. Разделяют
Жрецы с царем ряды рабынь
И четырех земных богинь
Красавцу юноше вручают.

V

И пир гремит. Между толпой,
При звуках труб, жрецы седые
Разносят яства дорогие.
И сам счастливец молодой
Берет тамтам. Он громко в танец
Подруг восторженный зовет, —
И в лад играет и поет
Женоподобный мехиканец.
Его открытые глаза
Полны ума. До плеч прямою
Космой спадают волоса.
Смолистой, редкой бородою
Обрамлен медноцветный лик...

---

[1] *Весталки ацтекских храмов,* — из которых избирали подруг жертвам Тескатлепока, — посвящались в этот сан с четырнадцати лет

И нежный, сладостный язык,
И с медленно-печальным взглядом
Огонь души, и гордый вид,
И стан, не тронутый развратом, —
Все в нем о жизни говорит,
О жизни первенцев земных
Во цвете сил их молодых.

И льются звуки чередой...
Вот в танец бросилась дикарка,
И свет костра окрасил ярко
Лицо малинче[1] молодой.
Она летит. Венок кассавы
Над ней и сохнет, и горит...
И как хрустят ее суставы,
Как вся трепещет и кипит!
За ней — другие. Изгибаясь
Вокруг певца, они скользят,
И на ногах их, ударяясь,
Запястья звонкие гремят...

В роскошной неге, на свободе,
Тела их гибки и стройны.
Век недоступные заботе,
Они упруги и нежны.
Вся ткань их кожи золотой
Сквозит отливом крови пылкой
И налилась над каждой жилкой,
Как кожа лани молодой...

---

[1] *Малинче* — имя молодой девицы вообще. Иногда оно употреблялось даже как имя собственное. Так Кортеса, через его туземную любимицу, прекрасную *малинче*, все звали *малинчанин*, желая оказать ему особое уважение.

VI

Смолкает пир. Жрецы уходят,
И все торжественно певца
В покои брачного дворца
С его подругами уводят.
Огни погасли. Тишина
Весь город миром наполняет,
И мягким светом обливает
Изгибы озера луна...

Чуть-чуть дрожит в лазури вод
Тень опрокинутая зданий,
И океан благоуханий
По сонным улицам встает.
Ни звука жизни, все молчит.
Весь воздух негою палит.
Во мгле, безмолвными тенями,
Чернеют капища богов...
И только дым над их главами
Шумит багровыми столпами
С неугасаемых костров.

VII

Но кто же он, певец, в угрюмый
Чертог жрецов вошедший? Он
Не из семейства ль Монтецумы
Служенью Солнца обречен?
Не для того ль и роскошь эта,
Чтоб с нею грусть он загасил
И, в удалении от света,
Спокойно трон свой позабыл?

Иль желтый мор с лагун востока
Грозить бедой народу стал,
И перст правдивого пророка
В нем избавленье указал?..

Кто он, что честь и поклоненье
Ему такое? Сам кацик
Пред ним с венцом своим поник
И, будто близкое паденье
Завидев царства своего,
Родным богам через него
Творит последнее моленье...

VIII

На лоне девственной природы
Вскормленный жизнью кочевой,
Пастух нагорный, сын свободы,
Похищен он в семье родной.
Похищен он на жертву богу
Гонцами тайными жрецов.
И он падет, и понемногу
Готовят страшную дорогу
Ему служители богов.

Но не в темнице, под цепями,
Содержат пленника жрецы...
Во власть ему даны дворцы
С непроходимыми садами.

Там новоизбранный кумир
В разгуле оргий утопает...
И слепо смерть свою встречает
Красавец пленник Гвая-Ллир[1].

IX

Блаженны падшие для бога, —
Жрецы народу говорят,
И пред лицом Тескатлепока
Дары кровавые дымят...
В одеждах роз, в дыму курений,
По светозарному пути
За Солнцем, в звуках райских пений,
Им предназначено идти.
Но пусть жрецы к богам немым
Народ трепещущий сзывают
И рай за гибель обещают
У плахи пленникам своим.
Пусть на позорищах кровавых
В кичливых Мехики сынов
Они вселяют с жаждой славы
Слепую злобу на врагов, —
И Монтецума одаряет
Их за победы... Рай земной
Едва ль охотно покидает
Для них избранник молодой...

---

[1] *Гвая-Ллир* — по-мехикански *слеза неги*, или, вернее, — сладострастия.

X

Стрелой летит обычный год.
Обычной жертвы ждет народ.
И вот она — не за горами.
И через месяц Божий мир,
С его волшебными ночами,
Покинуть должен Гвая-Ллир...

До этих пор в служеньи храма,
В молитвах дни он проводил.
Но — час желанный наступил,
Широко развернулась рама
Его услад, и жизни бог
В немом кругу жрецов явился...
На зов страстей он устремился
И, как спаленный мотылек,
В их жгучей неге закружился.

Так метеор порой летит
Во мгле, минутная комета,
И чуть приметной нитью света
Шатер небесный бороздит.
Но вспыхнет сноп его огнями, —
Вдали, внизу яснеют вдруг
Озер нежданный полукруг,
Селенье, лес, — и звезды сами
Встречают робкими лучами
Каскады яркие подруг.

XI

Конец печальный ближе стал;
Но пленник в счастьи утопал.
Жрецы за ним следили строже.
Чуть загорался небосвод,
Он оставлял ночное ложе,
Кидался в холод ясных вод.

Тогда не мог он отогнать
С лица восторженной улыбки;
Его, как девы, целовать
Бросалися ручные рыбки,
И солнца луч, дробясь на нем,
Не смел срывать своим огнем
Жемчужных брызог страстной влаги
С его кудрей, с груди нагой,
Со складок ватовой бумаги
Его тильматли[1] вырезной...

В венке из перьев голубых,
В серьгах, в сандальях золотых,
Под тканью легкой, нежно-белой,
Скрывал он бронзовое тело.
В тени тропических садов,
В упругой дремля колыбели,
Под говор трепетных листов
Он отдыхал. Вдали чернели
В бананах мертвые пруды.
И часто сладкие мечты

---

[1] *Тильматли* — особенно изысканный и вычурный плащ.

Его внезапно покидали,
Когда пред ним по зыбкой стали
Зеленой лентою скользил
В кусты пугливый крокодил...

Порой на главной теокалли[1]
Он шел в процессии жрецов,
И груды тлевших черепов[2]
Его по лестницам встречали.
Невольно пленник трепетал...
Но смело шел. В чаду молений
Он в небесах святых внимал
Словам пророческих видений...

Пожары звезд, снопы комет,
Крестами плывших над востоком,
И гул зловещих туч, и свет,
Летевший палевым потоком
Над Оризабой снеговым,
Столице вдруг заговорили
О чем-то страшном. По немым
Дворцам таинственно ходили
От берегов морских гонцы,
И с диким ужасом жрецы
В мольбах к востоку обращались...
Но вечным шумом оглашались
Чертоги пленника, и он
Был прежним счастьем окружен.

---

[1] *Теокалли* — храм.

[2] Одни сподвижники Кортеса насчитали до ста тысяч с половиною жертвенных черепов в одном из зданий главного храма Мехико.

XII

Когда в покое окуренном
С друзьями светлый Гвая-Ллир
Садился за вечерний пир,
Богатством, вкусом утонченным
Роскошный стол его сиял.
Гостей хозяин одарял
Одеждой, золотом, цветами,
И ароматными плодами
Стол начинался. Между тем,
Как блюда рыб и птиц меняли
Пажи гостям, рабыни всем
Табакко пьяный зажигали,
И жирный, пенный шоколад
С духами всяк себе готовил, —
Хозяин в песнях славословил
Своих гостей, и стар и млад
Кружился в пляске исступленной...
Когда же пульке[1] благовонный
Их молвь гортанную смыкал,
И гость за чашей засыпал;
Когда, желанья распаляя,
Чернела полночь голубая,
И в тучи, негою полна,
Стыдливо пряталась луна:

Тогда, тогда счастливца Гвая
Громада зданий вековая
Скрывала в знойной тишине,
И до зари, в тревожном сне,

---

[1] *Пульке* — алойное вино, любимый напиток у древних и новейших обитателей Мехики.

Его пленительных желаний
Искали, жаждая лобзаний,
Четыре дива красоты,
Четыре светлые звезды...
Тогда и смерть, и страх видений,
И целый мир он забывал
И слепо чашу наслаждений
С улыбкой детской допивал
В кругу несметных искушений,
В кругу палат своих, садов,
Под стражей зоркою жрецов...

НОЧЬ ВТОРАЯ

«Как не любить тебя, таинственная ночь?»
Е. Растопчина. «Ноттурно».
«Qual maraviglia!»
Dante. «Divina comedia»

I

И год промчался... В полумраке,
Согнувши изнуренный стан,
Сидел на трепетном гамаке,
Весь бледный, Гвая. Куст лиан
Над ним каскадом рассыпался,
И жадно, страстно он вдыхал
Их пряный запах, улыбался,
Глаза болезненно смыкал...
Его подруга молодая,
Чуть-чуть дыша, полунагая,
Виднелась робко в темноте,

И на маньоковом листе
Округлый лик прелестной груди
Дрожал туманною чертой...
Так капля матовая ртути
Блестит, дрожит сама собой.

Дика, страстна малинче Challa...[1]
Она последняя певца
С змеиной тонкостью жреца
Своей красой очаровала.
Небес любимец Гвая-Ллир
В руках ее покинет мир,
В руках одной... И вся полна
Вакханка диким упоеньем, —
И завтра срок, — и с нетерпеньем
Прощальной ночи ждет она.

Закинув на спину головку,
Ломая руки, жаркий пух
Одежд отбросив на циновку,
Она чуть переводит дух.
И вдруг встает, хватает кубок.
Скользнув, рассыпалась коса...
Горят и сохнут розы губок...
Как звезды, вспыхнули глаза, —
И, стан свой тонкий нагибая
К груди счастливца, вся пылая,
Она садится перед ним
С своим сосудом золотым.

---

[1] *Чалла* — имя собственное, еще означает понятие хитрости или, скорее, жадности падких до сластолюбия, меланхолических дикарок Мехики.

II

«Как бога, Чалла любит брата, —
Малинче Алиру говорит, —
С тобой покинуть жизнь я рада, —
Судьба меня не устрашит!..
Ты проклял все, ты проклял мать.
Не содрогнувшись, ты отдать
Решился годы жизни целой
За наших дев. И скоро три
С тобой завяли. Жертве смело
Свое измученное тело
Теперь отдашь ты. Но — смотри:
Вот кубок; кровь змеи гремучей
В его вине... Прими его,
И закипит твой дух могучий,
И час мученья твоего
Подымет Мехику грозою,
И грянет вновь войной былою
Кацик с теснин уснувших гор...
Но ты молчишь?.. Боязнь, укор,
Тоска твой омрачили взор...
Ужель меня покинешь ты?
Ужель пора?» — она взывает.
И эхо с темной высоты
«Пора!» печально отвечает...

III

Очнулся Алир на эти звуки.
Откинув влажный шелк кудрей,
С гамака бросился он к ней...
Сплелися трепетные руки,
Снизались жадные уста,
И ветви гибкого куста

Над упоенною четой
Склонились нежной головой.

«Назавтра — смерть! Но слушай, Чалла...
Рассказам дедов ты внимала.
Была пора, к нам белый гений
С морей востока приходил.
Законам веры, учреждений
Жрецов он наших научил;
Он, как дитя, был тих, незлобен;
Покрытый черной пеленой,
Весь белый, с белой бородой,
Меж наших гор, богам подобен,
Ходил он, правя всей землей[1].
Он в наших жертвах не нуждался:
Его закон была любовь.
Но, говорят, он стосковался
По дальним братьям и расстался
С пустынной Мехикою вновь...
Да, он ушел в края чужие;
Но, удаляясь, указал
Отцам восток и завещал,
Что скоро, вслед ему, другие
К нам духи белые придут
И всем бессмертие дадут
На этом свете... Жизнь земную,
Как нашу хижину родную,
Бросать нам, Чалла, тяжело...»
«Но, брат мой, солнце так светло,
Так пышны звездные дубравы[2]

---

[1] Ацтекское предание о белом духе — *Кветсалькогюатлс*.

[2] *Звездные дубравы, сады* — chortos ouranon, выражение поэта Гезихия. Его приводит Гумбольдт в «Kosmos».

Саванны неба голубой!
Не там ли, в вечности святой,
Мы будем жить, под сенью славы,
С тобой, орел мой молодой?..
Властитель! близок срок прощанья, —
Душа моя полна огня!..
Ты помнишь миг того свиданья,
И полночь ту, когда меня
Впервые жадными руками
Встречал ты в этой тишине?..
Смотри же, снова перед нами
Та ж ночь, те ж звезды в вышине.
И будто теми же огнями,
Как мы, проникнуты оне...»

IV

«Нет, прочь твои объятья, прочь!
Не исцелить им сердца, Чалла...
Безумной страстью вся ты стала, —
А эта девственная ночь
Так безмятежна, так высоко
Чиста и безгранична... Глубоко
Объяты сном гиганты гор,
И Оризаба, храм двуглавый,
Дымит свой пламень величавый,
Свой вечно тлеющий костер.
Немой восторг мечты объемлет,
И гимны слышатся с небес,
И целый мир как будто дремлет
Под сенью девственных завес...»

«Беги, страдалец: ночь одна
Еще во власть тебе дана!
Скорей покинь свой грот кристальный,
Сокройся в мрак немых дерев,
И встретит день тебя прощальный
В покое сил, под грезой снов,
На лоне дремлющих садов...»

И быстро пленник молодой
Из свода темного выходит.
Он робкий взор кругом обводит
И вдруг дрожит и, сам не свой,
Идет пустынною тропой.
В конце тропы той есть один
Утес, — о нем припомнил Гвая...
С него виднее голубая
Гряда родных его долин.

V

На черно-синем небе, пылью
Алмазных звезд окружена
Сребристо-белая луна...
В прозрачном воздухе ванилью
И ананасом пахнет. Сад
В кайме бамбуковых оград
Чуть движет тень листов. Фонтаны
Журчат в аллеях. Здесь и там
Взвились на воздух по скалам
Широколистые бананы,
И с тонких пальмовых стволов,
Одетый в брызги светляков,

Струится плющ. А дале — мгла
Черней вороньего крыла...
В прохладе сонной тигр свободный
Не шелохнет сухим кустом.
Косматый пень тройным кольцом
Обнял и спит удав голодный,
И под серебряной росой
Сверкает желтой чешуей.

Мерцанье ночи, тихий лепет
Фонтанов, вид родимых гор —
Все обаяло слух и взор
Страдальца. Жизни сладкий трепет
Проник в больную грудь. Слеза
В улыбке радостной блеснула,
И греза легкая сомкнула
Его усталые глаза.
Он спит, а дымчатой волной
Над ним кружится мошек рой.
Со звонких лоз сальсапарелли,
В немой тиши, со всех сторон
Встают задумчивые трели...
И Гвая-Ллиру снится сон.

VI

Не лоно моря-океана
Колышет знойный ураган:
Пред ним волнуется саванна
Коврами яркими лиан.
Не челноки скользят рядами,
Не по валам их весла мчат:

То тучки вольными орлами
Над Кордильерами кружат.

Вулканы, горы снеговые,
Он вас узнал, былой дикарь;
Он вас узнал, леса родные,
Природы сын, природы царь.
Здесь с томагавком он скитался,
Кормил убогую семью;
В ладье истерзанной пускался
На лов по бурному ручью...
Случалось, здесь, у водопада,
Склонясь в колени головой,
Сидит он. Быстрая громада
Пред ним жемчужной пеленой
Несется. Волны по обломам
Дробятся, прыгают, кипят,
Клубами змей скользят, шипят,
И с диким ропотом и громом
Слетает в бездну водопад...
А Гвая-Ллир тревожной думой
Стремится вдаль, к иным краям, —
К высоким храмам и дворцам,
К столице пышной Монтецумы...

VII

И видит он вигвам[1] родной.
Но от дождей зимы сырой
Размыт он весь. Его костер

---

[1] *Вигвам* — шалаш.

Потух, и с визгом ветер гор
В нем ходит ходуном, один —
Владыка дремлющих долин.
Не смята вкруг него трава
Следами легких мокасин[1].
Одна нагая голова
Торчит у входа на шесте...
И вдруг — в безмолвной пустоте
Окровавленными устами
Она замолвила: «Меж нами
Свирепый голод пировал.
Кочевье мерло. Изнывал
И я. Но раз, в минуту злую,
Я матерь Гваеву больную
От всех украдкой задавил...
И сыт три дня, три ночи был!

Мои мне братья отомстили:
С живого сняли волоса
И на кол череп посадили...
И ворон вырвал мне глаза...
Но знаю я — враги мои
Все перемерли. Разнесли
Их трупы мутные ручьи.
Они засыпаны песками,
И раки синими клещами
Впились в их мертвые уста».

И голова вокруг шеста
Кружилась звонко... Сердце Гвая
Все изнывало. Замирая,

---

[1] *Мокасины* — мягкая обувь из замши (оленьей кожи).

В бреду, в слезах очнулся он...
Но мирный блеск исхода ночи
Смежил испуганные очи, —
И Алир другой увидел сон.

VIII

На небе — вечер. Зной пустыни
Облил огнями купол синий.
Ликует город. Не видать
В нем боле грешных покаяний,
Терзаний плоти; не слыхать
На перекрестках призываний
На гибель бури и громов.
Народ кипит. Толпы рабов
Несут кумир Тескатлепока.
Роскошный бюст красавца бога,
С колчаном стрел в руке одной,
С зеркальным веером в другой,
На голубом шару, на троне,
Сияет в радужной короне.

Его уносят в главный храм,
В дыму кадил, и ставят там
На вышине, под свод пурпурный
Бумажных тканей и щитов,
И льют душистый сок плодов
Пред ним в серебряные урны.

IX

Обряд открыт. На площадь храма
Стремится радостный народ.
Свирели, бубны, гул тамтама
Повсюду слышатся. И вот —
В плащах из легких перьев птиц
Подходят воины рядами,
Сверкая мрачными цветами
Отатуированных лиц.
Луки, щиты, узор колчана
Оплетены в гирлянды роз,
И развеваются у стана
Пучки с врагов Тенохтитлана[1]
Оскальпированных волос.
Под звук коралловых рогов,
За ними, в мантиях богатых,
Пять тысяч избранных жрецов
Идут. В клочках седин косматых
Их черный, жертвенный покров...

И вереницею печальной
Все выше, выше мрачный храм
Они, как лентою спиральной,
Объемлют, вьются к небесам.

X

Гонцы кричат. Народ толпится
С дарами раковин, плодов,
Металлов, амбры и цветов.

---

[1] *Тенохтитлан* — другое название Мехики.

И вдруг все вздрогнуло, стремится...
Вот он, вот пленник молодой, —
Плывет в пироге расписной.

Угрюм и дик, как жрец печальный,
Глядит навстречу жертвы храм...
С его главы пирамидальной
Костры дымятся по краям.
Меж них овальной яшмы камень
Сверкнул... И вот сильнее пламень
Рванулся в небо, затрещал, —
Кумир на троне просиял.
Бледнеет, гаснет солнца круг.
Прощаясь с миром наслаждений,
В последний раз среди подруг
Идет певец, в дыму курений,
На роковой, призывный звук.
Он рвет с себя цветы и платья,
Тамтам он свой о камень бьет
И молча в страшные объятья
Холодной гибели идет...

XI

Надеты звонкие оковы.
Тесней становятся жрецы.
Все ждут. Кациковы гонцы
Принять священный труп готовы.
В ту ж ночь, на блюде золотом,
Роскошно убранный цветами,
Облитый саго и вином,
Сиять он будет за столом
Царя. Кровавый прах с мольбами
Пожрут. Семь суток пировать

И Бога славить будут гости.
А там сожгут нагие кости,
Счастливца нового искать
Начнут, и новый будет пир, —
И так исчезнет Гвая-Ллир!..

Встает ли вихорь над землей, —
Летит он, все ниспровергает,
Несется бешеной рекой,
Утесы, долы затопляет;
Иль теплой, страстною волной
Пахнет и плечи дев ласкает...
И вдруг исчез, — и лишь один
Листок лианы, им измятой,
Трепеща в воздухе долин,
Его напомнит в час отрады,
Средь мира нового картин!

XII

Угас певца последний день...
Средь страшных кликов увлекают
Его на смертную ступень,
И пять жрецов его хватают.
Уже на камень роковой
Он положен. Уже секира
Взвилась над грудью Гвая-Ллира.
И брызжет кровь. И жрец шестой
Сквозь рану быстро запускает
Нагую руку, чуть дыша,
И, в злобной радости дрожа,
Живое сердце вырывает...
Оно трепещет у него...
Безмолвно жрец его подъемлет

К заре угасшей, вот его
Бросает к идолу... И внемлет
Страдалец смутный гул кругом.
И видит там, внизу, в волненьи —
Толпа, в восторге неземном,
Поверглась ниц в благоговеньи!

. . . .

Очнулся скорбный Гвая-Ллир.
Глядит — в саду он. Небо утра
Сияет сводом перламутра.
И тих, и дивен Божий мир.
Облитый яркими лучами,
Боится он поднять глаза.
Родимой матери слезами
Чело его кропит роса...

Вдруг слышит он, из-за кустов
Его зовут... И, замирая,
Вскочил, глядит безмолвный Гвая
Навстречу жертвенных гонцов...

Но что же это, — рой видений
К нему вернулся? Вкруг него
Ряд *белых* воинов... Его
Влечет с улыбкой светлый гений
И вдаль указует, а там
Уже не вьются к небесам
Огни костров. Могучий храм
Стоит, молчит, как будто внемлет
Сказаньям тайны роковой,
И тихо, тихо крест подъемлет
Над очарованной землей.

НОЧЬ ТРЕТЬЯ

«An Indian girl was sitting where
Her lover, slain in battle, slept;
Her maiden veil, her own black hair,
Came down o'er eyes that wept;
And wildly, in her woodland tongne,
This sad and simple lay che sung...»
W. C. Bryant.

«Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в мире зла!»
Н. Некрасов.

I

Промчались дни... В борьбе кровавой
Пал исполин Тенохтитлан...
И Новый Свет покрылся славой
Хоругви гордой христиан.
Мир возвращен. Трофеи боя
У ног Кортеса сложены.
И вот, сподвижники войны
Американского героя
Корабль спускают в океан,
Корабль, Кастилье посвященный,
Дарами Андов нагруженный,
Дарами пышных поморян.
И час ударил. Капитан
Трубит в Кастилию поход...
Поход желанный настает.

Вечерний сумрак. Тенью алой
Огней зари, сквозь свет луны,
Хребты валов окроплены.
Свежеет ветер. Заплескало
В снастях упругих. Налился

Широкий парус. Грудью твердой
Скользнул по ветру куттер гордый.
Над мачтой гибкой флаг взвился
Фатой пурпурной. Улетели
Назад вершины берегов,
И купы пышных островов
По горизонту засинели
Пред ним. Сильней пошла волна.
Светлее бледная луна
Зажглась. Раздвинулись широко
Саванны моря. Одиноко
Понесся куттер... И скалы
За ним кремнистые сокрылись,
И звезды ярко отразились,
И серебром зачешуились
Зелено-сизые валы...

II

Корабль летит. Толпой веселой
Испанцы праздные сидят
На палубе, и ковш тяжелый
Обходит ратников. Звучат
Меж ними кости роковые...
Пылают взоры игрока.
Дрожит коварная рука,
Теряя пезо золотые,
Мечом и кровью нажитые...[1]
И брань, и шум, и пьяный смех, —
И страсть тревожит алчно всех.

---

[1] Известно, что сподвижники Кортеса возвращались в Испанию, потеряв в игре все свое состояние.

Вдали огней, у пушки медной,
Склонясь на борт, в тени, монах
Стоит задумчивый и бледный.
В его ввалившихся глазах —
Восторг... Он мысленно летит
В громадно-мертвенный Мадрид —
Туда, за дальние моря,
Под острый свод монастыря.
Вот дома он... Меж братий слышно,
Что сам король его примет!..
И перед двор сурово-пышный
Его ведут. Холодный пот
Бежит со лба его. Покорно
Ацтеки робкие за ним,
За грозным пастырем своим,
Идут. И робко штат придворный
Теснится вкруг него... И он —
У трона гордо вознесен.
Обсечены интригам лапы.
Король во власть его дает
Весь дальний мир... И с буллой папы,
Под сенью кардинальской шляпы,
Владыка за море идет!..

III

Игра шумней... На бочке винной,
В кругу азартном, капитан
Сидит — взбешенный... Повар длинный
Очистил рыцаря карман...
Ни звонкой цепи, ни браслета
На толстом нет... Едва
Позор стерпела голова,
Когда на дряблого поэта
Литой шишак засел с нее,

С гигантской лысины ее.
Язык проклятьями стреляет,
Нос жирно-красный побелел,
И Дон Осмала присмирел...
Тоскливо мутный взор сверкает.
К земле оплывшая рука
Скользит. Качнулся он слегка —
И рухнулся, и носом звонко
Запел, — и стал хитрить он тонко
Во сне, как лучше б осетить
Ему ацтекскую красотку,
Что там, внизу, свою находку
В тиши, до времени, сокрыть
И от супруги затаить.

Меж тем фонарь лучом багровым
Плащи и лица игроков
Зажег... Под покровом
Небес, над всплесками валов,
Их буйный круг картиной чудной
Глядит из мрака... Непробудно
Храпит под песни капитан...
Монах — уж папой. Рим лобзает
Его стопы... Припоминает
Он о Кортесе... Другу сан
Кацика Мехики вручает...
И улыбается себе,
Своей блистательной судьбе.

IV

В подводной клети, в трюме знойном,
Меж кладей золота, сыны
Венчанных Анд загвождены...

Ярмо оков железом гнойным
Тела их слабые гнетет
И жалит. Звучно-мерно бьет
Их друг о друга качкой... Слезы
Из глаз изъязвленных бегут...
И с воплем бешеной угрозы,
Они катаются, ревут
И кандалы свои грызут.

Но молчалив их страж. Один
Он образ тихий мехиканца
Хранит. Космы его седин
На белый плащ доминиканца
Спадают, раннею грозой
Опепеленные... С тоской
Крестом к груди прижаты руки.
Немолчно плачущие звуки
Страдальцев дух его язвят.
Но мысль покорна, кроток взгляд;
Слегка дрожащие уста
Полны молитв, и весь любовью
Проникнут новый сын Христа!
Но вот он вздрогнул. Сердце кровью
В нем залилось... Знакомый мир
Встает в душе его... Тоскливо
Мятется грудь... И торопливо
На дверь он смотрит, и пугливо
Чему-то внемлет *Гвая-Ллир...*

V

Пышна каюта Дон Осмала.
Но перед ней малинче Чалла, —
В гранадской тунике своей,

В серьгах, в ацтекских фермуарах
И в алых шелковых шальварах, —
Великолепней и пышней!..
Побед немало Дон Осмала
В кругу красавиц одержал.
Победам счет он потерял...
Но непреклонной волей Чалла
Пред властелином вознеслась
И отчим прахом поклялась —
Богам родимым верной быть,
Врагам за веру отомстить...

В раздумьи горестном чуть дышит
Малинче. Вдруг из трюма слышит
Стон раздирающий она...
И, как ножом пробуждена,
Раздувши ноздри, вся дрожа, —
И ужасаясь, и спеша, —
Она к тюрьме подводной сходит
И дверь тяжелую отводит.

Гвая-Ллир

Ты здесь, сестра!.. Ты ль это?!

Чалла

Я —
Раба, защитница твоя!
Долой оковы землякам —
И месть желанная врагам
Свершится...

Гвая-Ллир

Небо защищает
Моих спасителей! Богов
Не тронет меч... А жизнь врагов
Хранить Творец повелевает...

Чалла

Богов?! Нет, нет... Пришельцы злые,
Как все мы — смертные, больные,
Не боги... Дух коварный их
Постыден... Звери вместе с ними
Воюют... Молнии за них...
Они собаками своими
Ацтекских воинов травят, —
Они с рабынями их спят...
У них ни маиса, ни злата
Земля не знает... Их страна —
Одним оружием богата,
Одною алчностью полна.
Иди за ними! Белый демон
Покорство, преданность почтет...
Но полководствует не всем он...
Отмщенье хищника найдет!

Сидит опять в раздумьи Чалла...
Полночь. Каюту Дон Осмала
Наполнил сладострастный пар
Индийских урн... Мятежный жар
Колеблет Чаллы грудь... Душа
К былому рвется... И, дрожа,
Малинче снова к трюму сходит
И роковую дверь отводит.

Чалла

Ты плачешь, брат мой? Будь спокоен,
Теперь твой дух отцов достоин...
Очнись... Смотри, с тобою я —
Раба, любимица твоя...
Раба желаний...

Гвая-Ллир

Слаще му́ки
Всей жизни — мертвых благ твоих!..
Уйди! Ужель забыть для них
Мне Спаса проткнутые руки,
Его страдальческую кровь,
Его всемирную любовь
И дух незлобивый?.. Ужели
Мне чистый крест мой поругать
С тобой, — и пасть мне, в самом деле?..
Скажи, ужель твоей постели
Себя мне, грешница, отдать?

Мрак. В тучи прячется луна...
Грозней грозы вскочила Чалла.
Немым отчаяньем полна,
С зажженным факелом, она
Опять пред дверью трюма стала...
И вновь идет, и вся кипит,
И, задыхаясь, говорит:

Чалла

Ты хочешь, брат, спасаться?

Гвая-Ллир

Нет!

Чалла

Сломить врага и пир кровавый
Свершить над хищниками славы?..

Гвая-Ллир

Да будет славен сын побед!
Да месть забудут дети плена...
Постыдна черная измена,
Постыден рушенный завет!

Чалла

А, трус! Свершились опасенья...
Раб жизни — раб своих врагов!
Но проклял крик его презренья,
Проклятья родины, отцов!..
Бегут года... Песком заносит
Долину Анд... Летит, кричит
Косматый ворон — пищи просит...
А кондор брату говорит:
«Где ж мексиканцы?.. Ни в Чолуле,
Ни в битвах грозных, ни в горах,
Ни в Тласкалане, ни в лесах
Не видно их? Они заснули?
Они укрылись?» — Замолчит
Крылатый царь и улетит,
Роняя слезы, за пределы
Ацтекские. И вот, лежат
Нагие кости. Прахом стрелы
Заносит. Тлеют и хрустят
Останки жизни... Зной пустыни
Заразой гонит воздух синий...
А ворон вьется и глядит
На кости, — славных дней потомок, —
И плачет тихо и летит

С обломка кости на обломок...
Прости ж, о, родина!..»

Сказала —
И факел быстро полетел
На клади с порохом. И Чалла
С свирепой радостью внимала,
Как он, воткнувшись, зашипел
Над страшной массой — и на миг
Потух... Толпа полунагих
Ацтеков смолкла в ожиданьи
Удара, в тихом упованьи
Творя мольбы... И скоро крик
Ужасный раздался из трюма:
«Велик, могуч Тескатлепок!
Велик и славен Монтецума...
Спустил стрелу воитель-бог!..
Спустил стрелу, стрела летит,
Огнем небес она разит!»
И все очнулось! Дон Осмала
Вскочил, весь бледный и немой.
Матросы шумною толпой,
Поднявшись, замерли... Упала
На всех карательной грозой
О смерти мысль... И стихли все!..
И в ужасающей красе
Картиной взрыва озарились
Саванны девственных валов
И даль прозрачных облаков, —
И грани двух земных миров
Борьбою смерти огласились.

ПИР У ПОЭТА КАТУЛЛА[1]

СЦЕНЫ ИЗ РИМСКОЙ ЖИЗНИ В СТИХАХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Кай Валерий Катулл, любимый римский поэт времен Юлия Цезаря.

Лезбия, сирота, гречанка с острова Лезбоса, воспитанная Катуллом.

Агенобарб-Ромул-Пандора, казначей диктатора, влюбленный в Лезбию.

Лизипп, грек, продавец фиг.

Скавр, римский купец.

Главный эконом, начальник рабов и кухни Катулла.

Симфония, певица.

Начальник ликторской стражи.

Первый и второй раб Катулла.

Хор певиц, ликторы и слуги.

Действие происходит на загородной вилле, в виду Рима, за 60 лет до Р. Хр.

---

[1] Поставлена на сцене в ноябре 1852 г в С.-Петербурге в Александринском театре, в бенефисе знаменитого Мартынова в роли Агенобарба-Пандоры, при участии Каратыгина в роли Катулла и известной певицы Леоновой в роли Симфонии.

Театр представляет сад, в глубине которого, между виноградных листьев и навеса из плюща, лавров и акаций — декорация Рима, освещенного лучами вечерней зари. Справа — угол мраморного портика, на террасе которого стоят вазы с кактусом, плющом и тысячелистником. Слева, у подножия остроконечной скалы, под ветвями деревьев — скамьи для возлежания и стол.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Два раба и эконом. Рабы накрывают стол

Эконом

Готовы ль фрукты, устрицы и вина?

1-й раб

Готовы.

Эконом

Не спешите за работой,
Еще светло! Катулл пошел ловить
Мурен к Агриппе, да увидел в поле
Албанских жниц, — забылся, лег к пригорку
И все глядит на загорелых жниц!
Пока ослы притащут по утесам
Гостей из Рима, мы накроем стол
И приведем певиц транстеверинских.

2-й раб

А слышал ты, соседи говорят,
Что этот пир едва ли повторится?

Эконом

Не рассуждай! Приказано — работай,
А то, как раз, вороны унесут
Из рук тарелки!

1-й раб

Кто же зван на ужин?

Эконом

Богатые купцы.

2-й раб

А небогатым
Катулл забыл отправить приглашенья?

Эконом

Эй, замолчи! По римской поговорке,
Скорей в гробу чихнет мертвец,
Чем скажет умное глупец.

2-й раб

Ну, а каков сегодня будет ужин?
Нас не пускают в кухню повара —
Останется ль и нам перекусить
С тобой сегодня?

Эконом

Рано на заре
Катулл свои мне отдал приказанья:
Ступай на кухню, говорит, скорей,
Вверх дном поставь и дом, и погреба,
Печь раскали, замучай поваренков,
И приготовь мне ужин повкусней,
Да не простой, — диктаторский, волшебный.
Возьми, сказал, заветный мой мешок, —
В нем пауки еще не завелись
И мышь с своим гнездом не поселилась, —
Все золото его снеси на торг,
Скупи припасов и найми певиц!
На ужин сделай белую похлебку

Из языков павлиньих и яиц,
В вине свари тарентскую мурену,
Живую брось в кристальный кипяток,
Чтоб долее плескалася в кастрюле
И вместо ложки свой отвар мешала!
Чтоб устрицы к закуске подавались
Не наши римские — полуживые,
А устрицы пиценские, такие,
Чтоб двигались, урчали и пищали,
Как станем мы глотать их, запивая
Из раковин лимонною водой!
В саду нарезать гроздий винограда
Прозрачного, как золотой янтарь,
И нежного, как грезы летней ночи...

1-й раб

Шутник!

Эконом

Не смейся, — это речь Катулла!
Подай, сказал он, наконец, всех вин,
Без примеси, как Рим бессмертный, старых,
Как горный мед, густых и благовонных!
Да тут же помести застольный череп,
Как следует, как завещали предки, —
Чтоб жизни пир не слишком заносился
И вечно помнил близкий свой конец,
Приход расправы неподкупной смерти!
Готов ли череп?

2-й раб

Вот, стоит, на месте...

1-й раб

А много ли гостей к Катуллу будет?

Эконом

Э, в том-то, друг, и дело: сам я с этим
Вопросом поутру к нему подъехал,
А он нахмурил брови и заметил:
Когда-то в час веселия Лукулл,
Гоняя повара, сказал с досадой:
«Ты думаешь, что если я один
Обедаю, так в роскоши нет нужды?
Не умничай, готовь обед на сотню;
Сегодня пир роскошней всех пиров,
Лукулл обедать будет у Лукулла».
Тебе скажу я, друг мой, то же: нынче
Катулл на ужин явится к Катуллу,
И потому в расчеты не пускайся.
Да вот и он! Ступайте за цветами!

(Рабы уходят.)

СЦЕНА ВТОРАЯ

Катулл и вскоре Лезбия.

Катулл

(Эконому)

Ну, что, счастливо ль удался наш ужин?

Эконом

Отлично!

Катулл

Позаботься ж на досуге
Убрать получше блюда и вино!

Эконом, кланяясь уходит

Катулл

(смотрит на Рим и на поля, тонущие в тумане)

Приветствую тебя в последний раз,
Катуллова блистательная слава!
Отпировала ты свой праздник шумный,
Отпировала пышно и безумно!
Как молодость, как сон ты пронеслась..
И дней блаженства чаша золотая
Не падает из рук недопитая!
Угасший миг, разбитые мечты —
Веселая, пленительная прихоть!
Я посвятил собрание стихов
Богатому и пылкому ребенку,
Безусому Агриппе, запевале
Всех шалунов, гуляк и скоморохов...
Агриппа мне прислал мешок червонцев,
Пустил меня в свой виноградный сад,
И бросил я столицы шумный ад;
Мешок на плечи и с Лезбией пустился
Пешком в дорогу пыльную, пришел
В волшебный край, в душистый, темный садик
С фонтанами, утесами, с толпой
Рабов, рабынь; под тенью плющевой
Нашел цветы и мраморную ванну!
Я высыпал заветный свой мешок,
Я стал искать в душе своей желаний.
Восьмнадцать дней промчалося в довольстве,
Восьмнадцать упоительных веков
Роскошною мечтою пролетели!
В последний раз я горсть червонцев бросил, —
Как стая птиц, в последний раз желанья
На эту горсть, порхая, опустились
И по зерну клюют минуты счастья...
Угаснет день, промчится светлый пир,
И снова нас суровый встретит мир!

Опять пойдем мы с Лезбией отсюда,
Оденемся в тряпье, возьмем по палке
И станем вновь блуждать по перекресткам,
Блуждать, мечтать, мечтать и голодать!
Темней же, день, вставай, волшебный сумрак,
И спорь с весельем, дорогая дружба,
Пока не пуст заманчивый мешок!
Вчера под вечер, между темных лавров,
В задумчивой прогулке по скалам,
Склонив на грудь роскошную головку
И уронив сверкающие локти
Вдоль туники, в душевной лихорадке,
О женихе далеком помышляя,
Моя сиротка лепетала вслух,
Меня в тени дерев не замечая:
«Нет, нет, Катулл, тебя я не покину,
Ты Лезбии в замужество не отдашь!
Клянусь душой любить тебя, как солнце
В твоих стихах душистых любит розы,
И, если б сам Юпитер предложил
Мне золото Данаи за мгновенье
Моей любви, за пару поцелуев —
Я отказала б смело громовержцу!..»
Быть может, так, быть может, и не лгали
Невинные уста... Как знать и как судить,
Я не могу, не смею верить сердцу:
Мое добро я делал бескорыстно
И не отдамся в сладостный обман!
То, в чем клянется женщина мужчине,
Написано ребенком на песке
И на волне написано воздушной!
Подует ветер — улетит песок,
Волна волною сменится, и клятвы
Умчат с собой роскошные мечты,
Недолгое блаженство красоты!

Лезбия выходит из-за колонн портика.

Лезбия

Ты звал меня?

Катулл

Нет, я тебя не звал.

Лезбия

Так я уйду...
(*Останавливается.*)
Ты обо мне не думал?

Катулл

Не думал...

Лезбия

Так о ком же думал ты?

Катулл

Как ты мила сегодня! Нарядилась
В отборные и дорогие платья...

Лезбия

Послушай! Мне соседка говорила,
Что в Риме, возле югуртинских бань,
Заезжий галл или еврей, не знаю,
Состав один бесценный продает:
От этого состава голубыми
Становятся глаза у чернооких.

Катулл

Не верь соседке!

Лезбия

Отчего не верить?

Такая скука, право!.. Целый день
Гуляешь все, да примеряешь платья,
И в воздухе так тихо и тепло,
Кругом цветы, фонтаны и утесы —
Одно и то же, зеркало возьмешь —
И в зеркале все старое, как прежде, —
Одни и те же черные глаза!
Какая скука!

Катулл

Мне ж совсем не скучно!

Лезбия

Еще бы, целый день писать стихи!
И что нашел ты в этих скучных строчках?

Катулл

А, ты хитришь! Не ты ль вчера твердила
Весь день мои последние стихи?

Лезбия

Да! да! Я буду вечно их твердить!
Назло тебе их продиктую ветру,
А тот расскажет их торговкам римским!
Назло тебе сороку научу
Твердить твои стихи ежеминутно...
Сорока и посланье, вот забавно!..

Катулл ее не слушает

Катулл, поедешь в Рим... Ты изменился,
Ты от богатства стал совсем иной!
Брось эту виллу, — здесь всего так много,
Такая роскошь, скука, — в Риме, лучше!

Катулл

Эх, Лезбия. Не осуждай богатства,
И не тебе богатство осуждать!

Лезбия

(в сторону)

Он о моем далеком женихе
Припомнил, он меня любить не может
И никогда меня любить не станет!
Я подросла, а между тем пленила
Его иная в мире красота!
Я слышала сквозь ветви, за стеной,
Как повара с рабами толковали
Об ужине... Он ждет к себе кого-то,
Он ждет, лукавец, ждет — и я не знаю!

Катулл

Ну, что же ты нахохлилась, мой милый
Воробушек? Садись ко мне поближе
И повтори вчерашние слова:
«Когда бы сам Юпитер предложил
Мне золото Данаи за мгновенье
Моей любви, за пару поцелуев —
Я отказала б смело громовержцу!»
Я слышал все, меня ты не обманешь, —
Агенобарб-Пандора — громовержец?..

Лезбия

(вспыхнув)

Пандора?

Катулл

(в сторону)

Милое созданье неба!
Как в ней невинность пылко негодует!

Лезбия

Пандора!.. Этот лысый... этот страшный
Толстяк... багровый... с рыбьими глазами...
И с грушей вместо носа... Объедало...

Хорош!.. Красавец!..

Катулл

И, прибавь, вдовец,
Питающий надежды вновь жениться!

Лезбия

А, ты смеешься! Погоди ж, Катулл!
Скажи мне лучше, скоро ль я увижу
Твою любовь, твою, Катулл, невесту?
Ты ждешь ее, вчера ты толковал
О ней в саду с приятелем! Я помню,
Корнелий Непот весь дрожал, внимая,
Как ты стихом живописал!

Катулл

(В сторону)

Ревнивица, вот прямо в цель попала!
Я говорил о беотийской Сафо!

Лезбия

Так ты молчишь, смеешься; ты недаром
Готовил ужин нынче?.. Ну, женись,
Бери ее, красавицу невесту:
Она желта, как старый померанец
Желта, наверно, и в гвоздичном масле
Купается... Влюбиться в померанец —
Завидный вкус! Торговка!

Катулл

Успокойся!

Лезбия

У Лезбии отыщется поклонник!

Катулл

Уж не Пандора ль?

Лезбия

Да, Катулл, Пандора!
Я от тебя скрывалась, но теперь
Ты должен знать: я влюблена в Пандору!

Катулл

Ты влюблена в Пандору?

Лезбия

Влюблена!

Катулл

О, времена! о, жалкий век! о, нравы! —
Как говорит великий Цицерон...

Лезбия

Я нынче не приду к тебе на ужин!

Катулл

И кстати! ужин нынче холостой,
А на пирушке вольной не годится
Девице быть: как раз сорвется слово
Такое, от которого завянут
И не твои девические уши!

Лезбия

(Про себя)

Он удалить меня отсюда хочет...
Постой же: притворюсь, что еду в Рим,
И посмотрю, кто сядет с ним за ужин!
О, боги, боги! Сердце замирает!

(Вслух)

Я еду в Рим, Катулл!

Катулл

(Не слушая ее)

Однако, странно:
Гостей моих все нет как нет!

Лезбия

Катулл!
Я еду в Рим. Ты слышишь?

Катулл

Поезжай!

Лезбия

К Агенобарбу-Ромулу-Пандоре...

Катулл

К Агенобарбу-Ромулу-Пандоре!

Лезбия

Прощай, Катулл!

Катулл

Прощай, прощай, мой друг!
Не позабудь одеться понарядней!

Лезбия

Не смейся, я с тобою не шучу:
Я навсегда с тобою расстаюся!

Катулл

Да... навсегда!

Лезбия

(Возвращаясь, сквозь слезы)

Смотри ж, потом не плачь,
Катулл.

Катулл

Не буду плакать!

Лезбия

(В сторону)

Погоди же,
Влюбиться в померанец! Сумасшедший!
(Уходит.)

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Катулл и вскоре Агенобарб-Пандора, Лизипп и Скавр.

Катулл

Прелестная, капризная шалунья!
Отправится к какой-нибудь подруге,
В уютный домик, под живым ручьем,
Меж кипарисов, роз и гиацинтов,
Потолковать о грезах, о любви...
А дует губки! Все вы таковы,
Наследницы лукавые Венеры!
Капризы ваши — пропасть без конца,
Прикрытые душистыми цветами!
И не всегда мы счастливо обходим
На жизненной дороге эту пропасть!
(Всходит на скалу.)
Однако, гости наши запоздали, —
Совсем уж вечер, падает роса!

Между деревьев показывается Пандора

Да вот и гость... Нет, это не из нашей
Семьи!.. Кто б это был? — Пандора! боги!

Пандора

(Не видя его)

Лазутчики мне донесли, что здесь
Скрывается питомица Катулла.

Катулл

Пронюхал волк, куда загнали стадо!

Пандора

Лесная незабудка и репейник —
Какой противный красоте союз!

Катулл

А сам — красавец, нечего сказать!

Пандора

Он, говорят, недурно пишет! Впрочем,
Кто нынче занят этой болтовней...
Я, например, по-гречески читаю,
Но я читаю с целью, для того,
Чтоб не забыть по-гречески, а наших
Всегда я плохо как-то разбираю:
Начнешь читать — все острые намеки
На злых людей, — совсем рябит в глазах.
(Встречается с Катуллом.)
Катулл!

Катулл

Пандора!

Пандора

Вот некстати встреча!

Катулл

Что привело тебя в мое жилище?

Пандора

Я... мне хотелось... ты не думай, впрочем...

Раб

(С двумя рабами несет цветы и вина)
Несут цветы!

Пандора

(Спохватившись)
Я... слышал запах рыбы
И захотел — решился попросить
Любезного поэта познакомить
Меня с его беседой и столом.
(Про себя)
Недурно сказано! Нашелся славно!

Катулл

Что ж, просим милости!

Пандора

Но ты, Катулл,
Не рассердись за эту откровенность!

Катулл

О, ничего! Ведь нынче в моде!
Нет недостатка в дорогих гостях:
Зовешь двоих, а шестерых встречаешь;
Всяк за собой ведет на званый пир
Еще друзей своих; друзья спокойно
Ведут своих знакомых и родных...
Не все ль равно, ты прошен иль не прошен?

Пандора

Благодарю достойного поэта!
(Про себя)

Вот и успех! Я Лезбию увижу
И вдоволь с ней теперь наговорюсь!

Катулл

(Про себя)

Сегодня я кормлю его охотно,
А завтра он накормит ли Катулла?
Э, будь что будет!

Раб

(Стоя на скале)

Гости на дороге.

Катулл

И Скавр, и тот приехавший купец?

Раб

Они.

Катулл

Добро пожаловать, друзья!

Входят Лизипп и Скавр.

Привет вам, гости добрые! Пандора,
Позволь тебе представить двух достойных
Поклонников добра и красоты!
Лизипп — купец из дальней Арголиды,
На корабле приплывший в гости к нам,
Чтоб сбыть у нас непроданный товар
И увидать...

Лизипп

(Перебивая его)

И поклониться славе
Того, чей дар — второе наше солнце,
Того, кого Катуллом мы зовем!

Катулл

Ты слишком добр! Второй, его ты знаешь:
Тиберий Скавр — почтенный торговец
Из Рима.

Пандора

Да, тебя я точно знаю:
Мне каждый день приносят от тебя
Баранину, индеек и колбасы!

Скавр

Здоровье твоему желудку, добрый
Старик!

Пандора

Старик? Какая злая шутка!

Катулл

Садитесь, гости, и да льются шумно
Веселые за пиром разговоры,
Как будем лить мы сладкое вино!

Садятся за стол. Рабы прислуживают

Вот устрицы, вот рыба, вот похлебка
Из языков павлиньих и яиц!
Берите, не скупитесь! Ты же, мальчик,
Нам наливай фалернского, — сто лет
Прошло с тех пор, как деды наших дедов
Его в садах по бочкам разливали!

Лизипп

Похлебка — прелесть, устрицы — как мысли
Твоих созданий, так и льются в душу.

Пандора

(Про себя)

Каплун недурен, видно, повара
Стащили у меня!

Скавр

Ты — всюду гений,
Катулл, в стихах и в кухонном искусстве!

Катулл

Берите, пейте, смейтесь, веселитесь,
От счастия готов я опьянеть.
Эй, раб! Обрызгать нас отваром листьев
Фиалок, мяты и душистых лавров,
Чтоб возбудить в нас аппетит и бодрость;
Сандалии с усталых снять и руки
Подать умыть нам розовой водой!

Рабы исполняют его приказания.

Скавр

Итак, Лизипп, чем Греция красивей
И лучше Рима? Ты недосказал.

Лизипп

У Греции пленительное небо.
Вся Греция — сады и острова!

Скавр

У Рима также небо голубое,
Роскошное, и вся страна — что сад,
В котором нет бесплодного кусточка!

Лизипп

У Греции, как у вакханки чудной,
Нет грустных дней, нет слез: она в цветах,

В сверкающем венке из винограда,
Поет, кружится, словно резвый мальчик,
За новостью гоняется, и новость
Становится у ветреной закон:
Что на уме у ней, то и на деле;
Болтливая, в наряды влюблена.
И, скрытность презирая, щеголяет
Своей живой, порхающею речью!

Скавр

Да, ваша речь в пословицу вошла!

Катулл

(Задумчиво)

Хорош и наш гигант, суровый Рим!
Меч при бедре, в руке копье и знамя,
Победным осененное орлом,
Орлом того, кто царства и народы,
Как светлые, роскошные ручьи,
В родимом море слил на диво света!
Он гордо им над миром потрясает,
Врагам и злу открыто смотрит в очи;
У ног его дробятся с воплем волны
Народных смут, — он крепко держит руль:
Весь из железа, весь — закон и правда,
Вознесся он в суровой красоте
И полные любви к отчизне очи
Возводит смело к вечным небесам,
Где видит мир высокого искусства!
Не хуже вас, идя на бой с врагами,
Историю побед народных пишет
Под тучей стрел, а чистой красоте
И вдохновенным гениям внимая,
Получше вас еще достойный труд
Своих родных талантов награждает!

Лизипп

Но красота гречанок... наши девы...

Катулл

Пустое... Римлянки — не вам чета!
Гречанки страстны, пылки, легковерны,
У греков есть продажные Елены...
У римлян — римляне, сосед, не греки!
В обдуманной, холодной красоте,
Разумные и гордые, как слава
Оружия бесстрашных их сынов,
Они своей любви огонь и ласки
Одним мужьям на радость берегут!
И дикая афинская плясунья
Под кровлею священного угла
Супруги римской недостойна ленты
Сандалии покорно развязать
На той, кто нам кормилица и мать!

Лизипп

Ну, это, друг, уж много!

Катулл

Нет, не много!

Лизипп

История...

Катулл

История не хуже
Красавиц ваших, не краснея, лжет!

Скавр

Чем спорить нам, не лучше ли, друзья...

Пандора

(Утирая рот)

По-моему, ни Греция, ни Рим
Не лучше: лучше их обоих этот
Зажаренный с орехами каплун!

Скавр

Вот, славно сказано! Здоровье гостя!

Лизипп

Да здравствует находчивый Пандора!

Пандора

Благодарю, я прав, я это знаю.

Катулл

В исходе пир, а хмель еще далеко
Цветами наших мыслей не убрал.
Как строй спартанцев трезвых, наши чаши
Фалангою незыблемой стоят
И со стола веселья не скатились!
Эй, раб, вели к столу моих певиц!

Раб уходит

Я не хочу вас плясками дарить, —
Мессинская вакханка не предстанет,
Танцуя исступленную осу...
Мы будем слушать песни Ювенала
И старика Гомера сладкий гимн!

Входят певицы.

Ну, стройте лиры и скорей за песни!
Да что-нибудь попроще, понежнее:
Гармония не терпит диких звуков!

Певицы берутся за лиры.

Нет, погодите! Я вам заплатил,
Так уж вполне хозяин буду с вами.
Я вас поставлю в группы — у террасы
И по скалам — вот так, чтоб зренье слуху
Завидовать не стало у гостей.

(Устанавливает их группами.)

Кто между вами запевала?

Одна из певиц

Я.

Катулл

Ну, для тебя не место между хора:
Здесь становись и начинай смелей!

Певица

(Поет)

Как рыбка над сонной рекой,
Серебристой сверкнув чешуей,
Пропадает,
И тихо, под сенью ветвей.
Волна, встрепенувшись над ней,
Пробегает, —
В моих омраченных мечтах
Тень подруги в лучах и цветах
Выступает,
И долго, любовью дыша,
Моя молодая душа
Замирает!

Скавр

(С восторгом)

Прекрасно!

Катулл

Имя как твое, певица?

Певица

Симфония!

Катулл

Все кубки от стола
Дарю тебе, Симфония, за песню!

Пандора

(Про себя)
А Лезбии все нет как нет меж нами!

Катулл

Еще одну, еще такую ж песню...
В груди щемит, как будто жало змея
Вползло туда с предчувствием печальным!
О счастии влюбленных нам пропой!

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Те же и Лезбия.

Лезбия

(Пробираясь между певиц под покрывалом)
Я пропою тебе такую песню!

Катулл

Кто ты? Зачем лицо твое закрыто?

Лезбия

Я — бедная певица из Тарента,
Прошу на хлеб для бедного отца
И не хочу, чтоб люди находили
Мой голос хуже моего лица.

Катулл

Как странно... голос будто мне знакомый...
Изволь, пропой нам, — я тебе плачу!

Пандора

(Про себя)

А Лезбии все нет!

Лезбия

Стихи Катулла!
Хор, повторяй за мною... Я пою!

(Поет)

Не срывай цветов весны:
На цветах роятся осы;
Не влюбляйся от жены:
Злее ос у жен вопросы!
Ты в цветы зимы вглядись,
Их дыханьем упивайся —
И, влюбляясь, не женись,
И... женившись, не влюбляйся!

Скавр

(С кубком)

Да здравствует прелестная певица!

Катулл

О, песни, песни, как вы тяжки сердцу!

Пандора

(Рассеянно)

Скажи, Катулл, где Лезбия твоя?

Катулл

(Не слушая его)

Бывает время, песня льется в душу,
Как веянье весны благоуханной;
А иногда не знаешь, как убить
Тоски, в душе напевом пробужденной!

Пандора

(Перебивая его)

Да где ж твоя питомица, Катулл?

Катулл

(Вспыхнув)

Питомица?.. Тебе какое дело?

Пандора

(В сторону)

Ай, ай! попался!

Катулл

Ты затеял шашни!
Ты не ко мне, ты к Лезбии пришел?

Лезбия

(В сторону)

Уйти скорей, пока огонь остынет,
А то еще сорвет он покрывало!

(Уходит; за нею удаляются певицы.)

Пандора

Я пошутил!

Катулл

Ты пошутил? Слепой же
Ты крот, когда со мною спор затеял!

Пандора

Катулл!..

Катулл

Пять тысяч беспощадных слов,
Пять тысяч сатирических стихов
Готовься встретить иль во всем сознайся!

Пандора

Потише!
(В сторону)
Боги! он меня погубит!
На ближней вилле...
(Вслух)
Берегись, Катулл,
На ближней вилле, с римскими друзьями,
Пирует в винограднике диктатор!

Катулл

Мне жаль тебя! Нет у тебя ни верных
Рабов, ни любящей подруги; войлок
У входа в дверь Катулла чистоплотней
Твоей кровати; мухи и сверчки
Во сне танцуют по твоим губам;
Твои приятели от злости сохнут
И от богов наделены такими
Зубами, что булыжник римских стен
Им нипочем и мягче старой груши!

Пандора

Катулл... чужие!..

Катулл

Ничего, Пандора!
Скажи мне лучше, как твой аппетит

Так над тобой берет порою силу,
Что, запершись в своем дому, на воле,
Для всех незримой яствой объедаясь,
Ты ставишь сзади верного раба,
Чтоб он тебя удерживал от лишней
Охоты — через меру закусить
И лопнуть над неконченной похлебкой!

Пандора хочет говорить.

Скажи мне лучше, как ты воровал
В былые дни, скитаяся в лохмотьях,
У Ювенала на пиру салфетки
И золотые ложки клал в карман!

Лизипп

Не может быть!

Скавр

Катулл, наверно, шутит!

Пандора

Конечно, шутит, этакой проказник!

Катулл

Так ежели пошло уже на то...
(Останавливается.)
Во имя шутки, наполняйте ваши
Забытые, покинутые чаши!

Скавр

(С чашею)
Да здравствует достойный наш хозяин!

Лизипп

(Поднимая чашу)
Здоровье муз, во славу красоты!

Да здравствуют Анакреон и Пиндар,
Да здравствуют Вергилий и Гомер!

Скавр

Да здравствует священный, мирный труд
Под маслиной, за сладкою амфорой!

Пандора

(Про себя)
Давай-ка, предложу я выпить в честь
Диктатора, — он за стеной соседней
И речь мою услышит... пригодится!
(Вслух)
Вы знаете, я — главный казначей,
Храню казну диктатора...

Скавр

(В сторону)
Хранишь ли?
Не то я слышал о тебе в народе!

Пандора

Меня диктатор другом называет,
Меня диктатор любит, награждает!
(Поднимает чашу.)
Да здравствует властительный диктатор!

Никто не отвечает

Катулл

Ты промахнулся... Не ходи, козел,
В чужие огороды — ошибешься!
Катулл тебя к себе не приглашал,
Ты сам к нему без совести назвался:
Так не пеняй же, если мы тебе
За мирною беседой не внимаем

И за тобой не поднимаем кубка
Во славу славы римского народа!
Не из твоих нечистых уст подобным
Речам на пире нашем раздаваться!

Пандора

(Вспыхнув)

Ты — дерзкий злоязычник!

(Про себя)

Погоди же,
Я отплачу за Лезбию тебе!

Катулл

Венки, друзья, на голову, венки!
Шуметь давайте, спорить, веселиться.
Я у себя вам не позволю пить
Исподтишка цикуты ядовитой,
Чтоб смерти страх вас больше заставлял
В последний раз на свете напиваться!
Нет, нет, у нас не место этой моде:
Мы будем пить на славу муз и граций
И наших чаш пустыми не уроним!
Сюда, мои прелестные певицы,
Опять за песни, песни и любовь!

Пандора

(Вставая)

Так ты не хочешь слушаться Пандоры,
Ты за диктатора не хочешь пить?
Терпи же сам, а мне позволь от сердца
Благодарить тебя за вкусный ужин,
За кушанья твои, вино и соль,
Которой ты свои усыпал блюда!
Ты накормил меня, Катулл, отлично;
Я сыт по горло, сыт и принесу

Тебе за все от сердца благодарность:
Я не замедлю с дорогим ответом!
Расправятся с тобою, сорванец...
К диктатору, к диктатору с доносом,
И посмотрю я, как запляшешь ты
Перед его карающим декретом!

Катулл

Пандора!

Пандора

(С улыбкой)

И потому один за всех ответишь!
Закон гласит: кто оскорбит хоть мыслью
Диктатора — повинен грозной казни!
Прощай, Катулл, благодарю за ужин!
(Уходит.)

Лизипп и Скавр

Катулл, что сделал ты?

Лезбия

(В сторону)

О, боги, боги!
Его казнит диктатор беспощадный!

Катулл

(Берет чашу)

Да здравствует гармония вселенной,
Гармония природы и людей,
Гармония богатства и талантов!
Чтоб гордый Рим, чтоб всепобедный Рим,
Под манием волшебного жезла,
Как музыка торжественного гимна,
Как за душу хватающая песнь,
Явился в блеске сил и дивной славы,

В святых лучах зиждительной державы,
Явился нам в могучей красоте...
Да здравствует гармония вселенной,
Да здравствует вселенной красота!

Лизипп и Скавр

(Поднимая чаши)

Да здравствует гармония и слава!

Катулл

Красавицы — за лиры! Дайте мне
Безумною душою позабыться!
Забыть весь мир, забыть врагов и слезы,
Готовые из груди полной хлынуть!

Лезбия

(Опуская покрывало)

И Лезбию ты хочешь позабыть?

Катулл

Как? Это ты — ты мне так нежно пела?
Ты, мой цветок, моя живая радость,
Ты пела мне...

Лезбия

Да, это пела я!

Катулл

Притворщица! Да разве мог тебя я
В безумстве непростительном забыть,
Отдать твою привязанность и дружбу
За чью-нибудь мне чуждую любовь?

Лезбия

За померанец, — помнишь померанец?..

Катулл

Вот кубок, пей за славу нашей славы!

Все наливают чаши. Слышны рога.

Лезбия

Катулл! о, боги! Это час последний
Тебе трубят!

Катулл

(Роняет чашу)
Ужели? Быть не может!

Входит Пандора; за ним толпа ликторов

Пандора

(Со свистком в руке)
Декрет Катуллу!

Скавр

(Кидаясь к нему)
Негодяй!

Пандора

(Торжественно)
Диктатор
Изволит в нем с Катуллом говорить!

Все преклоняют головы.

Катулл

(Принимая свиток)
Что ж в нем Катуллу диктатор говорит?

Пандора

(Насмешливо)
А как тебе сказать, — не знаю, право:

Должно быть, в нем о смерти говорится!

Катулл

О смерти?

Лезбия

Боги!

Скавр

(С угрозой)
Лжешь ты, негодяй!

Пандора

Не горячитесь! Он выслушал меня
И говорит: садись вот тут, Пандора,
Садись! — Он так всегда мне говорит.
Велел подать пергаменту и спицу,
Махнул рукой, склонился головой,
Потом взглянул, сурово сдвинул брови
И сталь писать: он, сколько мне известно,
Всегда так пишет грозные посланья!

Катулл

За что же смерть? Ужель святая правда
Оставила тебя, бессмертный Рим?
Прощайте, гости! Пир еще не кончен,
Так допивайте чаши без меня!
А я пойду — пойду туда, повыше!
Ты, Лезбия...

Лезбия

О, боги! боги!

Катулл

(Сквозь слезы)
Слезы,

Мои мечты, мои надежды, грезы —
Все до одной тебе я завещаю!
Не раздавай моих произведений,
Пускай они со мною отлетят...
Как Индии печальная вдовица,
Сложи их все в костер и надо мной
Сожги его бесценною рукой!

Пандора

(С досадой)

Катулл!

Лезбия

Прощай!

Катулл

Прощай, моя сиротка!
Ты никогда меня не позабудешь?..

Пандора

(Выходя из себя)

Какая дерзость! Слышишь ли, Катулл,
Диктатор ждет...

Катулл

Умилосердись, небо!..
Друзья, прощайте! Оба вы — поэты,
Я это знаю: вам передаю
Поэзии чарующей арену!
Любите жизнь, отчизну и людей,
Не продавайте девственной работы
За золото, художеству служите,
Как честный раб, как вдохновенный жрец,
И для минуты счастья не бросайте
На смех толпы поруганного сердца!

Пандора

(Обнажая меч)

Катулл!

Катулл

Иду, готовь свою секиру!

Лезбия

(Падая на руки певиц)

Прощай, мое единственное счастье!

Катулл

(Обращаясь к Риму, который тонет в сумраке наступающей ночи)

Прощай и ты, бессмертный, вечный город!
Тебе, как сын, я праведно служил!
Как пахарь, я прошелся с тяжким плугом,
Оралом добродетели священной
Избороздил покинутые нивы
Твоей души и бросил в эту землю
Великих дел святые семена!
Произрастай же, молодое племя
Гражданских доблестей! Да придет время,
Когда в твою пленительную сень
Слетит моя тоскующая тень
И, никому незримая, заплачет!
Высоко поднимай свои столпы
Среди слепой и ветреной толпы,
Бичуй порок, терзай без сожаленья
Противников народной славы гидру;
На пепле смут, волнений и тревог
Да возрастет роскошный виноградник
Всех доблестей и счастия рассадник;
Да укрепится гордо правота,
Оденется на праздник красота,

И песнь любви и мира сменит слезы!..

Пандора

(В бешенстве)

Катулл! Я ликторам велю связать
Тебя, — читай!

Катулл

О, добрый друг, читаю,
Ты видишь: я гонителей прощаю!
(Читает декрет.)
Что же это?
(Протирает глаза.)
Ха, ха, ха. Вот это мило!

Пандора

Ты шутишь? Наглость эта не у места!

Катулл

Да как же мне, Пандора, не смеяться?

Лезбия

(Рыдая)

Безжалостный, не рви так больно сердца!

Катулл

Послушайте!

Пандора

Читай!

Катулл

Поближе станьте,
Вот так, в кружок! «Послание Катуллу»

(Читает.)

«Привет тебе, Катулл!
В моем пиру веселом
Тебя лишь одного
Недоставало нынче!
Ты отказался пить
В своем дому за друга:
Надеюсь, у меня
Ты будешь пить охотно!
Пандору я тебе
Во власть предоставляю...
Таких, как он, немало,
Катулл у нас один».

(Пандора бледнеет.)

«Не взыщи за бедную импровизацию. Бери всех своих друзей и приходи ко мне, под свод душистых лавров, окончить сладкий вечер с твоим защитником и поклонником. Диктатор Юлий».

Пандора

(В страшном ужасе трепещет и роняет меч)
Что ж это значит?

Катулл

Я глазам не верю!

Начальник ликторов

(Отделяясь от стражи)
А это значит то, что ты немного
С своим доносом опоздал! Пока
Ты с ним спешил, другой донос — почище,
Диктатор о тебе из Рима принял!
Ты, говорят, с его казной делился...

Пандора

(Падая на колени)
Катулл, прости, не погуби меня!

Катулл

Не погубить? Теперь ты спохватился?
(Обращается к окружающим.)
Друзья, пойдем, диктатор нас изволит
К себе на пир высокий приглашать!

Пандора

(На коленях, униженно)
Не позабудь меня, Катулл, на пире, —
Ты с этих пор — великий человек!
Припомни обо мне в твоем величьи, —
Ты по пути блистательном идешь!

Катулл

Да, я иду не так, как ты, Пандора,
Не трепеща, не потупляя взора,
И клевета за мною не ползет!

Пандора

(Простирая руки)
Катулл, я знаю, ты врагам прощаешь,
Ты от рожденья милосерд и добр:
Кормилица твоя мне это говорила!

Катулл

(С улыбкой)
Кормилица? Пусть так. Тебя диктатор
Во власть мне отдал — он тебя простит!
Но ты за это у меня попляшешь.
Эй, слуги верные, сюда, скорее!

Рабы и повара окружают его

Клянусь вот этой лысиной:
(Опускает руку на голову Пандоры.)
За службу

Я отдаю вам этого проныру!
Он угостить вас должен всем на свете —
Всем, чем богат его роскошный дом!
Пять суток от него не уходите,

Пандора в большом удивлении.

Очистите карман и погреба
И на приволье пышном поживите!

Лезбия

(Проходя мимо Пандоры, насмешливо)
Прощай, Пандора!

Пандора

(Качая головою)
Лезбия...

Катулл

Подумай
О предстоящем пире и расходах:
Не дешево тебе он обойдется!
(Окружающим)
А мы, друзья, пойдем по приглашенью!
Теперь свою приподниму я лиру,
Теперь коснусь я струн живых и миру
В священном вдохновеньи пропою
Открыто песнь заветную свою!
Друзья! От сердца мы воскликнем:
Да здравствует наш Цезарь — слава Рима!
(Удаляется.)

Пандора на коленях с поникшей головою
Слуги и повара Катулла его окружают

1852 г.



Письма из-за границы

I

От Петербурга до Берлина

Unter den Linden, 1 февраля 1860 г

Ты прав, милый домосед. Не без удивления, наконец, увидел я себя в вагоне железной дороги, по пути в чужие края. Ты говорил, что рельсы убили поэзию путешествий, и что если уже бросать хутор и теплое сидение с трубочкой за нумером «Искры», то разве ехать уже прямо в Париж на тройке, с бубенчиками, с дугой и с русским ямщиком, и не иначе, как по проселкам старой Европы. Ты мне пророчил бедствия: ты говорил, что нас все надувают, что в Италии я замерзну, в Париже умру со скуки, в Турции не увижу турок и в честной Германии, в первом же театре, у меня украдут из кармана платок. Но я все-таки еду, оставив наш уезд, борьбу наших горациев и курияциев, тьму губернских комеражей в самом разгаре, дядюшку с флюсом, тетушку в насморке, приказчика в отчаянии от непроданной пшеницы, и еду на запад. Мне хочется посмотреть на этот запад, как там живет наш же брат, деревенский собственник, то есть как себе дни влачат на западе, положим, французские Собакевич и Ноздрев, итальянские Маниловы, муж и жена, в какой-нибудь villa Manilovka, близ Ponte-Savigliano, какой-нибудь немецкий Плюшкин в крохотной мызе под Нюренбергом, и, положим, амстердамская Коробочка, соперница петербургской Гебгардт, и значит, тоже «дама из Амстердама». Мне хочется узнать на деле, возможны ли, например, где-нибудь в мел-

копоместной деревушке, на севере Франции, в Бретани и Вандее, где еще сохранились, говорят, предания былой французской жизни сел, такие счастливцы, как наши Кифа Мокиев и Мока Кифиевич, и процветают ли в каком-нибудь счастливом, тихом уголке южной Франции, положим, близ Марсели или Монпелье, в излучине зеленеющих берегов Луары, подобные нашим безгрешные старцы Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна! Найди их, я непременно посетил бы этих французских мелкопоместных помещиков!..

Мне хочется узнать, как они живут там, эти наши братья, забытые иностранными писателями. Или, может быть, их вовсе там нет?

Со мною выехали, также по пути за границу, генерал Л*** и его свояченица, Аграфена Львовна Сконтхоржевская, бойкая вдова, более ловкого, чем привлекательного вида. Мы условились половину путешествия по Европе сделать вместе. Генерал был немолод и звал ее «дочь моя».

На первом же перевале нашем, во Пскове, вдова озадачила меня, втиснувши в наш общий запасный чемодан пять фунтов московского чаю и несколько свертков обыкновенных стеариновых свечей.

— Это, сударыня, зачем?

— А вот видите ли: в заграничных гостиницах за свечи страшно дерут; хоть зажгите их только, чтоб письмо запечатать, все поставят в счет — Lichten, значит, столько-то... Ну, мы и будем зажигать и возить свои. А уже без своего чаю я ни-ни! не обойдусь никак! Помилуйте, там чай морской; свинство, я думаю, какое-нибудь...

— Смотри, Агаша, чтоб у тебя пруссаки не выпотрошили этого-то зелья: туда запрещено это ввозить, — заметил на это генерал.

— И, душа моя: твое превосходительство и не догадается, как я провезу его в таком месте, что и не посмеют посмотреть.

— Ну, коли так, то вези...

Еще в России нам повеяло, говорю, Европой. В Риге, например, в средине каждой двери в гостинице, оказалась на немецкий лад дверка со стеклышком величиной в человеческий глаз и с задвижечкой со стороны номера. Это вот для чего: придет кто-нибудь и постучится в дверь. Ну, вы ему сразу не отворите, а посмотрите прежде, кто пришел и стоит в коридоре? Коли неприятный человек, положим, заимодавец ваш, ну и не пустите. Потом также тут озадачили нас на кроватях, необыкновенно чистых и с готовым чистым бельем, какие-то мягкие, точно сбитые из молочной пены, перины. Я долго мучился с своею: взобью ее, положу и лягу. Смотрю и потонул: над головой одна гора, над ногами другая. Опять взобью, расправлю жидкий пух и лягу, и снова провалился: концы перины под потолком, а сам в ее средине чуть не задохнешься. Заглянул в генеральский номер, там такая же история. Аграфена Львовна тоже не приберет, как спать на такой перине. Кельнер гостиницы вывел нас из затруднения. Оказалось, что эти перины были — одеяла. Нечего делать, лег, укрылся и очутился, как будто укрытый воздушным шаром. А ничего, тепло, только обернуться нельзя, знаете, подоткнуться, как иной раз на хуторе, бывало, по известному обычаю, скажешь, ложась спать: «Ну, Иван, укрой же меня; подоткни меня, скажи сказку, перекрести и ступай себе, а уже засну я сам».

Наши немецкие провинции, наши горделивые Эст-Лифунд-Курлянд, возбудили в моих спутниках несколько желчных ощущений. Генерал, вообще не жалующий с корнетского чина немцев русских и немцев немецких, объявил мне напрямик, что если бы не рижские сигары, которые он всегда доныне курил, да не курляндские собаки, с которыми он иногда охотился, то и эти пресловутые страны он назвал бы, как назвал знаменитый писатель всю Германию: «Гадчайшая отрыжка голландского кнастера с баварским пивом!»

Тем не менее я любовался от души многим в нашем остзейском уголке: например, гладкостью дорог, чистотою

станций. Одна беда, близ Вендена, на одной станции смотритель-латыш никак не хотел дать нам для чаю самовара, а все предлагал воды, гретой в кастрюле, уверяя, что это все равно и еще лучше. В Риге также на улицах мне показалось, что я на пасхе в Москве, под Новинским: во всех перекрестках узеньких улиц, во всех концах и закоулках города ежеминутно раздавалось тенькание маленьких колокольчиков. Я оглядывался, и мне казалось, что толпа ребятишек, усевшись на деревянных коней, обтянутых кожей, с шумом кружились и колыхались вокруг известного столба, под качелями, гремя бубенчиками и щелкая праздничные орехи. Увы, эти мальчишки под Новинским оказывались простыми проезжающими. Немецкая аккуратность предусмотрела, что в таких узких улицах, каковы улицы Риги, лошадь как раз вскочит на шею зеваки-горожанина, и потому обязала каждого ездока снабдить бока лошади довольно увесистым колокольчиком. Немецкая езда дуги не допускает; колокольчик привязывается прямо к седелке и на бегу бьется о ребра лошади, с утра до позднего вечера звеня по городским улицам. Извозчики тоже поразят хоть кого. Вообразите, что это не извозчики, а лакеи в ливреях, вроде тех двух, которые в «Грозе» водят сумасшедшую старуху-барыню под руку. Ливрея — синяя, с желтыми выпушками и перлизами и с несколькими воротниками. Лошадей пара, и все костлявые драбанты, худые до невероятности. Но уж улицы верх любопытства: узки до того, что буквально из окна в окно через мостовую можно у соседа сигару закурить. Вы идете, не успеете сделать двести шагов, уже вам дорогу преградил огромный, сутуловатый и с остроконечною черепичною крышею дом. Вы берете вправо, та же история. А вот перекресток: тут уже решительная и вечная толкотня и давка. Любопытно видеть туземных прохожих. Наткнувшись на сани, которые давно тут же ожидают очереди, чтобы разминуться с другими встречными санями, прохожий прямо берет руками за задок саней и пересовывает их с седоком левее, хотя тут же наехавший на него справа третий ездок, именно извозчик в синей ливрее

и с трубкою в зубах, опять ставит ему своих пару прямо в упор, и один из пегасов его дует в самые уши и в затылок озадаченного прохожего.

Но вот мелькают Митава, Шавли и еще куча польских, латышских и еврейских селений. Мы у самой границы. Вот Таурогем. Русские ассигнации разменены на прусское серебро и золото. Бедность последних русских пределов, с грязными латышами, оборванными евреями и санями без верха, прощайте! Вот нам запряжен уже щегольской крытый возок за те же двенадцать коп. сер., как за нашу перекладную. Вот и сама первая прусская станция. Вместо плутоватого содержателя станции еврея нас встречает почтенный седовласый бюргер, в сером пальто, род нашего гувернера при богатых детях. Он зажигает на станционном столе карсельскую лампу. Другой, также почтенный и седовласый господин, и тоже в сероватом пальто, входит и начинает спрашивать, нет ли у нас чего запрещенного: кожаных изделий, табаку, сигар, конфет, каких-то марципанен и чаю. Сопутница моя «честью» уверяет, что ничего *подобного* нет, и бюргер уходит, веря на слово даме и не трогая чемоданов наших. Кто это? Прусский таможенный чиновник. Подается новый маленький крытый возок, парой в дышло, на козлы ямщиком садится опять почтенный и румяный господин, в синей ливрее, круглой клеенчатой шляпе и с трубой через плечо. Мы едем ночью. Он трубит разные прусские марши и салютует каждое селение и каждую спящую корчму. А рослые и сытые лошади прыгают мерным галопом.

Итак, прощай Россия!

Я признаюсь, на самой пограничной черте, пока наш возница предъявлял кордонной сторожке наши паспорта, стал приглядываться к земле, уж и в самом деле, не красною ли или голубою краскою обведена чужая земля? Ничего подобного не было. Тот же осинник, береза и сосна, та же снежная поляна, серое небо и струйки снега, бегущего

по ветру, вдоль морозной полянки. Ворона сидит на березе; ворона ходит по дороге — и ко всему еще очень и очень холодно.

Генерал сидел сумрачный. Вдова курила папироску, радуясь, что надула таможню и провезла чай.

— А что, ваше превосходительство, — начал я, — ведь мы за пять минут были на свете десятого числа, а переехали границу, сразу состарились и поумнели на двенадцать дней, и теперь уже у нас двадцать второе число!

— Это ошибка календаря, это все на фуфу...

— Какое на фуфу, Жорж, — перебила свояченица, — я еще лучше тебе скажу: приедем в первый городишко, здесь и ты увидишь, что мы состаримся сразу на пятьдесят лет...

— Как так?

— Да так же. В Тильзите, например, городке вроде нашей Обояни по объему или Изюма, ты найдешь множество ресторанов, с кучами журналов, и самый город освещен газом...

— Еще бы, — недовольно возразил генерал либеральной свояченице, — там заключен тильзитский мир.

И поперхнулся, не зная сам, к чему он это сказал.

Действительно, въехавши в город поздно вечером, мы увидели везде яркие, беловатые огни чудного газа, а пока вещи наши перетаскивали в кенигсбергский мальпост и генерал сопел, насмешливо вглядываясь в добродушные лица прусских почтовых чиновников, в красных воротниках, мы со вдовушкой вошли в пивную лавочку чрез улицу, насупротив почты, с целью закусить. Чуть отворилась дверь, мы были ослеплены блеском освещения и чистоты этой пивной. На бархатных стульях, за огромными кружками с пивом, сидели прусские офицеры, в синих мундирных кафтанах, с золотыми гладкими пуговицами без гербов и с красными воротниками. Одни играли в карты, другие в домино. Тут же сидело несколько штатских. На нас никто почти не обратил внимания. Один только штатский, взглянув на москов-

скую лисью шубу моей спутницы, нагнулся к уху соседа и шепнул: «Die Russen». Пожилая дама в чепце прислуживала посетителям и стояла за конторкой.

Очутившись на лежачих рессорах громадного почтового дилижанса, запряженного четверней цугом, без форейтора, генерал поневоле вздохнул, что-то покачал головой и тут же заснул.

В Кенигсберг мы приехали рано утром. Был праздник; магазины заперты. Мы остановились на главной площади, в Hôtel du Nord. Это генерал устроил. Он все уверял, что нам, как русским, иначе не следует нигде останавливаться, что для того и в Брюсселе издается самый «Nord», и что его русские читают. На площади стоит памятник Фридриху-Вильгельму III: бронзовая фигура короля на коне. В числе барельефов, на одном изображен король, вручающий Гарденбергу обновленные законы, в присутствии Швангорста и Штейна. Генерал о новых законах помолчал, но выразился, что Штейна напрасно тут поместили, что это был просто филантроп и шарлатан, и больше ничего. Зато в полдень генерал был утешен: на площадь въехало до двадцати саней, все парой в дышло и в краковских уборах, и начали делать эволюции — то съедутся и станут рядом, то опять разъедутся. Это было общество городских франтов, устроивших загородный пикник с дамами. Генерал вышел на балкон, несмотря на холод, в одном сюртуке, посмотрел на площадь и сказал:

— Площадь красива, но мала, больше одного батальона не поставишь на ученье. А пресловутая площадь св. Марка в Венеции, говорят, и того теснее... То ли дело наша Русь! Немцы.

В театре мы со вдовушкой немало посмеялись, когда генерал, при входе в партер, который тут называется «паркетом», стал оглядываться, ожидая, чтобы капельдинер в мундире снял с него пальто и калоши. Вместо капельдинера предстала старуха в салопе и в теплом капоре, с улыбкой сделала книксен, предложила генералу самому снять его

платье и даже контрамарки взамен его не дала. «Платье ваше вот тут будет лежать; после представления просто придете, возьмете и наденете!» И точно: театр кончился, платье наше было цело. Генерал запустил руку в карман пальто: и сигарочница его была там цела. Старуха капельдинер проводила нас тою же насмешливою улыбкой. А во время спектакля публика была, как дома: кому нужно, вывесил свою шинель или шарф прямо через барьер ложи, в амфитеатр, и дело с концом. Шинель висит, и никого не обижает. В антракте кто-то громко чихнул, в два или три приема, чихнул всласть; мальчишки-гимназисты подхватили это чихание рукоплесканиями, и шутливый раек прокричал ему «браво».

— Черт знает что такое; свинство! точно в харчевне! — заметил мой спутник, выходя из театра, и даже не захотел сопровождать на другой день меня и свояченицы своей, когда мы пошли осмотреть дом, где жил известный философ Кант, «Kantsche Haus», как называл его мальчик-кельнер в гостинице, советовавший нам его осмотреть...

Мы въехали в Берлин по железной дороге, с курьерским поездом, через Эльбинг, Бромерг, Крейц и Кюстрин, отхватывая версту менее чем в минуту, значит, в час от шестидесяти до семидесяти верст. Просто дух захватывало у раскрытого окошка вагона. Шпага пушкинского лгуна-курьера тут, наверное, била бы, высунувшись на воздух, по верстам, как по частоколу. На каждой станции предлагались готовый кофе, пиво и бутерброды. В вагонах курили. Вислу мы перелетели по мосту близ Диршау, в пять миллионов талеров, на пяти быках, с арками в 120 сажен пролета; машинисты здесь щеголяют и пускают поезд быстрее: мост весь на железных прутьях, звенит, как исполинская шпора. Не доезжая Берлина, нам предложили заказать извозчиков по телеграфу, по случаю ночи, что мы и сделали...

— Нет, это уже Европа! Во многом хорошо и удобно! — говорил генерал. — Только очень резко рассуждают в вагонах и курят! Это нехорошо...

II

От Берлина до Парижа

25 феваля 1860 г Boulevard Bonne-Nouvelle

Берлин не озадачивает сразу так, как Париж; Берлин нравится, как тихая заря летом в лесу, после дикой и бедной зеленью пустыни. Путешественник, проснувшись утром, выглядывает в окно и улыбается. Круглолицые и русые служанки быстро идут с корзинами, полными всяких съестных припасов. Гимназисты, с книгами и письменными сумками за плечами, спеша на лекции, мимоходом превращают бульварные тротуары в арену для катанья, и на коньках, вынутых из той же сумки, шныряют и перекликаются между смиренными и важными пешеходами. Большие щегольские кареты на плоских рессорах, в одну лошадь, катятся по мостовой, с кучерами в круглых клеенчатых шляпах, горделиво помахивающих длинным бичом, и с трубками в зубах. Сигары дымятся во рту у каждого прохожего франта, лакея, офицера, генерала, разносчика; даже почтальон, неся на перевязи перед собой ящик с городскою почтой, как замоскворецкий блинник блины, тоже заходит по пути в магазин сигар, покупает за два гроша гаванскую сигару, какую-нибудь «cabannas flora», закуривает и отправляется далее. Солдат, тут же встретившись на улице со щеголем в лаковых сапогах и с лорнетом, берется под козырек и закуривает у него свою глиняную трубку. Сигары и трубки так сроднились с привычками немцев, что сколько полиция ни печатает объявлений, что нельзя курить в залах станций и в вагонах железных дорог, немец как уселся на своем месте в вагоне или за чашкой кофе на перевале курьерского поезда, так и закурил. Иной бежит вприпрыжку по улице, давно забыл, что сигара его потухла, а он все-таки сосет и сплевывает. Вы входите в магазин, и прежде чем что-нибудь сторговали, купец уже суетливо ищет спички и вежливо вам подает закурить вашу потухшую сигару.

Но что это?.. Вы присматриваетесь из окна вашей гостиницы... Собаки! Собаки везут тележки с молоком, тележки с кореньями и огородной зеленью, с сыром и водою. На каждой ременный хомутик или одна веревочная постромка, а не то постромка и хомутик вместе, и на голове непременно еще, сверх того, проволочный намордник. Ни одна собака в немецкой столице не может выскочить на улицу, чтоб побегать, нанюхаться всякой всячины и себя показать собачьему роду без намордника. Брылястые барбосы, в одиночку и парой, в дышле, привезя нагруженную телегу, останавливаются посматривают на проходящих собачьих мисс сквозь железные грубые намордники. Мисс, разумеется, в намордниках медных, бронзовых и даже посеребренных. Голые американки, с клочками волос на одних бровях, бегут за своими хозяйками в голубых попонках, а у иной еще на шее розовый бантик. Мопсы, стриксы, шарлотки, сеттеры и пойнтеры, все смело и весело бегают по улицам счастливого Берлина, не боясь рокового крючка «профоста». Крючок не схватит ни одной, потому что у каждой собаки намордник. Если оно не совсем свободно, зато безопасно, и для тех, «кто лает», и для тех, «на кого лают». Тем не менее собачье племя этого как будто даже и не замечает. Увесистый меделянский силач, таща во все мускулы тяжелую тележку, на ходу принюхивается ко всему лакомому, и уморительно смотреть, как хозяин идет себе и курит, придерживаясь за маленькое дышло вместо вожжей, а «лошадь» его на ходу во все горло лает, рассерженная неудачным поползновением где-нибудь понюхать или утащить. К такой «лошади» не подходите: она возит тележку и в то же время бережет добычу хозяина. Этот уйдет в молочную лавку и расплачивается, а лошадь почешется лапой, полижет усталые бока, взберется с хомутиком на тележку и сидит, гордо поглядывая с своего седалища и огрызаясь на проходящих. Силы иных из таких собак замечательны; сдавши ношу, хозяин садится сам на тележку и едет рысцой на маленьком коньке, ловко изворачиваясь между настоящими тяжелыми каретами, которые,

кстати, в Берлине называются не каретами, а «дрожками». Позвать извозчика — значит здесь позвать дрожки. Меня долго занимал вопрос в Берлине: как могут выгодно существовать извозчики, когда такса за езду в один конец у них такая же, как в Петербурге, именно пять грошей, то есть около пятнадцати копеек серебром, а у каждой вместо нашей адской машины, называемой одиночными дрожками или гитарой, новенькая карета, в четыре места, вся в стеклах, внутри обитая синим штофом или сукном и на плоских рессорах. Лошадь при этом в английских шорах, а сам извозчик в щегольской ливрее и круглой шляпе. Внутри кареты прибита печатная такса за езду. Извозчики, сверх того, не навязываются до тошноты каждому прохожему, и кучей цепных собак не кидаются на него при выходе из каждого ресторана и театра, а стоят вереницей вдоль тротуаров на перекрестке, и вы берете очередного, переднего...

Но вот день разгорается. В гостиницах, по отдельным номерам, утренний кофе и чай, со спиртовыми самоварами, Theemashine, отошел. Съедены круглые, в куриное яйцо величиною берлинские горячие булочки, с свежим маслом, зеленым сыром, вареной ветчиной и колбасами. Постояльцы сходят с лестниц, и в их комнаты являются циммермедхены, гостиничные служанки, с полотенцами, щетками и свежей водой. Они метут комнаты, стелят на постели чистое белье, кладут в умывальные шкафы чистые полотенца, стирают пыль, выбивают ковры, наливают в чернильницы новых чернил, если вы пишете, наливают в графины свежей воды, если вы изменяете туземному пиву и пьете берлинскую воду, надо прибавить, довольно солоноватую. А внизу лестницы уже предлагают вам новости того дня: билет в оперу, билет в комедию-водевиль или билет в заседание палаты депутатов... Берлин теперь, как говорят знатоки, напоминает Париж времен Гизо и Луи-Филиппа, а Париж в свой черед нынче напоминает Берлин за десять или пятнадцать лет назад. Тут же, в сенях, у часов, висят за стеклами театральные афиши, планы театров, планы железных дорог и городов Европы, а

на маленьком столике адрес-календарь Берлина, с адресами всех главных мест и лиц города. Но вы не останавливаетесь в сенях. Перед крыльцом, на улице, красуется хорошенькая башенка, вся пестрая от наклеенных на нее разноцветных бумаг. Это столб для наклейки афиш. С зарею уже все сотни таких столбов по улицам столицы белокурых немецких французов, то есть милых пруссаков, оклеены свежими афишами, на розовой, желтой, синей, зеленой и белой бумаге, зовущих вас в сотни мест увеселений и продажи новостей. Вам не для чего за этим бежать за три версты к театру или волей-неволей взбираться в душную харчевню и искать номер газеты, чтобы узнать, что делается в тот день на белом свете. Зато комиссионера в своей гостинице вы не пропустите: он вам и билет достанет, если вам некогда, и на почту закупорит и отправит посылку, и с нужным человеком переговорит за самую безделицу.

В былые годы Берлин обедал в двенадцать часов, в 1847 году стал обедать в час и в два, а теперь, по мнению бюргеров старых времен, de l'ancien régime испортился совсем и обедают в 3 часа пополудни. Вы сходите за табль-д'от в той же вашей гостинице, садитесь за общий стол и ждете две минуты. Обед здесь с лица стоит 20 грошей, т. е. 60 коп. сер. Вы переноситесь мысленно при этом в русские гостиницы, например, к Палкину, и думаете: «Ну, немцы подадут дрянь, и что можно подать за 20 грошей?» И неожиданно изумляетесь. Не успели разрезать тминной, колбаснообразной булочки, как вас буквально осыпают с двух сторон блюдами. Справа движутся супы рыбные, слева мясные. Не успели вы съесть этого, как на маленьких блюдах фрачные кельнеры подают вам разом по четыре сорта соусов, по стольку же холодного, в такой же численности других соусов, потом жареного, потом пирожного, наконец, орехов, яблок, изюму, варенья, желе и мороженого. Вы с непривычки путаетесь, накладываете к соусу, на ту же тарелку, холодных колбасок, каких-то кореньев, не то брюквы, не то моркови, потом ветчины, потом котлет и рыбы. Блюда подоспевают

без устали и промежутков. Одни кельнеры подхватывают у вас старую тарелку, другие тут же ставят перед вами по четыре сорта салатов, моченых яблок, кислого варенья к жаркому, пикулей, моченого крыжовника, брусники, компота из чернослива и картофель с зеленью и уксусом: это все салаты. А жареного? Чего тут нет! И индейка, и дикая коза, и куропатка, и рябчик, и костлявая или вовсе бескостная какая-то морская рыба, и наконец наш старинный знакомец воробей, впрочем, не московский и не курский, а немецкий воробей, и довольно вкусный, хотя и старый, которого, следовательно, по пословице, не надуешь. Пивные бутылки пестрят стол. Пробки с розового шампанского хлопают. Дамы в чепчиках раскраснелись; раскраснелись и кавалеры. Носы отливают блеском заходящего солнца в Тиргартене; отливаются и увесистые пули в разговорах бородатых остряков. А обер-кельнер расхаживает во фраке между простых кельнеров и управляет непостижимою тайною пестрого дождя из блюд, именуемого обедом в берлинском табль-д'оте. Я как-то раз стал считать блюда кушаньев, насчитал двадцать два и бросил...

От пяти до шести часов после обеда Берлин сидит в кофейнях за газетами. Я говорю до шести, потому что в шесть часов уже начало спектаклей в его театрах. Известно, что спектакли здесь идут от шести не далее девяти и редко десяти часов. В десять подъезды театров уже совершенно пусты. Берлинцы в это время уже спят. Петербургский читатель, в десять часов для шику только едущий, под видом запоздавшего, в оперу, на это поморщится. Зато посмотрите на лица берлинских женщин, как на них отражается этот род здоровой жизни. Всякого приезжего в Пруссию прежде всего поразит необыкновенная моложавость здешних солдат. Но таково все прусское войско. Я к нему присматривался и на ученье, и у казарм, и при разводе часовых, и в деревнях, и по железным дорогам. Румяные, полные и детски-моложавые щеки, как говорится, «щеки репой», и «глаза с поволокой» меня встречали и провожали везде. Прусская армия — это

великий вооруженный прусский народ, как сказал в этом январе, при открытии берлинских палат, принц-регент. Пруссия служит вся, каждый пруссак обязан служить с 21-го по 32-й год своей жизни; с известными промежутками и отпусками, но служит в лучшей своей молодости. От этого и вид моложавости, и эти оригинальные «щеки репой» каждого военного мундира.

Второе, что вас поразит в Берлине и маленьких прусских городках, — это красота и многочисленность женщин везде, куда вы ни попадете. Билеты в театрах принимают женщины, верхнее платье хранят в разного рода представлениях женщины, в гостиницах служат женщины, в магазинах и ресторанах за конторками сидят они же. Идете вы по улице — в каждом окошке цветы и женщины. Ряд горшков с аврикулами, гиацинтами и тюльпанами, и между ними русый локон или синие глаза и румяные щечки, склоненные над работой. Еще теперь в Берлине далеко до весны, а все окна уже уставлены цветами, луковицами. Горшки и горшочки все щегольские. Окно в нижнем этаже не закрыто ревнивою занавеской. Вы смело можете заглянуть внутрь комнаты. Начатая гарусная работа с иглой лежит на столе. Пол обит ковром. Камин дымится. Собачка в наморднике спит на табурете под яркой полосой солнечного луча, а белокурая хозяйка, должно быть обращаясь к шумящим в соседней комнате детям, стоит у полурастворенной вправо двери, до половины видная из нее, со своим чистеньким белым чепцом и в белом переднике.

Войдете ли вы в театры — опять заметно преобладание женщин. В креслах, во всех рядах отдельно продаваемых разрядов лож, везде женщины. По две, по три и в одиночку спокойно являются тихие и миловидные посетительницы. Пришла, отдала свое пальто у входа, пробралась к своему месту, вынула из кармана или порт-сака бинокль, развернула особого рода здешнюю театральную афишку, то есть афишку вместе с газетой «Theater Zwischenakts Zeitung», и читает в ожидании поднятия завесы. В этой газете-афишке, стоящей

один грош, вначале напечатана афиша с точным обозначением, когда поднимется занавес, какого цвета завеса будет означать перемену декораций и какого цвета окончание актов, кто из труппы того театра болен и кто в отпуску и когда кончится спектакль. Потом в газетке идет отдел под именем «Theaterconfect», и эти театральные конфеты состоят из крошечных анекдотов, из рассказов об успехах или падении вчерашних спектаклей, где вы сами были, из заграничных театральных новостей в три-четыре строки. Это помещается на двух столбцах первой страницы газетки; остальные три ее страницы заняты городскими публикациями. Представление Шиллерова *«Дон-Карлоса»* превзошло мои ожидания. Начать с того, что в этот вечер большая часть посетительниц явилась в партер и в ложи, кроме афиш, еще с томиками шиллеровского текста. Билет я достал с большим трудом и не раскаялся. Какая постановка! Какие костюмы, декорации, какая образцовая выдержанность игры и какой подбор исполнителей! От первого до последнего лица в бессмертной, пылкой и полной дивной поэзии драме могучего поэта, везде поставлены были исполнители первого разряда. Кто ни являлся предо мною, был ли это сам король-инквизитор, фрейлина, паж, адмирал непобедимой армады, маркиз Поза или вечно юная и милая нам всем личность самого царственного юноши — дона Карлоса, это все были первостепенные таланты, как говорится, спевшиеся до изумительного единства и жизненности своих ролей. И как живо шла вся великая трагедия, эта знаменитая «Trauerspiel in 5 Abtheilungen von Schiller»! С каким напряжением слушала ее милая, образованная и также образцовая публика! Между выходами и появлением новых лиц, когда течение драмы было уже порывистым, клокочущим водопадом, когда мрачный король уже заподозрил свою очаровательную королеву в любви к ее пасынку и своему сыну, и события росли и сплетались на роковую и неизбежную погибель обоих прелестных жертв чудной драмы, все дыхания слушателей были в один лад; слышно было бы, как пролетала бы по зале муха. Я взглянул

направо — старик, весь белый и в ермолке, свеся руки и голову, плакал. Взглянул налево — студент, втиснувши глаза в простой роговой бинокль, род зрительной трубы, будто смотрел на сцену, а слезы так и текли с его щек на грудь. Я повел глазами вперед — две немочки передо мной, должно быть две сестры или пансионерки-подруги, с раскрасневшимися ушами и слегка развившимися прическами, обернулись друг к другу и целовались, взявшись за руки и как бы прощаясь или деля, дружка с дружкой, невыразимое горе и блаженство вместе.

Говоря с охотой и наслаждением о Германии шиллеровской, о Германии наивной и румяной, а не расчетливой и мрачно-холодной, словом, говоря с отрадой о Пруссии, скорее, чем об Австрии, которая мне здесь постоянно кажется Германиею «умышленною», гетевскою, я прибавлю, что на представлении «Дон-Карлоса», при мне, присутствовала почти вся королевская фамилия.

Из текущих мимолетных театральных новостей в Берлине замечу блистательную, без пропусков, постановку Мейерберовой оперы «Профет», очень миленький комический балет «Флик и Флок» с прелестными превращениями, где, между прочим, на необитаемом острове кристаллов и кораллов является отряд танцующих раков и лягушек и где, в числе апотеоз морских держав, из волн выплывает декорация и нашей Невы с биржей и университетом, и с танцами русской и казачка. Наконец, нельзя не заметить нового очаровательного театра «Виктория», освещенного восемью газовыми люстрами и десятками газовых кенкетов. Здесь шла при мне шутка-комедия «Жонглер», чисто в немецко-мещанском, воскресном вкусе, довольно смешной, впрочем, пошлый городской фарс. Этот род здесь допускается так же, как и существование общей всем столицам Европы касты женщин-франтих, грань которых, с одной стороны, аристократки, а с другой — камелии, и на которых в Берлине вы можете вдоволь насмотреться в громадном магазине мод Герзона и компании, где в двух этажах с утра до ночи толпится раз-

душенный рой героинь попелина, репса и всяких бархатов и шелков. Эти на представлениях Дон-Карлоса вряд ли бывают...

Едва я, как-то бродя по городу и присматриваясь к его своеобразному, нежно-серенькому виду, к его собакам и островерхим черепичным крышам, воротился в свой номер, невольно тронутый любовью берлинцев к памяти славного короля Фридриха Великого, — ко мне вошел мой спутник от России, генерал Л***, который в Берлине стал отдельно от меня, в Hôtel des Princes.

— Как вы думаете, кто навешал венков на чугунной решетке вокруг Фридриха Великого? — спросил я его.

— О, разумеется, полиция! Мой брат видел в Париже, рано поутру, как это делается у наполеоновской колонны городскими сержантами...

Он прошелся по комнате и спросил:

— А вы будете сегодня в палатах?

— В каких?

— Уж разумеется, не в уголовной или гражданской... Я достал билет в этот Haus der Abgeordneten, что ли, как там называется эта вторая камера или палата здешних депутатов... Да не думаю, впрочем, идти, а вот не хотите ли, я вам уступлю свое место?

— Отчего же так?

— Да так-с! Я вот в России и Гоголя не любил; не ожидаю и здесь добра от этих бюргеров и шмерцев, которые своими нечистыми руками берутся за святое дело законов и судьбы свой страны! Ведь они, кроме своих узких мещанских целей, ничего не видят, и главное — позволяют себе либеральничать и фамильярничать... Сделали бы меня их президентом! А вот в палату здешних пэров, Herren Haus, я не достал билета...

Кое-как я убедил генерала ехать в палату депутатов, через комиссионера гостиницы в полчаса достал еще туда два билета, убедил и свояченицу генерала ехать с нами, и вот трое, в одиннадцать часов утра 1 февраля, мы уж сидели на

верхней боковой трибуне, на хорах красивой залы des Hauses der Abgeordneten.

На впускном печатном билете значилось: «Nur gültig für den 17 Februar 1860. Einlass-Karte zur Tribüne im Sitzungs-Saale des Hauses der Abgeordneten. Eingang durch die Niederwall-Strasse, № 8». Посторонние посетители входят особо от двери депутатов. У входа нам подали печатную программу заседания с означением, что будет обсуждаться на прениях того дня. Тут же у входа, на ступеньках узенькой витой лестницы, среди толкотни пробиравшихся в трибуны и наскоро отдававших свои пальто и трости хранителям верхнего платья, мы купили план залы палаты депутатов, с клеточками, в которые были под номерами вписаны все имена членов палаты, президента и на министерских креслах самих министров. Клеточки сверх вписанных имен были еще покрыты красками: желтою, лиловою, коричневою, розовою, темно-коричневою и голубою. Эти краски означали круги партий палаты. Зритель при виде члена, вставшего с кресла и идущего к кафедре с целью говорить речь, в клеточке его места сейчас увидит его имя, узнает, какой он партии, а по номеру у его имени в такой же клетке найдет на обороте всего плана, на другой странице, еще имя города, области и околотка, выбравших его своим представителем. Всех членов теперь в этой палате 352.

Под кафедрою ораторов две конторки, за которыми стоймя пишут шесть стенографов; сзади, на большом возвышении, президентский стол, занимаемый теперь г. Симсоном, из Кенигсберга, партии bei keiner Fraction, что означает голубая краска его клеточки. Слева на хорах: королевская ложа и ложа дипломатического корпуса; насупротив центра ложа верхней палаты (Herren Haus) и ложа журналистов с их собственными стенографами, а справа одни трибуны для публики. Вскоре после нашего входа в трибуну, когда уже шли прения, в королевскую ложу вошли: наследный принц (сын принца-регента) и принц Карл. Оба они вошли почти незамеченные и до конца заседания, не вставая с места, слушали

ораторов, изредка прерываемых тихим, каким-то особенным гулом палатского «браво» и восклицаниями или отдельным смехом той или другой партии, со скамеек депутатов слушателей. Публика сидела молча...

Между тем ораторы всходили на кафедру и уходили. Сперва говорил Ведель из Кремцова, но говорил с больною, распухшею губой и вяло; он поддерживал министерство. Потом говорил седой и стриженный под гребенку г. Штрон из партии Финке и Венцеля, также довольно сухо. Наконец, встал г. Дункер, также из партии Финке—Венцеля, представитель берлинского купечества и либерал. С первых слов его он уже резко выразился: «Я ни за министерство, ни за комиссию», — и тихий ропот похвал и «браво», или жестких, но также тихих и будто произносимых за стеной, в другой комнате, восклицаний его противников сопровождал каждую мысль его. Он говорил, что Европе точно грозят опасности, что для спокойствия отчизны нужно войско, для войска деньги, а для денег налоги, но не такие налоги, какие теперь предлагают. Говорил он долго. В конце прений встал за министерским столом худенький молодой брюнет и стал читать опровержение противных проекту доводов. Это был министр финансов Патов...

Из Берлина мы выехали в семь часов вечера, с курьерским поездом, в Париж, куда и прибыли в двадцать шесть часов езды, на другой день, также вечером, пролетая по семидесяти пяти верст в час. С нами возвращался прусский помещик, приезжавший следить в Берлине за исходом проектов о налоге с земли и о гражданском браке. Это был полный, ленивый с виду и кроткий добряк. Он нам рассказывал, как у них стригут овец, как живут крестьяне, освобожденные Штейном, как в хижинах теперь попадаются и бронзы, и фортепиано, и ковры, как сама земля помещичья теперь вздорожала почти до 500 и 700 руб. сер. за десятину, обрабатываясь всеми дивами современных орудий хозяйства.

Скоро мелькнула граница Бельгии; кондукторы, картавя, стали выкрикивать по-французски. Кельн, отечество одеко-

лона, и Литтих, или Лиеж, отечество всех лучших ружейных стволов в Европе, пролетели у окон вагонов, как сон. Пошли холмы и скалы Намюра и Шарлеруа; на скалах зеленеющие плющи; везде дымовые трубы фабрик. А вот и граница Франции. Тут уже явились французские чиновники и какие-то дамы в чепцах. И те и другие усердно осмотрели и мигом переметили наши чемоданы. Я вспомнил Орсини. Пошли опять равнины, и взорам стало просторнее.

— А вот и местечко для сраженьица! — сказал с улыбкой генерал. — Тут, кажется, наши молодцы шли к Парижу в четырнадцатом году...

Мы въехали в вагонах в самые улицы Парижа. Был последний час масленицы, mardi gras. Вообразите, что это было!

III

Париж

8 марта 1860 г

Если Берлин с первого взгляда удивляет своими собаками, запряженными в тележки, собаками в хомутиках и уздечках, как в английских шорах, наивно лающих на прохожиу за работою развозки молока и кореньев по городским лавочкам, зато Париж на первом шагу озадачивает своими хожалыми, своими «черными человечками», как их тут называют. Эти молчаливые и вежливые господа тихо прогуливаются с утра до утра вдоль по улицам, одетые в черный треугол, черный плащ с капюшоном и украшенные черною бородкой и таковыми же усами. Где бы вы ни застоялись, на что бы ни засмотрелись, этот призрак Парижа, эта тихая и молчаливая тень тотчас вырастет пред вами и начнет вас обнюхивать и наблюдать. Зато никто вам лучше и вернее не укажет дороги, которой вы не знаете; никто вежливее не

скажет вам: «Не застаивайтесь так долго, идите далее! Здесь тесно!» С быстротою телеграфа эти господа переговариваются между собою и, в случае нужды, собираются в дружные кучи, которых сильно побаивается нынешняя парижская чернь.

У Парижа более нет ни открытых прений в палатах, ни свободы гласности в обсуждении великих общественных вопросов, ни возможности строить баррикады, так как камни на главных улицах исподволь и незаметно заменены теперь мелким, как бисер, щебнем «макадама», особого рода шоссе. Нет у Парижа ни Виктора Гюго, ни Тьера, ни Луи Блана, ни Ламартина. Зато по-прежнему снуют по нем с изумительною быстротою громадные белые омнибусы, запряженные обыкновенно парою белых нормандских лошадей; так же высоко сидят на их козлах безмолвные кучера, а толпа ездоков сидит не только внутри кареты, но еще в два ряда на крыше! Вы садитесь, едете; вам нужно вправо — кондуктор дает вам корреспонденцию в другой омнибус, в счет первой вашей платы. Вы входите в бюро, на маленькую станцию, и ждете прихода очередной кареты. В комнате тепло. Маленькая чугунная печка топится. По стенам вывески. Раздался свисток. Вы садитесь и едете далее. В карете опять городские вывески. Вы лезете на империал, на крышу омнибуса, и там вывески...

Страсть к вывескам не покинула парижан и теперь. Еще великий автор «Рима» заметил эти громадные объявления, ползущие в Париж на каждое свободное место. Стены домов и заборов с утра каждого дня уже оклеены новыми афишами и объявлениями. Не оклеивают только тех простенков, где написано: «Défense d'afficher». На каждой оборотной и лицевой части двери и ставень вывески; на окнах и подоконниках вывески. Ступени крылец перемешаны с вывесками. На столбах, на телегах, на боках возов для передвижения кладей вывески. Телега везет дрова, а сбоку написано золотыми буквами: «На улице Сен-Виктор есть отличный переплетчик: спросить в 15-м номере». Вывески эти даже лезут

под крыши и на самые крыши. Вы идете по улице Лаффит, а на одном из домов ее читаете: «Отличная и первая во всем Париже модистка живет на Тампльском бульваре, № 22». Иногда, как, например, в улице Сент-Антуан, целая глухая стена семиэтажного дома, от земли до крыши, украшена изображением колоссального, величиною сажен в пять, если не более, серого пальто, с надписью, где каждая буква в сажень, такого содержания: «Портной; делает пальто, сюртуки, фраки, жилеты и все что угодно. Спросить там-то». Наконец, того мало. Над входами кофеен, чуть вечер, зажигаются из газовых крошечных рожков огненные надписи, гласящие об именах знаменитых заведений. Вы берете газету, даже театральную афишку, — и там в конце куча объявлений. Идете днем по улице, незнакомый господин в блузе, а иногда даже во фраке стоит на тротуаре и молча тычет в руки каждому проходящему билетики с адресами портных и сапожников. А ночью этот самый господин поставит на тележку фонарь, а бока его украсит огромными объявлениями, зажжет в фонаре свечу и потащит впереди себя тележку...

Если б вы приехали теперь в Париж, вы одно здесь действительно благословили бы от души: это погоду. В то время, как Петербург и Москва в феврале тонут еще в снегах, жмутся от морозов и метелей, здесь раздушенная и разряженная толпа ходит в сюртуках, без пальто, без шарфов и калош. На деревьях еще нет листьев. Зато солнце ярко светит, по-апрельски, а воздух нежит и вместе освежает. Экипажи непрерывною цепью, и днем и ночью, снуют во всех направлениях. Прежде от их колес было больше грома. Нынешний макадам почти не издает громких звуков, и кареты поминутно грозят расквасить нос зазевавшемуся пешеходу.

Театры набиты битком ежедневно. В университете идут еще любопытные лекции по всем частям опытных наук. Но уже общество рвется к деревням, к полям, к деревьям и свободе и, за неимением этого всего, пока отправляется в Jardin des plantes, особого рода общественный сад.

Как-то я ходил по этому очаровательному убежищу детей, играющих здесь под тенью громадного кедра ливанского в три обхвата толщиною. Толпа стояла над «ямами медведей», обложенными гранитом и окруженными плотными железными решетками, где бурый Михайло Васильевич ходил на задних лапах, танцевал вальс и сам собою взбирался от времени до времени на гимнастический столб, выманивая кусок хлеба и жареный картофель, бросаемые ему сверху прямо в пасть. Белый медведь без устали отвешивал поклоны, кланяясь до земли и роняя белую пену от излишнего усердия с тою же целью. Вы прошли двадцать шагов мимо зеленых лужаек с красивыми лесными хижинами, где на приволье, за изгородью из проволочных решеток, бегают козы, лани, олени, ходят степенные буйволы и ламы, каждые по паре, самец и самка, на своем собственном участке, и слышите особенный странный крик. Перед вами каменный домик, род замка, и новая, более крепкая ограда вокруг поляны, усаженной огромными деревьями. Что это? Слон бегает, выбрыкивая не хуже любого теленка на хуторе, когда мухи его кусают и он носится с хвостом в виде сороки. Курятник соединен с голубятником. Это целая колония хижинок, беседок и норок, обтянутая сверху проволочною сетью. Здесь царство кудахтающего и воркующего мира. Вот пунцово-багровые кохинхинки. Это расхаживающие живые огни, куски мерцающего пламени. Крохотные, белые, будто молочные, корольки помещаются близ куропаток и каких-то малиново-желтых уток, у которых носы утиные, а сами они сидят иногда на ветках. Вот и белые, с алою оторочкою, фазаны. Тут же павлины. На своей собственной земельке, у своего собственного болота, бегают всякого вида и смеха кулики. Один совершенная попрошайка-старуха, даже будто в чепце и будто у груди держит прошение; завидел вас и идет, переступая с ноги на ногу, за подачкой кусочка булки. Египетские адъютанты, или секретари, из породы аистов, стоят почтительно и задумчиво. Страусы высовывают серую голову из-за ограды наших милых степных журок, ожидающих

только знакомого крика из-под голубых французских облаков, чтобы улететь с товарищами, в их звонких треугольниках, к пустынным раздольям херсонского юга. Вот хищные звери и птицы. Но — они знакомы нам по зверинцам Зама. Разве вы остановитесь перед семействами альпийских и пиренейских орлов? Жутко становится на душе, при взгляде на эти исполинские крылья и эти длинные загнутые носы, как кривые янинские ятаганы. Недаром ходят толки о том, как ловко эти крылатые силачи уносят восьми- и десятилетних детей. Вас поразят гиппопотамы. Они поминутно барахтаются в воде, выказывая то свои розовые бычачьи ноздри и дымящиеся уши, то серую, жирную, слоновью спину. Собрание живых змей и крокодилов привлекает не всякого. Вы видите за решеткой, как иная «ехидна» свилась на ветке своего деревца кольцом; другая поднимается особою лесенкою в свой домик и высовывает из готического окошечка свою зловещую головку. Зато толпа непроходимая, со смехом и вечными прибаутками, постоянно окружает колонию обезьян, для которых теперешнее помещение с отдельными кельями выстроил бывший министр Людовика-Филиппа, знаменитый Тьер, и французы сложили остро́ту, будто обезьяны послали ему благодарственный адрес с надписью: «Au grand Thiers les singes reconnaissants!» В самом деле, ничего нет уморительнее этих мартышек, орангутангов и крошечных лесных обезьянок. Например, одна другой при вас чешет в голове и ловит там насекомых. Другая недавно произвела детеныша, который ползает на задних лапках, совершенно как дитя; вы ему бросаете хлеба — мать тут же крошит его в тарелку с молоком, мочит его, дует на него и бережно кладет его дитяти в рот. Третья кинулась за брошенною вами конфетой, оцарапала палец и рассматривает его, точь-в-точь как модистка, уколовшая руку иглой и высматривающая с наморщенною бровью, прежде чем пососать больное место...

Не успел я однажды за такою прогулкою в этом милом саду налюбоваться его зимнею вечно зеленеющею рощею,

его обезьянами, кроликами, верблюдами и журавлями и уже выходил с толпой из тиеровского жилища обезьян, где хранятся и клетки с зверками, из породы грызунов, проводящими зиму в спячке, как-то: сурками, ежами и дикобразами, как услышал за собою по-русски:

— Вот тебе и на! Не родись красив, а родись счастлив! Кто бы мог подумать, что наш бич, наши украинские овражки, наши суслики удостоятся чести водиться за стеклом, в клетках парижского сада?!

Я оглянулся. Это был мой прусский спутник, генерал Л***, с его свояченицею. Последней я было даже не узнал. Так изменилась она мгновенно во все изменяющем Париже. Волосы ее были взбиты в какие-то три яруса, на голове красовалась соломенная детская шляпа с фазановым алым пером. Платье волочилось длиннейшим шлейфом, подметая дорожки, а спереди было поднято от земли на четверть, сверху платья был накинут какой-то казакин. Я им обрадовался.

— Попросите Юрия Николаевича, — шепнула мне вдовушка, — отпустить меня с вами на бал гризеток в Шато-Руж или в Мабиль, мне хочется посмотреть там настоящий канкан! Это прелесть что за народ эти французы! Я все ими здесь любуюсь...

— А вот позвольте вас познакомить, — отнесся ко мне генерал, указывая на толстого, с багровым лицом и едва дышавшего от жира господина в широкой соломенной шляпе, — это тоже наш соотечественник, господин Тулантьев! Уже четвертый год тут живет: издает одно сочинение о России!

— Очень рад! — сказал я, когда толпа гуляющих двинулась далее. — Позвольте узнать, о чем вы пишете?

Детски-румяный и с отвислым животом и подбородком Тулантьев посмотрел в землю и, тихо передвигая мягкие ножки в широчайших панталонах, детски-тоненьким голосом отвечал:

— Я этим у нас не мог заняться; у нас там как-то этак пошло все, журналы тоже пишут все этакое. Я

избрал поприще публициста — доказываю, что мы богаты, здоровы, сильны и умны; но подражать немцам и в особенности англичанам не должны, а скорее шведам. Посмотрите, как они экономны, тихи, аккуратны: о них ни слуху ни духу в газетах; а они богатеют, и счастливы, и учатся хорошо, и едят; дамы же у них, кроме черного, ничего не носят... Потом, я еще на Гоголя и на Белинского карикатуры здесь издаю; говорят, и другой из наших в Петербурге это же предпринимает, да его заели ваши жирардены... У меня независимое состояние, но я себя посвящаю обществу.

Пройдя немного, он опять отнесся ко мне:

— Скажите, вы дома обедаете, в квартире, или по трактирам?

— А что-с?

— Да так-с, я любитель... я люблю покушать и хотел с вами посоветоваться, говорят, недалеко от Лувра открыт новый трактирчик...

Генерал перебил его слова:

— А, Иван Семеныч, верно, и вас метит оседлать своею гастрономией! Рекомендую вам: он проел дома триста душ, а теперь приехал сюда наживать новых... Тс! Постойте, господа, смотрите!

Мы остановились. В двух шагах мимо нас прошла дамочка с двумя детьми. Генерал шепнул нам:

— Это графиня N. N., урожденная Кобылкина. Она здесь уже третий год; я ее вчера в нашей здешней церкви видел, приехала для воспитания дочек-малюток и дошла до того, что те по-французски молятся! Это из рук вон! Вам бы, Иван Семеныч, это прихлопнуть в вашем новом сочинении!

— Да, прихлопну! — произнес тоненьким голоском Тулантьев, икнувши и печально поглядывая в сторону, как бы думая, кого бы затащить пообедать в новооткрытый трактирчик близ Лувра.

Мы расстались.

Дня через три ко мне в номер постучался слуга мой, бывший зуав, нюхавший крымского пороху и все уверявший меня, что знает по-русски, потому что «poisson» по-русски называется «риппа». Он ввел ко мне коренастого увальня во фраке и ливрейной шляпе и остановился, ухмыляясь, у двери. Уже по его одному виду я догадался, что приведенный им незнакомец что-нибудь особенно странное для обитателя Парижа. Этот незнакомец оказался крепостным слугою Тулантьева, истинный саратовец.

— Иван Семеныч просят вас на свидание-с в рю де ла Маделень-с, где издается газета ле Нор-с!

При последнем находилась и цидулка с приглашением на свидание по части парижской кухни и русской публицистики в кабинет для чтения при новоустроенном агентстве для русских, в Office du Nord.

Дорогою я разговорился с Антоном. Это был малый смышленый, но более себе на уме, чем краснобай.

— Отчего именно тебя барин взял из России, а не нанимает тут здешних? Ведь с тобою, я думаю, одни хлопоты?

— Предпочитают-с!

— Вот как! Что же, тебе нравится Париж?

— Да-с, ничего, и Луи Бонапарт ничего, все в порядке держит. Да с хранцузом иначе и нельзя...

— Это отчего?

— Несообразный народ; что в комнате ни накомсит, все и прет на улицу, сор, помои; даже из окна иной раз тебя ошпарят из лоханки. Вот мы стояли у одной мадамы в шамбр-гарни-с, недалеко от рю Вивьень, нумеро дуз; так сама-то мадам не только лягушек в сметанном соусе ела, а пойдет на базар, на двадцать сантимов морских пауков купит, да с уксусом и поест!

— А что тебе, Антон, тут больше всего понравилось?

— Водка-с! Эдакой водки ни в Москве, ни в Саратове и не нюхал-с; боюсь, что нос красный станет: каждое воскресенье напиваюсь. Должно быть, трехпробная и без акциза. А намедни барин посылал в театр де Фюнанбюль

взять билет; ноги я промочил, купил этой водки здешней, да как стерся, так просто как в бане побывал. У нас не такая! Ну, и народ тут одевается лучше: только улицы узкие!

— А знаешь ты, Антон, что в эти три года, как ты тут живешь, у нас уже начали дело улучшения.

Я не договорил.

— Манципации-то? — перебил Антон.

— Да...

— Как не слыхать! Господа наши-то приезжие, как только сюда нос покажут, сейчас объяснять: как, и когда, и что, и в какой, значит, мере будет. Все объясняют...

— А твой барин говорил тебе?

— Признаться, сам-то он не начинал, а я не посмел спросить! Так, другие бают! Да я от него не отойду. Он больше у меня ученый, все книжки пишет. Еще в Саратове говорил — печатать буду, а не печатает. Только распредобреющая душа... Жилетку последнюю готов тебе отдать!

Тулантьев угостил меня действительно отличным обедом. Я его отблагодарил. Но — довольно о русских.

Что же еще сказать о современном Париже?

Его монументальная сторона обстоит благополучно. Те же дивные набережные, на которые еще Наполеон I бросил десять милл. франков. Тот же самый Наполеон на верху Вандомской колонны. Та же, наконец, площадь Согласия, с Луксорским обелиском, где за семьдесят лет назад пали под гильотиной 1500 человек, в том числе Людовик XVI, Шарлотта Корде, жирондисты и Робеспьер. Теперь здесь шумят исполинские фонтаны, бродят разряженные толпы, и кучи блестящих экипажей носятся по хитро придуманному шоссе красноватого макадама, от Тюльери к Елисейским полям, и обратно.

Я как-то зашел в знаменитый кафе-Прокоп, славный еще при Людовике XV. Сюда некогда в молодости собирались, за трубкой и кружкой пива, Руссо, Дидерот, Вольтер и другие, менее аристократические известности. Теперь я спросил

здесь устриц — нет; спросил лучшую сигару, закурил — сквернейшая.

Из новых монументиков Парижа полезнейшие — это так называемые «веспасьенны», красивенькие колонны по бульварам, со впадинами снаружи, значение которых Антон мне первый объявил с неподдельным восторгом...

Нельзя не заметить также роскошного, громадного здания близ Сены и Лувра, крытого городского рынка. Это — наша Сенная площадь и обжорный ряд. Но какое различие! Торговки сидят в чепцах и в лентах, а иная еще и в бархатной мантилье, с газетой в руках. У каждой стол для товаров, а над креслом ее дощечки с ее фамилией: Louise Cabet, Marie Sansbeuf. На столах — овощи, цветы, говядина, плоды, рыба; последняя еще прямо в проточной воде, — именно, особые фонтанчики бьют из кранов в лохани, а в лоханях плещутся караси, вьюны, пескари, шевелятся раки и плавают какие-то ракушки вроде устриц. Иная dame de la Halle читает газету; вы покупаете кусок морской рыбы и собираетесь уйти. Она вам прибавляет: «Э-э, мой милый, добрый господин: вы говорите — дорого. А вон Англия все вооружается: как сожгут наш флот, как убьют нашу торговлю, тогда и не то будете платить. А все Пальмерстон! Все этот Пальмерстон! Чтоб он подавился».

Нижние этажи всего Парижа — это целый и сплошной ряд разнообразнейших магазинов, самых богатых в мире в центре города. Например, на бульварах и в Пале-Рояле есть десятки, в один ряд, магазинов часов, надоедающих выставкою своих цепочек до тошноты. В окнах разложены товары, и тут же у каждого ярлык с постоянною ценою. Это очень оригинально.

Вы вглядываетесь еще зорче в Париж.

По улицам шагают громадные белые и нормандские лошади, в шорах, по четыре и по пяти в ряд, с косматыми гривами и ступицами; они везут на двухколесных исполинских телегах камни, бочки, дерево и опять бочки, дерево и камни. Это все для Парижа, который молодится и перестраивается.

Раздается треск барабанов. Впереди полка линейцев идет музыка; но трубы молчат; трещат одни барабаны. Тамбурмажор махнул булавой, и чудный оркестр исполняет кадриль Мюзара, держа крошечные дощечки с нотами на ходу, на особых подставках на груди. Это я видел и в Берлине.

А вот Елисейские поля, то есть особый сад, род нашего Тверского бульвара, только шире значительно, в самом городе. В воскресенье здесь являются лавочки, марионетки, паяцы, временные кухни, уличные ученые с электрическими машинами, владельцы переносных весов, предлагающие узнать вес вашего тела, каретки с козлами вместо лошадей, для потехи детского общества, танцы... Веселятся здесь дети, веселятся и взрослые, но больше дети...

Взрослые здесь как-то все задумываются.

Идет ли франт по улице, он ловко машет тросточкой и курит, но будто о чем-то вспомнил и смотрит задумчиво в землю. То же делает и офицер, и гризетка, и разносчик всякой мелочи. Или парижане выучились быть серьезными? Или горький опыт отучил от той беззаботности и веселости, о которой мы знаем по романам Сю и Дюма и по песням Беранже?

«Все у вас есть, Андрей Иваныч, одного только недостает! — говорил Чичиков Тентетникову. — Жены недостает, Андрей Иваныч!» Так и вы сказали бы, если б теперь посетили Париж.

Все у него есть — и чистота, и порядок, и равняется он в своих улицах, как Берлин и Петербург, по шнурочку вытягивается, а чего-то недостает ему...

«Жизни недостает Парижу!» — сказал мне один помещик близ Марселя, на днях, когда я приехал к нему в деревню посмотреть на его житье-бытье.

Но об этом до следующего письма.

«Париж — это современный Иерусалим, — говорил мне почтенный французский радикал, — он до той поры будет кроить политику, пока придут новые варвары, и мы увидим окончательное разрушение нашего храма Соломона. Право,

перевести бы нашу столицу, то есть чиновников наших и полицию, хоть бы в Дижон, что ли! А то, имея под рукою центры ученых, убили и литературу нашу, и чудную былую старинную жизнь нашего Парижа!»

IV

Французские депутаты в Лувре

Париж, 1 марта 1860 г.
Rue Lamartine, № 30

Благодаря ранней весне, Париж давно сбросил калоши, оделся по-летнему и гуляет по бульварам, покупая свежие, расцветшие виолетки и пучки подснежников, по два су букетик. Дети наполняют каждую площадку бульвара, прыгая через веревочки, играя в лошадки и подражая маленькому сыну императора, le petit Bebé de la France, расхаживают в медвежьих шапках, с ружьями на караул, как его уже рисуют во всех иллюстрациях. Но на всем этом лежит какая-то тень скуки и однообразия, серенький цвет будничной, прозаической скуки. Выстроенные будочки по бульварам заменили разноску некогда крикливых ежедневных листков, и прилично одетая дама вам молча вручает за десять су, выглядывая в чепце из будочки, как из фонаря, ту же «Presse», которую некогда с громами и чуть ли не с барабанами носили по городу бородатые продавцы. Зато, куда ни глянете, везде «черный человечек» в черном треуголе, черном плаще, с черным капюшоном за плечами, в черной бородке и «с черными мыслями» в голове. Это знаменитые sergeánts de ville, благородная семья защитников спокойствия великого города, имя же ей легион. Посмотрели вправо, черный человечек разглядывает какую-то бумажку на земле и трогает ее ногой; взглянули влево — два такие господина шепчутся и будто следят за вами; бросили взор вперед, один из них уже перед вашим

носом и тоже склонился к громадному стеклу магазина, будто рассматривая красиво разложенные в окне безделушки...

Но вот Париж ожил и зашевелился. Знаменитые слова «pánes et circenses» — «хлеба нам и театров!» звучат здесь всегда сильно и метко.

«Монитер» напечатал на днях коротенькое известие: «1 марта сего 1860 года император лично откроет в зале Луврского дворца заседания законодательного собрания *и произнесет речь*. А потому собираться с таких-то подъездов и т. д.». И довольно. Толпа засуетилась и стала осаждать начальника дворцовых церемоний, как несколько лет назад, с таким же рвением, спешила осаждать Севастополь, а в прошлом году Венецию...

Я, признаюсь, сам не без волнения узнал об этом. Мысли о старинной палате депутатов, о Гизо и Тьере, об учредительном собрании и прениях временного правительства, о Луи Блане и Ламартине, о Косидиере и Кавеньяке, все это разом мелькнуло у меня в уме. Но как попасть туда, в это недоступное нынче простым смертным собрание, как попасть людям толпы, и притом скромному и никому не знакомому иностранцу? Я тщетно ожидал, искал, толкался и к префекту, и «черных человечков» спрашивал, и гарсонов в кофейнях подкупал. Не везет. А между тем кругом шептались и толковали вслух: «Где он проедет?» — «Кто?» — «Император!» — «А! Улицей Риволи, улицей Риволи; этак, как свернешь вправо, мимо набережной Сены!» — «А кортеж будет с ним?» — «О! о! непременно! Уже это непременно! Эскадрон спереди и эскадрон сзади, а на касках у всех хвосты, а на груди кирасы... Это очень красиво!». «Глазки и лапки, глазки и лапки» Гоголя и мне пришли невольно при этом на ум...

И вдруг совершенно неожиданно, — как говорилось в романах г. Воскресенского, — с неба на меня упал пригласительный билет. Это мне устроил обязательный литератор N. N. На билете значилось: «Ouverture de la session législative de 1860. Par ordre de l'Empereur, le grand maître

des céremonies a l'honneur de prévenir, m-r qu'il est invité a assister á l'ouverture de la session législative de 1860, qui sera faite par l'Empereur, le jeudi 1-r mars, dans la grand salle du palais du Louvre». В конце прибавлено было: «Быть во фраках и в белых галстуках; вход с площади Наполеона III, занимать места не позже двенадцати часов утра».

Не без труда я добыл платье светских людей, оставленное мною у домашнего очага в селе Белобабовке, на реке Сухорыбице, и в одиннадцать часов утра, 1 марта, вышел на бульвары, спеша к Лувру. Чистильщики сапог и торговки на улицах с любопытством и особенною вежливостью сторонились, давая мне дорогу и заглядывая на красноречивый мой белый галстук. На углу улицы Jean-Jaque Rousseau, куда я по дороге забежал на почту, узнать, нет ли вестей с далекой России, один господин подбежал ко мне, тронул меня за плечо и спросил: «Monsieur, Mille pardon! *Вы там будете?..*» — «Буду!» — «А! Вот что! И император лично там произнесет речь?» — «Лично!» — «А! Извините!» — «Ничего-с!» И он пошел, приподнявши шляпу и задумчиво шагая от меня.

Близ Пале-Рояля нельзя уже было пройти от давки народа. Конные жандармы, в красных брюках и с красными хвостами на касках, стояли у тротуаров верхом вдоль золотой решетки наружного двора Лувра. Я прошел садом Пале-Рояля. У стеклянной ротонды стояла кучка прилично одетых господ. Какой-то старик толковал, взглядывая к стороне Лувра: «Он сегодня будет, говорят, много говорить, много... И о Сардинии, и о папе, и о России, и о Вене... Он будет в духе!» Слушатели тоже взглядывали к стороне Лувра и молча расходились. Улица Риволи, улица уже во вкусе Наполеона III, ровная и прямая.... как стрела, вытянутая в струнку на несколько верст, врезавшаяся в самую грудь Парижа и снесшая с лица его целые кварталы, гудела как рой. Блузники, модистки, жарильщики каштанов, водоносы, фиакры, щеголи, дети и сержанты — все стояло, глядело куда-то вправо и ожидало. Я пошел также вправо, держа билет

в руке. Подхожу к воротам. Часовой кричит: «Нельзя! Тут нельзя! Подальше!» — «Куда же мне идти?» Три сержанта, спеша с трех разных сторон и злобно глядя на мой белый галстук, с улыбкой подхватывают: «Левее, monsieur; вон туда, кругом!» Я пошел кругом. Через двести шагов, однако, завидя раскрытые другие ворота, где с часовым рассуждал какой-то толстый офицер, я вошел туда и очутился во внутреннем дворе, куда, очевидно, публики не допускали. Тут стояла куча солдат, не то чистя, не то заряжая ружья. «Не сюда, не сюда!» — закричали мне какие-то повара или лакеи. Солдаты сердито смотрели на меня через плечо. Я взял еще левее и опять попал во внутренний двор. Тут снова значительная толпа солдат, с ружьями, кучей, как на биваке. Наконец я вышел к назначенному входу. Тут уже были разложены зеленые и красные ковры, подъезжали пышные кареты и разодетая толпа, дамы, девицы, военные, сенаторы, депутаты, посланники и морские офицеры выскакивали из экипажей, на козлах которых восседали напудренные кучера, в чулках и башмаках и с меховыми пелеринками на груди. Мне указали дорогу вслед за толпой, шедшей сплошной густой волною по длинному коридору. По двум сторонам толпы стояли ряды гвардейских жандармов, в ботфортах и в медвежьих шапках, напоминающих старую гвардию первого императора. Мы взошли во второй этаж. Там опять проходная зала, в виде коридора, и опять с двух боков стены из латоносцев, с ружьями на караул. Но вот и зала заседания. По цвету билетов толпу делят на двое, одесную и ошую. У меня был желтый, и я попал в среду козлищ, то есть ошую. Тут уже была страшная давка. По обычаю всех почти парижских общественных собраний, передние места занимали здесь те, кто прежде пришел. Дамы перешептывались, пищали, ахали и охали, а все-таки стояли кое-где сзади мужчин.

Опишу залу. Это громадный продолговатый четырехугольник с выпуклым, в виде длинного круглого свода, потолком в два света. Верхние окна круглые, в самом потолке.

Последний разрисован аллегорическими фресками в колоссальную величину. Вот сельское хозяйство, вот поэзия, вот войско. Над нижними окнами, опираясь на ряд раззолоченных колонн, идет вокруг всей залы открытая галерея. Там уже сидела разряженная толпа дам. Мужчин туда не пускали. Я взглянул на наряды дам: все сливалось в однообразную черту, и лица, и наряды. Мелькали только, более других, лиловый цвет лент и шляпок, коричневые платья и черные перчатки на перилах балюстрад. Подробностей нарядов нельзя было рассмотреть ни в какой бинокль: так было наверху тесно и сжато. А они-то, бедные, надрывались, говорят, и тратились: многие, по слухам, понесли с собою в верхнюю галерею платья в 5000 и в 10 000 франков ценою! В глубине залы, насупротив входа, с потолка висел огромный балдахин, алого бархата, с гербом и короной вверху, усыпанный золотыми пчелами. Под ним на возвышении, с рядом ступеней, стояло красное кресло; другое, ниже, рядом с ним, стояло левее.

Толпа пустилась рассуждать, зачем это низшее кресло. Одни говорили у меня за спиной:

— Это кресло для императрицы!

— Нет, быть не может; для нее вон место, еще левее, в стороне, между мест для принцессы Матильды и Клотильды Сардинской!

— Voyons, qui est la? — отнесся впереди меня толстый господин в жабо, должно быть провинциальный помещик, приехавший тоже взглянуть на тень своего былого собрания. — Объясняйте мне, господа молодежь! Я старик, домосед, и отстал от обычаев, мундиров и лиц вашей новой аристократии! Кто эти господа?

— Влево, в средине залы, тотчас под троном, сенаторы: у них золотое шитье на мундирах, — начал объяснять старику румяный юноша, должно быть сын одного из новейших сановников, — а направо, в средине залы и тоже под троном, тотчас у его ступеней, депутаты, у них шитье также есть, но серебряное, а не золотое; золотое у сенаторов! Видите!

— Вижу! Продолжайте! — с простодушным провинциальным взором заметил откровенный толстяк.

— К нам ближе и далее от трона, в средине залы, депутаты парижской магистратуры; видите? На них круглые шапочки, а мантии — малиновые и черные. Потом господа в мундирах, с серебряным шитьем по голубому бархату, это ученые, все академики и профессоры. А рядом с ними военные: генералы и полковники, армия, гвардия и флот!

— А национальная гвардия есть тут? — спросил толстяк.

Юноша стал на цыпочки, посмотрел во все стороны; потом у соседа взял бинокль, еще посмотрел и добродушно отвечал:

— Нет, monsieur, ее нет; национальной гвардии тут нет!

Старик отвернулся от него и, сопя, стал смотреть в другую сторону...

Зала шумела громче и громче. Сенаторы важно поглаживали свои лысины и горделиво поглядывали с своих мест. Депутаты-законодатели с мещанской простотой шныряли между великими сего мира, между гвардией, армией и флотом. Какой-то полковник, саженного роста гвардейский вольтижер, как мне назвали его полк, высился целою головою над рядами военных, сверкая алыми круглыми щеками, громко смеясь, причем блистали белые ровные его зубы, и покручивая черные страшилищной величины усы над длинною черною бородкой. Усы у него шли в три яруса.

— Сущий поляк часовой в Тарасе Бульбе! — сказал я вполголоса сам себе, вглядываясь в эти три яруса залихватских войлокообразных усов гвардейского вольтижера.

— Да! И ростом он его напоминает! — отозвался также по-русски голос за мною...

Я оглянулся: рыжий, бледный и рябоватый господин стоит степенно и смотрит в лорнет через мое плечо. На мой взгляд он не обернулся снова. Я тоже промолчал... Кто это был? Русский ли? Или один из тех, которые здесь уже выучились говорить на многих языках и охотно всматриваются в толпу, следя за нею во всех направлениях?..

На эстраде у трона стали появляться разные лица: камергеры в красных кафтанах, министры, маршалы, какие-то господа в лиловых вицфраках и с зелеными лентами через плечо. Но вот бархатная занавеса за троном отдернулась, и взошли на эстраду новые голубые мундиры — это знаменитые cent-guardes, т. е. стража императора. Войдя в ботфортах, голубых мундирах, зеленых касках с хвостами и в кирасах, они стали полукружием сзади трона, вздевши обнаженные сабли свои в виде штыков на дула карабинов. Штыки в полтора аршина длины, как мавританские кинжалы! Это особенно эффектно! Вся эстрада была в полумраке; солнце блистало на одних этих гигантских штыках...

— Вот это граф Морни, вот это герцог Малахов, Пелиссие, — говорили мои соседи, рассматривая столпы отечества, теснившиеся на эстраде...

— Вот взошел Фульд, вот Шаслу-Лоба, вот Канробер...

— А вот папский нунций, в красном подряснике, седой и в красной шапке. Он сел. Видите?

И пошли острить по поводу современных слухов.

— Вы замечаете, он один? Никто с ним не говорит! Он блистает своим одиночеством!.. Он спрятался в свое пунцовое величие!.. Он теперь думает о Риме, о папе... Что, как чрез десять минут с этого кресла скажут: «Il n'y a plus de pape, messieurs!..»

Три господина близ меня, вправо, довольно громко рассуждали о богатстве графа Морни.

— У него дача во сто тысяч франков, лошади по пяти тысяч пара; коляска в десять тысяч! Повар у него получает по пятисот франков в месяц жалованья...

— А что, господа, Ламартин здесь? Не можете ли вы мне его указать здесь? — отнесся к ним вышеназванный толстяк-провинциал.

— О, monsieur! Ламартина здесь нет, не ищите его, — отвечали со вздохом хвалители богатства графа Морни, — его здесь еще нет! Он в стесненных обстоятельствах, но

поправляется; ему общество помогает! И вероятно, вскоре *его захотят здесь увидеть*...

— Захотять? — спросил толстяк, тряся огромною, седою головою. — Захотят?! Да захочет ли он сам еще сюда? Спросите вы этого великого, великого человека Франции!..

Слов старика я недослушал. В зале настала вдруг мертвая тишина. Какой-то господин в лиловом мундире быстро прошел по эстраде, с которой тут же все мгновенно исчезли, будто их смело незримым вихрем. Из левых боковых дверей на эстраду взошли три дамы в шляпках. Сенаторы и депутаты крикнули: «Vive l'impératrice!» Средняя, в белой шляпке и в белой мантилье, поклонилась на этот крик и села. Сели и остальные две. Это были: императрица Евгения; справа от нее, в голубой мантилье, принцесса Клотильда Сардинская, жена принца Наполеона; слева, в желтом, принцесса Матильда...

Зала было помолчала, но вскоре опять заговорила и загудела. Был час пополудни. Но император все еще не появлялся. «Это удивительно! — шептали кругом. — Он так всегда точен, а теперь... Что бы это значило?»

Еще большая мертвая тишина мгновенно воцарилась в зале, в галереях и внизу за колоннами. Никто не давал сигнала, а стало тихо так, что муху можно было услышать. На дворцовом плаце загремел барабан. Где-то, кто-то *шепотом на всю залу сказал*: «Il vient...»

Ожидали, что император войдет на эстраду прямо из боковых дверей, из-под балдахина. А толпа раздвинулась сзади назад, у обыкновенного входа, и небольшого роста, плотный и будто сутуловатый блондин показался на пороге, сопровождаемый новою стражей. Крики: «Vive l'impereur!» потрясли залу. Я глянул через головы соседей. Проходом залы к трону, между военных и ученых, сенаторов и депутатов, шел, слегка кланяясь, Наполеон III. Его белокурая, несколько лысая на темени голова мелькала между рядами, не перестававшими кричать и махать в воздухе треугольными шляпами...

Он медленно и твердо взошел на эстраду, сел на верхнее кресло, скрестил внизу ноги, поправил у бока шпагу, поло-

жил на колени шляпу и развернул тонкую тетрадь в лист величиной, сшитую по краям голубыми лентами. На меньшем кресле сел принц Наполеон, толстый, даже тучный брюнет с лорнетом в глазу...

Раздались слова: «Messieurs, asseyez vous!» Не знаю, кто это сказал. Должно быть *он*. Все мигом сели. Передо мною очутилось море седых и лысых голов, где молодых видно было очень мало...

Тетрадь развернулась, и звонким, чистым голосом император стал читать известную речь, переданную уже вам и всему свету сегодня по телеграфу. Речь более десяти раз перерывалась рукоплесканиями и криками «браво» собрания и публики. Она начиналась знаменитыми словами: «A l'ouverture de la dernière session, je tenais a prémunir vos ésprits contre les appréhensions exagérées d'une guerre probable. Aujourd'hui j'ai á coer de vous rassurer contre les inquiétudes, suscitées par la paix même»...

Он читал довольно сухо. Изредка прерываемый криками, он путал слова, холодно повторял сказанное начало мысли, тем же звуком продолжал далее и, кончивши, молча сложил, под громы «браво», рукописную тетрадь с бантиками голубых лент по концам ее корешка.

Тогда вышел высокий господин в мундире, шитом золотом, прочел обращение к депутатам, объявил, что вновь избранные должны произнести присягу самому императору, и начал, на ступенях эстрады, под креслами трона, выкликать имена. Каждый вызванный по одиночке привставал со своего места и выкрикивал: «Je jure!» Я вспомнил знаменитое «Je jure!» самого императора, когда он в качестве президента республики сходил с кафедры и протянул руку Кавеньяку. Некоторые выкрикивали очень громко и с особенным эффектным движением руки. Другие не слыхали, вероятно, довольно тихого голоса вызывавшего, с секунду медлили отвечать, и тот очень спокойно, тоже будто воображая, что уже те отозвались, переходил к другим. Император молча и неподвижно смотрел с кресел на них, в массу залы, залитой блестящими мундирами.

Присяга кончилась. Император встал, поклонился на обе стороны, и пошел тою же дорогой и среди тех же восклицаний. Императрицу проводили теми же криками.

— Voilá tout! — сказал толстяк-провинциал, тряся седою, курчавою головой и пробираясь к выходу...

Едва пробившись сквозь толпу из луврского двора, я зашел в кофейню Пале-Рояля и зачитался газет. В три часа я вышел на улицу. Крикуны в синих блузах уже расхаживали в толпе и выкрикивали: «Вот речь императора; вот новая речь его самого, сказанная только сегодня, — три су!»

V

Старосветские помещики на юге Франции

Это было в Париже, в начале марта 1860 года. Собралось несколько человек в кабинете для чтения Office du Nord, все русские. На столах лежали «Современник» за январь 1860 г., две-три русские газеты и куча других разноязычных изданий. Шли толки о статье Панаева о Белинском. Кто-то сказал, что со времени первых своих повестей этот писатель не производил ничего более полного той особенно ласкающей и вкрадчиво-греющей простоты и откровенности, которыми дышат его первоначальные рассказы о судьбах деревенского, нам всем знакомого, тихого очага.

— Скучно, господа, становится в Париже! — начал приятель мой, студент медицины. — Теперь здесь, точно у нас в деревне, осенью, в сумерки, между волком и собакой! Театры вялы, на дворе серо и сыро, в комнатах холодно, в политике затишье; деревья еще без листьев и на каждом перекрестке, у каждого угла прохаживаются городовые... Поедемте на юг, в Бордо, в Тулузу или в Авиньон, в какую-нибудь деревушку, на берега Гаронны или Дюрансы...

— Отлично! — подхватили некоторые. — Теперь в полях давно уже зелень, поселяне вынимают из земли виноградные лозы, а в садах уже цветут миндальные и померанцевые деревья.

— Туда, туда, как говорит Фет, где выше гор *«лазури тающая нежность»*, и где, по словам Щербины, *«на раздольи небес светит ярко луна, и листки серебрятся олив»*... Да уж не хватить ли, господа, и подалее, хоть бы в Италию, на Везувий, куда незабвенный и что-то умолкший в последние дни Иван Чернокнижников водил любоваться природой старых русских сатиров и приамов?

Пошли толки о разных путях поездок, и кончилось тем, что, взглянув на часы, почти все разошлись завтракать, а остались только трое: я, студент медицины и один плешивый человек, носивший всегда ермолку.

— Если вы, господа, хотите точно ехать на юг Франции, я вам могу дать письма к одному моему приятелю недалеко от Гренобля. Это старый служака времен Наполеона I и в душе деревенщина. Нечто вроде Афанасия Ивановича; даже Пульхерия Ивановна у него есть! Я сам не могу туда ехать: жена моя больна. А вас там примут хорошо. Я с этим семейством долго жил на водах, в Дьеппе, и потом в Париже, когда супруга Афанасия Ивановича начала было слепнуть и он ее тут лечил года три назад. Кажется, у них порядочное именьице, что-то даже вроде старинного французского дворянского замка сохранилось...

Недолго думавши, мы с Ивановым, упомянутым студентом, взяли свои дорожные мешки и отправились по лионско-марсельской дороге, задавши себе задачу прожить близ Авиньона и Гренобля с неделю, потом пробраться в Тоскану, к выборам, уже знакомым читателю.

Мы поехали. Шалон и Макон, родина Ламартина, где этого поэта сильно поругивают за какие-то аферы его с вином, разорившие многих из доверчивых его поклонников, мелькнули перед нами. Особенно на переезде из Дижона, когда мы перевалили через Севенны, то вместо озер и болот,

окружавших Париж, с которых поминутно взлетали дикие утки и чайки, пошли у дороги виноградники; один толстый купец бранился вслух долее часу. «Толкуют про писателей! — говорил он. — Очень хорошо; они люди умные, я это знаю, и дочь моя любит Жорж Занда. Но этот господин, этот меланхолик, этот сахарный мечтатель с вывороченными к небу глазами, — сущий мазурик (conillion)... В 1848 году он провозгласил из парижской ратуши республику и прославился своими прокламациями о братстве и равенстве к народам! Да в это же время он у меня купил в долг на пятнадцать тысяч франков бордо и до сих пор не уплатил ни сантима!.. А ваш пресловутый Альфред Мюссе! Что ни день, явится, бывало, в кофейню близ театра Фюнанбюль, потребует графин водки да графин пива, сделает себе какую-то смесь из этого и пьет до тех пор, пока его замертво не увезут к гризеткам... Так он и умер! Хороши наши поэты! Отлично! Нет, наш Бонапарт лучше; хоть чисто теперь по улицам ходить...»

На какой-то станции за Лионом и Валансом, уже поздно ночью, мы высадились и переночевали в каморке у придорожного сержанта. Утром нам привели двухколесную телегу с громадными шинами, однако же на рессорах; мы расспросили дорогу, сели и пустились рысью по глинистому проселку к мосье Франсуа Годару, что близ Бриансона, на берегу речки Шовинет, впадающей в Дюрансу. Сначала было ехать скучновато. Но потом пошли маленькие перелески с свежими пашнями и отдельные деревушки с плодовыми садами.

Русского с первого раза французская деревня привлечет и очарует. Это не немецкий сбор отдельных, разъединенных мыз, союз деревень. Французская деревня, несмотря на раздробленность земель во владении поселян Франции, напоминает сразу деревню русскую.

Вы подъезжаете. За пригорком виднеется ряд серенькиx черепичных кровель. Дым поднимается из трех-четырех труб, за развесистой липой. Огороды упираются в дубовую рощу.

У околицы стоит старая почернелая от времени корчма. Та же знаменитая бутылка, прикрепленная к концу изогнутого шеста, висит над ее крышей. А у крыльца стоят телеги. Задумчивые лошади, опустя уши и развесивши губы, неподвижно ожидают из заветной двери засидевшихся хозяев. Вот и целовальник, в фартуке и картузе, вышел из сеней на крыльцо, плеснул за перила из кружки какою-то водицей, стал против неба и смотрит, почесывая спину, как тянутся в вышине журавли подвижным треугольником. Петух тихо-тихо идет мимо лужи, поднимая то одну, то другую ногу и таинственно-мечтательно глядя по сторонам; вдруг взлетел он на каменный забор, захлопал пунцово-золотистыми крыльями и закукарекал чисто по-московски. А вот и мохнатая собачонка из-за угла наткнулась на вас, кинулась в сторону и, несмотря на свое чисто французское происхождение, тоже залаяла по-русски... Особенно этот лай за границей прежде всего озадачивает. Встречая в Риме, в Лондоне и под Парижем тех же знакомых ворон и воробьев, слыша, как первые каркают, и видя, как вторые егозят и выпрыгивают по песку и взлетают на вишни, думаешь сперва: ну, хоть эта лондонская или итальянская собака залает как-нибудь особенно, на языке Байрона или Горация! Ничуть не бывало...

Мы ехали сутки, кормили два раза и еще ночевали в каком-то селении у священника. Хозяин наш объявил, что до жилища мосье Годара, его приятеля, осталось не более шести часов езды.

Поля становились несколько просторнее; горы уходили влево. На желтоватой суглинистой пахоте ходила запряженная в борону гнедая лошадка; одетый в синюю блузу работник погонял ее и водил по бороздам. В двух местах, брошенные, вероятно, с наступлением зимы и заморозков отличного нового устройства плуги с чугунными колесами и измерителями на передках, стояли среди начатых пашень. Отдельные участки крошечных полей были разделены живыми изгородями из какого-то особенного густого и колючего

кустарника, род глода. На топких местах и по краям канав были везде насажены вербы и правильными клетками кусты лозы. Когда мы проезжали, у тех и других молодые побеги и ветви прошлого года были обрезаны до самых стволов и еще не убранные лежали в вязанках тут же, на сухих местах. Вербы ежегодно, рано весной, здесь обрезывают так близко к главному стволу, что старые пни кажутся в феврале и марте какими-то особенными головастыми и огромными грибами в рост человека. Обрезанные ветви идут на плетение корзин, лукошек и на починку плетней. У одной корчмы застали мы странствующего музыканта с волынкою в руках и с маленькою обезьянкою в ящике. Он гудел на волынке, а двое парней-блузников, должно быть каменотесы, с перепачканными румяными лицами и полноикрая толстая поселянка в деревянных башмаках, взявшись под бока, выплясывали у ворот и по временам, переводя дух, заливались хохотом и угощали друг друга пинками.

— Далеко ли, друзья мои, ферма Вье-Шатенье, имение мосье Годара? — спросил я пляшущих.

Они нам указали с пригорка далекую синеющую равнину, окаймленную рядом низеньких голубоватых холмов, на одном из которых, чуть видная вдали, темнела небольшая роща, а вправо за нею мельница махала крыльями.

— Вот это и есть Вье-Шатенье, — сказала, подбоченясь красными лоснящимися кулаками, поселянка, — вот то роща каштанов, а то мельница! Там и сидят старики Годары!..

У поворота из широкого поля, в одном месте, в мелком, но густом орешнике, кусты расположились так живописно пестро по пригоркам, образуя то сплошные рощицы, то просторные перемычки, что я невольно остановился.

— Вот, Петр Ильич, местечко для охоты с борзыми; вот запустить бы сюда сворку-другую плакс, а самим встать бы вон там с мортимерами...

— Да! охота вышла бы отличная! Да вон, кстати, и заяц выскочил, точно слыша наши намерения!

Я взглянул влево: маленький темно-серый с зеленоватым отливом зайчик действительно несся между кустами, испуганный стуком нашей телеги. Не проехали мы ста шагов, как из чащи взлетела стайка фазанов, счетом пять-шесть, и понеслась со свистом, похожим на полет куропаток.

— А жаль, что мы без ружей, — сказал Иванов.

Даже возница наш особенно усмехнулся, посмотревши в небо, и свистнул, махнувши рукой вслед за фазанами.

Узенькая дорожка с желтою колеей привела нас прямо к барскому дому. Тяжелые каменные ворота были заперты. По обе стороны от них шел высокий каменный же забор, окруженный еще глубокою канавой, где, впрочем, воды не было, а по зеленой траве мирно ходили старая рыжая корова и бородатый козел со звонком на груди. Помня романы Вальтера Скотта и Филдинга, мы также стали искать особой железной скобы у дверей ворот, которою гости дают на западе Европы знать хозяевам о своем приходе. Скоба действительно нашлась, но до того была покрыта ржавчиной, что нельзя было ее сдвинуть с петли. Мы попробовали отпереть ворота таинственного замка, прямо упершись в них плечом, и они свободно отворились. Войдя во двор, мы увидели домик у ворот с надписью: «Привратник» и будку для собаки, очень красивого устройства. Но ни привратника, ни собаки там не было, и на полном раздолье в этом углу двора, как и везде в нем, росла густая зеленая трава. Мы подошли к дому. Это было длинное каменное здание в один этаж, крытое красною черепицей. По обоим концам его во двор выходили крыльца. На одном стояли вынесенные стулья и диван, вверх ногами, с куском ситца, молотком и гвоздиками, очевидно, для обивки его подушки. На другом на протянутом шнурке сушилось белье и какая-то желтая, старомодная, шелковая мантилья. В окна выглядывали цветы в горшках. Вправо от дома, во дворе стояло низенькое здание, должно быть кухня. Влево, через забор, виднелись в десяти шагах от дома два сарая и между ними три или четыре стога сена, сложенные особым способом вокруг воткнутых в землю ше-

стов. При этом сено здесь берут, не дергая из общего стога, а отсекая его подле шеста топором или даже просто отпиливая пилою, так что к весне стоги представляют травяные столбы в аршин толщиною и аршин в пять или более вышиною. Долго мы не знали, куда ступить, и разглядывали по сторонам. В кухне, очевидно, было жилье. Из трубы ее поднимался дымок, а у крыльца было плеснуто водою...

Откуда-то выбежала крошечная собачка, желтенькая и косматая, в красной попонке, и залилась на нас. В то же время из окна кухни высунулась голова в чепце, а в слуховое окно чердака — голова в колпаке, и в один голос обе спросили: «Qui est-là?»

Я назвал себя, обращаясь к кухне, а Иванов — обращаясь к чердаку. Нам ласково улыбнулись и попросили нас без церемоний, через правое крыльцо, в залу.

Не успели мы в зале плениться мягким ковром, темными гравюрами времен консульства и империи, висевшими по стенам, маленьким фортепиано, с нотами над раскрытой клавиатурой, цветами на всех окнах и огромным камином, у догорающего огня которого стояли два кресла и стол с газетами, как из коридора вошел рослый старик в знакомом уже нам колпаке, в красной фуфайке и в длиннополом сюртуке, а из гостиной вошла в белом фартуке и в знакомом также нам чепце миловидная старуха с улыбкой и приветом на устах. Мы назвали себя; нас попросили сесть у камина. Я подал старику письмо. Старуха кинула в камин дров и стала его раздувать. Пока мосье Годар доставал из большого, очевидно, самоделкового картонного футляра огромные очки и стал читать письмо, я все думал: «Где же это их слуги? Где же их дворня? Отчего никого не видно, никто не снял с нас пальто, не стащил калош, и ни одно лицо, усмехаясь и прячась за косяк двери, не смотрит на нас из коридора?..»

— Вот видите ли, — начал Годар, свертывая письмо и накрывая его на столе платком с табакеркой, — мы люди еще старого времени, любим себя побаловать! Вы и письмо

моего друга, вашего соотечественника, застали нас в хлопотах. Я сегодня воротился из города, ездил за новыми газетами на почту и привез жене обновку: купил отличного, господа, поросенка на жаркое; и вы будете его есть — кстати подоспели! Она заохотилась его жарить сама, не захотела доверить Жанетте, нашей девушке, а я купил ситцу на диван себе; старый уже за восемь лет потерся, и я хочу обить его!

Мы ушам своим не верили. Пошли толки о Париже, о новостях, о России.

— Да не хотите ли, господа, прогуляться у меня по саду, на хозяйство мое взглянуть, пока жена покончит с своею стряпней? Роза! Иди к себе! Бабам всегда приятно ускользнуть к любимым занятиям, не стесняйся! Так-то, господа!

Мадам Годар, с тою же добродушною улыбкою, в серебристых буклях, густо накрахмаленном чепце и с засученными рукавами, ушла, еще бросивши дров в камин, а мы отправились в кабинет ее мужа.

Тут на стенах висело оружие: старый штуцер, сабля, два потертых охотничьих ружья, патронташи и ягдташи; кроме того, несколько трубок с чубуками, бичей и рогов. На стене висел венок, сплетенный из пшеничных колосьев. На полках и в шкапу за стеклами виднелось несколько рядов старых книг. На столе лежала большая записная хозяйственная тетрадь. У окна стоял токарный станок.

— Это, господа, ружье еще моего отца, — сказал Годар, — им он охотился еще до первой революции, когда вся почти окрестная земля ему принадлежала, а в деревушке вот этой, что видна под горой за садом, жили крестьяне, бывшие нашими собственными слугами. Теперь крестьяне наши свободны, земли много перешло к ним, но дичи все еще у нас довольно, и я иногда охочусь!

Мы вышли в сад. Тут уже поляны были очищены от сору, между деревьями земля была вскопана, кучи сухой травы и обломанных бурями веток лежали по дорожкам. Цветники были вспушены, виноградники вскопаны, а живая

изгородь подстрижена. С одного места сада понесло чудным запахом меда и какого-то еще тонкого, смолистого благоухания: то цвели миндаль и абрикосы.

— Да, господа, — говорил Годар, — наш околоток в старину носил громкое имя Дофине, которым облекались старшие сыновья, наследники наших королей. Многим дофинам приходилось заезжать и в этот самый домик, где теперь вы застали нас, стариков! Времена миновали! Мой дед имел охоту в двести борзых и гончих свор. У него в орешниках, вон в том лесу за горою, водились дикие кабаны, а о винограде мы еще и понятия не имели. У отца моего, в его молодости, при Людовике XVI, бывали каждый месяц зимою балы: трубы играли, за обедом из пушек стреляли со стены у ворот — там вроде крепостцы была устроена какая-то ограда. И когда однажды, во времена парижского террора, крестьяне наши, возбужденные соседними, пришли с криками и угрозами, вооруженные топорами и множеством кос, отец мой заперся в этой крепостце и две недели отбивался с преданными слугами. В это время его отец, а мой дед, разбитый параличом, заболел от негодования и стыда за свое родное дворянство и умер в кресле, на балконе, в тени этого двухсотлетнего каштана, глядя на пожары соседних деревень и отдельных владельческих мыз, пылавшие по горам и ближним долинам...

— А вы сами не помните первой революции? — спросили мы.

— Нет, я уже помню только первые дни первой империи. Тогда меня отвезли в Париж на службу. Крестьяне наши стали свободны и поняли, что сам хлеб не упадет им в рот, когда его не добудешь трудом. Войны империи отлично были придуманы; они заняли умы, унесли пылкие и безмозглые головы, а все степенное и более разумное принялось опять за плуг и заступ. Мой отец семь раз бросал имение и опять возвращался. Скоро отлично устроились наши участковые полиции, и мир окончательно водворился у нас в деревнях. Я помню день, когда я воротился из гер-

манских наших первых походов и отец созвал соседей на праздничный обед по случаю моего приезда. Я был удивлен и опечален: вместо толпы слуг, бегавших у деда моего в шелках и галунах, в пудре и в башмаках по коридору и по двору от кухни, за стол явился длинный Пьер, сын моей кормилицы, он же вместе кучер, садовник и приказчик моего отца, в колпаке и в белом жилете сверх синей блузы. Я тогда не удержался и заплакал спроста при гостях, заплакали и некоторые соседи. Пьер был тогда нашим единственным слугою, а его жена ходила за моею матерью, стерегла двор, птичню, доила коров и стряпала. Отец мой налил за обедом вина, поднял бокал и со слезами сказал мне: «Сын мой! Пью за твое здоровье! Ты начинаешь новый век в жизни нашего родового Вье-Шатенье. Для него миновали пышность и пиршества, блеск и богатство, гордость и спокойствие; но ты придумаешь что-нибудь другое, новое... Я уже не придумаю ничего более и умру от стыда за свой род, за сословие с одним для тебя наследством — с долгами». Помню еще, что после обеда пришли из-за реки поздравить меня и наши былые крестьяне. Отец мой надулся — он тогда был не в ладу с ними, в споре за какие-то земли. Я, однако, вышел. Более восьми лет я не видал их и от души стремился взглянуть на знакомые синие блузы и мозолистые грубые руки. Каково же было мое изумление, когда у крыльца я увидел несколько молодцеватых джентльменов в зеленых и голубых модных фраках того времени, а степенные отцы их, державшие меня некогда на руках, стояли с покрытою головою, в красивых суконных долгополых кафтанах и камзолах, в перчатках на медвежьих своих руках. Я им обрадовался, хотя немного смешался, и стал с сыном бывшего нашего пастуха, уже кончившего науки в соседнем городишке, говорить о политике... Как хотите, а я был тогда смешон! Да и многие наши!

— Давно ли вы уже сами хозяйничаете? — спросили мы.

— Русский поход я пролежал больной в Баварии; потом умер мой отец, и я воротился. Долго я боролся с его неис-

числимыми долгами. Долги и печаль о прошлом остались мне после него во всем. Я, однако, скоро освоился. Сократил еще более расход по дому. Жена моя меня поддерживала, и жизнь нам стала уже казаться не так жалка и скучна. Собственный труд выкупил все. Мы расквитались с крестьянами во всем, отмежевали их землю от нашей, избавились от их остальных за землю повинностей, которых мы не видали вовсе и без того, округлили свои собственные участки, поправили старые строения и вздохнули на свободе лет двадцать пять тому назад...

— Как же вы устроились?

— А вот как: на наши земли мы приняли на правах «меттеяж» (половничества), как почти здесь делается везде, новых пришельцев с севера, из Нормандии и Бретани, где мало земель; наши прежние поселяне кое-кто также примкнули снова к нам, уже на свободных условиях. Ну, вот, мы им дали земли, строений, огородов; а они пришли с своим скотом и орудиями. Одни пашут и собирают хлеб — пшеницу, овес, рожь, собирают картофель и сено, а другие возделывают виноградники и огороды. И все, что собирается, делится пополам: одна часть дохода идет нам, а другая им. В это время в рабочем обиходе нарождается рогатый скот, лошади, овцы, ослы, а приплод и старый, негодный скот отводят на рынок, продают там при свидетелях, и доход снова делится пополам. Сперва были во всем обманы, утайки, а теперь все идет как по маслу. И скажу вам, что мы, к удивлению, с новыми своими соседями крестьянами — друзья. Нет той возни, что была прежде. Пришла осень, припасы проданы, деньги принесены, счеты сверены с их депутатами, и дело с концом... Живешь припеваючи... Оно, конечно, выйдешь на крыльцо, глянешь — ни души на дворе и кругом. Деревня далеко, с ней нет почти никаких непрерывных сношений, а собственной прислуги так мало, что и ее не видно целый день... Ну, и копаешься сам. Я люблю сад и охоту, а жена стряпает сама, говорит, что это чище; даже иногда стирает мое белье... Просто, скажу вам, тоже от скуки; а только так говорит!

В это время мы, пройдя кусты миртов и лавров, поравнялись с раскрытыми окнами кухни. Теплый пар с запахом кореньев и присмаленного поросенка, вырывался оттуда.

— Франсуа! Зазови своих гостей и ко мне! — сказала мадам Годар, высунувшись из кухни. — Я хочу им показать свое царство!

Мы вошли и застали царицу среди ее благоухающего царства. Какая чистота, какое тонкое изящество во всем!

Стены крошечной кухни были выложены сплошь фарфоровыми, розовыми с синими и зелеными разводами, изразцами. Просторная печь из тех же изразцов, с чугунною плитою, была уставлена красивыми чугунными кастрюлями и горшками, из-под крышек которых неслись вкусное клокотание и пары. На полках стояла остальная посуда в таком порядке, как книги у строгого любителя литературы. У дверей две кадки с водой, покрытые чистыми салфетками. На полу ни соринки. Сама хозяйка была в фартуке. Горничная ее, также в фартуке, стояла в стороне и только изредка, очевидно, прислуживала ей.

— Вот это мои горшки, вот это моя вода, вот моя печь, ножи, дрова! А вот и мой поросенок! — проговорила мадам Годар, показывая свое царство. — Утром я встану, соображу с мужем, что нам есть, и иду сюда! Жанетта между тем принесла уже воды, дров положила в ящик у печи. Мы начинаем готовить все, поставим кастрюлю на плиту, и я тогда ухожу убирать дом. Сама убираю свои постели, гостиную, кабинет мужа, залу, варю кофе, и мы его пьем с Франсуа у камина. После этого он садится читать свои газеты, а я опять иду на кухню! Потом обедаем, Жанетта нам служит, а там и вечер. По вечерам сидим вместе... Иногда у нас бывают и гости... И так мы уже более сорока лет с ним живем! Время летит быстро, и мы не замечаем...

Все это мадам Годар говорила, чистя ножом картофель, вливая молоко в рисовый суп, пробуя какое-то кислое пирожное из яблок и переворачивая на сковороде, в особой духовой печке, поросенка...

— Сколько же вы всего получаете дохода? — спросили мы хозяина, снова выходя во двор.

— Около десяти тысяч франков! — отвечал старик.

— Да, — шепнул мне студент, — это выходит почти три тысячи серебром в год! Недурно! А сами как стараются и работают! Это не по-нашему... Ну, да и у нас это будет! Дай Бог, чтоб скорее!

Осмотрев снова сад, где хозяин в свои старые, но бодрые и могучие годы сам копал заступом, обрезывал и отпиливал пни и сучья и копался с утра до ночи, от весны до поздней осени, мы воротились в дом, где уже был накрыт стол на пять приборов и мадам Роза уже похаживала в чепце с цветными лентами и без фартука. Кажется, поросенок не выходил и у нее из головы. Сам муж вместе с газетами привез его из города, живого, и как он визжал и пустился бежать, когда его развязали у кухни!..

Пока мы просматривали газеты с чудовищными воплями против какого-то мнимого, небывалого нового русско-австрийского союза и останавливались у стен залы перед старинными гравюрами, вроде тех, какие еще хранятся кое-где в южнорусских старинных дворянских семьях, с антресолей сошел длинный, худой и, очевидно, слепой старик. Пятый прибор был накрыт для него.

— Ах, я забыл вас предупредить! — сказал Годар. — Это мой бедный сосед сверстник, бывший также во время óно помещиком. Он сошел с ума в первую революцию, во время сельских смут, и уже в помешательстве ослеп от слез. И было от чего! Он потерял все: и землю, и дом, и семейное счастье! Толпа бродяг сожгла его усадьбу и убила его жену в его отсутствие. Он теперь живет у священника на хлебах родных, в нашем приходе! Старость принесла ему утешение; теперь он убежден, что у нас на престоле опять Капеты, именно какой-то Людовик XXIII, что дворянам возвращены прежние права и привилегии, что он опять богат и знатен, ездит в карете с гербами и задает пиры. Вчера его привезли ко мне в кабриолете дети священника. Он все ищет у меня

в библиотеке, там наверху, в сундуке со старым платьем, дворянского кафтана, чтоб ехать ко двору...

— Во имя короля, нашего преславного Капета, Людовика XXIII, да благословят небеса эту скромную трапезу! — сказал слепой старик, садясь за стол и снимая с головы черную шапочку, и скоро затих, принявшись за вкусный суп.

Обед прошел в веселых рассказах стариков хозяев. Особенно мадам Годар оказалась остроумной собеседницей, смешила нас, передавая черты старинных дамских обычаев своего времени. Даже Жанетта поминутно хохотала и расплакалась от смеха, когда хозяйка, вставши со стула за соусом, начала с салфеткою в руках приседать по зале и кланяться на все бока.

А после обеда, в гостиной, мадам Годар, раскрасневшаяся, присела к маленькому старому фортепиано, отодвинула упавшие на лицо серебряные букли, оправила на плечах красный шерстяной с желтыми букетами платок, сняла перстни и кольца и стала петь тонкою, дребезжащею фистулой. Она стала петь: «Пошел мой милый в дальний поход!», «Убил, убил стрелок ласточку на маленьком гнезде!» и, наконец, затянула довольно недурно и с неподдельным чувством лангедокскую поселянскую песню, «Капитана Пьера». Тут все было — и как капитан Пьер был пригож и любезен, как нравился он девицам, как увлек белокурую Жюли, как ей клялся и божился в верности и как, наконец, променял ее на светскую гордую даму. Поэма этим еще не кончилась и шла далее... Я оглянулся: помешанный слепой гость плакал, но как-то странно, не замечая сам своих слез и уставя глаза в фортепиано; хозяин также смигивал с глаз слезы и тянул, что было сил, потухающую сигару. Он мне кивнул и вышел со мною в залу...

— Вы простите моей Розе эту странную претензию петь! — сказал он мне шепотом. — И главное — не смейтесь! Вот ей уже под семьдесят лет, а она все поет и не унывает; только руки стали костенеть, не слушаются играть,

и она всегда при этом снимает кольца! Эту песню про капитана Пьера она пела, когда еще была девицей, и за ней ухаживал один гвардейский стрелок. Только вы ей этого не говорите, а я ее попрошу еще спеть «Авиньонскую пастушку»... Эту я уже люблю; и я когда-то пел ее, как волочился за соседками...

Старички окончательно пленили нас. Мы прогостили у них три дня и потом с ними же еще съездили к их родным, в Шато-Вер, где в противоположность милым, бездетным старикам застали огромную семью молодежи, девиц и юношей первой молодости. Хохот и крики встретили нас, хохот и крики не прерывались, пока мы гостили там, и проводили нас обратно в дорогу. Мы попали на разъезд с именинного праздника. Застали девиц в будничных уже нарядах и без этикета. В честь нашу веселости возобновились; мы ездили к какому-то водопаду, потом в поле, где паслось огромное стадо мериносов. У костра пастухов составился наскоро бивак, с ужином и танцами под звуки волынки. Юноши утоптали траву полькой, а мадам Годар протанцевала тут же менуэт. В день отъезда из Шато-Вер обратно в имение Годаров, молодые сыновья помещиков и фермеров, то есть потомки дворян и крестьян, бывшие зваными гостями под одною кровлей, устроили в обширном винограднике стрельбу в цель, с пари и призами. Явились штуцера и ружья, и гром выстрелов с звуками пианино Плейеля, вокруг которого толпа девиц стала петь по очереди народные окрестные романсы, проводили нас...

Нам как-то не ехалось, хотя впереди нас ожидала поездка в Италию. Особенно призадумался мой спутник-студент, который было сильно позанялся беседой с одною фермеркою-красавицей. «Что это вы все говорили с нею?» — спрашивал я после. «Советовал ей найти и прочесть в переводе нашего Пушкина и Гоголя. Вообразите, дочь крестьянина-винодела, а была в пансионе в Гренобле, влюблена в Байрона и играет, как Лист, особенно шопеновские мазурки... Просто прелесть!»

Воротившись к Годарам, мы посвятили еще два дня на осмотр их хозяйства, орудий их поселян-фермеров, их машин, и особенно паровых, со всеми современными улучшениями, и не могли на все надивиться.

Мы сидели на крыльце, перед заходящим солнцем, когда нам запрягали уже хозяйский экипаж.

— Да, — сказал Годар, — теперь у нас нет крестьян, нет и дворян в прежнем смысле слова; но у нас зато, надо сознаться, стало более счастливых людей. Мы бездетны, работать и стараться не для кого; но мы трудимся, и это наше счастье. Предки наши завещали свои имущества монастырям; а мы с женою свое оставляем во власть Парижской академии, на премию будущих лучших сочинений по части хозяйства и сельского домоводства!

VI

Дворянский замок Виллеруа близ Мо

Однажды в Париже, в известном заведении земледельческих машин Ганнерона, на набережной Бонди, в один из дней, когда для публики пускаются в ход все машины, разговорились о России. Я хвастнул нашими богачами.

— Вот наш ***, помещик NN, — сказал я, — купил во Франции на сто тысяч франков паровых машин для хозяйства и удивляет нас всех...

Ганнерон отвел меня в сторону.

— Этот ваш земляк, извините меня, — сказал он, — машины купил у меня через Марсель и вот уж пять лет мне не платит... я ему сделал кредит!

Я покраснел.

— Может быть, он не в силах, собирается заплатить...

— Каждый год из своих русских деревень он ездит сюда и кутит в Париже. Я жду еще, не действую; он разорил и

моего товарища, бедняка технолога, заманивши его к себе в Россию по контракту делать машины...

— И что же?

— Три года он его продержал, но прогнал без платы. Тот начал иск, и безуспешно: в контракте *** простак мой Жан проглядел какую-то лазейку...

Разговорились о паровом плуге.

— Что это за диво? — спросил я Ганнерона.

— Поезжайте к другу моему, виконту де Больни, там вы это сами увидите. Виконт купил себе привилегию на этот плуг для Франции, Бельгии и Баварии и хочет купить привилегию на него и для России.

«Опять Россия!» — подумал я, вспоминая слова Ганнерона о ловком покупателе его машин и недавние похождения работников де Велистона, столько наделавшие шуму близ Тулузы, и, скрепя сердце, поехал в Мо.

Весна стояла в полном цвету. Каштаны на бульварах Парижа были усыпаны своими снежными душистыми султанами. Тюльерийский и Елисейский сады покрылись зеленью. Бесчисленные вереницы экипажей спешили в Булонский лес, на скачку, где, по слухам, в тот день должен был присутствовать и император. У фонтана в тюльерийской аллее толпа детей и взрослых франтов играли в мяч. Скинувши щегольские сюртуки, в одних рубашках, франты преусердно давали мячу кулаками «свечку», и веселый хохот несся далеко из сада, к Луксорскому обелиску. Я сел в вагон, вот мы вне Парижа, на сельском просторном воздухе...

Какая разница с Парижем! Какой быстрый переход! Я точно очутился где-нибудь дома, близ Полтавы...

Вот ряд мельниц. Машут себе тихо крыльями над размытым глинистым косогором, отражаясь в тихом болотистом озере. Так и кажется, что с крылечка выглянет мельник и, снявши шапку, поклонится лысою, запачканною в муке головою. Ошибаетесь. Во Франции, как докладывает вам сосед по вагону, простолюдины кланяются ныне только в старинной феодальной Вандее. Вот какой-то не то городок,

не то слободка! Куча светлых домиков с красными черепичными кровлями, садами и огородами, — точь-в-точь домики военных поселян в Чугуеве и Кременчуге. И опять мысли о родном. С озера, от мельниц, поднялась стая куликов и уток и улетела чрез густо зеленеющие озими к другой долине.

Железная дорога долго шла между двумя стенами холмов, усеянных перелесками и сплошными дубовыми и буковыми лесками.

Посмотрите в окно вагона, где между тем, чем дальше в провинцию, тем больше городские франты и гвардейцы исчезают из вагонов, а на их место усаживаются старушки в огромных чепцах, работники с инструментами в мешках и молодые поселянки в перчатках и с овощами в плетеных корзинах. Взгляните в окно! Желтые, лиловые цветы, мохнатые волошки и белая кашка устилают луговины. Две старухи в паневах и с черными платками на голове, подоткнувшись, полют какую-то огородину у деревушки с белою чистенькою церковью. Одна, вся сморщенная, как фига, встала, наставила ладонь против солнца и смотрит на нас. Другая, еще статная и румяная, — точь-в-точь с картины фламандской школы в нашем Эрмитаже. А рог вместо свистка железной дороги, трубит все далее и далее...

Летят кругом вас заборы садов, заборы полей, заборы лесов и городков. Вы жадно вдыхаете свежий полевой воздух. Распустилась сирень, цветут яблони, зеленеют тополя, длинные, серебристые, точь-в-точь в Полтаве на площади. Вы вспоминаете Пушкина:

Чуть трепещут серебристых тополей листы.

Еще далее! Вагоны налетают на одинокую излучину реки. На песчаном берегу разостлано белье; бабы, с обнаженными ногами, в воде, усердно хлопают белыми вальками. Одни — в чепцах, другие — просто в платках на голове. И опять пашни и пашни! На сочной луговине воткнут кол, а вокруг него ходит на привязи каурая кобылка. Другая мышастенькая

пегашка таскает трехугольную какую-то борону, а мосье в синей блузе ходит за ней и курит трубку.

Едем далее. Две соседки-торговки, одна в синих вязаных перчатках с обрезанными концами на пальцах, а другая, вся красная от порядочного заряда vin de pays, толкуют о парижских новостях.

— На театре Жимназ, мадам, идет не «La Tireuse des cartes», а «Pere prodigue», и не старика Дюма, а Дюма-фис...

— А почем помдамуры? — отзывается голос белокурого, как солома, и с толстыми румяными щеками солдата из новобранцев.

Кто-то «молодому ослу» отвечает остротой, и все захохотали.

Но вот и Мо! Взявши под мышки свой дорожный мешок, я выхожу насквозь через залу станции. Каштановая аллея ведет к городу.

— А где мне тут нанять лошадей?

— Далеко вам?

— В Виллеруа.

— Спросите женский пансион; за ним сейчас живет подрядчик на лошадей и экипажи.

Я иду каштановою дорогой, мимо прибрежий Марны, любуясь исполинскою городскою водяною мельницей со шлюзами и плотиной.

Я зашел в дом подрядчика с вывеской на воротах: «Бюро почтовых лошадей во все места департамента и далее»; нанял кабриолет в одну лошадь, расплатился вперед за оба конца, в Виллеруа и назад, и поехал.

Возница мой оказался малым лет тридцати, в синей куртке, фуражке и брюках, всунутых в высокие сапоги. Выехавши в поле, он указал кнутом на пригорок, по которому сидели, ходили попарно и бегали какие-то барышни в странных коричневых шляпках в виде долгоносых бричек, и прибавил:

— То, мосье, наш пансион; а вон то его директриса! Нынче четверток, — прибавил возница, — день канику-

лярный в каждой пансионской неделе... Сигару закурить можно?

— Можно...

— Hue! hue! — покрикивает возница на лошадку отличной караковой масти, в хорошеньком чистеньком хомутике, и колясочка быстро бежала по глинистому проселку. Звук колокола летел со стороны города, где на площади резвились дети и ставились временные балаганы в ожидании какого-то праздника по новому императорскому календарю. Пашни зеленели по сторонам дороги, кое-где пересекаясь какими-то совершенно желтыми полянами с злаком чуть не в рост человека.

— Что это такое? — спросил я.

— Масличное растение кольза; из него, мосье, делают масло...

Это был род нашей сурепки, только улучшенной.

— Видите ли, — говорит наш возница, — у нас в деревнях так сеют: трое соберутся сеять рожь, трое или пятеро эту кользу, а остальные пшеницу, а потом и делятся. У нас земли все клочками, не разгонишься!..

У какого-то поворота мы остановились. Шла новая пахоть к лесу. Фермер в штатском сюртуке, с черною собачкой, прогуливался между работниками, а работники возили по бороздам две новенькие, окрашенные красною и голубою красками, машины: почводробитель и сеялку.

Сеяли гречиху. Мы проехали еще далее. Дорога шла под гору. Вот картина сенокоса! Те же бабы и мужички, те же дети, точь-в-точь такие, как у нас в Парголове, все то же, — даже и вислоухий конь и сама *жучка*. Несколько далее, когда уже до деревни виконта оставалось недалеко и видно было соседнее с ним знаменитое село знаменитого филантропа Мантиона, одна из таких жучек чисто озадачила меня.

Колясочка шла тише. Возница мой, Жак Леру, рассказывал что-то о городских пересудах. Вдруг увидел я близ дороги стадо испанских овец. Стадо было голов в полтораста

и паслось по впадине дорожной канавы. Поле за канавой, засеянное пшеницей, беспрестанно сманивало овец, а пастух спал на дороге.

— Как же он спит, — спросил я Жака, — а овцы и не трогают пшеницы?

— Видите, mon bon petit monsieur, вон как раз на углу стада собачку? Желтенькая вон такая: она-то бережет! Посмотрите, посмотрите!

В это время колясочка поравнялась со стадом, овцы зашевелились более, и собачка забегала по окраине канавы, со стороны пшеницы, из конца в конец, лая на каждую, далее законной черты высунувшуюся из канавы голову, и шныряя, с языком до земли, от одного конца стада до другого.

— Что это за чудо?

— А вот видите ли, мосье, этот песик из породы барбеток, barbet. Их учат, притравливая на отставших овец. А потом они так привыкают к своему делу, что чисто все понимают. Хозяин лег спать, а она бережет стадо. Хозяин иной раз раньше уйдет с поля и говорит ей: «Ну, паси, а там приведешь домой». День кончился, овцы идут домой, и барбетка их усердно гонит, сторожа от всякой потравы. Иногда хозяин недосчитается отставшей в поле овцы. И что же бы вы думали? Барбетка кинется уже ночью и ту пригонит...

Жак это говорил, стоя у стада, а угомонившаяся усталая барбетка, кудлатая, с выпавшим на грудь от перегону язычищем, сидела, жмуря на нас свои добрые зеленые глазки.

— А что можно дать здесь за такую собаку?

— Да франков сто, если не двести!

Я вспомнил о наших степях и дороговизне найма наших чабанов, пастухов.

Козел, как и у нас, шел между тем впереди медленно тянувшегося по канаве стада. Полевой кобчик, пустельга, знакомым крестом, дрожа крыльями, стоял в воздухе. Пчелы и мотыльки сновали, весело плавая над медвяною поляною

кользы. Едем далее. По грудь в траве, разумеется сеяной, стоял человек без сюртука, в одной рубахе, с красными гарусными подтяжками по плечам, будто наш гувернер, в жаркое лето вакации занимающий своих питомцев изучением козявок и червячков. Гувернер этот, однако, несмотря на свои масаковые брюки и цепочку у часов, здесь просто полол негодные травы... Сенокос полол! Что скажете вы на это, мои отдаленные приятели, новороссийские и украинские, на Бобровках и по Самаре считающие свои сенокосы тысячами десятин?..

— Та-та-та! — закричал вдруг мой возница, прискокнув на козлах и указывая на серенькую поляну.

— Что такое?

— Смотрите! куропатки...

И точно! Пара куропаток прогуливалась по полянке. Мое охотницкое сердце вздрогнуло.

— Что же, у вас охотятся здесь?

— О, да! Приезжают из Парижа поохотиться на зайцев, на куропаток, на голубей...

— На голубей?

— Да, виконт держит своих голубей и иногда устраивает на них охоту...

— Что же, у вас с собаками борзыми охотятся здесь на зайцев?

— Что это за борзые?

— А что догоняют зверя бегом...

Жак засмеялся.

— Нет, где у нас разогнаться на зверя! Все плетни, да села, да города. У нас гончие есть, точно, их навезут из Парижа, обложат лесок, а стрелки станут по краям, ну, и стреляют. Наедут иной раз человек тридцать...

— А убьют?..

— Убьют штуки две-три...

Петр Петрович! Где вы теперь? Слышите? А у вас дома штук тридцать борзых, да этак, после другого-третьего десятка затравленных зайцев, поднимете вы в степи лисицу,

либо легкого, как клок перекати-поля в осень, волка, скачете за ним верст семь, девять по одному направлению и после пяти-шести угонок осаживаете его в имении уже третьего проскаканного вами соседа помещика, в Копанском или в Геевке... Раздолье, не то что здесь!

Мы подъехали к ограде парка, в глубине которого стоял дом виконта де Больни, а вокруг него помещались другие хозяйственные службы. Жак остановился у ворот, поправил упряжь, сам оправился и опять поехал.

— Это жилище дворянина, — сказал он с улыбкою, — дворянина старого рода! Надо быть вежливее!

Мы ехали круглыми дорогами, среди свежей, очаровательной чащи зелени; дом еще не показывался.

— Вот пруд, — говорил Жак, — видите, утки на нем плавают; хорошенькие уточки! А вот и куры... дом недалеко!

Вскоре нашим взорам представилось двухэтажное здание, окруженное полянами свежего искусственного луга среди стен роскошного дубового и букового парка. Нам переступил дорогу какой-то человек, род плотника, с пилой и топором в руках.

— Виконта нет дома! — сказал он.

— Как нет? У меня есть к нему рекомендации.

— Его нет дома; он уже более месяца живет в Париже...

«Какая досада! — подумал я, — жаль, что Ганнерон не знал!»

Я помедлил.

— Если мосье угодно, — залепетал развязно плотник, — я ему покажу и дом, и все хозяйство виконта!

— А мосье l'intendant, управляющий, тут есть? — спросил я.

Плотник посмотрел злобно в сторону, оглянулся и кашлянул.

— Я покажу лучше управителя! — сказал он.

Я в свой черед взглянул на Жака. Он уже покуривал трубочку и посмеивался себе под нос.

— Делать нечего, любезный, пойдем!

Я бросил свой сак в колясочку и пошел. Долго мы ходили молча. Путеводитель показал мне две-три картины в парке, несколько широких полян, и наконец разговорился.

— Вот здесь дети приезжих гостей, когда старик виконт бывает дома у себя в деревне, катаются верхом на ослах! Вот тут друзья виконта в цель стреляют, купаются, а вон там скачки устраивают...

Мы стали осматривать дом. Плотник сбегал куда-то за ключами, должно быть не без труда достал их, и принес под полой. Мы вошли в нижний этаж. Меня так и обдало запахом наших брошенных, забытых деревенских домов.

— Вы, может быть, не знаете, — заметил Пти-Пьер, так звали плотника, — виконт почти не живет в этом доме: он — аристократ, это правда, занимается сильно политикой, и хотя легитимист, а в деревне все-таки не живет. Такое добро, такой парк, такой прелестный дом, и не жить! Странные люди, мосье, — извините! — эти большие господа, эти наши былые старые дворяне... Так и льнут в душный Париж, а здесь злодеев ставят в управители... Я и бедняк, а Парижа не люблю; раз чуть там с голоду не умер... Воздух какой-то скверный!

С невыразимой грустью стал я прохаживаться по дому виконта, рассматривая картины, штоф и ситцы мебели, полы, камины, ручки звонков и ковры. На картинах изображены были всё почтенные дамы в атласе и кружевах; лица хорошеньких румяных детей и сцены охоты с собаками. Вот предок виконта в бархатном кафтане выступает с гончими смычками. Полы вишневого кафтана его развеваются, а сам он трубит в витой медный рог. Толпа дворни стояла возле дома и кухни, у ворот и за воротами, провожая хозяина. Куда же все это теперь делось? И отчего дом пуст? Отчего потомок древнего рода, его одинокий современный облада-

тель, не живет в нем, и все достояние гордых предков в запустении?

— Виконт никак не хочет обитать здесь, сжиться с нашими сельскими тихими нравами! — говорил Пти-Пьер, внук кормилицы виконта, как он прибавил о себе. — А замыслы виконта были посоперничать с его соседом, Монтионом; он думал устроить у нас в деревне школу, лавки, быть для нас филантропом...

— Так он легитимист? — спрашивал я, осматривая библиотеку виконта, его кабинет внизу, кабинет наверху, пять комнат для гостей, комнаты в верхнем этаже для лакеев, горничных, и везде с полным запасом заплесневелых тюфяков, полинялых занавесок на окнах и старой изъеденной молью мебели.

— Да, он легитимист! — со вздохом отвечал Пьер.

— А вы? — спросил я.

— Я нет, — отвечал Пьер, снимая фуражку, в которой ходил по комнатам.

— Чем же он занят, ваш виконт?

— Ah-bahs! Лет двадцать пять тому назад он был в полном своем ходу и тогда затеял издавать журнал. О, да! Он честный человек, по-своему! Журнал стоил ему 400 000 франков чистыми деньгами и лопнул. Тогда же он возобновил и этот дом. Поправка и переделка его стоили ему тоже до 500 000 франков... О! У нас все дорого, кроме чести, мосье; камни, мебель, бронза и чугун дороже чести! Дом был отделан, а он разочаровался в стремлениях своей партии, бросил все и живет в Турине, как живут все там, мосье. Жаль! Я уже присмотрелся к работам: господа все строятся, все ломают да переделывают; кончили, а после и не живут... Живут негодяи вместо них, сущие разбойники... вроде здешнего управителя!

— Что же за причина, однако, что все ваши старые роды, ваши дворяне не живут в деревнях, вас не любят? — спросил я.

— Самолюбие и слепота, мосье! — отвечал с невыразимым достоинством Пьер и опять снял фуражку.

Я посмотрел на него с удивлением.

— Как дерево это называется? — спросил я, не могши отличить его, ибо смотрел на парк с балкона верхнего этажа.

— Дайте ваш портфель, — сказал Пьер, — я вам запишу это слово, как оно пишется!

— А вы грамотны?

— Как же, еще бы! Я учился в школе, сперва поблизости, у аббата, а потом в Мо.

— Кто же вас туда отдавал?

— Отец мой, также по фамилии Пти-Пьер, Эжен Пти-Пьер, пахарь в нашем Виллеруа.

— И много он платил за вас?

— О! Пятьсот франков в год! Дороговько: да без этого уже у нас нельзя.

Долго еще мы бродили по дому. Пьер сознался, что взял ключи тайком у жены интенданта, управителя; что виконт всем позволяет посещать его дом и даже останавливаться в нем, а те, бесчестные, берут за это и за осмотр на водку с добрых гостей.

— Что это за земля там, за деревней?

— Тоже земля виконта; а чудная наша земля. Доход — отличный. Теперь, промотавшись на свой политический журнал, виконт задумал поправить свои дела земледелием, ученым земледелием, на манер англичан! Накупил машин, пустил их в ход, пашет и сеет, даже паровой плуг купил и делает сам такие плуги... Но ведь это все из кабинета, из Парижа, за глаза; ну, и нейдет дело... А рабочие голодают и сидят без денег! Управитель здешний и тому Жаку из Мо должен, который вас привез...

Не хотелось мне сходить с балкона, висевшего на воздухе, над чудными рощами и лужайками старого парка. Я как бы взлетел на крыльях птицы, и предо мною расстилались и проходили туманные картины истории французского

дворянства, его спесь, разъединение, празднолюбие, гордые притязания посредственности, наследственная лень, наследственная вражда к низшим слоям общества и общее, повсеместное, невознаградимое никакими журналами и поздними союзами — падение...

— Поля наши истощены затеями не под силу, — продолжал Пьер, — луга, кормившие чудные породы нашего старинного скота, распаханы и также истощены давно! Дичь выбита, выстреляна, и уже редко раздаются у нас в ушах голоса даже жаворонков, утешавших наше детство.

— А что, разве у вас и жаворонков бьют?

— О, как же! Надо же угодить виконту и послать ему в Париж живности, дичи из его собственного имения. Ведь он на то помещик; земля вся его, а мы только половинщики! Ну, управитель и придумал даже машину для стрельбы жаворонков, и такие машинки уже многие завели близ Парижа. Устраивается на железном стержне род опрокинутой концами вниз железной же подковы; она шнурком обращается на шарнире вокруг стержня, а бока ее утыканы впаянными обломками зеркала; ну, охотник воткнет стержень этот в поле или на лугу, сам спрячется подальше в траве и начинает дергать шнурок. Подкова с зеркальцами вертится, как волчок, и сильно блестит. А эта бедная птица, обманутая блеском, и начинает кружиться в воздухе над нею; считает ли она ее за воду или просто любит блеск и тянется к нему — только к одной машинке слетаются тучи жаворонков и кружатся, все кружатся, как рой. А он выждет и пустит в них сряду заряда два мелкою дробью. Ну, и положит сразу штук тридцать, сорок. Вот и причина исчезания нашей полевой и лесной дичи, а у виконта за то на другой день жаворонки за жарким... Какое несчастие, мосье, что наш Париж так близок теперь ко всем нашим деревням!

Мы сошли вниз. Пти-Пьер так разговорился, так сошелся со мною, что пригласил меня к своей матери на деревню закусить, чем Бог послал.

— У нас есть масло, молоко, отличный свежий сыр бри! А в деревне нашей мы найдем винный погреб с добрым нашим домашним вином! Помещики наши отвернулись от нас, так мы сами устроили. И лавка мелочная есть у нас, со всем, что угодно купить для обихода. Мой дядя торгует тут: есть у него и мука, и чай, и сахар, и конфеты, и соленое, и хлеб белый, на манер парижского, и нитки, и иголки, все...

— Кто же покупает?

— Мы сами, да и соседние фермеры приезжают и присылают. Все ближе, чем в Париже или в По! Другие же здешние поселяне снимают у виконта часть земли с половины (metteyage); но более у виконта обработка земли идет по новому способу, наймом за деньги... Живется так весело; молодежь на зиму идет в город каменщиками, плотниками, землекопами.

Жак поравнялся со входом в деревушку и запел:

«Mon bras pressait ta taille frêle
Et souple, comme le roseau;
Ton sein palpitait comme l'aile
D'un jeune oiseau...»

Я перебирал в памяти, чьи это стихи, Гюго или Беранже, как от кучи веселеньких домиков деревушки, сверкавших мне издали и вблизи своими развесистыми вербами и черепичными или аспидными крышами, потонувшими в зеленые сады и огороды, перерезал мне дорогу высокого роста черноволосый господин в круглой городской шляпе, но в простой синей рабочей блузе.

Это был приказчик виконта, его intendant, его maitre de la maison. Он, очевидно, уже слышал обо мне от моего возницы и искал меня давно. С сердцем он вырвал ключи из рук Пьера, который пугливо посторонился, и снял, кланяясь мне, шляпу. Молоко, масло и бри улыбнулись мне; Пьер жалобно кивнул мне головой и ушел в деревню. Мы воротились через парк к дому виконта.

— Что наврал вам этот малый? Я думаю, много! — сурово сказал управитель. — У них языки длинные, у этой сволочи!

— Нет, ничего...

— Угодно графу посмотреть basse-court и мастерские виконта? — спросил управитель, как-то заглядывая мне в глаза.

Я отклонил от себя титло графа, назвал себя просто русским помещиком и согласился на его предложение. Управитель шел молча, теребя в грубых, загорелых и мозолистых руках ключи и как будто что-то обдумывая.

— Вы знакомы с виконтом? — резко спросил он меня.

— Нет.

— А думаете у него быть в Париже, или еще здесь?

— Я скоро еду на юг Франции, а потом домой!

Он вздохнул.

— Возьмите меня с собой в Россию. Виконт хороший, но разоренный человек! У вас же теперь освобождают крестьян; труд будет вольный, наемный и, верно, будут нуждаться в искусном...

— Что вы здесь получаете?

— Тысячу франков в год, на себя и на жену мою вместе, только; да содержание и жилье! Маловато, как видите, мосье...

— А что бы вы взяли в России за то же самое?

Управитель остановился и задумался.

— По тысяче франков в месяц: двенадцать тысяч франков в год. Сверх того содержание, жилье, отопление, свечи, пища, вино...

— Я думаю, шампанское, родное Veuve Klico?

— О, нет! — простодушно прибавил он. — Хоть шабли, я люблю шабли...

— Еще же что? Это интересно, и мне нужно знать...

— Издержки на дорогу туда и обратно, когда пожелаю, если бы не понравилось жить у вас...

— Вот как! Это недорого!

— Нет, постойте-постойте, — залепетал, как бы спохватившись, управитель, — я не знаю, куда попаду, может

быть, в Сибирь или близ этого Севастополя... Я хотел бы, чтоб у меня, вокруг меня и жены моей, было общество...

Я дал слово позаботиться о мосье управителе, а он дал мне для памяти свою визитную карточку: «Eustasche Le-Blond, etc., etc.».

Мы вошли на basse-court, задний двор виконтова дома. Этот двор помещается совершенно особо, почти в полуверсте от дома, но все в том же парке. Справа, при входе в него, стоит флигель, жилье управителя, круглый каменный домик, род нашей московской будки. Слева идут каменные же строения, где жена управителя, рослая плотная баба, показала мне фабрикацию сыра бри и хранилище молочных скопов. Слева же помещалось здание, где откармливались свиньи и был довольно красивый птичник; напротив — конюшня, а направо от того же четырехугольника — коровник, где между каменными стенами, в теплой обширной комнате, толпился десяток дорогих и дешевых коров.

Мы пошли еще на особый двор. Там были сложены хлеб и сено, и шла очистка зерен на веялке, совершенно похожей на нашу бутеноповскую, и еще старого фасона. Какой-то мальчик, лет четырнадцати, в часах с цепочкой, но в стареньком потертом балахончике цвету «застуженного киселя», вертел ручку веялки, провевал тощее зерно мелкой пшеницы.

Управитель вынул из-под своей блузы серебряную толстобрюхую луковицу, глянул на стрелку и важно, педантически произнес:

— Жан! Вот уже половина пятого, а урок не кончен; берегись...

И балахончик усердно завертел ручку веялки.

— Они у меня всегда идут по часам; иначе нельзя; народ ленивый, извините...

Я зашел и в мастерскую виконта. Там было пусто и мертвенно. Какой-то старик опиливал что-то вроде винтика.

— Где же ваш плуг паровой? — спросил я, спохватившись. — Ведь я для него, собственно, и приехал.

— Пойдемте...

Мы вошли на третий двор, где под сараем лежал купленный столькими привилегиями плуг. «Чудище обло, озорно, стозевно и лаяй!» — пришел мне на ум стих Тредиаковского, так смешивший Пушкина.

И действительно — это было чудище, чуть не с гору величиной.

— Землю-то он пашет, — сказал я, — верю этому! Да легко ли им пашется земля?

— А вот видите ли, — начал управитель, — в одном углу поля ставится паровой двигатель, локомобиль, а в другом вкатывается тяжелая телега с блоками; между ними укреплен проволочный канат, а по канату, когда пустится в работу локомобиль, и ходит наш плуг... Пойдет в одну сторону, одним концом своим ведет три борозды разом; пойдет в другую, те три лемеха опускаются, а три новые борозды ведутся другим его концом. Видите, его концы опускаются и поднимаются по воле, на оси, на шарнире. Прогуляется он в два конца: тогда телега переезжает далее и опять вкапывается. Отлично дело идет...

— А что он стоит?

— Без двигателя четыре тысячи франков, а с ним до десяти тысяч.

— И есть у вас до него охотники?

Управитель замялся.

— Интересует он свет?

— О, да! Многие приезжают смотреть на него. Вот недавно были тут ваши три князя. Постойте! Фамилия такая мудреная... — Он достал бумажник. — Да, вот их имена: князь Немогузнайкин, князь Горсточка и князь Чичиков.

— Над вами подшутили: у нас нет таких князей.

— Во всяком же случае, — торжественно заключил управитель, — Франция заказывает нам четыре эти плуга; сам император скоро будет при его испытании, и виконт об этом хлопочет...

— А журнала виконт более не будет издавать? — спросил я.

— Нет! О, нет, довольно!

Я закусил во флигеле управителя, где свиньи, кошки, телята и собаки толкались вместе с его детьми, у нечистого и безобразного камина, среди безобразной, закоптелой и вонючей утвари, и уже садился опять в колясочку Жака.

— Мосье! Так не забудьте же нашего условия о России! — сказал мне грубоватый управитель.

— Какое?

— Насчет моего найма у вас... Да если хотите, — шепнул он, наклонившись ко мне, — я вам сманю и приведу сотни две-три рабочих отсюда. Наши ведь сущие дураки. Стоит только написать позаманчивее контракт. А они сносливы: едят мало, спят мало, а работают много... Хорошо? Идет?!

— А слышали вы про мосье Феликса д'Эскюдье де Велистана? — спросил я в свой черед.

— Слышал; а что он, бедняк?

— Наполеон III за его проделку с переселенцами из-под Тулузы в Одесский округ собирается, говорят, сослать его на галеры...

Мосье Эсташ Леблон побледнел и молча поклонился мне, вслед колясочки, которая, под рукою Жака, быстро покатилась из роскошного парка виконта обратно в Мо.

VII

Французская деревенька близ Тулузы

Июнь, 1860 г

Париж начинал нам всем надоедать. Вся русская колония, с которой я проводил время, сильно скучала. Мы все исчерпали, все испытали и все нам давно приелось в пресловутом городе.

Мы бросились на знакомства с литераторами, с знаменитостями старой и молодой поэзии. С журналистами знакомства завязались быстро. Стоило войти в какое-нибудь кафе, где собирался кружок того или другого журнала. В кафе «Франциск I» собирались сотрудники «Journal des Débats», у Бюфона — сотрудники «Constitutionnel».

Но всем нам особенно нестерпимыми показались лица, принадлежавшие к таинственной банде полуофициального «Конститюсионнеля», как его называет одна русская газета. Все господа надутые, говорят загадками, кривляются и беспрестанно вас осматривают с ног до головы. Один из таких «коленкоровых манишек, беспощадный Ювенал», даже выразился как-то в споре при нас: *«Наполеон III и мы никогда на это не согласимся...»* Так и вспомнился опять наш милый север и слова одного фельетониста: *«Мы всегда советовали г. Костомарову не знаться с Погодиным...»* Совершенно во вкусе ратников «Конститюсионнеля»...

Но что за прелесть старческое лицо Россини! Я его узнал по фотографии в толпе посетителей сада Chateau des fleurs, где знаменитая лоретка и плясунья, Ригольбошь, в тот вечер в одной из фигур канкана ногою сбросила шляпу с головы своего визави и была осыпана рукоплесканиями. Автор «Севильского цирюльника» сидел на скамье, опершись на палку, и добродушно улыбался.

Жорж Занд была в те дни в периодическом, знакомом ей преследовании продажных парижских газет и газеток. Какой-то семинарист, ставший главным сотрудником какого-то обозрения, пустил о ней гнусную сплетню. Прошел слух, что за автора «Теверино» поднял голос лучший из изгнанников, Виктор Гюго. Его письмо ходило по рукам!..

Гоголь вспоминался ежеминутно. Его повесть «Рим», прочтенная через столько лет по выходе в свет, производит до сих пор сильное впечатление верностью общих картин Парижа и Рима, особенно Парижа.

— Да, господа, — говорил небольшой круг слушателей, — со времени Гоголя много перебывало русских в Па-

риже и в Риме, но лучше и ярче Гоголя никто их у нас не описал.

Гоголь живьем вынес впечатление о Париже. Другие тут стареются, а двух слов ярко о нем не скажут. Например, я столкнулся в Париже с товарищем, который там живет семь лет и ежедневно бывает в котором-нибудь из 28 его театров.

— Что же ты скажешь о парижских театрах? — спросил я Сашу Д***, своего школьного товарища.

— А что я скажу? Право не знаю... не помню ничего.

— Как не помнишь?

— Да так же! Когда сижу в театре, то весело и приятно, много смеюсь, и вообще, не пойти в какой-нибудь вечер в театр, точно не обедать или не ужинать... А выйдешь, уже у подъезда на улице все позабыл: такая, брат, пустота, что ужас; ты не поверишь! И все здесь так.

— Так для чего же ты тут живешь?

— А уже, верно, я сам такой человек; втянулся, брат, и не хочется ехать отсюда.

— Ну, а есть ли тут на сцене что-нибудь вроде нашего «Ревизора» или «Своих людей» Островского или хоть такие серьезные таланты в числе актеров, как Щепкин и Мартынов?

— Какое там! Вот еще что вздумал! Да здесь нашего направления и не поймут, а актеры — все шарлатаны и меднолобая бездарность. Леметр стар; новых нет. Да разве ты не знаешь, что Шекспир и вся его школа буквально здесь неприменимы? Вот зато пойди посмотри «Histoire d'un drapeau» и «Cheval fantôme», пьесы в духе наполеонидов! Там ты увидишь и первого консула на коне, и первого императора в снегах России, и пожар Москвы, и поход в Египет; даже сольферинское сражение уже успели перенести на сцену!

И действительно, я пошел с целой компанией русских в Императорский цирк и увидел там живьем первого императора. «Публика неистовствовала». Пьеса составлена потому

единственно, что найден такой человек: и нос, и рот, и рост, и походка, и голос, и осанка — точь-в-точь Наполеон I. Ну, и создали пьесу: скачет серый человек по сцене и кричит: «Друзья! Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!» Нет, Щепкин и Мартынов у нас спасовали бы на это; да и наружностью не взяли бы! Куда им!

И во всем здесь контрасты. На улицах бульваров играют кучи хорошеньких детей, играют так беззаботно, так весело. Но вот гремят сотни подков, летит странный кортеж; жандармы впереди, жандармы сбоку и сзади — это едет император. Все снимают шляпы и следят его глазами. «Ба! новые лошади! серые, в яблоках!» — «Нет, просто серые; что вы? я сам видел...» — «Извините, в яблоках...» И спор продолжается. А мысль переносится к другому времени. Давно ли в этом же Париже гремели палаты и толпа спорила о другом: кому быть первым, Тьеру или Гизо? А теперь спорят о лошадях знаменитого кортежа с жандармами...

Как последнее средство от скуки, начинавшей нас разъедать вместе с майскою пылью от уличного шоссе и вечным сидением на железных стульях у кофеенъ за степенными нынешними газетами Парижа, надоевшими нам еще в Петербурге, мы выбрали хождение по лекциям университета и накинулись на них со всей энергией. Даже запаслись портфелями, бумагой и особенно карандашами для записывания профессорских чтений.

Начали мы с *Collége de France*. Здесь в то время читали по пятницам знаменитый *Клод Бернар*, по вторникам и субботам — *Кост*. На лекциях Клода Бернара мы застали не более 20 слушателей, из них более половины русских и итальянских медиков. Его чтения — вроде чтений Пеликана в пассаже, с теми же опытами. (Physiologie comparée). У Коста столько же слушателей. Но никто так не занял нас, как г. *Лабуле*, юрист, читавший свои «Histoire et législation comparée» по понедельникам и пятницам, красивый брюнет, лет 35, с ленточкою почетного легиона в петлице, и г. *Ходзь-*

ко Александр, с орденом Анны 2-й степени на шее. Скажу о г. Ходзько.

Это имя дорого мне с давних пор. Игнатию Ходзько (брату профессора с русским орденом в Collége de France) принадлежит поэтический сборник «Литовских очерков» (на польском языке), перевода которых давно ожидает русская литература. Приехавши в Париж, я тотчас спросил у знакомого медика: «Кто заменил в Collége de France *Мицкевича?* Кто там читает теперь знаменитый некогда курс славянской литературы?»

— Право, не знаю, — отвечал он мне, — какой-то, говорят, Ходзько, также эмигрант...

Слово «эмигрант» сильно заинтересовало меня. Мне представился талант автора «Литовских очерков», и я кинулся за Сену. Спрося у привратника о камере, где должен был читать Ходзько, я забрался туда за полчаса. Жду, сижу, никто не появляется. Я думал, что ошибся, и опять пошел к portier. «Нет, это и есть та самая камера!» Я воротился и застал еще одного, длинного и сухого слушателя, в очках. Наконец, дверь за кафедрой отворилась и вошел профессор. Один вид его уже рассеял мои ожидания. Оправляя кокетливо на шее красную ленту русского, заслуженного им на Кавказе ордена, он поклонился, развернул книгу и, сконфуженный таким числом слушателей, долго не мог говорить. Потом, сказавши по-французски: «У нас сегодня, *кажется*, мало слушателей!» — прибавил по-русски: «Позвольте, господа, узнать, с кем я имею честь говорить?» Я назвал себя русским; худощавый господин в очках прибавил ломаным русским языком, что он — чех. Ходзько помолчал и начал, неизвестно почему, уже обращаясь только ко мне и исключительно говоря по-русски, следующею тирадой:

— Господа, вы, я вижу, обманулись; вас влекла сюда на лекции слава Мицкевича, сочинения которого я великолепно издал здесь в Париже в 1844 году (продаются у Франка, на улице Ришелье, *но* можно найти и в Варшаве). Увы! На месте великого гения вы видите карлу... Извините,

господа, я готовил себя к чтению о Востоке — я ориенталист по преимуществу. Вот я в Лондоне издал перевод из Кюр-Оглу; я же заведую в Париже восточными древностями. Но что прикажете делать? Мицкевич умер, умер... ну, мне и предложили его кафедру...

Долго еще оправдывался почтенный профессор, точно будто мы его обвиняли. Чех мрачно молчал и кусал все ногти; я тоже молчал.

— Итак, рад с вами познакомиться! — начал опять профессор, подавая мне и чеху руку с кафедры и спрашивая нас о фамилиях наших; мы назвали себя.

Снова оставя чеха в стороне, профессор снова и единственно обратился ко мне:

— Ну, что нового в России? Что делается в литературе? Какие вновь явились писатели, как идут такие-то и такие-то журналы?

Я удовлетворял его, как мог. Говорили мы долго. Но вот часы прозвонили, и лекция кончилась. Чех, не изменяя мрачной позы, вышел; вышли и мы, как будто дело сделали.

— В следующий раз я буду читать о Белинском и Грибоедове! — сказал при прощании профессор.

Мы расстались. Но я скоро уехал из Парижа и не слыхал лекции о Белинском.

Зато каким триумфатором шествует в Сорбонне знаменитый публицист и доктринер, *Сен-Марк Жирарден*, певец золотого века французской литературы! Когда я попал к нему на лекцию, там было до 2000 слушателей. Какая разница с бедным стариком Ходзько, желавшим читать для двух слушателей о Белинском и Грибоедове! Пятидесятилетний говорун, блондин, Сен-Марк Жирарден безобразен до крайности. С длинными волосами и с ленточкой почетного легиона в петлице, соблазняющего ныне всех передовых людей современного Парижа, этот господин подошел необыкновенно к нравам своих слушателей. Декламируя Буало (небесного Буало) и Расина (волшебного и прелестного Расина, как он выражается), снисходя к этому Корнелю (до-

бродушному, простоватому Корнелю) и восторгаясь Вольтером (вулканом, Везувием современного человеческого ума, из которого вышли все последующие гениальные умы: Наполеон I, Фурье и... Наполеон III — готов он подсказать, а прибавляет неожиданно... и Беранже) — он стучит по столу кулаками, бьет себя в грудь и вообще ведет себя, как известный гоголевский учитель в рассказе городничего. Неистовствует Сен-Марк, неистовствует и публика Сен-Марка. При мне он читал о баснях Лафонтена и, делая ежеминутно намеки на разные новости дня, вызывал громовые рукоплескания.

Мы с товарищами вышли из шумной аудитории в каком-то опьянении, точно хватили дурману.

— Все хорошо, — говорил один из моих товарищей, — одно нехорошо: зачем он трогает таких людей, как Виктор Гюго? Слышали, он пустил мысль, будто Гюго подкуплен англичанами и стремится подорвать покой домашнего очага Франции?..

— Немудрено, что он клевещет! — отозвался другой мой товарищ. — Вчера мне говорили, что все статьи самого Сен-Марка Жердена в «Journal des Debâts» куплены, только уж, конечно, не англичанами...

Мера терпения нашего истощилась, и мы снова решились расстаться с Парижем. Трое из нашего круга уехали в Швейцарию, двое — вторично в Лондон, один — в Италию, а я с знакомым вам студентом медицины отправился на месяц на юг Франции по пути в Тулузу и Марсель. У моего товарища была цель: дама его сердца уехала в Тулузу, а я искал случая снова потолкаться по французским деревням.

И вот мы опять очутились в поле, среди цветущих лугов, зеленеющих холмов и пашен. Мы ехали в маленьком кабриолете, на паре старых лошадей, добытых в последнем городке, где простились с железной дорогой и шоссе. Мы должны

были, миновав главный путь на Тулузу, своротить в Меленскую долину и отыскать деревушку Les petites Barrêtes, куда укрылась сердечная страсть моего компаньона.

— Да ты, брат, хорошо знаешь дорогу и эту деревню? — спрашивал мой товарищ извозчика.

— О, да! о, да! еще бы не знать! — отвечал тот, покуривая свой «caporal».

Но кончилось тем, что к вечеру целого дня езды с роздыхами и кормом лошадей в разных постоялых дворах возница въехал на какой-то косогор, посмотрел во все стороны, поохал и объявил, что он сбился с дороги и попал, вместо Barrêtes, в Сен-Люк. До вечера оставалось еще часа три. Жар стих, жаворонки звенели над гречихой и желтыми полянами кользы, дорога раздваивалась вниз по косогору: вправо шла она к лесу, а влево — к большому селу с каменною церковью, окаймленному рекой и садами.

— А это же что за деревня?

— Это — Сен-Люк! Барет тоже недалеко, да надо ехать туда через речку, а недавно на ней разорвало и снесло мост; жители еще не поправили; вброд же опасно...

— Та же дорога к Манилову, с Маниловкою и Заманиловкою! — сказал, шипя от досады, мой товарищ и крикнул: — Ну, дружище, ступай в Сен-Люк!

Мы поехали.

— Что же ты думаешь там делать? Слышишь, река вышла из берегов, дожди шли большие? Как мы переедем?..

— А Бог с вами! — грустно отвечал он. — Оставайтесь в Сен-Люке, а я и вброд переправлюсь один... Генриетта завтра едет к дяде в Тулузу.

Что было делать! «Любовь преград не знает». Мы доехали до маленькой таверны в Сен-Люке, с проклятиями отпустили коварного возницу; приятель мой решился оставить все вещи на мое попечение, а сам пошел, не говоря ни слова, к реке.

— Куда же ты?

— Переплыву и пойду пешком в Барет; всего семь верст...

— Ну, я тебя одного не пущу; и я пойду.

— А вещи?

— Отдадим их в гостинице хозяину...

Он с чувством пожал мне руку. Мы пошли, расспросивши о дороге; подошли к реке: беловатая, а скорее мутно-желтая вода быстро катилась в берегах; не было видно ни одной лодки. Мы пожали плечами и пошли вдоль берега, ища места поуже. В полуверсте оттуда мы подошли к одинокому домику, крытому красною черепицей и окруженному огородом и садом. Мы постучались у ворот; никто не откликался. Мы перелезли через забор и огородом прошли к дому.

— Дедушка Этьен в поле! — отвечала девочка, встретившая нас на крыльце. Мы пошли назад.

В вечерних сумерках, со стороны поля, нам показался, действительно, согбенный старичок лет под девяносто, в красном жилете, в серых суконных сапогах и в красной шапочке на белых, как пух, волосах. Он шел с палкой...

Едва он поравнялся с нами, мы обратились к нему с просьбой помочь нам переправиться через реку.

— А кто вы такие?

— Путешественники; спешим к товарищу в Птит-Барет.

— Можно, можно! Лодка у меня есть, — сказал он, лукаво поглядывая на нас, — только вы ночью собьетесь с дороги: у нас под Тулузой множество тропинок, которые скрещиваются в разных направлениях.

Он пошел в свой дом, достал ключ и повел нас к реке, где лодка была на цепи заперта на замок, между двух столбов.

— Вы не русские ли? — спросил дедушка Этьен, довезя нас уже до половины желто-серой, бурлившей реки.

— Русские...

— Я сейчас угадал!

— Почему же?

— По вашей отваге и какому-то беспечному спокойствию...

— А вы знаете Россию?

— Да я чуть-чуть сам не очутился у вас недавно.

— Где же?

— Двое моих племянников отправились к вам в Одессу, чтобы сделаться вашими крестьянами...

— Как так?

— Их сманил здешний аферист де Велистан.

— Де Велистан Эскюдье?

— Да... и вы его знаете?

— Знаем по газетам...

— А!.. — И старик с злобною иронией посмотрел на нас.

Взявши деньги за перевоз, он сухо расстался с нами. Мы пошли по указанной тропинке и шли долго. Сначала было еще ничего: дорога кое-как освещалась отблеском заката. Но скоро земля стала незрима под ногами. Мы попали в стены высоких хлебов. Сыростью охватила нас быстро наступившая темнота. Мы сделали еще несколько шагов и остановились.

— Ну, я далее не пойду! — сказал я товарищу. — Воротимся лучше...

Отчаянию бедного влюбленного не было пределов. Он упал на землю и, ругаясь, проклинал весь свет. «Как! ехать столько верст, быть у самой цели и не достичь ее... а завтра *она* уже едет!»

— Нет! — крикнул он и кинулся в отчаянии снова по дороге вперед.

Насилу догнал я его и образумил, доказавши, что нам лучше воротиться к старику Этьену и упросить его провести нас в Барет.

Мы воротились, чуть опять не сбившись с пути у самой уже реки, долго кричали и звали лодку. Наконец, впотьмах плеснуло весло, и дедушка Этьен неслышно подплыл к нам, весело покрякивая и посмеиваясь.

— Ага, господа русские! Сбились-таки с дороги, я же вам говорил! Что же вам нужно?

Мы начистоту сознались, что есть у нас особая, сердечная причина спешить в Птит-Барет, обласкали его, наговорили ему кучу любезностей, сторговались с ним, и он решился запрячь своего Коко, лично доставить нас по назначению и даже помочь свиданию с целью нашей поездки, так как в той деревне был у него знакомый и близкий ему человек.

Мы неожиданно узнали, что река, верстою ниже, была мелка. Этьен запряг коня в телегу, перевез нас вброд, и мы отправились по сыроватому узкому проселку шагом. Взошел месяц и ярко осветил окрестности; ярко осветились наши души, чутко настроенные нежданными преградами романтического похождения...

Коко выступал ровным, тихим шагом.

Мы ехали по берегу небольшого озера, в конце которого светились огоньки.

— Это — Птит-Барет? — нетерпеливо спросил мой компаньон.

— Нет, о нет еще! Мы — на половине дороги!

— Вы, кажется, сказали, что ваши племянники...

— Да, вот бедные мои племянники, те попали к вам в Россию. Видите ли, не всем везет счастье: покойная сестра так обеднела, что за десять лье в Тулузе носила по курице на рынок. Земля им досталась плохая, сырая; под виноград не годилась. Они сперва сеяли пшеницу...

— Лопатами копали землю под пшеницу? — иронически спросил я, вспоминая тысячедесятинные посевы херсонских и екатеринославских степей.

— Да, лопатами; у нас зачастую лопата заменяет у бедняков плуг, на который трудно скопить денег, да и земли только на лопату хватит. Ну вот, пшеница не удалась. Они стали разводить скот: скот пропал. Сестра пристроила сыновей в Сен-Люк, а сама через год умерла. Жаль ее! Тут пошли все горести. Сыновья сестрины, мои племянники, лю-

ди сильные и честные, сперва пошли каменщиками в Париж, а потом решились стать в ряды колонистов и отправиться в Америку. Тут прошли слухи о том, что в Россию требуются работники.

— Ну-с?

— Вот наша одна департаментская газета и напечатала статью, в которой говорит: к чему ехать нашим колонистам в Америку и в Полинезию? Лучше ехать в Россию; там же французов любят, и всякий француз в былые и недавние еще времена там сейчас получал место воспитателя юношества...

— Эти времена прошли...

— Пусть так! Но вот наши закопошились. Мой племянник по мужской линии, Франсуа Пусон, приехал и привез мне эту газету. Мы ее читали зимою, при свете камина. Он задумался. Вдруг опять прошел новый слух. Известный у нас и уважаемый прожектер в Тулузе, мусье Феликс д'Эскюдье де Велистан снесся с Россиею через какое-то агентство на юге и стал получать заказы, набирать колонистов в Россию. Это было в 1858 году, летом. Осенью мои племянники уже поладили с ним и в Тулузе у нашего же земляка, нотариуса Фабра, совершили условие по форме...

— В чем же состояло это условие?

— О, условие отличное для них, да плохо верилось в их надежды. Во-первых, земли обещано вдоволь и такой, что унавоживать не надо никогда: это близ вашей Одессы. Потом работать им три дня в неделю на владельца, а три дня на себя... Это наше metteyage, разберите его только повнимательнее! Переезд, орудия, семена — все обещано от владельца и предложено вперед, не говоря уже о рабочем скоте, даже карманные деньги по 100 или, кажется, по 150 франков на каждого.

— И карманные деньги?

— Клянусь честью! Мы сами, после их отъезда, читали их условие: оно ходило у нас по рукам, в списках. Его вы-

пустил друг Фабра, другой нотариус, Дель-Касо! Да что еще! Во время неурожая владелец обязывался всю колонию кормить даром и снова дать им семена... Это условие — у нас небывалое!

— Да, у нас это принято везде, во всех помещичьих имениях.

— Мы этого не знали. Оговорена случайность заразы, в случае дурного климата и этой случайности, владелец обязывался даром их доставить обратно домой. Уж известно — русские; извините, господа, ведь вы все еще дикари, казаки, богачи и привередники, любите щегольнуть великодушием. С колонистов требовалось непременным пунктом доброе поведение, а им, наконец, предоставлялось право содержать скот в количестве, в каком только они пожелают... Ну, и отправились они!

— И что же?

— Мы их проводили со слезами и благословениями. «Vivent les seigneurs russes! — восклицали переселенцы за последним прощальным обедом. — Они дики и странны, но добры! Мы их видели в театрах в Париже, на сцене!» Условие заключено на восемь лет. И вот уехали племянники мои, Франсуа Пусон из-под Мирамона, с двумя дочерьми невестами, Франциской и Анной, и другой мой племянник от второго брака сестры моей, Жан Рималью, с женою, также из гаронского департамента, а вслед за ними поехали еще 6 семейств, всего около 30 человек. Когда они прибыли в Россию, мы тотчас получили письмо. Писали супруги Рималью, что они счастливо приехали в Одессу, что консульство наше там подтвердило акт их условия; что они пока поместились в собственном доме помещика, к которому приехали, в самом городе Одессе, а потом также в доме его в деревне; что их кормят отлично, ласкают; что люди помещика их не касаются, что даже поставщик припасов на их стол — избранный ими самими и утвержденный владельцем — француз. Вместе с ними де Велистан прислал помещику из Франции на счет последнего купленные улуч-

шенные плуги и прочие орудия, знакомые им. Земля оказалась превосходною; климат отличный, теплый, почти как в Нормандии; одарили их богато. Хлеб в первый же год уродился баснословно, и они продали много пшеницы уже в свою собственную пользу. Стали они знакомиться и с туземными жителями, крестьянами. Жена моя, старуха, раз читала мне письмо от внучки нашей, Анны Пусон, что за нею даже приволокнулся какой-то богатый гвардеец, бывший в отпуску по соседству. А отец ее писал мосье де Велистану, что все самые пылкие их надежды превзойдены и что они увидели много радостного на опыте и еще более ждут впереди, скучают только по одному: по родичам и родине! Д'Эскюдье де Велистана осадили сотни новых желающих, и он опубликовал статью о своем успехе... Я был в Тулузе у префекта, возил его детям слив в подарок (его семья жила у меня на даче два лета) и увидел на улице Урсулы, где живет мосье д'Эскюдье, в доме под № 8 (как у нас хорошо узнали его адрес!), целую ярмарку. Его осаждали предложениями особенно с тех пор, как один из переселенцев, ушедших с моими племянниками, именно Жан Фурманн, выслал своей матери в Мирамон в первый же год двести франков в подарок и два фунта отличного душистого чаю, какого у нас не знают... Наши собрались ехать, чтобы делаться с такой легкой руки русскими Крезами. И вдруг...

— И вдруг что же?

— И вдруг общее рвение охладело. Прошел слух, что вышли какие-то недоразумения. Какие-то дрязги затеяло наше консульство; сбили наших колонистов, и вышел неожиданный скандал... Мы не успели опомниться, как в минувшую осень наши крезы, большею частью, воротились обратно...

— Что же такое вышло?

— А вот постойте! Мы уже приехали. Поищем вам квартиры, а завтра я доскажу вам остальное, если вы встанете рано; мне надо домой...

Седовласый дед спрыгнул с телеги, как мальчик, и повел лошадь в поводу. Мы осмотрелись. По сторонам шли домики и сады, прерываемые полянами и огородами.

— Это Птит-Барет?

— Именно так, Птит-Барет и есть... Отправимся к мосье Жувену...

— Кто это такой?

— Мой приятель, здешний священник, молодой еще человек, но отличный малый; я у него всегда останавливаюсь; он у меня купил корову...

Мосье Жувен впустил нас. Усталые, мы отказались от ужина и скоро заснули на мягких тюфяках. Дедушка Этьен, устроя своего Коко в стойле, также пришел к нам, постлал себе постель на полу у дверей и долго раздевался, скидывая с себя кучу каких-то не то кофт, не то жилетов, и в конце все-таки оказался весь окутанный фланелью. Он очень живо напоминал нам французских гувернеров-стариков в России, под конец своей жизни становившихся поварами у своих питомцев, когда последние в свой черед становились самостоятельными, по смерти батюшки и матушки. Дружный тройной храп огласил маленькую комнату приходского аббата. Я думал встать рано, но проспал долго. Мосье Этьен уехал чем свет; исчез до зари и мой товарищ: вероятно, ему не спалось долго... Он ушел на поиски Генриетты.

Когда я проснулся, то первое, что озадачило меня, это были окна, закрытые особого рода резными ставнями. В золотых сумерках комнаты, отливаясь в мерцающих лучах, виднелись по стенам маленькие картинки, раскрашенные красками, точь-в-точь у нас в деревенских комнатах, а у окна с надворья давно, как жук, гудел чей-то голос, будто кто-то сидел на завалинке, кашлял, пересмеивался с подходившими к нему приятелями, напевал и шутил и как будто кого ожидал. Когда я совершенно очнулся, то кто-то вздохнул, отошел и, удаляясь в глубь двора или сада (я не мог хорошо решить, куда выходило окно), запел вполголоса какую-то песню.

Вслед за тем послышались слова ближе к дому: «Pajalistée, pajalistée, Ivan Ivanisch!» — и хохот нескольких лиц покрыл эти восклицания. Я быстро оделся, наскоро умылся приготовленною водой и когда выходил в сени, то же незнакомое лицо на дворе пело знакомый напев и выговаривало:

«На улис
Две курис
С петуком дируцца;
А баришь,
Красавишь,
Смотрит да смиуцца...»

Неожиданная картина представилась моим глазам. На крыльце домика сидел чернокафтанный аббат; несколько человек фермеров из соседних дворов стояли у крыльца и держались, как говорится, за животики, а по двору ходил в широчайших хохлацких синих шароварах и в мерлушковой бараньей шапке рыжеватый парень, горланя: «*На улис две курис с петуком дируцца*» и ломаясь на всякие манеры.

Когда я вышел из сеней и поздоровался с мосье аббатом, он отрекомендовал мне веселого парня.

— Это бывший ваш колонист из Одесского округа; рекомендую вам его — веселый малый!

Веселый малый опять совершил колено, круть-верть, и, покрываемый хохотом земляков, сказал мне, снявши серую шапку и комически раскланиваясь:

— Pajalistée, Ivan Ivanisch! Ah! kak vi pojivait? Schort vosmy!

Хохот не прерывался. Аббат торжественно указал мне на него и с гордостью заметил:

— А малый, однако, превосходно изучил ваш казацкий язык. Как вы находите?

— О, да! о, да! Превосходно!

Я подошел ближе к парню, который оказался Мишелем Шевалье (да извинит ему и простит знаменитый публицист и земляк его за такое неуместное употребление имени своего

всуе). Мы вошли в сад, все еще провожаемые умильными взорами фермеров: я, аббат и Мишель Шевалье. Служка аббата принес туда кофе. Мы уселись на лужайке.

— Я очень рад, мосье, — обратился ко мне аббат, — что судьба привела мне увидеть у себя в гостях русского синьора. — Уж почему я был для него синьором, не знаю! — Этот малый восхищал меня своими рассказами о России, я многому не верил, а теперь могу убедиться в истине. Поговорите, поговорите с ним! Ваш товарищ — в гостях у моей прихожанки, Мари Леру. Он скоро будет сюда; не беспокойтесь — *они счастливы*...

«Ай да аббат! — подумал я, — помогает нашему роману...»

Мы разговорились с Мишелем Шевалье.

— Итак, вы были в России?

— Был...

— Вместе с Рималью и Пусоном?

— Да...

— Отчего же вы уехали оттуда?

— Закутил: vodka, vodka! Eh, barine, na vodka! eh!..

Аббат следил за мною во все глаза.

— Ну, этого быть не может! — перебил я. — Вы шутите! У кого вы поселились в Одесском округе?

— Chez messieurs Syróf et Englaisof; ce sont de trés braves gens!»

— Хорошо ли вам было у них?

— Как вам сказать? Отлично; лучше не выдумаешь! Наша колония, как приехала, сперва вела себя отлично. Сначала мы жили в Одессе, а потом в селе Ильинке (a Illinka), в доме помещика.

— Что же, вы охотно работали?

— О! как волы, мосье, как волы!

— А именно?

— Мы вставали рано, работали, завтракали, потом опять работали, после обеда опять...

Аббат вмешался, умильно вздохнувши:

— Скажите, пожалуйста, ведь Одесса возле казаков, а казаки ведь это сибирцы (ce sont de sibiriens)?

— Да, около того. Скажите же, мосье Мишель Шевалье, что вам в особенности понравилось в России?

— Видите ли, mon petit monsieur, я был до отъезда в Россию при одной странствующей труппе мирамонских актеров. Моя доля всегда состояла в исполнении ролей веселых и влюбленных людей... Поэтому, господа... кррак! я влюбился по уши в Россию! Там все хорошо: и люди, и небо, и земля, и водка! Oh, la delicieuse vodka!

— Так вы таки познакомились и с нашим национальным напитком?

— Oh, dites moi ça! Na vodka, na vodka! И чуть скажешь это, уже гг. Сиров и Энглезов[1] сейчас в карман и дают все, что просите!

— Расскажите же, прошу вас, что вам еще понравилось?

Мосье Мишель встал, ухватил себя за полотнища синих шаровар и, разведя их до чудовищной ширины, сказал:

— Tiens! Как, например, найдете вы это? Потом это? — Он снял шапку с огненно-рыжих кудрей. — От этих штанов прохладно, от этой шапки тепло. Но это еще ничего не значит! Нет, я вам скажу, что первые заменят вам в случае нужды палатку и парус, а вторая — подушку... Я уже испытал...

— Ну, а климат как вы нашли?

— Климат? Как бы вам сказать... Недурен! В первое лето налетели было такие кузнечики, grand comme ça! — Он указал на руку, почти до локтя! — Как их зовут? Постойте! Да — sarrantscha! именно sarrantscha!

— Да вы отлично выговариваете! — заметил я.

Мосье Michel не выдержал себя от похвалы, нагнулся к моему уху и сказал две фразы так бойко, как только бойко

---

[1] Господа помещики Зиро и Энглези.

их удалось записать всеми буквами в отчет о путешествии по России Александру Дюма...

Аббат сурово покрутил носом.

— О, что вы ни говорите, господа, о России, а все-таки, извините, вы все еще — казаки! Да, именно, казаки!

— Что же тут обидного?

— Как? Казаки?! — И аббат дико захохотал. — Да позвольте вас спросить обоих: вы оба почти русские, вы вполне, а вот он — почти! Отвечайте мне: правда ли, что у вас простой народ перед пасхой режет католиков и кровью их мажет свои хлебы? Вы не сознаетесь? А? А правда ли, что все ваши grands seignieurs имеют целые гаремы, как у ваших друзей и соседей турок? Вы смеетесь? Недаром же в такую отсталую страну потребовались наши колонисты... Ведь только теперь, когда это сознание пришло к вам, будет у вас настоящее хозяйство...

Мы молча вышли на улицу.

Аббат все ждал с моей стороны возражений, но я «не тем исполнен был». Меня занимал вопрос, отчего эта громкая колония так нежданно разошлась. Аббат вызвался мне показать деревушку; но за ним кто-то пришел, и он на время оставил меня одного на руки Мишеля, который без него вдруг потерял форс и пошел тихо и сумрачно.

— Скажите мне, — начал я, — отчего разошлось ваше дело?

Он оглянулся. Мы шли между огородами, среди которых мелькали уединенные домики Птит-Барета.

— Вот видите ли, тут замешалась политика, — начал он рассудительно и вместе таинственно, — клянусь вам, добрый господин, нам у вас было хорошо. Мы ели много мяса, отличный белый хлеб, пили кислое здоровое питье из хлебной муки, имели винные порции и соседние немцы-колонисты говорили, по праздникам сходясь с нами, что французы съедят своих господ. Все шло хорошо, мы жили в чистых каменных жилищах (спросите ирландцев, как те живут в первые годы в Полинезии и в Африке или Америке!), у нас даже был очень часто,

при малейшей нужде — доктор с визитами! Мы начали хозяйство на новый лад, вводили новые плуги, бороны, сеялки, особые сноровки в каменной и столярной работе. Всех нас ласкали истинно и искренно, а в Одессе жена одного русского боярина (d'un grand bojar russe!) сманивала меня даже в гувернеры к своему сыну, за 2000 франков в год! Подумайте это! Мы были в восторге! По праздникам, признаюсь, куликали дружною семьей... И вдруг...

— Что же заставило вас нарушить контракт для возврата на родину, когда вы не соблазнились его нарушить даже для жены боярина?..

Парень остановился и взял меня за пуговицу.

— Это останется между нами?

— Да... если желаете...

Он привел меня к самому забору.

— Сюда вмешалась *политика*...

— Как так?

— Именно политика. Из наших корреспонденций, из тулузских газет, кричавших у нас о нашем контракте, *выше* узнали...

— Ну?

— Понимаете ли, mon bon monsieur, в России теперь уничтожается это servage, ну, а мы явились как бы продолжать его. Понимаете? Три дня работы на нас, и три дня на господина! Ведь это настоящее servage!

— Какой вздор! Да ведь это в то же время и ваше metteyage: вы у себя здесь делитесь за землю доходом, а там у нас — работай...

— Ну, — прибавил со вздохом Мишель, — извините, это показалось нашему консульству в Одессе действительно так, как я вам сказывал, и оно, вмешавшись в наши дела с мосье Сиров и Энглезов, расторгло контракт... Что делать! Честь дороже денег!

Я был изумлен этою исповедью.

— А убытки ваших землевладельцев и г. Эскюдье де Велистана?

— Убытки были больше; но что делать? Этого требовали честь и достоинство времени, и наш бравый *шеф*, наш император, никогда бы не попустил этого!

Мы пошли далее. Отставной русский колонист и бывший французский провинциальный актер шел с достоинством, мелькая своими синими уморительными шароварами и изредка заглядывая мне в лицо. Вдруг в конце улицы, у какой-то лавочки с вывеской оленя и бутылки, послышался крик по-русски: «Александр Сергеич, Александр Сергеич! где ты?» Это звал меня мой компаньон. Не успел я откликнуться и поворотить к нему, как Мишель Шевалье нежданно загородил мне дорогу, снял шапку и, хватая меня за руки, стал молить:

— Добрый господин, сжальтесь надо мною! Возьмите меня снова в Россию. Признаюсь вам: я здесь умру с голода; я неспособен жить тут. Я вчера узнал в Сен-Люке о вашем проезде, сегодня рано услышал, где вы, от дедушки Этьена и стерег вас с самой зари у здешнего аббата. Возьмите меня, ради имени Христа и святой Марии! Я готов ехать вашим лакеем, рабом; я готов служить вам собакой, лошадью! Возьмите меня! Я чувствую, что у вас я могу составить свое счастье, а здесь... здесь... в этом родимом крае... при этом *третьем*... еще в солдаты попадешь... а я люблю пожить, пожить люблю...

И он заплакал.

Подошел мой компаньон. Мы потолковали. Я передал рассказ о вмешательстве консульства в дело о закабалении в рабство колонии, где был этот парень. Но мой товарищ, озлобленный донельзя нежданною сценою с Генриеттой (он застал коварную даму своего сердца на коленях громадного гвардейского вольтижера), — сказал мне наотрез:

— Все здесь, дружище, мерзость и фальш! Все здесь блестит снаружи, но гнило и подло внутри. У нас здоровее живется... Поедем скорее домой! Да как бы устроить поездку напрямик, так, чтобы и в Париж не заезжать!

Мы вежливо отказали мосье Мишелю. Он поклонился, усмехнулся, крякнул и пошел, выплясывая, подобравши, в виде женской юбки, свои штаны и напевая во все горло: «На улис две курис» и т. д.

Когда мы, нанявши коня у аббата, уезжали, вся деревушка Птит-Барет провожала хохотом бывшего русского колониста: он ходил вверх ногами.

VIII

От Парижа до Тосканы

Флоренция, 2 (14) марта 1860 г.

Из Парижа до Флоренции езды столько же теперь, как у нас, положим, от Москвы до Тамбова, то есть, за вычетом стоянок, около двух дней. Один из русских приятелей моих по Парижу, вольнослушатель парижской медицины, уговорился со мною, и мы поехали сперва на юг Франции, где прожили около недели в двух поместьях близ Марселя, а потом пустились через Сардинию в Тоскану, ко дню назначенной всеобщей подачи голосов.

Рано утром вагоны лионской железной дороги застучали по извилистым рельсам вдоль излучин марсельского прибрежья. Алое утро загоралось по белокаменным уступам окрестных скал. Желтый берег, усыпанный ракушками, широкою каймою бежал справа у рельсов. Засинело тихое, чуть подернутое туманами море, на нем замелькали белые паруса. Вот опять тоннель; вот снова железная дорога взбегает на крутизну. Кругом, по бокам дороги, идут отвесные, громадные обрывы. Становится еще светлее. Пошла зелень. По скалам цепляются плющи. Справа у берега потянулись сады и белокаменные, крытые розовою черепицею, красивые дачи. Пахнет фиалками. Что это? Какие-то серые, огромные деревья, без листьев, мелькают, осыпанные розовыми цве-

тами. Я наклоняюсь к маконскому купцу, который с вечера все бранил своего земляка Ламартина за аферы его с вином, и спрашиваю, что это такое?

— Миндальные и абрикосовые деревья! — отвечает он, зевая и потягиваясь спросонья.

Вот выступает весь Марсель, с каланчами, скалами и теми же сплошными розовыми кровлями белых домов.

— Что абрикосы и миндальные деревья! — заключил мне француз уже сам собою. — Вы посмотрите туда, в море; видите скалу и на ней замок, род крепости, видите? Ну, это же тот знаменитый замок Иф, где был заключен, по словам Дюма, Монте-Кристо! Ведь Дюма подельнее Ламартина... Какой у него у самого был замок, просто чудо!

С моим спутником-студентом я в Марселе как-то разошелся в улицах, и когда, через два часа, снова ехал с ним по железной дороге до Тулона, спросил его: «Что он нашел особенно любопытного в городе?» Он отвечал: «Удивляюсь, как Павел Иванович Чичиков мог прославить здешние мыла! Сущая гадость! Я купил кусок, умылся им, побрился — и едва оттер свои щеки одеколоном. Щиплет, как шпанская муха! А вот одно чудо так я нашел!» — «А что?» — «Давно ли назначены выборы в Италии? А на пристани, куда я протолкался взглянуть, как выгружают французы нашу степную пшеницу, какой-то старик носит попугая и тот выкрикивает уже оклик во вкусе Гарибальди: «Italia sia, Italia sera!» (Италия есть, Италия будет!) — и толпа ходит за ним... Вот так французы!»

И вот мы в почтовом дилижансе перевалились в Сардинию, мы в Италии. На границе нас кое-как осмотрели в таможне. Это было снова рано поутру. Сардинский пикет стоял у моста, где началось королевство «первого солдата итальянской независимости». Карабинеры, опершись на ружья, в маленьких зеленых, на парижский лад, фуражках à la chasseur d'Afrique курили трубочки. Офицеры пустились срывать нашим дамам-спутницам с заборов и дарить на память, на воздухе круглый год цветущие розы.

— Есть у вас сигары?

— Нет!
— Есть шелковые ткани?
— Нет; а зато есть книги!
— Какие?
— «Папа и конгресс», «Кардиналы и Гарибальди», «И моя лепта в итальянскую кассу...». Подвысь! — И мы проехали мысленный сардинский шлагбаум, разумеется, в уме только произнеся это русское слово...

Какая разность с русскими снегами, морозами и туманами в настоящие ясные, светлые дни чудной итальянской весны!

Что это? Соловей гремит в ракитнике, или как тут зовут эту бледно-зеленую плакучую иву... Кругом голубые, лиловые, розовые, а далее, гребнями, все белые и белые, переходящие в серебряные гряды, горы. По скатам гор к морю идут зеленопепельные леса, дубравы — как вы думаете, чего? Оливковых деревьев! Каждое дерево усыпано только что поспевшими черными ягодами. Это наши маслинки. В окно желтобокой кареты видны в глубине долин, по сторонам дороги, клетками перегороженные дворики и сады. В садах цепляются по решеткам виноградные лозы; и опять летят навстречу вам цветущие миндальные и абрикосовые рощи. А это что? Боже правый! В феврале, когда в Москве на Ильинке еще ходят блинники с отмороженными носами, а в Петербурге дворники еще и не думают браться за свое весеннее солнце для изгнания льда, то есть за лом и лопату, — в этом самом феврале, в этот самый день перед вами сады апельсиновых и лимонных деревьев, осыпанных настоящими апельсинами и настоящими лимонами. Уж не из милютиных ли лавок это навезли сюда их и развесили по веткам? Нет, подойдите, посмотрите! Эти золотые и оранжево-золотые плоды действительные и в самом деле сидят и дозревают тут в темно-зеленых, густых и лоснящихся листьях. Мы обедали с студентом в маленькой таверне близ моря, в одном из маленьких городков, где перепрягали наших лошадей. Гарсон за десертом отправился прямо в сад; по пути выполоскал в фонтане салфетку и развесил ее на заборе; потом вытер руки, сорвал пять апельсинов с низенького, свежего, корена-

стого деревца и принес их нам в подоле, прямо с листьями и веточками. «Когда они у вас поспели?» — «Уже в январе; да мы не рвем всех!» — «Отчего?» — «Куда их девать! Видите сколько! — сказал он, указывая на сад, как иная наша беззубая седая ключница указывает в урожайный год на густо усыпанный плодами вишенник, который и взрослых лакомит, и детей подзадоривает, и воробьев манит с утра до ночи. — Да кроме того, для лучшего вкуса мы иные плоды оставляем по два года на дереве. И странно: прошлогодние апельсины выходят еще лучше, когда новые станут созревать между ними! Так и выходит, что старые уже созрели, а новые между ними начинают цвести!»

В Ницце мы пробыли несколько долее. Это чисто земной рай, или, скорее, европейская оранжерея, теплица. Здесь теперь более 800 человек русских. Идешь по улице — савояр наигрывает и, выплясывая, насвистывает «камаринскую». Вы остановились у магазина цветов. Сзади вас подходит толпа разряженных дам. Вы думаете, что все это донны и синьоры? Ничуть не бывало. Это наши милые калужские и полтавские барыни и барышни. Разговор идет по-русски:

— Вы, мадам, знаете, чей это магазин цветов?

— Нет...

— Ай, ай, ай! Да это Альфонса Карра автора, «Ос»... Он сам своею особою приехал сюда, занялся и здесь коммерцией, имеет тут чудную виллу на аренде, издает тут своих «Gueppes» и каждый день его можно видеть в окно кафе «Американ», где он, длинный, сухой и с седою бородой, читает газеты...

— Ах, очень рад, медам, — вмешивается, также по-русски, в разговор незнакомок мой спутник-студент, — я давно из России, а здесь, говорят, у вас и газеты русские есть, и частые сношения с Россией. Нельзя ли здесь у кого-нибудь достать мне, страннику, прочесть роман Гончарова «Обломов»?

Дамы с недоумением осматривают его с ног до головы и молча расходятся...

— Александр Сергеевич, а посмотрите сюда, — говорит мне мой спутник, когда мы выбрались из Ниццы

пешком в маленькую прогулку в горы, — вот картина, так картина!

И действительно, между скалами, по гладким пустырям, глушили исполинские, в рост человека, кактусы, длинные, с иглами, узловатые, игольчатые и в виде каких-то тростей, точно иной раз у нас простоватые лопухи застилают глухую поляну над прудом у сада. Кактусы, которые у нас растут только за стеклами!

Уезжая из Ниццы, мы разговорились с кондуктором-стариком, воевавшим за Италию еще при Карле-Альберте.

— Бывает в Ницце снег?

— В десять лет иногда бывает, раз или два...

— Как же он бывает?

— А вот как! Тут жил, лечился от простуды, один ваш земляк, морской офицер, и при нем был денщик. Ну, офицер и поручил ему прибежать сказать, когда выпадет снег. Офицер этот прожил тут пять лет, выздоровел и не видал снегу. Раз только пошли какие-то крупы, ветром, что ли, их с гор понесло, денщик и прибежал: капитан, говорит, снег идет! Но пока капитан вышел, крупы растаяли и кругом все зеленело, и розы цвели.

Не мог мой спутник не подтрунить и над княжеством Монако. Когда мы втянулись из Ниццы опять в горы и пустились их гребнем в Геную, это княжество, то есть городок с собственным своим князем, стал виден у ног наших, в долине, на берегу моря. Кондуктор стал что-то с насмешкой шептать моему товарищу и толкать его под бок, а студент стал толкать меня. Дело было на империале, наверху кареты.

— Что, Александр Сергеевич, кондуктор говорит, что у этого князя 800 душ подданных и что он имеет свой двор, свой штаб и свое войско! Как это вам покажется! Вот сказать бы вашему соседу Андрееву, у которого две тысячи душ крестьян, а ходит себе смиренно в мерлушковом халате да больных мужиков сам лечит! Посмеялся бы, я думаю, немало этому княжеству, которое едва и в микроскоп отсюда увидишь...

Мы мчались по пятнадцати верст в час, на чудных громадных лошадях, цугом: две в дышле и три на вынос без

форейтора в шорах, на одних вожжах. Ночью слышалось только хлопанье исполинского бича с козел; да гром колес по белеющемуся шоссе, при блеске томной подруги всех мечтателей, луны, посреди мелькающих гор и пропастей и в запахе цветущих померанцев и абрикосов. Опять заря, опять алые пятна по горам. Ямщик, то есть не наш, а здешний, в широкой шляпе а ла Кавур, иной раз затянет в полумраке, перепрягая лошадей, песню. Вслушаешься, чистейший Марио. Так и повеет всеми тонкостями «Лючии...» и «Трубадура», повергавших петербургских любительниц в сладкие обмороки очарования... А иной раз вдруг земля налево и направо на грядах и маленьких пашнях пойдет красная, как шафран. «Это что такое?» — «Это, как следует, — говорят вам, — это самая плодородная почва!»

Но вот и Генуя, где в минувшем году было столько воинственного шуму и движения.

— Вот город, — заключил мой спутник, обозревая его с вершины мраморной церкви Воскресения, — на который особенно изливается красноречие так называемых «путешественников ради памятников» или обозревателей монументов всякого рода!

— А что, вы не любите этого рода туристов?

— Боже упаси от них! На целых страницах описывают какую-нибудь трещину в конюшне Калигулы, когда и сам Калигула не стоит трех букв в истории Кайданова! А иные еще между памятниками ударяют на описание природы. Кто не видал этих памятников, из описания их не поймет, а кто видел... скажет: да, это любопытно; но люди, среди которых стоят эти гробовые мраморы и граниты, право, любопытнее их самих. Например, подобный господин приедет и сейчас бух в обморок от собора в Милане; встал и давай его размазывать. Напустит столько скуки, что не озеваешься за целый день, прочитавши его рассказ! А заметил ли он у подножия этого собора оборванного голыша, с протертыми локтями? Узнал ли он, проследил ли он его жизнь? Прочел ли он на углу переулка, насупротив этого собора, уморитель-

но-простодушную, бедную умом, но и чуждую напряженности афишу с карикатурой народа на современную политику? Нет, Генуи я потому боюсь, что о ней слишком много писали эти туристы памятников!

Из Генуи мы выехали, снова морем, на винтовом неаполитанском пароходе, в ночи, за день до знаменитых выборов народа, в Тоскану. Море покачивало. В общей каюте сидели у стола две дамы венецианки в черном, одна молодая, красивая, с пышными волосами и ясными, большими, черными глазами, а другая седая старуха. Они всю ночь не спали, сидели молча, ни с кем не заговаривая и изредка вздыхая.

— Куда вы едете? — спросил я их перед рассветом.

— Бежим из отечества, из Венеции...

— Куда?

— В Тоскану...

— От австрийцев?

— Да... Наша вся молодежь, даже десятилетние мальчики, бежали и бегут в Сардинию! — заключила старуха. — Двое моих сыновей убежали во Флоренцию, я более полугода не получала от них писем, думала, что они погибли, узнала, что австрийская полиция письма вскрывала и сжигала и решилась с нею... с дочерью моею... тоже ехать из бедной Венеции! Ах, мосье, что за жизнь теперь в нашей несчастной Венеции!

Гарсон при буфете парохода был сардинец, из волонтеров, отслуживших знаменитую кампанию с Гарибальди и раненный под Сольферино. Он нам рассказывал о походах в горах, называл Гарибальди великим человеком и кончил словами: «Когда же мы услышали об отречении этого великого героя, мы сказали: наше дело кончено, и многие из нас решились переселиться в Америку. Поехал и я, да не доехал... У Гибралтара корабль наш разбило. Я выскочил из воды в одной рубахе. Пропали мои бумаги, деньги, все. И вот, господа, я теперь вам служу за столом... Я очень рад служить; но наше время воротится, и мы еще увидим великую бороду

перед безбородыми тедесками...» Великая борода, разумеется, был все тот же Гарибальди.

В углу общей каюты сидел в широкой черной шляпе и в башмаках с пряжками винодел из Венецианской области, купец и землевладелец вместе. Всю ночь от него не отходил мой приятель, студент. Они толковали о России, и купец все его расспрашивал о ходе нашего крестьянского вопроса.

— Вот как здесь следят за нашими делами! — сказал мне утром студент. — Он знает даже по фамилии главных из членов, руководящих у нас крестьянским вопросом! Только что меня изумило: он австрийцев не совсем бранит, говорит, что с ними ничего, управишься; что им не надо Италии, лишь бы им спокойно было, а то вот, говорит, теперь цены на вино упали, плохо, нечем жить, и все удивлялся, что у нас так мы сами горячо взялись за дело крестьянского вопроса...

— Что же вы ему на это?

— Я ему сказал: берегитесь, вы в опасности! Он побледнел, чуть не вскочил. «А что?» — говорит. Если, говорю, услышит вас этот гарибальдиец, он вас за борт выкинет... Купец встал, перешел к дамской камере и уже не отходил от нее.

Мы в Ливорно, то есть в Тоскане.

Едва ступили на берег, нам стали тыкать в руки прокламации. Что это? Объявления всякого рода перед роковою всемирною подачею голосов.

И мы пошли из отеля толкаться по тихим еще улицам. Это было в субботу, 10 марта. Но 11-го с утра было иное...

Народ толпами стоял на площадях и перекрестках. В четырех частях города и в одном из предместий, входящем в черту его, были открыты собрания для подачи голосов. Мы пошли на главную городскую площадь, Piazza d'Arme. Тут уже не было возможности протолкаться. Десятки тысяч народа толпились здесь и по окрестным улицам. Националь-

ная гвардия, в синих кафтанах и серых брюках, под ружьем, оберегала ратушу, Hôtel de ville, как ее здесь зовут. Когда мы пришли кое-как к последней, ее окна увешаны были до четвертого этажа гирляндами из живых цветов. Собственно зала присутствия ее во втором этаже, куда ведет наружная широкая каменная лестница. Солдаты стояли у дверей вверху и внизу у лестницы, впуская снизу из толпы по тридцати человек на лестницу. В зале из вошедших допускали к столу по пяти человек в раз. Мэр города, маркиз д'Аначиоло, сидел за столом, пред деревянной урной, собственно, четырехугольным ящиком. Дежурный чиновник ратуши держал руку над отверстием урны. Подходящего спрашивали об имени, сверяли это имя со списком избирателей по алфавиту, и мэр говорил: «Вы можете бросать билет; откройте ему урну!» Чиновник отнимал руку от отверстия, и избиратель бросал письменный или печатный билет. Это мы все узнали в три-четыре минуты, стоя в толпе. Глаза всех устремлены были на дверь и окна ратуши. Тишина на площади была изумительная, сравнительно с числом народа и с целью собрания этих потомков Гракхов и Цицерона. Изредка в толпе раздавался отдельный громкий говор или спор. Но остальные начинали шикать или просто окликали: «Баста! молчать!» — и мигом все стихало. Петр Ильич стал шептаться с каким-то длинным монахом. По движению бледных губ последнего я догадался, что разговор шел о судьбе Тосканы. Монах передал ему, что за два дня до этого более зажиточные жители Ливорно и Флоренции напечатали на свой счет и стали раздавать бедным жителям билетики для объявления своего желания о присоединении или неприсоединении к Сардинии. Иные печатали две, другие три и четыре тысячи. На билетиках противного Сардинии мнения значилось: «*Regnum separatum*». На билетиках партии прогресса было напечатано: «*Unione alla monarchia constituzionale del Re Vittorio Emmanuele*». Монах протянул руку к двум, трем из толпы и взял у них нам на показ билетики. Это были унионисты. У одного надпись соединения была отпечатана на гербе Сар-

динии, в сером кресте на красном щите, окаймленном зеленым ободком. У другого та же надпись была отпечатана просто на бумаге, покрытой тройным цветом Италии, полосами: красною, белою и зеленою. У третьего на билетике красовалась сама Италия, в виде героя с золотым знаменем, на котором отпечатаны были те же слова соединения...

Мы стали вглядываться в толпу. Таинственная народная поэма, влекущая к себе в настоящую минуту взоры всей Европы, читалась нами воочию, в подлиннике целиком.

Это не была, господа, Италия 1848 года, Италия Гверацци и Мадзини, Италия красных клубов и уличных грабителей, строивших сегодня баррикады против герцогов, а завтра за герцогов против предводителей самого народа. Мы не видали ни зловещих знамен террора, ни красного колпака, взятого на топор. Продажные фигляры не били себя в грудь, заклиная толпу идти за собою к оскорблению соседей и к дележу чужой собственности. На всех углах прибиты были сотни воззваний, где, после заветных слов: «Livornesi!» или «Concittadini!» — говорилось: «Довольно нам мечтать об отдельных республиках, крошечных княжествах и маленьких отдельных политических самолюбиях. Довольно нам увлекаться золотыми философскими утопиями. Обратимся к действительности. Италия раздробленная — это Италия бедности, унижения, мещанских дрязг, общего тупоумия, лени, неподвижности, междоусобий всякого рода и общего рассеяния. Италия должна соединиться, чтоб стать сильной, чтоб пойти по пути прогресса. Италия была, Италия есть и будет. Небо указывает нам ближайший практический путь...» Кругом, вдоль четырех сторон площади и особенно перед зданием ратуши, стояли городские дамы и девицы и женщины простого сословия. Все были разряжены и молча смотрели на роковую дверь. Только у каждой на груди или на плече был наколот билет, подобный тем, которые несли к урне избиратели. Нечего было вглядываться в эти дамские знамена: слова каждого начинались магическою строкой: *«Unione alla monarchia constituzionale»*. Я говорю, нечего

было вглядываться, потому что все, начиная от окон магазинов, до надписей названий улиц, говорило об этом. Купцы выставляли портрет Виктора-Эммануила в костюме зуава, с надписью: «Le nouveau caporal des Zouaves, premier soldat de l'indépendance Italienne». А улицы переименованы уже давно, и старые доски с их именами на углах заменены другими. Улица Фердинанда в Ливорно называется теперь улицею Виктора-Эммануила; улица Grand Principe названа Сольферино; улица Марии-Антуанетты — Манджента; улица великого герцога Леопольда названа улицею Риккасоли, теперешнего правителя Тосканы. Мимо нас проталкивались мальчишки лет по десяти и восьми. И у них на шапках приколоты были надписи: «Unione alla» и т. д.

— Италия в лице Тосканы, синьоры, хочет теперь показать Европе, что она созрела и поняла ряд горьких опытов, посланных ей судьбою! — сказал нам старик книгопродавец, узнавши, что мы русские. — Боже, если б ваша родина увидела нас теперь и оценила наше терпение! Ведь это, господа, чернь, дикая и увлекающая везде чернь... А посмотрите, как она идет вотировать — точно исповедоваться в храм! — продолжал старик, протирая очки. — Я многое здесь видел! Я видел здесь красных в 1848 году. Они только нам нагадили. Это были все подлецы и обманщики, без средств и дарований, с одною крепкою глоткой... А теперь, посмотрите на этих дам, на этих детей, на этих избирающих... Вглядитесь в эту толпу! Вы ее не знаете, а я знаю... Вот сын погребщика; в будни он носит блузу и красную беретту, колпак, а теперь он надел фрак, белый галстук и шляпу, и смотрите, идет с своим билетиком, как под венец. Вот оборванный нищий-старик, босиком и в бумажной шали, и тот идет класть голос в голоса мира. Сегодня тут провезли мимо меня на телеге пятерых больных из богадельни: и те хотели непременно идти, положить свой голос... Нищие, старики, больные, дети, молодые люди — все мы теперь заодно: мы научились горьким опытом и обдуманно, тихо идем теперь к своей цели!..

Он недоговорил. Толпа засуетилась и раздвинулась. На крыльцо ступил щегольски одетый господин с дамою и пошел в залу. «Кто это?» — спросил я. «Это английский консул! Он попросился присутствовать здесь как частный человек...»

Толпа вотировала весь день воскресенья, 11-го числа, и с утра до пяти часов вечера 12-го. Мы ходили по улицам. Везде было чинно. Только в окнах магазинов кое-где выглядывали карикатуры на австрийцев, да брошюры и афиши, с заглавиями: *«Il funerali dell'impero Austriaco, morto di gangrena»*. Мой приятель-студент отправился в кукольную комедию близ почтамта, где Арлекин и Пьерро побивали тедесков. А я сел на скамье, на площади у мраморной статуи, где всегда играют дети. Был чудный вечер. Дети по-прежнему бегали по кремнистому шоссе чудной площади, играли в бары, перекидывались камешками и апельсинами, хохотали и не подозревали, какую судьбу готовила им в будущем отчизна в эти мгновения...

В соседней улице послышалось какое-то движение. Я встал и наткнулся на торжественное шествие избирателей с урной из предместья, из села Арджента. Идя шаг за шагом, с знаменами и музыкой, толпа молча, без всяких возгласов, несла урну своего участка для присоединения к другим урнам в ратушу, где между тем особою комиссиею от народа, при свидетелях и под начальством мэра и губернатора, окончательно считались и поверялись голоса...

Вообразите общий восторг, когда за присоединение к Сардинии оказалось 22 000 голосов, а против присоединения около 200...

Город мгновенно покрылся флагами. Толпа зажгла факелы и пошла по улицам, с песнями и музыкой. По отчету полиции, при этом «не сделано ни одного неприличия и ни одного проступка против нравственности и общего уважения к торжеству минуты», как выражался один из бюллетеней губернатора.

P. S. Сегодня, 14 марта, воротившись из Флоренции в Ливорно, я застал в городе снова флаги Италии в окнах всех домов. На рейде палили из пушек, и корабли убраны были флюгерами. На площади, перед домом губернатора, стояла молча громадная толпа, слушая музыку. Оркестр гренадерского полка играл увертюру «Фенеллы». Ливорнцы, подобно всей Тоскане, праздновали день рождения короля Сардинии. Еще слово. В городе на углах улиц явилась прокламация известного Гверацци, который недавно ругал Сардинию, ее министерство и короля, а теперь говорит: «Сардиния молодец, и ее король и граф Кавур еще лучше! Соединяйтесь с ними!» Афишу эту изорвали везде, оплевали и исписали примечаниями такого рода: «Ты, Гверацци, нас увлекал буянить в 1848 г., а теперь метишь прислужиться нашему будущему правительству! Собака ты и негодяй, и не показывай сюда глаз. Ливорнцы».

IX

Венеция

14 (2) апреля 1860 г.

Кто испытал таможенные притеснения в Неаполе и в Риге, тому нипочем всякие другие дорожные неприятности. Так думал я, переехавши снежные вершины римских Аппенин и печальными, запустелыми долинами Романьи приближаясь от Флоренции к Болонье. Дикость и бедность этой части отошедших от Папской области владений таковы, что в иных локандах по дороге, в то время, как дилижанс останавливался, не было возможности достать глотка чистой воды и куска свежего хлеба. Люди и свиньи тут живут вместе, а бесчисленное множество праздников и поборов для духовенства оторвали все лучшие рабочие силы от плодоносных полей. Мрачнее этих гор и долин, с темными озерами

и жесткими корчавыми кустиками, я не видал ничего подобного. Белое шоссе, извиваясь между ущельями и ребрами голых скал, в виду молчаливых громадных вершин, увенчанных снегами, одно придает здесь вид разнообразия местностям, во вкусе ландшафтов сурового Сальватора Розы. Римский мальпост так же тесен и невыносим, как и неаполитанский. Хуже их нет ничего на свете. Пока эта желтобокая и желтопузая дыня, или, скорее, нелепая продолговатая тыква, знакомая нам по украинским рассказам Нарежного, тащилась по узенькой ленточке плохого шоссе, на каждом спуске, в несколько аршин склона, тормозя свои колеса, едва встречался подъем в гору, откуда-то сбоку, из ущелья, как из норы, выползали пары волов и, впряженные впереди лошадей, тащили тыкву на цепях. Едва городок, и опять досмотры паспортов и клади. Наконец мы въехали в долину викариатства, отпавшего от папы. Это дали нам почувствовать, на первом же перевале, огромные разноцветные афиши, приклеенные на каждом шагу, из которых каждая начиналась уже заветными словами: «Regnando Vittorio Emmanuell». Наконец колеса тыквы застучали в сумерках по улицам обширного, ярко освещенного газом города, где вдоль всех улиц, непрерывною крытою галереею шли такие же каменные портики, как у нас, в Москве и в Петербурге, крытые коридоры гостиных дворов. Это здесь, собственно, крытые тротуары, причем над бесконечной вереницей сквозных аркад идут вторые этажи домов. Толпа весело сновала по улицам. В освещенных окнах магазина выставлялись тысячи блестящих товаров. «Какой это город?» — спросил я кондуктора. «Болонья, синьор! Наша свободная Болонья! Вот дом нашего временного правительства, вот наш собор, а вот дом нашего знаменитого композитора Россини, который, впрочем, в последние годы папского владычества здесь, бросил свою родину и живет в Париже!..»

В Болонье дышится уже всею широтою груди. Наутро трактирный гарсон отдал нам отчет, что в Тоскану и Романью уже вступили сардинские войска, а здешние отправи-

лись в Ломбардию, что король Сардинский уже принял присоединение областей Эмилии, что здесь уже произошли выборы в новый соединенный парламент Турина, что выбранные депутаты уже отправились вчера в Сардинию, и что вся новая, возрожденная Северная Италия торжествует. Этого мы ничего не знали в Риме, где только глухо поговаривали о том, что вот, дескать, Виктор-Эммануил намерен принять присоединение Эмилии, что папа ему грозит отлучением от церкви, и чуть ли это отлучение не готово к подписи в Ватикане.

— А как папа отлучит вашего короля от церкви? — спросил я гарсона.

— И пусть отлучает! Это уже старая песня! Он сам по себе, то есть наш папа, — добрый человек; да кардиналы его допекают, особенно этот Антонелли, когда изволите знать! Ведь у каждого кардинала есть на кормлении своя провинция или свой город; ну, коли провинция отпала, значит, денег негде уже взять; ну, и сбивают нашего доброго Пия IX. Да только вряд ли это отлучение ему пройдет даром. У нас, в Романье, народ так озлобился против кардиналов, что, поверите ли? — Тут седовласый гарсон огляделся по комнате! — Поверите ли... перестал ходить даже в церкви... Так разве тут отлучение подействует?.. Да у нас ни один аббат не решится и прочесть этого отлучения, хотя бы из Турина и позволили это делать... Сказано, теперь для нас что кардинал, что австриец, что продажный неаполитанский солдат — все одно, и не подходи! Да тедески еще и лучше тех двух, а уж римские монахи да неаполитанские солдаты... хуже их нет ничего! Ведь неаполитанское войско все из лаццарони; наемщик, как есть. В 1848 году эти лаццарони утром построили в Неаполе баррикады против короля, вечером их продали и стали стрелять по своим коноводам! Сказано, продажные души! А у нас, синьор, не то: у нас будет начальником Гарибальди...

— А где теперь Гарибальди?

— В Турине, синьор, в Турине; его выбрала теперь своим депутатом Ницца, и наш герой теперь в простом сюртуке поехал сидеть на скамейку депутатов... Говорят... да, нет... я боюсь говорить...

— Ничего, ничего!.. пожалуйста, что такое?

Гарсон пошел к двери, заглянул в нее, запер, воротился и продолжал шепотом:

— Видите ли, я при австрийцах сидел три раза в темной, на селедках и без воды, и мел улицы за свой язык... Что делать? Родина! Ведь я был в сношениях еще с Сильвио Пеллико... Э! герой тоже был! Замучили его теперь. Это отец по духу Гарибальди... Ну, так что же я хотел вам сказать?.. Да, говорят, что когда Виктор-Эммануил возьмет и Рим этим летом, к осени, то столицу перенесут в Капитолий. Наше сборное королевство назовут новою римскою империей, а из монахов, которых в Риме более, чем прочих жителей, Гарибальди поделает солдат...

— Хороши будут солдаты; ведь они не умеют обращаться с оружием.

— А! Это для гарнизона, синьор, для гарнизона их поделают солдатами, не более...

Так объяснялся гарсон, бывший в сношениях с героем страждущей Италии Сильвио Пеллико. А во Флоренции мне прямо объявил мой театральный сосед по одному из представлений в оперном зале Пергола: «Видите ли, как мы думаем по поводу этого отлучения, пришедшего к нам вчера из Ватикана! Пий IX думает, что он так же может быть могущ и страшен, как тот папа, кажется, Григорий, отлучивший некогда немецкого императора Генриха и заставивший его придти босиком к своей двери умолять о прощении, в дырявом рубище и с головою, покрытою пеплом. Пусть он помнит, что тот же еще немецкий император и в те еще отдаленные века одумался и пошел с войском на своего судью-отлучителя, и если бы не норманн Роберт Гюискар, призванный папою на помощь, то плохо бы ему пришлось. Да, наконец, припомните — извините! я может быть, не

вполне ясно помню эту историю! — припомните, что защитник-то этот, Роберт Гюискар, также пощипал своего защищаемого и порядком потормошил и ограбил Рим... А теперь, после недавнего плена двух предшественников этого доброго Пия IX, прямо взятых в Риме, в раззолоченных покоях квиринала и отвезенных во Францию, в революцию 1792 года, и потом, по приказу первого Наполеона, что стоить будет *отлученному* грешнику Виктору-Эммануилу явиться в тот же Ватикан или просто послать для этого того же другого *отлученного* грешника, Гарибальди, уже знакомого с римскими улицами как с своими пятью пальцами еще по 1848 году, и отослать Пия IX, без дальнейших околичностей, в Мадрид, в Иерусалим или хоть к его приятелю, королю Неаполитанскому? Что вы на это скажете, синьор? Да я первый для этого, как таковой же отлученный, стану в отряд простым солдатом, если этому отряду дадут такое поручение!.. А! постойте, слушайте! Началась хорошенькая ария! Каков наш театр! А в Риме такого нет! Все кардиналы не позволяют...»

По Флоренции, со смехом и прибаутками, толпа газетных рассыльных разносила при мне папское отлучение. Мальчишки бегали за ними взапуски, вертелись кубарем, покупали огромные белые афиши с отлучением, прорывали в них дыры для рук, надевали на себя эти «отлучения» в виде жилетов, колпаков, курток и панталон и расхаживали так пред дворцом Питти и, в толпе разряженных щеголей и дам, по площади, пред знаменитою Флорентийскою галереею.

— Это те же папские индульгенции! — слышалось в толпе прелестных эминенти. — Что значит двуличие и натянутость! Там за деньги продавалась совесть пасомых; здесь из-за земных расчетов продается собственная совесть. И как мало нужно было Лютеру, чтобы одним дуновением тогда разрушить подобный карточный домик!.. А теперь в каждом дитяти эти слепые люди создают себе Лютеров... Бедный папа, бедный Пий IX! Это ли герой 1847 года? Это ли

любимец народа, в 1848 году слушавший откровения старика Чичероваккия?.. Как скоро миновала эта любовь и эти очарования!..

А разносчики мрачного «отлучения» выкрикивали на все лады:

— Вот «римская хлопушка» для мух, синьоры и синьорины! Кому весело, пусть купит, прочтет, и ему станет еще веселее!

— Кто даст всего два байокка, смело может купить себе право на отлучение от Рима! Да здравствует отлучение и Лютер!

— Вот, господа, веселый листок; вот дорога к блаженству; вот смех за два байока, вот дружба с Гарибальди; вот первая страница нашей новой истории!..

Так потешалась шаловливая Флоренция, этот прелестный лучший ребенок Италии, скинувши с себя австрийские пеленки и во всевозможных проказах расправляя свои отерпнувшие долгим гнетом усердной нянюшки руки и ноги. И грозное отлучение весело покупалось и разносилось в карманах даже теми, которые с Иваном Александровичем Чернокнижниковым, глубоко уважаемым мною поэтом, украсившим один нам знакомый альбом, могли сказать:

Мы явились к тебе издалека
Посмотреть на владенья твои...
Нет в кармане у нас ни байока... и т. д.

Я зашел в магазин знаменитых флорентийских соломенных изделий купить шляпу. Продавец, взявши деньги, завернул проданную мне шляпу в два листа того же папского отлучения. В кабинете для чтения, близ Hôtel de la Grande Bretagne, недалеко от Lungo-Arno, я встретился с петербургским актером, г. Б***, недавно оставившим Россию. Он спешил в Неаполь.

— Что, тепло теперь в Неаполе, давно уже началась там весна? — спрашивал он.

— Да, весна давно началась. Там уже новая пшеница выше колен и лен отцвел, что бывает у нас на юге России только в конце июля. Тепло-то тепло там, да скверно жить... Только и видишь в Неаполе нищих да солдат, а в Риме солдат да монахов, — длинными процессиями ходят на всех переулках...

В это время с улицы раздался веселый хохот. Толпа студентов, взявшись за руки, шла и распевала национальный гимн. Я невольно перенесся мысленно к былой судьбе той же Флоренции, где некогда также царили мрак и террор, и мне пришли на ум звучные стихи автора «Савонаролы»:

В столице Медичи счастливой
Справлялся странный карнавал...

Времена настали другие. Рим и Неаполь пустеют, а юная Италия Кавура и Гарибальди, под знаменами Виктора-Эммануила, цветет и оживляется небывалою красотою и весельем.

В театре «Пергола» давали «Севильского цирюльника». Разряженная и пышная публика в ложах и креслах решительно почти не слушала пения, и шепот ее разговоров превращался постоянно в гудение самого бойкого весеннего роя пчел.

— Неужели у вас такой обычай? — отнесся я чрез барьер к капельмейстеру.

— Э, синьор! Теперь такие времена мы переживаем, что поневоле язык рвется говорить. Вон и я в первом акте размахался смычком, а суфлер колотит мне в будочку и подал оттуда бумажку. Смотрю, письмо! Распечатал, а приятель мне пишет из кофейни по соседству, что пришли новые газеты с пароходом из Франции, что Англия и Пруссия не будут противиться нашему соединению с Пьемонтом и признают за нами право совершившегося действия... Так как же тут не говорить? Я едва домахался своей палочкой, передал письмо свое скрипкам, те — флейтам, флейты — барабанам,

а теперь уже письмо в ложе моей жены, в третьем ярусе — видите, какая куча столпилась в той ложе! Это читают записку моего приятеля из кофейни! Где же тут слушать музыку?..

Из Болоньи идет уже по всей Северной Италии сеть железных дорог. Я и спутник мой, русский студент медицины по Парижскому университету, пересели в спокойные вагоны и помчались в Венецию. Я забыл сказать, что семейство русских, генерал Л*** с своей свояченицей, мои спутники по Берлину и Парижу, нашли нас в Неаполе, у новых кратеров на Везувии и, сообща нам свои похождения по Италии, ездили с нами также в Рим. Но это передается мною в особом письме о Риме и Неаполе. Итак, мы с студентом отправились через Александрию и Милан в Венецию, чтобы посещение Турина оставить отдельно себе, так сказать, на закуску.

И вот мимо дверец наших понеслись снова плоские равнины с квадратиками виноградных и шелковичных садов, с отдельными виллами и городками, белеющими издали и вблизи из молодой зелени распускающихся рощ и новых садов. Бородатые кондукторы стали выкликать на станциях интересные имена:

— Модена, синьоры, Парма! Кому нужно вставать в Парме? Скорее... Две минуты остановки!

— ...Пьяченца, Страделла, Вогерра!..

Дорожные собеседники по вагону между тем пускались без устали в разговоры. Поминутно, по указанию спутников из местных жителей, толпа бросалась к окнам, и какой-нибудь чумазый и черный, как жук, весь заросший волосами фермер или молоденький берсальер, побывавший в Крыму, а теперь украшающий своею широкою шляпою с черными перьями кантонир-квартиры на месте прошлогодних битв, как некогда украшал собою страницы иллюстраций, по стычке у Малахова кургана, начинают объяснять:

— Вот, господа, Кастеджио!.. Смотрите, вот это все поле, между этими тихими теперь виноградниками и шелко-

вичными деревьями было в прошлом году покрыто трупами наших, трупами французов и многими, многими трупами австрийцев! Вот от этой долинки, чрез эти ручьи шли французы, а по этим домикам, до последнего чердака и слухового окна, засели австрийцы... Но мы их выбили, мы их выбили, синьоры, и по кровавой реке вошли в этот городок! Сам император уже за нас боялся, будучи далеко отсюда... Но какой-то генерал махнул знаменем, мы вспомнили, что последний час настал, что осталось или победить и стать свободною Италией, или пойти в австрийские рудники, ринулись вперед и победили...

Мелькнула Александрия.

— Тут, в сторону, синьоры, идет ветвь железной дороги в городок Акви, — говорил нам старик фермер, державший на коленях розовое дитя, которое у него уже второй час спало под гром и свисты локомотива: в этом городке, в минувшее лето, жил временно Кошут и устраивал свой легион венгерских волонтеров. У него было уже пять тысяч отборных юношей, когда грянула весть о мире в Виллафранке. Он у меня покупал для отряда хлеб и мясо.

Когда мы проезжали мимо Пармы, откуда перед войной бежала герцогиня, и кто-то упомянул имя полковника Анвити, убитого после войны толпой в кофейне, никто из ехавших в вагоне не одобрил буйства черни.

— Страшно было видеть, господа, — продолжал тот же фермер, — как толпа красных колпаков издевалась над телом изменника за прежние его подлости! Страшно! Я сам в это время был в Парме и видел дело своими глазами... Вообразите, его почти живого резали на части... Душа содрогается за человека! Но, подумайте, ведь это чернь, звери; а этот зверь, если его убийцы были свирепыми волками, был хуже гиены, вырывающей тела мертвецов из могил на съедение... Он ел плоть и дух живых людей, продавая чужеземцам свое отечество!

Пред въездом в Милан, когда какая-то дама, нагнувшись к мужу, спросила, глядя на поле, какой это городок виден

вблизи, и муж произнес магическое *Маджента*, все пассажиры так быстро кинулись в вагоне к окну, несмотря на темноту ночи, что чуть не раздавили и самой дамы, и ее маленького сына. Так волшебны доныне для итальянского уха все заветные имена прошлогодних битв, местностями которых, как нарочно, пролетают везде вагоны железных дорог Северной Италии. Поэтому каждый поезд до сих пор здесь представляет веселую и торжественную прогулку по знаменитому пути, где разыгралась судьба новой Италии... Страделла, Кастеджио, Вогерра, Мортара, Маджента, Милан, Тревилио, Дезенцано и, наконец, самое магическое имя, Сольферино — все эти места вы видите вблизи рельсов из окон вашего вагона...

— Сольферино-то Сольферино, Александр Сергеевич, — говорил мне мой спутник, — это хорошо, и мы его увидим, да вот беда! говорят, что если нет на наших паспортах особой визы австрийского посольства для проезда в Венецию, то нас далее новой границы австрийской, у крепости Пескиеры, из Ломбардии, туда не пустят...

— Вы шутите...

— Вот посмотрите!

Действительно, наши паспорты снабжены были визами для проезда — глухо — в Австрию, мой в Петербурге от самого австрийского посланника, а моего приятеля-студента — в Париже от такого же посланника. Но надо было иметь еще разрешающую надпись, особо, для проезда в нынешние времена в Венецию, надпись от консулов австрийских в Риме или в Турине, с последних мест отъезда путешествующих по Италии. Но в Турине мы еще не были, а в Риме, по незнанию, этого не сделали; в Милане же австрийского посольства, как известно, теперь нет. Потолковали мы, да, по русскому обычаю, и решили наудачу: авось пропустят! Решено и сделано. Чемоданы свои мы для безопасности бросили в Милане (в чемоданах мы имели порядочную кучу карикатур итальянских на тедесков!) и пустились налегке, в чем были.

Проехали Бергамо и Брешию миновали. Вот Дезенцано, последний пост Ломбардии. Поезд приостановился, как будто собираясь с духом, чтобы пуститься далее, к австрийцам, которые тут же за рекою. Влево расстилается чудное Гардское озеро. По краям его голубые горы. Даль уходит туманною, очаровательной панорамой. Резвые лодочки с белыми парусами бегут во все концы по синему зеркалу вод. А посредине озера островок. Швейцария! Чудная сказка, да и полно! «А это что за башня и стены на островке?» — спрашиваем мы. «Австрийская крепость!» — отвечает сосед с вытянутым уже от тоски и озлобления лицом. При этом сером пятне на розово-лазурной, дымчатой картине я невольно вспомнил об изречении одного писателя, кажется Байрона, который немцев и англичан в Италии, среди антично красивых итальянцев, называет статуями с отбитыми носами...

Итак, австрийский таможенно-полицейский осмотр у нас не за горой. В указателе итальянских железных дорог «Orario pel viaggiatore alle strada ferrate», под статьей: «Corse da Milano per Venezia», — сказано, что в Пескиере стоят полчаса, *а иногда и час*... Роковое предвестие! Иногда и час, а как не час, а неделя, пока в Турин и обратно съездит паспорт для разрешения?

Мы приехали в Пескиеру.

— I passaporti, signori! — произнес с немецким выговором рыжий бакенбардист, с австрийскими гербовыми пуговицами на зеленом вицмундирном сюртуке, появившись у окон вагона. — Не выходить, пока не сдадите на ревизию паспортов...

Я отдал свой и почему-то засиделся долго в вагоне, как вдруг прибежал мой спутник и давай кричать:

— Вы тут все сидите, а там, смотрите, в бюро, какая история! Двух поселян, возвращавшихся в Венецию, арестовали, трем французам из Лиона не дают пропуска; хотя мы заплатили за места до Венеции, но наши паспорты тоже отложили к стороне! Идите скорее!..

Мы пошли. И точно. Два поселянина в синих блузах были задержаны и, краснея от волнения и испуга, с опущенными головами стояли под ведением усатого гренадера за какою-то решеткой, тут же у бюро. А французы кричали во все горло.

— Что вы кричите, meine Herren, что вы орете здесь, Donner Wetter? — вопил в свой черед длинный и белокурый австрийский бюрократ. — У вас нет визы нашего консульства в Турине!

— Так что же из этого, что же из этого, sacre-parier? — надседался француз поболее других, в бархатной курточке и с сигарой в зубах.

— Да то же, что вот ваш паспорт, и мы вас не пустим...

— Не пустите, не пустите, ventre de biche? Хорошо же! значит, мне надо воротиться в Дезенцано и ждать там визы?

— Jawohl! в Дезенцано...

— Ну, так слушайте же, это прижимки, деспотизм! Я напишу в Париж, во все газеты... Да, да!.. Мы, французы, свободная нация, не то что вы, сшитые из сотни клочков! Да, да! Я поеду, но знайте, пока привезут мой паспорт с новою визою, хотя из Франции одна австрийская виза у меня уже есть, — я не потеряю времени даром, sacre nom d'un chien! Знайте, в эти три-четыре дня я каждый день по три раза буду брать осла, да, нанимать длинноногого и вислоухого осла, и на нем буду ездить оттуда по соседству смотреть на поле сольферинское, где мы вас в прошлом году поколотили... Прощайте! Я сдержу слово...

И взбешенный француз выскочил из бюро с товарищами, а через пять минут поехал, со встречным венецианским поездом, обратно в Дезенцано, откуда, я забыл сказать, видна отлично башня и роковое поле сольферинское как на ладони. Замечательно, что когда мы ехали через пять дней обратно и остановились в Дезенцано, я навел справки: отвергнутый

француз все еще не получил своего паспорта из Турина и ежедневно, действительно, по обещанию, на осле верхом ездил в Сольферинскую долину. С другого уже дня слух о его проделках разнесся по окрестности, и огромная толпа мальчишек, хлопая в ладоши и с песнями, стала, в пику австрийцам, постоянно сопровождать его в любопытных поездках.

Нам было тоже последовал отказ: но мы спаслись по непостижимой прихоти судьбы. Едва французы вышли из бюро, долговязый досмотрщик отер крупный пот со лба и щек своих и уже наморщил было брови, взявшись за наши паспорты, отложенные им, по неполноте их, к стороне. Но в это время свистнул локомотив, уносивший французов. Чиновник быстро шагнул сквозь густую толпу публики, ожидавшей своих паспортов, выскочил из двери, крикнул почти сквозь слезы вслед французам: «Es ist Schweinerei, meine Herren! Разве это моя вина, что вы меня оскорбляете?» Воротился опять в бюро, медленно взял наши паспорты, снова провел рукою по лбу и по волосам, возвел к нам потускнелые глаза и, хлопнувши паспортами по столу, сказал:

— Что же мне делать, господа! Разве я пишу здесь законы? Вот вы и русские, а пропустить я не могу; есть экстренные предписания! Нельзя!..

— Ну, хоть на три дня, хоть на неделю пустите!

Чиновник подумал.

— На три дня можно, es geht! Только более нельзя; на себя беру ответственность. Где вы остановитесь?

Мы назвали отель. Он что-то записал у себя в книге, пометил наши паспорты и выдал нам виды.

Нечего, разумеется, вам прибавлять, что в Венеции ежедневно, куда мы прибыли в тот же вечер, неизвестно зачем, у наших ворот стал появляться какой-то австрийский солдат, пошепчется-пошепчется в наших глазах с нашим дворником и уйдет, а на третий день просто уже расположился у ворот, на скамейке, как будто для отдыха или созерцания красот природы, и там сидел пока мы уехали.

Но на станции в Дезенцано еще был случай. Нас спросили, есть ли у нас поклажа. Мы сказали, что нет, а есть одни маленькие саквояжи со съестным. Ступайте в комнату таможенного осмотра и их «покажите» сказали нам чиновники. Мы пошли. Там опять шум, раздаются уже чистейшие британские побранки и слова: «God demm your yes».

Бранился и спорил с таможенными англичанин, юноша лет 27, красавец и лорд, член парламента, имеющий обычай путешествовать и брать для этого отпуски ежегодно. Он ехал через Венецию в Греческий архипелаг. Перебранка шла из-за маленькой дорожной ванночки, sitzbad, с которою, по совету докторов, юноша нигде не разлучался. Досмотрщики находили, что ванна товар, значит, не может быть отнесена к дорожным вещам пассажиров и должна быть оплачена пошлиной, а юноша, заложа руки в карманы и стоя в положении готового боксировать, кричал, коверкая французские, немецкие и даже итальянские фразы, что хотя ванночка и пустяков стоит, а особенно пошлина за нее, но он не заплатит, не заплатит потому, что такое требование есть прижимка мирных путешественников, деспотизм, что он не платил за нее ни «at Varsovie», ни «at Rome», ни «at Paris and Naple»...

— Что же мы будем с вами делать? — говорили снова в раздумье немецкие бюрократы. — Так сказано в нашем листе; в листе ванна не составляет вещи из пассажирской поклажи, значит, составляет товар и должна...

— Не заплачу, go one to the dexil! Не заплачу! Это бесчестно, это прижимка туристов, и я не заплачу во имя правды и совести честного человека: платить за ванну везде — дорого, а без нее больной человек не обойдется!

Поднялись опять крики; ванну выхватили было из кожаного чехла и потащили в особое бюро, где пряталось все, признаваемое контрабандой. В это время, вероятно, узнавши о происшествии этом от других, явился тот же злополучный белокурый обозреватель паспортов с паспортом англичанина

в руке, опрометью кинулся к старшему таможенному офицеру и почти вслух шепнул ему по-немецки: «Да бросьте этого господина!.. Отдайте ему его ванну!..» — последних слов я не расслышал. До меня долетели только звуки: «это — англичанин» и «флот». Уж не сказал ли он так: «Господа, ведь это англичанин; я по его паспорту узнал это; разве вы хотите, чтобы через неделю же их флот пожаловал в нашу злополучную Венецию отомстить за эту проклятую ванну своего соотечественника?..»

Ванну торжественно отдали англичанину. И как вы думаете, чем кончил этот бритт? Он спросил: «Сколько пошлины, однако, следовало заплатить вам за эту вещь?» Чиновники отвечали: «Пять франков». Англичанин вынул пятифранкового наполеона и, отдавая его какому-то оборванному нищему, прибавил: «Грабить туристов ни-ни! — о, ни-ни! — это бесчестно, и я не поддамся, давать взяток мы не даем никому, а что меня пять франков не разорят, то вот они тебе, my dear friend!»

— Да, — заметил мне на это мой товарищ, — австрийцы что-то приуныли здесь перед французами и англичанами; зато, я думаю, на своих здешних верноподданных вымещают свой позор и свои неудачи!

Получа свои паспорты и осмотренные саквояжи, мы двинулись в путь. Одно только заняло австрийского комиссара в саквояже моего спутника, это зеленый сыр, завернутый в бумагу. Комиссар долго обнюхивал и, морщась от его острого запаха, рассматривал его, вероятно, подозревая в нем отраву или что-нибудь вообще опасное для спокойствия «цванцигеров» в обладании их венецианским своим вассальством.

А между тем в вагонах вдруг произошла уже заметная перемена. По Сардинии и Ломбардии все ехало весело, хохоча, куря, болтая и без умолку занимая друг друга анекдотами. Здесь же вдруг, говорю, во всех отделениях, как по заказу, наступила гробовая тишина. На выезде из Пескиеры обер-кондуктор крикнул в окна вагонов: «Nicht

rauchen! Non fumare!» — и сигары у всех вылетели сами собой за дверцы. Все сидели с опущенными головами; никто не говорил ни слова; даже ни у кого не было на коленях книги или развернутого листа болтливой газеты, этого вечного неизменного друга каждого обитателя на Западе, в Турине и в Лондоне, в Париже и в Берлине...

Чрез две станции пассажиров в вагонах убыло значительно. Приискивая средства покурить тайком (не забудьте, везде на Западе, кроме австрийских владений в Италии, есть особые вагоны для желающих курить!), мы заглянули в одно из отделений, где сидела всего одна дама с тремя маленькими детьми, и получили ответ, что курить можно. В Вероне мы пересели туда, но не курили вплоть до Венеции, потому что дама, пользуясь тем, что нас никто не мог подслушать, рассказала нам такие любопытные вещи, что нам было не до курения...

— Да, господа русские, — говорила нам полушепотом, то вздыхая, то мгновенно заливаясь жгучими, какими-то порывистыми слезами, эта прелестная, двадцатисемилетняя красавица, жена фермера из окрестностей Падуи, — да, господа русские, вы счастливейшая нация в эту минуту. На вас и на ваши дела домашние теперь смотрит вся Европа, а мы оплакиваем прошлое... У нас на каждое слово готово пятьдесят шпионов; с каждого франка, полученного с нашей земли, с капиталов, с дома, с лавки, мы отдаем теперь австрийцам ровно три четверти поборами всякого рода и звания. Мы разорены, унижены; нам запрещают любить свою родину, молиться за своих родных! Солдаты стоят лагерем в каждом нашем доме, и везде подозрения... Везде подозрения! Мы веселы, поем на улице, у своего окна, у своей двери, а они справляются с календарем и запрещают нам, говоря, что это мы поем в честь именин Гарибальди, Кавура, Мадзини или кого-нибудь, о ком мы и не думаем!.. Вы спрашиваете, весело ли теперь в Венеции?.. А, господа! A Venezia non vi sono che lagrime e prigioni!.. A Venise il n'y a que des larmes et prisons...

Наша спутница замолчала, поправила головку дитяти, спавшего у нее на коленях, и стала опять говорить:

— Венеция?.. Вы хотите ее теперь видеть? Лучше туда не ездите! А, вы себе представить не можете, что теперь делается с нашей Венецией! Вообразите себе только что умершего, любимого вами друга, положенного перед вами в гроб, — вот наша Венеция! Не ищите там ни прежнего блеска, ни прежней жизни. Этого ничего там более нет! Нет там ни веселостей, ни молодежи; а у каждого памятника старины, еще привлекающего изредка таких же туристов, как вы, поставлены наши ренегаты, на откупе австрийцев, и передают им, вместе с флоринами, раздаваемыми щедрыми путешественниками за обзор редкостей, каждое подслушанное у них слово!.. Эмиграция из Венеции с прошлого года, началась громадная, небывалая, беспримерная в летописях нашей Италии, и о ней мало пишут в свободных государствах! Вообразите! Кто только мог или может бежать, убежал и бежит... Бегут студенты, молодежь, фермеры, даже дети, десяти и девяти лет, бегут в Сардинию! Бросают школы и без паспортов и позволения родителей бегут в Милан и Турин... Соседние деревни и городки за Пескиерой и Гардским озером полны этих небывалых эмигрантов... Падуанский университет, где еще год назад было две тысячи студентов, закрыт; австрийцы пустили слух, что его закрыло правительство за вольный дух, — а дело-то в том, попросту сказать, что все две тысячи этих молодых людей перешли исподволь границу и служат давно в войсках Виктора-Эммануила... Старики и старухи бегут теперь из Венеции в Сардинию...

— Кому же оставляют эмигранты свои имения?

— Кому?.. Проклятым тедескам, разумеется!

Последние слова наша спутница произнесла с такою запальчивостью и с таким сверканием черных, больших и налитых кровью глаз, что поневоле жалко стало, при взгляде на нее. Бедная женщина! Она сама выпила чашу политических страданий...

— Вы видите этих детей? — спросила она, снова залившись слезами и гладя по головкам трех малюток, спавших в вагоне и у нее на коленях, — это будущие плательщики австрийцам за своих отцов! Это будущие Ламарморы, Риккасоли и Гарибальди! О, дай-то Господи! Будучи в пансионе, в Вероне, думала ли я, когда моя старая мать привозила мне конфеты и цветы, что мы доживем до такой поры?.. Да, господа: знайте, что мой брат взят на днях с улицы Венеции в Вену и заключен в Шпильберге, а мой отец... мой отец!..

Новые рыдания не дали ей договорить. Успокоивши бедную кое-как, мы услышали следующее:

— Мой старый отец был всегда одним из самых уважаемых торговцев в Падуе; несколько раз занимал почетные места по муниципальному городскому управлению, и еще два года назад студенты пели ему серенаду за помощь одной семье, разоренной от крушения корабля с товарами близ Венеции. И что же? Во время прошлогодней войны, когда дошел до нас слух о битве при Мадженте и о том, что французы и сардинский король вступают уже в Милан, мой отец случайно забыл две свечи на окне своем, выходившем на улицу в Падуе, где свободно господствовали австрийцы; его схватили в ту же ночь с постели, заковали в кандалы и отправили сперва в Верону, а потом в Австрию... Семидесятилетний старик, любимец города, написал нам в ноябре, что в месте его заключения выпал снег, стало страшно холодно, что он отморозил два пальца на ногах, которые у него вовсе отпали, и просил прислать теплой одежды. Мы ударили тревогу. Письмо стало известно; пришли солдаты и взяли его. А вслед за тем, в декабре, мы получили от посторонних известие, что отца опять привезли по соседству к нам, в Верону, что его судят с другими за политический заговор и, наконец, что он осужден на смерть!.. Вообразите положение нашей матери и всей семьи!.. Но как случилось остальное, я уже не знаю, а только в том же

декабре здешний австрийский листок нежданно объявил, что ночью, накануне Рождества, пятеро осужденных на смерть и в том числе и мой отец разбили в крепости, в Вероне, двери каземата и ушли вместе с двумя часовыми, из которых, как мы узнали после, один был венгерец, а другой славянин из Галиции... Через три дня взвод солдат явился на нашу ферму, где мы жили с мужем и детьми... и... и взяли моего мужа... Я потеряла голову!.. О, это были ужасные дни!.. Весь январь и февраль мужа моего пытали в Вероне, а потом выпустили на свободу... Он вышел вечером за ограду нашей фермы, когда мы были уже снова вместе, обнял меня и, сказавши: «Прощай, оставайся тут и устрой пока дела без меня, чтобы хоть клочок земли остался нашим детям, которые ни в чем не виноваты, береги их тут, а я не могу здесь быть с тобою!» — пешком и посторонними тропинками ушел через границу, в Ломбардию... В феврале австрийцы по границе везде уже устроили правильный кордон и ловлю эмигрантов. Поймав детей, секут их, а поймав взрослых, отправляют их по дальним крепостям... Сущая охота на зайцев! Стреляют дробью по женщинам даже! А старуха мать моя шестидесяти семи лет, когда мы узнали уже, что отец, убежавши от казни из Вероны, живет в Ницце, перешла границу в платье нищей, на телеге добралась до Милана, где тысячи наших бежавших фермеров действительно ходят нищими и работают поденно, и оттуда уехала к моему отцу. Муж написал мне две недели назад, что служит гарсоном в Турине, в одном отеле... Я вот это к нему, под видом поездки на богомолье в Милан, и съездила, собравши кое-как деньжонок, и просила взять меня и детей к себе! Да не берет, все ждет чего-то, говорит: живи там... А чего ждать? Поля наши и села пустеют... Одни австрийские солдаты шатаются по деревням...

Этот печальный голос затих на одной из крошечных станций близ Понте-ди-Брента. Наша спутница, понукаемая гру-

боватым кондуктором, вышла, мы подали ей полусонных детей; она махнула нам потертым и пожелтелым зонтиком, — и мы полетели далее.

С грустными впечатлениями подъезжали мы к столице дожей. Как-то мы ее найдем? Как-то увидим эти классические знаменитости: площадь св. Марка, каналы, Дворец дожей, гондолы и гондольеров, с песнями, которым подражал еще наш водевилист, г. Кони, автор баркароллы «Гондольер молодой, ты мне песню запой!» Венецию воспевали Байрон и Виктор Гюго, Купер и великий автор «Венецианского купца». Вот лагуны, вот Адриатическое море! Железная дорога, на 222 арках, летит тем же морем над волнами к морской царице. Имена Шейлока и Марино Фалиеро, Отелло и Яго невольно приходят на ум. Площадь св. Марка — первое чудо в свете! — шепчет память, начитавшаяся немецких задов, где между прочим значится, что в этой волшебной Венеции 150 водяных улиц, то есть каналов, в виде довольно широких рек, и на этих каналах 30 перекидных каменных мостов. В ней же, в этой Венеции, 400 кофеен, мест свидания и визитов всей Венеции, полных с утра до вечера. «Печальная дама-фермерша из Падуи преувеличивала, верно; не может быть, чтобы Венеция была пуста! 400 кофеен и до 50 000 гондольеров... Гондольеры! Какая только чета в конце русских и иностранных романов не уезжала к ним в полночь плавать по улицам и смотреть на луну! Помилуйте, вы идете с лестницы дома и ее последние ступени уже покрыты водой; извозчики-лодочники, тут есть даже омнибусы-гондолы. Лодочник едет и кричит на перекрестке встречному «пади!» Восемь театров, дворцы, музеи, соборы, да это блаженство!..

Так думал я, прилетевши в Венецию и в первом отеле набросавши все эти строки, только что прочтенные вами. Я писал долго с вечера, в громадной комнате, где блистала бронза, ковры устилали пол, везде сиял бархат и мрамор. А в Милане еще, как нарочно, в исполинском

кабинете для чтения я встретил приятеля доктора, и тот, зазвавши меня домой, дал мне прочесть последний номер «Русского Вестника» с прелестною повестью г. Тургенева *«Накануне»*, где также действие частию происходит в Венеции, в ее лучшие времена. «Нет, — думал я, уже в четыре часа ночи туша свечу, — падуанская дамочка преувеличивала! Как? A Venezia non vi sono che lagrime e prigioni! Это она начиталась Сильвио Пеллико; быть не может!..»

Я утром проснулся поздно. Мой товарищ-студент встал рано, обегал уже и оплавал весь город и пришел сумрачный.

— Что вы? — спросил я его.

Он стал против меня.

— Боже мой, Боже мой! — начал он. — Дама права! Венеция — это скорее болонское городовое кладбище, чем Венеция, знакомая нам по книгам с детства! Вообразите, на узеньких улицах и площадях ходят одни нищие да австрийцы; кофейни пусты; театры закрыты давно. Везде мокро и сыро; пресловутые гондолы, покрытые форменным черным сукном, плавают, как плавучие гробы. Песен гондольеров нет; я спросил — отчего? Говорят, что запрещены уже два года. Холод и пустота у каждого подъезда; дворцы богачей, и в том числе нашей знакомой Талиони, брошены и в запустении. Соленая волна обмывает и разрушает каждый угол, каждый фундамент мрачных нежилых палаццо, а ремонта уже не полагается. Голодные гондольеры и разносчики живности уныло навязываются на каждом шагу... Мокрицы и сороконожки ползают по стенам безлюдных улиц и шевелятся в мутно-зеленой воде... А в нашем отеле, где сто шестнадцать комнат и пять зал бывшего какого-то дворца, купленного под отель, на доске всего два имени постояльцев — ваше да мое, и то в одной клетке. Табль-д'от сегодня готовят на нас на двоих, и сам хозяин, от скуки, вызывается быть нашим факином и с нами пуститься в осмотр города.

X

Турин

22 (10) апреля 1860 г.

Зато какая разница Турин, этот веселый, светлый новый город, этот второй полюс новой Италии. Продолжаю мое письмо в шумном отеле, на улице Карла-Альберта, недалеко от квартиры Гарибальди. Отель снизу доверху битком набит туристами. За табль-д'от его ежедневно садятся до 200 человек! А иногда еще и в две смены. Все толкует о политике, о палатах, куда уже ломится толпа взглянуть на Кавура, Гарибальди и бывших правителей Болоньи, Тосканы, Модены и Пармы, занявших уже там места в качестве простых депутатов от недавно правимых ими областей.

Но, позвольте, я отвлекаюсь. Скажу еще два слова о бедной и запустелой Венеции. Наутро, после нашего приезда туда, мы увидели полицейского солдата у наших ворот и решились ускорить осмотр города. Тут уже австрийская полиция не церемонилась. Еще при въезде в город, выйдя уже из вагонов, мы это почувствовали в проходной комнате, где приезжавших пропускали сквозь строй сержантов, отбирая у каждого паспорты, а взамен их выдавая квитанции на 2 часа пребывания в городе, и каждому входящему чиновник-комиссар, прежде всего, из-за прилавка выкрикивал: «J vostri capelli!» — то есть шляпы долой! — а сам стоял в простой статской фуражке. Мы пустились в зыбкой гондоле по каналам, осмотрели два-три собора, базилику св. Марка, мосты, публичный сад, Дворец дожей с знаменитыми «колодцами», то есть подводными тюрьмами, Мост вздохов; побродили перед золотым львом и звонящими бронзовыми звонарями на башне у сигнального колокола городских часов; поглядели на три знаменитые мачты, где

теперь развеваются знамена Австрии, пришли домой, увидели снова полицейского солдата у ворот и решили скорее ехать. Мой спутник даже озлобился и, выходя из подземных тюрем Дворца дожей, где привратник полунемецкими, полуитальянскими фразами объяснял нам, как тут казнили преступников — что вот этак посадят обвиненного в эту сырую и темную яму, на этот камень, придет аббат, исповедует его, потом потянут за веревку и задушат его, а тело вынесут отсюда, в окно, — мой спутник, повторяю, выходя из этих тюрем, излил свой гнев даже на знаменитую базилику св. Марка:

— Помилуйте! Да что же тут замечательного? Куча разнокалиберного мрамора, награбленного в языческих и христианских храмах и дворцах, свезена сюда и нагромождена без вкуса! Что это? Сущий сундук помещицы Коробочки, куда в несколько поколений навалено и натащено всякого добра и хлама. Ничего нет тут изящного! Дорого, это правда, и было красиво, может быть, тогда — за двести или триста лет назад... Эка штука! наломать мраморных колонн, карнизов и капителей в греческих капищах и навезти их сюда с египетскими порфирами и гранитами вместе! Этим могли хвастать дожи, а не мы... То ли дело Миланский собор, эта чудная, эта сказочная гора белого мраморного кружева и несущихся в воздухе готических шпицов и статуй! Нет, и этим Италия Виктора-Эммануила выше Италии австрийцев!..

— Вы преувеличиваете, мой милый! Не грешно ли? Венеция!.. а ведь это священное имя всемирной поэзии. Вы кощунствуете... Виновата ли Венеция, что австрийцы разогнали ее жителей, убили своей полицией ее богатство, а своим Триестом ее торговлю? Это развенчанная царица, это красавица на своем пятидесятом году...

— Коробочка, Коробочка! — повторял мой спутник, ничего не слушая. — И, кроме тюрем-колодцев, ничего в ней нет особо замечательного! Жаль, что нет здесь теперь нашего приятеля, русского генерала Л***. Впрочем, напишу

ему в Рим, что площадь св. Марка — дело пустое, ничуть не лучше нашей площади перед Александринским или Михайловским театрами, даже менее последней, — и одного батальона на ней не поставишь для учения развернутым фронтом, — а внутренняя площадь в парижском Пале-Рояле в десять раз лучше и красивее ее... Я говорю без шуток!

Мы пробыли в Венеции еще два дня, побродили по ее узеньким, смрадным и сырым улицам и площадям, поплавали в ее мрачных гондолах, которые мой товарищ называл черными плавучими гробами, поглядели на Лидо, на гавань, где в тумане мелькали английские и французские паруса, и пустились обратно.

— Где же вы видели в Венеции сороконожек и мокриц? — спросил я озлобленного камрада.

— Как где! Везде, на всяком шагу, на каждой стене! И я удивляюсь, как тут могут долее жить люди. Ну, раз уже деды их сделали громадную ошибку — выстроили свою резиденцию в болоте, в царстве лягушек и стоножек, а дожи натащили сюда богатства, ну, пожили — потешились, и довольно! А то домы раскисают, везде плесень, сырость, ни одной лошади нельзя держать по узкости улиц, а ты, современный потомок, поддерживай это неестественное положение. Да новую Венецию, по-моему, выгоднее выстроить, чем поддерживать эту старую, в уровень с веком, а на 222 арках по морю прокладывать к ней рвущиеся с берега железные дороги... Мне кажется, что и хвалят-то ее теперь странники с чужого голоса и боятся только порядком ее ругнуть! Свинство... Турин лучше!

Мы жили уже пятый день в столице Виктора-Эммануила, этом солнце, освещающем и греющем теперь каждое больное и страждущее итальянское сердце. А мой спутник все еще не унимался в разгроме Венеции и однажды за обедом переложил известное стихотворение г. Толстого о Крыме в такое:

Рот дерет сухая ложка;
Я в Венеции, о мир,
И пожил бы, хоть немножко, —
Да везде глядит вампир;
Скорпион, сороконожка
И австрийский вицмундир.

В первом же переулке, в первой кофейне, мы застали кучу любопытных вокруг листка туринской веселой газетки «*Il Fischietto*», неутомимейшего врага Австрии и всего австрийского. Эта остроумная газетка в переводе значит «Свистун», имя глиняной, знакомой и нам, русским, дудочки в виде воробья, которую на празднике увидите в Милане почти у каждого ребенка в руках и губах. В веселом номере «Fischietto» за 15 апреля 1860 г. изображены были и галльский петух в мундире зуава, срывающий шляпу с австрийской совы за то, что ему не поклонилась, уверяя, что *днем ничего не видит*, и обезьяна в чистейшем белом полукафтане цванцигера верхом на венецианском льве: маленький лукавый зверек, полутрусливо и полунагло завернувши кверху хвост закорючкой, огромными острыми шпорами режет бока старого царя зверей; он рычит и бежит, но уже поднял голову и, оглядываясь, видит, что не диво какое его шпорит, а простая мартышка... Хохот вокруг листка был всеобщий и дружный. Даже французские настоящие зуавы, игравшие в кофейне в особую игру в карты — род нашего трилистника, — вынули изо рта трубочки и столпились вокруг «Fischietto». Но особенно забавна была картинка, изображавшая Гиулая, Бенедека и других австрийских генералов в виде *волков, держащих совет об истреблении овец*. Старый волк держит речь, а собратья клянутся ему подражать. Он говорит: «Giurate con me, o signori, di sterminare il genere umano! L'unione fa la forza! i lupisono tutti fratelli!» — т. е. клянитесь со мною, о синьоры, уничтожить род человеческий! Союз делает силу; волки между собою все братья!» Таков взгляд Турина на Австрию в настоящее время.

Зато как этот же Турин и новые его вассальства любят своего короля! Без преувеличений можно сказать, что Виктор-Эммануил — идол своего нового королевства.

— Видите ли, — говорил мне вчера один из депутатов нового соединенного туринского парламента, — у нас теперь готового войска под ружьем уже 250 000; к осени мы будем иметь 300 000, и не сброду какого-нибудь, как в Неаполе или в Риме, а войска молодого, пылкого, честного и полного того героизма, который мы видели в волонтерах Гарибальди. В нашем королевстве теперь 12 миллионов жителей. Это почти что Пруссия. Да, пора дать свободу и честь этой бедной нашей Италии!.. Ведь она удобрена костями чуть не всех народов мира, от ваших суворовских солдат, некогда также пришедших нас защищать, до воинов Аттилы и зуавов Наполеона III, бескорыстно берущих у нас теперь Савойю и Ниццу.

— Так вы говорите, что у вас очень любят вашего короля Виктора-Эммануила?

— Да, это наш любимец! Это честный и добрейший человек в полном смысле этого слова, не говоря уже о его уме, его энергии, силе воли, стойкости убеждений и умении выбирать людей в свои министры! По-видимому, это просто добряк! Отпустил себе чудовищные усы, как сказочный котмур, в виде двух копий, идущих от крутых румяных щек, и даже пополнел в последнее время, как простой фермер, добродушный винодел из-под Фиеренцолы или Страделлы. По-видимому, это кроткий Тит Андроник или Гораций в отставке, разводящий лук и морковь! Он страстно любит охоту; а одна уже охотницкая душа — знак души честной, доброй и кроткой, как природа, среди которой питается чистейшими помыслам душа охотника! Мы часто видим, как он иногда, рано утром или ночью, освободившись от текущих, клокочущих дел и от докладов своих министров, на день, на другой уезжает за Monte Capucini или в свои притуринские коронные домены поохотиться в заповедных парках или на лесных озерах. Наденет себе серенькое пальто

да потертую фуражку набекрень, возьмет в зубы коротенькую пенковую пипку, какую курят у нас все, от простолюдина до рекрута с озер Комо и Гарда, а в карман, по итальянскому обычаю, положит головку луку и чесноку для приправы охотницких завтраков... Ну, чисто, подумаешь, простак; а посмотрите, как его у нас любят, как ему жертвуют с охотой и состоянием и жизнью для дел родины, а главное, как идут у него все дела, без австрийских Бенедеков и отчизнолюбцев вроде Буоля-Шауэнштейна! Он воротится с охоты, свежий, веселый, с тем же любящим сердцем и честною, горячею душою, сядет работать, и его министры зарабатываются до обмороков, а он трудится без устали и отступления. Я случайно видел раз портфель его с подписанными бумагами, который при мне привезли к Кавуру. Даже знаменитый Камилло, этот первый дышловой конь нашей правительственной колесницы, пожал плечами. В одну ночь король перечел, переметил решениями, проектами ответов и возражений до полутораста объемистых представлений и мемори! Вот отчего мы его любим, даже более чем любим — обожаем. В нем есть что-то особенно наивное и поэтическое, вроде простых и первобытных королей-охотников прежней Германии и Шотландии, ставших теперь уже достоянием сказок для детей...

— У нас, в России, слышно, что его не очень-то жалует католическое духовенство, правда ли это?

— За отчуждение в казну имений духовенства?

— Да...

— Пожалуй, что и так. Не любит поколение старых аббатов; а молодые, новые — и в этом уже за него. И это сословие уже понимает, что нельзя каждому дереву остаться при одном корне, а надо иметь и ствол, и ветви, и листья, и цвет, и плоды. Один Ватикан только упорно идет вразрез с прогрессом...

Так объяснялся со мною почтенный депутат, не забудьте! — левой стороны, чуть не одной скамьи с Гарибальди в новом парламенте. Он говорил по-французски, будучи од-

ним из депутатов Савойи. Мне сильно хотелось попасть в палаты, по примеру того, как я был в берлинской палате депутатов и в новейшей парижской в Лувре, что я уже вам и описал. Я искал средств для этого, а между тем осматривал город и окрестности...

Турин, столица «первого солдата итальянской независимости», как зовут Виктора-Эммануила все итальянские гравюры, изображающие его то в виде зуава, берсальером, то клянущимся на гробе отца сражаться за Италию, Турин, говорю, город довольно веселый и чистенький, город новый, просторный и светлый и потому нисколько не похожий на старые, тесные, грязные и мрачные итальянские города. Улицы его ровны, широки, открыты для свежего воздуха с соседних гор; везде много зелени. Дома чистые, новой, легкой, прелестной архитектуры. А полукругом Альпы, которых отдаленные снеговые вершины замыкают своим изображением перспективу почти каждой улицы с северной части города. Мой сотоварищ, студент, обегавший и обозревший ранее меня город в первые два дня, потащил меня в обширный Туринский музей, не уступающий ничем петербургской Кунсткамере, а в некоторых частях, например в собрании американских, европейских и азиатских бабочек и птиц, не говоря уже о древностях египетских и римских, превосходящий его. Минералогическое отделение музея также замечательно своею обширностью и разнообразием и равняется нашему подобному музею в Горном корпусе. В Египетском музее особенно замечательны две открытые мумии, с обнаженными лицами трехтысячелетних покойников, таковой же давности египетская домашняя утварь и сохранившиеся в гробницах воск, хлеб, орехи, сушеный виноград, зерна ячменя, флейты, женские косы и тамбурины, на коже которых уцелели даже нитяные швы, сделанные за три или четыре тысячи лет до нас. В римском отделении меня поразил бюст Юлия Цезаря, изваянный по снятой с него маске: сухощавое лицо сохранило то выражение, со стиснутыми зубами и презрением в чертах губ, с каким великий Цезарь пал под уда-

рами врагов и «tu quoque, Brute!» Тут же стоит бюст Юлиана-богоотступника, говорят, также очень схожий с оригиналом.

Доступность и простота осмотров туринских достопримечательностей изумительна, — не то что в Риме или в Неаполе, где на каждую залу и почти на каждый купол чем-нибудь любопытной церкви выдаются билеты, и то не иначе, как через посольство туристов, а в некоторые залы, по обычаю австрийского этикета, требуют даже, чтобы входили только по праздникам и то во фраках. Не так это тяжело в новом королевстве Виктора-Эммануила. Например, мы затеяли заглянуть во дворец короля. Войдя с должным почтением в жилище его, мы хотели оставить в прихожей калоши.

— Э, синьоры, идите в калошах и в пальто! Этого мы не заставляем скидать, в нашу лишнюю поживу! — сказал нам помощник швейцара. — Это в Риме или в Неаполе вас заставят сделать, да еще на ноги вам, как в Ватикане, пожалуй, наденут иной раз особые туфли полстяные, чтоб не поцарапать будто бы паркетов; за снятие же ваших калош и за снабжение вас туфлями своими привратники там с вас сдерут... А нам не надо! Идите! Мы на жалованье... и граф Кавур платит нам чистыми серебряными лирами.

Шлепая калошами, мы осмотрели парадные комнаты короля и остановились у лестницы при входе в жилые внутренние комнаты его. Простые камердинеры-старики, с длинными белыми волосами, слуги еще страдальца Карла-Альберта, изредка попадались тут, в простых сюртуках и фраках, добродушно понюхивая табак или на крыльце куря трубку и беседуя с зазевавшимися блузниками. Это были внутренние дворцовые часовые. Я говорю, что мы остановились перед входом в жилые покои короля.

— Как бы нам хотелось посмотреть на внутренние комнаты вашего короля, — сказали мы помощнику швейцара, — на его кабинет, где он работает с Кавуром, слушает Гари-

бальди и Риккасоли, пишет ноты и депеши, и на его столовую, где, как мы слышали, собраны ружья и охотничьи редкости всего света...

— Мой товарищ — тоже охотник! — сказал спутник мой, указывая на меня.

— А!

Проводник наш преклонил с улыбкой голову и почесал у себя за ухом, что-то обдумывая.

— Видите ли, — сказал он, — у короля точно хорошее собрание ружей и охотничьих вещей; да ведь это только из любви к охоте, — так сказать из парада! А вот у него есть потертое старое ружьецо, которое покойный король, отец его, подарил ему, когда он был еще мальчиком... Это ружьецо, скажу вам, диво, он из него никогда не сделал ни одного промаха и, говорят (я тогда еще не был тут при делах!), постоянно возил его с собою как последнюю опору в войнах с Австрией в 1848 и в прошлом году. Только вот что, синьоры! насчет вашего желания видеть жилые комнаты короля... оно бы и можно... да как же?.. ведь он теперь тут живет... и в настоящую минуту чуть ли не занимается докладом...

И добряк проводник наш опять почесался за ухом, как бы обдумывая: «Да уже если вы ходите тут в калошах, то нельзя ли мне попросить короля сойти для вас вниз, а вас провести пока к нему вверх, посмотреть? А то как же? Разве-таки вы так и уедете, не видевши ни его кабинета, ни его ружейных редкостей?..»

Проводник наш еще долго чесал за ухом у себя, осматриваясь по сторонам и раздумывая, как пособить горю. Но мы его вывели из затруднения и, отложа осмотр этих комнат до выезда короля на охоту, отправились из дворца домой.

Что же еще сказать о Турине? В те дни, когда мы в него приехали, везде в соборах и церквах гремели исполинские органы; толпа, коленопреклоненная, молилась о продления счастия нового Сардино-Тоскано-Эмилийского королев-

ства. Распустившиеся каштановые, абрикосовые и миндальные деревья наполняли улицы тонким веянием весны. Все театры были полны, везде гуляли разнообразные веселые толпы. В оперном театре шла комическая буффонада «*I falsi monetari*» («Фальшивые монетчики»), где мне особенно понравилась пара голодных бродяг, писатель, шарлатан и его сентиментальная жена, тощие старик и старуха, очутившиеся в припадке сильнейшего аппетита на съестном рынке, шарж чисто в итальянском вкусе. На одном же из подгородных театров шла мелодрама «*Смерть патриота, или Баррикады в Риме в 1848 году*». В этой пьесе все натянуто, все на ходулях, от брадатых Гракхов во фраках, смертельно раненных на баррикадах и умирающих — декламируя бесцветнейшие стихи a-propos, до постоянно повторяемых возгласов: «Fratelli!» Все в этой пьесе так и отзывается пресыщенным до смешного патриотизмом.

Но, нет! мы не смеялись над этою пьесой. Мы ее самоотверженно дослушали до конца, при криках и воплях бесчисленных зрителей, за невольными слезами почти не видевших перед собою заветной сцены. Замечательно, что в пьесе поминутно попадаются живые имена, везде повторяемые в городе; например, тут является участником завязки Гарибальди, который при нас был в Турине и которого мы сами на другой день видели в палате депутатов, доставши туда место через посредство друга Гарибальди, второго депутата от Ниццы, г. Лауренти, занимающего место также на скамьях левой крайней стороны и рука об руку с своим знаменитым другом.

О посещении нами туринской палаты расскажу подробнее.

На зеленой лощеной карточке, присланной нам от г. Лауренти, значилось: «*Camera dei Deputati, sessione 1860. Ingresso alla tribuna delle signore*». А сбоку штемпель того числа, когда мы хотели быть в камере.

Палата депутатов здесь собирается в одном из бывших дворцов Савойского дома, на площади Сан-Карлино, перед

мраморной статуей Джоберти. Исполинское знамя с цветами свободной Италии (красным, белым и зеленым) развевается на громадном древке над воротами этого здания. Был первый час, когда мы пришли к воротам, желая заранее занять более выгодное место в трибуне для публики. Заседание здесь открывается в два часа пополудни; но уже множество депутатов было в сборе, в сенях и на площади, толковавших между собою в оживленных группах и куривших трубки и новые сигары «кавур»[1]. Все почти депутаты сюда при нас приходили запросто, пешком, кто в чем был: одни в старых летних пальто, другие в сюртуках, третьи в пальто зимних и всякого рода панталонах. Один только старик, с костылем, приехал в наемной цитадинке, открытой коляске старого устройства, на высоких рессорах. Это не то что в Париже, подумал я, где в Лувр съезжались новые депутаты Наполеона III в золоте и мундирах и с кучерами в пудре, но без права на прежнюю свободу прений. Здесь депутаты подходили, раскланивались и становились в новые кружки. Тут же расхаживали дамы с детьми, офицеры, работники. Последние останавливались на ходу, в известке перепачканные, с инструментами за спиной, с ведрами на голове, и с любопытством рассматривали господ депутатов.

— Вон то Альфиери! — говорили друг другу работники, стоя почти перед носом самого Альфиери. — А вон этот Бон-Кампанья! вон глядите, fratelli, наш Ламармора! вон Галеотти, Фарини, Риккасоли, Чальдини!.. и вон Поэрио, Карло Поэрио!..

— Где Поэрио? Где?

— Вон он!..

— Неаполитанский мученик?

— Да, да!..

— Да разве он приехал из Англии?

---

[1] Эти «кавуры» очень вкусны и продаются по 1 су, около 1 к. сер. за штуку.

— Приехал и, говорят, выбран у нас...

Толпа разглядывала невысокого старичка. В это время мимо меня прошел довольно полный человек с круглыми здоровыми щеками, в шляпе и белом пальто, в круглых очках и с портфелем под мышкой. У меня невольно мелькнула в голове мысль: «Лицо знакомое! Я где-то его видел! Совершенно наш покойный Загоскин, как его изобразило смирдинское издание «Ста русских литераторов», кажется — ...»

— Кавур, Кавур! — зашептали в толпе. — Камилл Кавур! И действительно, господин, так верно и не в шутку напомнивший мне собою покойного автора «Юрия Милославского», был герой новой Италии, граф Кавур.

Вслед за ним к воротам подошел отряд национальной гвардии, также разделился группами и также стал болтать с депутатами; вскоре депутаты начали подниматься наверх, куда пошли и мы, — они по лестнице налево, а мы направо.

Когда я вошел в трибуну «delle signore», передняя часть ее была уже занята дамами, а сзади стояли мужчины. В суматохе я протиснулся вперед, и отлично мог рассмотреть с этих хор залу и внизу лица всех депутатов. Последние уже наполняют залу. Одни разговаривают, переклоняясь через столы и спинки скамей, с соседями, другие пишут письма, третьи читают огромный «Times» и «Débâts», местную «Perseveranza» и какие-то иллюстрации; третьи говорят с президентом, занявшим уже свое место, облокотясь снизу об его стол, драпированный зеленым чудным бархатом; четвертые подают какие-то бумаги министрам, отдельно столпившимся у своего официального стола, или поминутно то всходят на верхние отделения скамей, то проходными коридорами между последними спускаются вниз. Вокруг всей залы идет галерея для публики. Тут в последней видны и солдаты, и блузники, и простые поселянки. По окончании прений я стал при выходе из этой трибуны и видел простоту, с какою ходит

сюда народ: иной поселянин спускался с корзиной капусты, с которой попал туда мимоходом, или с связкой товара; одна старуха вышла оттуда с грудным ребенком. Под этой верхней галереей и над нею прикреплены разноцветные гербы главных городов нового соединенного королевства Верхней Италии. И как успели это нарисовать, когда всего недели две назад новые области присоединились к Сардинии. Вот Ареццо, Болонья и Эльба, с изображением в щитах их коней и пчел! Вот Феррара, Флоренция, Форли и Гроссето, с изображением орла и всадника! Вот Ливорно (форт) и Лукка (с надписью: «Libertas»)! Далее Масса (лев) и Модена (крест), Парма (опять крест) и Пьяченца (волк), Пиза (снова крест в поле щита) и Равенна (два льва) и другие! Пол у министерского стола, в просветах залы, между скамьями и в проходах, везде обит великолепным мягким ковром. На особых столах, вокруг президента, на эстраде последнего сидят четыре квестора-секретаря. Палатские huissiers, то есть прислуга, большею частью седовласые и почтенные господа во фраках и со стальными огромными цепями сверх фрака на груди и с трехцветными шарфами в виде перевязи на руках, ходят, разнося в ожидании прений, письма, бумагу, бланки и просто сахарную воду по скамьям депутатов.

Пока заседание еще не открылось, один из соседей моих по трибуне, завязавши со мною так скоро устраиваемое в общественных местах на западе Европы знакомство, пустился мне рассказывать, кто сидит в трибунах и внизу в зале.

— Вот, видите, — говорил он мне с чистейшим акцентом итальянского выговора французских слов, — на трибуне журналистов этого рыженького господина с черными усами?

— Вижу, он читает, кажется, «Morning Post», если я так читаю надпись газеты...

— Это же и есть корреспондент этой газеты. Он нам оказал большие услуги, находясь в минувшую войну в на-

шем лагере и передавая истинную правду о виденном в стычках наших с австрийцами; он везде был под огнем и впереди, а теперь тут заседает и пересылает по телеграфу свои меткие телеграммы о наших прениях. Вон — то, рядом с ним, сидит редактор первой и более распространенной здешней газеты «Opinione»; у него три тысячи подписчиков; он богач!

Я при этом невольно вспомнил начало нашей русской журналистики и число подписчиков теперешних наших журналов.

— Рядом с ним, на средней трибуне, сидит корреспондент французской «Pays», далее брюссельской «Independance Belge»! Вон — то корреспондент нашей клерикальной «Campanella», почивающей всего на 150 подписчиках в одном из городков близ Генуи! А вон — то, за польским корреспондентом какого-то прусского журнала, в меховой шубке, видите, видите вон того, белокурого, толстенького господина, с потертой и самодовольной физиономией?

— Вижу...

— Это известный Галенга, в 1848 году взявший с Мадзини 1000 франков, чтобы убить покойного короля Карла-Альберта, и выданный после через газеты поверенным Мадзини, Кампанеллою...

— Как, этот господин вызывался на такое, извините...

— Подлое, именно, подлое дело!

— Да... и теперь он сидит в этой трибуне, в палате сына Карла-Альберта?..

— Да сидит себе спокойно. Покойный король его простил, только исключил из звания первой палаты депутатов, а теперь он сидит в качестве корреспондента громовержущего «Times»... и покровительствует, кажется, всего более забавнику нашей палаты и любимцу нашего журнала «Fischietto», вралю и краснобаю Сангвиньетти, даже по имени Apollo, если я не ошибаюсь, на днях, в своей речи, тут в четверть часа поднявшему всю историю

от ассириян до ирокезцев и m-me Жорж Занд... А вот входит в левую трибуну журналистов и сам веселый издатель «Fischietto».

В эту минуту, действительно, на висящем балкончике левой трибуны появился огромного роста господин с окладистою черною бородою, густыми черными кудрями, зачесанными назад, и с широкою могучею грудью. Я, каюсь, с особенною любовью посмотрел на этого почтенного журналиста, собрата наших многоуважаемых и пользующихся полною симпатиею всей нашей просвещеннейшей публики писателей И. А. Чернокнижникова, Козьмы Пруткова, К. Лилиеншвагера, г. Знаменского и Гейне из Тамбова, плеяду которых ожидает у нас более самостоятельная и яркая деятельность. Рослый весельчак, издатель «Fischietto» сел, окинул глазами залу, вынул лист бумаги и, улыбаясь, стал чертить на ней какой-то рисунок, а под ним что-то писать. Чуть ли он не рисовал группы депутатов, увивавшихся у министерского стола...

— Нет, друг мой, Александр Сергеевич, я вас выдам, не могу; пойду сейчас объявлю дежурному квестору, что вы корреспондент петербургского обозрения и потребую для вас места в трибуне журналистов! — шепнул мне мой товарищ. — Как-таки ни одного русского нет там в эту минуту, когда здесь празднуется рождение нового итальянского, полного жизни и будущности, королевства...

Я едва удержал своего приятеля. Чрез десять минут, однако, он исчез и явился с маленьким помощником квестора, приглашавшим синьора русского идти в отделение писателей. Делать было нечего. Я отправился и был, признаюсь, очень рад своему перемещению: оттуда было лучше видеть залу, президента, ораторов, министров. «Русский корреспондент!» — громко произнес пышное и незаслуженное мною титло помощник квестора, входя в прихожую журнальной трибуны. В самой трибуне мне услужливо дали место у зеленого пюпитра с чернильницей и готовою бумагой и перьями.

— А, очень рады, очень рады! — заговорили мне корреспонденты «Harmonia» и «Campanella», раздвигаясь и предлагая мне сесть ближе к себе. — Вы у нас редкая новость: какой же газеты в России вы корреспондент? Или вы сами русский?

— Да, русский...

Возгласам и любопытству итальянских литераторов не было конца.

— О, ваша Россия нас теперь удивляет, радует, приводит в восторг!

Я, разумеется, подсел к издателю «Fischietto», который между тем рисовал какого-то депутата с огромной головой, беспрестанно посматривая вниз. Мы разговорились.

— Что, у вас любят смеяться в России? — спросил он.

Я объявил, что род веселой литературы у нас уже получил право гражданства, и передал ему несколько черт об «Искре», «Свистке» и «Ералаше». Он задумался и оставил карандаш.

— Расскажите мне, monsieur, о вашем крепостном вопросе! Это дело великое, честное для вас, и меня сильно занимает!..

И это везде. Где я ни являлся, везде меня встречали в Италии такие вопросы. Я начал кое-как отвечать на этот вопрос, как вдруг раздался звонок президента; палата, уже полная до краев, мгновенно стихла, и в то же время взоры всех направились со скамей депутатов и из трибун к левой двери за президентскою эстрадой...

Вошел господин среднего роста, худощавый и белокурый, в черном, потертом, обыкновенном статском сюртуке, застегнутом по всей груди до шеи, с широкою рыжеватою бородой, обросшей ему все щеки вплоть до маленьких голубых, впалых и будто близоруких, но кротких и нежных глаз, тихо и урывками взглядывавших кругом; неловко взошел он узеньким проходом вверх между скамьями и сел на крайней левой стороне, на 11-й скамье.

— *Гарибальди*, — пронеслось по всей зале.

— Где, где он? — между тем слышалось на всевозможных языках из группы дам, со стороны зрительской трибуны. — Где он? ради Бога, покажите!

И полные, и худощавые донны, мисс, mesdames, Fräulein, фрау, синьорины и леди, высунувшись через золоченую решетку трибуны, лорнировали героя Рима и прошлогодних партизанских вылазок в ущельях швейцарских проходов к Ломбардии. Услышал я и отечественный возглас шепотом:

— Дуничка! Что ты мне на ногу наступила! Пусти меня прежде взглянуть на него...

А в верхней трибуне для простолюдинов шла просто давка. Новый звонок, в три приема, в президентской руке, опять раздался, и зала, с переливами возгласов и шепота, затихла...

Гарибальди между тем, будто чувствуя, что и все глаза, особенно сверху, устремлены на него, тихо шевеля плечами, уселся и, с разгоревшимся румянцем стыдливости или, скорее, волнения, стал писать письмо, а потом упер глаза в какой-то газетный листок и уже почти не поднимал их, пока докладчик какого-то отделения читал свой доклад. После докладчика стал говорить президент. Понимая итальянский язык с трудом и то в печати только, книгах, я почти ничего не понимал в речах ораторов. Один из соседей моих по журнальной трибуне стал мне объяснять смысл речей, которых я здесь, по принятому мною правилу, не привожу, так как вы их уже знаете из телеграмм и печатных отчетов западных газет о здешних заседаниях. Изредка, под гул палаты и мерную речь какого-нибудь оратора, мой сосед либо придвигал мне печатный список депутатов «Elenco alfabetico dei deputati», указывая в его алфавите имя говорившего, или обращал мои глаза вниз, говоря:

— Вот этот, видите ли, сухой, как шест, и обросший узенькою бородой и узенькими усами, депутат Ламармора Альфонсо! Имени Ламармора обязаны мы устройством на-

ших стрелков, берсальеров. Он говорит с соседом, Фарини, бывшим правителем Тосканы.

— А кто у вас лучшие ораторы?

— Лучшие до сих пор, в английском смысле, Кавур да Гарибальди: когда они встают говорить, то слышно становится каждому, как стучат часы в кармане и как сердце бьется под жилетом. А из так называемых веселых говорунов, то есть собственно рыцарей фразы, иногда не без смысла и элегантности, можно вам назвать Маммиани, Раттаци, Боттеро... Особенно последний, видите ли, вон он сидит, тоже налево, молодой, рослый и бледный, красивый брюнет в золотых очках; он даже и руками машет, и иногда, по классическому обычаю, бьет в грудь себя! Да что? это все чепуха сравнительно, например, с тем, что вещал нам в минувшем году Кавур, а теперь стал изредка *почтительнейше сообщать* палате Гарибальди!..

В это же заседание мне привелось, действительно, видеть говорящим Боттеро, который в самом деле и руками по-цицероновски махал, и до груди своей два раза как-то пальцами дотронулся. Тут же встал и передал почтительнейшее сообщение свое палате и Гарибальди — *«генерал Гарибальди»*, как его на другое утро назвал полуофициальный «Opinione» и *«синьор австрийская смерть»*, как его тогда же назвала «Gazetta del Popolo»...

Почтительнейшее сообщение, как вы уже, вероятно, знаете по телеграфу, состояло в протесте Гарибальди, как депутата от Ниццы, против отдачи округа его избирателей Франции. Эта нежданная «interprelanza» так взволновала палату, что более ничем уже нельзя было ее успокоить, хотя предложение генерала и не имело успеха в палате, руководимой тонкими и лукавыми видами другого, более тонкого патриота Италии, Кавура, как ни взывала при этом красная «Gazetta del Popolo»: «O, Italia! Sante Madre nostra! vedi-la perdita di Nizza...»

На другой день я едва проснулся, как мой камрад-студент объявил мне, что вечером, возвращаясь из театра, он

услышал музыку на улице и застал серенаду студентов перед окнами Гарибальди, подобную бывшей недавно здесь же. Студенты испросили позволение полиции, наняли оркестр национальной гвардии и явились к воротам генерала, который показывался у окна, благодарил молодежь и объявил на их возгласы о Ницце и Савойе, что, действительно, правительство их и его короля поступает дурно и что отдача этих земель дело недобросовестное и незаконное. Музыка играла перед окнами его за полночь.

— Я сейчас ходил нарочно туда и отыскал квартиру Гарибальди! — прибавил мой спутник. — Он живет тут неподалеку; в Comtrada di S-ta Theresa, № 15, во втором этаже, а жил по приезде сюда первые дни в Contrada di Po, в Hôtel de la Grande Bretagne...

— Что же, вы являлись к генералу, познакомились с ним, по примеру г. Берга? — спросил я.

— Нет, побоялся; а то как раз попадешь в «Fischietto»; мне говорили, что редактор его собирает имена всех туристов и туристок, посещающих генерала, с намерением их опубликовать в монструозном особом прибавлении к своему листку... Я только походил близ его квартиры и дверей...

Я расхохотался и вскочил с постели.

— Как это вы походили около дверей Гарибальди?

— А вот как! Я его все равно вчера видел и слышал, ну, а теперь хотел видеть, где он живет, каков двор, лестница, окна его квартиры? Что за дворник у него? Что за люди его посещают?..

— Ну, вы все это видели?

— Видел. В улице Терезы, в Contrada di S. Theresa, я отыскал № 15, и с благоговением приближался к нему. Ну, думал я: тут все его знают! Подхожу к № 14; у дверей лавочки, с надписью на вывеске: «Antica fabriqua di materassi elastice», то-есть «Старинное изделие эластичных тюфяков», стояла дочь хозяина лавки. «Где тут Гарибальди?» — спросил я, как следует по-итальянски, то есть:

«Dove il signore Garibaldi?» Взрослая гражданка посмотрела на меня с изумлением и отвечала: «Не знаю, спросите далее!» А ведь вчера-то и демонстрация была тут, в двух шагах от лавочки. Такова-то вся наивная Италия! Вспомните Рим и Ливорно, где, в официальных бюро на почте и в конторах дилижансов, не могли мы с вами добиться известия, есть ли уже железная дорога между Пьяченцей и Александрией; а ведь эти места от тех городов не далее, как Калуга от нашей Тулы или Тверь от Москвы... Ну-с, я оглянулся, подойдя уже к дому, где квартировал герой. Против его окон, через улицу, кондитерская, какой-то «Christino confettieri», а рядом, сбоку, мясная лавка, и бараны ободранные висят из дверей на улицу... Я вошел во двор; куча камней и кирпичей лежит под сквозными в дом воротами, под которыми налево был вход и на лестницу квартиры Гарибальди. Между камнями валяются битые склянки... Я заглянул в комнатку, над дверью которой была надпись: «Il portinajo», привратник. Страж двора и дома спокойно спал на кровати, прикрытый старою зеленою кофтой. На столе его лежали карты и чепец. Два котенка играли по полу какою-то деревянною кубышкой. Не желая тревожить сон этого мирного двуногого цербера, я снова притворил двери и поднялся по лестнице сам, думая угадать этаж и дверь, где жил Гарибальди, по какому-нибудь блеску и особой надписи. Я поднялся до пятого или шестого этажа, и нигде не видал ни блеску, ни надписи с знаменитым именем. Только на одной из пяти дверей по лестницам была прибита медная доска с именем какого-то «Signor Aprile», а на другой, уже в самом верху, была гвоздиком прибита простая запыленная карточка с именем: «Gaspar Frechi, capitano di cavalleria», и только! А на лестнице ни души. Я походил, походил по серым плитам сумрачной лестницы и спустился. Смотрю, в смиренной комнатке «portinajo» уже толпа, Гарибальдиев привратник (оказавшийся глухим до невероятия) уже не спит, а, наставя руку в виде трубы к уху, слушает возгласы пришедших.

А пришедшие были: два туриста-англичанина и какой-то испанец, из Африки, с женой... «Синьор Гарибальди! — кричали англичане и испанец. — Где здесь живет синьор Гарибальди и можно ли его нам видеть?» — «А в третьем этаже, господа, в третьем этаже, вон по той лестнице ступайте прямо и без доклада; генерал принимает всех и теперь дома — он живет между синьором Aprile и синьором Гаспаром Фреки, capitano di cavalleria...»

XI

Рим

Март, 1860 г.

Каждого путешественника при въезде в Рим прежде всего поражает неизбежный вопрос, который сам является мыслям: «Да где же это Рим»? Где великий, древний, вечный, славный и нескончаемый Рим? Громадный омнибус со станции железной дороги из Чивита-Веккии, везет вас по страшно узким и грязным улицам. Грязные лавчонки, пустынность тротуаров, скверные мостовые, на всем серый, неряшливый, оборванный и потускнелый вид. Огромные дома, столпившиеся в ломаных переходах закоулков; везде французские вывески; кучи напичканных по окнам французских и английских товаров — мыла, духи, цепочки, плохие литографии, сукна, готовое платье, жалкие аптеки с богатством странствующего жида-лекаря, лечащего все касторовым маслом, мушками и горчичниками, клерикальные тщедушные книжонки на каждом шагу, а главнее всего — нескончаемые толпы нищих и монахов, монахов и нищих. Вы невольно спрашиваете себя: *«Да где же это Рим?»* И не можете надивиться лжи и преувеличению туристов, заставивших вас с детства влюбиться в вечный и чудный город, которого, по вашему мнению, вовсе нет...

Нищие и монахи в Риме вас так же озадачат, как нищие и солдаты в Неаполе!.. Нет ничего гнуснее и назойливее римско-итальянских нищих. Они вас преследуют, мучают, тревожат, рвут вашу душу и ваше терпение на каждом шагу.

— Боже мой! какая отвратительная страна Южная Италия с этой стороны! — сказал я одному русскому писателю-туристу, умирающему от восторга здесь уже пятый месяц.

— Э, братец ты мой, — отвечал мне мой товарищ по литературе, — ведь это наивное нищенство, это дети природы, и канючат они милостыню только по привычке!

Хороша привычка!

Глядя на процессии монахов разных орденов, расхаживающих длинными вереницами и попарно по всем концам современного Рима в черных, алых, белых, рыжих, лиловых и масаковых кафтанах и широких разноцветных шляпах, понимаешь сразу, откуда это берется, и решаешь, что теперешнему Риму уж так, видно, и быть должно! Ходят себе монахи, в чулках и в башмаках, в шляпах, а иные босиком и с открытой, бритой на макушке головой. Рыжий, грязный капуцин, в рясе из верблюжьей шерсти, едва дыша от жиру, тоже пробирается сторонкой и несет свой тучный живот, обливаясь потом. Вот собралась кучка людей; они о чем-то шепчутся, почесывая в затылке. В руках у одного французский «Siecle», переходящий от глаз к глазам пугливо напряженной толпы. А вот вы за городом. И тут мелькают монашеские кафтаны, уже щегольского покроя, какие-то светло-аметистовые. Только люди, носящие их, кажутся какими-то малютками, будто смотришь на них с верху колокольни. Подходишь, а это румяные и веселые ученики какой-то школы рассыпались по зеленому дерну и выглядывают из-за скал, как полевые яркие цветки. Ботанизируют ли они, или так выпущены на мгновение побегать взапуски и отдохнуть от изучений нескончаемых истин канонического права. Их также поспешили одеть в монашеские кафтаны,

башмаки и шляпы с завернутыми кверху полями. И как странно смотреть на этих десятилетних аббатов и двенадцатилетних иезуитов. Двое схватились бороться; один потерял башмак и упирается разутою ногою в белом прорванном чулке, а другой метит вцепиться в волоса противника. Один из будущих Антонелли забежал за куст шиповника и, пока длинный и тощий ментор резвой ватаги товарищей читает желтовато-бурый листок «Harmonia», вынул из-под полы огрызок сигары, закурил ее и машет камрадам поспешить разделить с ним сласти этого запретного банкета.

— Отчего у вас поля пусты и не обработаны? — спрашивал я поселян чудной римской Кампании, столь живо напоминающей всякому нашу Малороссию. — Такие плодородные земли и вы их бросили!

— А вот видите ли, — отвечал мне, оглядываясь, сельский либерал, — мы давно уже — бельмо в глазу его пресветлой эминенции, кардинала нашего Антонелли!

— Как так?

— Да так же!.. У нас все области розданы кардиналам на доход; у каждой, знаете ли, красной шляпы есть свой город и свой податной округ. Ну, кардиналы наши теперь не то, что в старину. Прежде они были из капуцинов, без затей, а теперь в красных каретах цугом по Риму ездят, оси и спицы колес, как вы верно изволили заметить, золоченые. У каждого свой дворец, свой штат, свои прислужники в Риме, да и далее. Деньги нужны; ну, с нас и дерут. Как, значит, только земля кардинальская или папская, так все и отступаются от нее! Сил нет! Давай кардиналу, давай и на папу, давай аббату своему, его клиру, каноникам. Ну, земли так и лежат, не считая еще праздников, запрещающих и работать-то вдоволь! Вот я в Генуе был, да в Марселе... Там совсем другое...

А между тем взгляните на эту чудную, волшебную природу. Море в десяти шагах лепечет и рокочет свои вечные сказки. Скалы увенчаны гирляндами вечно цветущих роз.

Горы и горы, голубоватые, лиловые, дымчатые, с белыми маковками, идут по краям небосклона. Оливковые рощи тянутся без конца по скатам скал. Жирная, красноватая земля так и пышет плодородием. Вон, копнул ее ленивый фраскатанец — и посмотрите, каким лесом миндалей, абрикосов и винограда зазеленела его усадьба! Кактусы и алоэ, как у нас простой бурьян, лопух и чертополох, огромными колючими лапами выставляются там и здесь и глушат себе дикие полянки на приволье. Пальма, эта редкая русскому глазу нежная красавица, возносит свою вершину над апельсиновыми и лимонными садами... Вы очарованы и этою зеленью, и этим лазурным, ласково сияющим небом. Вы готовы сказать с любимым поэтом:

Ах, чудное небо, ей Богу, над этим классическим Римом!
Под этаким небом невольно художником станешь...
Здесь люди — как будто не люди, как будто картинки
Из чудных стихов Антологии древней Эллады!

Вы в полном экстазе! Память ваша, перевирая и не перевирая, припоминает вам лучшие выражения о том же Риме всех наших дорогих авторов: Гоголя, Лермонтова, Майкова, Батюшкова. Вы даже из греческих стихотворений похищаете примеры. Садитесь под тень кипариса и говорите известное стихотворение: «Заснул я в тени сикомора», — разумеется, не в переделке И. Я. Чернокнижникова...

И вдруг попадаете снова в грязь. Перед вами толпа нищих, нищих римских, о каких в других краях и понятия не имеют. В других странах нищий — либо калека, либо бедняк, либо убогий идиот, не говоря, без сомнения, об исключениях. Здесь каждый нищий — это прежде всего помещик, то есть землевладелец. Он бросил свой участок, надел шляпу, закурил трубку и пошел в Рим жить бродягою. Все ему подают милостыню: и ревностные католические туристки, и туристы, и папа с кардиналами. Последние отдают ему то, что берут с последней кучи его соседей, не покидающих еще своих участков. Сел себе этакий гос-

подин нищий в нише церковной ограды, или разлегся на мосту, или с трубочкой гуляет в саду; вы идете, а его шляпа уже у вашего носа; смотрите, он и лицо сморщил, будто три дня не ел, а трубку продолжает курить. Вы едете на паре добрых скакунов, а у дверец коляски вашей, версты на три, бегут четверо ребят, босиком, лет по двадцати каждый, бегут, вопят об «una grazia» и в назидание кувыркаются через голову по дороге, хлопая об землю голыми пятками и толстыми икрами. У каждой двери бесчисленных римских церквей непременно сидит почернелый и позеленелый от лени, апатии и геморроидальной неподвижности еще сильный байбак. Все занятие его состоит в созерцании чего-то. Он глядит, плюет на пол, изредка куда-то уходя и куря подбираемые им самим с улицы окурки сигар; вы проходите из церкви, а он протягивает уже назойливую руку за подачкой, будто и дело сделал вам. Вы высаживаетесь на берег в Чивита-Веккии; двадцать загорелых рук, вынутых из жирных, вонючих карманов, лезут уже за вашим зонтиком, а десяток дрянных лодок топорщатся изо всех сил захватить ваш чемодан. Вы новичок, вы не крикнули, не разогнали этих тупоумных бродяг; двадцать рук разобрали ваши зонтик, саквояж, калоши, по одной, шарф, дорожную карту и пальто; на берегу же за каждую вещь вы по таксе приглашаетесь заплатить по франку, а о вашем чемодане вам докладывают, что он прибыл на берег на десяти «взятых синьором» лодках, и с синьора следует еще получить десять франков. Эта наглость напрасно возмущает вас. Наивные бродяги при вашем азарте хохочут вам в лицо, споря и крича, поделят ваши деньги и разойдутся на новую ловлю. И это каждый день! Правительства Рима и Неаполя, как говорится, консолидируют бедных путешественников с этою эксплуатациею и смотрят на все сквозь пальцы.

Хороши еще наши соотечественницы, милые шалуньи, как выразился недавно кто-то, наши судогдские виконтессы, пирятинские баронессы и сольвычегодские принцессы,

с давних пор наводняющие своими неслыханно великосветскими личностями стогны, грады и веси мирной Италии. В Ницце, на улице, я встретил недавно савояра, который выплясывал голыми пятками какой-то национальный пляс вроде милого канкана из Шато-Флёр в Париже и напевал очень бойко русскую *камаринскую*. Это значит распространять у иноземцев любовь к русскому. А в римских горах, близ Пистойи, сбежавшие с мокрых скал, после дождя, с пучками горных тюльпанов, атаковали меня и моего спутника-студента нищие девочки лет по семи, восьми и хором в десяток голосов стали выкрикивать вокруг нас чистым русским выговором: «*Барышня, дайте грошик!*» Подумаешь, какая милая шалость! Мы остановились, озадаченные, пустились через кондуктора расспрашивать девочек, кто их выучил этому крику, и узнали, что какая-то «синьора Prascovia Wassky». Да, кстати еще. На всех общественных памятниках Италии, на стенах храмов, на высотах колоколен, на карнизах дворцов (на вершине падающей башни в Пизе, на Колизее в Риме, в Помпее на углу городской бани, и на листах записных книг в жилище пустынника на Везувии, и в бюро отеля «Виктория» в Венеции) я встретил несколько имен наших компатриотов, повторявшихся без устали везде и, как видно, также метивших на известность. Чтобы помочь последней еще более, выписываю, в облегчение им, эти имена здесь. Вот эти имена, набросанные карандашом, выскобленные гвоздем и ногтем в известке и в мраморе Италии: Яков Иванов, Сережа Кушакевич (какая наивность!), Евдокси Грыжинская, Лавр Лавров, три Михайловых и шесть Андреевых.

После знаменитой просьбы римских пейзанок: «Барышня, дайте грошик!» — я был удивлен, не менее этой просьбы, другою картиною быта современного Рима. Долго занимал меня один совершенно испошлившийся и исподличавшийся старикашка, лентяй нищий, ходивший с котомкой каждый день у окон моей римской квартиры.

Я долго не мог понять его карьеры и свойств его лукошка. Он ходил в изумительно порванных, узких и лопнувших по всем швам панталонах; красная, загорелая, обросшая белым старческим пухом и в складках, как у Бетрищева, шея его, с красным колпаком на лысой голове, мелькала мне в окно ежедневно. Один раз я проснулся рано, разбуженный криком ослов и лошаков, пришедших на отдых в тень моей гостиницы на перепутье с вьюками зелени и хлеба. Смотрю, мой знакомец нищий ходит между этими животными, суется с котомкой то к одному, то к другому, куря свою трубочку, — ослы и лошаки на отдыхе роняют... а он на лету подставляет лукошко... Караван ушел, старикашка побрел с полным лукошком и через час явился уже навеселе, лег у фонтана и заснул. Это значит, он продал свой заработок огороднику на гряды и лег отдыхать, как будто дело сделал. И это еще самые трудолюбивые из папских лентяев!

А сколько раз вы наткнетесь в Риме и его окрестных городах на такую сцену. Толпа разного сброда стоит на площади весь день. Стоит в фуфайках, в колпаках, в каких-то коротких плащиках, блинообразного вида по жиру своему, курит трубочки, молчит, слушает, что говорят соседи, курит и плюет на землю. Вся площадь заплевана. Стоят тут старики, стоят бабы, стоят и десятилетние мальчики. Мальчики тоже, заложа руки в грязные карманы узких штанов, потягиваются, курят трубки и плюют. Старики шестьдесят лет сряду так ходят сюда и так тут стоят. Они ходили сюда еще мальчиками, а теперь ходят дряхлыми стариками. Только лени прибавилось, да сонливости на подлые, непотребные, даром изжитые кости. Что за желтые пухлые лица и шеи! О чем они думают? Думают ли о новых судьбах Италии и папы, о том, будут ли у них и на тот год кардиналы и процессии, или вместо этого останется один французский дивизионный генерал! Они стоят, курят, плюют и думают. В полдень наелись поленты, макарон завалились под амбарами спать. Поутру

зашли в церковь, там и здесь сорвана новая подачка, и опять курение, молчание и сладкое ничего неделание...

Сходство с Малороссией, действительно, найдено не мною одним у окрестностей Рима, особенно со стороны Чивита-Веккии. Вы едете, думаете скоро увидеть купола, башни, развалины великого города; вагоны мчатся, и, вместо чудес вечного Рима, вы встречаете печальные зеленые степи, по которым то там, то сям пасутся стада мериносов, а одинокий загорелый чабан стоит, опершись на палку, и лениво следит за вами издали! Вот землянка панского хутора! Дымок вьется над соломенною крышей; петухи дерутся у ворот. Опять пошли поля. Чернобровый плугатарь идет за плугом, а плуг везет пара волов. «Ой волы ж мои, мои волики! Горе мини з вами». Еще едете далее; у дороги утлый забор, за забором истолочена земля. Это табун тут ночует. Вон он ходит себе на приволье, по дальнему туманному косогору. И сорока итальянская, и воробей тут итальянский взлетели, сели на шесте и кричат будто не по-итальянски, а по-нашему. За Монте-Пинчио, в долине, я увидел собачку у поселянина, точь-в-точь нашего Серка или Рябка.

— Цю-цю, цю-цю, на, на! — закричал я на собачку, подзывая ее по-украински.

— Э! — заметил мне земляк, из римских художников, — ты уже и в самом деле Рим принял за Полтаву! Здесь, брат, все наоборот; тут собак зовут, как кошек: кис-кис-кис-кис-кис; ну, они и бегут!

Он начал по-кошачьи звать собаку, и та к нему точно прибежала.

В качестве старой девы-кокетки первого свойства Рим, разумеется, сильно подражает Европе, несмотря на громы, извергаемые на Париж и Турин. Так, например, все улицы пресловутого града цезарей столь узки, что один домовладелец выйдет, сядет курить на пороге своего дома и коленями касается коленей своего визави, тоже севшего покурить на пороге своего дома, — а несмотря на это,

завелся в Риме своего рода Итальянский бульвар и Невский проспект. Это знаменитая улица Корсо, шириною в девять шагов, считая тут и тротуары; 19 марта, не убеги я смиренно в Cafe Grec, папские сбиры, рубившие народ, непременно прекратили бы продолжение этих писем вместе с жизнью вашего покорнейшего слуги. Есть у Рима и свои Champs Elysés и Летний сад; это знаменитый холм в черте города, Монте-Пинчио, куда летят каждым вечером модные коляски, полные разодетых щеголей и щеголих, особенно последних, изукрашенных всеми дивами современной моды, от кринолинов до коротких спереди и длинных сзади платьев. Иной раз выйдешь на Корсо или втащишься в аллеи Монте-Пинчио, так и кажется, что из прыгающих карет выглянут знакомые глаза и Мины Антоновны, и m-lle Альфонсин.

Демонстрации против папского правительства в Риме не менее любопытны. Так иногда, имея в виду, что табак здесь, как и во Франции, составляет коронную регалию, и правительство, само поставляя курево народу, отдает его продажу на откуп, римская молодежь вдруг положит между собою не курить ни сигар, ни трубок. Все мгновенно бросают курить на неделю, на месяц. Кто не знает условия, тот может быть неожиданно изумлен в первом переулке: у него вышибут изо рта и сигару, и трубку; тогда Антонелли впопыхах; табачному товару нет сбыта, и Ватикан распускает двести или триста работников с сигарной фабрики.

— Отчего вы, господа, не курите? — начинают стороной поговаривать молодым эминенти и артистам смиренные аббаты и папские долговязые сбиры.

— Надоело, — отвечают эти господа, — да и недавно еще, в прошлом веке только, честные отцы проповедовали нашим предкам, что табак — грешное зелье!

Помучат, помучат кардинальских казначеев, да и простят. Смотришь, опять курят все по всему Риму сигары.

На масленой в этом году римская молодежь не исправляла в Риме своего знаменитого карнавала. Но так как

Рим без карнавала быть уже не может, как и мы не можем быть без блинов, то, по щучьему веленью, вся бесчисленная толпа шалунов собралась за городом, за воротами porta Pia (древнее имя, впрочем, не от имени Пия IX) и стала там справлять все обычаи карнавала от уличного маскарада, с конфектами из муки, мокколетами и бегом коней без всадников. И что же? эта затаенная демонстрация против нелюбимого Ватикана отомщена довольно замысловато. Кардинал Антонелли послал между разодетыми эминенти и затейниками-студентами прогуливаться городского *палача*, как есть, во всем полном наряде. Красный человек появился, и толпа с ужасом и проклятиями разошлась.

Я шел на вечерний русский чай, в русское семейство художника г. ***, куда должны были сойтись и другие его товарищи, почитать (тогда были завезены в Рим новая повесть Тургенева «Накануне» и драма Писемского «Горькая судьбина») и потолковать о дальней родине и родичах. Путь мой лежал от piazza Venetia к via Babuina, через Корсо. Едва я вошел на последнюю улицу, здешний Невский проспект (это было около 6 часов вечера), как нежданная громадная масса гуляющих уже изумила меня. Я знал, что в тот день не было ни особого праздника, ни исторического воспоминания. Погода тоже была не совсем теплая и ясная. Между тем публика (черни тут не было вовсе — да она в Риме и не способна на самостоятельное движение в это время) росла и росла. Щеголи в пальто и одних черных сюртуках, куря сигары и трубки, молча становились в ряды стоявших уже таких же щеголей по тротуарам, становились и глядели на ездивших взад и вперед дам и товарищей в колясках. Никто мне ничего не говорил прежде о замышляемой демонстрации, и сами собравшиеся на нее, по-видимому, не подавали о ней никакого знака, ни особыми криками, ни знаменами, как это я прежде читал в газетах. Но мысль о демонстрации мигом осенила мою голову: демонстрация читалась в воздухе!

— Что это, синьор, собрались и собираются эти молодые люди? — спросил я соседа, толстого добряка, как видно из содержателей ресторанов или аптеки.

— Это, синьор, — отвечал он, — демонстрация против нашего папы, изменившего народным ожиданиям в угоду австрийцам! Сегодня день св. Жозефа, и мы явились сюда заявить свое сочувствие к Италии другой, там за горами! Сан-Джузеппе — имя Гарибальди и Мадзини.

Я стал на углу улицы Кондотти, ведущей к пьяцца д'эспанья, мимо кафе-грек, места сходок русских художников со времен Гоголя и Иванова. Толпа все прибывала. Ко мне подошел М., русский архитектор.

— Смотрите, тут будет недоброе дело, резня! — сказал он шутя. — Видите, папские Держиморды собираются по перекресткам всего Корсо...

В самом деле, длинные папские сбиры в синих вицмундирах, с белыми выпушками, в треуголках a la Napoleon I и с огромными палашами, стали являться, будто для соблюдения обычного порядка на гульбищах, кучками по пяти и десяти человек. Вдруг где-то раздались крики: «Прочь! Расходитесь! Гнать сволочь по домам! Да здравствует папа!» В ответ на этот возглас послышались свистки, и близ самой щеки моей также свистнул какой-то господин, весь черный, как жук, обросший волосами до глаз и бледный! Я взглянул на него; он опустился в свой воротник, присел и, дрожа от волнения, свистнул еще громче, и в то же мгновение с другой стороны на толпу стоявших по обоим тротуарам, значит, и на нас выскочила и понеслась толпа конных сбиров. Я помню только одно, что в воздухе сверкали обнаженные палаши, что в двух или трех местах эти палаши упали и как бы вонзились во что-то мягкое, что сбиры ими били по лицу и по шляпам стоявших; брызнула кровь, раздались вопли мужчин и женщин... толпа хлынула, и мы с М. едва успели вскочить в кафе-грек, на улице Кондотти...

На Корсо продолжались еще схватки. Слышно стало в тот же вечер, что ранены три французских офицера и до

полутораста человек из римского общества, что убита женщина, шедшая тут случайно, что сбиров также поколотили, срывали их с лошадей, топтали и угощали пощечинами, словом, история вышла скверная. Ночью еще послышались было крики; говорили, что какая-то толпа бежала к porta Pia. Но скоро все стихло... Заговорил один телеграф, зашумели и шумят доныне об этом газеты.

Что же еще сказать о Риме, о его жалкой современной жизни?

Проходит две, три недели наших странствований по новому Риму, по Риму пап и кардиналов, и перед нами нежданно начинает из нового выходить старый Рим. По словам поэта, он сперва сказывается вам отрывками, там колонной, здесь портиком, там громадными развалинами Колизея, Капитолия и терм, здесь обширным полем среди города, с разбросанными по нем мраморами, и наконец вы начинаете чуять Рим былой, действительно великий, тот Рим, о котором вы точно мечтали с детства, столицу Гракхов, Цицерона и Цезаря. Этот Рим вас восторгает, чарует, уносит к миру неземному, и жалкий современный Рим, в котором вы, как и я, как и все, ныне приезжающие сюда, разочаровались, становится вам еще жальче...

Узкие улицы, затхлые, вонючие переулки, грязь домов, помои, выливаемые прямо из окон пяти- и семиэтажных палаццо вам на голову, кухни, варящие в дыму и копоти кушанья прямо на улицах, красные кардинальские кареты с золочеными колесами, жалкие театры, убогие лавки и отсутствие газет и литературы, — но вы всему этому готовы простить за одно нескончаемое наслаждение: вы в Колизее, вы ходите по лестницам Капитолия, вы в храме Юпитера, вы на Форуме, где гремели трубными звуками живые доныне слова: «Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?..»

Вы всему этому прощаете. Нищие, монахи, сбиры для вас исчезают. С гидом в руках, с толстенькою желтою брошюрою «Rome en dix jours» вы прежде всякого англичанина

начинаете обегать Рим древностей. Ведь в Риме много всяких Римов...

Если вы не были в Риме и желаете знать общий вид его, то имею честь доложить, что, въезжая в Рим после Петербурга, Берлина, Вены и Парижа, точно въезжаешь обратно в Москву. Это совершенно белокаменная итальянская Москва, город раздольный и вместе тесный, город нескольких эпох, нагроможденный и вместе перерезанный бесконечными садами и целыми площадями, даже с именем «коровьих полей», — словом, как мы привыкли звать Москву, со слов Белинского, город-деревня. Вырвавшись из тесных, вонючих и темных переулков средневекового Рима, вы свободнее вздыхаете на площадях терм Каракаллы, Колизея, Веспасиана и Форума с Капитолием и Campus vaccinus. По словам поэта, в Колизее вы прислушиваетесь к давно не существующей публике патрициев, смотрящих на бой зверей и гладиаторов, видите в императорской пурпурной ложе кесаря, слышите слова бойцов-рабов, идущих бороться на смерть: «Morituri te salutant!» — и громы тридцатитысячной толпы потрясают ваше ухо, склоненное к великой древности. Плющи, цветы и целые деревья растут давно там, точно на небесах, на верху этого исполинского амфитеатра. Что-то вспорхнуло и полетело туда с земли, на громаду камней, в необъятные окна, увитые плющом. Вы вглядываетесь — это дикий голубь...

Я, без сомнения, как и всякий смиренный турист, проводил целые дни и ночи напролет среди этих живоглаголющих древностей первого, великого Рима. Я пил воду, целые века, тысячелетия, бьющую из каменных фонтанов у стен Капитолия, храмов Весты и Юпитера, храма Венеры и громадных терм, уже лежащих ныне вне города, вместе с развалинами цезарских дворцов, будто убежавших от нового грязного и душного средневекового Рима...

Но вот раздается дружный звон, благовест ангелюса, звон сотни колоколов. Опять Москва рисуется вашему воображению. Вы идете просторными полями, между холмов,

усеянных виноградниками. Вы ждете видеть Замоскворечье, Кремль, Ивана Великого, пожалуй даже Стоженку и Тверской бульвар. Нет, белокаменная далеко. Вам пересекает дорогу опять босой и грязный, рыжий и толстый капуцин, черными глазами зорко оглядывающий ваше лицо и, кажется, ваши помыслы...

Вы вспоминаете другую эпоху, видите шагающих от моря по обожженной кампанской пустыне других частей Рима. Святой апостол Петр и с ним святой Павел идут к воротам их. «К римлянам послание святого апостола Павла чтение» звучит в ваших ушах. Вы идете по улицам. Церкви открыты. Кадильный дым летит на паперти и на улицы. Вот площадь, вот великое и бессмертное создание новейших искусств, храм Петра. На площади, перед местом, где мученически казнен апостол, бьют роскошные фонтаны. Сбиры расталкивают народ. Французский капитан покрикивает, по моде современного Парижа: «Circulez, messieurs, circulez!» — т. е. не зевайте, не застаивайтесь. Что это? Какие-то средневековые шевалье, в пестрых лоскутных брюках и беретах, как карточные червонные и бубновые валеты, с алебардами в руках, несут позолоченное кресло, а на кресле сидит Пий IX. Благочестивые зрители преклоняются. Преклоняюсь и я перед заветным когда-то обычаем народа. Но чужеземный взор является невольным протестантом. Я подсматриваю, что все эти ветхие кулисы когда-то пышной и торжественной сцены довольно жалки. Позолота и бархат, гербы и шелк на кресле и опахалах сильно потускнели, потерлись и отзывают ненужными оборвышами декораций, иногда, среди бела дня, переносимых из театра в театральные кладовые. Вы входите в церковь. Молитвы склоненных женщин и иностранцев беспрестанно прерываются шарканьем служек и каких-то тоже подержанных и будто потертых лакеев обанкротившегося богатого дома. Это спекулируют церковными стульями. Лавок в Италии в церквах нет для сидения, а у входа, иногда же просто среди церкви, навалены там дрянные соломенные стулья.

Вам их навязывают, берут с вас деньги и, едва положа должный паек в карман, жадно высматривают, когда-то вы бросите свой стул, чтобы навязать и подпихнуть его другому. А вот вокруг базилики ставятся стропила, леса обтягиваются полинялым штофом. «Это что так?» — «Готовятся для папского служения на пасху». — «Зачем же декорации?» — «А без этого уже нельзя». Приходит пасха. Вы думаете, что ее встречают здесь так, как у нас в Москве, в Кремле или на Пресненских и Чистых прудах. Ничуть не бывало. В первый же день вы видите уже у всех вялые, будничные и какие-то тоскливо скучающие лица. Магазины точно закрыты. Но ваша соседка моет у себя во дворике белье и развешивает его по гвоздям сушиться. Зато процессии нищих и монахов по улицам начинают двигаться еще чаще. А над Монте-Пинчио, как у нас на Крестовском, в заведении минеральных вод, взлетает громадный фейерверк. Многие иностранцы съезжаются смотреть на эту потеху Ватикана, по прошествии которой долго чувствуется недостаток в казне у последнего ежегодно...

Фейерверк взлетел, Пий IX дал свое знаменитое благословение с балкона Ватикана «urbi et orbi», забывши, впрочем, что у него есть, в числе дворцовых церемониймейстеров, и особые «великие проклинатели»; на улицах опять все стихает, у замка св. Ангела теснится с каким-то постоянным, тревожным ожиданием французская кордегардия, а на пустые плиты тротуаров высыпают снова нищие и монахи.

Кое-где только протащится изнуренный, загорелый и как-то молча и пугливо взглядывающий на вас поселянин, держась за хвост ослика, навьюченного всякою всячиною. Ослик, миловидные уши которого любезно мелькают здесь вам среди общей мертвечины, идет себе, шевелит брылястыми губами и своими классическими «ослиными ушами», идет, поглядывает себе на вас, на монахов, на нищих. Эти два образа вас тут только и утешают. Осел и поселянин, удержавшиеся на деревенской почве Рима, ка-

жутся, в своем трудолюбии, единственными надеждами здешней области...

Я как-то случайно попал тут на так называемое лютеранское кладбище, думая встретить тут могилы каких-нибудь статс-ратов, гоф-ратов, и вообще людей залетного торгующего люда. Вообразите же чувство, овладевшее мною, когда против самого входа, в кругу мраморных столбов, плит и мавзолеев, мелькнула мне из белой ниши знакомая курчавая, с высоким лбом голова, и я прочел русскую простую надпись из 10 букв: «*Достойному*», а внизу имя: «*Карл Брюллов*». Тут целая уже семья руских художников. Под сенью кипарисов я нашел могилы незабвенного Штернберга, Григоровича и Давыдова... Как-то грустно сжалось мое сердце при мысли о покойном Иванове и его печальном приезде и кончине в Петербурге. Здесь, среди этих роз и кипарисов, в обществе Брюллова и Штернберга, ему, кажется, лучше бы лежалось...

Последний вечер в Риме я опять провел в семье молодежи русских художников. Мы вспоминали далекую Русь, говорили о Гоголе, о жизни его на via Felice, где он создавал свои «Мертвые души». После толков об Иванове, о новых петербургских художниках, мы стали читать отрывки из «Записок охотника», страшно замасленных в ходячей библиотеке одного из художников.

— А что нового теперь в нашей литературе? Мы три года («я пять лет... а я шесть лет») не были в России и не видали наших книг и журналов...

— О, много, господа, нового! Кончайте ваши дела и ваши работы, да приезжайте!

Кто-то принес в средине вечера целый короб в карманах весенних трав и цветов из прогулки по окрестностям. Стали их разбирать.

— Вот, — начал хозяин квартиры, — как, по римской пословице, Петр своими ключами не запирает здесь дверей ко всему любопытному, оставляя Павлу (паол — мелкая монета) их тут же тотчас отпирать, а Русь-то, однако, проникла

везде уже и в здешних палестинах. Кстати, господа, вы видели в самом куполе Петра надпись покойного государя: «Был здесь и молился за матушку Россию Николай Романов».

Наутро я выехал в Неаполь. Пузатая, желтая, времен Адама, карета мальпоста глухо выкатилась из Рима. На каждых пяти верстах стали попадаться нам по знаменитой мощенной плитами почтовой дороге via Appiana, попарно конные и пешие папские жандармы с ружьями на плече и с палашами.

— Что это такое, зачем? — спросил я кондуктора.

— А это для безопасности проезжих устроил святой отец.

— Что же? и безопасно?

— Нет, в Анконе недавно ограбили мальпост!

XII

Неаполь

Март, 1860 г.

Опять розы, пальмы по скалам, голубые горы на небосклоне с левой стороны, море с правой, кактусы, орлы в небе, виноградники, леса олив, фиалки по откосам холмов и белое-белое шоссе без конца, уходящее вдаль и бегущее за вашей спиной. Лошади скачут мерным галопом, унося желтобокую карету-тыкву, где впереди сидят трое, сзади шестеро, наверху опять трое, сзади последних на крыше несчетное количество сундуков, чемоданов, коробок со шляпами, дорожных мешков, а верхом на дышловой лошади кучер и на одной из передних выносных форейтор. И кучер, и форейтор уже в наряде таком, какого вы не ожидали: оба в лощеных высоких шляпах, в лощеных ботфортах и в малиновых куртках с желтыми гербами и вышитыми поч-

тальонскими трубами сзади на фалдочках. Эти господа беспрестанно выхлопывают длинными бичами разные штуки, а едва карета вкатывается в узенькие улицы придорожного города и мостовые застучат под тяжелыми копытами огромных раскормленных лошадей, бичи поднимают такое щелканье, что слышатся в воздухе и пистолетные выстрелы, и хлопанье лошадей, и мелкая дробь хлопушки, отгоняющей воробьев.

После невыносимой муки от осмотра наших паспортов и нашей поклажи в каждом городе Королевства обеих Сицилий, едва мы переехали папскую границу, как приехали в крепость Гаэту. Опять осмотр паспортов с окриками в окна кареты: «I vosti passaporti, signori!» Опять вынимаются всякие виды на доступ в обе Сицилии. Чиновники без зазрения совести говорят вам: «На макароны, ваша милость!» — «За что?» — «За труд осмотра ваших бумаг...»

В Гаэте вышел из себя один старик француз, из Бордо, ехавший с нами в карете. Уже чиновник вертел, вертел его паспорт, принюхивался к нему, смотрел на него на свет, спрашивал, зачем в подписи префекта бордосского почерк руки как будто дрожащий и в заглавии стоит буква совсем несообразная, — не то *N*, не то *W*?

— Виноват ли я, sapristi, — кричал француз, — виноват ли я, ventre saint-gris, что нашему префекту семьдесят лет, что он префектом только за свою старость. А начальная буква точно N, а не W, потому что префект зовется Nellidié de Meridié...

— Che diavolo, che bestia! — кричал в свой черед неаполитанский комиссар. — Я не могу пропустить этого паспорта!

— Как не можете, palsembleu! Это паспорт от имени его величества нашего императора...

— Нельзя! Тут в подписи пограничного комиссарства в Сардинии какой-то крючок, и число неясно...

— Живодеры, подлецы, рабы! — кипел уже на французском наречии разобиженный старик, раскрывая кошелек.

И такие сцены стали повторяться с нами на каждом шагу, едва мы переехали порог богоспасаемого Неаполитанского королевства, где Карла Поэрио два года тому назад в тюрьме кормили перцем и марсельскими селедками, не давая ему воды, чтобы он из тюрьмы послал в газеты Неаполя отречение от своих политических убеждений.

Одну даму, ехавшую с нами также в карете, чуть не арестовали за то, что купленный ею в Ливорно для детей попугай, смешивший нас всю дорогу, носил запрещенное и треклятое в Неаполе имя. Попугай был действительно очень забавен. Он сидел в особом сундучке, на цепочке, кричал на станциях: «Garçon! au nom de Dieu, un ver d'eau!» — охал и стонал, как человек, перезябший от дурной погоды, и произносил несколько довольно метких итальянских ругательств. Дозорный чиновник в каком-то городке, обнюхав все ящики и закоулки в нашей карете и получа уже подачку за ловкий осмотр паспортов, увидя попугая, рассмеялся во весь рот, тронул его за нос и добродушно спросил его по-итальянски:

— Как тебя зовут?

— Джузеппе Гарибальди! — отвечал попугай.

Чиновник позеленел.

— А! Это вы нарочно его выучили! — крикнул он и рванул клетку из кареты.

Мы вступились, прибежало еще несколько ощипанных чиновников не чиновников, а людей вроде наших ливрейных заспанных лакеев, положили было сперва отнять попугая, а потом арестовать барыню, впавшую между тем в истерику, и мы едва спасли и того, и другую, складчиною уплатив этому кагалу золотой пиастр.

Но вот шире стали долины, море стало отливать какою-то прозрачною лазурью не лазурью, а точно воздухом, тем же небом. Пальмы стали попадаться все выше и пышнее. Зелень дерев и кустов (помните, это начало западного марта, а наш еще февраль!) пошла сплошною, нежною, яркою стеной. Огромные широкоголовые деревья укрывают долины.

Поля вспаханы; комья красной земли, точно комья шоколаду, отливают свежестью и сыростью недавней борозды. У самой дороги тащится плуг, запряженный двумя парами волов. Даже пахарь будто не итальянец. Стоит против жаркого солнца и с аппетитом почесывает широкую, раскрытую грудь. А вот поле, перерезанное бороздками для стока дождевой воды, зеленеет свежею, густою, шелковистою травкой.

— Что это такое? — спрашиваю я у кучера.

— Пшеница, синьор.

— А когда посеяна?

— В начале января, синьор.

Лопнула постромка выносных лошадей. Тыква останавливается. Мы вылезаем из душной кареты расправить усталые члены и побегать, подышать свежим воздухом. Я спускаюсь с шоссе, через канаву, в зелень пшеницы. Нежная травка, шелковистыми отливами которой играл ветер, оказывается уже почти по пояс, выше колен. В нашем феврале! Кучера закуривают трубочки. Я иду далее. Перепел выскочил из-под ног. Далее, с обширного зеленого болота, выглядывают вороные головы буйволов. Узкие глаза смотрят на вас, кривые рога отгоняют мух и оводов. Едем далее.

— Это что такое?

— Лен...

— Как? Уже цветет?

— Уже отцветает, синьор...

«В нашем феврале!» — опять думаю я, припоминая, что на юге, на дальнем юге России, в херсонских и екатеринославских степях, лен сеют только в конце апреля и в начале мая. Значит, далеко мы спустились на юг. И мысли: где Одесса, где Феодосия, где Таганрог? невольно толпились мне в голову.

Становится еще жарче, еще душнее. Уже открытые окна купе не спасают. Пошли сплошные кусты роз, цветущие мирты и лавры. Лавры, служащие живою изгородью шоссейных канав. Кактусы и голубоватые алоэ принимают ог-

ромные размеры. Близость Неаполя стала чувствоваться сама собою. Вот чаще и чаще идут по пути караваны ослов и лошаков, навьюченные огородною зеленью, мешками с хлебом и каштанами. Вот несется вскачь знаменитое corricolo, двухколесная телега, запряженная в одну лошадь и нагруженная веселою толпою странников, сидящих и стоящих в телеге, стоящих на ее осях, на ее ступеньках и даже в невинном сне висящих в особой сетке, под сиденьем телеги. Это *корриколо* — собственно, деревенский омнибус. Возница ее обыкновенно стоит где-нибудь у харчевни, в деревушке или при въезде в город, и кормит. Выкормил и хлопает бичом. Подходит седок; ему уступается почетное место на скамье телеги рядом с хозяином, а с тем вместе и почетное право заплатить за извоз, положим, до Неаполя, верст за пять или за десять, десять байоков, около гривенника. Седок сел, но хозяин еще не трогается с места. Надо-де и другим дать возможность прокатиться. Подходят разные лица: толстый фермер с дочкою, два работника с ближней кузницы, рыбак, еще два рыбака (как известно, видящих своих товарищей издалека!), вдвое толстый против фермера аббат. Эти все кое-как помещаются также на телеге, на ее сиденье. Но возница еще оглядывается, ковыряет в своей трубочке и не едет. Подходит еще толпа пешеходов, окончивших несколько фиаско туземного алеатико. Кто становится на наружный конец оси, кто на оглоблю, у ее сочленения с колесом, кто сзади телеги, на подножку, держась за спины сидящих на тележной скамье. Телега уже тронулась. Уже бич захлопал. Еще не все! Сами едущие кричат остановиться. Бегут два мальчика, в поту и запыхавшиеся от усталости, с лукошками ракушек и грибов. Их впихивают в сетку, висящую у самой почти земли, под телегою... Баста! Корриколо, скрипя и покачиваясь, пустилась вперед. Лошадка проворно перебирает крепкими ногами, а хозяин посмеивается, курит из коротенькой трубочки и хлопает бичом, заговаривая с деревенскими красавицами, также спешащими в город. Кроме первого, почетного се-

дока, остальным предоставляется на волю заплатить полюбовно, что хотят, не менее, впрочем, одного байока, то есть около наших пяти копеек ассигнациями.

Мы ехали еще несколько минут, среди более и более растущей по пути толпы, среди поселянок, путешествующих аббатов, не попавших на corricolo, среди шумных и пестрых corricolo. Карета пошла несколько по скату с горы. Я нагнулся за упавшим листком газеты, взятой на последней станции. Когда я поднял голову, Неаполь был уже у ног наших, а перед нами Везувий, с клочком сероватого облачка на макушке; то был дымок его кратера...

Первые впечатления Неаполя счастливее римских. Мальпост пробегает почти весь город, мимо набережной Кияйя, мимо Санта-Лючии, по лучшим улицам и площадям. Но вы все оглядываетесь на Везувий, на обширную двуглавую гору, голубою стеной замыкающую небосклон у самых ворот города. «Итак, вот он *тот Везувий*! — думаете вы. — Везувий, который вы видели в последнем действии «Фенеллы» и на каждой почти картинке, изображающей Италию!» Вы не можете отвести от него глаз.

В первые же дни вы уже спешите побывать в Портичи, этой родине «Muette de Portici», в Помпее, так любопытно в двух изданиях описанной г. Классовским, и на Везувии. Но едва наскоро сколоченные, какие-то бренчащие, как коляска помещицы Коробочки, вагоны железной дороги подхватят вас на станции в Неаполе и полетят вдоль изгибов и излучин залива, мимо городков, прилепившихся у подножия Везувия, едва кондуктор выкричит перед вами имена: Портичи, Резина, Торре-дель-Греко и, наконец, Помпея, — Брюллов встает перед вами, как живой. Вы спешите в светленькую, белую станционную комнату перед Помпеей, увитую виноградными лозами, и уже отыскиваете знакомый вид бессмертной картины: и небо в черных тучах, и падающих с кровель идолов, и красавицу, поверженную из разбитой колесницы на землю, и бегущих в испуге жителей, лица которых вам знакомы с детства наизусть...

Вы спешите к открытым улицам города, 1700 лет бывшим под пеплом.

Первое, что вас озадачивает, когда вы от станции перейдете маленькую поляну, это огромная насыпь, род крепостного вала, переграждающая вашу дорогу. Вы взбираетесь на нее по лестнице и видите, что насыпь эта и есть земля, укрывающая Помпею. Когда вы подниметесь на верх этого длинного холма, старенькая ферма снова преграждает вам дорогу. Вы опять спрашиваете себя, где же это Помпея? Пройдя ворота фермы, вы неожиданно чувствуете, как забилось ваше сердце... Перед вами узенькая улица; по бокам ее идут полуразрушенные, а иногда и целые дома с портиками, колоннадами. На белой штукатурке стен кое-где красной краской намалеваны вывески, собаки, птицы, латинские надписи. Все почти дома без крыш. Это и есть Помпея... Вы проходите еще несколько улиц. Коронный сторож в мундире провожает вас, рассказывает вам историю этого города, сметает пыль с мозаичных полов, переводит, перевирая смысл надписей, нюхает табачок и вам подставляет каштановую тавлинку. Вы идете по мостовой, огромные камни которой мощены за 1700 лет назад; видите на них даже следы колесной колеи, которая пробита ездой и толкотней тогдашнего города, тогдашних людей... Долго ходите вы с гидом, или, как я, с книгой г. Классовского; вам грустно и вместе необычайно любопытно. Вы вышли снова из странных улиц на вершину длинных холмов, где под теперешними пашнями бобов и пшеницы лежит еще более обширная часть невырытой Помпеи. Все лучшие древности Помпеи, вся открытая в ней домашняя утварь — чаши, ванны, светильники, весы, игральные кости, даже с фальшивыми свинчатками на боках, шлемы часовых, с найденными в них у ворот города черепами, и бесчисленное множество стенной живописи, снятой очень искусно вместе со стуками (штукатуркой) — все это хранится и показывается особо в Неаполе, в громадном Музео-Борбонико. Там вы увидите и остатки найденного теста, и сохраненную светильню в стеклянном фонаре, вынутом из

погреба помпейской дамы, и череп самой этой дамы, с куском пепла, на котором обозначался оттиск ее обнаженной груди... Живопись на многих стуках сохранилась необыкновенно свежо. Таковы известные крошечные, в три-четыре вершка величины, танцовщицы, сатиры, пляшущие на канатах, фигуры Медеи и несколько нагих прианических фигур. Остальное напоминает наши почернелые суздальские произведения.

После Помпеи вас начинает снова подмывать желание посетить Везувий, втащиться на длинноухом осле на его вершину, увидеть воочию, как говорится, его огненную лаву, подойти к ней как можно ближе, потрогать ее даже, по здешнему обычаю туристов, палкою проводника и самому втиснуть в оторванный от нее кусок монету на память. Разумеется, это вам легко удается, как и мне удалось, несколько даже раз. Вы берете из Неаполя за пять франков открытую цитадинку, род колясочки, с тем, чтобы она вас доставила до Резины или Портичи, подождала там и отвезла вас обратно в Неаполь. От Резины подъем на Везувий лучше. Езды до Резины от Неаполя час; подъем на гору около трех часов, два часа кладется на отдых на вершинах и на осмотр лавы; три часа снова на спуск вниз. Провожатый с ослом стоит подле нашего империала; здесь предполагается осел и для проводника, но последний только берет деньги, а идет в гору и обратно пешком. Я поднимался все три раза ночью, потому что теперь именно ночью любопытнее видеть Везувий. В нем открылись новые жерла, из которых девятью потоками стекает лава, и Везувий девятью огненными глазами, по выражению туринских газет, теперь смотрит на Неаполь, и девятью потоками огненных слез плачет о его страданиях.

Чтобы иметь понятие, как течет лава и что такое лава, надо себе прежде всего вообразить раскаленные уголья в самоваре и кухонное пирожное тесто, которое употребляется для произведения в особых формочках разных печений. Представьте себе, что после монотонной скучной езды вер-

хом в гору, сперва по ровной, довольно исправной дороге, идущей почти вплоть до эрмитажа, где живет монах, содержащий гостиницу с отличным вулканическим вином «Лакрима-кристи» — я говорю почти, потому что год назад новые потоки лавы перерезали и эту дорогу, — потом страшными извилинами по пропастям и обрывам безобразно застывшей лавы вы поднимаетесь все выше и выше. Проводник поет мотивы Верди и Россини, для местного колорита, разумеется, заученные с голоса самих туристов. Вот, наконец, эрмитаж! Вы отдохнули, выпили вина, купили обломков лавы в особой коробочке. Идете далее с новым спутником, коронным карабинером, которого, по настоянию английского и французского посольства, стало давать на каждую неделю по очереди здешнее правительство в прикрытие туристов на Везувии. (В минувшем году тут было ограблено бродягами аристократическое британское семейство.) Огненные жерла и потоки лавы перед вами ближе и ближе. Вы различаете, как уже валится грудами издалека застывающая, но еще раскаленная лава, слышите шорох от ее падения, точно падают из мешка кузнеца на землю готовые уголья. Осел оставлен. Вы идете пешком, прыгаете при свете белого, в сажень величиною, смоляного факела с груды серы на груду, по временам держась за мозолистую руку проводника, который втаскивает вас все выше и выше. Наконец, вы начинаете с испугом замечать, что сзади вас, на пройденном и уже темном пространстве, в щели, по которой вы шли, видна раскаленная докрасна, как в трубе самовара, куча угольев и дышащая легким переливом пламени почва. Вы перед самою лавою, то есть перед текущею лавою; стоите на лаве, застывшей всего два дня назад, толщиною в две или полторы четверти. На вас пышет жаром, как на полке самой знойной бани. Вы осматриваетесь. Из-за груды застывшей лавы, как из нагроможденных в беспорядке громадных камней, тихо выползает огненная масса, ползет вниз, как туго-тягучее тесто из трубы повара в подставленную форму, ползет, встречает преграду, взби-

рается на нее, огибает ее и, скопляясь более и более, начинает падать, то есть тянуться в яму или обрыв, встреченный снова на пути, пониже. Падает огненная лава, как растопленный свинец или, скорее, как густой мед; только отдельные ее брызги, быстро застывающие, издают при падении звук посунувшихся с угольного склада угольев. А проводник хохочет над вашим изумлением, тянет вас еще далее, на пол-аршина к самой огненной лаве. Вы закрываете лицо от адского зноя, берете палку проводника, втыкаете ее в скопляющийся новый поток лавы, причем палка быстро, как спичка при трении фосфора, загорается тонким летучим пламенем; выхватываете потом этою же палкою клочок тягучей лавы, бросаете его на застывшую глыбу подальше и в него втыкаете монету. Через час вы берете серый оттиск в карман, но он еще горяч, хотя давно уже не издает пламени...

Проводник, полуфранцузскими, полуитальянскими фразами начинает вам говорить о проделках Везувия, о засыпанных нагорных виллах, о случаях с путешественниками и, наконец, о собственных похождениях, как он водит странников на Везувий уже двадцать лет и три месяца, как влюблялись в него у кратера разные дамы и как с одною сорокапятилетнею англичанкой он даже в Англию съездил, но надоел ей, и она его выпроводила, обманув и не заплатив цены, обещанной ему за купленные услуги.

Вы сошли снова в Резину. Факел ваш догорел. Возница спит на козлах коляски. Проводник даже охрип от рассказов. Вы расплачиваетесь и уже почти на рассвете едете снова в Неаполь, где вас встречают те же сцены и картины, что и в Риме, только еще грязнее и назойливее.

Страшное количество нищих здесь перемешивается с несчетным числом солдат. Неаполь теперь походит на город в осадном положении. Везде солдаты: на каждом шагу военный пикет. Все в напряжении; все ждут чего-то, а король никуда не показывается. Кое-где на площадях и у дворцовых выходов появляются иногда ночью даже

пушки, с кордоном прислуги и с горящим фитилем, как на биваках, во время осады города. При мне на главной улице Неаполя, Толедо, несколько раз собирались, как в Риме, толпы молодежи, росли-росли тучами, прогуливаясь по тротуарам, и мигом расходились, едва показывался взвод жандармов.

Я остановился близ театра «Fundum», у двери в кукольный простонародный театр. Театров марионеток, так страстно любимых здесь народом, в этом месте около десяти на двадцати шагах пространства. Пестрая полинялая вывеска колыхнулась. Несколько зевак выжидали появления на крошечном балкончике полишинеля. И вот выскочил наш старый, всем любезный знакомец паяццо, по-московски Петрушка, с красным исполинским носом и двумя горбами, и начал чиликать, заливаясь смехом и отхватывая скороговоркой: «Господа! скажу вам правду: наш король добрый человек, — юноша, с румяными щеками — bambitto! — только окружающие его люди — волки и шакалы... Ха-ха, ха-ха! Ко-ко, ко-ко, ко-ко, ко... Король дает нищим деньги, а они две трети подачки берут себе... Расскажу вам басню: слышали вы про дележ зверей? Слышали вы, как делился тигр с зайцами и поросятами? Вот это ж мы и наши министры»... Толпа растет, невидимый глаз окидывает ее сквозь щель балкончика; усматриваются три солдата в толпе зевак, и пискун-Петрушка начинает петь на другой лад: «Был лентяй, Карлино, он все спал да лежал, а изредка крал платки и цепочки... — В толпе хохот; некоторые кричат: держите вора! — Вот Карлино проснулся раз, а ему выпал жребий, и его взяли в солдаты. Баста быть королем лазаронов! теперь он солдат, гвардеец его величества, охранитель вислоухих сограждан! Вон он стоит между вами и смотрит на меня!..» Новый хохот; солдаты, ворча, уходят.

На набережной валяются полуобнаженные и даже просто голые лазароны. Бронзовые руки и спины и каменные мозолистые подошвы и пятки выглядывают из-за кучи бочек. Они толкуют, хлопая пятками о землю, куря и поплевывая.

Послушайте, о чем они толкуют! Провожатый мой, французский гарсон из отеля, говорящий по-итальянски, переводит мне: «Да, черт бы их побрал, этих сардинцев! Они совсем продались дьяволу, офранцузились. Им хорошо — свобода! Да зато и работы пропасть, ступай дороги мостить, землю пахать, ступай кормиться трудом, а не то — в тюрьму, на галеры! Хорошо бы и нам сюда Гарибальди; да сейчас этот собачий генерал нас заберет в свой берсальери... А теперь хоть трава не расти! Из Сицилии дают знаки; да нет, так-то лучше»... И лежат на всех перекрестках, по всем тротуарам города грязные лазароны, куря, оплевывая землю на сажени кругом, почесываясь и ковыряя в носу. Это почесывающееся и ковыряющее в носу царство Тентетниковых, низведенных в трипльэссенцию лени и рабства систематическим растлением правительственного местного макиавеллизма, одуряет вас с первых дней. Нет силы выносить этой душевной тины, этого умственного убожества этих людей, ползающих с поросятами и гниющих вместе с уличными нечистотами всякого рода. Я смотрел по целым часам на трапезу лазаронов, когда племя этих курчавых, бронзовых, потных гадов сходилось есть макароны у публичных уличных котлов. Иной придет с ложкою, другой с обломками какой-то тарелки. Третий подставляет прямо к ковшу раздавателя макарон дрожащие грязные пригоршни или свой красный шерстяной колпак. Жирные макароны длинными, липкими нитями свешиваются с пальцев; горячая вода сбегает сквозь стенки переполненного колпака. Лазароны запрокидывают голову, раскрывают рот и, держа вверху лоснящиеся горячие ленты макарон, ловят их и глотают, перепрыгивая от радости с ноги на ногу. Между тем ожидающие очереди округ котла кричат, потирают ладони, заглядывают в котел, хохочут от нетерпения, и вам невольно вспоминаются сцены диких из «Робинзона Крузо»...

А публичные писцы, которым неаполитанцы отдают заранее свой ум, свои тайны и через которых застраховывают себя от ученья? Эти писцы сидят по площадям,

вдоль базаров и на перекрестках, у особых столиков. Перед каждым из них стоит огромная чернильница с пером; куча бумаги лежит на столе; сам писец в потертом фраке и круглой высокой шляпе. Желающие садятся против него на стуле, торгуются с ним за письмо к отцу или к матери, к любовнице, к другу, к детям и к меценатам, излагают свои мысли; писец расчеркнется с завитком мастера, по-писарски, и пойдет писать... Иногда вы увидите старуху, рыдающую в шепотливой исповеди у такого стола, или раскрасневшуюся молоденькую поселянку, пишущую к далекому «дружку»...

Не угодно ли же осведомиться о степени познаний этих подвижных университетов и академий Неаполя? Они пишут без запятых и точек. Я один раз стал расспрашивать у целого ряда таковых, есть ли железная дорога из Пьяченцы в Александрию, и получил в ответ: «*Эччеленца, не знаем!*» Вспомните при этом, что все государства в Италии вроде наших уездов величиною, и значит, Пьяченца с Александрией в отношении к Неаполю то же, что, положим, Тверской уезд в отношении к Клинскому или к подмосковному уездам. И чего же еще не знали эти писцы? Не знали о такой редкости, как железная дорога в Неаполе...

Муниципальная разъединенность этой печальной Италии вообще изумительна. Вы не только на каждом шагу, при переезде из одного уездика, именуемого здесь королевством или герцогством, в другой терпите от перемены монет, но еще и наречия здесь в каждой местности другие. В Риме не принимают неаполитанских пиастров, как в Неаполе римских байоков, и наоборот. Возьмут у вас в трактире сардинский флорин и пойдут с ним носиться, расспрашивая, какая это монета и можно ли ей верить. А монета эта отчеканена всего за двести верст оттуда...

Был канун моего отъезда в Рим и в Сардинию. Я в последний раз поехал к Везувию взглянуть с вершины его на море, на Неаполь, на городки у подножия вулкана и на

заходящее солнце. Я думал, трясясь на жидкой цитадинке, вместе с Майковым:

В последний раз упьюсь душой
Дыханьем трав и морем спящим,
И солнцем, в волны заходящим,
И Лиды ясной красотой...

Страна пальм, олив, роз, вулканов, аббатов, нищих, солдат, бродяг, кукольных комедий с свободным языком и двух тощеньких газет с языком кукольных комедий, прощай! Что-то тебя ожидает в будущем, в грядущем апреле, мае?!.

С такими мыслями я подъехал в Резине к домику знакомого содержателя мулов и ослов, с проводниками на Везувий, как услышал знакомый русский говор и смех, выходящие из маленького садика за двором вулканского импресарио. Я вошел в садик и ахнул. Это была компания за чаем, за настоящим русским чаем. В лучах заходящего солнца, под навесом миртов и лавров, сидели мои берлинские и парижские знакомцы, так нежданно встреченные мною здесь, в годичном отпуску за границу, Юрий Николаевич Л***, его свояченица Аграфена Львовна Сконтхоржевская и Иван Семенович Тулантьев, парижский вивер и обжора. Антон, крепостной слуга последнего, также стоял здесь, прислуживая. Я еще раз их увидел. Кроме этих лиц, были тут еще четверо незнакомых мне, также русских, с которыми я познакомился позже. Разбитная вдовушка, Аграфена Львовна, первая узнала меня и закричала.

— А, Александр Сергеевич! Какими судьбами! Господа, рекомендую вам: петербургский житель и корреспондент... кажется, «Инвалида»... Да! Нам уже писали из Петербурга, что вы успели нас описать в газетах, и меня, и мою страсть к чаю; что я из России вывезла пять фунтов... и Юрия Николаевича выставили, будто он на Гоголя в Париж поехал карикатуры писать! Ваши слова даже в «Искре» вызвали рисунок на Юрия Николаевича...

Я был как громом поражен. Оглянулся. Л***, надувшись, сопит и, косясь на меня, курит сигару. Другие лица следят за мною тоже с напряжением. Тулантьев молча ест финики с маслом и тоже сопит, хотя в Париже объявил мне, что пишет сатирическое сочинение о России и намерен его издать у Дидота или у Франка в Берлине. Один Антон, хваливший Наполеона за порядок на улицах, стоял, ухмыляясь, и тайком посылал мне поклоны через голову своего господина.

— Во-первых, я не петербургский житель, — сказал я, поправившись и раскланиваясь, — и корреспондентом «Инвалида» никогда не имел чести быть! Во-вторых, я питаю полное уважение и к вам, и к карикатурам Юрия Николаевича на Гоголя, и к вывезенному вами чаю... В-третьих...

— А! Покаялись! — вскрикнула дамочка. — Вот я вам за это и налью чаю! Это четвертый фунт мы допиваем! И Жорж на вас не сердится! Ты на него не сердишься, Жорж?..

— Не сержусь, Агаша!

Я взглянул, и Тулантьев, утирая жирные щеки, также посмотрел на меня веселее, равно как и остальные, незнакомые лица. Один Антон только опечалился; ему надо было отыскивать экипажи компании, побывавшей уже на Везувии.

— Садитесь пить чай. А мы уже побывали на Везувии! — отозвалась опять Аграфена Львовна. — Я там сравнила душу влюбленных с вулканом, а любовь их с текущею лавой! Помните Бенедиктова?.. «Громовержущей десницей расшатал я твердь небес!» Какая сила! Какой огонь!

Л*** кашлянул.

— Только я ровно ничего в Италии дивного не нашел! — начал он, по обычаю, басом и немного в нос. — Так, какая-то все больше поэзия природы! Горы там, знаете, море, цветочки какие-то, итальянцы оборванные! Подлец на

подлеце и голь на голи, как в Бердичеве на жидовской ярмарке! Ну, чем эта Италия лучше нашей Киевской губернии-с или Крыма? Что зима-то месяцем-двумя короче бывает? Да ведь деревья все-таки с декабря по апрель без листьев; так или нет?

— Так, — отвечали мы, улыбаясь.

— Ну, значит, и враки. Значит, вечных роз тут и безоблачного этого неба вовсе нет! А про Кавказ, где я служил, про Грузию, да про Менгрелию и упоминать нечего. Те-то уже почище Неаполя и Сицилии будут. Что тут за пальмы да розы; так, пальмишки какие-то. Нет, посмотрели бы вы на пальмы по Риону...

— Юрий Николаевич, вы ошибаетесь, — возразил я, — Италия богата мягкостью климата своего, которым жаркий и сухой Кавказ не похвалится; притом ее исторические воспоминания, бесчисленные сокровища первостепенных памятников...

— Памятники, эти камушки-то, да надписи, эти мраморы? — крикнул Л*** и даже привскочил, — Нет, уж вы меня извините! Вы гимназистов каких-нибудь можете прельщать ездить сюда, а не нас. Притом все эти памятники, соборы и храмики здешние напечатаны давно во всех книжках, и я с детства их знаю наизусть — и эту падающую башню в Пизе...

— Очаровательная Пиза! — перебила его свояченица.

— И вашу пресловутую Венецию, которую теперь, к счастию, австрийцы забрали в руки и авось поочистят ее.

— Гондольер молодой, ты мне песню запой! — перебила опять со вздохом Аграфена Львовна.

— И все антики Рима! Ну, стоит ли ездить за тысячи верст смотреть на эти памятники, когда я их могу своими, значит, глазами рассмотреть и изучить в «Живописном Обозрении» и в «Иллюстрации?» А на природу к чему тут ездить смотреть? В Крым поезжайте, в Киев, в Полтаву, в Херсон, в Кутаис или в Тифлис! Это просто свинство, ей-Богу! до того наврать, наплести, преувеличить! Еще ка-

кой-нибудь француз, немец может расхвалить чудеса Италии, привыкший мерить землю аршинами да вершками... А то русские, русские писатели! Срам... А мы изволь ездить поверять их, да умалчивать о их лжи, да надседаться тут от голоду и жить в сырости целые годы, в комнатах... без печей!

Один из незнакомых мне собеседников Л***, тощий и рябоватый, стриженный под гребенку, прибавил:

— Притом же, ваше превосходительство, вы верно изволили выразиться и о холоде в домах, и о голоде.

— Да, о голоде! — утвердительно сказал Тулантьев, намазывая на хлеб огромный кусок жидкого сыру бри...

— Антошка, огня! — крикнул Л*** Антону Тулантьева, вошедшему в это время с известием, что экипажи поданы.

Антон ухмыльнулся по-своему, шаркнул генералу ногой и полез в карман своего щегольского зеленого фрака за коробочкою спичек.

— А наше русское или малороссийское хлебосольство? — еще свирепее заметил Л***, тряся в воздухе рукою и стуча об пол палкою с золотым набалдашником. — Ну, кой черт заставит меня жить в этой тесноте, в этих грязных, темных, сырых и узких улицах Италии, где даже тени в лесах и садах нет, потому что тут все деревья такие жидкие, оливы там, да эти спички-кипарисы! Нет, знаете, этого нашего царственного, роскошного дуба, или там этой липы, или кудрявой березы! Да и повернуться тут негде, земля поделена клеточками, как мышиные норы; каждый участок обнесен даже забором. Тьфу! Ни собак запустить негде, ни эскадрона пустить на рысях на ученье... А у нас?

Л*** повел кругом мутными, взволнованными глазами.

— А у нас? — продолжал он. — Все просторно, все привольно, все широко и обильно... В городах тихо, в театрах не свистят, не швыряются яблоками! Во Флоренции даже в мою ложу попала какая-то подлая луковица... На

каждом перекрестке будка и будочник; сейчас пьяного сведут в часть!

— А тут пьяных и вовсе нет! — заметил я.

Л*** сердито помолчал, но ничего не придумал в ответ.

— Потом, уважение к старшим у нас! — продолжал он на это. — А тут? Подлец гарсон в трактире подаст вам супу, а сам возьмет газету, да рядом с вами и сядет, и за тот же стол, читать!.. Кондуктор одет лучше вас, а наступите на ногу мерзавцу мужику на улице и не попросите извинения, посадит в тюрьму, как простого сапожника.

— Ну, ты уже, Жорж, преувеличиваешь! — сказала Аграфена Львовна и, вставши, прибавила: — Господа! Экипажи готовы, едемте! Да и вы, Александр Сергеич, лучше с нами поезжайте в Неаполь... Нечего вам снова всходить на Везувий!

Я принял предложение, и публика, выйдя из садика, стала размещаться по цитадинам. Л*** и рябоватый господин сели в карету; туда же пригласили и меня. Поезд двинулся. Бичи захлопали. Солнце чудно золотило последними лучами море, вулканические городки — Резину, Портичи, и Помпею, и вершину Везувия, прощавшегося со мною или с нами своими девятью огненными, мерцающими глазами.

— Я от души рад, — заметил шепотом, когда мы поехали, Л***, — очень рад, что тут еще силен австрийский штык и почитается тень великого Меттерниха! Ну что было бы с этим царством бродяг, когда бы их не прижимали?

— Не было бы вовсе бродяг и нищих! — сказал я.

Рябоватый господин пугливо глянул на меня зелеными оловянными глазами.

— Вот господин художник, — продолжал Л***, указывая на него, — он поручится, что тут без штыка ничего не сделаешь!

Художник кивнул в знак согласия и стал смотреть теми же тусклыми глазами в сторону, на пламенные, мигавшие

девять жерл Везувия, будто пророчившего тут взрыв другого будущего.

— Ну, и опять этот Везувий! Ну, что тут хорошего, дивного, по-вашему! Вэбирались мы туда, я пять червонцев за всех этих господ заплатил из своего кармана! Ну-с, точно, из земли выпирает эту лаву, расплавленный, значит, песок там, глина и каменья, и течет она, ползет, и жарко от нее!.. Да что же из этого, что же из этого, скажите мне?

Художник смотрел все в сторону.

— Я не понимаю, однако, Юрий Николаевич, зачем же вы после всего этого сюда поехали? — спросил я.

Л*** нагнулся к моему уху.

— Эх, душа моя! — отвечал он шепотом, однако на всю карету, так что художник, пользовавшийся, как видно, его доверием, слышал все. — Агаша меня подбила! Ни за какие бы коврижки сюда без нее не поехал! Что делать, орала и выла всю осень и зиму: Ницца, говорит, Неаполь, Рим, Везувий, божество; ну, и поехали...

Художник, несколько раз вздыхавший и искоса поглядывавший на Л***, вдруг тронул его мизинцем за колено и сказал:

— Я еще буду у вас просить взаймы десять целковых; нужно — я своего Юпитера еще не кончил!

— Напомни мне, Сеня, как воротимся в Рим! У меня тебе отказу нет; ты художническая душа! это видно!

— А деревня, деревня! — продолжал ныть в сумерках и как-то певуче фантазировать Л***, между тем как лошади звонко скакали и неслись по мостовой вдоль залива к Неаполю, уже залитому газовыми огнями. — Деревня! Я не могу ее равнодушно вспомнить. Везде простор, чистый воздух, зелень, грибами, клубникой пахнет! Выйдешь в халате на крыльцо, почешешь спину, грудь, бока! Овцы идут на водопой, бабенка пробирается садом к колодцу. Закажешь повару кулебяку с голубями, с бужениной, квасу выдуешь полведра. Наелся, заснул, ни мушка не жужжит, ни луч

тебя не обеспокоит. А хлебосольство и радушие соседей, а вольготность во всем. Ну, на что мне эти памятники, эти капитолии, падающие башни, колизеи, коли есть нечего; этот Везувий, коли тесно, и душно, и грязно у тебя в доме! На что мне все эти мраморы, Петры, фонтаны, коли ты принужден воробьев стрелять, морских гадов есть, этих устриц, да пауков водяных, да ракушек, и коли нигде не достанешь ковшика кисленького испить после обеда, не говоря уже о нашей полтавской горилке... Эх, друзья вы мои, художники и литераторы! Много вы вздору напороли и намалевали про Италию! Ну, что, если бы решились вы правду сказать, начистоту, что ничего в ней путного нет?.. Понаезжали в Ниццу, живут по десяти лет. А что в ней хорошего? Так себе, выеденного яйца не стоит, только что пальмы, да розы, да снегу не падает никогда! Да я, господа, без снегу-то бы умер с тоски! Ну, как-таки одно солнце да солнце, выпялит на тебя свои буркалы и смотрит целый день, целый год... Мерзость! Нет, ты мне упади вовремя, этак в ноябре или хоть около Покрова; да постелюшку белую, пуховую простели по полям, с алмазами! как Вяземский князь пишет, да реки скуй, чтоб скользко ребятишкам было, да порошу мне высыпь на зайчиков да лисиц! Я на тройку сяду, за сто верст к соседу напрямик покачу, не цепляясь за плетни да за города на курьих ножках, с метелью поспорю, поборюсь! Пусть меня на сутки в ухабе заметет, волками да голодною смертью попугает... Эко диво, круглый год солнце! Скучно, господа, скучно без зимы; вот я тут весну встретил: ни шумных водопадов, ни тихого таяния снегов, ни оврагов, ревущих по полям и под околицами!..

— Я, ваше превосходительство, вам десять целковых ворочу к лету, — прервал снова неожиданно, тревожно вздыхавший и глядевший в сторону художник, — а вы мне еще Л***...

— Хорошо, Сеня, хорошо!

Л*** крякнул и улыбнулся.

— А крестьяне здешние, — продолжал он, когда совсем уже стемнело и мы подъезжали к въезду в Неаполь, — крестьяне, ну разве они свободны здесь в Италии или хоть бы даже во Франции? По бумаге-то они точно, пожалуй, и свободны. А на деле, без этих громких юридических прав? Все вздор и чепуха! Земли мало, почти вовсе нет; живут, как свиньи, в грязи и бедности, всякий монах помыкает ими, поборы на всяком шагу.

Поезд остановился у городских ворот. Шайка таможенных досмотрщиков кинулась осматривать экипажи. Мы вышли осведомиться о товарищах.

Антон подошел ко мне и приподнял шапку.

— Я это, Александр Сергеевич, с кучером все говорил.

— Как же ты говорил?

— По-итальянски-с, этому легко выучиться, когда по-французски понимаешь. Pain — хлеб, и тут pane — значит, тоже хлеб.

Я попросил у Антона спички и стал закуривать сигару.

— Нравится ли тебе, Антон, Италия?

— Нравится, теплоты пропасть. Я давеча лег пузом на солнце, так даже волдыри повскакали. Шубы не надо; оно и выгоднее. А дома-то тулупишка дрянной, а плати семь целковых в Москве, да на два года, пожалуй, и не станет...

— А народ тебе здешний нравится?

Антон засмеялся.

— Тутошний-то? Ничего! Все чумазые, черноволосые да кудрявые. Только больно нечисты, как жиды, и чесноку пропасть едят. Я в Болонье-с подсоседил одну поселяночку-с; чмокнул ее в губы, так и понесло от шельмы, точно от козла или от жиденка в Митаве. Да еще эти остричи, устрицы, значит, едят, выглядят больно скверно: точно сопли, ваше благородие...

— А Везувий?

— Вулкан-то? Этому я не верю, это, должно быть, штука подпущена; внутри, должно быть, в горе машина устроена, и люди сидят, а наружу выпирают эти уголья...

— Дома же лучше?

— Лучше, Александр Сергеевич, не в пример лучше!

Мы въехали уже поздно в Неаполь.

XIII

Лондон

Май, 1860 г.

Переезд из Парижа в Лондон в настоящее время неимоверно дешев и скор: сорок франков с лица и всего 12 часов времени. По железной дороге в Кале вы пролетаете незаметно, из Дувра в Лондон — еще быстрее. Зато переезд на пароходе через Ла-Манш — верх мучения. Качка в знаменитом проливе вечная. Едва вы очутитесь в море, как уже начинается страшная толчея; точно бесы кипятят морскую пучину. «Стюарт», пароходный слуга, звенит роковыми белыми лоханками и, волею-неволею, ставит перед каждым эту неизбежную облегчительницу ваших неприличных страданий. Иной и потерпел бы; но взглянул в лоханку, и его тянет.

Но вот земля у вас опять под ногами. Английские, настоящие английские паровозы мчат вас мимо беловатых меловых холмов Альбиона. Вам невольно приходят в голову стихи из хрестоматии гг. Галахова и Пенинского:

Я берег покидал туманный Альбиона;
Казалось, он в волнах свинцовых утопал.

Невысокие пологоватые холмы отливают бледною тусклою зеленью. Роса блестит на ветках кустарников. Иногда паровозы пролетают над крышами городков, где сотни фаб-

рик дымятся и в них стучат молотами; как птицы, мелькают мимо вас встречные поезда. Молчаливые соседи ваши, наконец, суетятся. Кондукторы выкрикивают уже прямо по-птичьи, как говорил Чичиков: «Youe tickets, sirs!» — «Ваши билеты, господа!» Из всей этой фразы вы расслушиваете только две-три гласные буквы. Один из соседей ваших крякнул и кисло посмотрел в окно. Тянутся какие-то огороды, сады, улицы; потом опять огороды, луга, сады, холмы, рощи, улицы, дачи... Тянется это верст пять, десять, пятнадцать... «Что это?»

— О-э, Лондон! о-э, Лондон! — отвечает с улыбкой и гримасой птичьего самодовольства ваш сосед.

Диккенс, Теккерей, лондонские тайны, лондонские воры, Темза, Джон Россель, Пальмерстон, Непир, Виктория, — все эти популярные у нас имена и понятия, разом приходят вам в голову. Бессмертный Диккенс!.. Как он верно передал в предисловии к первой главе своего знаменитого *«Холодного дома»* этот туман, эту всеобщую сырость, всеобщий дым и копоть Лондона!..

Как теперь, читаю я эти полные дивного юмора страницы, въезжая в оригинальный город.

Помните вы эту бесконечную тяжбу Джорнджис и Джорнджис? Помните заседание этого верховного суда в Лондоне? Вы задыхались, читая эти страницы. На дворе слякоть, на улицах столько грязи, что будто всемирный потоп только что сбежал с лица земли, и вам нисколько не показалось бы удивительным, если бы вы встретили какого-нибудь мегалозавра или плезиозавра футов в сорок длины, ползущего, как допотопная громадная рыба-ящерица, на возвышение улицы Голборн. Дым с сажею из труб огромными хлопьями стелется по улицам и облекает, подумаешь, воздух в траур по случаю смерти солнца. Собаки, облепленные грязью, ничем не отличаются от этой грязи. Лошади загрязнены по самые наглазники. Недовольные духом джентльмены цепляют друг друга зонтиками, локтями и падают в грязь... Туман везде... туман в истоках Темзы; туман над

болотами Эссекса и над холмами мелового Кента; туман под палубами барок, в реях и в густой оснастке кораблей; туман в глазах и в груди престарелых гринвичских инвалидов; туман в чубуке и в трубке сердитого шкипера; туман щиплет локти прозябшего на палубе юнги... А подле Тампля, в верховном суде, так сказать, в самом центре тумана, заседает великий лорд-канцлер, и никакая густота мрака и глубина грязи не сравнится с блуждающим в потемках и барахтающимся в бездне недоразумений этим заседанием, под властью лорда-канцлера, этого самого закоснелого из всех седовласых грешников. Судебное место мрачно и тускло; тяжелый туман расстилается по нем, будто никогда не выходя оттуда. Вот это-то и есть верховный суд Англии, суд, у которого в каждом округе Великобритании есть свои ветхие здания, свои запустелые выморочные имения, в каждом доме умалишенных есть свои сумасшедшие и на каждом кладбище свои покойники...

Все это вам приходит на память. Сердце ваше невольно сжимается, и в толпе молча бегущих мимо вас пешеходов вы даже узнаете ту помешанную на процессе старушонку, с ветхими и ненужными документами в ридикюле, которая так уморительно прерывала заседания этого туманного суда по мрачному и бесконечному делу Джорнджис и Джорнджис...

В первый же день по приезде моем в Лондон я поручил комиссионеру гостиницы, где остановился (Heimarket, Panthon Hotel), достать мне билет в заседание палаты депутатов, а сам с русским приятелем, приказчиком одной из тамошних наших лесных контор (London-Baltic), к которому я имел письма, пустился фланировать по городу...

Десятки и сотни огромных омнибусов, превосходящих числом парижские, здесь прежде всего вас озадачивают. В Париже иногда по четверть часа вы ждете очереди попасть на пустое место пробегающих омнибусов. Здесь же, при трехмиллионном населении, место всегда есть. Уморительные кэбы (handsom's-Kab) вас озадачивают еще

более. Это двухколесная коляска с дверцами, в одну лошадь, с козлами назади, над вашею головою. Кучер в лаковой шляпе правит через вас и летит быстрее ветра. Это — чудная вещь. Из Геймаркета мы пошли парками, вплоть до статуи Веллингтона, столько знакомой нам, русским, по своему чудовищному носу и по своим совиным глазам в беглых карикатурах «Панча». Едва мы прошли здание оперы и драматического театра и вступили на бульвар, как к нам подошел рослый джентльмен с русыми бакенами, в сером фраке с протертыми локтями и в круглой помятой шляпе.

— Господа! — начал он сперва по-польски, потом по-русски. — Я несчастный польский выходец; помогите мне! Я бежал за идеи, за убеждения и вот тридцать лет плачу за них страданиями всякого рода...

— Чем вы живете? — спросил я, развязывая кошелек.

— Прежде был переводчиком с польского в «Times», потом сам печатал книги и издавал газету по-польски. Меня все знают...

Он назвал несколько известных имен, в том числе Мицкевича.

— Как же теперь вы живете?

— Типография моя лопнула на штрафах за процессы по пасквилям, и я живу изо дня в день; вот уже шестые сутки я питаюсь одними печенками да гнилою капустой! — отлично выговорил он по-русски.

Я уже готовился было дать ему полкроны, как товарищ мой злобно ухватил меня за руку и отвел в сторону.

— Ради Бога, ни копейки! Это — известный здесь всем нашим мошенник Свянцицкий. Он прикидывается эмигрантом и политическим выходцем, а просто — беглый солдат из-под севастопольских редутов. Он уже и здесь побывал на галерах... Свянцицкий! — громко крикнул мой спутник, сжимая кулаки. — Я отдам вас в полицию за прошение милостыни; идите прочь! Помните полисмена на Стрэнде?.. А?

Свяницкий с улыбкой поклонился нам и ушел, не говоря ни слова.

— Да-с! — продолжал Иван Иваныч Прохоров (так назывался мой знакомый). — Вы себе представить не можете всей изворотливости здешних разноплеменных мошенников. Иной раз на улице вы встретите мнимого султана Гирея, будто бы претендента на крымский престол; в одной таверне здесь долго привлекал на себя общее внимание мнимый Виктор Гюго, а в уличном театре на Пикадилли я познакомился с таким же Ледрю-Ролленом, выпросившим у меня, новичка, пачку сигар и шиллинг на извозчика...

Мало-помалу вы вглядываетесь в Лондон и физиономия его, выходя из тумана и общей пестроты улиц, начинает вам представляться чем-то знакомым. Мальчишки на набережной Темзы бегут, по колени в грязи, за индийцем, настоящим индийцем из Калькутты, приехавшим на корабле с кофе, за полчаса всего назад. Непостижимые женщины, лондонские женщины, бегут навстречу вам и шныряют сзади вас в смеси костюмов красного, желтого и голубого цветов. Вы спрашиваете себя или товарища вашего по обычаю континентальному: какого это свойства и класса женщина? Леди ли она, жена ли торговца, повара, кучера, священника, адвоката или служанка? Товарищ ваш окинет глазами сперва вас, потом ее неизбежные рыжие букли, красный шейный платок, желтое платье, голубую шляпку и на шляпке опять красные ленты, пожмет плечами и ответит: «А Бог ее знает, кто она! Лондонская *женщина*, и только! Тут они все равны, как мухи летом; не узнаешь...»

Однако же не смейтесь очень. Один костюм, да, пожалуй, манеры еще здесь точно странны. Зато взгляните на этот полный, рослый стан, на эти влажные, светлые, голубые глаза, на эти нежные, белые и румяные щеки, на алые, сочные, сейчас евшие бифштекс губы... Тогда вы согласитесь, что вряд ли на материке Европы

встретите столько красавиц и породистых женщин, как в Лондоне.

Долго мы блуждали но Лондону с Прохоровым. Он рассказывал мне много любопытного о русской лесной торговле в Англии, об отправке сюда нашего мачтового леса, дубовой клепки, соснового накатника на полотна железных дорог. Он жил в Лондоне семь лет и знает его как свои пять пальцев.

Любовались мы с ним красными гвардейцами королевы, румяными, рослыми и в рыжих бакенах, недаром прозванных в Индии и в Китае вареными раками. Любовались дымными тавернами, дымными, но красивыми женщинами, и совершенно черными от дыма, закоптелыми воробьями. «А, здравствуйте, знакомцы!» — сказал я про себя, смеясь этим пернатым в Зоологическом саду. Подошел, смотрю, точно трубочисты... и носик замаран, и чуб точно в саже, и крылья будто вышли из коптильной печи. Нет, наши воробьи почище...

Зоологический сад в Лондоне богаче парижского Jardin des plantes. Тут богатое собрание живых кенгуру (двуутробок), попугаев, жирафов, зебр и змей. Жирные, безволосые водные слоны, гиппопотамы, и здесь плещутся в бассейнах и зычно ревут, как и в Париже. Но англичанин обрадовался, как всегда, что перещеголял своего соседа french-dog, и успокоился. Сад богато содержится, но в запустении. За вход в него берут деньги, но публики почти нет. Не так зато — в даровом Jardin des plantes, этом любимом эльдорадо парижских детей.

Спутник мой, впрочем, полюбя все английское, от плавающего в крови бифштекса до эля, защищал и это.

— Что вы ругаетесь? — заметил он мне. — А вчера же мы были в загородном дворце королевы. Она выехала на два дня в Лондон, и оставленный на это время дворец вмиг запустел, — нам едва нашелся человек отворить дверь для осмотра ее комнат. Там нет ничего лишнего. Там уже она сама живет; наслаждается в своей семье,

открывает и закрывает, в золотой карете ездя по городу, парламент; вышивая в пяльцах, меняет министров, когда газеты затрубят уж слишком громко о их деяниях, и дело с концом. Ни обедов, ни балов, ничего... Я, часто гуляя в парке, подходил близко к ее собственным окнам: слышу, гремит рояль, и какое-то дитя детским голосом вторит его звукам, напевая шотландскую песню; кругом цветут каштаны, холмы зеленеют, пахнет свободой и весной... Цветы она тоже очень любит. Еще вчера ватага каких-то матросов в день своего корабельного праздника понесла ей почти саженный букет.

— А Пальмерстона она любит?

— Да, корреспондент «Таймс» на днях уверял в лондонской хронике, что сам видел, как она, перед составлением бюджета расходам на этот год, угощала его чаем со сливками и сама разливала... словом, строила ему куры!

— Тот же корреспондент, в мою бытность в Лондоне, рассказывал, что в один из апрельских вечеров в театре поссорились во время итальянской оперы два слушателя. Сперва бранились они в креслах, потом вышли в коридор, сняли сюртуки, засучили рукава и в кругу обступивших их других зрителей стали боксировать. Потчевали-потчевали друг друга кулаками, расквасили один другому носы, или, как говорит Диккенс, один другому обратили нос в горчичницу, а глаза в уксусницу, и пошли снова на свои места. Оказалось, что это были члены парламента, О*** и Ю***. Такова сила обычаев!..

— Что же это за чугунные решетки в тротуарах? — спрашивал я Ивана Иваныча. — Отверстия для сорных ям или окна в подвалы?

— Это, батюшка, продушины для света и воздуха в новоизобретенных жилищах, в домах под улицами. Мест нет, места дороги, ну, и строятся под улицами, а сквозь тротуары дышат и получают косвенные лучи Божьего света...

— Кто же там живет, нищие?

— Э! нищие! Нет, извините. Из двух миллионов 750 тысяч жителей Лондона каждую ночь, по счетам здешней статистики, около 100 000 человек спят среди лондонских улиц без крова, на плитах тротуаров, а из числа последних каждую неделю средним счетом двое или трое умирают с голода.

Были мы с Прохоровым в знаменитом хрустальном дворце, в загородном парке, куда по праздникам беспрестанно отправляются поезда железных дорог с двух концов Лондона. Это напоминание, эти остатки всемирной выставки, даже и в теперешнем виде, — поистине величественны. Вы проходите рядом сквозных, светящихся, прозрачных зал и поражаетесь — то громадною веллингтонией, деревом почти в рост любой нашей колокольни, с дуплом, как под царь-колоколом: все дерево свезено и восстановлено из кусков, с корою; то сделанными из мастики, среди живой зелени, группами в рост разных человеческих пород; вот кавказско-европейское племя, в качестве голландцев, распивающих пиво; вот готтентоты, вот индейцы американские, вот арабы, полинезийцы... Идете далее и входите еще в большие залы; в средине одной из них гремит исполинский орган, и публика слушает солиста, играющего на нем сонату Бетховена. Тут мнение Ивана Иваныча о немузыкальности англичан как будто хромает. Вот ряд архитектурных чудес: залы мавританские (Альгамбра), египетские, китайские, византийские и греческие времен республик. Тут же стоят поясные бюсты замечательнейших людей мира: вот Софокл, вот д'Израэли, Данте, Пальмерстон... и в кругу других... великий союзник и друг Джона Буля, Наполеон III...

— А! Бонапарты в музее свободного Лондона! — почти крикнул по-русски возле нас толстый, рябоватый и несколько хромой господин с палкой в руке. Он уже подслушал, что мы говорим по-русски и всячески, заходя то справа, то слева возле нас, заговаривал с нами. — Ну, подите, господа! Ну, не подлость ли так лазарничать? А еще сво-

бодная нация!.. Извините-с! кажется, с земляками имею честь говорить!

Мы переглянулись.

— Точно так! — отвечал я.

— А! Очень рад! Вот я уже пять дней до поту лица толкаюсь по этому граду безобразия, трачусь вон на этих подлецов комиссионеров, — он свирепо указал на проводника с рыжими бакенбардами и с кулаками, засунутыми в карманы верблюжьего пальто, — а души человеческой, то есть нашей, — ни одной... Очень рад, очень рад! Я — Степан Петрович Кутанин, таврический-с помещик.

Мы пошли в отделение экипажей.

— А! А! Чистые английские рессоры! — толковал он, хлопая по рессорам изо всех сил. — Ну, что тут?

— No admittance! — мрачно заметил чичероне в галстуке и рыжем пальто.

— Как же! так тебя и послушают! Господа! Да ведь это все вздор! Такие кареты и Тацкий в Петербурге, и Броневский в Харькове делают. А о Варшаве нечего и толковать. Грубо, топорно, безвкусно... А в клубах *их* были? — спросил Кутанин неожиданно.

— Нет, не был! — отвечал я.

Мы пошли далее, осмотрели собрание всевозможных сельских машин, производство иголок, выделку хлопчатобумажных ниток, запаслись и тотчас сделанными при нас иголками, и в глазах наших выпряденною шпулькою ниток и уже, мимо собрания английских масляных картин и фарфора, собирались идти в сад, как Кутанин таинственно кивнул нам и отвел нас в угол:

— Видели вы тут эмигранта N. N.? — спросил он.

Мы опять переглянулись.

— Нет, не видали; мы его не знаем.

— Ну, а я его видел... Представьте! иду по Геймаркету на Стрэнд, на Стрэнде идут двое в сером, и один такой печальный и с чахоточным лицом... Это, наверное, был он! Я за ними, за ними. В парке к ним подошли три дамы.

Говорят по-русски и по-английски. По-русски я только и услышал: «Да, погода — ничего!» — а потом: «Читали вы диспут Погодина?» — и только...

— Ну, что же из этого? — с досадой перебил Прохоров. — И охота вам пустяки молоть!

— Да это, был, наверное, эмигрант...

Прохоров позеленел.

— Ох, уж надоедают же мне здесь наши земляки! Извините, — сказал он, — только вздорными пересудами и занимаются! А небось в Кью или в Британском музее не были, господин Кутанин?..

«Ай да купчик!» — подумал я. Полковник насупился, запахнул свой плащ а la Кавур, махнул комиссионеру, сказал ему: «Ну, мистр, в тоннель унтер Темза... там, знаешь? унтер вассер!» — ушел, кисло нам улыбнувшись.

— Да, — заключил Прохоров, — озадачился и я здесь один раз, недавно. Вхожу с приятелем, тоже русским купеческим сыном — он сюда из России привозил продавать сосновые бревна, слиперсы, под рельсы, — в кофейню на Геймаркете, турецкую кофейню, где потребовали себе чаю и стали болтать. Один из лакеев, тут бывших, давай в нас всматриваться, тут вдруг он подошел к нам и спросил по-русски: «Ваше благородие, не желаете ли-с пивца?»

— Как так? по-русски?

— Да, это был эмигрант *Данилка* из Крыма, с южного берега, из Гаспры, кажется, имения князя Мещерского. Во время войны его взяли в плен, поместили в вонючий трюм огромного корабля и потом высадили в Лондоне. Тут он и остался. Сперва мыкал горе по улицам, милостыню у заезжих русских купцов просил, а потом поступил в турецкую кофейню и стал первым лакеем. И потеха была его слушать. Бывало, с первого приезда сюда, со скуки придешь туда. Данилка, именуемый товарищами *мистер Дэниэль*, обвернет салфеткой руку, сядет рядом на диванчик и давай рассказывать: «Я, — говорит, — тут всю политику знаю:

эти англичане, значит, только отвод глазам делают, а королева у них сама, сказывают, детей грамоте учит. А Пальмерстон — помещик предобреющий; я к нему в Пиль-Голль за курами ездил...» Он все в таком роде говорит. Или вдруг начнет: «Я, — говорит, — по-аглицки читать выучился и ежедневно «Таймс» эту читаю. Как что есть про Россию, так и читаю. Намеднись пишут в ней такую чепуху, что просто уши вянут. Я не вытерпел и газету кинул на пол. Подлецы! А сами хороши! Только и хорошего, что мяса вдоволь, да пиво дешево. А нечистоплотны, как псы.... Намеднись тоже один у меня жилетку украл... Скучно, хочу у Брунова барона-с опять к барину в деревню проситься...» — «В деревню? Да ведь ты вольный теперь?»

— «Хороша воля! Во всем чужом хожу; фрак, рейтузы и даже цепочка. А в прошлую Филиповку хвороба напала, никто и не помог; так-таки, как собака, чуть не околел на улице... Скверно-с!»

Были мы с Прохоровым тоже «унтер Темза», в тоннеле, и сильно мне не понравился знаменитый этот проход под рекой. Вообразите витую лестницу, по которой вы спускаетесь вниз, перед вами бесконечный коридор, едва освещенный газовыми рожками и разгороженный надвое рядом колонн. Одна половина его уже заколочена; в нее просачивается вода. Вы идете по другой половине, но и тут сырость очень заметна на полу и на стенах. В промежутках между колоннами устроены лавки, где продают всякую мелочь: транспаранты, ножики, иголки, карты, книги для детей. В некоторых впадинах устроены театры марионеток, камеры-обскуры с видами парламента, синопской битвы, взятия Севастополя. Паровичок, совершенный сколок с локомобиля и всего величиною в самовар, двигает декорации уморительной панорамы карикатур. Но на всем этом лежит скука и запустение. В бесконечном коридоре мелькают два-три зевающие гостя, и только. Тоннель брошен давно.

Я побывал еще на фабриках, ездил смотреть флот, осмотрел «Левиафана», послушал лекции отставного адвоката о юстиции, где чтец в карикатуре передает приемы и ухватки английского правосудия, и уехал, увезя с собою в платке такую копоть лондонского каменноугольного дыма, что две недели спустя, надевши в Тулузе фрак, вынул из него платок, еще пахнувший этим дымом.

Но я не сказал главного. Я был несколько раз в лондонском парламенте, именно *в палате депутатов*, знаменитом «House of Commons». С помощью любезности Данилки, угощающего в своей кофейне многих депутатов, я получил от одного члена парламента следующую записку на клочке простой бумаги: «Admitto the gallery of the House of Commons this Evening. S. Smitfeld. Munday, may 7, 1860». С этою запискою я мог беспрепятственно войти в трибуну зрителей палаты. Надо было только сделать обычный смертный «хвост», то есть ждать очереди перед дверью, пока из 80 мест тесной трибуны выйдет столько сидевших, что и вас пустят. Билетов же по числу членов раздается каждый вечер до 300. Это было 7 мая, когда я пошел туда впервые. Увидя в нижней громадной проходной зале Вестминстерского дворца нескончаемый хвост по «выжидательным лавкам», я терял надежду, но сосед по месту моему в хвосте, француз, сказал мне: «Я не взял кроны, а у вас есть?» — «Есть! — «Ну, так идите назад, дайте швейцару, он вас проведет боковыми ходами к самой двери, вперед всех». О, Англия! И тут берутся *взятки*?!. Я дал два шиллинга, и румяный привратник ввел меня прямо в трибуну...

«*Лондонский парламент!*» — думал я, чувствуя дрожь в спине и вспоминая столбцы наших газет с отчетами о его заседаниях. Я сел на задней лавке под самым потолком и стал смотреть. Огромная зала была почти пуста. На лавках депутатов было наперечет человек десять, не более. Скамьи эти шли амфитеатром. Посреди залы стоял под балдахином трон спикера-говоруна, т. е. президента, мрач-

ного человека в белом парике и в мантии. Стенографы сидели сзади его. На столе перед ним лежали бумаги, портфели, книги законов и на бархатной подушке скипетр и корона королевы. Вскоре уселся близ меня и француз с словами:

— И я достал крону!

— Где тут дамы? — спросил я его.

— Вон против нас, за решеткой! Их не видно, потому что по закону они сюда не допускаются: ну, их и прячут, а пускают...

— Что это говорят? Я не расслышу?

— Это читают разные прошения, petitions. А вот теперь идет «tenure of Ireland bill...»

— Кто это встал и говорит?

— Д'Израэли; он спрашивает о завтрашнем дне.

— Что такое? Я не привык и плохо их тут понимаю.

— Идет вопрос о сношениях Европы с Турцией.

— Сделайте милость, скажите: отчего так пусты здесь скамьи?

— Еще министров нет. Теперь 9 часов вечера; депутаты все в театрах, в клубах. Ну, вот видите, все мальчики в форменных курточках шныряют! Это телеграфные гонцы. Они чрез каждые пять минут несут от стенографов отчеты о ходе прений, и чрез каждые пять минут депеши выставляются в Лондоне в фойе театров и клубов. Когда войдут министры, то через пять-восемь минут и лавки депутатов наполняются...

Едва он это сказал, как из-за балдахина спикера показался худенький вертлявый старичок в черной шляпе и в черном сюртуке (в заседании палат все депутаты сидят в шляпах) и с портфелем под мышкой, сел на лавке министров.

— Это Джон Россель! — шепнул мне француз.

Я стал смотреть на него в бинокль: как две капли воды схож с Little — Джоном «Понча».

Лишь только он вошел, с левой стороны встал член Тедфиельд и спросил: «Что сделано Европой в отношении к

Турции со времен мира?» Джон Россель: «Замечу to the honorable and learned gentleman, что наш посланник, г. Бульвер, по правде, не сделал ничего за эти два-три года, и ничего не мог сделать для того, чтобы наконец нашу страну поставить там в числе более дружественных наций — the most favoured nations!» Он говорил тихо, но все глаза и уши были к его стороне. Он уселся. После Trade-Marks, где говорил Milner Gibson, начался отдел прений по так называемому «personal explanation». Тут в особенности отличались скучнейшими и длинными речами Вальтер и Горзман. Уж они и руками махали, и какие-то бумажки со столов своих хватали. Спор между ними шел о руководящей статье в «Таймс» «Leading article», писанной Вальтером, где последний задел Горзмана и даже, кажется, не пощадил его семьи, жены и тещи. Во время этого прения и перебранки всякого рода вошел Пальмерстон...

Он вошел, как старый, некогда знаменитый волокита и танцор входит в бальные комнаты. Он высокого роста, держится прямо; черный фрак с иголочки застегнут на все пуговицы, черная шляпа надвинута на брови; из-под ее полей белеют серебряные бакенбарды. Он шел, снимая с руки перчатку. Сел и стал слушать, закинувши ногу на ногу... Не прошло, действительно, и четверти часа, как скамьи депутатов стали полны снизу доверху. И Пальмерстону пришлось в этот вечер прослушать спор Горзмана с Вальтером. Наконец он улыбнулся, посмотрел на часы и встал, снявши шляпу.

— I hope this discussion may end! — сказал он. — It has not, so far as I can see, led to any result of greater importance... (Надеюсь, что этот разговор кончится; он не приведет, сколько я могу видеть, ни к какому важному результату...) Я сам был, — прибавил он, — долгое время целью самых горьких и ядовитых нападок «Таймс»; но, увы! этот листок теперь меня щадит. Говорю: увы! потому что это недобрый знак, господа; это значит, что я выхожу из моды, старею...

Громкий и раскатистый смех покрыл эту старинную, знакомую еще всем по Вольтеру увертку. Прения оживились. Пошли речи по поводу «Refreshment-houses and wine licences-bill», билль о льготах в пользу домов для продажи вина и прохладительных напитков. Говорили Айртон, Лиддель, Саломон и Скюлли. Последний, в подкрепление своей речи, даже сказал двустишие:

That those would drink, who never drank before;
.Whil those who always drank, drink the more!

Эта выходка снова долго покрывалась раскатами смеха палаты. После старика, голос которого напоминал плач ребенка, а фрак сходил до его пят и кутал его затылок, как в кузов коляски, говорил другой, кашляющий старик.

— А где же тут оппозиция, ее коноводы? — спросил я француза.

— Опустите ваши глаза долу, — ответил он, улыбаясь, — взгляните, где ноги д'Израэли, и вы узнаете, в какой стороне оппозиция и ее коноводы.

Говорил в то время рослый и красивый блондин, Гладстон, в сюртуке бутылочного цвета с искрой и без воротничков у галстука. Это был важный министр финансов «Chancelor of the Exchequer». Он приводил, после окончания прений, свои виды и заключительные доказательства в пользу билля о напитках и, стоя у стола среди залы, перед своим местом на скамье министров, с веселою интонациею передавал сказку о видениях Геркулеса «Wisions of Hercules» — и между прочим стал пародировать легенду о добродетели и пороке «Virtue and vice».

— А где ноги д'Израэли? — спросил меня опять француз.

Я опустил глаза вниз. О, ужас!

Д'Израэли, идол мой, умнейший и гениальнейший из современных англичан, уложил свои ноги со скамьи оппозиции, визави против скамьи министра, прямо на стол, в кучу бумаг, и при какой-то фразе Гладстона так неловко оборотился к

соседу, взявшись за лацканы жилета, что подвинул каблуком подушку королевы...

Я воротился домой на квартиру. В ушах моих еще звучали голоса Джона Росселя, Пальмерстона и Гладстона. «Так вот они каковы, эти правители судеб мира, эти английские депутаты!» — думал я, ложась спать. На столе своем я нашел письмо из Малороссии от старика дяди N. N. Дядя мне писал:

— Всему я готов поверить! Но чтобы сапожники правили государством, не поверю. Скажи Пальмерстону, когда увидишь его: зачем он задирает нос? Мы англичанам не дадим хлеба, и баста! Тогда напляшутся! Да правда ли, что там машина такая есть...»

Хороши сапожники! Далеко до этих сапожников парламентам и берлинскому, и туринскому, и депутатам в Лувре, о которых я вам писал.

XIV

Дунайские княжества

Все торопились уйти в море благодаря холере, которая начинала усиливаться в Екатеринославе, Никополе, Херсоне и в Одессе.

10 июля в Одессе, между прочим, разнеслась весть о победе итальянцев при острове Лиссе над австрийцами. Но австрийский консул вывесил в кофейнях депешу, гласившую, что на море победили не итальянцы, а австрийцы. Путаница в слухах вышла невероятная.

Одесса склонилась к мнению, что разбиты австрийцы, что в самую Вену нельзя проникнуть, что между Пештом и Веною железные дороги разрушены и что в Галац оттуда более пароходы ходить не будут. Множество путешественников поэтому возвратились через Херсон на север, 10-го же числа. Я пожелал узнать, действительно

ли в Вену и через Вену нельзя более ехать. Я был в Обществе Пароходства и Торговли, у австрийского консула, у агента австрийской пароходной компании г. Этлингера (он же баварский консул), у банкира Эфрусси, в редакциях одесских газет... 11 июля никто из них не мог мне положительно ответить на это. Тогда я решился ехать по Дунаю...

Пароход вышел в Галац 11-го вечером. В кают-компании было несколько греков, русский из Тифлиса, француз из Киева, еще несколько русских из Одессы. Мужчины толковали о победе пруссаков при Кениггреце. Дамы говорили о новом романе г. Ф. Достоевского «Преступление и наказание» и о превосходном романе г. Л. Толстого «1805 год». Мы любовались балканскими отрогами Добруджи, фиолетовыми холмами Тульчи и Исакчи; мы с грустью вглядывались в пустынные, поросшие камышами и лозою берега Дуная, по которым то здесь, то там разбросаны были серые каменные сторожевые землянки, да кое-где виднелись красноштанники турецкие солдаты, с некоторого времени зорко стерегущие берега Румынии. У Тульчи на берегу явился ряд зеленых палаток турецкого небольшого лагеря, с солдатами, моющими свое белье у берега, среди разбросанного стада черноволосых буйволиц.

В Галаце также явилась холера. Лауданум и нуксвомика здесь также у всех на языке. Публичный молодой сад пуст. Все здесь как-то сконфужены, говорят шепотом. На окнах фотографов рядом с портретом некрасивого принца Карла Гогенцоллернского выставлен портрет Кузы и его супруги.

— Зачем же вы и Кузу по-прежнему выставляете, да еще в золотой раме, разрисованного красками?

— А как *вдруг* он опять сюда явится? Что тогда? Ведь Наполеон все может.

— Что делает ваш Карл?

— С солдатами все возится! Денег нет, хлеб не уродился, пшеницу заела головня (зона), лен пропал повсеместно,

деревни пожирает холера, крестьяне беднеют с каждым днем, представляя толпы забитых и запуганных боярами нищих, о железных дорогах и помину нет, а бухарестская Палата опять увеличивает войско. Теперь у нас шесть пехотных и два кавалерийских полка. Прошла молва, что Коцебу ваш идет занять княжества. Либеральные газеты «Тромпетта» и «Румунул» грозят, что войска наши пойдут ему навстречу, что следует взять у вас всю Бессарабию. Жалованья войску не дают давно, солдаты в такую жару, как видите, ходят в сукне, кителей летних нет. Многие на часах падают в обморок. А газеты кричат про героев «солдатской ночи 11 февраля» — про Лекку и Хараламби... Вон и их портреты в окнах...

— Сколько подписчиков у ваших журналов?

— У «Румунула» 2300, его полиция навязывает насильно; у «Тромпетты» 600; издатель ее Цезарь Болияк, бывший адъютант Кошута, издавал прежде «Бучумул» («Труба»), запрещенный Кузою. Он знаменит тем, что, по словам других здешних газет, обобрал дорогие камни с короны св. Стефана, которую Кошут дал было ему скрыть.

12 июля мы вышли в Пешт. На австрийском пароходе «София» ехало множество румын, купцов, помещиков, пансионеров бухарестского пансиона Севича, несколько эмигрантов-поляков, в том числе сын Вацлава Ржевусского, Эбн-Эмир-Гутапа, принявшего некогда мусульманство в Аравии и воспетого Мицкевичем в поэме «Фарис». Молодой Ржевусский состоит теперь учителем в семье одного молдавского помещика, ехавшей с ним на воды на север Дуная, тоскует по России и давно просится возвратиться туда.

Но вот на станциях пассажиры прибывают: все греки, турки и липоване. Вот красивый гористый берег налево.

— Это Карабунар («черный залив») — участок до 200 десятин, подаренный султаном поэту Ламартину одновременно с Бедельгамаром, подаренным ему в Ливане. Последний значит «дом месяца»...

— Получает ли Ламартин отсюда доход?

— И еще какой! Все дома в Галаце строятся из ламартиновского камня; его участком правит весьма искусно доктор Рено.

Вот огромная деревня также налево (т. е. на правом, турецком берегу Дуная) по имени Бездарешты в 2000 душ русских раскольников, атаман которых носит имя Григория Разноцветова. По берегам мелькают красные платки женщин; одна из них, в синем сарафане, моет в Дунае белье: валек хлопает, как и в России. В полях желтеют копны убранной пшеницы. В конце деревни на каменистой земле тройка рыжих коней бегает и, подгоняемая мальчишкой, молотит разостланные кругом снопы. Пароход наш идет у берега; лодка с парнем в ситцевой рубахе спешит уйти из-под его носа. «Ванюха! бес те прет под немца!» — кричит ему из камышей голый старик в соломенной шляпе, вероятно, его отец.

Далее Черноводы, городок на турецком берегу, куда примыкает линия кюстенджийской железной дороги. Белые каменные стены; поля усеяны красными фесками, босыми ногами, оборванною сволочью, между которою виднеются черные лица арабов, два-три синих мундира туземных властей и турецкий солдат-часовой с босыми ногами, в феске и с ружьем на плече. Особые машины непрерывным колесом с черпаками тянут с барок зерно пшеницы вверх на скалистый берег, где ее развозят по галереям на повозках ручных и ссыпают прямо сквозь пол галерей в подставленные крытые вагоны, как в закромы. Это та самая пшеница, которая в громадном количестве теперь идет в Кюстенджи из княжеств и подорвала с 1858—1860 годов наши хлебные рынки на юге, не имеющие сообщения с нашими степями через железные пути.

Нас не пустили на берег ни в Черноводах, ни в Силистрии, где турки от нас устроили на днях 15 дневные карантины. Какова странность! Турки от русских ограждаются карантинами. А через кого попала в Россию холера?

Берега румынские уступают в красоте берегам турецким, скалистым, возвышенным и лесистым. Румынские берега напоминают наши песчаные, дикие, голые и бедные берега Дона: ни лесов, ни скал, ни оживленных деревень. Чего же так сюда стремился Куза и чего теперь произносит здесь такие торжественные клятвы принц Карл?

Для разрешения этого лучше всего обратимся к интересной личности, едущей с нами на пароходе «Sophie». Небольшого роста, сухощавый, седой как лунь, с черными глазами, белою «наполеонкой» и белыми усами, в белом кителе, желтых полусапожках, с звездой на белой фуражке, он сидит степенно и молча всю дорогу из Журжева, не сходя с вышки парохода и ни с кем не говоря. «Это генерал Николай Голеско, экс-министр внутренних дел княжеств во время революции 1848 года и экс-министр военный временного правительства, с 11 февраля по 11 мая 1866 года, низложившего князя Кузу», — говорит мне шепотом австрийский капитан. Взошел месяц. Сцена у крепости Виддина, где надули богатого грека, ехавшего с нами, продавши ему за червонец мерзейшего табаку, а потом пожар деревушки на валахском берегу близ Калафата познакомили меня с г. Голеско. Я разговорился с ним сперва о новых лагерях 40 000 турецкого войска под Силистрией, Рущуком и Виддином, зеленые палатки которых бьют теперь в глаза всем мирным путникам Дуная, а потом вообще о княжествах. Вот рассказ г. Голеско:

— Дунайские княжества — это край с большою будущностью. К сожалению, будучи членом двух революционных временных правительств, я, в качестве их министра, убеждался в одном, что правительства, свергнутые нами, стремились лишь к тому, чтобы воцарить в княжествах воровство и расхищение народных денег и имущества. В 1848 году меня и моих товарищей схватили турки и назначили к ссылке на 15 лет на галеры. Целый месяц нас везли на барке по Дунаю; мы стали на мель, и сербские рыбаки дали нам случай уйти во Францию, одолевши му-

сульманского офицера. Мы явились сюда снова после Крымской войны. Князя Кузу мы выбрали потому, что его выбрали наши собратья молдаване: лишь бы не отделяться от них. Куза — бывший исправник в русских Фокшанах и потом в Галаце, попал в князья Румынии потому, что менее других претендентов имел богатой родни и связей. Но мы горько ошиблись. На высоте румынского престола он явился тем же трактирным, будничным героем, каким был он, проводя прежде ночи под бильярдами и на бильярдах. Это совершенно особый тип нашей молодой Румынии; у него нет и не было ничего святого, никто ему не был близок, ни из одного сословия. Как менял он сегодня свою добрую, нежную, почти ангельского сердца, жену на первую встречную актрису, так он переходил от угодничества Наполеону к угодничеству Австрии и другим. Он страшно сорил казною княжеств. При Стирбее и Бибеско бюджет обоих княжеств от 30 000 000 пиастров возрос до 40 000 000; Куза умудрился возвесть его до 165 000 000 пиастров (почти до 50 000 000 франков), где четвертая доля поглощалась войском. И что же это за войско? Если бы он сам вздумал его вывести в поле в последний год своего княжения, оно бы ни к чему не пригодилось: из 110 орудий мы нашли годными только 13 пушек. И все в таком роде! Пушки он выливал дома, а сверлить их посылал в Англию... Опять дело с греческими монастырями; он, по-видимому, отобрал их имущества в казну, назначив в пользу их вносить с народа ежегодно по 2 000 000 пиастров. И что же? Эти 2 000 000 вносятся, но сделка никем не утверждена — так он ее и оставил. Народ, раздавленный налогами, давно роптал. Министры Флореско и Кречулеско захотели испытать прочность князя. В бытность его в Эмсе прошлым летом, они подослали полицию взволновать народ в Бухаресте; многие неопытные люди поддались; по ним стреляли. Думали, что кружок оппозиции также поддастся на удочку; но Росетти, издатель «Румунула», я и Братьяно поняли ловушку и не вышли к народу. Нас арестовали в квартирах

и засадили на месяц в тюрьму, в одни камеры с ворами. Куза возвратился и нас освободил. В начале его княжения я сам был его министром; но я не мог сойтись с его бесцеремонным образом правления и в особенности с его способом тратить народные деньги... я его оставил...

— Как же произошел ваш переворот 11 февраля 1866 года?

— Очень просто. Нас, истинных конституционалистов, образовался сперва кружок в три-четыре лица; к нам примкнули потом еще несколько. Один из нас, Братьяно, еще за два месяца до 11 февраля уехал от нас на Запад, разведать мнение тамошних дворов, министров и печати. Мы через него снеслись с Филиппом Фландрским, но он, как Бурбон, был не по душе Наполеону. Его все-таки после переворота предлагали, чтоб лучше выяснить Европе все нити, связывающие нас везде и во всем. Тогда мы обратились к принцу Карлу, сперва неофициально, а потом официально. Этот прекрасный, превосходно, истинно по-немецки образованный молодой человек склонился к нашему голосу. Молдаване хотели отделиться, выбрать Стурдзу; на иностранце все снова примирилось — и княжества в угоду Турции не распались. А как произошел самый переворот — вы, верно, знаете. В доме Бларамберга мы собрались: трем офицерам выпал жребий предложить Кузе отречение и арестовать его. Знак платком был подан кучером, везшим m-me Обренович, урожденную Котарджи, во дворец князя, что он сам ее везет и что вошел в свою половину. Офицеры вошли спустя часа два и, взломавши дверь, нашли Кузу и m-me Обренович вместе... Это разведенная жена сербского князя Михаила Обреновича. Княгиня Куза тут же узнала позорный скандал с арестованным супругом и сказала мне: «Что делать? Я давала советы князю — но они не спасли его ни от чего». Подписавши на спине одного из офицеров готовое отречение, Куза ни единым словом не постарался дать понять, интересуется ли он последствиями переворота: кто его сменит, кто после него будет править народом?

Отвезенный в отнятый им же у греков монастырь Котрочено, близ столицы, он пожелал меня видеть и, написавши через меня известное заявление о готовности выехать из княжеств, сказал мне одно: «Возвратите мне мой кошелек; в нем денег не много, но станет мне на первое время — скажу вам, *мое тело так привыкло хорошо и много есть*. Впрочем, когда капитан Сильон в Кронштадте, после предложения австрийцев ехать Кузе скорее далее и не скандализировать их города видом огорченной его жены и спокойной рядом с нею его фаворитки, стал ему говорить много горькой правды, и между прочим выразился: «Вы, князь, виною того, что вся казна княжеств была так дерзко расхищаема; вы всему этому давали пример!» Куза перебил его словами: «Ну, ну, не ворчите, и я вам еще пригожусь в Европе; я не брошу там дело моей страны, которая как-то мне ближе, когда я становлюсь от нее дальше...»

Бедная Румыния! Мой собеседник говорил о ней чуть не со слезами на глазах...

— Когда мы взяли в руки правление и остались у его руля ровно три месяца, мы с ужасом увидели, до чего расхищалась казна. Молдавский лакей, кельнер нескольких гостиниц, лет пять назад, некто Либрейх (вы верно слышали это имя?), при Кузе стал нежданно сперва телеграфным ревизором, потом вдруг директором почт и телеграфов, наконец, все кабинетные дела князя перешли в его руки. Никто без него не получал подряда или коронного места — и вдруг у Либрейха очутился первый по богатству дом в Бухаресте, с мебелью из Парижа, с шелками из Лиона и с бронзами из Лондона, и капитал в 4 миллиона пиастров... Мы его арестовали, предали суду, а теперь к суду через него призываются и экс-министры Кузы — Флореско и Кречулеско... Я удалился от временного правительства с приездом принца Карла и теперь состою начальником национальной гвардии княжеств...

Дополняю слова г. Голеско рассказами других румын.

Румыния настоящего времени, Румыния принца Карла Гогенцоллернского, говорили мне, хочет отныне жить мирно, укрепляясь материальным благосостоянием своего народа, а не потешною формировкою никому не нужных и не страшных армий. Чтобы уменьшить бремя военного бюджета, Карл хочет распустить свои шесть полков пехоты и два полка своей кавалерии с ополчением деробанцев (крестьян, служащих под ружьем по очереди, несколько недель в году). Вместо постоянной милиции он заводит для внутренней стражи национальную гвардию, а на случай отражения врагов Румынии — ландвер наподобие прусского, чтобы вся Румыния через несколько лет, не разоряя себя налогами на постоянное войско, стала, как Пруссия, вооруженным народом, но не «постоянно вооруженным войском». Он хлопочет о том, чтобы в княжествах распространилось возделывание новороссийской пшеницы гирки, а в горах Телеги — добывание соли. Толкуют, что Бухарестский университет подал ему проект добывания золота в отрогах валахских Карпат. Крестьяне платили при Кузе 48 пиастров подушной и дорожной подати. Теперь подати хотят перевести на землю и, следовательно, увеличить — в ущерб боярам. Каждый магазин в Бухаресте платит около 100 руб. сер. подати приблизительно, причем за разные товары взносят из одного магазина разные оклады. Безземельные и иностранцы (в том числе до 3000 поляков, оставшихся в княжествах от Кузы, в виде всегда готового против России контингента заговорщиков, в виде землемеров, учителей у помещиков, телеграфистов, станционных смотрителей и пр.) все-таки платят в год подорожную подать отныне до 15 пиастров, да и как не брать с «утаптывателей чужих дорог», думают теперь румыны...

Я видел принца Карла. Это высокий, белокурый немецкий студент, скорее, чем офицер, хотя он тоже возится пока со смотрами. Окладистые бакены окружают щеки румяного Гогенцоллерна. Вместо 24 блюд кузовского обеда он велел себе готовить только 6. «Что делает ваш принц?» «Он все

экономизирует», — отвечают мне везде в Бухаресте. Половина румынских девиц в него влюблена; многие при его проезде кидают ему из окон букеты — нередко с своими карточками. Но молва толкует, что он мечтает о русской далекой красавице...

Я уехал далее в Пешт на том самом пароходике «Излайя», где в статском платье и в зеленых огромных очках, во 2-м классе, с саквояжем под мышкой, явился в деревеньку Турно-Северино принц Карл царствовать. Вот и белокурая пароходная кухарка Амальхен, которой он дал, уезжая, цванцигер. «Жаль, что я его не поздравил, когда он сошел от меня на берег!» — сказал мне капитан. «Поздравите, как к зиме будет ехать обратно!» — перебивает его константинопольский грек, торгующий в Журжеве и ругающий румын за налоги.

XV

В Венгрии

20 июля

Вчера я приехал на границу Венгрии с Австрией, на берег Лейты, близ городка Брук. Поезд из Пешта мчался полями, сбор сена и хлеба с которых еще более стеснил в это лето обстоятельства побежденной Австрии. Засуха с апреля убила и здесь, как на юге России, сенокосы. Пшеница и рожь не дали и четвертой доли обычного урожая; овсы пропали во всей Южной Австрии. Из леса на берегу Лейты виднелись при заходящем солнце огоньки; дым стлался в разных местах по опушке, вправо от чугунки. По берегу и на Брукском мосту стояли часовые. Из чащи леса от лагерных палаток неслись звуки двух попеременно игравших оркестров трубачей. Один играл

марш Радецкого, другой — марш из «Нормы», потом раздалась какая-то венгерская национальная мелодия. Здесь были большею частью венгерские полки. Австрия, очевидно, старается ладить с Венгрией. Это очевидно и самим венграм, ясно и всякому иноземцу, попадающему сюда случайно в это время, как я.

Еще в Пеште вы заметите нечто особенное в этом роде. Вы сразу почувствуете, что все здесь не то, что было еще недавно. Идет какая-то оригинальная, как бы незримая игра двух национальностей, метрополии и ей подчиненной доныне провинции. Провинция поняла, что ее недавняя упорная, умная и ловко веденная оппозиция достигла своей цели, что ей приходится стать из роли подвластной в роль мощной руководительницы, что в ее силах должны вскоре поглотиться, исчезнуть отживающие силы австрийского элемента, и решилась на мгновение стать еще более дружелюбною, чтоб потом сразу нанести последний неизбежный удар. Это вы видите ясно во всем — на улицах Пешта, на всем пути Базияша, в Темешваре, Шегедине и в лагерях на Лейте, куда ушли последние полки Бенедека. Вот вам ключ к уразумению ненависти венгров к гр. Бисмарку и к победам Пруссии, от которой ни они, ни славяне не ждут свободы и самостоятельности; вот почему и императрица австрийская в эту минуту находится в Пеште. В наш поезд, куда село два отряда волонтеров и рекрутов, городской совет посадил оркестр бальной музыки — и мы летели, оглашаемые звуками листовского «Венгерского марша», а по всей дороге дамы и девушки махали на станциях платками и накалывали на голубые фуражки волонтеров ветки акаций и цветы. Венгры знают, что дай они отпор пруссакам, этот отпор они дадут не иначе, как после формального ручательства Австрии — возвратить Венгрии конституцию 1848 года, с отдельным ответственным министерством и с отдельною армией. Это последний лозунг партии Деака, которая отлично знает, что теперешний мир продлится недолго, что Австрия должна будет разорвать его, чтоб смыть с себя позор Ке-

ниггреца, и что этого она без Венгрии, без ее 50-тысячной армии не сделает, — а помощь эта ей дастся тогда, когда она из немецкой станет открыто венгро-славянскою державой.

В Венгрии неурожай, в Венгрии делаются вторую неделю бесчисленные реквизиции сена, хлеба и пр. продуктов — все жмутся втайне между собою, шепчутся, переглядываются, но ни слова ропота. В Вене другое дело; там австрийцы не стесняются, бранят чуть не вслух своих министров, клянут Бенедека (der hat uns «bene gedeckt!») — городской совет в Вене, явившись лично к императору требовать защиты Вены и услыхавши от него, что это «не их дело» и что напрасно они думают, будто о Вене забыли, заявил, что весь выходит в отставку, чуть кончится война.

Еще параллель. В Пеште я видел в день два раза императрицу в саду дворцовом, где у ворот стояли всего два белых драбанта в медвежьих шапках. В Вене император не показывается никуда. Но сегодня императрица уже отправилась в Вену, получив известие о мире.

Листок венский «Кикерики» замечает, что даже обезьян из Тиргартена в венском Пратере полиция поспешила перевести в Пешт. И точно: я поверил это сам; обезьян почему-то перевезли в Пешт тогда же, как банк второпях увезли в венгерскую крепость Коморн, где некогда столь долго держался Клапка. В Венгрии, в Пеште, по улицам все ходят в высоких сапогах, в серых венгерках со шнурками; в Вене на венгрофилов смотрят косо, но не трогают их. В Пеште я поехал посмотреть *палату депутатов*, которая помещается в здании Национального венгерского музея. Зал палаты имеет, как в лондонском и в туринском парламентах, освещение сверху, сквозь стеклянный потолок. Услужливый привратник на ваш вопрос, где места Деака и Этвеша, указывает вам налево от входа в третьем ряду от кафедры президента с краю, в проходе, пятилетнее постоянное место Деака (Firenz Deak), а впереди его на второй

скамье — место Этвеша. Ключик в ящике Деака остался; привратник отпирает его: там лежит еще забытый карандаш... Мой спутник — англичанин — спешит его купить, и покупает за талер... На дне ящика Этвеша оказываются рисунки чернилами: группа жидов — вроде австрийских чиновников; у одного язык извивается в виде змеиного. На стене за трибуной президента в драпировке из трехцветных (венгерской национальности) шелковых знамен — изображена масляными красками фигура Венгрии, в виде красивой и задумчивой женщины, у которой в одной руке, протянутой к палате депутатов — кодекс законов, а в другой — сверток, до половины развернутый, на котором яркими буквами написан вечный лозунг Венгрии: «1848 год»... Фотографы нарасхват продают карточки Деака, в честь которого недавно город назвал его именем лучшую свою улицу от моста к императорскому дворцу. Что сказали бы на это Меттерних-отец и Радецкий? Стоит проездом по улицам остановиться у любого фотографа и купить карточку того быстроглазого молодого старика, который в окнах фотографий изображается рядом в 5—10 позах — и это будет наверно Ференц Деак. Тут же продают карточки Бисмарка и стрелявшего по нем студента Блинда рядом, по 6 крейцеров за штуку; их обоих обыкновенно вместе и покупают. Австрийцы итальянцам мстят несколько иначе — хитрее. В Вене, в известном танцевальном клубе Шперля, где чопорный венский муниципалитет запретил канкан и где танцами заведует официальный дирижер, с брюшком, во фраке, с басом дивизионера, содержатель заведения умудрился в углу танцевальной залы за рядом ширм устроить стрельбу в цель, по 3 крейцера за выстрел. И как вы думаете, во что изощрялись на днях при мне стрелять между танцами вспотевшие от вальса и пива австрияки-бюргеры, студенты и купцы? В картонного, разрисованного, в настоящий рост *гарибальдийца*, в красной блузе и с петушьим плюмажем на шляпе. На груди его было изображено пылающее сердце. В средину этого-то сердца стреляли венцы, впрочем, весьма

плохо, из 10 раз попадая 1 в центр, причем сзади всякий раз выскакивает над головой бедного итальянца австрийский флаг. Я встретил в этом кафе французского военного доктора, M. D'Aronsohn, изобретателя известного лечения холеры соляною кислотой. Он состоит при штабе прусского короля, и его прислали из Никольсбурга в Вену вчера, в числе других парламентеров. Увидевши проделку австрийских буршей с гарибальдийцем, он не вытерпел, вслух обругал Шперля, потребовал простой круг для цели и стал стрелять. Я последовал его примеру; оба мы попали вскоре в цель и получили от Шперля в дар по хорошенькому, в вершок величиной, плюмажу разноцветных перьев, француз — с цветами французской кокарды, я — с русскими цветами. Видя наш протест, австрийцы окрысились еще более. Двое из них бросили пистолеты, потребовали карабины с игольчатыми зарядами (вот когда и на чем спохватились австрийцы!) и стали палить в хвост и в голову бедного красного гарибальдийца.

Извиняясь за отступление, продолжаю, пока еще светло в комнате домишка, куда я ушел из лагеря писать, задумавши, впрочем, это мое к вам письмо послать не через австрийский почтамт, а через французский. Мой приятель один ждет меня снова в Вене; завтра он едет через Швейцарию в Париж, и время мое письмо послать оттуда. Опасны теперь не одни австрийцы; у последних письмо в редакцию русского журнала не только может быть вскрыто, но даже и еще легче — затеряно. Довольно сказать, что из Вены теперь телеграммы идут на Варшаву — по телеграфу через Пешт до Кашау, а оттуда в Краков, верхом на почтовых, оставаясь по 2—3 дня в дороге до Кракова. И это с дорого оплаченными телеграммами. С письмами менее церемонятся. А пруссаки даже не церемонятся и с перепечаткой частных фамильных писем из Австрии. Вскроют почту, перехвативши ее на границе последней демаркационной линии между Прагой и Ольмюцем, сделают из них извлечения, да и печатают

в своих газетах в виде корреспонденций с австрийской границы. Это мне сейчас говорили офицеры 7-й артиллерийской бригады на Лейте, увидевшие вчера в «Kreuz-Zeitung» свои письма к родным в Саксонию и Силезию с комментариями.

Вообще в переездах по Южной Австрии теперь ничего хорошего не испытаешь. Пока я добрался сперва до Вены, из Дунайских княжеств, а потом из Вены в Венгрию, в лагерь, откуда вам пишу, я переиспытал немало. Везде тянутся с окраин Венгрии к Вене полки пехоты, волонтеры, рекруты. В Коморне я застал на днях до 200 локомотивов северной дороги, стянутых под защиту крепости из боязни пруссаков. Тут же мне навстречу двигался с юга из Италии, вероятно из знаменитого четырехугольника, громадный поезд с пушками разного вида на платформах товарных открытых вагонов — огромные, толстые, узкие, длинные, короткие, медные, чугунные. И где лишь на станциях наш поезд встречался с этими поездами, нам не позволяли останавливаться даже для подкрепления сил в кафе. Кондуктор кричал: «Halb Minute» — и мы мчались далее. Но трудно утаить шило в мешке. Венгры с досадой смотрели на встречавшиеся нам биваки конных отрядов австрийцев, рубивших близ железной дороги тополя и виноградные лозы на палатки и косивших зеленеющие нивы маиса (пшенички) на корм тут же стоявшим лошадям; но они с торжествующею, острою радостью видели, как под их крыло, наконец, прячут все — и пушки, и вагоны, и банк.

И если мне пришлось, доехавши до одного моста (на Маршеке), оставить поезд и идти с несколькими другими пассажирами пешком, верст 7, с саком в руке (так как мост на днях взорвали сами австрийцы), пока мы добыли коляску и лошадей, зато в Вене мы увидели нечто. С колокольни св. Стефана услужливый сторож шепнул нам, указывая на темную даль: «А это видите?» — «Что такое?» — «Огни прусских форпостов».

XVI

Дрезден

4 (16) августа, 1866 г.

Я только что возвратился из Парижа через Дрезден. Русских почти не было видно в эти два месяца ни на железных дорогах, ни на публичных увеселениях в городах, пощаженных войной. Я встретил на юге Австрии двух корреспондентов русских газет; в Париже видел в кабинете для чтения на Итальянском бульваре, с *«Инвалидом»* в руках, отставного русского генерала; по пути из Киссингена в Вену встретил семью больных саратовцев, бежавших оттуда от пруссаков в Баден-Баден; у стола рулетки услышал восклицание: «Федя, пропал! последние десять червонцев просадил. Скорее назад в Г-ку!» да в Вене при разъезде из театра, на коем шла в переводе известная французская пошлость *«Biche au bous»* (Hirschkuh), две какие-то дамы, без провожатого, с остриженными волосами и в красных жакетках, жались в толпе на тротуаре под дождем и, тщетно ожидая извозчика, пищали что-то по-русски. Вот только. За все два месяца немецкой передряги я более нигде русского слова не слышал: наших соотчичей как метлой смели — война и падение курса.

Но не всем можно было возвратиться на родину. Одна почтенная русская дама, полковница М. А. Ив-ова, потеряв мужа, три года назад переехала в Дрезден, частью для поправления своего здоровья, а главное, для воспитания трех своих дочерей, из коих старшая теперь уже кончила свое образование, а две младшие ходят, еще в пансионы; младшей из последних всего девятый год. Минувшею весной, не предвидя никакого неприятельского нашествия на мирный Дрезден, полковница Ив-ова поручила своих дочерей надзору добрых знакомых немцев и уехала в свое степное имение устроить некоторые дела. Не успела она прибыть в деревню,

как вспыхнула война, бронзовые каски румяной и белокурой прусской армии двинулись в Саксонию и заняли Дрезден.

Помните ли вы, мои далекие соотечественники и соотечественницы, как прусские газеты описывали то радушие, с каким добрые саксонцы будто бы встречали прусских орлов? Пруссакам нечего было жаловаться. Им действительно давали в занятой стране все, чего они требовали. Но как давали? — вот вопрос. Представьте же себе положение трех описанных мною русских девушек, из которых две еще почти дети, когда в одно скверное дождливое дрезденское утро в их дверь постучалась увесистая солдатская рука. При трех испуганных девицах была, по обычаю чужих краев, всего одна служанка. Защитить их в ту минуту было некому. Сами коренные дрезденцы ходили, потеряв голову. Солдат принес какую-то тетрадь, чье-то категорическое предписание, а в предписании значилось, что к таким-то почтенным русским фрейлейн Ив-овым отныне и впредь до особого распоряжения, в их постоянную квартиру в Дрездене и на их счет ставятся три прусских солдата... Девицы потолковали, подумали и, делать нечего, покорились, приняли на свой счет солдатский постой, то есть наняли для трех указанных им солдат особую квартиру с полным содержанием, и то потому только, что в собственной их квартире невозможно было отвести прусским победителям особой и с отдельным входом комнаты. Когда я был в Дрездене, бедненькие соотечественницы мои уже поплатились за три прусских желудка несколькими десятками талеров. А вы знаете, что по распоряжению короля-победителя каждый прусский солдат имел право в занятых Пруссией областях на ежедневную получку фунта мяса и двух порций кофе, трех порций белого хлеба и шести или восьми — не помню — сигар, не считая даровой квартиры с матрацем и стиркой белья. Этот случай возмутил меня глубоко. Пробыв в Дрездене всего двое суток, я убедился, что сами дрезденцы не могли бы избавить вышеописанных соотечественниц моих, как чужестранок, от наложенной на них тягости солдатского постоя, если бы по-

следние вздумали протестовать. Да и кому протестовать, когда в городе была теперь одна власть над всем — прусский штык? Но как пруссаки решились на такое вопиющее насилие относительно иностранцев, и притом подданных великой державы, которую они уверяют в своей дружбе к ней? Долго я искал объяснения этому факту и, наконец, кажется, нашел. Гуляя вечером по Брюлевской террасе, я познакомился с англичанином, мистером А. Р., торговцем стальными вещами, частым гостем Дрездена. Мы разговорились, и я ему сообщил описанный случай с моими соотечественницами. Англичанин, слушая меня, трижды хмурил брови и трижды со злобой вынимал изо рта сигару и плевал через решетку вниз на берег Эльбы. «О, — сказал он, — будь этот случай с английскими мисс, Бисмарк возвратил бы им их талеры, взятые у них обманом и силой на чужих солдат!» — «А не знаете ли вы, есть ли в настоящее время в Дрездене англичане?..» Мистер Р. осмотрел меня с головы до ног: «Не одно семейство, двадцать, тридцать семейств постоянно живет здесь...» — «Ну и что же? Им также ставили на постой прусских солдат?» — «Ни одного, и это я вам говорю положительно, потому что если бы хоть одна прусская нога, со штыком или без штыка, вошла на постой здесь или в другом месте Саксонии через порог мирной и нейтральной английской семьи, Пруссии пришлось бы дорого поплатиться или познакомиться с флотом ее величества, нашей королевы». Говоря это, торговец стальных вещей был бледен, голос его дрожал и в рыжей, гордо поднятой голове его под мирною липкою Брюлевской террасы было столько уверенности и сознания своей силы, что я невольно верил его заносчивой фразе. Да этому же, кажется, верили в ту минуту и все пруссаки в Дрездене. Для американцев тоже, говорят, делалось исключение, а для русских оно делалось не везде, потому что не везде его официально требовали.

Что же вам сказать о Париже и Берлине?

Император Наполеон при мне возвратился из Виши в Тюльери. Парижане шепотом стали передавать в тот же

вечер причину его внезапного возвращения. Меня положительно уверяли, что у императора Наполеона с недавнего времени стал сильнее страдать позвоночный столб, а в последние дни открылась новая болезнь — диабет, болезнь опасная, которой развития у него по многим признакам давно ожидали, для чего его постоянно и посылали к водам в Виши, знаменитым по свойству излечивать подобные болезни. Между прочим, из Пиренеев возили ему какой-то особенный хлеб с примесью растений, противодействующих развитию болезни. Но лечение не помогло, болезнь усилилась, и его увезли в Париж, где тотчас собрался консилиум лучших врачей. Парижане призадумались теперь над главнейшим вопросом: «Кто заменит Наполеона III в случае его кончины? Не может ли исполнить искусно роль регентши императрица Евгения, так часто и так давно уже в ожидании случайных катастроф председающая во всех тайных совещаниях мужа своего с его министрами?» Ответ Пруссии на заявление императора о рейнских границах был также при мне получен в Париже. Он, говорят, сильно огорчил императора. И весь Париж как-то присмирел от этого отказа на два дня, пока я там оставался. Обнаженные до последней степени безобразия и бесстыдства актрисы-хористки в фантастической *«Сандрильоне»* после этой вести вышли на сцену какие-то тихенькие и будто скромнее прикрытые. Мужчины, вместо шаловливой болтовни с кокотками и гризетками, тихо прохаживались, перешептываясь между собою. Я встретился с знакомым французом живописцем. Юноша пригласил меня возвратиться с ним на Бульвары вместе, наняв карету пополам; мы поехали, и в карете он шепотом сообщил мне следующее: «Слышали вы? наш то... Наполеон... получил первую политическую затрещину! и от кого? от этих зильбер-грошенов... от Бисмарка. Пятьдесят процентов его популярности теперь уже долой!»

Зато какие небывалые ликования встретил я в Берлине! 14 (2) августа, во вторник, я с трудом добрался в трибуну собрания депутатов. Белокурый и бритый Форкенбек стоял на своей

трибуне. А внизу являлось необычайное зрелище дружбы волков и овец. Министр финансов, фон дер Гейдт, полный, плечистый старик в каштановом, гладко причесанном парике и в черном плотно застегнутом сюртуке, добродушно похаживал между скамьями депутатов левой стороны, ласково пожимая руки то седобородого, коренастого, небольшого роста живчика Шульце-Делича, то почтительно и как бы косвенно, мимоходом, отвечая на остроту Вирхова, который прямо пред моею трибуной стоял внизу, окруженный адептами своей партии, очень похожий на свой портрет, изданный в России при одном из его медицинских трактатов, худой, черноволосый, бледно-желтый, в огромных очках, в серых поношенных брючках, из карманов коих он не вынимал рук, говоря в то утро даже свои быстрые, огненные и, как фейерверк, внезапные речи в возражение тому же фон дер Гейдту. Один худой, будто вышедший из больницы, с острым носом и голым черепом демократ Якоби молча сидел близ Унру; фон дер Гейдт прежде прошел мимо его и даже не кланялся с ним. Якоби недавно пришлось, как известно, высидеть в тюрьме за новые грубости. В то же заседание министерская партия напустила против Якоби члена правой стороны Глазера, заявившего протест против выбора Якоби в эту новую палату. Глазер, обладающий фистулой еще более глухою, чем фистула нового президента палаты Форкенбека, начал свое объяснение. Но вся левая сторона зарычала: «На трибуну! Ничего не слышно!» — и этот рокот до того напомнил недавние бури левой стороны, что Глазер растерялся, и хотя Форкенбек громадным колоколом быстро водворил тишину в палате, левой стороне сделали уступку, и палата выбор Якоби утвердила. Министр финансов недаром все то утро толкался между членами палаты. В 11½ часов он взошел на свое место, порылся в толстом зеленом портфеле, вынул оттуда три лаконические бумаги и прочел, при мертвой тишине в зале, знакомые уже вероятно, нашим читателям предложения правительства: утвердить 145 млн. тал., передержанных короной в последние безбюджетные годы на подготовку армии к войне, и 60 млн. тал. для создания способов удержать завоеванные

теперь страны в руках победной Пруссии, «так как, — выразился министр, — предвидятся извне некоторые затруднения». Палата заревела *«браво»*, и на моих глазах овцы единодушно признали законность требований волков. При слове *извне* берлинцы, с коими я в то заседание познакомился и на их вопрос назвал себя русским, подняли на меня вопросительные очи... Увы! Что могли они с их министром видеть угрожающего в русском человеке, так бесцеремонно обложенном ими в Дрездене (да и в одном ли Дрездене?) солдатским постоем? А что опасность не грозила Пруссии и со стороны Франции, это подтвердилось через два дня ответом Наполеона самого мирного свойства на категорический отказ Пруссии поделиться с соседом на Рейне.

Явился в четверг в палату Бисмарк, объявил королевские послания о присоединении Ганновера, Гессен-Касселя, Нассау и вольного города Франкфурта, — и Берлин загудел от оваций.

Я видел вечером ликующих берлинцев в Оперном театре на новоизобретенном патриотическом представлении «Sieges Marsch», соч. Тауберта, где всем персоналом оперной труппы была пропета пред королем и его фамилией *«Das Lied von der Majestat»*. Так она и названа в афише. Театр был битком набит военными всякого мундира и чина. Публика женского пола была разряжена в бархат, шелк, кружева и бриллианты. Представление, ознаменованное вторым актом из известной оперы Мейербера «Ein Feldlager in Schlesien» («Лагерь в Силезии»), где все сцены состоят из появления на рыночную городскую площадь отрядов разных войск того времени из лагеря, виднеющегося на высотах задней декорации. Отряды являются в мундирах того времени, поют патриотические песни того времени, славного для зарождавшегося могущества Пруссии; впереди их идут оркестры тогдашней военной музыки, с тогдашними инструментами, исполняющими даже мотивы того времени. Унтер-офицер гренадеров делает, под хор уморительных свистков и дудочек, с трелью барабана, на сцене развод отряду своих солдат. Пляшут маркитанты и

маркитантки. Проносится молва, что убит король. Но потом весть эта оказывается ложною. На сцене идут новые победные отряды, оркестры их становятся по сторонам, и вдруг пять таких оркестров, в унисон с театральным, начинают торжественный «Марш победы». Эффект действительно вышел грандиозный. Но нигде публика так не ликовала, как при поднятии занавеса, за которым оказался весь персонал певцов во фраках и певиц в белых платьях, с черными лентами (цвета Пруссии). Громадный хор исполнил «Das Lied von der Majestat» в стихах, и рукоплесканиям за это прославление последних прусских побед не было конца. Спектакль заключился апофеозом: *Боруссия*. На задней декорации явился храм славы, с надписями: Наход, Кениггрец, Гичин, Ганновер, Кассель и Франкфурт. Актер, одетый Фридрихом Великим, держа за руку актрису, одетую Пруссией, возлагает венец на бюст нынешнего короля Вильгельма, а внизу толпятся войска нынешнего времени и войска, одетые в мундиры времени Фридриха Великого.

XVII

Французские депутаты в Версале

Париж, 30 мая 1873 г.

Два дня кряду, понедельник и вторник, т. е. 26 и 27 мая, я провел в Версале, добившись на оба эти утра места в Национальном Собрании. Парижане острят, что ни один из 24 их театров не имеет в настоящем мае такого успеха, как 25-й театр — версальский: известно, что французское Национальное Собрание заседает в театре, составляющем часть старинного версальского дворца. Проникнуть в заседания этого Собрания после 24-го мая, т. е. с падения Тьера, нет возможности. Некоторые из моих соотечественников давали при мне по 25 и по 50 франков за место в трибунах

для публики и не получали такового. В понедельник мне удалось получить доступ в трибуну иностранных журналистов, причем мне случилось сидеть рядом с корреспондентами «Times» и «New-York-Herald»; этих мест всего восемь. Во вторник, при посредстве депутата Валлона (из Северного департамента), я получил отличное место в трибуне для публики, с левой стороны третий ярус лож, и мне была отлично видна вся интересная левая сторона Собрания, равно левый центр и крайняя левая лицом ко мне, со всеми своими знаменитыми вожаками.

После бульварных демонстраций и криков толпы, шедшей с возгласами: «Vive la republique» под окнами моей квартиры в субботу, мне было очень любопытно попасть в Национальное Собрание, где я еще так недавно слышал знаменитую речь Тьера, предшествовавшую его свержению. Версальский театр очень напоминает величиной наш Михайловский. Стены его окрашены в пурпуровую краску; верхний ряд лож, где трибуны публики и журналистов, украшен рядом колонн; под ним — места дипломатического корпуса и других высших учреждений. Служители, отворяющие ложи, одеты в мундиры, напоминающие мундиры наших капельдинеров: темно-зеленые фраки с золотом и красными обшлагами и воротниками. Прямо против трибуны журналистов — сцена; на сцене — возвышение, на возвышении, у задней стены, расписанной в виде занавеси красною драпировкой, — место главного секретаря; ниже секретаря — кресло и стол президента Собрания, Бюффе; ниже его — трибуна ораторов; перед трибуной ораторов — скамья министров: вправо (глядя на сцену) — левая сторона; влево — правая. Скамьи депутатов обиты красным трипом; перед каждым местом на пюпитрах прибиты билетики с именами депутатов. Имена последних (не совсем верно) обозначены и на плане Собрания, продающемся (как это заведено в Берлине и в Лондоне) при входе в Собрание.

Заседания обыкновенно начинаются около 2-х часов пополудни. В понедельник ожидалось чтение первого послания

нового президента республики, Мак-Магона. Я забрался в здание Собрания в половине второго. Здесь также есть зала «des pas perdus», названная так в память таковой же в прежнем помещении парламента. Депутаты (числом около 700), шумно разговаривая и куря, наполняли эту залу и соседние коридоры. Наконец, уже в ¼ 3-го, они стали сперва по одному, потом по два, по три и, наконец, целыми группами входить в партер и размещаться по своим скамьям. Старые министры впервые беседовали и обменивались отрывочными фразами с новыми. Все в волнении и в движении. Вот мелькает лысина щеголеватого, еще молодого на вид герцога де Брольи. Он садится в средине лавки министров. Справа у него помещается седая голова старика Маня; слева — автор формулы перехода к очередным делам, свергнувшей Тьера, Эрну. Все трое улыбаются, отвечая на рукопожатия членов большинства, провожающих их с некоторой торжественностью на их места. Все на правой стороне весело, счастливо и даже игриво. Слева — менее движения и жизни; все здесь садятся на места спокойно, почти не обмениваясь словами. Выезжая из России, я думал в этой части Собрания увидеть весельчаков с небольшими усиками и бородками, вихрастыми головами и резкими, угловатыми движениями. Каково же было мое изумление, когда из трибуны журналистов я увидел эту левую сторону: это была сплошная масса седых голов, строгих и почти угрюмых лиц. Лысины и седина здесь преобладают. Можно почти без ошибки сказать, что из 350 членов левой стороны не менее 300 человек от 45 до 55 лет и более. Это поражает всякого нового посетителя Собрания...

— Не Мак-Магону заверить страну в поддержании спокойствия, — сказал мне один из английских корреспондентов, когда Брольи с трибуны прочел послание нового президента. — Фразы — надежды на Бога и на армию, и порядок моральный с порядком вещественным — не обманут никого... Тьер не взывал к армии, а два с половиной года сохранял мир в стране... За мак-магоновскими же фразами мы знаем, что

стоит: близкая, и весьма близкая, борьба трех претендентов на престол. Вчера ждали приезда принца Наполеона; сегодня толкуют уже о приезде сына Наполеона III.

Правая сторона неистово рукоплескала почти каждой фразе послания Мак-Магона. Брольи читал это послание, расхаживая по кафедре и почти не заглядывая в бумагу, как бы желая тем показать, что писал это послание он сам, а маршал Маджентский и герой Малахова только его подписал. Уверяют, что Мак-Магон, сменивший вчера целый ряд префектов, постарается восстановить монархию во Франции вслед за выходом из нее последних прусских войск. Вспоминают следующие строки, написанные когда-то Мак-Магоном из-под адского огня на Малаховом кургане, в записочке его к Пелиссье: «J'y suis, donc j'y resterai».

Вчера почти во всех окнах магазинов Парижа появились портреты Мак-Магона. Это старик, худощавый, с небольшой лысиной, в усах и в эспаньолке, с продолговатым лицом и впалыми, близорукими глазами. Рядом с Мак-Магоном во множестве магазинов вчера же появились фотографические карточки графа Шамбора (очень красивый, с окладистою бородой господин, несколько напоминающий актера Дюпюи) и принцев Жуанвильского (похожего на покойного писателя Боткина) и Омальского, а также императорского принца. Вчера в Собрании мне довелось видеть, на четвертой скамье правого центра, голый череп и бородку Жуанвильского принца, все заседание занимавшегося на своем пюпитре писанием писем.

Вчера же я был свидетелем сцены, которой никогда в жизни не забуду: я видел появление в версальском Собрании Тьера в первый раз по оставлении им звания президента республики.

Вчерашнее заседание началось очень поздно, а именно, в два часа сорок пять минут пополудни. Члены левой и правой стороны, как бы еще утомленные сильною борьбою, происходившей между ними два дня назад, собирались еще медленнее предыдущего дня. Мой сосед по трибуне показывал мне различные знаменитости Собрания.

— Вот Араго, Бенуа д'Ази, Греви, Карно, Казимир Перье, генерал Шанзи, Шодорди; вот седая, косматая голова Кремье; а вон встал и говорит с Луи Бланом Жюль Фавр...

Я разглядывал указываемые мне лица и заметил, что Жюль Фавр как две капли воды похож на свои портреты, только бороду он недавно подстриг и держится более стариком, чем я ожидал. Луи Блан — идол известной части молодежи 40-х годов — лысый, худощавый человек, с теми же черными, симпатическими глазами, которые поражали всякого на портретах этого члена временного правительства 48-го года.

Бюффе, сутуловатый, белокурый, с проседью господин, звонит в колокол, величиною с сифон зельтерской воды. Шум не прекращается. Довольно громко беседует вся зала: и депутаты внизу, и лица, наполняющие трибуны для зрителей. Читается протокол вчерашнего заседания. Бюффе довольно тихо (говорит он вообще вяло и неказисто) спрашивает мнение Собрания. Все в знак согласия поднимают руки: протокол принят. Входит и битый час говорит о проекте новых отношений правительства к Обществу восточной железной дороги депутат Клапье. Его решительно никто не слушает. Говор депутатов усиливается; «huissiers» разносят в рядах депутатов записочки, газеты с отчеркнутыми местами. Одни читают новые журналы, другие пишут письма, почти вслух переговариваются с близкими и дальними соседями. Старик оратор, очевидно, сердится, что его решительно никто не слушает, горячится, ходит из стороны в сторону перед пюпитром по довольно обширной площадке трибуны, пьет воду, складывает руки на груди, громко скажет: «Et voila, messieurs» — все смолкнут на мгновение, думая, что он кончает, но он не кончил — шум и гам поднимаются еще пуще... Бюффе опять звонит в свой колокол.

— А вот Руэр, — говорит мне на ухо мой сосед, указывая на «старого барина» бонапартизма, важно входящего в средину скамей правого центра. — Вот человек! вот оратор...

Но вот из-за красной портьеры, закрывающей левую дверь за эстрадой президента Собрания, входит, раскачиваясь, в синей, довольно потертой жакетке и в синем, до шеи

застегнутом жилете сутуловатый, плотный и черноволосый господин лет 35 на вид. Он пробирается к крайней левой стороне и садится перед Луи Бланом, недалеко от Бароде. Широкая грудь, несколько курчавая, красивая, с черной бородкой голова.

— Гамбетта! — говорит мне мой сосед, указывая на этого господина.

И точно, это был Гамбетта. Как только он сел, его тотчас же окружили. Подошли Жюль Фавр, Бароде, Литтре, Луи Блан и др. Все лорнеты и бинокли из трибун обращаются вниз, к 13-й левой скамье, где у прохода между левою и крайнею левой садится, откинув на спинку скамьи свою красивую, несколько тяжелую голову Гамбетта. Вчера еще журналы уверяли, что он уехал в Марсель.

— Вы знаете, — говорит мой сосед, — отчего этот негодяй (ce misérable) везде изображает себя не прямо, а в профиль? Он крив на правый глаз... Но знаете ли, как окривел этот сорвиголова (ce brigand!)?

— Не знаю...

— Он был в школе и хотел ее во что бы то ни стало бросить. Он пишет к опекуну, чтоб его тот взял. Опекун не соглашается. Гамбетта грозит выколоть себе глаза... Опекун пишет: «Не верю тебе, а если хочешь, — то коли...» Гамбетта опять пишет: «Я уже один глаз себе выколол и лежу в больнице; если через столько-то дней вы меня не возьмете, я выколю себе и другой глаз». Опекун перепугался, снесся депешей с начальством школы и, убедившись, что этот сорванец действительно выколол себе глаз, взял его из школы... Таков он был в училище мальчишкой, таков был и диктатором в 1870 году, таков будет и по свержении Мак-Магона, от чего нас Боже упаси... Ему ничто не свято; жизнь ему копейка. Он и в шаре воздушном вылетел из Парижа во время осады...

Но что это? В зале, где стоял неимоверный шум и гам и где так жалобно раздавались отчаянные возгласы старика Клапье, вдруг все смолкло... Часть собрания, а именно более 300 депутатов левой и крайней левой стороны, почти мгно-

венно встают с своих мест... Из-под той же красной портьеры, из-под которой за четверть часа перед тем вошел Гамбетта, появляется в сопровождении двух-трех членов (Перье, Дюфора и др.) низенький, столь знакомый всем человечек. Та же отдутая, несколько саркастически, нижняя губа, те же к бровям причесанные седые волосы, те же туго накрахмаленные и подпирающие твердые, гладко выбритые щеки воротнички, тот же несколько направо склоненный, по-петушьи торчащий седой хохолок и наглухо до подбородка застегнутый черный сюртук. Это — Тьер, еще три дня назад президент Третьей французской республики... Альфонс I, как его в шутку звали его враги.

Едва эта белая, с белым хохолком, строго и гордо посаженная на плечах голова показалась из-за трибуны оратора, вся левая сторона встала и раздались долгие и громкие рукоплескания 300 ее членов. Тьер, слегка раскланиваясь, прошел и сел на третьей скамье левого центра, на месте № 430, второе место от прохода между левым и правым центрами, рядом с местом г. Валлона, давшего мне доступ в собрание и за час перед тем уверявшего меня, что Тьер в этом заседании, вероятно, не будет. Не успел Тьер сесть на скромное место депутата, как левая сторона вновь вскочила и двукратно встретила его еще более дружными и продолжительными рукоплесканиями. Правая сторона сидела не шелохнувшись. Гамбетта особенно усердно и горячо аплодировал с своего места. Седые, пасмурные лица старых членов левой и крайней левой стороны повеселели. Один дипломат довольно громко сказал в своей ложе, под трибуной журналистов, указывая соседу на левую сторону: «По совести можно сказать, что патриотизм и сила не на правой, а на этой, левой, стороне».

Тьер сидел недолго. Гамбетта вышел, сильно жестикулируя, первый; затем встал и Тьер, стоя побарабанил белыми пальчиками по пюпитру и ковыляющею походкой, как бы волоча усталую спину, тоже вышел.



Не вытанцовалось

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Иван Ильич Говоруха-Щебетковский

Из Петербурга в Малороссию, на родное пепелище предков, ехал двадцатидевятилетний статский советник, Иван Ильич Говоруха-Щебетковский, единственный потомок знаменитого гетманского рода. В его черных блестящих глазах, черных густых бровях и рослом, плечистом стане, как и в походке, несколько ленивой и вялой, легко виднелись черты, общие его родичам; но современность наложила на него иной, свой отпечаток; во всем, от аккуратно-приличного характера до страсти к блеску и слепой веры в общую многим, какую-то небывалую, сказочно громкую карьеру.

Его мечты вертелись на одном: он хотел во что бы то ни стало разбогатеть, разбогатеть неслыханно, как богатеют откупщики, архитекторы, ловкие командиры отдельных частей и десятки других избранников. С первых юношеских лет богатство рисовалось ему в манящих, волшебных грезах, и все дороги вели к нему. Детские сны осыпали его дождем алмазов и жемчугов; юношеские мечты водили его по золотым палатам, полным бархатов и шелков, вкусных блюд и толпы разодетой прислуги, хорошеньких женщин и темных, благоуханных комнат; первые зрелые годы представили ему уже прямо выразительную картину кучек ассигнаций и отчищенных новой чеканки червонцев, по тысячам, десяткам и сотням тысяч в каждой куче. Все пути избирались к этому.

Как Магомет мечтал еще ребенком о преобразованиях мира, Иван Ильич спал и видел себя во сне богачом из богачей.

В действительности же мальчик Ваня был сын обедневшего украинского панка из родовитых, десять лет уже круглый сирота, без отца и матери. Правда, у него была бабка, знаменитая и потешная старушка, жена генерал-аншефа, времен Екатерины, полная старинных причуд и владетельница единственного, последнего достояния гетманов Говоруха-Щебетковских, которым приходилась наследницей по женской стороне, именно маленького хутора на Десне, Калиновый Овражек. Здесь она, в старинной гетманской резиденции, среди дубовых рощ и вишневых садов, проживала свой век. Сюда взяла сиротой Ванюшу, когда он остался один, как перст, в маленьком городишке, где в один месяц умерли его отец и мать, продержала его года три у себя и через какого-то оригинала, из петербургских мистиков и масонов, приятеля и сослуживца своего покойного мужа, втесала внука в учение в первое аристократическое училище, с каких пор ее внук и стал уже окончательно жить на счет бабушки.

Это был лицей. Шумная царскосельская школа, паркеты и зеркала, французская болтовня веселых и нарядных гувернеров, товарищи-аристократы, сыновья все генералов да графов, близость столицы, садов и палат царских, у самых окон, все это питало грезы ребенка. Золотой паук плел неусыпно золотую паутину.

Чернобровый Ваня тихо бегает в чистенькой форменной курточке. Товарищи его зовут хохленком, он им на это улыбается. Наука плохо дается ему. Зато учитель собирается поставить ему нуль; он расплачется, и ему ставят снисходительный балл. Надулся директор; Ваня приводит свой рабочий книжный ящик по чистоте в положение уездной улицы в день проезда через нее губернатора, а директор гладит его по голове. Но проходит месяц, два, целый год — близки экзамены. Как тут быть? Аккуратный Ванюша ходит по целым дням и думает, как ему вывернуться, и надумал. Изо всех предметов утащены в рукав билеты и предварительно

заучены; ими ловко заменены, у публичного стола, билеты, вынутые по жребию; и весь экзамен сдан так превосходно, что ахнули и учителя, и ученики. Оставался год до выпуска. Толкуя о своей бедности, Ванюша льстил богатым товарищам, ел их конфеты, сидел по праздникам в их ложах в театре и, щепетильно причесанный, ходил тихонько по комнатам их домов, заглядывая в каждое зеркало и в каждый ящик столов, а на бедных фискалил тайком начальству. В начале последнего года он стал вторым по списку в классе. Первым был некто Гальтерберг. Однажды весь класс старших решился проучить за дерзости грубого и тупоумного учителя математики и положил единогласно не только не выучить заданной лекции, но и вовсе с ним не говорить. Все шумно и весело ожидали его прихода. Учитель вышел; мертвая тишина воцарилась в комнате.

— Ну, щелкоперы! — начал учитель, — что я задавал?

Молчат. Он опять; снова молчание. Он по списку вызывает; сидят, как в рот воды набрали. Учитель в бешенстве выскочил из класса. Явились надзиратели и директор. Последний сам взял список учеников и начал вызывать из шалунов более известных. Все промолчали снова.

— Что же, это бунт? — закричал генерал.

Впереди всех, бледный как полотно, стоял Говоруха-Щебетковский с потупленными глазами.

— И вы, Щебетковский, не знаете урока? — спросил директор.

— Я знаю! — ответил чуть слышно Щебетковский. — Я не знал, что так положено классом, и выучил!

— Да; то есть вы по доброй воле выучили и только скромничаете! Вы на них не похожи! Говорите урок...

И Щебетковский сказал без запинки. Его тут же отличили. Гальтерберг сменен из первых в последние, Щебетковский внесен первым в список, а весь класс оставлен на неделю на хлеб и на воду, кроме, разумеется, нового первого ученика, которому на это время предоставлен стол директора. Товарищи от него отвернулись. Имя предателя заклеймило

его школьную репутацию! Приблизились новые экзамены. Никто не хотел ему показать трудных задач и объяснить темных мест разных предметов. Щебетковский укрылся в себя и выкинул небывалую штуку, которая открылась поздно только, впоследствии, и безвредно для него. На последнем экзамене отвечали по печатной программе, причем ученики вынимали только по жребию номер известного билета программы. Все поэтому подходили к столу с программой, брали номер билета, экзаменатор вносил номер в особый список для памяти, а ученик, пока предыдущие отвечали, садился с программой обдумывать ответ к стороне, на особый стул. Щебетковский в три ночи взял и написал между строками своих программ мельчайшими буквами ответы на все вопросы; смело потом выходил к столу, смело вынимал номера билетов, садился к стороне и в три-четыре минуты схватывал налету вкратце главные статьи вписанного в программу ответа. Он кончил курс и первым по поведению, и первым по учению. Имя Ивана Говорухи-Щебетковского внесено, сверх того, золотыми буквами на мраморную доску училища. Он выпущен с правом на чин девятого класса. Двери лучшего министерства открылись ему, и завидная репутация дельного, толковитого и надежного малого сопровождала его из тихой школы по гранитным ступеням квартиры министра и оттуда в канцелярию.

Здесь Щебетковский явился в новом свете. В школе он твердил о своей бедности; здесь, на первых же порах, намекнул, что от службы он ждет малого, именно одних почестей, а что у него есть свое состояние в Малороссии, где ждет его такое-то и такое наследство от бабушки. Имя Малороссии и бабушки-хуторянки, да еще генеральши, особенно обворожительно подействовало на его ближайшего начальника, директора департамента, который был также малоросс, хотя из духовенства, имел плотный, жирный затылок, говорил в нос и был страшно скуп. У директора было три дочки, застарелые девицы; поэтому он тотчас возымел виды на Щебетковского.

— Так у вас, батенька, и хуторок есть, и бабушка богатенькая?

— Есть, ваше превосходительство!

— Ну, как же там? И ставок, и млинок, и вишневенький садок?

— И ставок, ваше превосходительство, и млинок, и садок...

— Эх, давно я не был в Малороссии! Славная, славная земелька! И имения, я думаю, стали еще богаче

— Как же! Вот наш хутор прежде давал бабушке всего тысячу, а теперь десять тысяч дохода!

— Генеральское жалованье! — замечал со вздохом директор департамента, потирая затылок.

Щебетковский тотчас стал вхож к нему в дом. Директор осведомился в его формуляре, и точно — там стояло: имеется объявленного наследства от родной бабки, при хуторе Калиновый Овражек, 22 души крестьян и 206 десятин земли. На службу Щебетковский стал являться аккуратно, ранее прочих приходить, позднее всех уходить и еще брать кипы дел на дом. Через год он утвержден в чине девятого класса; через два получен новый чин, через три еще новый. На Иване Ильиче голландское белье, лаковые сапоги, золотая цепочка и пальто с бобром. Это, впрочем, остатки от жалованья. Он живет в бедной комнатке, на четвертом этаже. Зато директор им не нахвалится и прочит его из столоначальников в начальники отделения.

—А что, как вы думаете, господа, — спрашивает Щебетковский своих подчиненных, кривых и хромых писцов, седовласых старцев, знающих насквозь дела директора, — много нажил наш генерал?

— Да тысячонок сто серебрецом есть! — отвечают те, ухмыляя небритые рожи.

«Дельно! — думает Щебетковский. — Пятьдесят тысяч даст мне, да еще вдобавок за дочкой даст казенную квартиру и вечное свое покровительство».

И вышел торг. Он довел до того старика, что тот первый проговорился с петербургской наивностью:

— А что, Иван Ильич, ты уже пять лет ешь мой хлеб-соль и вхож в мою семью; женись на моей Маше... я дам тебе хорошее обеспечение!

Щебетковский кинулся к старику и поцеловал его в плечо и в живот.

— Папенька, позвольте вас так звать... я сирота... я давно влюблен в вашу старшую дочь... Но что же вы дадите? Я не так богат, чтобы достойно ее содержать!

Директор оглянулся по комнате. Они были одни.

— Дам пятьдесят тысяч целковых!

«Верно расчел! Недурно!» — подумал, мысленно улыбнувшись, Иван Ильич.

— Покорно вас благодарю; но мое положение по службе еще не довольно обеспечено! — смиренно ответил Иван Ильич.

Директор уставил в него глаза через очки и улыбнулся.

— Чего же тебе нужно?

— Я желал бы быть начальником отделения, ваше превосходительство.

— Изволь, я об этом давно думал и создаю для тебя особое отделение!

И действительно, через три года министр утвердил штат нового отделения. Щебетковский получил место начальника отделения и новую квартиру из пяти комнат маленьких отдельных квартир, откуда услужливый архитектор предварительно выгнал четыре семьи бедных писцов и инвалида министерского швейцара. Щебетковский стал уже на ноги жениха и даже начал оклеивать квартиру свою любимыми масаковыми, под бронзу, обоями, по вкусу директорской дочки, барышни вообще золотушной, с подслеповатыми глазами и с широчайшим, всегда распухшим носом. Он уже имел чин статского советника; сторожа по ошибке звали его уже превосходительством, а чиновники-товарищи видели в нем близкого министерского временщика. Все перед ним улыбалось, но в душе трепетало. Он был вхож к самому министру, и, признаться надо, сам директор департамента, его нареченный тесть, потрухивал его влияния на старика министра и говорил в шутку:

— Смотри, Иван Ильич, ты уже очень тянешь; еще не обойди меня и сам на мое место не сядь!

— Вот еще вздумали, ваше превосходительство; ходите-ка лучше с червей (это было за обычным преферансиком после обеда), — а то еще проиграетесь! Минет пост, и мы сыграем свадьбу; от бабушки еще нет разрешения! А кстати, говорят, к пасхе наград не будет...

Тем разговор, пока, и кончался. На страстной неделе нежданный удар поразил все министерство: заслуженный директор и негласно нареченный тесть Щебетковского умер от удара. Щебетковский — как отрезал: с того же дня перестал бывать в семье покойника. Если он не получил пятидесяти тысяч, зато остался с казенной квартирой в пять комнат и начальником отделения. В его голове уже зрел новый план: получить доходное место в провинции. Для этого он успел перейти в том же департаменте в отделение распорядительное, откуда легко получались хлебные места в губерниях. Как явился из постороннего министерства новый директор департамента, чиновник дотоле небывалый: на вид ленивый и неаккуратный, явно смеявшийся над формальностями, полный и румяный, с круглым, здоровым лицом, опушенным бакенбардами такой величины, что они напоминали разом и запретные усы, и недозволенную бороду, веселый, толстый хохотун, вежливый с подчиненными, ровный и спокойный со старшими, и с языком, острым, как бритва; когда его круглое, мягкое тело, с румяными щеками и чудовищными бакенами, вваливалось в департаментские комнаты, — повеяло на всех чем-то неожиданным. Все мигом ожило. Молодежь подняла головы и стала работать вдесятеро против прежнего. Старики и консерваторы надулись и стали шептаться.

— Господа, что вы шепчетесь? — крикнул весело из присутствия новый директор. — Можете говорить громко, если нечего делать и хотите отдохнуть.

Говорят, что в комнатах, близких с присутственными, даже стали запросто курить у нового директора.

— Сигара работы не испортит, — говорил он, — лишь бы не подожгла бумаги; а голова свежее, и домой не тянет ранее.

Щебетковский тотчас понял веяние нового духа и стал в числе либералов и жарких хвалителей нового директора. Но он ошибся. Либо чутье уже у таких новых начальников тоньше само по себе, либо на него донесли, только нежданно, среди самых очаровательных его надежд, произошла такая сцена.

Был доклад у министра. Старик министр, застегнутый на все пуговицы и в звездах, сидел у себя в кабинете, обложенный подушками, и слушал доклад директоров и начальников отделений. Дошла очередь до Щебетковского. Звонким, дипломатически точным голосом стал он читать проекты отношений, смет, наград, поощрений, ответов и выговоров по своему ведомству. Новый директор, его начальник, сидел против него, рядом с министром, с которым, очевидно, был на короткой ноге любимого и приближеннейшего человека, и изредка шептался с ним, не спуская глаз с Щебетковского. «Хорошо, хорошо; на это все, я думаю, можно согласиться!» — перебивал он изредка. Щебетковский торжествовал. Окончив чтение, он уже принимался подвигать бумаги к министру. Вдруг его директор остановил.

— Позвольте...

— Что угодно вашему превосходительству!

— Скажите мне откровенно, у вас нет в виду другого места службы?

— Как так-с?

— Вы не можете себе сыскать другого места службы?

Щебетковский обомлел.

— Я не понимаю вашего превосходительства... Чем я мог вас прогневить?

Директор опять нагнулся к уху министра и что-то ему шепнул.

— Я слышал, — начал директор вслух, — что вы бросили свою невесту, дочь моего предшественника. Ценою ее руки вы получили от него настоящую свою должность. Но это бы еще ничего. Вы раздумали. Да зачем же вы других совращаете? Я имею верные данные, что вы пускали в ход подкуп, чтобы получить место председателя палаты в губернии...

— Это клевета, ваше превосходительство! — залепетал Щебетковский. — Меня обнесли враги...

Произошла тяжелая, невыразимая сцена. Министр, осторожный, как все старики, принял по виду сторону гонимого. Щебетковского на время удалили от должности и причислили к министерству сверхштатным. Обстоятельства его еще могли бы поправиться, но неумолимая судьба подсекла его служебную карьеру окончательно. Он вздумал пойти с своим бойким врагом на хитрости, укротить его смирением, застегнулся снизу доверху, взял портфель под мышку и пошел к нему на квартиру.

— Что вам угодно? — спросил резко директор, вставая ему навстречу с дивана, на котором он сидел в одной рубашке, среди кучи газет и журналов.

— Ваше превосходительство!

— Ну, что же вам нужно? Говорите без околичностей!

— Помилуйте, что вы со мной сделали?

— Ну?

— Помилуйте, вы погубили мою репутацию!

— Так что же? Я не желаю служить с людьми, подобными вам!

— Это бы еще ничего. Но вы изволили меня при министре чуть не подлецом назвать, в подкупе стали уличать.

— Что же? Вам угодно стреляться? — заметил директор, потирая руки и косясь на свою волосатую, распахнутую грудь. — Извините, что я вас так принимаю! Но я сию минуту буду готов...

— Ваше превосходительство шутить изволите, не в дуэли дело!

— Что же вам нужно от меня? Я вас не понимаю...

— Я бы умолял, ваше превосходительство, снять с меня этот позор касательно подкупа и дозволить мне остаться служить... я век стану Бога за вас молить!

— Бесчестный человек! — сказал на это почти вслух директор, вспыхнувши и смеривши его глазами с ног до головы. — Извините, я не могу исполнить вашей просьбы! — прибавил он, подумавши и переведя дух.

И, хлопнувши дверью, ушел во внутренние комнаты.

Гроза пролетела над головой Щебетковского; но он скоро оправился. Две недели министр ожидал его отставки. Щебетковский просто сказывался больным и не ходил на службу, но появлялся везде в обществе.

— Что вы, Иван Ильич, бросаете службу? — спрашивали его.

— Да, на время. Я получил письмо о смерти бабки и еду домой, в Малороссию, принять имение и устроить дела. Да и здоровье улучшить немного.

— А позвольте узнать, как велико наследство вам достается?

Щебетковский лукаво улыбался.

— О! имение небольшое, да места зато дорогие! Известно: Украйна — золотое дно, житница России!

«Да, как бы не так! — думали знакомые, — знаем мы тебя! Я думаю, бабка-то миллионерша умерла, и ты из-за пустяков не бросил бы такой карьеры!»

Одного боялся Иван Ильич, что грозный гонитель его, директор, расскажет в департаменте и везде его свидание с ним и унизительную просьбу его о прощении и мировой. Он для этого даже пустился на тайные разведки. Но вспыльчивый и прямодушный начальник его был по преимуществу лентяй и давно забыл о Щебетковском. «Хорошо же, — подумал Иван Ильич, — оно теперь вполне кстати: бабушка умерла хотя не теперь, хотя уже семь месяцев назад, но все-таки предлог не потерян. Я еду домой, — еду с шиком. Одна льдина подломилась, перескочим на другую. Переждем времечко, год-другой, хотя бы и три года. Если там не удастся, воротимся опять в Петербург: чин мой откроет всегда и потом дорогу. А между тем тут все перемелется, мука будет. А родина моя — еще непочатый край...»

И таким образом Иван Ильич Говоруха-Щебетковский пустился на родину. Гардероб его мгновенно увеличился значительным запасом белья и платья самой последней моды и степенного достоинства. Англоман по привычкам и стремле-

ниям и петербургский немец по аккуратности и расчетливости, он ехал без слуги. Здесь еще был расчет на лучшее укрытие от посторонних разведок о своем прошлом, для чего он еще и в Петербурге постоянно менял наемную прислугу. Чемодан, полный белья и платья, и ящик, полный книг и комнатных безделушек, составляли его дорожную поклажу.

На железной дороге он явился аристократом по преимуществу, вел себя степенно и с выдержкой, куря на станциях первейшие сигары и едва перегибая голову через края длинных и туго накрахмаленных воротничков. С соседом по вагону он едва завел короткий разговор сперва по-английски, потом по-французски. Языки ему дались. Разговор вертелся о последних новостях заграничной политики и петербургской высшей администрации. Сосед с благоговением подумал: «Вероятно, дипломат!»

В Москве Щебетковский остановился в самом темнейшем номере темнейшей гостиницы, но в середине города, и тотчас сделал несколько посещений. Он посетил семью одного известного и всеми уважаемого славянофильского семейства, прокравшись туда через какое-то посредство, и явил себя опальным добровольным изгнанником Петербурга и поэтому бранителем северного нерусского чиновничества. Тут же он, на многолюдном вечере, в кругу задушевного чайного присеста, намекнул, что происходит от древней украинской фамилии, служит единственным представителем вымершего гетманского рода, прогремевшего в истории последних дней независимости Малороссии, сказал, что едет заниматься украинской стариной, предпринимает строго обдуманное путешествие по ее степям и старозаимочным историческим захолустьям.

Хозяева с торжественным почтением глядели на него, осыпая его прямодушными расспросами о любопытнейших особенностях его родины; а два маленьких студента, бывшие на том вечере и нарочно приглашенные заранее взглянуть на дорогого гостя, их земляка, выйдя с вечера на улицу, далеко за полночь, бросились у ворот друг к другу в объятия и решили, что это, наверное, эмиссар таинственного общества «Украинский Рассвет», о котором тогда ходили разноречивые толки, и, придя

домой, каждый написал на родном наречии стихи, впрочем, жалкое подражание любимому народному поэту.

Иван Ильич на другой день посетил издателя одного московского журнала, которому тоже сказал, что бросил немецкий город, что представляет последнюю отрасль известного гетманского рода и едет путешествовать и жить на юге. Старый журналист, услыша еще от лакея историческое имя Говорухи-Щебетковского, даже привскочил на стуле: так оно подействовало на него, среди его книжных занятий.

— А, гетманец, гетманец! Милости просим! Садитесь! Вы — потомок Павла Говорухи-Щебетченка, или Щебетковского, как его зовут впоследствии?

— Точно так!

И разговор оживился.

— Вы богаты? — спросил неожиданно практический журналист.

— Нет; у меня только маленький хутор на Десне.

— Не Калиновый ли Овражек?

— Да-с.

— Чем же вы будете жить? Фабрику думаете открыть? Это теперь в моде!

— Нет, я думаю изучать старину...

Журналист улыбнулся и более ничего не говорил. Ему нечего было извлекать из личности гостя. Гость для него был романтик, и он его проводил одними напутствиями:

— Работайте: это — жизнь души и слава человечества!

Иван Ильич остался недовольным первым посещением журналиста. Зато на именинном литературном вечере у него, дней через пять, он встретил, вместо литераторов, большое число людей практических первого свойства: баснословных откупщиков, суконных и ситцевых фабрикантов громадного богатства и чайных торговцев, монополистов отменнейшей сноровки, выдержки и гордости. Все это весело шутило, рассматривало древние рисунки и книги и толковало о литературе и торговле. Щебетковский, которого хозяин представил, сказавши: «Господа, забесованный украинец и добрый чело-

век!» — подсел к толкующим о торговле и извлек много-много поучительного. Один гость даже чуть было не сманил его в одно денежное мероприятие, толкуя все, что ему, как и его товарищам, нужны люди светские, современные и горячие. Предприятие обещало неслыханные барыши по одному делу в пограничной нам стране в Азии. Но Щебетковский вежливо уклонился под видом неопытности и подумал: «Нет, лучше попытаемся в Малороссии». Зато в один вечер он до точности увидел бездну путей, которыми с разных концов двигались в то время колонии смелых и ловких бойцов, положивших себе, завоевать обетованную страну богатства, какого бы то ни было рода.

Наконец, Иван Ильич даже посетил в Москве одну заслуженную вельможную личность, жившую тогда в тишине; явился к тому лицу, отрекомендовавшись просто: «Статский советник Щебетковский, проездом из Петербурга в Малороссию!» Просидел у него часа два, польстил ему двумя-тремя словами, нагляделся на его львиную серебристую голову и отвислые, старческие губы, благосклонно улыбавшиеся ему, и потом сам не мог решить, зачем он туда заезжал.

Наконец, взято место в карете мальпоста. Иван Ильич взглянул в бумажник — издержано всего сорок пять целковых. Отлично; а между тем многое увидено и еще более услышано. Карета покатилась по шоссе. На первой же станции новое пальто спрятано и надето старое. Была весна. Прехорошенькая гувернантка ехала с ним в одном отделении кареты. Их было только двое. Но, узнавши из книги ездоков, кто она такая, Щебетковский не сделал лишнего движения во всю дорогу, не дал воли ни языку, ни сердцу, чем бы непременно воспользовался пылкий юноша его круга на его месте. Гувернантка даже удивилась, даже обиделась и долго на последней станции, откуда уезжала в сторону, оглядывала его с холодным презрением с ног до головы. А какие вечера и ночи пролетели над ними. Воздух дышал почками берез и лип. Кони дружно несли громадную карету, и колеса глухо стучали по овлаженному шоссе. Вздыхала гувернантка, вздыхал и Щебетковский. Более и бо-

лее застилался для него туманом столичный мир, Петербург, служебная дорога, отличия, шумная светская жизнь, театры, повсеместный блеск и движение, и надежды, надежды, разбитые надежды на скорое достижение цели... Он припал к мягкой стенке кареты, и она скоро смочилась потоком быстрых и обильных слез его. Все мелькнуло разом в его уме и угасло навсегда. Он рыдал, как ребенок, подавляя рыдания. Соседка не услышала ни одного его вздоха. Недавний позор прошибал его ознобом и дрожью. «Нет, не воротиться мне более в Петербург, — думал он, — этот человек не даст мне нигде потачки! А может быть...» И он думал, думал. Утром он сидел по-прежнему спокойный и румяный и, с позволения соседки, курил в окно отличную сигару.

Шоссе сменилось обыкновенною большою дорогой. Последняя свернула вправо. И вот, после скучных и избитых, всем надоевших картин почтовых великорусских путей, начались тихие проселки лесной и холмистой старосветской Малороссии, живописная глушь по Десне и северному Приднепровью.

Вот Глухов, вот Борзна, вот Батурин. Все имена славные в истории гетманщины. Еще два-три переезда, и близка родина Хмельницкого и Полуботка, Чигирин и Черкассы, Суботово и Корсунь, откуда вышло столько буйных сил и молодецких дел, откуда летели драться Чернота и Небаба, Кривонос и Колода, Нечай и Морозенко. Вот дебри и скалы, запечатленные особою святостью последних битв казачества с поляками. Тут разносился голос Богдана: «За веру, молодцы, за веру!» Здесь разбил он шляхту и взял богатый польский лагерь с тяжелыми рыдванами и панами, золочеными палатками и парчевыми постелями; а там провозглашен он гетманом. Полупольская, полуукраинская лесная Малороссия еще красивее степной. Здесь — скалы и воды, леса на кручах; там — ровная гладь и гладь, без конца и разновидностей. Степь утомляет. А тут выдаются такие места, что удивляешься: неужели это Малороссия, а не чистая Швейцария?

«Неужели это уже Малороссия?» — думал и Щебетковский, въехавши в границы своей родины, с последнею поворот-

ною от Брянска на Батурин и Козелец, когда в его глазах мелькнул высокий белоскалистый берег Десны, и ежечасно в стороне от дороги виднелся ему то старый, полуразрушенный, каменный, длинный дом, а кругом остатки рвов и насыпей и сбоку вековая роща яворов, то над прибрежною высью бедная, старинной постройки, почернелая церковь и кругом камни убогих гробниц с прахом славных дедов. У ворот ветхой корчмы иногда встречал его белый каменный столб, а на нем грубая насечка и надпись в полупольских, в полуславянских виршах. А невдалеке, под горою, лежало тихое былое войсковое село. Но Иван Ильич, потомок одного из славных гетманов, смотрел на все глазами чуждого пришельца, и непонятны ему были эти живые и бедные письмена былых судеб его родины.

Он давно уже ехал на долгих, в фургоне наемного жида, обязавшегося доставить на родной хутор его, мосцивого пана, не более, как на третий день от места выезда. Но третий день оказался шестым. Иван Ильич бранил жида, но внутренне не жалел о медленности езды. На последнем перевале выкормили лошадей особенно старательно и расспросили в точности о дороге. Щебетковский уехал от покойной бабки по девятому году и потому решительно почти не помнил вида хутора и его окрестностей.

Фургон долго ехал дубовым лесом, по берегу какой-то незавидной, второстепенной речонки. Встретилась корчма и одинокий колодец. Потом еще лес и крутая поворотка вправо, в гору, по изрытому дождями боку широкого провалья. Лошади еще пробежали верст двадцать полем, между всходами свежих хлебов. Свернули на новый проселок; его пересек другой. Поехали еще правее. Пошел мелкий игольчатый терновник, кое-где перерезанный долинками и полянами, заросшими огромными лопухами и колючими лапчатыми будяками, чуть не в рост человека. По мычанию коров, крикам собак и петухов время клонилось к вечеру. Щебетковский догадался, что близко должен быть поселок. В стороне, на холме, он увидел три мельницы и рощу старого ракитника. Он узнал родной хутор. «Э! постой, постой! держи левее! должно быть тут!» — сказал

он усталому вознице, неожиданно оживившись. Вскоре на окраине поля показался ряд дымовых полос от труб, как ряд лент, развеянных по тихому небу. Поселок был в котловине, за косогором. Еще пробежали лошади, и зачернели верхи колодезных журавлей, а там выяснился и сам хутор, Калиновый Овражек, по старине, как был еще при прадедах Ивана Ильича, весь врассыпку по взгорью котловины, спадавшей к Десне, усевшись, как и куда попало: хата боком, хата задом, хата углом и передом к улице, к заборам, огородам и речному отвесному прибрежью. «Нет, отсюда не подъедешь! — сказал опять, еще более вглядевшись в окрестность, Щебетковский. — Держи назад и кругом, а я пойду прямо пешком!» — И он выскочил из фургона, а возница поплелся в объезд.

Завидевши крышу старого длинного дома, Иван Ильич пошел прямо на него полем. Но не прошел он и полверсты, как дорогу ему загородили невиданной величины бурьяны; крапива, лопухи и всякая травная глушь такой величины, что он шел сперва, бодро продираясь сквозь них, а потом окунулся в странную, причудливую зелень, как в лес, и потерял из виду хутор. Как сказочные видения, хватали его травы и кусты своими лапами, и он чуть не оставил на них полы своего пальто и часовой цепочки. Опутанный ими, весь в паутине их лиственных паучков, вышел он наконец из их прохладных темных впадин и опять увидел хутор и дом над садом. Надо было еще перейти через овраг. Не с распростертыми объятиями, не с хлебом и солью встречало нового наследника тихое родовое пепелище. Он скорее брал его приступом; пробравшись сквозь бурьяны, он едва-едва спустился в глубокий, сырой овраг и, цепляясь за кусты, взобрался на его другую сторону. Тут уже он был сбоку барского сада. Стоило только повернуть за угол двора, к воротам.

Он подошел к обвалившимся каменным столбам широких ворот. Огромный пустынный двор, заросший густою свежею травой, замыкался со всех сторон либо кирпичным же ветхим забором, либо полуразрушенными каменными службами. Как раз напротив ворот обрисовался огромный, в два яруса, ка-

менный дом, со множеством деревянных пристроек и надстроек, стеклянных крытых переходов, труб с железными шапками и флюгерами и двумя рядами старых, огромных окон. Кирпичные стены были желто-зеленого цвета, испятнанные красными дождевыми проточинами с крыши по бокам и обросшие кое-где мхом. Водосточные трубы давно, очевидно, были засорены воробьями и ласточками, и в них на крыше обильно росли травы, а кое-где от случайно занесенных семян — и целые деревца березок и кленов, наследия толпы величественных деревьев того же имени, застилавших со стороны сада своими царственными вершинами остатки гетманского дома. На гребне крыши сидел павлин. Близ кухни на ходу остановился старый ручной журавль, обративши голову к воротам, куда входил неожиданный им гость. А весь дом, пристройки, крыльца, трубы и два ряда окон блестели, обливаемые потоками вечернего солнца, заходившего за косогор, за сквозными столбами старых ворот.

Щебетковский остановился. «Вот замок во вкусе Вальтера Скотта. Я, право, же ожидал!» — подумал он и не мог ступить ни шагу, любуясь чудною картиною этого запустения.

А на сером дубовом крыльце давно уже сидела, прислоня к глазам ладонь от солнца и глядя на гостя, такая же серая развалина, старая-престарая ключница Аграфена, былая фрейлина его бабки и последняя подруга ее предсмертного одиночества. Она, да и не она одна, все на хуторе и соседи ждали Ивана Ильича. Но она его ждала с другой обстановкой — в карете шестериком, с лакеями, с обозом и с кухней, с колоколами и бубенчиками, как ездили в старину и как должен был ехать со службы из столицы молодой барин, чиновный и чуть не генерал. Она не ожидала ни фургона жида, вскоре въехавшего за ним во двор, ни его самого пешком. Когда он пошел к дому и она встала с крыльца и пошла ему навстречу, с первого же раза узнала она в его чертах черты знакомые, лик предков, черные глаза и черные густые брови, но с минуту еще она смотрела на него, не решаясь, за кого его признать, за пана, за сгонщика

из города или за слугу пана, и потом уже бросилась к нему с криками:

— Паныч, голубчик, соколик! — целуя ему руки и плечи.

— Так это ты, Аграфена?

— Я, паныч-голубчик, я! Да какой же вы большой стали, да красивый!

— А ты разве помнишь?

— Я вас вот каким еще выносила. А мало разве ваши ножки тут выбегали, когда жили у бабушки?

— Ну, Аграфена, показывай же дом. Я думаю, все погнило, и мне негде будет и приютиться!

Аграфена хватилась за карманы; потом, ковыляя, кинулась в кухоньку, род маленькой пристройки у каменного флигеля, близ сада, где был ее приют и куда вела протоптанная в густой траве дорожка. Тут было оживленнее. Площадка у кухонного крылечка была расчищена; куры ходили под окнами и рылись в земле. Выплеснутая с крыльца вода означала хлопотливость. Беленькая кошечка, умываясь лапкой на призбе, под окном, прямо говорила: «Гости-гости!» Аграфена вбежала в сени и скоро оттуда вышла, гремя связкою ключей, а в темноте сеней за нею мелькнули две чьи-то головы и опять скрылись.

Жутко сжалось сердце Ивана Ильича, когда он вступил в широкие и прохладные сени нижнего яруса дома и пошел впереди Аграфены. Она рассказывала значение и историю комнат, где сменилось столько поколений. Предок гетман не жил в этом доме. На месте каменного стоял прежде дубовый, с частоколом и бойницами. Каменный построен уже позднее, его внуком, при Екатерине. Здесь отпировало шумно богатое наследие храброго гетмана. Вот нижний и верхний ярусы. Вот коридоры и лестницы. Зал с круглыми зеркалами, в рамах из бронзы и резного дерева, с точеными столиками на выгнутых кривых ножках, с тумбочками и люстрами, с хорами, а на хорах пушечка и подставки для музыкантов. Гостиная с огромным диваном, опять с зеркалами и старинными гравюрами, представлявшими сады и замки, горы и пастухов, воинов времен Кромвеля и Костюшки, Ришелье и Колумба. Над диваном и

по сторонам зеленых изразцовых печей — два ряда семейных портретов в позолоченных почернелых рамах.

В сумерках ясно виден был на одном портрете толстый и чубатый гетман Говоруха-Щебетченко, в красном жупане, седой и с саблей на перевязи через плечо. На других — вельможная свита молодцеватых потомков, в мундирах и кафтанах, в пудре и эполетах, всяких видов и цвета. Полуистлевшие ковры, буфеты, спальня вверху и спальня внизу с штофными одеялами и шкапами с посудой. В верхней зале несколько окон было растворено по случаю отсутствия стекол. Звонкое восклицание раздалось при входе посетителей под потолком. Щебетковский взглянул: там носилась влетевшая на просторе ласточка. Гнездо крылатой семьи лепилось в самом верху, под зеркалом, и маленькие желтоватые носики глядели оттуда. Иван Ильич еще прошел ряд комнат, сошел опять вниз, поднялся наверх и, минуя те же комнаты, уже тонувшие в потемках, вышел из верхней гостиной на крыльцо, почти висевшее на воздухе. Запах цветущих белых акаций охватил его, и чудный, старинный, заглохший сад, спадавший к Десне темными, широко-вершинными уступами, как зелеными холмами, открылся перед ним. Свежесть майской ночи неслась к этим вершинам и устилала их. Туман не заслонял вида за рекой, — и леса, и холмы боролись с темнотой и последними отблесками угасшей зари. На хуторе кое-где раздавался лай собак и крики ребятишек. А в конце сада, внизу, там, где столетние вербы скрывали реку, плотину и мельницу, слегка отзываясь и как будто ворча, засыпала, еще перелетывая и тыкаясь носами в ветвях, громадная стая грачей, оснащавших своими гнездами каждую верхушку. «Просто Веверлей и Эме-Вер! — думал про себя Иван Ильич, стоя на балконе. — Экие места! Шотландия, да и только. И я почти герой романа. Недостает только привидений и красавиц!» Он стоял еще долго. Оглянулся — в гостиной уже зажжены свечи, и на пороге стоят Аграфена и атаман, староста хутора.

— Ну, я ваш пан! — сказал Иван Ильич, садясь на диван и наскоро осведомясь о состоянии имения. — Смотри же, чтоб у вас все шло в порядке; я вам не старая барыня.

Атаман все кланялся.

— Есть деньги в экономии?

— Какие у нас деньги? Хлеб не уродил, овцы падают, а лесу никто не покупает!

«Плохо же! — подумал Иван Ильич, — хорошо, что захватил малую толику из Петербурга, — надо этой статьей заняться!» — И отпустил атамана, объявив, что завтра займется осмотром амбаров, гумна, скота и всего хозяйства.

Аграфена поставила на стол кое-какую закуску и стала в стороне.

— Ну, как же тут век коротаешь? Ты, кажется, и моею няней была?

— О, да и рада же, что я вас дождалася! Скучно, совсем скучно без господ. То еще при покойном старом барине было весело и живо тут, слуг пропасть было, и гости наезжали; и при бабушке вашей было ничего; все-таки хоть на кого покричит, выйдет на крыльцо, вся это в белом и с ключечкой такой, вишневой палкою; кого-нибудь тут же и прибьет, и меня по щекам била до старости. А то совсем скучно стало; точно вымерло все. Ни души иной раз не видишь целый день на дворе, пока не выйдешь на улицу.

— А муж у тебя есть?

— Был, Онисим Андреич, и еще какой муж, такого уже и не найдешь, хоть бы и хотела. Сам пряжу прял, коров доил, за бабу шептал и детей около рожениц принимал. Ну, сущая баба, только такой здоровенный, в косовую сажень, а совсем кроткий, смирный. Даже серьги в обоих ушах носил, по-женскому. На нем и все хозяйство лежало. А теперь плохо без него. Есть у меня и прислуга, по милости бабушки покойницы, и жалованье сто ассигнациями при экономии получаю, а все плохо без него.

— Так ты на жалованье?..

— Как же, получаю, выдают...

— Гм! сто рублей, однако! — повторил Иван Ильич и сделал гримасу. — Где же ты мне спать постелишь? — прибавил он.

— Пожалуйте сюда, в диванную. Тут уже все готово...

На старом сафьянном диване постлана была свежая, белая постель. Оба чемодана, с бельем и платьем и с книгами, стояли тут же, внесенные жидом-ямщиком, которого уже рассчитали, и садовником Селигонтом (он же кучер, лакей и писарь покойной бабушки) — пьяницею из пьяниц и самого мрачного вида и разговора человеком, почему его на первый раз и скрыли от нового барина.

Ивана Ильича раздела Аграфена. Зажегши дорожную стеариновую свечку и развернувши книжку какого-то нового журнала, он лег. Но тут же глаза сами собою закрылись, свечка едва была погашена, и он заснул непробудным сном.

Аграфена, придя в свою хатку, в свой приют в боку кухонного флигеля, тотчас зажгла лампадку перед множеством образов, украшенных сухими травами, выкроенными из цветной бумаги херувимами и голубями, слепленными из теста и повешенными на ниточках. Вся комнатка скупой жительницы осветилась: ее окованный сундук со всяким хламом, келейно и в долгие годы натасканным из такого же вздорного хлама барской кладовой, на полках посуда, на окошках занавесочки, на стене уланский кивер и старое солдатское ружье. Как появление этих вещей трудно было объяснить у ключницы, так нелегко было объяснить и происхождение остального ее богатства. Как жук, тащила она в свое обиталище, в огромный окованный сундук, все, что попадало под руку: кусочек сахару, мужской забытый целыми поколениями в кладовой суконный жилет, распоротый женский плисовый лиф, цвету масакового, сливного желе, кисти от какого-то полога, кучерскую шапку, кусок холста, проволоку с головного убора прошлого века, засаленные игральные карты и прочее. Под самою кроватью у нее лежали кучи такого же свойства. Помолившись Богу, перечтя с поклонами много молитв, Аграфена разделась, надела, по случаю возврата барина, новую сорочку, легла и стала думать: «Хорошо, что пан приехал. Теперь я уже буду старше атамана. Про коваля Харька расскажу и про Ивана Смуху расскажу. А когда

жалованье? Должно статься, теперь скорее раздадут. Получу два целковых. Два, да шестьдесят три в сундуке, в холсте, шестьдесят пять...» Она долго не спала.

II

Первые дни на хуторе

Проснулся Иван Ильич довольно поздно и потянулся сладко-сладко. Невыразимая прелесть и сладость разливались по его телу. Закинувши руки на подушку и выбившись из-под одеяла, он прислушивался. Ни один звук не долетал до его слуха. Тишина в доме, в саду и кругом была полная. Одно солнце глядело привольными лучами в комнату. Ощущение безусловной, торжественной свободы было первое. Мысль, что у него теперь нет ни начальства, ни департаментских обязанностей, ни соперников и врагов по службе, что никто на него не смотрит, никто шпионским ухом его не подслушивает, что и пролежать он может, сколько душе его угодно, просто детски его восхищала. «Ах, ты, Господи, Господи!» — шептал он вслух и чувствовал, что все в нем ликовало. В растворенные окна из сада несся еще более сильный, чем с вечера, запах акаций. Пожелтелая занавеска на окне колыхалась. Он обернулся, услыхав какой-то шорох. Белая кошечка Аграфены, не видя нового гостя и, вероятно, взобравшись с надворья на такую высоту по дереву, близ балкона и потом по карнизу, просунула из-под занавески голову с живым воробьем в зубах и прыгнула в комнату пробираясь по коврам далее, давно знакомою тропинкой, вероятно к новорожденной семье, выведенной где-нибудь под развалинами дивана в других комнатах.

Иван Ильич крикнул. Никто не являлся. Он выглянул в соседнюю комнату. У отчищенных сапог и приготовленного умыванья сидела в креслах Аграфена и спала, сложив на груди руки. Он ее разбудил.

— А я вас давно уже, давно ожидаю, да не хотела будить...

— И отлично сделала, Аграфена; я славно выспался.

Утираясь полотенцем, как был в одной рубахе, Иван Ильич вышел на балкон. Ветерок обдал его новою свежестью. На крыльце, высоко вознесшемся над садом, он очутился, как на верху колокольни: так оно было ловко прилеплено железными подпорами к стене и открывало чудные виды на садовые вершины, окрестность за рекой и на избы разметанного по оврагу и его бокам хутора. «Попробуй-ка так выйти на крыльцо в Петербурге, — подумал Иван Ильич, — сейчас будочник явится!»

— А это что такое? — спросил Щебетковский, разглядевши по ту сторону за Десной, между картинкой холмов, кое-где пересеченных лесами и долинками, маленький зеленый поселок, кучу верб, колодец, белую мазанку, сарайчик и десятка два ульев с куренем в ограде густого садика, точно рисунок, вытканный на ковре или выведенный тонкою кисточкой на табакерке: так он уютно рисовался по тот бок реки, освещенный солнцем, со стаей голубей, кружившихся над его вербами, в самом небе.

Аграфена подперла рукою щеку и ступила ближе к балясам.

— Это Антон Степаныч Фабрициус.

— Кто?

— Фабрициус...

Щебетковский обернулся с удивлением, слыша это римское имя, так отчетливо произносимое старухой, и опять спросил:

— Как Фабрициус? Откуда он и как попал сюда?

— А так и попал... приятель вашей бабушки. Их наша покойница очень любили. Все через плотину, бывало, ходили к барыне: перепелок им носил, почитать что-нибудь. Совсем смирный человек. Пчелы у него есть; землю внаем отдает. А то больше все у отца Афанасия, в Мирном, проживает. Ладан нам носит, лекарства иной раз, веретена делает, иконы пишет, шепчет...

Напившись чаю, Иван Ильич пошел в сад. Он его сразу узнал и вспомнил, несмотря на его заглохший и запущенный вид. На месте прежних цветников и затейливых площадок был густой сенокос. Рыбная сажалка под нижнею террасой представляла вид зеленого болота, поросшего тростниками и осокой. Обвалившиеся кирпичные столбики, подножие бывших тут когда-то статуй, едва краснелись из травы. Зато столетние липовые и кленовые аллеи были еще гуще и темнее, вместе с глядевшими из кустов навесами хмелевых и виноградных беседок. У поворота к бывшим когда-то теплицам Иван Ильич простоял долго, будто что-то вспоминая. Здесь он в детстве, уезжая в учение, выкопал черепком ямку и похоронил в ней свои бабки и оловянного солдата, как теперь помнил его, в зеленой куртке, с голубыми ногами и в красном кивере. Места этого нельзя уже было отыскать. Здесь росли яблони, не бывшие тогда.

Пообедал Щебетковский наскоро. В девичьей его ждали раскрытые сундуки и Аграфена с ключами от кладовой. Остальную половину дня он ходил по комнатам, открывал и закрывал шкапы с посудою, дверцы в тумбах и стекла в этажерках. А сундуки в девичьей? Чего тут только не было! Старинные желтые, зеленые, голубые и коричневые кафтаны; шелковые женские платья со шлейфами; шинели, камзолы, распоротые женские лифы, кроватные пологи и головные уборы; тут же кучами лежали запасенные бабушкою куски простых и тонких холстов, мотки ниток, одеяла, белье всякого рода и ковры с невиданными узорами. Ключница Аграфена считала долгом отдать отчет в малейших мелочах и сперва тащила из соседней кладовой в девичью всякий хлам, попавший туда в течение многих десятков лет и Бог весть через чьи руки, — банки со всякими сушеньями, наволоки с козьим пухом, два мужских седла чуть не времен шведов и полтавского боя, кучерские армяки и шляпы времен Екатерины, какие-то казакины и куртки с галунами, род охотничьих нарядов, ружья без курков, всякую посуду, — и наконец туда потащила самого хозяина. Иван Ильич в темной и обширной кладовой отыскал

прежде всего кадку с медом, захватил ложку, сел близ кадки и, уписывая любимый липец, сказал: «Ну, няня, то после посмотрим; а теперь давай к этому хлеба!» Ревизия кладовой кончилась уничтожением связки сушеных сладких яблок.

Щебетковский вошел в спальню бабушки и выдвинул ящики круглого стола, под иконами. В одном из ящиков лежала пачка каких-то семян, шерстяная женская перчатка и отбитый носик чайника, не считая множества лоскутьев, хранившихся там. В другом — аспидная доска с полузатертыми строками неровного детского почерка. «Неужели это мое писание?» — подумал он и спросил:

— Аграфена! После меня тут не учили никого из детей?

— Никого-с; это ваша дощечка!

В глубине одного из ящиков бабушкина комода Щебетковский заметил связку писем, обернутых розовой ленточкой. «Тоже мои, из лицея!» — подумал он и бросил письма обратно в ящик. Тут он увидел еще кучу исписанных листков, взял один, и рука его невольно дрогнула. То был почерк бабушки, черновое письмо о нем, рекомендация внучка какому-то знакомому в Петербурге. Он упал на диван и стал читать:

«Милостивый государь мой, господин коллеген-асессор! Поручаю вам моего Ваничку! Это — розовое, милое дитя; чувствительной души его еще не коснулись раны света. Он кругленький, как украинский коржик. Память непостижимая, притом ретив и благонравен. При рождении от бедной матери вынес корь, а недавно у меня чуть не умер, оборвавшись с яблони. Дело было так. Вы мне прислали Карамзина и Жильблаза. Я села с разбором почты, а он в сад, забежал в самую глубину, к моему уединенному эрмитажу из ясеней, и влез на яблоню. Слышу: вой нянек; несут его едва живого и в крови. Насилу вылечили. Итак, он резв. Сберегите моего внука. Внука! imaginez vous! А давно ли мы с вами танцевали на балу у рейткнехта дюка де Баскино? Годы летят и не ждут нас. Вы уже в чинах; слышу, тоже и женились. А помните ли Греттиц-фон-Грессених и эту прекрасную фрейлейн Миранду, на вечере у сержанта Гауровича? Увы! И я

живу вдали от шума света, в уединении дум и в пустыне души, как говорит наш общий любимец Руссо, притом же вы и я...»

На этом обрывалась страничка из жизни бабушки.

Долго Иван Ильич вертел в руках пожелтелый клочок письма. Многое толпилось ему на ум; но никакого коллеген-асессора, приятеля бабушки, он не мог припомнить.

Вечерняя заря играла всеми яркими переливами огней, освещая правую сторону сада, угол дома и конюшни, и обливая румяным светом окна, полы, стулья и резные подзеркальники, когда Щебетковский сошел с верхнего яруса дома, витою лестницею, в нижнее жилье, в старинную библиотеку. Окна ее также выходили в сад; по стенам шли шкапы, между окнами ситцевые диваны. Иван Ильич отпер один шкап, потом другой, осмотрел пыльные полки с книгами. Ото всего, от книг, полок, диванов и занавесок на окнах, несло затхлостью и гнилью. Он растворял окна, подставил к верхней полке легкую точеную лесенку, взял первую попавшуюся книгу, сдул с ее краев пыль и сел в кресло у окна. Это был перевод какого-то старинного романа прошлого века, с длинными разговорами и сладкими героями. От слежавшихся страниц с красным старинным обрезом и в кожаном желтом переплете повеяло той же затхлостью и гнилью. Иван Ильич потребовал варенья и воды, освежился, стал читать и задремал. Книга готова была выпасть из его рук.

Вдруг, близ него, скрипнула половица. Он поднял глаза. Перед ним стоял, с зеленым картузом в руке и улыбаясь, старичок лет шестидесяти, в рыжеватом завитом паричке, на тоненьких ножках, в желтом нанковом сюртуке, таких же брюках и жилете и с большою печаткою у часов. На первых порах Ивану Ильичу с дремоты показалось, что сбежал по резной лесенке, из шкапа библиотеки, или выскочил из самой книги, развернутой у него на коленях, один из героев забытого людьми романа. Он заговорил: от его слов так и повеяло милордами Георгами, Правдиными, Грандисонами и мадам Ратклиф, в переводах.

— Имею высокое счастье рекомендовать себя вашему вниманию... Приезд ваш в сии достолюбимые местности...

— Позвольте узнать, с кем я имею честь говорить?

— Антон Степаныч... Антон Степаныч Фабрициус!

— Очень рад-с. Милости просим садиться.

— Ах, как я уже рад, Иван Ильич, как я рад, так и не описать! — говорил Антон Степаныч, тряся хозяина за обе руки. Долго еще говорили новые знакомые друг другу любезности. Антон Степаныч как взял Ивана Ильича за руки, так и не выпускал его из своих морщинистых горячих рук, пока тот вежливо не высвободился сам.

Ивану Ильичу было весело.

— Как это вы, дорогой Антон Степаныч, вошли так, что я и не заметил?

— А не беспокойтесь. Все входы и выходы в здешних палестинах мне вполне знакомы. Мой же собственный фольварк, так сказать угол мой, недалеко отсюда, за рекою, — и я каждодневно бывал здесь при покойной вашей бабушке, потому что она была больна, а кольми паче еще и потому, что я ее любил-с...

— Очень рад, Антон Степаныч, очень рад. Садитесь. Милости просим. Будем почаще видеться. Ведь я теперь ваш новый сосед, помещик... Научите, как это все устроить там, ввод во владение, явка суду о моем приезде...

Антон Степаныч крякнул.

— Гм! Это-с легко-с... А вы знаете завещание покойной бабушки?

— Какое завещание? кому?

Озноб прошел по спине Щебетковского.

— Велите подать свечи.

Подали свечку. Протянутые ветви яблонь с лапчатыми листьями кленов причудливо осветились снизу, утопая в темноте своими вершинами. Ветра не было. Пламя свечи стояло неподвижно, как статная хуторянская девка с тарелкой за столом строгой няни. Где-то подняли крики

миллионы лягушек. Соловей отзывался. А из воздуха, пахнущего почками цветов, стали сыпаться на скатерть сотни мошек и коровок, сотни бабочек и букашек, золотистых, серебристых, зеленых, огненных и кисейных. Антон Степаныч что-то вынул из бокового кармана сюртука. Это была бумага. Оглянувшись опять по сторонам и наставя нос к самой свечке, он начал:

«Явно, доброхотно и самовольно завещаю все движимое и недвижимое имение мое, а именно: хутор предков покойного мужа моего, Калиновский Овражек, с крестьянами, землями, сенными угодьями, домом и мельницей, все в доме и за домом, в кладовых и в амбарах, земли 216 десятин и душ 22, как единственное наследие преславного и превеликого гетмана Павла Щебетковского, внуку моему, ныне служащему в Петербурге, Ивану Ильичу Говорухе-Щебетковскому, коему тот гетман приходится пращуром, а ему внук мой единственным потомком. Сей пращур был славен, а еще более богат. Половина Нижнебайрацкого повета, все земли и люди, были в его руках. Дальнейшие потомки преславного рода обеднели и прожились, но не теряли шляхетского гонору и силы. А посему внук мой Иван Ильин сын (Иван Ильич, это вы!) обязан свято чтить мою, завещательки, волю. Сиречь: обязан он, по все дни, прежде всего памятовать, что его род есть род первостатейный, который он должен не умалять, а возвышать и гордиться им передо всеми; каменный панский дом, яко бы палац, от предков перешедший, поддерживать; такожде хранить и холить при дворе садовое, огородное и цветочное ремесло, разводить лечебные и красильные травы. А для сего, последь сказанного, благословлять крестьян хуторских свадьбы не иначе, как когда отцы жениха и невесты насадят в своих огородах три или четыре и до пяти щеп плодовых и ягодных. Долгу оставляю ему и говорю заплатить: попу, отцу Афанасию двести рублей, да соседу моему и куму, Антону Степанову сыну, Фабрициусу сто...»

— Эти деньги, Иван Ильич, заплачены; не бойтесь!

— Очень рад. Далее.

— А далее — молитвы-с...

— Какие?

— О вас...

Щебетковский был тронут. Взявши бумагу, он ее поцеловал.

— Расскажите мне о бабушке, что это за женщина была? Я мало ее помню.

— Чудная дама была. Долго рассказывать.

— А о предках моих тоже знаете? Что это за прадед у меня, или пращур этот был, гетман? Говорила она про него?

— Как не говорить-с! Все бывало о своем роде трубит. Такая уже гордянка была! Да и я кое-кого из таких стариков дворовых тут застал. Приехавши тогда, старину воочию видел. Чудные времена тогда были. Право, чудные! У вашего пращура этого, да и у дедушки еще, своя музыка была, два хора певчих. Турецкие пироги подавались; из пушек на именинах палили. Здесь больше в старину с польской шляхты примеры брались. Попойки по неделям делались. Первый основатель вашего рода был гетман Павел Говоруха-Щебетковский. Был он точно славен и соорудил сей дом на вышине берега, так сказать, как орлиное гнездо. Портрет его вам легко представить. Это прелюбопытно. Еще говорят о нем, что он, то есть тень его — ходит ночью по дому...

И долго за полночь беседовали новые знакомцы. Пунш развязал окончательно язык и окрасил клюквой нос старика. Иван Ильич слушал с жадностью эту живую летопись. Собрались уходить из сада. Посмеялись над тем, что тень прадеда или пращура напугает когда-нибудь нового жильца в доме.

Щебетковский пробрался в дом, по лестнице прошел в верхний этаж, отворил дверь на балкон и уселся, любуясь темнотою окрестностей. Долго он сидел. Слова старика не шли из его головы. Какая поэзия, какая канва для романа,

эта история его дома! Те же окрестности, та же Десна, те же леса и горы; а как все изменилось! Фантазия дополняла то, что передавал старик сосед, и мыслям Ивана Ильича не было конца...

— Да, бывало, как соберутся друг к другу ваши предки, да суток по пяти танцуют, не отдыхая! — говорил, между прочим, старик. — Возьмутся этак за руки, да все парами, все парами, пар в пятьдесят, и пойдут кругом, по всем комнатам. А бабушка ваша помнила еще балы вашего родича, гетманского племянника, как тогда еще в париках и в кружевах, да венецейских бархатах ходили. Шпорами звенят, панночки каблуками пристукивают, руками разводят и ножками пишут узоры. А мазурки выводили, так до восхода солнца все гремело и ломало полы...

Иван Ильич лег спать. Комната, полуосвещенная месяцем, опять рисовала ему прошлое. В открытую дверь балкона как будто заглядывала старина. Из темных дверей залы слышался шорох, будто двигались тени. Глаза закрылись, сон охватил его — и зала расширилась, осветилась. Чудный полонез наполнил ее. Во сне, не во сне, — предки двинулись парами, все парами, идут кругом, звенят шпорами, стучат каблуками, покручивают усы. Дамы волочат длинные шлейфы, мужчины идут рядом, любезничая с ними и откинув за плечи шелковые, вышитые галунами рукава нарядных кафтанов. А Иван Ильич глядит и старается угадать их лица: «Как бы меня не заметили здесь на диване; ишь, Антон Степаныч и не предупредил. Это кто? Кажется, гетман? нет, что я! это простой рейтар; как можно! сейчас видно: рыжий и сухопарый, как немец! А вот гетман...»

И действительно, гетман шел, головою выше всей толпы. Вот он, седоусый, с огромным брюхом, грузный и с короткой шеей, толстый и тяжкий на подъем. На нем зеленый шелковый кафтан и парчовая венгерка. Жил он буйно, ел до отвалу, пил сточертованную горелку с перцем, бил жидов и

ляхов, вешал пленных, жег города и оставил пропасть золота и серебра своему наследнику.

А вот его наследник, родной сын. Он идет и шепчется с какой-то красавицей. Но как не похож он на своего отца. Это два разные века. Он идет молодым и красивым блондином, как был в те дни, когда явился впервые к отцу на церемониальное бритье усов и бороды, на двадцать первом году, в длинной черной венгерке, в качестве ученика киевского коллегиума, с Горацием под мышкой, говоря по-латыни и тщательно скрывая в листах заветной книги киевские сувениры, розы, ленточки и волоса. Он женился на панночке из-за Случи. Цены богатствам своим он не знал, но объяснили ему это, по смерти отца, арендаторы, присланные тестем. Земли и воды пошли в оборот. Настроились винокурни и мельницы, шинки и заезжие дворы; настроились богатые палаты в хуторах его и в дальних городах, в Киеве, Глухове и Чернигове. Но всю жизнь гетманский сын, пан Лонгин Говоруха, рвался из-за арендаторских счетов и смет к светильнику муз, затепленному в те дни в великой Руси Ломоносовым и первым в Москве университетом. Он умер, заучивая стихи на взятие Хотина и начавши тетрадь мемуаров о бывших в Питере дворцовых волнениях. Тетрадь вскоре пошла на обертку свечей в канделябры на балах сына.

Зато вот сын. Какое румяное, полное, счастливое лицо! Вельможный юноша, наследник миллионов, семнадцати лет он улетел в Париж с племянником Разумовского. Отец не жалел на него ни золота, ни старинных своих связей. Молодцеватый мот, пан Никита Лонгинович воротился из Парижа, бредя Фернейским мудрецом и новейшим комфортом. Щеголь с женоподобным лицом, явился он в любимую резиденцию отца, на хутор Калиновый Овражек, в голубом шелковом кафтане, с бриллиантовыми пуговицами, в чулках и в пудре, стал с первых же слов звать старого отца, печального и угасавшего пана Лонгина, «cher papa» и пышно оживил и преобразил нравы своего хутора и целого своего

околотка. Вместе с толками о Потемкине и греческом проекте, в дом пана Лонгина показались венецианские обои, резные шкапы и столы, слуги в пудреных париках и свои оркестры музыки и певчих. Пан Лонгин умер от удара, не дождавшись увидеть сына женатым. А сын подхватил себе жену не из русских. И это — знаменитая бабушка Ивана Ильича, девяностолетняя старушка, Вильгельмина Карловна, приютившая, воспитавшая и спасшая его под конец последним достоянием рода Щебетковских...

Это было так. Не чаяла и не гадала молоденькая, румяная и светло-русая шведка, фрейлейн Вильгельминхен, аристократка из окрестностей Выборга, как ее дядюшка, истопник скромного Гатчинского дворца, сказал ей и двум белокурым дочкам своим: «Дети! Идите посмотреть на учение солдат на плацу. Нынче любопытно». Девушки нарядились в белые платьица и чепцы и вышли на плац. А на плацу, усыпанном песочком, шагал уже взад и вперед, в косе, треугольной шляпе и в огромных ботфортах, царственный сержант и креатура великого короля Фрица, сердясь, крича и уча ружейным приемам роту своих любимых пеших драбантов. Девочки загляделись и не видели, что одну из них, более белокурую и румяную, наметил уже глаз, вооруженный щегольским, складным лорнетом. Прошел месяц, начались темные сентябрьские ночи. В одну из таких ночей у стены дворцовой пристройки разыгралась испанская серенада. Старый истопник спал, дочки его с криком кинулись под постели; а вынувши зимнюю раму, в окно влез красивый, отчаянный щеголь из гвардейских колонновожатых и на руки закадычных приятелей спустил по лестнице трепетавшую от стыда, любви и страха, похищенную им бабушку Ивана Ильича, Вильгельмину Карловну...

Быстро и в чаду пролетели первые молодые дни, месяцы и годы. Никита Лонгинович увез свою жену в украинские села и хутора. Окружив ее утроенным блеском и роскошью, с дикой страстью предался он пиршествам и охоте, споил в два-три года целый околоток, — и вдруг, после ряда шум-

ных оргий дома и в отъезжих полях, неожиданно бросил свою жену, уехал торопливо в Петербург, где между тем, также неожиданно, начались другие времена, поступил там на службу, записавшись пугливо в какую-то коллегию, стал посещать монастыри и церкви и уже более не возвращался. Судьба его осталась загадочною. Впоследствии долетали слухи, что за ним было открылись какие-то заграничные грешки. Другие говорили, что его сманили мистики, и он попал в секту не то иллюминатов, не то масонов. Тщетно писала к нему его жена. Через два года ее известили, что муж ее скончался, погребен с почестями на таком-то кладбище, — и вместе сообщили ей длинный список его долгов. Продано два больших имения, потом еще два, потом еще три поменьше. Дома распроданы за деревнями. Пятнадцать лет сряду бедную женщину тревожили разные векселя и взыскания, капитан-исправники и магистраты. Кроткая и тихая, жаждущая семейного счастья, как иная историческая эпоха в жизни народа, расплачивалась она, проливая поздние и никому не нужные слезы, с долгами эпохи предыдущей, эпохи безумной, грешной, сластолюбивой и буйной, бесплодно расточительной.

Сын ее — но говорить ли о нем? Его судьба была судьбой обедневшего украинского и общерусского дворянства. Он служил по гражданской части, потерявши жену, умершую от родов, и поручив единственного сына своей матери. Служба ему не дала ничего, кроме бесплодных огорчений, обманутых надежд и тысячи горьких разочарований на широком поле бюрократизма нашей отчизны. Он также скоро умер в безвестном, грязном городишке одной из западных губерний, и никто не хотел верить, идя за его гробом, что это — представитель одной из древнейших и славнейших украинских фамилий.

Иван Ильич разоспался под чудными видениями, так что старая Аграфена утром сперва и рот ему от мух закрывала платком, и будила его, и чайник ставила то с самовара, то на самовар; наконец даже перепугалась и,

придя на кухню, стала не в шутку рассказывать, что барин спит, точно убитый, и как бы с ним не сталось чего дурного. Ничего дурного с барином, впрочем, не сталось. Проснулся он бодрый и свежий, громко закричал: «Няня, душечка, давай чаю! давай умываться!» — и сейчас послал за Фабрициусом, или, как люди его, кроме Аграфены, звали — Фабрициушем. Антон Степаныч явился, опять улыбался, жал мягкими руками руки Ивана Ильича, вместе с ним обедал и ужинал.

— Что, не видели тени прадеда?

— Не видел!

— Ну, и я говорил, что это пустяки! А сон какой видели?

— Пропасть!..

Прежде всего новые друзья занялись делами. Составлена бумага с явочным прошением в суд. Совершен ввод во владение. Чиновники уехали, начался осмотр и разборка хозяйственных статей, что увеличить, что убавить и чем расширить доходы.

— А что, скажите, как, по здешним ценам, стоит мое имение, Антон Степаныч? — спросил как-то Щебетковский.

— Двести шестнадцать десятин земли — двенадцать тысяч, да двадцать две души крестьян мужского пола, положим, пять тысяч; да постройки три тысячи, итого двадцать тысяч. Недурно!

— Как? серебром? — спросил Щебетковский.

— О, нет! Где же! ассигнациями!

Иван Ильич повесил нос.

— Да вы что, Иван Ильич! Ведь это все-таки хорошо: до шести тысяч целковых...

У Щебетковского прошел мороз по спине. «Да, хвали ты, старикашка хуторянин! — подумал он, горько улыбнувшись, — а я мог получить в Петербурге место с шестью тысячами целковых в год дохода, когда бы не проклятая судьба моя!»

С задатком сильной горечи в тайниках души, Иван Ильич махнул рукой на свои печальные деревенские обстоятельства, достал шкатулку, пересчитал остальные вывезенные из Петербурга деньги, увидел, что их там было еще свыше четырех тысяч семисот рублей серебром, три с половиной тысячи заложил на дно шкатулки, а остальные взял на расход и, сказавши себе: «Э! будь, что будет, а я уже свое возьму!» — решил горячо приняться за устройство хозяйства.

Ежедневно встречаясь с Антоном Степанычем, он расспрашивал его о соседях, о предводителе, о сильных, влиятельных и богатых соседях околотка, об уездных и губернских партиях, словом — обо всем. Разные проекты начинали созидаться в голове Щебетковского. А старик, млея от восторгов новой дружбы, держа за руки соседа и нежно заглядывая ему в глаза, почти каждый разговор кончал словами:

— Вот вы, Иван Ильич, и приехали, и приехали! Да! Вот мы и устроим вас, и женим! Да еще на какой! Служба вас огорчила, расстроила! А наша хуторянка залечит все ваши раны и заживит все обиды! Так-то-с... Это уже будет наше дело, наше, стариковское! Подумайте-ка!

И Фабрициус лукаво улыбался.

«Что за черт! что он об этом все толкует!» — подумал наконец Иван Ильич и решился обстоятельно об этом переговорить с Антоном Степанычем.

День был выбран.

Но прежде скажем, кто был Антон Степаныч.

III

Антон Степаныч Фабрициус

Антон Степаныч Фабрициус в молодости своей и задолго, разумеется, до той поры, как он поселился в собственном фольварке и стал соседом Щебетковского,

нося дома зеленый халат, подпоясанный платком, а в гостях желтую нанковую пару платья, — был лихой, белокурый улан, играл на скрипке, рисовал дамам узоры для шитья и танцевал котильон и мазурку. Как все немцы, он был романтик. Судьба, наделя его неимоверным задором женитьбы, олицетворила в нем тип старосветского украинского жениха. Еще до сих пор местные жители, близ Мелитополя и Орехова, помнят его щегольские усики и завитой, белокурый кок. День и ночь ездил он тогда, летом и зимою. Сперва брал отпуски и командировки, а потом и в отставку вышел для цели женитьбы. Был у него денщик Сидор, он же и кучер. Едучи в чистенькой нетечанке, на тройке саврасых меринков, в те блаженные, молодые времена, добродетельный немец он же и русский улан, вступал с ним в рассуждения. «Ты куда это, Сидор, везешь меня теперь?» — «К Чемерзовой!» — «А что? разве у Чемерзовой тоже дочка есть? — «Есть, да еще и какая: белая, полная и из себя краля!» — «Ну, и приданое будет?» — «Будет; я уже узнавал!» — «И за меня пойдет?» — «Пойдет!»

В другой раз, задумавши сделать коварный набег на какой-нибудь дом несказанной зажиточности, белокурый улан Фабрициус ехал туда и вдруг замечал, что Сидор сворачивает и берет другую дорогу. «Ты куда это? ты не туда везешь!» — «Стану я туда везти!» — «А что?» — «Нет уже, не повезу!» — «Да что такое, говори!» — «Барышня неподходящая: косая, сердитая и людей поедом ест!» Случалось наконец и так, что Фабрициус приказывал ехать к вдове Пепшеренской, что на Сибалке живет, в Гороховатском уезде. А Сидор на это свистел себе под нос и возражал, что от полковницкого повара он слышал, что эта вдова уже умерла. «Умерла, так и умерла!» — говорил барин и в особом списке, который возил всегда с собою в кармане, отмечал: «Вдова Пепшеренская скончалась». Этот аккуратнейший немецкий список делился на четыре столбца и носил такой вид:

Список невестам Макарославской губернии

Имена	Кто такова?	Наружный вид	Состояния
Эдокси Коржова	Девица	Приятна, но рыжа	130 душ крестьян
Безворотная, Настасья Парфентьевна	Вдова майора	Красива	Имеет капитал
Машенька Ильина	Дочь судьи	Прекрасного роста, худощава	Беспоместна, но отец загребистая лапа
Историкова Пашенька	Поповна	С припадком	Капиталу 15 тысяч
Катишь Вовтузенко	Анфан-дамур	В веснушках	Дадут хорошо
Любочка Петржиковская	Помещица	Шатенка	29 душ и мельн.

Заботясь о дружеских отношениях к знакомым и незнакомым, лихой улан одновременно с этим завел еще список всем именинам, дням рождения и другим семейным праздникам по соседству своего полка и далее. Появления его на эти праздники были до того точны, что иногда сами хозяева не знали, какой у них день, а являлся Антон Степаныч, хозяева переглядывались, и пирог подавался непременно.

Поведение Фабрициуса в домах невест было также очень любопытно. Едва его чистенькая нетечанка и тройка саврасых коней показывались в околице деревни, чуткие носы чуткой дворни уже знали, что едет жених. «Барышня, душечка, жених приехал!» — говорили, вбегая впопыхах, увесистые горничные. Мать невесты возводила голос степеннее: «Ну, машер, тебе следует теперь показать себя! Надень ту шнуровку, что потуже: а то у тебя эти вещи вечно через край смотрят! Косыночку набрось слегка, да смажься тоже еще тем, знаешь, что Парашенька дала!» Жениха встречали радушно. Невеста выходила к столу, опустив глаза, и, едва

шевеля бледными губами, тихо отвечала на поощрительные вопросы маменьки. Проходил день, другой. Жених являлся вторично. Все подвигало к приятному сближению. Вот он уже гуляет с невестою между вишнями. Лакеи и девки толпятся в коридоре и выглядывают на него, как на зверя. Он уже улыбается и говорит громче прежнего. Вот он поселился во флигеле. Этим не стесняется ни та, ни другая сторона, а слуги ведут разведки из обоих лагерей. Сидор говорит: «Хорошие господа и барышня — мое почтение!» Хозяйские слуги тоже лишний раз бегают в шинок выпить, в счет будущего барина. И заживается, бывало, улан Фабрициус у добрых хуторян по целым неделям и месяцам, до того, что иногда и в хозяйство вмешается, и мужика ленивого подерет за чуб, и ключника уличит в лишней раздаче хлеба, соблюдая интересы барыни и барышни. А иной раз и заболеет. «Это куда?» — спрашивают, бывало, иногда хозяева, глядя из окна на один известный, продолговатый инструмент, несомый для приличия во флигель под салфеткою, украдкой от посторонних взоров, по просьбе гостя. «К жениху, сударыня!» — отвечают люди. «Что ж там такое?» — «Да они тоже вчера обкушались за ужином варениками и просили, чтоб вам про то не говорить!» И вот приходит пора. Сидор, стягивая с барина носки и сапоги, озирается и говорит: «Теперь уже пора; делайте предложение; они не откажут! Уже все переспросили: и какой вы добрый, и где у вас дядя, и что имеете, и все! Я уже кучу насказал! А барышня в вас вот как влюблены! Вчера меня остановили в саду и говорят: «Сидор!» А я говорю: «Что, барышня?» «Ах, — говорит, — Сидор, как бы петушок да курочка, да жили бы мы до-купочки!» — «Так-таки и сказала?» — «Так-таки и сказала!» — «Гм!» Фабрициус улыбается, гладит свой белокурый хохолок, крутит усы, ходит по комнате и наутро же делает предложение. Девица, точно, оказывается не прочь. Но подают ему экипаж, ехать надо; глядь, а в нетечанке «гарбуз» (тыква), несомненный знак отказа, по местному обычаю... Что тут делать? «А ведь мне, Сидор, отказали!» — говорит

Антон Степаныч, выезжая за деревню. «Отказали!» — отвечает печально Сидор. Сгоряча Фабрициус хватает тыкву, чтобы швырнуть ее оземь. Но после одумывается. «Что пользы? Это все-таки едят, и оно вкусно!» И тыква на ближнем перевале услаждает его расчетливый желудок и огорченную душу. Проходил год, два. Разъезды не унимались. Не сновал так по своему участку какой-нибудь коронный заседатель или капитан-исправник, как сновал в былые годы этот смертный улан по всем углам и закоулкам, где только пахло невестою. И его не обегали; напротив, даже рады были его приезду. Беседа его нравилась, а лошади ели сено даровое, непокупное. И несмотря на то, что отказ за отказом ложились на его судьбу, Фабрициус в глазах знавших его даже как будто не старился и с каждым годом приходил в больший трепет, чуть заслышит иногда о новом обетованном уголке, где зрели, в тиши и пустыне, новые невесты. Казалось, цель жениться стала его насущною потребностью. Скажут ли при нем, что женился такой-то шведский или испанский принц, или, положим, в Америке такая-то дочь банкира от любви отравилась, он уже сейчас задумается, точно с ним самим случилась эта история. И под конец до того втянулся он в ремесло жениха, что ни о чем более и не мыслил! Такова уже была сила воли и привычки немецкой души, задумавшей себе какую-нибудь карьеру.

За этими, однако, сватовствами мелькнуло ровно тридцать лет. В провинции и не то еще случается, так что и не спохватишься. Подошел один раз Фабрициус к зеркалу, взглянул и ужаснулся: вместо щеголеватого, белокурого кока на голове был зародыш широчайшей плеши, а вместо румяных щек — какое-то подобие печеного яблока. «Нет, черт возьми! — подумал он, — надо торопиться; а то этак свистуном, пожалуй, и на всю жизнь останешься!» Сказал и стал думать. Походный чемодан его давно потерся. Шкатулка с бритвами, помадой, гребешками и духами тоже потерлась. И сам он как будто полинял и потерся. Сидор,

былой его денщик, а теперь тоже отставной, как и он, где-то снял сад и рыбную ловлю. Лошади перевелись. И не будь еще добрых людей на свете, то и сам Фабрициус, отставной уланский ротмистр, после службы в беднейших закоулках, где-нибудь уже замерз бы или спился с кругу.

Добрый человек нашелся. Это был магнат и в то время предводитель дворянства того уезда, куда приехал Щебетковский, Аким Захарыч Гончаренко, который в самую критическую минуту жизни Фабрициуса, когда последний уже жил в какой-то конуре и голодал, снял откуп по всей губернии и дал ход Фабрициусу. Антон Степаныч явился к нему в одном старом, потертом сюртуке, убитый и отупелый от неудач и бедности, и принялся работать, как муравей. Копался, копался и сам в конце зашиб копейку. Гончаренко нажил баснословные сотни тысяч и, не почивши на лаврах откупа, взялся за другие дела. А Фабрициус, уже пятидесятилетний старец, более склонный к покою, сказал себе «баста!» и превратился в панка-хуторянина, каким его мы и нашли по соседству Щебетковского. В службе его по откупу прошло около пятнадцати лет. Когда он очутился снова на покое, в маленьком, уютном фольварке, то были годы, когда уже не сунешься свататься. Задор женитьбы канул у него вместе с летами. Остались от нежного ремесла одна тихая, безропотная наружность, сладкий взор, робкий голос и все еще исподтишка лукаво-плутоватые помыслы при виде всякой здоровой бабенки или прилично состоятельной и молоденькой барышни. Поселившись на хуторе, он обзавелся пчелами, огородом, стал держать на аренде шинок, отдавать в наем землю и от зари до зари ловить перепелов на дудочку. Это было его любимое занятие. Тут на воле разыгрывались его несбывшиеся романические грезы о женитьбе. Список невест он как-то нашел и разорвал его, хлопнувши себя по лысине и залившись горькими-горькими слезами. А список именинников и именинниц оставил у себя и, приспособив его к новому соседству, пополнил и расширил...

Снова, уже в качестве степенного соседа, начались разъезды его из мирного фольварка. Фабрициус ездил уже как свободный дворянин-помещик, хотя мелкопоместный и, как о нем выражались, что он помещик, как за денежку пистолет. В дни выездов, заняв лошадку у соседнего попа, он не хотел по-прежнему явиться без приятностей. К каждому соседу или соседке, в гостинец, он привозил либо петуха своего завода, либо банку варенья, зажитую у какой-нибудь приятельницы-скопидомки, либо просвиру с частичками — из ближнего монастыря. И простых людей он не обходил. Соседние хуторяне-мужики его боготворили. Он им писал иконы, делал веретена, красил ведра и давал советы о разных домашних лечениях. Но вот беда: знакомые в шутку, раз навсегда, сохранили за ним имя «жениха» и уже иначе его не звали. Нося парик, желтую нанковую пару и большую печатку у часов, в торжественные дни он иногда надевал на шею белый кисейный, густо накрахмаленный платок, высоко и чопорно, как жабо, подпиравший его гладенький, выбритый подбородок и худощавые, медно-красные, морщинистые щечки. В гостях вообще он держал себя гордо, боясь насмешек и обижаясь при малейшем виде издевки над собою. Особенно высокомерен он был с детьми, и где, бывало, соберется их веселая гурьба, там уже он ходит из угла в угол, как надутый индейский петух.

Не оставляли его иногда насмешками и взрослые. Да и была тому причина. Всех поражало то, что где бы он ни был, в своей нанковой паре такой желтой, что в ней он издали казался канарейкой, — эта пара была постоянно чиста, как с иголочки. А между тем он ее никому не отдавал мыть и жил в гостях иногда по месяцам. Шалуны-молодежь стали наблюдать за ним и подсмотрели, что бедняк... сам мыл свое белье и платье! Если он загостится, бывало, где-нибудь долго, высмотрит в саду пруд или речку, шмыгнет туда, под вечер или рано поутру, выберет кустик, разденется донага, осмотрит платье, тут же, что надо, сам заштопает, вымоет все карпетки, рубаху, штаны, и развесит все платье

сушиться по кустам, а сам войдет в воду. Сядет и станет дожидаться, плескаясь, посвистывая и кидая в воду камешки. Когда все высохнет, он выйдет, умоет с мылом лицо и руки, выполощет рот, оденется и явится в дом как ни в чем не бывало. Иная еще странность его состояла в том, что для собак он за обедом всегда делал из хлеба катышки и клал их в карман; а после обеда ходит, бывало, по двору и раздает их собакам, приговаривая: «Вот это, Налетай, тебе! а вот это, Брунька, или Шумило, тебе!» Собаки везде знали его и, вертя хвостами, расхаживали за ним по двору. Еще любил он, в гостях ли или дома, когда в комнате, где он спит, поют сверчки. И если их там не было, то он сам ловил их и напускал. По целым вечерам, бывало, особенно зимой, сидит на постели и слушает их, покачивая в лад головою, и приговаривает: «Мои детки, мои кузнечики, пойте, пойте! кричите!» Хозяйством его на хуторе заведовала «наймичка» — толстая и старая, кривая на один глаз, работница. Злая от природы и ругавшаяся с утра до вечера, она ухаживала за Антоном Степанычем, как за ребенком. Доя корову, варя ему обед, обмывая и обшивая его, она служила ему всеми силами; но тем не менее обкрадывала его и таскала в свой сундучок всякую плохо залежавшуюся его вещицу. А Фабрициус, обеспеченный в насущном, являясь из разъездов по гостям, снимет себе нанковый сюртук, наденет халат, подпояшется платочком, наденет зеленый картуз с утиным длинным козырьком, возьмет перепелиную дудочку и сетку и пойдет бродить по гречихам, просам и овсяницам. «А куда это вы, Антон Степаныч?» — спрашивают его окружные помещики, разъезжая на беговых дрожках по своим полям и завидя его где-нибудь под кочкою, в лощинке, или по пояс в червонно-золотых, сверкающих колосьях пшеницы. «Куда вы идете?» «В Петриковку-с, Петриковку-с!» — кричит Фабрициус, улыбаясь и раскланиваясь из пшеницы кленчатым зеленым картузом. «А оттуда куда?» — «В Путиловку!» И отмахивает он таким образом верст по пятнадцати и более в сутки. По праздникам он и теперь ходит

за пять верст или ездит, когда за ним пришлет отец Афанасий, в церковь села Ратушек, где помещик тридцатый год уже живет в отлучке за границей. Там он, хотя и лютеранин, у приятеля-священника пьет чай, толкует о грехах мира сего и о политике, и незримо катятся его часы. Одного равнодушно не может до сих пор слышать Антон Степаныч: это — речи о чьем-нибудь сватовстве... Как старая почтовая лошадь, готовая ежечасно и непрошено стать в оглобли лихой кибитки, и как потерявший в болотах здоровье охотник, любовно натравливающий в кабинете молодых щенков, — он доныне замирает и трепещет, чуть услышит о каком-нибудь любовном похождении. Но сам он уже давно далек от мысли о семейном счастье. Когда же именинников не имеется, а дудочка не манит уже в поле, его занимает ручной журавль, живущий у него в саду...

Что за милый степной журка!

Этот журавль, лет за пять назад, Бог весть кем подстреленный, упал у него на выгоне, близ хутора Щебетковского, долго кричал и кидался, с перебитым крылом, на обступивших его мальчишек с Калинова Овражка; но потом, взятый под покров Антоном Степанычем, освоился, выздоровел и уже не покидал его гостеприимного фольварка. Зимою он жил на кухне и в сарае с птицею, а летом важно шагал по двору, клюя всякую всячину, воюя с дворовой собакой. Зато весною и осенью, когда по небу тянулись вереницами его свободные крылатые товарищи, он стоял на одной ноге, задумавшись, среди двора, иногда по целым дням, с холодным отчаянием закинувши кверху свою голову с черными, сверкающими глазами и печально отставивши перебитое крыло. Он стоял, стоял и вдруг начинал делать неистовые уморительные прыжки, силясь подняться на воздух... Но, исколесивши попусту весь двор и сад, опускался где-нибудь на крышу сарая и важно сходил оттуда по лестнице, как бы раздумавши лететь, и, принимаясь для развлечения глупо долбить носом траву, снова отправлялся мерно шагать по двору и уже более не следил в небе криков и полета

своих крылатых товарищей... Один Фабрициус, подметя где-нибудь из-за угла, горько усмехался, утирал рукавом слезы и говорил: «Нет, врешь, брат ты, журка! Не полетишь; хоть бы и хотелось, не полетишь! У тебя крыльев нету! Вот что! Крыльев нету, журавлище!..»

IV

Прасковья Кондратьевна Дженджерь

Этому-то человеку один раз, как уже обжились между собою и вдоволь ознакомились, Щебетковский предложил такой вопрос:

— Скажите, в самом деле, Антон Степанович, есть у нас в околотке хорошие невесты?

— То есть как хорошие?

И Фабрициус насторожил уши.

— Ну, просто хорошие: красивые, богатые, умные, или как там еще говорят? Вы же мне советовали жениться, помните, и выхвалялись быть сватом!

— Да, точно я, действительно, я советовал...

Старик задумался.

Место, где случайно соседи встретились, была известная уже плотина, соединявшая их усадьбы. Густые вербы, оттенявшие ее, потеряли счет годам. С одного конца ее, к хутору Щебетковского, устроена была мельница. Тут, выбравши зеленое, прохладное затишье, особенно любил проводить время Фабрициус, иногда с удочкой, а иногда и так, усевшись над темным омутом и свесивши с мельничного лежня на воздух ноги. Соседи и теперь поместились между рабочих, старых, мшистых колес — Иван Ильич в модной бархатной полукофточке, а Фабрициус в неизменном зеленом халате и в картузе с утиным козырьком.

Трудно было выбрать более укромное местечко. Кругом торчали сквозящие, влажные листья водных порослей. Сул-

таны и метелки старых и новых камышей махровым ободом огибали поверхность залива. С колесных лопаток и со стен амбара звучно падали светлые капли воды. Между ветхих засовов пробивались и кое-где, по доскам, шуршукали те же вороватые струйки, просачиваясь из запертой в верхнем желобе реки, от мощного напора которой, по временам, сильно вздрагивал весь мельничный стан, с навесами и переходами, с тяжелым, взброшенным на воздух маховым колесом и с целою сетью свойственных каждой незатейливой хуторянской мельнице колышков, тычинок, дощечек и жердочек. В этом напоре постепенно чудилась Антону Степанычу его собственная, невозвратно мелькнувшая молодость, с бубенчиками и с тройками, с переездами по всяким уголкам, — молодость, которая будто рвалась и просилась к нему из какого-то затвора, из какого-то далекого перехода. Так всегда грезится добрым, мечтательным старикам! Казалось, обычная картина оживится. От угла плотины покажется, весь перепачканный мукою, мельник; пройдет он известными, протоптанными у всякой мельницы тропинками, от мосточка к спуску и от спуска к амбару, шагнет с плотины на доску, перекинутую к рабочим хотока́м, покопается в верхнем желобе, повернет таинственную рогульку и скроется в нижние амбарные сени, причем только блеснет на солнце его полная, широкая, усыпанная мукою лысина. Колесо медленно повернется, пустит из-под себя первую молочную струю и пойдет бить в шумной пене серыми, сверкающими лопатками. Столб серебристой пыли, с радугою на верхушке, встанет над омутом. Две-три лягушки с азартом прыгнут с берега из камышей. А со старой мельничной крыши взлетит и пойдет тихо кружиться в небе огромная стая голубей, согнанных далеко слышным гулом и грохотом мельницы. Но мельница, как и молодость Антона Степаныча, на этот раз молчала...

— Вы на то не смотрите, — начал старик, — что я остался на всю жизнь холостяком, так сказать, свистуном-с! Когда я был уланом и еще служил под Мелитополем, я не раз даже пытался и увозить помещичьих дочек! И красавиц,

Боже мой, каких красавиц! Бывали темные ночи, шумел ветер; а мы с Манвелловым или с Скрипицыным, с товарищами, стоим, бывало, и ждем на тройке. И как бы не перехватили нас один раз, наверное бы увез и женился! Да не удалось! Потому что нет, скажу вам прямо, нет на свете такого счастья, как иметь добрую, верную и, можно сказать, хорошую жену! Сказано в писании, помните? «Рече Господь: не добро быти человеку едину, сотворим ему помощницу по нему...» Ну, да что делать! Эх-ма! Сам-то я остался холостяком... Да-с!

— Это все так, Антон Степаныч; только вы на мой вопрос прямо не отвечали. Я вас спрашиваю: какие такие, в самом деле, есть у нас в околотке хорошие и достаточные невесты?

Старик сдвинул губы и преважно задумался. Он начинал входить в свою колею. Былые стремления вновь зашевелились в его голове.

— Хорошие и достаточные? Извольте! Знаем мы таких, очень многих знаем! Например... Да нет, вы прежде мне скажите, в шутку вы или настоящим образом меня спрашиваете? Я об этом шутить никак не могу, ни-ни! Уже это должно идти по порядку...

— Помилуйте, какие тут шутки! Ей-Богу, я говорю вам напрямик. Посватайте, я и женюсь!

Щебетковский даже испугался. С таким редким специалистом по этой части, каков был его сосед, надо было все делать в народе и с приличием.

— Извольте! — сказал, подумавши, Фабрициус. — Извольте! Семененковы барышни есть! Там ни отца, ни матери нету; понимаете? И все на возрасте уже! По семнадцати душ приданого будет и земли по полтораста десятин, удобной и неудобной!

— Фи, полноте! это неподходящие! По боку их, по боку! Еще!

— Еще: Ковалев, Григорий Лукич; недалеко живет; у него дочка есть и племянница. За дочкой сто десятин земли

и винокурня на Дядьчине; очень выгодный кусок! А за племянницей еще, в Почепе, есть домик порядочный, — она оттуда!

— Еще, еще, Антон Степаныч! Это все мало...

— А еще: вдова-поручица в уезде есть, молоденькая, да такая черноглазая и разухабистая; все офицеры за ней волочатся... Мухина тоже помещица за Ястребцами; у этой две дочки и сын; за дочками побожилась отдать по хутору и лес. А то есть еще Чекменев, сахарный заводчик. У исправника тоже хорошенькая дочка, да чуть ли еще не институтка; славно играет на фортепьянах, что чудо, — только немного... как бы сказать? — как будто из себя худощава — ну, да они все, эти институтки, уже такие сухопарые; грифеля да мел, говорят, со стен зубами грызут, для интересу!

— Нет, Антон Степаныч, нет; и это все неподходящие. Вы уже поищите мне такую, чтоб в нос било: знаете, голубчик, капитал ли, так капитал; души ли, так чтобы сотнями считались! Чтоб не даром и дело начинать! Тогда и вы останетесь не внакладе; я вам за труды прямо обещаю порядочный куш...

— Полноте, что вы, — сказал, краснея как рак, Фабрициус, — да я и так рад. Что вы? Я и так очень рад, по чести уверяю!

Старик вздохнул и задумался.

— Да! что же я? вот вам! — сказал он, спохватившись. — Вот вам невесты, да и не одна, а несколько, именно разом три! Дженджерька, Прасковья Кондратьевна, пани Дженджериха, как ее тут называют, с дочерьми! Ну, да и курьезная же эта дама, — ха-ха-ха! Право! Старого, знаете, такого покрою; чуть не в серпянке ходит и по-малороссийски говорит. Это чистая редкость! Впрочем, она женщина вполне добрая, семьянинка и любит очень своих дочек. Всего же у нее, прямо сказать, полная чаша! Только этим хохляцким, грубым нравом дом ее вам, пожалуй, не понравится.

— Оно, разумеется, — сказал модный статский советник, — не хотелось бы себя продавать какой-нибудь дегтярнице. Как-то мороз по коже подирает, как вспомнишь, какие бывают убоища, хоть и богатые! А впрочем, Антон Степаныч, скажите, сколько Прасковья Кондратьевна эта, или как ее там вы зовете, Дженджериха, что ли, дает за своими дочками приданого?

— Да тысяч по восемьдесят ассигнациями даст за каждую. Накопила-таки за свой век! Ну, и за другим прочим не постоит! Будут, разумеется, и вороха перин и подушек — ха-ха-ха! — мотков и ниток, бочонков меду и наливок и сундуки со всяким добром, с придаными рубашками и простынями, платьем и шубами; даже... пеленки для будущих детей, внучат, говорят, наготовила! Вы уже не прогневайтесь: так велось еще здесь в старину, так у иных и доныне ведется!

Щебетковский внутренне улыбнулся. «Сем-ка, съездим, из любопытства! — подумал он, а мысли говорили: — Какое бы там убоище ни было, а все-таки восемьдесят тысяч чистогану, поедешь в Петербург и опять дела устроишь!»

И он тихо спросил, не поднимая головы:

— А где, Антон Степаныч, живет эта помещица?

— Где живет? Да верстах в тридцати будет, и еще моя приятельница!

— Ну, так знаете что? Поедемте-ка к этой помещице, не откладывая дела в долгий ящик, и поедемте в первый же свободный день! Через неделю, например! Согласны?

— Поедемте!

И приятели ударили по рукам.

Через неделю, как сказано, Щебетковский и Фабрициус собрались и поехали. Старик, разумеется, надел свою нанковую пару, а Щебетковский употребил немало средств для придачи своей наружности светского и изящного вида. Тщательно выбрил смугловатые щеки, подрумянил помадою губы, надушился. Наконец, из свежего запаса петербургского платья надел самое модное и свежее и покатил.

Выехали новые приятели в превосходный вечер, когда с Калинового Овражка доносились звуки песен, а деревенское стадо медленно шло по горе к реке.

— Скажите, Антон Степаныч, как нажила свое состояние пани Дженджериха, — спросил дорогою Говоруха-Щебетковский, — и как ее настоящая фамилия?

— Дженджерь! А нажила она очень просто, как и все мы, грешные люди: трудом и стараниями!

И Фабрициус стал по пути с увлечением рассказывать ее историю.

Щебетковский соображал ее по-своему...

Прасковья Кондратьевна Дженджерь была когда-то сирота и жила на хлебах. Потом вышла, на сороковом году, замуж за вдовца-городничего, овдовела и успела, после смерти мужа, неусыпными заботами сколотить порядочный собственный капиталец. Теперь ей было лет уже под семьдесят. Лучшего типа последней, умирающей, старосветской украинской женщины-помещицы и хозяйки прошлого века трудно было найти. Она доживала дни, как исключение, как забытая мода, как снег, укрывшийся в глубине степной лесистой балки до жарких дней апреля. Вся жизнь ее была ряд хлопот о приобретении, хлопот беспорядочных, урывками, обо всем, от земледелия, дававшего ей крупные барыши, до получения кровных пятаков с последней свиньи, двадцати грядок огорода и грубого вязанья или шитья полудюжины или дюжины, работавших от зари до зари, до отупения мозга и ослепления глаз, несчастных горничных девчонок. Корм и содержание последних всегда, в годичном итоге, превышали доход с производимого ими шитья и вязанья кружев. Хлопоты о доходах не имели ни особой цели, ни причины. Все давно уже было у нее полной чашей. Но заботы не прекращались. Каждый шинкарь, каждый сгонщик скота и баранов, каждый промышленник в засаленной дубленке был ее почетнейшим гостем. «Ах, бедная, как она трудится! — говорили о ней соседи. — Это все для дочерей! Вот истинная мать!» Так и она любила го-

ворить о себе и так думала сама. Но нет! Эта жажда, эта, скорее, жадность приобретения, уничтожавшая в ней подчас подобие женщины, коренилась в другом и имела другие причины. Без этих хлопот она просто не могла бы жить. Умирай ее все дочки или выдай она их неожиданно всех за князей, она все-таки не угомонилась бы — и также бы водилась со сгонщиками и шинкарями, грубо божилась бы, надувая купца при продаже хлеба и всякой рухляди, и сама, умирая, думала бы об одном: «Ах, прах их побери! Ведь пшеница подоспела... Чего доброго, эти дуры еще пропустят, и она осыпется!» Деятельность и бойкость ее по хозяйству доходили до изумительных размеров. Но она любила пощеголять и своей любовью к дочкам...

Одна дочка ее когда-то была пристроена замужем; но умерла от родов, вскоре после брака. Три другие оставались девами. Средняя, двадцати семи лет, была неженкой и любимицей Прасковьи Кондратьевны. «Боже-ж мой, милый Господи, — говорила она часто двум-трем смиренным посетительницам из мелкопоместных, со свойственным ей каким-то неистово-лихорадочным увлечением, причем грубые, морщинистые руки ее, охорашивая ленты чепца или платье на застаревшей дочке, дрожали, а старое, загорелое лицо, особенно рот, поводились конвульсиями, — что это за дочка у меня была! И какая белая была! Такая белая, такая белая! Да один лекарь ее чем-то намазал, шельма, анафемская душа, — так с тех пор она как почернела, как почернела, да и до сих пор почернела!» И конвульсивное движение перебегало по всему лицу ее, заставляя трястись и качаться оборки огромного, старомодного чепца в виде пернатого сказочного шлема. Эту же дочку, впрочем, и теперь еще она колотила собственными руками не менее разу в полгода.

Собственно, так называемое, любимое хозяйство Прасковьи Кондратьевны, сохраняя следы старинного украинского домоводства, состояло из исполинских скопов масла, молока и варенья, меда и холстов. Холсты, впрочем, самого

грубого, допотопного свойства, шли в продажу оптом или менялись, для приданого дочерям, на более хорошие холсты. Но она чутко понимала и новое дело в хозяйстве. Похоронив своего мужа, который вообще был просто колпак, она купила лесу и тотчас устроила рубку дров. Продала их тысяч на тридцать ассигнациями; потом стала устраивать овечий завод. В пять лет у нее по полям ходило уже тонкорунное стадо в тысячу голов. Не забывалось и хлебопашество. Прикупая мало-помалу земли, она жила безвыездно на своем хуторе и отнюдь не представляла брюзгливой, сварливой, расслабленной и плаксиво-скупой или падкой на одно ханженство старушонки. Напротив, это была в полном смысле слова «женщина-гренадер», вершков в десять росту, уверявшая смолоду, что если бы она была не женщина, то в полк бы пошла служить и до генералов бы дослужилась. Вся она хранила отпечаток неслыханной бойкости и смелости. Например, говорят, ни с того, ни с сего как-то представилось ей, что подати берет не казна, а сами чиновники, и она положила не давать денег по рекрутским участкам. Приехал чиновник. «Не дам денег!» Тот вспылил. Она на него. Он говорит: «Отчего вы не платите?» Она ему: «А ты, шельма, сорвиголова, прежде давай расписку!» — «Вы надуете! Расписки не будет!» — «А?! Когда так, так ты обманщик? Девки! бабы! сюда!» Пятнадцать баб в это время подобострастно трепали во дворе ее лен. Она гаркнула: «Розог!» Розги принесли; чиновник было бежать, но его разложили по ее команде и высекли как нельзя лучше. «Чтоб не обижал дамского полу, чтоб сирот не трогал!» — причитывала она. И что же? Чиновник уехал, как встрепанный, и даже не жаловался. И в самом деле, как пожаловаться!

Носила она, правда, чепчик; но зато носила и сапоги. Сверх юбки из простой темной фланели в будни она по плечам и поясу перевязывалась накрест каким-то вечным кашемировым платком. И тогда казалось, что она облачалась в кольчугу и прочие доспехи. Смеялась она громко.

В жару, на работе, пот с лица утирала прямо концом подола. На сенокосах и во время жатвы хлеба, равно как и при огородном или строительном деле, Прасковья Кондратьевна стояла, как вернейший приказчик, на часах, не умолкая тарантеть по-малороссийски всякие выговоры и во всеуслышание умывать головы неисправных вассалов. Некоторых из них тут же, сняв предварительно с руки вязаную нитяную перчатку, она при всех трепала за чуб, приговаривая: «А вот когда я тебе, Митро, советовала огород загородить, так ты и не послушался; а теперь у тебя свиньи поели рассаду, и не из чего будет твоей жене борщу сварить!» Вспудренный Митро, малый в косовую сажень ростом, на это только встряхивал волосами, смиренно целовал ручку у Прасковьи Кондратьевны и снова становился к своему делу. По сорным ли залежам, по камышам ли или по лесу предстоял ей путь, она не задумывалась, приподнимала юбку и с черешневою длинною палкою, всегдашней спутницей, шла, разбивая межи в борозды будущих пахатей и покосов. На гумне иногда столбом стояла пыль от веяния проса или пшеницы. Волы, вывозя поблизости ее мякину, чихали и мотали мордами; а она неколебимо высилась в своем чепце, среди шума и пыли, как ни в чем не бывало и возвращалась домой с целыми пуками колосьев в волосах и платье, что предоставляла обирать своим дочкам.

Как истинная старосветская степная помещица, она была хозяйкой и в поле, и дома. Крылечко ее было за солнцем. На нем постоянно сохли на веревках цветы и лечебные травы: ромашка, шалфей, бузина, мята, заря, деревей и зверобой. В сенях висели кулечки, мешочки и корзиночки, полные всякого добра. Что же, значит, была самая кладовая? Туда хоть и не заглядывай! Известно только, что оттуда, на угощенье гостям и на продовольствие хозяйки, выходили такие горы луку, грибов, маку, меду, яиц, варенья, всяких сушений и солений, что можно было, кажется, ими прокормить целую армию! Иногда видели, как она в поле сидела близ рабочих, на земле, воткнув перед собою ог-

ромный синий зонтик, и вязала под ним чулок, а тут же, близ нее, розгами наказывали какую-нибудь ослушницу, не пришедшую вовремя молоть хлеб или поливать бакчи. И она на писк бабы приговаривала: «Так тебе и надо; я и чиновников за лукавство секла! А тебя и подавно!»

Чубы с весны рано начинали трещать у ее мужиков. Зато ранее других у нее начинались и покос, и уборка хлебов. С осени дом ее не переставал принимать купцов и окрестных торгашей. Одному она продавала мед и воскобойни, другому пшено, третьему лен, четвертому овец и лошадей из маленького собственного конского завода, куда сама она выбрала и отличного заводского жеребца. Купцы у нее пили чай в девичьей; сама она с ними хоть и якшалась, но говорила: «То — купец; а я, какая бы ни была, а все-таки дворянка!»

Освобождаясь иногда от работ, что, впрочем, было редко, она предавалась неге домашнего очага, то есть в это время как-то сладко и мечтательно распускалась, точно таяла. Тогда она, неожиданно и по долгим часам, задумывалась, глядя неопределительно на шкап или на вышитую подушечку под ногами, порывисто вздыхала и, вся расчувствовавшись и раскрасневшись, как после жаркой бани, вдруг начинала истерически рыдать... Дочки, сидя тут же в комнате и никак не ожидая такого припадка от маменьки, вскакивали и, сердясь, говорили: «Что это, право, маменька; дожили до седых волос, а тоже нежничаете!» Но о чем носилась мыслями в это время пани Джендджериха, оставалось для всех тайною. «Глупые вы дочки! — говорила она только на это, успокоившись и утирая рот. — Поживете с мое, тоже узнаете, что такое слезы! А теперь, Господа благодаря, по правде сказать, — всего у нас вдоволь!» Она отправлялась спать в маленькую комнатку с огромною двуспальной периной, предметом особенных попечений ее с отдаленного брачного времени. Дочки относили, и не без основания, чувствительность маменьки к воспоминанию о каком-нибудь, покойном уже, ее обожателе, и соглашались,

между тем, что, действительно, «Господа благодаря, всего у них теперь вдоволь!» — хотя обожателям бы тоже не мешало завестись и у них самих.

К этой-то добродушной старой помещице ехали Фабрициус и Щебетковский.

Выехали они уже поздно и поэтому, как и следовало ожидать, на дороге заночевали. Бабушкин тряский экипаж, род колясочки прежнего времени, запряженный, пока собирался Иван Ильич со средствами, четвернею занятых у соседнего барышника добрых лошадок, сильно утомил ездоков. Остановились они на ночлег за семь верст до хутора Прасковьи Кондратьевны, у крестьянина в вольной деревушке, с которым Фабрициус был приятель. Приятель, однако, долго не хотел отворить дверей, уверяя все, что он на печи, что уже темно и что жена не хочет подать ему сапог.

— Стыдно, брат, — уговаривал у дверей Антон Степаныч, — ты, видно, пьян!

— Кто? Я пьян?! Я пьян?! Э! Ей-Богу же, я не пьян!

Двери, наконец, отворились, и приятелей впустили. Щебетковский кое-как поместился, впотьмах, где-то на лавке и на другое утро, проснувшись, помнил, что ночью в душной хате все под потолком что-то билось, точно миллионы мух сновали и колотились в вышине, да сильно кричал над самым ухом его ребенок. Рано поднял его спутник, усадил в экипаж, и он очнулся уже только тогда, как они подъезжали, румяным и сияющим утром, к Дарьевке, селению помещицы, и оно открылось у их ног, под косогором, подернутое легким паром от реки и дымом от нескольких рядов веселеньких, загроможденных хлебными кладями, хат. Две цесарских курицы ходили по двору Дженджерихи; утки-шавкуны, хрипя и покачиваясь, плелись от кухни к колодцу.

— Барыня дома? — спросил Фабрициус дворовую бабу.

— Никак нет!

— А где же она?

— В поле, у косарей!

— Ну, ничего, — шепнул вполголоса Антон Степаныч, — заедем; она скоро, верно, будет!

И они, миновав ворота, с форсом подкатили к крыльцу. Началась обычная история.

Барышни вышли все толпой, с застенчивыми улыбками приняли гостей, тут же распорядились с чаем, с закускою, пригласили их в гостиную и, усевшись по креслам, разделили между собой общую беседу. Антон Степаныч с сладкою улыбкою тут же разговорился о хозяйстве, о хлебах, о городских новостях, чтобы по мере сил, как он желал, замять настоящую цель их поездки. Барышни были в духе. Явились три шавки, жирные-прежирные и пухлые, как сами хозяйки. Средняя из хозяек, вообще более оживленная и разбитная, отряхаясь, как болонка, встала и, поправив на голове младшей сестры тирбушончики, предложила, пока еще не жарко, пойти в сад.

Походив по саду, гости и хозяйки едва успели усесться в тенистом месте, на дворовом крыльце, как со стороны улицы послышался стук колес и крупный сердитый голос:

— Чтоб тебе, шельма, и на том свете, и на этом не было проходу! Чтоб попрыщихи и сто болячек матери твоей уселось на спине!

Так раздался голос с улицы.

— Разбойницкая твоя душа! А и ты сам разбойник!

С этими словами во двор въехали дрожки в виде большой ореховой скорлупы. Держа над собою огромный зонтик, въехала пани Дженджериха в ворота, в большом белом чепце, подвязанном под подбородком, в шалевом черном платке и в сапогах. Гнев еще не покинул ее загорелого, сурового лица; темные глаза яростно и туманно блуждали, не замечая гостей, а руки размахивали по воздуху. Слезши с дрожек, она взялась под бока у самого крыльца и, покачивая головою вправо и влево, начала опять:

— Так ты опрокидывать барыню? А? Так-то ты? Вот я же тебя! Ну, пошел же теперь и выспись; ты, верно, жены

давно не видел, оттого и задремал и меня в канаву вывалил! Вон как ногу, бестия, ободрал! Выше лодыжки, под самою икрою!

И, пылая гневом, Прасковья Кондратьевна обернула к присутствующим ногу, обнажив ее выше колена, и сказала:

— Вот, посмотрите! — да вдруг и остолбенела...

То была чудная картина! Щебетковский и Фабрициус стояли с понуренными глазами; девицы, бледные от стыда и досады, прятались молча друг за дружку; а сама Прасковья Кондратьевна озадачилась и стояла, как дева на известной гравюре, переходящая с приподнятою полою через поток...

— А! это вы, господин Хвабрициуш! Откуда Бог принес? А это кто? — И Прасковья Кондратьевна, распрямляясь и щурясь на Щебетковского, тотчас же озарилась приятной улыбкой.

— Здешний помещик, Иван Ильич Говоруха-Щебетковский, ваш теперешний недалекий сосед! — с достоинством проговорил Щебетковский и поклонился.

— Говоруха, Говоруха? А, знаю! Это с Калиновки! Ну, милости же просим, милости просим, пане Говоруха! Пожалуйте в комнаты! Дочки, просите! Милости просим! — И, громко говоря, смеясь и останавливаясь, она царицею вошла в низенькие сени. — Да вы, я думаю, и закусить им не дали, и обеда не заказали? Хороши хозяйки; чтоб вас нелегкая взяла! — заметила она уже в передней дочерям. Те, как говорится, спекли раков и смолчали. Но гости перебили и сказали, что давно уже позавтракали.

— А! так вот что; так как же я рада, как же я рада! — И лукавая пани, простодушно вводя их в комнаты, уже тихо улыбалась; а между тем сразу давно смекнула, и зачем они приехали, и чем она была им интересна.

— Ну, давно же я вас не видела, прегордый пане Хвабрициуш! — обратилась она к Антону Степанычу, усаживаясь на диване в гостиной; а дочки тем временем, одна за другой, скрывались, суетясь и хлопоча об обеде. — Думаю себе:

отчего бы это он не ехал? А у него новый сосед: вон оно что! Так, так! Да где же вы изволите или изволили служить, пане Говоруха?

Щебетковский удовлетворил ее любопытство.

— Зачем же изволили приехать? Погостить? А?

— Нет! имение в наследство принять.

— Вильгельмины Карловны?

— Да-с!

— Знала, знала! Хорошая была помещица и даже немного сродни нам! Ну, да уже богатый бедному никогда не родня! А хорошо умела варенье покойница варить! Что же это, душечка Раичка, Лукерья? Что же это на стол не накрывают?

В голосе и в движениях хозяйки явились суетливость и внимание. Это значило, что посетитель ей понравился.

— Гости, я думаю, — продолжала она, — так уже проголодались, что всех нас напропалую тайком бранят!

— Где же-с? Нет-с; мы сыты-с! — отвечал и за себя, и за товарища Антон Степаныч, стоявший у нее всегда на задних лапках...

— Так, так! О, я знаю, что пан «старый жених» тонкий и деликатный человек! Ну, да Бог с ним! А что скажете о слухах? А вот я так слышала, что опять новая подать положена на нас. — И Прасковья Кондратьевна смиренно сложила на коленях загорелые руки и, устремя на гостей широкие глаза, начала являть на лице своем следы любопытства. Те как-то замяли речь эту, зная слабую струну хозяйки о податях. Но она не угомонилась и проговорила до самого обеда об известном уже всем анекдоте, как она высекла земского чиновника и как тот смолчал.

— Пусть меня хоть с конвоем возьмут, хоть в Сибирь на поселение сошлют, а я не платила и не буду платить ни подушного, ни других повинностей! Это еще что? Мати Божа! Плати за гимназии, за институты! Да я разве в них училась?! Или мои дочки были студентами? Тьфу! А тут еще плати за мосты, за столбовые дороги, за гати! Да разве

я по ним ездила когда-нибудь? Убей меня Бог, коли я и в Киеве, не то что в Полтаве или в Москве была! А платить я не буду и не намерена!

Дочки насилу уняли в этот раз маменьку и подняли ее под руки, приглашая идти к столу.

— Милости просим закусить; милости просим, чем Бог послал! — сказала, вставая, Прасковья Кондратьевна, и гости последовали за нею.

«Что это? Боже мой, какая старина, — думал между тем Щебетковский, садясь за стол, — вот еще какие злаки зреют по нашим захолустьям! А нашим писателям не верят! Да это не барыня, а сущий тамбурмажор преображенского полка!»

Все занимало петербургского гостя в этом оригинальном уголке.

Вместо мужской прислуги за стульями стояли три девки, толстые-претолстые, в чистых белых рубашках, засученных на руках до локтей. Юбки на них были из голубой и зеленой набойки, а широкие русые полные косы, в ладонь, распущены по спине до колен. Щебетковский думал, что они переконфузятся при виде его. Но девки бойко и с улыбками глядели ему прямо в глаза своими широкими серыми глазами и даже, как казалось ему, усмехались.

Хозяйка то одной, то другой приговаривала:

— Ты!! Эй, ты! разве не видишь? разве не знаешь своего дела? — И девки сновали, как мухи.

Вооружившись ложкой, Щебетковский едва успел приняться за первое блюдо, как одна из девок, наклонив к нему полные, обнаженные, сверкающие локти, сказала:

— Вот покушайте этого! — У Щебетковского чуть вилка не выпала из рук. Явилось другое блюдо, именно цыплята в сметане; девка опять нагнулась к нему и говорит: — Да вы вот этот кусочек возьмите; видите, как на вас он смотрит!

«Что за черт возьми! — подумал Щебетковский. — Это еще что за порядки?» А девка прикоснулась плечем опять к нему и говорит:

— Скушаете крылышко, будете скоро ходить; скушаете головку, ума Бог придаст, а скушаете сердце, полюбят вас! — Все засмеялись. Засмеялся и Щебетковский.

— А, прах тебя возьми, Гапко, — расхохотавшись, сказала хозяйка, — и где ты, ведьма, такому выучилась?

А в окна пахло сиренью, и всякие птичьи голоса щебетали из сада...

Другие девки усердно хлопали голыми пятками и, звеня шейными крестами и монистами, быстро исполняли свое дело, а потом снова становились за стульями вдоль стены и стояли, не шелохнувшись, как свечки. Когда какая опаздывала и долго не появлялась с каким-нибудь блюдом, то Прасковья Кондратьевна сердилась вслух, краснела, покачивалась и говорила остальным:

— Что ж это? С Никитой поваром слюбилась, что ли? Или занимать Христа-ради у соседей пошла? Разве у нас уже и соусу не стало, или огурцов нет? Побойтесь вы Бога и не срамите барыню даром!

Накушались гости не то чтобы до отвалу, а почти до изнеможения сил и с трудом встали со стульев.

Прасковья Кондратьевна не скрыла своей любимой привычки. Едва хлопая отяжелевшими веками, она встала из-за стола и тотчас сказала:

— Ну, дочки, теперь же вы сами уже пока занимайте гостей, а я пойду немножко засну. А после, Антон Степаныч, мы с вами запремся; нужно сосчитать деньги! Только что за арендную степь с продажи хлеба получили. Наш Левенчук с ярмарки привез, — пять тысяч!..

Иван Ильич поклонился, провожая ее, и не без увлечения глянул на Раичку, Лушеньку и Грушеньку.

— Что же вы такой овечкой глядите? — шепнул ему при этом Антон Степаныч. — Спасовали? Э! Я не такой прыти от вас ожидал! Останьтесь же, а я тоже пойду отдохнуть!

Прасковья Кондратьевна отправилась без церемонии в амбар, где было приготовлено для нее свежее сено; а Фаб-

рициус — в сад, в пчельный сарайчик, где тоже было прохладно и тихо, и тоже скоро там заснул...

Едва Иван Ильич очутился наедине с барышнями, как неожиданно развернулся и показал даже большую ловкость в обращении с девицами. Он подумал: «Что за черт! Ведь деревенщина! с ними можно и подурачиться! Театра настоящего они не видели, искусств других тоже не понимают, то можно с ними и побалаганничать... Лишь бы пыли в глаза пустить и занять их особенно!» И он стал, действительно, просто балаганничать. Успех был полный. Эти здоровые деревенские лица, мало отличавшиеся от лиц их горничных, следили за ним, как за чудом.

Прежде начал с анекдотов. Барышни просто животики надрывали. Мысль завербовать себе богатую невесту окрыляла Ивана Ильича. «Восемьдесят тысяч! — думал он, перевирая всякую чепуху из читанного когда-то сборника анекдотов. — Не худо! не унывать! Смех слушательниц не прерывался. Потом он проиграл довольно бегло на фортепьянах какую-то польку Фогелева и еще какой-то вальс и спросил о них мнения хозяек. Эти были в восторге. Затем он задумчиво взял несколько гармонических аккордов, спел подряд, но как-то сухо и резко, песни: «Слышишь, разумеешь», «Вдоль по улице метелица метет» и «Катьку». Последнюю он даже пропел несколько ухарски, взмахивая волосами, пригаркивая и подпрыгивая на табурете. Музыку он кончил варламовской мелодией «Ты не пой, соловей» и песней «Меня душит тоска» — и сказал, что это все выучил самоучкой.

Не успели барышни опомниться, как он перешел к фокусам.

— Вы тут станьте, а вы тут, а вы вот здесь! Я положу эти три шарика, выйду в другую комнату и возвращусь; не буду смотреть, а узнаю, кто из вас и до какого шарика дотронулся! — Ушел, пришел и действительно отгадал. Начал кидать разом на воздух четырьмя картофелинами, которые нарочно потребовал, и подбрасывал их так, что все четыре были в одно время на воздухе. Словом, пустился на

все и сам изумлялся своей юркости. Фокусам он выучился еще в лицее у одного товарища.

Когда Прасковья Кондратьевна, в сопровождении также проснувшегося Антона Степаныча, пришла, — в комнатах были чистейшие Содом и Гоморра. Полные барышни прыгали по креслам, несмотря на свои лета и степенность, а Иван Ильич, с колодою карт в руках, гонялся за ними; и даже все девки из задних комнат сбежались, стоя толпою и с тупо-напряженным вниманием следя за проделками гостя.

— Вот, подите, молодежь! — произнесла хозяйка, входя в гостиную и садясь с Фабрициусом продолжать разговор, начатый еще в ее комнате, между тем как на стол подали уже графины яблочного квасу, тарелки с вареньем и домашнею пастилой. Утирая рот и заспанное лицо, Прасковья Кондратьевна искоса следила за дочерьми и Говорухой и шепталась с Антоном Степанычем.

Легко было угадать предмет беседы хозяйки и ее старого знакомого. Последний, добродушно скрестив ноги и нагнувшись к ней к самому уху, в десятый раз уже повторял, «что сосед его и учен, и образован, и с министром знаком, и чин полковницкий имеет, и выгодное место занимал, и что в Варшаве тетка у него со связями есть, да и свое порядочное имеется состояние!» (О тетке он прибавил, как всякий ловкий сват.)

Напились чаю. Щебетковский устал: так долго он проказил. И кто бы мог подумать: статский советник и недавний петербургский денди! Что значит провинция! Что значит невесты с приданым! Посидев немного, он встал и отозвал Фабрициуса к окошку.

— Пора ехать, — сказал он, отирая пот, — велите скорее запрягать! На первый раз довольно! Просто невмоготу!

— А что, понравилась?

— Понравилась!

— Кто же, кто? — второпях спрашивал Антон Степаныч, побледневши и даже чуть не роняя слюны от крайнего любопытства.

— После расскажу; а теперь поедем! Нет сил!

— Да куда же это вы, господа? — спросила хозяйка. — Только что полакомили нас собою, да и едете? Вон Раичка мне сказала, что вы и музыкальный игрок! Это очень приятно иметь таких знакомых! Теперь уже мы просто нот не будем покупать: вы нам насочиняете, а мы их и спишем, и дело с концом!

Щебетковский и Фабрициус взялись за шапки...

— Ну, так вы, по крайней мере, поезжайте от нас не горою, через Кадинцы, а вправо долиною, через Мерловку: тут меньше гор и мостки лучше!

Гости поблагодарили и уехали почти при захождении солнца.

— Не хотите ли на дорогу квасу, или наливки, или моченых яблок? — спрашивала Прасковья Кондратьевна, стоя с дочками на крыльце, в то время как путники садились в экипаж и вся многочисленная дворня высыпала из всяких углов и закоулков глядеть на жениха.

— Нет, покорнейше благодарим; не беспокойтесь! — отвечали гости, усаживаясь.

— А ведь вы не поверите, — продолжала хозяйка, лукаво улыбаясь и величественно рисуясь во всей своей старосветской красоте, на крыльце, в лучах заходящего солнца, как времен былых воеводша, одетая в простой голубой шушун с мелкими воротничками, в накидке и в монисте, — ведь теперь дочки мои уже, скажу вам, просто убиваться по вас будут! Что вы с ними наделали теперь? А?! Вот, сказано — мужчины! И не жалко?

Барышни на это, по местной пословице, опять спекли раков. Все нравилось Говорухе в этой картине: и беззастенчивая пани, и толпа дворни, и ремесло жениха, и весь этот теплый, уютный и домовитый уголок.

Давно уже Антон Степаныч толкал его ногою. А он только смотрел на крыльцо и улыбался.

Но вот кучер повернул вожжи, лошади фыркнули, и колясочка тронулась по мягкой зелени неутоптанного, за-

росшего травою дворика, мимо густых и развесистых верб околицы...

— Ну, что-с, каково? — даже вскрикнул дорогою Фабрициус, когда они успели миновать последнюю хату деревни и спускались в Мерловскую долину длинным отлогом лесистого косогора.

Дорога эта хоть и была верст десять далее, но представляла тот редкий, ровный, как по столу, путь, какие представляет иногда еще на юге гладкая, верст на пятьдесят и более, ни разу не паханная степь.

— Да ничего еще пока! — ответил Щебетковский.

— Как так?

— Да так же!

— А когда вы будете рассказывать, Иван Ильич, кто вам из трех барышень понравился и на какой вы думаете свататься?

— Как приедем домой, тогда и расскажу!

— Ну, смотрите же! Не утаите! — отвечал старик.

«Да нет! — думал в то же время Фабрициус. — Я у тебя выпытаю! Подожди, доедем до Крученок, стемнеет...»

В это время с откоса холма, по которому спускался экипаж, показалось влево, за долиной, что-то странное, село не село, фабрика не фабрика, а какая-то куча зданий со шпицами, глухими, громадными стенами и с красными кирпичными трубами, как бывает в фабричных городах. В некоторых трубах слышалось свистящее хрипение и клокотание, и дым и пар широкою полосой вырывались оттуда. Кругом и вдалеке шли нескончаемые леса.

— Что это такое? — спросил Говоруха, показывая в ту сторону рукою.

— А вот что такое! — ответил старик, отгоняя дремоту, и оживился. — Вон, видите ли, лес? Его тут ровно три тысячи десятин, и все дуб, столетний дуб, нечищенный и нетронутый в продажу. Вон то далее, видите, по реке, как будто все верхушки домов? Это — целый ряд водяных мель-

ниц и крупчаток; есть тут и сукновальни, и крупорушни. А вон то, видите, уже чуть чернеет по косогорам, вправо и еще правее, далее? Это — овчарные загоны, тысяч на пять и на десять овцы. Трубы же вот эти и стены — это фабрика; да какая фабрика? На пятьдесят тысяч рублей серебром сахару в год продается; не только здесь, даже в столицах этот сахар известен.

— Кому же принадлежит это имение?

— Сироте, вообразите, принадлежит, мальчику лет семнадцати, который еще в Петербурге учится, не то в правоведах, не то в пажеском корпусе, а всем управляет опека. Фамилия этому мальчику Галайдан; говорят, происходит от какого-то разбойника Галайды. Вот бы, Иван Ильич, желалось быть на месте этого мальчика и курс кончать в Петербурге!

— Да, действительно, хорошо!

Старик зевнул.

— Вот тоже, Иван Ильич, — продолжал он, — в самые потемки, пожалуй, ночью, верст через двенадцать или более, придется нам ехать через имение моего бывшего благодетеля, Акима Захарыча Гончаренко. Кажется, я вам о нем говорил?

— Как же, как же, помню! Он еще вас в люди вывел? Богач?..

— Да, этот Гончаренко, скажу вам, так меня любит и такой хлебосол, что не выпустил бы нас долго; и хорошо, что мы ночью, тайком, проедем мимо него. Отличный и пребогатейший человек!

— Отчего же бы нам к нему не заехать?

— О, нельзя! Это — особа важная, держится строжайшего этикета. Нельзя, сейчас узнает, зачем мы ездили! Был здесь губернским предводителем. Живет, однако же, больше по старине, на всю губу, и вдовец. К нему надо осторожно да осторожно ехать, и притом заискать. Я вам даже скажу, что и не осмелюсь вас ему представить. На какой еще час попадешь?.. Да-с, извините!

— Однако же, Антон Степаныч, это обидно. Отчего же так?

— Э, молодой человек, нельзя, нельзя; пусть другой везет! Я не имею права, недостоин. Это — слишком недосягаемая для меня особа! А вы, пожалуй, попробуйте!

Старик в потемках коварно усмехнулся. Щебетковский насупил брови. На него повеяло провинциальными предрассудками, и он поневоле шепнул себе под нос:

— Татарщина! Добрый человек, а падок Лазаря петь.

Проехали еще верст пять.

— Иван Ильич!

— Что?

— Как же насчет сватовства?

Щебетковский вздохнул и подумал: «Да, надо торопиться, пока меня еще тут мало знают, пока еще я в моде!» — и ответил:

— Что же, я согласен... на Раичке... на средней; она ничего!

— Еще бы! Помилуйте, восемьдесят тысяч чистоганом! а вы заживете паном! Что вы, по правде? Небогатый человек, служили, а теперь нет. У нас это мало значит. Тут все помешаны на сребролюбии...

— Ну, как же это сделать? говорите!

— А вот как. Через недельку мы опять туда хватим, А там опять, потом уже вы одни — да с Богом и предложение. Но прежде маменьке, непременно! Слышите ли? Маменьке первой, а то обидится и ничего не даст! Если же вы будете в робости, то, пожалуй, я за вас предложение сделаю!

Щебетковский молчал.

— Хорошо, — сказал он, — дайте еще подумаю. Раиса Петровна увлекательна, полна, знаете, здорова этак, силы так и брызжут везде; ну, да все, знаете, робость пока еще берет!

— О! подумайте, подумайте; надо обдумавши всегда! — И старик со вздохом помыслил: «Боже тебя благослови, до-

брый человек! Ты, кажется, добрый и стоишь полного счастья! А вот мне не удалось, не удалось!»

Оба замолчали.

Дремота стала одолевать старика. Он еще повозился немного, уткнулся как-то боком, почти носом, в подкладку колясочного бока и заснул. Лошади бежали свежей рысью. Росой отдавало в воздухе. Месяц всходил в эту пору поздно, почти перед зарею, и еще не вырезывался. Но звезды освещали путь...

А колясочка мерною рысью катилась по гладкой, совсем стемневшей дороге...

— Позвольте же, однако! — вдруг послышался громкий голос над самым ухом Ивана Ильича. — Этак не водится! Позвольте!

Иван Ильич открыл глаза.

Толпа конюхов, какие бывают при больших богатых конюшнях, в черных плисовых поддевках и в кумачовых рубашках, с фонарями в руках, стояли около коляски. В потемках непроглядной ночи виднелись по сторонам еще какие-то люди и, казалось, вместе с конюхами распрягали уже лошадей.

Сквозь тронутую светом тех же фонарей каменную решетку ограды, вправо от улицы, где стояла коляска, виднелся широкий домик, где перебегали огоньки. И опять раздалось у коляски:

— Позвольте, однако, позвольте! Не знаю, милостивый государь, с кем имею честь говорить. Но тебя, предатель Антон, не выпущу! И как ты, брат, там хочешь, а уже вылезай! Так мимо приятелей не ездят! Если бы не случай, если бы не поиски за Анчаром, так и не захватили бы тебя! Милости просим!

Перед самым носом Щебетковского, с огромной пенковой трубкой, из которой сыпались фейерверком искры, стоял низенького роста, полный, лысый, с седыми бакенбардами и широкоплечий хозяин деревни той, названный выше друг Фабрициуса, Аким Захарыч Гончаренко. Антон Степаныч,

вскинувшись от сна и узнавши, где они и кто их перенял, сначала было сильно струсил и, прикорнувши к углу коляски, притворился, что спит. Но делать было нечего. Надобно было вставать. Пойманные спутники встали и за хозяином медленно пошли через двор. Дорогой, узнавши от Антона Степаныча фамилию хозяина этой деревни, Щебетковский, в свой черед, почувствовал какое-то смущение и непонятный трепет. Молчание Фабрициуса сбивало его до невероятности.

V

Аким Захарыч Гончаренко

Новый знакомец торопливо провел нежданных гостей в дом, взял в передней свечку, осветил их с ног до головы, глянул на Фабрициуса, качнул головою, сдвинул плечами и, показывая Щебетковскому рукою зал, сказал:

— Таков он у меня уже всегда, этот Антон Степаныч! Милости просим!

В передней Щебетковский мельком увидел оленьи и лосьи рога, прибитые с мордами зверей по стенам, для вешанья шапок и верхнего платья посетителей.

— Милости просим пока в кабинет! — прибавил Гончаренко, провожая гостей через полуосвещенный зал. — Антонушка, займи товарища! А я пока устрою вам закуску. С кем имею честь говорить?

Щебетковский назвал себя.

— Ну, господа, вы меня извините: я уже поужинал, а сытый голодному не товарищ! Пока я распоряжусь, чем Бог послал, а вы тут посидите. Завтра же познакомлю вас с моею семьей! Антон! опять осовел? Займи же гостя!

Щебетковский и Фабрициус остались в кабинете, сохранявшим еще вид старых украинских деревенских кабинетов. Одна вещь особенно заняла внимание Щебетковского.

На круглом столике, у окна, видно забытая кем-нибудь, лежала раскрытая и заложенная зеленою, вышитою шелком закладкою, новенькая книжка, французский роман Бальзака; а возле — стакан воды, покрытый голубеньким кисейным шарфиком.

— Что это? — спросил Щебетковский, подымая шарфик и указывая Антону Степанычу.

Фабрициус покраснел, как рак, и, стоя у дверей, молча переминался с ноги на ногу.

— Что вы, Антон Степаныч?

— Это, верно...

Только и мог проговорить старик. Замешательству его не было границ, равно как и удивлению Щебетковского.

Пройдя неверными шагами через комнату, Фабрициус дотронулся сперва до книжки, потом до шарфика, уставил на Ивана Ильича совершенно мутные глаза и вместо ответа только мог проговорить:

— Да-с!

— Что такое: да-с? — спросил тот.

Старик утер лоб, глаза и рот и улыбнулся. Подбоченившись, он вдруг просветлел, оглянулся по комнате и спросил:

— А? Каково? Каков шарфик? Ведь это Александры Акимовны, дочки Акима Захарыча...

Щебетковского будто обдало варом. Таинственность Фабрициуса при случайном отзыве о Гончаренко давно смутно наводила его на какие-то соображения. Теперь он вдруг стал настороже. Старик же неожиданно впал в прежнюю веселость и рассеянность и, забывши, что сам вез жениха, наклонился к уху Ивана Ильича и прибавил:

— Тут такое милое создание, что прелесть!

«Странное дело, — думал между тем Щебетковский, — отчего же это он не упомянул мне ее, вычисляя здешних окружных невест?»

— А как велико состояние Гончаренко? Кажется, богач? — спросил он.

— О! это темная вода, Иван Ильич, темная вода! Разное говорят; а я так думаю, как бы сказать не солгать, значительно, — шептал старик, покачиваясь и барабаня пальцами по губам, — у него должно быть в ломбарде, да частью еще в обороте, тысяч четыреста, если не больше!

— Четыреста тысяч!

— Да, четыреста! — И старик возвел глаза к небу.

— Серебром?

— Серебром, серебром! Благодетельный человек!

У Щебетковского мигом вспотели затылок и спина.

— Да и как не нажить такого состояния: откуп держал девять лет, сначала в уезде, а потом и в губернии! — заключил старик.

«Четыреста тысяч!» — думал Иван Ильич.

— А как велико семейство Акима Захарыча? — спросил он, помолчав и как бы рассеянно облокотившись о стол.

— Одна дочка, душечка Иван Ильич, одна дочка, и какая красоточка! чудо!

При этих словах Щебетковский невольно и быстро взглянул на Антона Степаныча, думая найти в лице его особое движение. Но старик очень равнодушно разглядывал какой-то рог на стене кабинета и посвистывал. «Ну, штука!» — подумал Иван Ильич и искоса посмотрел на него опять.

Когда Гончаренко обратно вошел в кабинет и пригласил гостей в зал, Щебетковский был еще иссиня-бледен, жилы на висках его стучали, а руки тряслись, как в лихорадке.

— Ну, теперь же мы не скоро отсюда вырвемся! — сказал шутливо и весело Фабрициус, волоча по коридору свои усталые ножки и почтительно громким сморканьем стараясь заглушить свои отчаянно фамильярные слова. «Да черт бы тебя побрал! — думал на это Щебетковский, — а отчего ты, ракалия, не намекнул мне даже об этой невесте прежде?! Или, впрочем, уж не урод ли она какой-нибудь или слишком застарелая девка? Да все же, однако, тут больше шансов, чем у этой Дженджерихи!»

Зал, освещенный несколькими кенкетами, с большим столом, уставленным наскоро приготовленною закускою, открылся перед гостями. Антон Захарыч не надоедал гостям угощеньями, а только легким движением бровей направлял быстрые руки казачков. Усевшись на хозяйское место, он сам не ел, а только поминутно, с разрешения гостей, переменяя трубку за трубкой, курил и пристально слушал рассказы Антона Степаныча об уездном городе, где тому все было известно и где сам Гончаренко давно уже не бывал, хотя многие лица там по разным отношениям его занимали.

Тут Щебетковский, при блеске высоких чугунных кенкетов в виде переплетавшихся руками муз и граций, вполне разглядел хозяина дома.

Отставной полковник гвардии, это был старик лет пятидесяти, как я сказал уже, небольшого роста, с красивою лысиной, забранной с боков довольно еще густыми седыми волосами, с крепкою, выдавшеюся грудью и широкими плечами. Маленькие, круглые ручки его были в волосах и очень белы. На нем была надета старенькая темно-серая венгерка с черными шнурками и кистями, без мишуры и других изысканных украшений, какие носили в старину первые малороссийские помещики. Большая пенковая трубка, в белом замшевом чехле, постоянно дымилась в его руках. Долгой и громкой басней ходило в околотке его горькое и драматическое отчаяние при потере жены, когда он, растерзанный и убитый, с первым ребенком на груди, стоял в церкви у ее гроба; приготовился в порыве нерасчетливого сердечного увлечения в след улетающему милому существу сказать, в присутствии своих соседей, надгробную трогательную речь, но не сказал ничего; без слезинки в глазу подошел, шатаясь, к гробу и с торжественным умилением сказал только: «Душенька Варя, помни ты меня!» — отрезал одним взмахом ножниц два огромных своих уса и, положа их на гроб, заплакал каким-то смешным, детски-прерывистым плачем, и все кругом него плакали. Похороны справлены. Единственная

дочь поручена им родной сестре его, приглашенной для этого в дом его, и жизнь снова широкою рекой покатилась для Акима Захарыча.

Весело еще жил, по-своему, Аким Захарыч.

Хлебосольство украинское, о котором сохранилось от былой дедовщины столько любопытных подробностей, в нем, как в немногих других из товарищей его помещиков, держалось еще с обычными своими красками.

Впервые в жизни Иван Ильич стал за ужином хмелеть и вдруг ни с того ни с сего, с двух капельных, меньше наперстка, рюмок, рассмеялся.

— Что это в самом деле такое? — спросил он и смешался.

— Ничего; наливка-с! это уже у меня так заведено! Никаких иноземных вин я не выписываю и не пью; а наливок сколько угодно, — кушайте!

«Черт возьми! кажется, я опьянел!» — думал про себя Щебетковский, хлопая отяжелевшими веками и косясь на целый строй разномастных бутылок, фляг и граненых флакончиков на столе.

— Да, — повторял Аким Захарыч, — у меня уж так ровно двадцать семь лет заведено! Ни мадеры, ни шампанского, ни хересу я не покупаю. Кто, скажите, хороший херес сюда завезет? Городской наш немец бурды напустит, да подкрасит ее сандараком и жженым медом, да насургучит и штемпель свой немецкий приложит; а ты и пей, пей потому только, что это тебе немец продал, и потому, что есть на свете в одном месте остров Мадера, а в другом город Херес, а в третьем речка Рейн, должно быть, еще прескверная речонка, не шире нашей Калиновки! Ну их к дьяволу! Угощу я вас лучше нашею доморощенною!

И подавались на стол опять разнообразные наливки.

Щебетковский и Фабрициус уже пили стаканчиками; они смахивали, впрочем, на морс. Одна наливка стояла в погребе Гончаренко уже семь лет, другая пятнадцать, третья на днях еще только была сделана и, не окрепнувши еще, отдавала

всем тонким запахом свежего, душистого фрукта. Тут были и терновка, и вишневка, и барбарисовка, и смородиновка, и клубниковка, и десятки других, от неоцененной горьковатой рябиновки до «попадьи».

— Отчего же эта наливка у вас носит такое странное название? — спрашивали иногда у Гончаренко гости, уже начиная едва двигать обессиленными и липнувшими к гортаням языками и уже разражаясь то там, то сям, без всякой видимой причины, громким и заразительно-веселым смехом.

— Оттого, — отвечал Аким Захарыч: называется она «попадья» (и не я ее так назвал, а еще мой отец), что от нее иногда гости, если бывают особенно усердны и добросовестны, неожиданно попадают...

— Ха-ха-ха! — подхватывали на это гости и нагружались еще более. Падать они, впрочем, еще вообще не падали. А напиток, назначенный уже собственно для того, чтобы уложить гостей, подавался в конце трапезы. Это была знаменитая украинская «варенуха» — вскипяченная смесь крепкой горелки с плодами, медом и духами.

— Вот, господа, — говорил с улыбкой Аким Захарыч, провожая их, — вы, Иван Ильич, ляжете в уборной моей сестры; мы ее вам опростали. А ты, Антон, коммен зи гер; по старой дружбе, пойдем спать ко мне, в кабинет!

«У! Боже мой, Боже мой! — думал Щебетковский, раскидавшись на мягкой хорошенькой кушетке, на которой, может быть, не раз покоилась и дочка хозяина. — Однако не сказал же мне ничего старый хрыч Фабрициус про этого славного, право, такого доброго и гостеприимного хозяина...» Тут Щебетковский зевнул. Ему показалось, что за дверью, в соседней комнате, откуда в дверную щель пробивался свет свечи, раздавались сдержанный, шаловливый шепот и смех, и будто бы кто-то наклонялся к двери.

«Да еще спать где положили! Возле ее, кажется, комнаты! Должно быть, я не засну до утра!» — На этом он, впрочем, тут же захрапел, как убитый, и проспал отлично всю ночь.

На другой день, проснувшись довольно рано и на первых порах, при затворенных ставнях, не зная, — как это бывает, — где он очутился, Щебетковский подумал, что проснется с одурманенною головою. Однако же, сверх ожидания, благодаря свойству наливок, встал бодрый и свежий. Заботясь о еще большей свежести, он узнал от вошедшего пожилого камердинера, что в саду, за каштановой беседкой, есть на реке купальня, что барин, сестра их и барышня, да и Антон Степаныч еще спят, и поспешил направиться туда.

Пройдя по туманным и еще росистым дорожкам обширного сада к купальне, он там разделся, выколотил прутиком свой сюртук, вытряхнул усердно серенькие брюки и жилет, обшлагом сюртука расправил и выгладил и без того, впрочем, хорошо сохраненный шейный голубой платочек, равно как и снятую крахмальную голландскую рубашку, осмотрел вычищенные лакеем сапоги, снял кое-где с платья последние пылинки, разложил все по скамье в палатке купальни и, потягиваясь, пошел в воду.

«Вот любопытно, — думал он, сидя в светлой, прохладной воде, — как-то я ее увижу? Брюнетка ли она, блондинка ли? Тоненькая или полная? И притом как она явится? Вероятно, жеманясь, вся перетянутая шнуровкой, как оса, и присыпанная пудрой! О, я уже вижу эту картину! Отец сидит в гостиной, Антон Степаныч близ него; а она входит из той двери, которая в ее половину, с работой и как будто невзначай. Знаем мы вас... Да и наружность я уже угадываю. Ни у одного нашего богача не видел я истинно хорошеньких дочерей: у чиновных богачей они уксусно-жеманны и бестелесны, у купцов — набитые дуры и часто безнравственны, у откупщиков — с какими-то татарскими лицами! Боже мой, что значит мое желание жениться непременно на богатой! Четыреста тысяч... Вот если бы здесь?»

В это время, в реке, Щебетковскому послышалось, будто кто-то бежал по отдаленной дорожке сада.

Не успел он опомниться, как раздался звонкий смех и говор; ему отвечал другой хохот уже ближе, за кустами.

— А что, Даша, несешь таз?

— Несу!

И, распахнув полотняную дверку, в палатку стремглав вбежала свеженькая, толстенькая, порядочного роста барышня в белой кисейной блузе, с полураскрытою грудью и с белокурыми, пышными волосами, упавшими на плечи. «Ай!» — крикнула она и зажала в ужасе глаза, увидев торчавшую из воды незнакомую усатую голову; с секунду постояла и в один миг, поворотившись и поднявши несколько замоченный росою подол юбки, снова кинулась в дверь, где чуть не сбила с ног уже подоспевшую, с тазом и такую же, как она, смазливую горничную, которая успела только крикнуть: «Вот тебе и на!»

Легкими сернами скрылись обе девушки в аллеях сада.

«Эге-ге! Так вот она, вот незнакомая-то дочка Гончаренко! — подумал между тем Щебетковский, медленно выходя из воды и принимаясь наскоро одеваться. — Как неприлично я ей, однако, показался, хотя, впрочем, кроме лица и усов она ничего не видела! И она не может обидеться!»

— А барышня, однако, того! — прибавил он, направляя нос в ту сторону, куда она исчезла. — Как говорится, еще полевым горошком девочка пахнет! — И он даже слегка невольно потянул в себя воздух, будто действительно ощущая след того неуловимого благоухания здоровья и молодости, которое еще в наш век принадлежит всякой молоденькой и свеженькой деревенской девушке.

Иван Ильич приятно ошибся и в доме.

Не жеманною, не с работой и не в гостиной встретил он дочку Акима Захарыча. В зале был накрыт круглый стол. На столе стоял модный серебряный самовар, окруженный дорогим чайным прибором и всякого рода сухарями, печеньями, булками и сливками. Аким Захарыч сидел в кресле, с неизменною трубкой и в той же, что вчера, серой

венгерке с черными шнурками. Дочка его, одетая в розовое холстинковое платье по шею, стоя, улыбалась и разливала чай. При ней сидела еще низенькая, с широким лицом и в чепчике, особа — сестра Гончаренко. Чистенький и выбритый Фабрициус стоял тут же и отпускал комплименты и шуточки.

Раскланявшись с гостем, Гончаренко расправил усы и, глядя на дочь, не вставая с места, сказал Щебетковскому:

— Дочка моя, Александра Акимовна, Шурочка. А это моя сестра, Марфуша! — и прибавил: — Шурочка, подойди ко мне!

Александра Акимовна все с той же неудержимой улыбкой прошла мимо Щебетковского и, наклонившись к груди отца, поцеловала его, вся румяная и чуть не фыркая от смеха. Тут Щебетковский мельком снова увидел ее рослый, полный, царственно стройный стан, пышно округленную, девственную грудь, полные, пышные, обнаженные выше локтей руки, детски болтавшиеся по ее бокам, и детски смеющиеся, румяные щеки. «Какая хорошенькая!» — невольно в душе сам себе шепнул Щебетковский, хотел найти прежнюю смелость и бойкость, хотел опять развернуться, завладеть общею беседою, и не нашел в себе ни того, ни другого, как человек во сне, не подбирающий в горячую минуту прытких ног с целью улепетнуть от какой-нибудь страшной погони.

Александра Акимовна стала между тем трунить над Фабрициусом, давала ему чай без сахару, не давала ложечки. Наконец, улучив минуту, подсела к нему.

— Так как же? Все ройки? — сказала она.

— Все ройки, ройки, Александра Акимовна: да еще какие! И вам я один на счастье посадил. А птички есть у вас новые теперь?

— Да, черного дрозда прислал мне наш пасечник, а лесничий поймал сойку и двух пеночек.

— А как бы-с обревизовать?

— Нельзя теперь, что вы!

И Шурочка повела глазами на гостя. Фабрициус опять принялся вертеть в руках костяной ножик Александры Акимовны, то гладя им себя по щеке, то нюхая его, то пристально его рассматривая.

— Кто это? — переждавши, тихо спросила старика Шурочка, опять поведя глазами на Щебетковского.

Фабрициус, с достодолжным почтением к слушательнице, но не без легкости отзывов и вида небольшого покровительства к гостю, стал рассказывая о нем, о его бабке, о деревне, об отставке и кончил, слегка ударяя себя ножиком по руке, словами: «Да он, кажется, добрый малый; но вообще франт и, кажется, петербургский выжига! Ох, Александра Акимовна, что это за люди нынче, как я посмотрю...»

Но Шурочка давно уже не слушала Антона Степаныча и пристально, плавными, детски напряженными взорами следила за гостем. Ей было все в диковинку: и такой почетный чин в таких молодых летах, и то, что перед нею именно петербургский житель, и его смелая, ясная, порывистая речь, и весь наряд его, от щегольского сюртука до какой-то пуговки, все ярко блестевшей из-под стула на его лаковом полуботинке. Чуть заговаривала опять с Фабрициусом Шурочка, пристально, не спуская глаз, следил за нею и Щебетковский.

— О, время, время! — между тем ораторствовал хозяин дома. — Тридцать лет я безвыездно живу дома в деревне. Служил в гвардии, был во фронте ремешком, в квартире с товарищами — военною косточкой, кутилой. Всю душу отдавал им; подчас на карту ставил все состояние. И что же? Как в воду канул: никто и строкой с той поры не помянул... Вы как думаете?

— О! — с улыбкой ответил Иван Ильич. — Петербург, со времен незапамятных, славится полным отсутствием сердца. Сердце России в Москве; вы, я думаю, сами это хорошо знаете.

— Так, так! — с хрипотой и целыми потоками дыма заговорил Гончаренко, перекладывая ногу на ногу и придви-

гаясь почти к носу собеседника. — Так! Однако согласитесь же, грустно... Вот я вам расскажу о том, как мы с товарищем моим Агаровым одну немку спасли...

«Ну, — подумала при этом сестра Гончаренко, таинственная Марфа Захаровна, в чепце и молчаливо вязавшая в углу гостиной чулок, — и этому гостю пошел то же рассказывать! И как не совестно! Просто зевать хочется! Ох, однако, кажется, петли спустила...»

Спицы быстро мелькали в руках ее.

Зато с каким наслаждением и вниманием следил сам гость, Иван Ильич, за каждым движением Шурочки. Разумеется, он не слышал ни слова ее отца и упивался всем ее существом на просторе, без помехи.

С первого взгляда, действительно, Шурочка наводила своим здоровьем и ликующею, свежею, какою-то простодушною красотою прямо столбняк на каждого сластолюбивого человека. Это был тонкий и душистый плод в пуху. Наши малороссы прямо назвали бы ее: огурчик, полтавское яблочко; другие тут еще прибавили бы: кругленькая, Бог с нею, как сундучок, шкатулочка. Если бы она, положим, попала в плен к туркам, и ее вывели бы, как выводили некогда, лет двести назад, ее предшественниц, таких же пригожих казачек, как она, на базар невольников в Константинополе, — покупщик подошел бы и на первую бы ее обратил свое плотоядное внимание. В самом деле: стан у нее был рослый и плотный, грудь высокая, руки полные, губы красные, щеки круглые, глаза веселые, коса пышная, хоть бы царице под венец, и вся она — чисто пышка. Не будь у нее какой то невольной, плавной, властительной походки, когда она шла при посторонних, мерно сдерживая свои руки, в остальное время ее приняли бы еще за ребенка. Тогда в домашнем привольном быту это был просто избалованный мальчишка. Из-под гребня тотчас у нее выбивалась косма волос, на лбу появлялся какой-то чуб, руки болтались по бокам, как хворостинки, талия мигом от разных груш, перехваченной тарелки людского борщу и зеленых ягод всякого свойства

становилась толще, приводя в неописанное отчаяние отупелую над чулком тетушку, которая тут же начинала ее бранить и осматривать перепачканные всяким съедомым руки. А Шурочка не каялась. Вырвавшись со смехом от тетки, с измятым платьем и с тем же чубом, она медленно, по-своему, не спеша, покачивая головой и переваливаясь, как уточка, шла к новым проказам. Летом не было покоя ее горничным. То и дело она купалась то в реке, то дома, в комнате, просто в тазу: влезет туда, или в простые ночевки, и начнет возиться, обливаясь и брызгаясь, как воробей, умеющий носом вымыть себе всякое перышко. А зимой нет ее целый день в доме. «Где барышня?» — «С гор катаются!» Тут уже она составила целую шайку из деревенских мальчишек и девочек. Одетая в уморительный ситцевый капот и ваточную шапочку, в длинных мужских сапогах, она садится в крошечные детские саночки и летит по снежному откосу. Шум, гам, прыганье на холоде. Прибежит к тетке: «Душечка, тетечка, пупочка, простите! Я только немножечко...» А на самой лица нет: чистый пион от беготни, едва переводит дух и вся в поту. Училась она в соседнем городском пансионе, выйдя оттуда на четырнадцатом году и привезя домой кучу сувениров. Все ее дорогие вещицы были у нее спрятаны в особой шкатулочке, в комнате под кроватью, чтоб никто не видал их места. В нескольких десятках других ящиков, комодов, шкатулочек и ящичков хранились ее другие, менее важные вещи. Как сурок, как жук, она тащила в свою норку все, что попадало в ее смиренное владение. Шурочка, уезжая в пансион и прощаясь с своею комнатой, написала на стене, в углу, за притолкой окна, под занавеской, карандашом: «Прощай, моя комната!» Когда же она воротилась и дворовые люди ее встретили словами: «Ах, барышня, как вы выросли; вы уже невеста!» — она тотчас кинулась в эту комнату, откинула занавеску, посмотрела, не замарали ли мелом ее надписи, нашла ее целою, оглянулась, не смотрят ли за нею, поцеловала надпись, потом затерла ее пальцем, подумала и, опять на том же месте надписавши: «Здравствуй, комнаточ-

ка!» — позвала к себе няню и велела принести всех своих птиц и ручного зайца, о котором справлялась даже в письмах из города. Тогда запас ее ящичков увеличился снова чуть не вдвое. Отец ее взял из ученья по четырнадцатому году, просто потому, что по ней соскучился, сдал ее опять на руки сестре и окружил ее всеми прихотями. Растя, красуясь и зрея в тишине, как все, как тысячи других украинских девушек, она своими, особенными глазами смотрела на мир.

Недаром Иван Ильич, еще увидевши ее мельком из воды в купальне, сказал, что эта барышня еще горошком пахнет. В ее присутствии теперь, при виде ее манящей, какой-то ядовито-задирающей и вместе детски-простодушной наружности, слыша тихий шорох ее свежего и светленького платья и ее шепотливые, сдержанные переговоры с Фабрициусом, Щебетковский просто таял. Он испытывал ощущение человека, идущего по полю в волнах весеннего запаха от цветущих готовых покосов. И сейчас же уже услужливое воображение непрошенно стало рисовать Ивану Ильичу его положение в отношении к Шурочке. Он думал: вот он старается понравиться отцу ее, понравился ей, делает предложение, получил ее руку и вместе с нею все состояние. Дух замирает! Нет, пустяки: жалкие выдумки. Не такого ему нужно зятя!

— Так вы меня не слушаете? — спросил наконец за каким-то словом Аким Захарыч, видя, что Иван Ильич не отвечает ему уже на несколько вопросов.

— О! нет, как можно: я все помню, что вы говорили!

— Ну, так как же вы думаете о конных граблях?

— О конных граблях?

— Да...

— Совершенно с вами согласен!

— Ну, то-то же! — заметил самодовольно старик, распахнул венгерку, встал, отер с лица обильный пот и, отдавши человеку, караулившему у дверей, опять набить трубку, стал мягко и скорыми шагами ходить по гостиной.

Иван Ильич пересел на диван, ближе к Шурочке.

— Это ваша работа? — спросил он, указывая на пяльцы.

— О, да... нет! я даже почти не умею вышивать! — ответила она с улыбкой и, закрасневшись, отвернулась в сторону.

Фабрициус прокашлялся.

— Гм... они, Александра Акимовна, только-с по тамбуру, — вклеил он.

— Читаете ли вы? — спросил опять Щебетковский. — Теперь так много пишут.

— О, да!.. — и голос у нее оборвался. — Я читала много прекрасных сочинений.

Она тоскливо глянула по гостиной. Отец ее, стоя в углу у печи, как-то боком, с торжествующим наслаждением выслушал ее ответ, как бы говоря: «Молодец, молодец! хорошо ответила!» — и опять заходил по комнате.

— Я вот люблю цветы! — сказала сама Шурочка, перебирая косынку платья и медленно, важно отведя глаза от своих колен на Щебетковского, будто спрашивая его: «Кажется, через это я не провинциалка?»

Отец на половине дороги остановился и опять, боком выслушавши слова дочери, плавно и мягко заходил по гостиной.

— Цветы? цветы? — спросил Иван Ильич. — Да знаете ли вы предание арабов о происхождении цветов?

— Нет! — ответили в один голос Гончаренко, Шурочка и Фабрициус.

Даже Марфа Захаровна оторвала глаза от чулка и вместе с чепцом и серыми, ленивыми веками подняла их на Щебетковского.

— Арабы говорят, что когда Аллах создал землю, он так был обрадован ее видом, что от полноты души, на своем одиночестве, улыбнулся; и из этой улыбки родились женщины и цветы....

— Прелесть, это просто прелесть! — почти крикнул от удовольствия Гончаренко.

Иван Ильич взглянул. Старик на него смотрел торжествующим, напряженным взором и тоже стоя боком в конце комнаты, у дивана. Остальные были не менее довольны поэтическим преданием.

— Грустно мне, как я подумаю, — продолжал Иван Ильич под общее настроение жадных слушателей, не без отрады любуясь их лицами, — отчего это Петербургу, столицам, суждено следить за всеми новыми, великими открытиями, а здесь у нас, у вас в глуши, об них и понятия не имеют! Например, теперь, как не восхищаться сердцу человеческому, когда найдено, открыто и подтверждено, что если на безводной луне нет жизни, общих нам животных, зато на других звездах, на планетах, живут растения и люди, — люди, нам подобные!

— На звездах люди? — спросил с замирающим дыханием Гончаренко, почти вырвал из рук лакея трубку, и, куря и хрипя по-своему, сел против самого носа Щебетковского.

— На планидах-с? — спросил и Фабрициус.

— Этого мало, — продолжал Иван Ильич, — наука воздухоплавания так далеко подвинулась, что есть надежды, через несколько десятков лет, полетами шаров по воздуху через земли и океаны заменить наши почты. Вместе с тем в Америке изобретены были одним тружеником стальные крылья, обтянутые тончайшей гуттаперчевой клеенкой. Особый механизм на груди приводил их в движение.

— Ну, ну? — спросил, усиливая грудной хрип, Гончаренко.

— Объявлено было в газетах об их испытании. Собралась огромная толпа зрителей. Изобретатель стал на возвышение, положил собранные деньги в карман, развернул широкие, тонкие, трепетавшие, как живые, крылья, взмахнул ими раз-два и поднялся из середины удивленной толпы. Высоко в небе он изменил полет, прилег грудью над землей и быстро скрылся в синеве...

— А-а-а! — зашипел, хлопая себя в восторге по коленям и заливаясь истерическим смехом, Гончаренко. — Вот мо-

лодец! скажите! — И он утирал платком радостные слезы, торопливо кашляя и спеша слушать далее. — Ну, чем же кончилось? Чем? — прибавил он, тыча в руки лакею за новою набивкою трубку.

— Увы! Кончилось несчастьем. Газеты прибавляют, что этот смельчак, под вечер, летел ниже, над лесом, собираясь спуститься к одной деревушке. Охотник случайно увидел его, принял за птицу и убил из штуцера. Наутро нашли его без денег, разбитого вдребезги, вместе с изломанными в клочки крыльями и машиной. Пока еще его тайна вновь не открыта. Зато о воздушных шарах идут смелые исследования...

— Кушать подано! — громко произнес лакей в перчатках, появившись на пороге гостиной.

Все встали и пошли в зал, молча и с захваченным дыханием. Щебетковский шел свободно, дыхание его было ровно и привольно. Глаза весело посматривали по сторонам.

На столе, убранном с изяществом и роскошью, была снова уже знакомая батарея наливок. Хрусталь, посуда и белье были замечательной изысканности. Суп скоро задымился в тарелках. Иван Ильич заметил, что у всех был отличный аппетит. Только Марфа Захаровна по-прежнему почти не спускала с него серых, тяжелых и ленивых век, хотя костлявые и страшно загоревшие пальцы ее исправно работали над тарелкой. Гончаренко, сейчас же хлебнувши супу, обмочил в него концы своих усов и принялся обсмактывать и утирать их, что делал до конца обеда.

— Вы где служили в Петербурге? — спросил он, кончая тарелку.

— В министерстве внутренних дел, более работая по следственно-судебной части.

— Приехали устроить дела?

— Да-с.

— А вот я служил в гвардии; да это уже давно. Совсем тут окостенел и оскотинился за этим хозяйством.

Щебетковский бережно и вежливо обтер свои румяные губы и щегольские усики белой как снег салфеткой, положил ее на стол и развязно налил Шурочке воды, заметивши, что Фабрициус пыхтит и давно безнадежно силится сделать то же самое, между тем скатывая в руках знакомые уже нам хлебные шарики для собак.

Обед кончился. Все молча встали из-за стола. Щебетковский снова спокойно и развязно сел в гостиной, обратившись к Шурочке с каким-то незначительным вопросом. Но он ликовал в душе.

Впечатление, произведенное им на слушателей рядом неслыханных живописных рассказов, переданных речью звонкою, ясною и незнакомою слуху мирных и добродушных домоседов, было полное и поражающее. Кровь кинулась в лицо Шурочке. Она молчала, опустивши глаза; но мысли ее носились далеко-далеко. Марфа Захаровна, впервые в жизни, сидела на диване, рядом с племянницей, а не в углу, у окна, и не думала брать чулка. А старик Гончаренко, в долгие годы жизни в деревне не освеженный ни выездами в столицы, ни прилежным чтением газет и мысленным следованием за течением событий, волновавших свет, просто пришел в какой-то столбняк и не знал, что с ним делалось. Слушая Ивана Ильича, он даже забывал о трубке, за обедом более суетился, чем ел, сопел немилосердно, ершил густоватые брови и то смеялся, заливаясь сиплым, резким хохотом, то быстро утирал слезы, сам не знавши, откуда они брались. Даже Фабрициус, уже коротко знавший Щебетковского, и тот с первых же его рассказов стал смотреть на него во все глаза; а под конец даже озирался по комнате, будто не знал, где он очутился и на яву ли слышит произносимое.

Нагнувшись к уху Антона Степаныча, Иван Ильич что-то ему шепнул. Тот вышел, и через четверть часа слуга доложил, что лошади Ивана Ильича поданы.

— Куда же вы? — спросил печально Гончаренко, не ожидавший такого скорого отъезда. — Вы бы вечерок еще с нами просидели! Право, вас заслушаешься!

Иван Ильич вежливо, но сухо и с достоинством отказался, даже ловко замял самую возможность дальнейших удерживаний, взял шапку и стал откланиваться.

— А ты, брат Антон, — обратился Гончаренко к Фабрициусу, — все юлишь по-прежнему? Верно, уже опять собакам раздавал шарики.

— Нельзя-с; раздавал-с! У вас, Аким Захарыч, песики все чистоплотные и умные...

— Ох ты, егоза Иваныч, чистоплотные! А вы, Иван Ильич, надеюсь, теперь знаете дорогу к нам; милости просим. Приедете, поохотимся. Ведь у нас охота еще первобытная, дедовская, на диких коз и на кабанчиков...

Щебетковский молчал.

— Благодарите, благодарите; скажите, что буду! — шептал ему сзади Фабрициус. Тот молча обернулся к нему.

— Если ничто не помешает, и я поустроюсь с делами, для которых я приехал, то постараюсь быть у вас, — ответил Иван Ильич.

Фабрициус вытаращил на него глаза.

Гости откланялись и уже выехали за ворота, а в доме все еще раздавался резвый хохот девушки.

Миновали опять околицу, выехали в поле. Снова поехали над берегами реки и степью.

Фабрициус первый нарушил молчание. Заглянув в лицо Щебетковского, он тихо спросил:

— А что, Иван Ильич, каков пан? Вот, можно сказать, магнат! Такой богач, такой гордец, а вас как принял! Прелесть моя, да и только!

Щебетковский усмехнулся.

— Уже таково, верно, наше счастье с вами, Антон Степаныч!

— Нет, как принял, как принял! Фа-фа-фа! Даже ухаживал! Заметили, как он просил бывать? Как за столом вам подливал?

И старик качал головою.

— А зато, — продолжал он, — посмотрели бы вы, как он здешнюю уездную братию принимает! Кормить — кормит и поить — поит; это так! Но уже никакого искательства! Ни-ни, и ни Боже мой!

«А однако же, — мыслил про себя, под возгласы соседа, Щебетковский, — отчего это в самом деле этот чудак Фабрициус прежде не сказал ничего о доме Гончаренко и о том, что у него есть дочка, когда мне высчитывал здешних невест? Странно, не понимаю! Надо узнать!»

Лошади бежали дружной рысью.

— Ну-с, почтеннейший Иван Ильич, а теперь уже позвольте вас спросить, — начал Фабрициус, — и насчет настоящего нашего дела: как же вам нравится, по правде, дом Прасковьи Кондратьевны и хоть бы сама девица Раичка? Что намерены вы теперь там предпринять и когда опять туда махнем? Вы молчите?

— Нет, ничего, я думаю именно об этом! — ответил Щебетковский.

— Об этом? Э, нет! Жалко мне, по правде, вас. Раичка эта точно несколько мешковата, да и чувства, кажется, имеет холодные. Вам не такую надо, вижу: огонь, чтоб так и горела сама...

Щебетковский, недоумевая, глянул на него.

— Да, — продолжал старик, — да! Вам надо другую! Вспомнил я, погодите, об одной вдове, моей знакомой, над Днепром! Она живет как раз в лесу, в дремучем лесу, и можно поручиться — богатейшая помещица. Каменные палаты у нее, зал в два света, камины, зеркала; сама в очках, с буклями, хотя всего тридцати лет, и распродувная бестия, бабулька! Одной рукой в вист дерет с гусарами, а другой тут же с кирасирами банк мечет. И такая разбитная, в сажень ростом, глаза вот какие, навыкате, предебелая, презентабельная, просто камергерская особа, статс-дама, царица Бона, да и только! Я бы вам советовал к последней! Хотите? Опять катнем вместе? Я могу получить рекомендательные письма!

— Нет, Антон Степаныч, — перебил с улыбкой Щебетковский, — я уже что положил, того не переменяю! Мы с вами, как еще пообживемся, опять поедем к Прасковье Кондратьевне, непременно! Слышите ли? Не отступаться! Пословица говорит: «куй железо, пока горячо!» Так?

— О! Так, так, разумеется.

— То-то же, мой почтеннейший! Надо торопиться. Ведь мне на днях тридцать лет; а дело, надо думать, и в особенности... если мне еще там и понравилось? Не так ли?

— Так, от души так! Вы не поверите, какое это блаженство — семейный уголок, милая дамочка, кроватка, там детки. Ах, оставайтесь вы у нас на Украйне, Иван Ильич!

— Да что же вам особенного в том, что я останусь?

— Помилуйте: эта тишина, эта природа, довольство всем, довольство малым; да и ваш собственный хуторок. Ведь это прелесть. Какой сад, какой дом старинный! Над всем благодать; земля — чудо, люди честные, тихие. Стоит только заняться: доходы вас обогатят. Да и прадедушка ваш, пращур этот, гетман, говорят, сам бережет ваше достояние...

— А?

— Точно, ей-Богу. Говорят, его тень кроткая по дому и по саду, когда никого нет, ходит, на все смотрит, заботится и бережет. Право, и люди его видели; как есть в казацком гетманском наряде ходил, весь белый, как пух, а усы и брови точно молочные. Этакая охрана-благодать в доме, сущая благодать. И я еще при бабушке, до вас, несколько раз по ночам в саду караулил, хотел его подсмотреть — да не удалось... Оставайтесь-ка вы у нас!

Щебетковский на это молча улыбался. Лошади ехали опушкою леса. Снова вечерело. Иван Ильич, лениво наслаждаясь видами, думал между тем, отчего старик умолчал ему о Шурочке. Этот вопрос, впрочем, разрешался легко.

Антон Степаныч, как уже сказано, был особенно близок к дому Акима Захарыча. Когда еще Гончаренко гвардействовал и жил в полку на жалованье, до смерти своего дяди, державшего его в ежовых рукавицах, а после себя все-таки

оставившего ему и его сестре деревеньку, Аким Захарыч тогда же сошелся с Фабрициусом, по случаю хлопот по выданным в дни кутежей векселям на имя разных ростовщиков, так как Антон Степаныч вышел тоже тогда из уланов и бродил по уезду. Потом Гончаренко принял наследство, женился, стал держать очень счастливо откуп и взял к себе честного и кропотливого украинского немца сперва в письмоводители, а потом и в товарищи по нескольким паям. Нажил Аким Захарыч, нажил и Фабрициус. Тут и счел себя Антон Степаныч решительно близким к семье Гончаренко. Когда у последнего родилась дочь и еще несколько дней жила ее мать, он на крестинах, сверх обыкновения, подкутил так, что его должны были держать за руки. Тем не менее, однако, еще не охмелевши вполне, он приподнял при гостях новорожденную, в пеленочках, на воздух и сказал в сильном душевном движении: «Господа и вы все, дворяне, дворянское сословие! Я пользуюсь сим случаем... клянусь, это... это дитя — все равно как бы мое родное! Если Сашенька вырастет, я берусь найти и найду жениха такого, такого, что еще и свет не видел такого! Нынче молодежь пустая и коварная. А я уже буду следить и ей найду жениха с золотым чубом, то есть... то есть... ну, да вы меня понимаете, господа? Генерал ли, магнат ли, богач ли какой, я только укажу отцу и скажу: вот вам зять! О, ей суждена судьба высокая!» Вслед за этим из жилетного кармана, где потом только хранились уже знакомые нам хлебные катышки для собак, он вынул тщательно переписанные, частью собственного сочинения, а частью келейно заимствованные у одного писателя старых времен стишки и прочел кант в честь новорожденной, который начинался так:

В честь россиянки прекрасной
Пойте, пойте гимн согласной!

С той поры Фабрициус замолчал, и длинный ряд годов, во все младенчество, отрочество и наступившую юность Шурочки, сперва живя в доме отца ее, а потом не переставая

навещать его, считал себя решительно обязанным приискать жениха Шурочке и скупился на этот счет страшно. Из окрестных молодых помещиков и служащих, по его мнению, не подходил никто. Зато он часто задумывался над газетами и слушая рассказы о разных особах первого почета в столицах. Как-то приехал в ту губернию молодой губернатор, красавец, о котором все кричали. Шурочке тогда было четырнадцать лет. Он стал прочить его ей в женихи, но раздумал, узнавши, что общий любимец, ставший на первых порах чем-то вроде Гарун-аль-Рашида, даже переодевавшийся по ночам, для исследования страданий человечества, нежданно оказался самым пустейшим щелкопером, даже падким на взятки. Потом его мысли остановились на одном писателе в Москве, молва о романтической поэме которого, увлекавшей молодежь, долетела и до него, и он сам своими руками переписал эту поэму. Писателя сменил более практический генерал, в соседстве делавший маневры. Наконец, его мысли летали даже во Францию, и одно время, когда новейший Бонапарт тщетно искал себе подруги из венчанных особ и остановил свой выбор на испанке Монтихо, Антон Степаныч в простоте души подумал: «Вот судьба! Ну, отчего ему было не завернуть сюда? И чем Шурочка хуже какой-нибудь испанки? По крайней мере, уже украсил бы престол, да и на ее головке была бы корона!»

Готовя такого рода партию для своей любимицы, он Щебетковского не считал достойным для нее женихом, да, кроме того, полагал, что и ее батюшка с людьми такого мелкого полета не способен и дружбы водить, не только родства...

К концу дороги оба размечтались, и Фабрициус, и Щебетковский. Щебетковский сам не знал, что с ним делается; мысли его бежали, бежали и сменяли одна другую. Фабрициус думал: «Перепелиную клетку кончу, наловлю перепелов и сейчас же лучшего отвезу Александре Акимовне. И ройка молодого отвезу на мед! Она любит, проказница...»

Приехали.

Антон Степаныч простился, упомянул, что если угодно соседу, он готов завтра с ним идти на охоту или с удочкой заняться; что рыба клюет, что это он слышал и в деревне Акима Захарыча, в Екатериновке, от повара Любима. Щебетковский с увлечением, нежно пожал его руку и поблагодарил, сказав, что пойдет с ним куда угодно, с удовольствием, лишь бы коротать хуторянскую скуку. «Кстати! я кое-что и из журналов думаю выписать! — заключил он. — Будем читать и следить за всем!»

Старик пошел опять темными дорожками к плотине, садом. Вошел в дом и сильно изумился, найдя на крыльце, настороже, свою кривую и невзрачную ключницу пьяною. «Ты!! дура! что с тобой? — допрашивал он ее. — Кто тебя напоил? признавайся!» Ключница, красная, как уголь, и улыбаясь поминутно, перешла с трудом в комнату, зажгла свечу и указала на столе, в салфетках, какие-то узелки, бутыль с наливкой и письмо. «Это от кого?» — «Горпина приймачка привезла от той пани, что на Деркачах!» — «От Прасковьи Кондратьевны, от Дженджерихи? ты врешь!» — «Ей-же Богу-ж-то; вот это, перед вечером уже, и привезла, да не дождалась вас, спешила!» — «А ты уже и напилась?» Ключница только стыдливо отвернулась и с улыбкой стала утираться. Фабрициус вскрыл письмо, малорусские выражения которого мы сокращаем: «Родненький мой, Антон Степаныч! За привоз соседа присылаю бубличков, редиса, пять колерабок, девять огурчиков из парников, кусок холста и наливочки. Салфетки воротите и складень. Да не успела запечатать наливки; закупорьте сами — неравно люди ваши выпьют. Вы же холостой. Сосед — ничего, такой бойкий и, видно, может быть хорошим хозяином; а мне такого и нужно. Приезжайте опять: я не прочь, да и мои дуры тоже. Только напишите, какую готовить; а то у всех талии разные. Надо платье заказывать в городе. Еще раз, родненький, спасибо. Ваша ко услугам — Прасковья Дженджерь». Фабрициус крякнул и лег спать.

А для Ивана Ильича — опять знакомая картина.

С сонным, прерывистым карканьем, усаживаясь на густых вербах, шумела еще обычная стая грачей. Из саду пахло. Листья громадных тополей шушукали у верхних окон, где в гостиной была спальня Ивана Ильича.

Иван Ильич так размечтался, приехавши домой и легши спать на любимом месте, в старинной гостиной, на диване, под портретом прадеда, так, что просто глаз не мог сомкнуть. В ушах его раздавались веселые, отрадные звуки, жилы на висках бились и стучали. И весь его состав ликовал при мысли, что он один в своем доме, один, свободен, не зависим ни от кого, и никто не подслушает его голоса, ни его сокровенных, задушевных мыслей и стремлений, разве милая тень прадеда, о которой говорил ему добряк-сосед.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

VI

Крепость, взятая без ведома коменданта

Начались осенние дни. Ленивый малоросс, собрав кое-как годовой запас хлеба, сидел в чистой, выметенной хате и, под влиянием дешевого довольства, думал, идти ли ему уже пахать под яровое, для будущего лета, или нет? На земле Щебетковского также кое-как копошились, сняли и молотили хлеб. Под вечер еще неслись с поля, вместе с пылью, ржание и глухой гул бежавшего к водопою конского табуна. Над мельницей, огромным ветхим домом и похоронною часовней в саду кружились огромные стаи грачей. На деревушке, спадавшей врассыпку по косогору, скрипели дружно, утро и вечер, деревянные журавли на колодцах. Между крестьянских изб вырастала новая деревня, теснившая старую, деревня из золотистых скирд молодого хлеба. Мелкие барышники уже шныряли по окружности, выбирая пробы: то проса, то пшеницы, то льну, то гречихи. «Эге-ге, — думал Иван Ильич, — да какой же тут богатый околоток! Наследник Балабан, хоть бы и эта хозяйственная помещица Дженджериха и Гончаренко! Все тузы!» Случилось как-то так, что Иван Ильич не виделся со своим соседом через речку довольно долго, ни у себя дома, ни в собственном монашеском фольварке Антона Степаныча, ни на дружески соединявшей их усадьбы плотине со знакомою уже мельницей. За неделю перед тем встретил он его, идучи

в поле, где-то под оврагом, кислого, с покрасневшими глазами и с одышкой. «Куда вы, Антон Степаныч?» — «А вот поразмяться немного; как будто расклеился, занедужил! С собачкой на перепелов захотелось; вон какого песика прикормил!» Щебетковский глянул: собачонка шла тоже, поджавши хвост. Вскоре потом узнал он, что из усадьбы Антона Степаныча ездили в казенное село Колтуны за фельдшером. Пришел к нему и уже застал его в сильнейшей горячке. Болезнь была захвачена, старик спасен, но уже не оправлялся во всю зиму и проскрипел вплоть до весны.

Между тем, незадолго до первых заморозков, наступили охотничьи времена. Окрестность, издревле еще богатая лесами, вызвала несколько знаменитых травлей. Старозаймочные дебри огласились звуками рогов и атуканья доезжачих. У Гончаренко, в лесной даче, высмотрено было стадо диких коз и два-три кабана. Щебетковский не упустил случая и поехал к нему. Видел он съезд отчаянных охотников, ближних и дальних, любителей лошадей и псовой травли, в полупольских, в полушотландских охотничьих нарядах. Видел начальную церемонию охоты, выводку свор, роздых в лесу под столетним явором, причем серебряные стаканчики переходили из рук в руки. Видел расставленных по кабаньему пути, на пнях, стрелков, слышал треск валежника, видел дым выстрелов и выбежавшего из кустов, в крови и в пене, обезумевшего от ярости и боли серенького вепря. Видел, наконец, этого вепря, с торжеством положенного на серебряное блюдо, и лучшего конюха Акима Захарыча, белокурого Герасима, на носилках, смертельно раненного этим кабаном, в то время, как гончие, открыв след его, залаяли и кинулись по мелкосрубью и кочковатым оврагам, а зверь пошел на людей. В лесу снова был роздых. Турий рог ходил между гостями. А за поздним обедом Александре Акимовне и Марфе Захаровне, по обычаю старины, отрезанные с общего блюда старейшим из участников охоты, толстым паном Жмайловским, за двести верст нарочно приехавшим сюда на охоту, были поданы с особою церемонией на золоченых

блюдцах филейный кусок козы, смоченной в уксусе, и ребрышки кабана, жаренного с кашей. Перед разъездом, как заведено было, гости опять пили из серебряных чарочек и турьего рога, распевая песни старобытной Украйны, и, выйдя со двора, лицом к лесу, стреляли, чтобы водился зверь, по обычаю, холостыми выстрелами из своих ружей и винтовок, все работы Кухенрейтера, Лазаря Лазарини и лучших венгерских заводчиков. Щебетковский при этом тоже, поддерживая обычай, попаливал из какого-то саженного шведа, данного ему щедростью заботливого хозяина.

Держал себя вообще Щебетковский осторожно и вежливо. У Гончаренко же стал бывать чаще и чаще, особенно когда лег отличный зимний путь. О Петербурге он скоро забыл. Приезжая то в будни, то в праздники в Катериновку, а иначе в Надеждино-Прекрасное, как романтически именовалось имение Акимом Захарычем, он привозил с собой то новую приобретенную книжку, то желание в чем-нибудь посоветоваться с Акимом Захарычем, то новый приобретенный где-нибудь рассказ о каком-либо занимательном современном событии в Европе или в столице. Иногда он по-прежнему пел, иногда читал до поздней ночи, иногда заводил любопытное рассуждение о каком-нибудь явлении в истории мира или в астрономии, сообщая увлекательные сведения о новейших открытиях древностей. На души, жившие в мирном безлюдье и в совершенном удалении от шумного коловорота совершенных обществ, эти слова производили глубокое впечатление. «Да вы нам сегодня, Иван Ильич, экспромтом целую лекцию прочли!» — говорил иногда Аким Захарыч, просидевши с трубкою в кругу семьи несколько часов сряду и думая: «Какой, однако, это милый и образованный молодой человек и как много подает надежд!» Но если бы более строгий и проницательный слушатель в это время наблюдал за Иваном Ильичом, он подсмотрел бы, что, пожалуй, чего доброго, увлекательный рассказчик перед тем, как произносил экспромтом целые лекции, копался над довольно увесистыми книжками, найденными в дедовской библиотеке. В

теплые, несколько сероватые зимние дни, по льдистому снегу Аким Захарыч и Иван Ильич в маленьких, как ореховая скорлупка, крытых алым ковриком санках объезжали заводских рысаков. Один раз Иван Ильич даже неожиданно слетал с Акимом Захарычем налегке, в простых пошевнях, на одну конную ярмарку, где-то верст за двести, куда случайно пригнали для распродажи чей-то не слишком казистый, но довольно крепкой рабочей породы табун и где Гончаренко, купивши его дешево, взял порядочный барыш. Аким Захарыч уже окончательно освоился с ним и в мыслях своих о даровитости, ловкости и образованности Щебетковского придавал еще качества сметливости, умения обделывать дела и опытной житейской мудрости, так что, особенно при последней покупке табуна, где он умел подъехать и к продавцу, и к другим покупателям косвенно, как бы постороннее лицо, он уже шутя говорил: «Вы, Иван Ильич, хотя и молодой человек, а старший тут!»

В разъезды свои Ивану Ильичу удалось самому поверить слова Фабрициуса о состоянии Гончаренка. Знакомый Акима Захарыча священник, встреченный на обеде у исправника, на вопрос Щебетковского: «Действительно ли Гончаренко на откупах нажил четыреста тысяч?» — отвечал, что это действительно так и что, по его мнению он нажил еще более, потому что у одного мамышевского винокура в росте его пять тысяч серебром было два года назад, да порядочный куш загреб у него для оборотов Петр Васильич Замуруев, сгонщик, который, впрочем, слишком уже забирает рыси и путается. Другой короткий приятель Акима Захарыча, геморроидальный страдалец с расстроенным до крайности желудком и облезшими волосами, — почему постоянно возил в бричке под ногами, в ящичке, паричок табачного цвета, — когда к нему адресовался Щебетковский, еще более подтвердил его мнение о состоянии Гончаренка. Это было в доме последнего, где постоянно клали спать и его, и этого господина в одной комнате. Чистя зубы щеткой, этот страдалец, тем не менее лукавый человек, на вопрос Щебетков-

ского о состоянии Акима Захарыча только замотал головою, не говоря ни слова, так как у него был полный рот воды; и, уже выпустивши воду, сказал: «О-о! состояние Акима Захарыча? Это целая ротшильдовская компания!»

«Любила ли Александра Акимовна Ивана Ильича?» — вправе спросить теперь меня всякая читательница, очень верно и основательно зная, что эта девица и этот молодой человек для того и сведены в этой повести, чтобы занять места героини и героя. Положительнее можно было бы ответить, что, скорее, она не любила его, но, видаясь не без удовольствия довольно часто с ним, она начинала к нему привыкать. Если бы его кто в ее присутствии ловко ругнул или вежливо осудил бы его за какой-нибудь общественный проступок, она защищала бы его и охотно привела несколько смягчительных сведений в его оправдание. Знай она, что модные барышни любят поминать своих обожаемых в молитвах, она непременно и охотно помянула бы и его в вечерней и утренней молитве, вслед за покойною матерью своею, отцом и теткой. Уезжай из их места Иван Ильич, она простилась бы с ним степенно и задумчиво, хотя бы три дня потом не принималась с обычною свежестью ни за какую работу; а узнай она потом неожиданно, этак через год или через два, что, положим, такой-то Иван Ильич Щебетковский, который, помните, тогда-то бывал у них, умер в Костроме от холеры или подстрелен на войне на Кавказе, она встревожилась бы и, вскрикнув: «Ах! Боже мой, какая жалость! Вот бедный! Такой молодой еще был!» — упросила бы рассказать, как это случилось, что он умер, и прилежно выслушала бы все повествование.

Зима кончалась. В воздухе повеселело. Дороги обстоялись и казались уже черными полосами. Прошел великий пост, прошла и Пасха. Мало-помалу поля обнажились. Окна выставлены. Явилась зелень. Аким Захарыч рано открыл покосы и уже почти не сходил со своей зеленой степи. На всех окнах его висели в нитяных клетках перепела. Табун ходил верст за двадцать, в другом участке его, по полю

косяком, с верховыми сторожами. Ивану Ильичу нравилась роль влюбленного. В Петербурге любовь он видел только на сцене в водевилях и со всем новым поколением своих сверстников охотно ей не верил. Здесь же, на свободе, отрадно предаться ее живописным картинам. Он вставал рано поутру, садился на оседланную лошадь и ехал на поля. Там он вволю мечтал, — мечтал и о свежем личике Шурочки, и о ее плечах, и о толстеньких ручках. «Боже! как она меня любит! — думал он иногда ни с того ни с сего и прибавлял, спохватясь: — И полюбит крепко!» На нем был коротенький сюртук, в руках нагайка. Конь рысью бежал по зеленеющим полям. Романтические увлечения заходили еще дальше. Иногда Иван Ильич, запоздавши в поле, оставлял лошадь в шинке, под селом Гончаренка, а сам шел к нему в рощу и садом, уже впотьмах, пробирался к дому. Он отыскивал угольную комнату, уборную Шурочки, где та работала всегда с теткой, прислонялся к окну и по целым часам, до полуночи, глядел за ее движениями, когда она болтала, шутила с горничными и, наконец, зевая, уходила спать. Уходя, Щебетковский иногда на окно клал кленовый лист, полный ягод, или книжку, с закладкой на какой-нибудь страстной сцене, и после не спрашивал ее о них, стараясь угадать по лицу, что о нем думали. Шурочка стала замечать его страстные взоры, тетка напряженно молчала. Так прошло еще несколько месяцев. Щебетковский сам себя не мог понять: любил ли он сам? Ему все хотелось чего-то резкого, смелого, как будто у него отнимали лучшее сокровище. Он медлил и боялся посоветоваться с своею совестью. Дни становились душней и душней. Шурочка уже собиралась с Марфой Захаровной варить варенье и даже имела поползновение улепетнуть в лес, версты за четыре, за глубоким оврагом, собирать там дикую землянику...

В это время как-то завернул к ним после обеда Щебетковский, как обыкновенно, почитать, поболтать и погулять по саду. Вошел в переднюю — нет никого; в кабинет и в залу — тоже, в гостиную — тоже никого нет. Оправившись,

он собрался было идти на дальнейшие поиски, как раздались шаги с садового крыльца и Шурочка, с руками в вишневом соке, раскрасневшаяся у железного таганка, в коричневом платье и такой же ситцевой пелериночке, на скрипевших каблучках козловых башмаков, вбежала в гостиную.

— Ах, мои батюшки! — крикнула она, увидевши Щебетковского, и стала трясти замаранными руками.

— Дома папенька?

— Нет-с, в поле; там и корни пустил у косарей!

— А скоро будет?

— Да говорю же вам, что засиживается там, иногда и ночует!

— Но я же его подожду!

Шурочка, встряхивая руками, побежала далее.

— Куда же вы?

— А вот руки вымою; ишь как, и-и-Боже мой, как вымазалась!

И, рассматривая липнувшие пальцы, над которыми роились мухи, она побежала в коридор.

Аким Захарыч не приехал к чаю. Но хозяйки распорядились и без него. Угостивши чаем Ивана Ильича, Шурочка полезла в гостиной в стол, достала оттуда замасленные карты и сказала:

— Давайте, тетенька, обыграем Ивана Ильича в дураки!

Сели за стол. Щебетковский много их смешил на этот раз, подтасовывал и крал карты, ходил не в очередь и бил короля дамой, а все-таки кончил тем, что обыграл и Александру Акимовну, и Марфу Захаровну. Вечер прошел незаметно. К ужину опять ждали Акима Захарыча и не дождались. Ужинали без него. После ужина еще подождали несколько Акима Захарыча и, убедившись, что он остался ночевать в поле, вероятно в курене, близ табуна, в другом своем участке, предложили Ивану Ильичу переночевать. Посидели еще немного и разошлись.

Комната, где отвели ночлег Щебетковскому, была рядом с залой и стена об стену с кабинетом хозяина. В ней, под

стать охотническим наклонностям хозяина, по стенам, на подставках, были укреплены очень изрядно сделанные домашними средствами чучела животных и птиц, водившихся в тех местах и большею частию убитых рукою самого хозяина. Постель нашел Иван Ильич чистую, свежую, на мягком зеленом сафьяновом диване с пружинами, который и нежил, и вместе прохлаждал тело. Улегшись и отпустив слугу, он еще несколько времени читал какую-то старинную книжку разрозненного журнала с повестью из американского быта. Потом потушил свечу и перевернулся на другой бок с целью заснуть. Но сон не брал его. Ночь была душистая и теплая. В растворенное для свежести окно доносился шорох слегка задеваемых легким ветром древесных вершин. Перед самым окном стоял исполинский берест, совершенно заслоняя его от лучей и без того в эту ночь заслоненного облаками месяца, почему чучела зверей и птиц едва виднелись по стенам и простенкам комнаты. В дальней комнате пробило два часа ночи. Тишина в окрестности была полная. Только в самой комнате Ивана Ильича, должно быть забытая прислугою, раскрылась, с вечера еще, маленькая особая заслонка в печке для освежения воздуха зимою и, вертясь без устали под течением воздуха, тихо звенела в общей тишине комнат на разные лады. Вероятно, звуки ее долетали и до других покоев, потому что на противоположной почти стороне дома, как бы в комнате хозяек, Щебетковскому послышались слова: «*Марья, Марья*»; через несколько минут шепотливый зов усилился и опять замолк. Видно было, что особа, звавшая служанку, убедилась в отсутствии последней. И не мудрено: кто мог, в эту ночь вырвался из-под душной кровли и спал, разметавшись на открытом воздухе. Скрипнула отдаленная дверь и опять отворилась, как будто отпиравшая ее убедилась, что в других соседних комнатах нет ни одного лица, которое бы прошло в комнату гостя и закрыло бы назойливую вьюшку. Вдруг Щебетковскому почудилось, — и озноб пробежал по его спине, — что по дубовому полу залы беззвучно шли чьи-то шаги и к самой его двери тихо близилась

чья-то едва шелестевшая юбка. «*Неужели это она?*» — подумал он и, в порыве какого-то неопределенного движения, сперва вскочил, как есть, а потом опять упал в постель. Все на минуту замолкло. Как ни напрягал зрения Щебетковский, никак нельзя было решить, отворяется или не отворяется его дверь. Однако он, не долго думая, оставил кушетку и, как видение, как бесплотный дух, начал красться к двери, и ни один ловкий вор так неслышно не крался к шкатулке, полной золота. На полупути он остановился и твердо спросил:

— Александра Акимовна! Это вы?

Шурочка в это время, также осторожно, как призрак, рукою едва успела закрыть заслонку над вьюшкой, очутившись поэтому совершенно всем телом в комнате гостя, и, готовясь уже также тихо уйти от него, думала: «Вот и отлично; я таки закрыла, а он спит и не слышит! Что за беда! Зато дело сделано». Вопрос Щебетковского ее поразил.

— Да, это я! — отвечала она, окаменев от неожиданности, и не знала даже, испугаться ли ей и крикнуть, или просто опрометью бежать из чужой спальни, где она так бессовестно поймалась.

— Не бойтесь, умоляю вас, не бойтесь! — залепетал скороговоркою Щебетковский, — ангел мой, Александра Акимовна, не бойтесь!

— Что вам? — спросила тихо Шурочка, все еще держась за ручку двери и не переступая через порог. Ей даже казалось сперва, не заболел ли сильно гость и не требует ли он помощи.

— Александра Акимовна, не бойтесь, не бойтесь, умоляю вас! Оставьте дверь, никто не услышит! Я сейчас свечку зажгу! — Щебетковский чувствовал, как прерывалось у него дыхание.

— Что вам? — еще раз спросила Шурочка.

Щебетковский поймал ее руку, нежно привлек к себе и, повторяя: «Спасите меня, я вас люблю, будьте моей женой», — он сжал Шурочку в своих объятиях. В это время начинало рассветать. Она посмотрела ему только в лицо.

— Вы будете моей женой? — повторил он.

— Буду.

— Поклянитесь мне в том.

— Клянусь вам Богом! — отвечала Шурочка очень наивно и выпорхнула в темный еще зал...

«Дело сделано! Теперь она наша!» — подумал Щебетковский, лег и еще успел заснуть до выхода к чаю.

Торжественно-степенный вышел на другой день Иван Ильич в зал, где уже суетливо раздавал по хозяйству приказания подъехавший незадолго утром Аким Захарыч, — поклонился хозяйкам, поболтал с хозяином, напился чая и велел запрягать лошадей, торопливо уверяя, что пора ехать и что надо еще повидаться с одним барышником, который торгует у него лен. В это время подкатила таратайка с двумя веселыми соседями Акима Захарыча. Все снова разговорились, и Щебетковский просидел еще до обеда. Шурочка при этом сидела как-то сама не своя, перешептываясь изредка о незначащих вещах с теткой и почти не поднимая глаз. После обеда Щебетковский сухо взялся за фуражку и, простившись с Акимом Захарычем, который особенно както на этот раз тепло пожал ему руку, уехал. Шурочка коридором выскочила в сени и сунула ему записку. Садясь в экипаж, Щебетковский прочел: «Я твоя... навеки... Будем потихоньку переписываться... Твоя, милый Ваня... Mon ange! — Жду! А. Г.». После отъезда его она еще слушала продолжавшийся общий разговор. Потом встала, бессознательно дошла до спальни, глянула искоса в зеркало, села боком к окну, на край стула, взяла в рот какой-то листок, медленно вздохнула, губа и угол брови ее дрогнули, крупные слезы выступили из ее глаз, и, громко рыдая, упала она широким и добрым лицом в измятую подушку...

Между тем, неведомо для Антона Степаныча и самого Щебетковского и всех действующих лиц этого рассказа, соседние и более отдаленные языки уже усердно работали. Двоюродные сестры, троюродные сестры, крестницы, кумушки и экономки не жалели ни догадок, ни соображений.

Самые ядовитые пересуды шли уже насчет нового гостя. Сплетались небывалые происшествия насчет его здешней, петербургской и даже тифлисской жизни, хотя в последнем крае он даже и не бывал.

Все уже прямо толковали об очевидно близкой помолвке Щебетковского с дочкой Гончаренка. Один Антон Степаныч ничего не знал.

Едва оправившись от болезни, он был еще слаб и как-то детски робок ко всему окружающему. С первым весенним теплом он стал опять прогуливаться в своем зеленом халате, подпоясанном платком, и в картузе с утиным козырьком. Первый визит был, разумеется, к соседу за реку. Щебетковский принял его радушно, и Антон Степаныч заметил, что он уже кое-что смыслит в хозяйстве, копается в саду и знакомится с приемами и ведением полевых работ.

Вдруг, совершенно неожиданно, произошли два следующих случая. Была в Колтунах ярмарка. Антон Степаныч чопорно расхаживал между мещанством и мужичьем, которое он в глубине своих дворянских убеждений от всей души презирал, и приценялся то к новым ульям, то к стану готовых колес, то к связке луку, готовясь кутнуть и утереть нос целой десятирублевой ассигнации, как услышал свое имя. По площади, между палаток, ехала в крытой бричке грузная и исполинская особа, в которой тотчас Антон Степаныч узнал Прасковью Кондратьевну. Но пани Дженджериха, навьючив весь свой экипаж покупками, так что даже девка ее, сидевшая на козлах, рядом с кучером, держала на коленях какую-то завязанную кладь, узнала его еще прежде.

— А, чертов сын! — кричала она довольно громко, высунувшись из брички. Антону Степанычу при этой выходке показалось сперва, что она пьяна или говорит кому-нибудь другому. И он, смешавшись, стал оглядываться по сторонам. — Нет, тебе, тебе я говорю! — подхватила опять во всю глотку толстая помещица, махая зонтиком и подъезжая к нему.

Он открыл рот и даже в изумлении картуз снял.

— Так это ты над добрыми людьми смеяться думаешь? — кричала сердитая помещица. — И *так* ты ездишь сватать всякую шушваль, всякую дрянь, а сам потом насмехаешься, да и носа не показываешь? Слава Богу, есть чем жить и без вас! Раичка моя не такого еще жениха найдет, как эта прохвостница Гончаренкова. Да и скоро найдет, вот что тебе: полковник один сватается! И еще богатый, и Станислав на шее есть, и не такой шибеник, как твой нюня! Да и ты сам с ним выеденного яйца не стоишь, вот тебе что! Да! Пошел, Дормидошка! — И, плюнув чуть не в самый нос Антона Степаныча, свирепая пани поехала с площади в кругу расступившегося и глазевшего на нее народа.

«Что за притча! — думал старик, оставшись среди ярмарки и озадаченный так, что долго не мог собраться с мыслями. — Что Прасковья Кондратьевна, хотя и почтенная дама, крупна на выражения и любит-таки покричать и показать себя, это всяк знает! Однако же за что такое неуважительное обхождение? Чем виноват я и чем виноват Иван Ильич?»

Не успел объясниться с соседом Фабрициус насчет этой встречи, как подоспел другой случай. Откладывая свое посещение к Щебетковскому, Антон Степаныч однажды пошел с дудочкой. Была отличная перепелиная охота. Сидя как-то в молодом просе, поглядывал он по сторонам и, задумавшись, почти бессознательно сюсюркал в свисток. Вдруг, шагах в пятидесяти от него, у дороги, поднялся изо ржи незнакомый как будто дворовый мальчишка и, осторожно глянув по сторонам, опять опустился в рожь.

— Эй, ты! Кто ты такой? — крикнул старик, поднимаясь в свой черед из проса. — Ответа не было. — Говори же, отвечай! — крикнул еще громче Фабрициус, начиная видеть в этом мальчике и в этом упорстве что-то недоброе, и голос его резко откликнулся по полю, уже захваченному началом сумерок. Ответа снова не было. Бросив сеть, Фабрициус поплелся к замеченному месту, сделал шагов десять в одну сторону и потом накрест в другую. Мальчик, открытый врасплох, выскочил, как заяц, из-под его ног и пустился

бежать. Под мышкой его была какая-то книжка. Подобрав полы халата, старик кинулся вслед за ним. Кочки и бурьян мешали бежать, но мальчик был скоро нагнан.

— Ну, что вам? что? — спросил он довольно дерзко, остановившись перед стариком.

— Как ты смеешь, дрянь! — прикрикнул на него старик и ухватил его за вихор.

— Я не дрянь, а драться чужим нельзя! — И, хватив довольно ловко по руке старика, мальчишка снова пустился бежать.

— А, так ты так! — зашипел уже с яростью преследователь. — Теперь же уж не убежишь! — Скинул сапог с ноги и пустил им в голые пятки беглеца. Сапог сбил последнего; мальчишка запнулся, упал и выронил книжку.

— Ну, ее-то мне и нужно, — сказал Антон Степаныч, — а ты можешь себе идти!

— Нет, вы отдайте книжку! — заговорил покоренный, всхлипывая. — А вы драться не смеете! я барину скажу!

— Кто твой барин? — спросил старик, не отошедши еще от злости и трепетавшими руками раскрывая книжку непонятного языка и содержания, в которую, однако, была вложена записочка.

— Акима Захарыча барина; из ученья взят! отдайте книжку! — За спиной у старика точно что-то полилось или забегали муравьи. Он взломал печать на записке и прочел следующее: «Желанье твое, милый Ваничка, исполняю. Папеньки послезавтра опять дома не будет. Он на три дня уезжает в Побывное. Приезжай; без тебя мне жизнь не в жизнь. Письма твои я прячу. Марфа Захаровна тоже собирается в лес идти за ягодами. Я, значит, буду одна. Не томи меня, покажи себя — приезжай! Твоя навеки, любящая — Александра Гончаренко...» Руки старика сами собой осунулись по туловищу. Лицо вытянулось, и глаза затмились, точно их кто-нибудь задул. Давно ушел и разобиженный пойманный мальчик; давно и солнце опустилось за склон зеленеющего холма. А Фабрициус все еще стоял среди поля,

и огненными строками мелькало перед его глазами известие: «Иван Ильич Щебетковский женится на Александре Акимовне Гончаренко...»

— Как? — повторял на другой день Фабрициус, осматривая свою нетечанку и шныряя торопливо то в домик, то на конюшню, — этот молокосос, этот вертопрах, эта, можно сказать, сволочь, голь, — женится на Шурочке? Да куда же отец глядел?

И кто же, как не сам он, Антон Степаныч, лично, своею особою, хотя и случайно, но все же таки действительно сам привез его и ввел в дом Акима Захарыча. Какова же судьба? Семнадцать лет обдумывать дело и попасться впросак. «Нет! Дело еще не потеряно! Скорей, скорее лошадей! Еду к самому отцу; все открою, все разоблачу! Выведу его на свежую воду. Да и ее, сударушку, распеку порядком!» И Антон Степаныч, торжественно нарядившись, покатил к Гончаренке.

В то же почти время из уездного города почта повезла в Петербург от Ивана Ильича письмо следующего содержания. На конверте: «Его высокоблагородию Карлу Богдановичу Шмерцу, экзекутору такого-то департамента. Милостивый государь, любезный друг и бывший когда-то мой начальник, Карл Богданович. Пишу к вам из собственного моего, дедовского поместья. Край очень живописный и благодатный; страна лени, черешен и вареников. Отставку я получил от его превосходительства, Василия Емельяновича. Передайте ему мой поклон, равно как и всему его семейству. Карьера бумаг кончена. Ремесло пахаря и чумака теперь сменило их. Помните, как мы, уходя из присутствия и покуривая у вас трубочки, подтрунивали над этим чернильным миром. О! вижу вас теперь отсюда: хромые и слепые, толстые и плешивые, в потертых и в новых вицмундирах, чающие движения чинов и орденов, как подбор калек у Силоамской купели, со страстишкой понюхать у соседа щепотку табачку и прочесть, между двумя отношениями, новый листок «Пчелки». Больше я с вами уже не буду переводить канцелярских принадлежностей. Живу теперь привольно, ем, пью, сплю,

веселюсь, разъезжаю, волочусь за дочками соседних помещиков. Кстати, мой друг, Карл Богданович. Я женюсь, женюсь на пышке, такой крупичатой, аппетитной, русой и здоровой, только немножко тяжелой на подъем, девушке. Отец ее — образец старых нравов, но богат и с уменьем жить. Скоро, вероятно, и покончим дело и присоседим ее, голубушку, к своему домашнему обиходу. А теперь, пока, прошу вас убедительно, в ожидании моего брака, отыскать на Выборгской стороне известную уже вам мою былую приятельницу, Мину Антоновну, по прилагаемому адресу. Она, говорят, проживает теперь в бедности. Прошу на посылаемую сумму расчесться с нею, да загладятся старые грехи; а на остальное купить мне ящик лучших сигар. Кстати, сообщаю вам еще забавный здешний случай».

Тут приводился довольно грязненький рассказ о происшествии с исправницей и одним отставным ротмистром.

VII

Маневр

В белом жилете и в белом жабо, с самой суровой и торжественной физиономией, покатил Антон Степаныч к Гончаренке. Лошади были заняты у соседнего священника, страстного любителя пчел и обладателя прехорошенькой молодой жены. Въехал он во двор с громом и с шумом. Акима Захарыча еще издали заметил он на крыльце, в разговоре с павлоградским жидком, покупщиком местной пшеницы и льну.

— А, Антон, — ласково сказал Гончаренко, — ты уже выздоровел? Очень рад! — И, не оборачиваясь, стал пересчитывать поданные купцом деньги. — Вообрази, продал пшеницу по осьми целковых за четверть! Какова цена выпала! Собирал долго, да все и спустил теперь; а вот он еще кланяется и просит, думая, что я задерживаю запас! — Ан-

тон Степаныч, чопорно осадив лезший на уши галстук, глянул исподлобья и видел, что жидок, действительно, кланялся. — Да что, братец, — продолжал Гончаренко, — это только, смеха ради, можно охать у нас на хозяйство! Каковы куши другие наши-то украинские тузы взяли, кто сумел выдержать лет пять и семь цены, не давая много воли своим женам-модницам да дочкам. Вон Хрисанф Михайлыч Прузов продал шестнадцать тысяч пятьсот четвертей пшеницы по восьми целковых и получил в один раз сто двадцать восемь тысяч рублей серебром, а на ассигнации четыреста шестьдесят две тысячи. Ну, что твой сосед, потомок блаженной памяти гетмана Щебетковского? Что, в самом деле, он нас забыл?.. Да и ты, брат, что таким сычом смотришь?..

— Я-с, Аким Захарыч-с... я-с к вам одно дело имею-с, важное, не угодно ли одно дело... переговорить-с...

— Что такое, что такое? Фу, какая у тебя официальная физиономия! Пойдем, впрочем, говори!

Друзья уселись в знакомом уже кабинете. Фабрициус положил на колени шапку, стиснутые в трубочку замшевые перчатки, помолчал и дрожащим от волнения голосом начал:

— Аким Захарыч! Известно ли вам, что на имя, честь и руку вашей дочери посягает ничтожный, малоизвестный человек?

Гончаренко поднял брови, и в груди его послышалось хрипенье...

— Повтори!

— Известно ли вам, что Шурочку сгубили, околдовали; она нежничает, влюбляется, записочки пишет, может быть, на шею цепляется уже всем встречным мужчинам...

— Ну, кому же первому? Говори без обиняков!

— Мальчишка, пройдоха, галантер, полотер, кровопийца, этот-то, мой!.. Как его? душегуб, как его? Да вы знаете...

— Черт тебя, братец, разберет! Говори порядком, — крикнул Гончаренко, — ну! что слюни развесил, хныкать собираешься? Говори порядком!

Антон Степаныч перемялся на стуле, оправил галстук и брякнул:

— Иван Ильич Щебетковский, этот-то самый Щебетковский, этот-то самый потомок гетмана, как вы говорите... Он, он, бестия! Я же его на мою беду и привез сюда! Я же и отогрел на груди у себя змею эту! Аким Захарыч, друг! благодетель! Позвольте! Александра Акимовна пусть позволят, — саблю отточу, кирасу надену, бумаги десть на грудь запрячу, чтоб неопасно было, вызову его на поединок и убью!.. Убью, клянусь, убью!

Аким Захарыч встал, набил трубку, отер капли пота на лбу, сел опять рядом с другом, нагнулся ему к уху и сказал:

— Добряк ты мой, Антон, спасибо тебе; только я все это уже знаю, и сам не прочь! Подождем! Открытого предложения еще не было; а каша давно заварилась...

— Да помилуйте, да как же это: пройдоха, мальчишка, галантер, полотер, губитель! — вскрикнул Фабрициус и даже отскочил.

— Ну, ты не бесись на него, Антон, а то мы поссоримся! Он, по-моему, добрый малый, умный, и именьишко есть, хоть небольшое, а все-таки есть! Какого же еще нам князя искать?..

Фабрициус поник головой, вздохнул и замолчал.

Через полчаса он уже сидел на любимом местечке, в горенке Александры Акимовны, и отпускал шуточки и намеки на сердечные склонности рода человеческого; комнатные девки работали вокруг большого стола новое белье барышне и тоже посмеивались между собою. «Вот, тут бы поскорее гербики нашить *аз* и *щя!* — сказал Антон Степаныч, ткнув пальцем в воротник скромной сорочки. Шурочка так и сгорела. Казачок внес на подносе фляжку с водкой и закуску. Старик выпил, хотел что-то сказать особенно сладкое, улыбнулся, нос его сморщился, веки дрогнули, и на губу его сбежала крупная слеза. Над кроватью Шурочки висела подержанная, желто-фиолетовая гитарка Марфы Захаровны. На этой гитаре смолоду еще тетенька

любила играть в часы печали. Антон Степаныч проворно сдернул ее с гвоздя, обтер обшлагом пыль, откашлялся и дребезжащим голосом запел сочиненный им когда-то при рождении Шурочки известный кант:

В честь россиянки прекрасной
Пойте, пойте гимн согласной!

Песня до того расстроила старика, что он разрыдался, встал, сказал: «Дочь моя, Александра Акимовна. Шурочка! поздравляю вас... тебя... а впрочем, выходи за него замуж! он добрый человек!» и убежал из ее комнаты.

По уходе его Шурочка села к столу, медленно склонилась к шитью, медленно вздохнула, и мысль ее понеслась далеко-далеко. А фрейлины ее затянули свадебную деревенскую песню.

Перекусивши и еще выпивши не одну рюмку знаменитой наливки «попадьи» с самим Акимом Захарычем, Фабрициус козырем взобрался на нетечанку и снова помчался к Калиновской усадьбе. Пара пегашек священника только пофыркивала. «Эх, туз ты, стрела, проноза! Эх, молодой же ты человек! — говорил про Щебетковского сам с собой Фабрициус. — Ведь вот пойди же ты с ним; возьмут да и завоюют сразу!»

Лошадки в пене и в мыле примчали Антона Степаныча к крыльцу Ивана Ильича.

— Дома барин?

— Никак нет...

— Где же он?

— Только что уехали.

— Куда? быть не может!

— В город-с. В городе ярмарка. Должно быть, платье заказывать; говорят, новый портной из Киева приехал, или деньги в казначейство взносить!

Старик тревожно взглянул на лошадей.

— Что, брат Ваня, довезут? а?

— Куда?!

— В город-то, вдогонку?

Верзила-кучер, озадаченный непривычным наездничеством Фабрициуса, искоса посмотрел ему в нос, потом на ноги и переложил вожжи из рук в руки.

— Как не довезти. Довезут: чай не обывательские!

— Ну, так жарь ее, брат Ваня, откалывай во все лопатки; я тебе пятиалтынный дам на водку!

Запалил долговязый священников кучер во всю ивановскую, и полетел старик в город, вдогонку за Щебетковским. До города было опять без малого верст семнадцать. Солнце садилось уже, когда он догнал соседа, почти у городских ворот. Бойко выскочил Антон Степаныч из таратайки, обмахнул платочком пыль с сапогов, подбежал к Щебетковскому, умильно потрепал его по колену и сладко-пресладко стал смотреть ему в глаза. «Радуйтесь и веселитесь!» — хотел он уже сказать напрямик. Но как выразиться так откровенно и еще при двух кучерах? А французского языка на этот случай не хватало. «Вене, же ву зан...» — только и вертелось в уме.

— Что вы, Антон Степаныч, куда это вы?

— Я тоже, почтеннейший Иван Ильич, тоже — портной новый из Киева — обносился — надо брючки, и сюртучок, и еще кое-чего!

— Да вы что-то особенно радостно смотрите, и жилет на вас белый, и жабо; фу ты, пропасть! Эх, берегитесь: уж не шашни ли с какою-нибудь горожанкою завели?

— Э-э! помилуйте-с, какие шашни-с! Так, в городе захотелось побыть. Не хотите ли в одном номере для экономии остановиться?

Щебетковский принял это предложение. Старик уселся в свою таратайку, Ваня стегнул лошадей, и приятели потащились, утопая в песке городских улиц. На лице старика играла улыбка. «Постой, погоди, — думал он, — объявлю ему всю правду в городе; вот, я полагаю, обрадуется, отцом родным будет звать, десять десятин лугу и пасеку всю подарит за труды! Что ему в ней тогда, как тысячником сделается!» — На луг и пасеку, как видно, он сильно рассчитывал. От взяток он тоже, как видно, был не прочь.

Остановились приятели в городе, в одном номере. С пути Щебетковскому захотелось чаю. Отчего же не напиться с соседом чаю? И дует старик чуть не пятый стакан.

— Ну, как же ваше здоровье теперь, Антон Степаныч?

— Слава тебе, Господи, слава тебе! Малый, рому или французской водки! Не хотите ли рому?

— Да вы кутите, Антон Степаныч!

— Ничего-с, ни-и-чего-с; для друга, для дружка дашь и сережку из ушка! Малый, рому!

И, накрыв дрожащею, морщинистою рукою чашку, старик сам отправился в буфет искать сердцебеснующего напитка. Копался он долго. Соседу его, как видно, надоело ожидать.

— Где Иван Ильич? — спросил Фабрициус, возвратясь из буфета с какою-то мутно-бурою флягой. Вопрос адресовался к половому, который, яростно дуя и плюя, чистил чей-то сапог со шпорой.

— Из энтого номера?

— Да!

Половой глянул против света на сапог и, прищурясь, ответил:

— Пошли на бильярд к Каплуновичу играть!

«Ишь ты, а меня и не подождал!» — подумал с досадою старик. Зная, что *Каплунович* — такое уже место, откуда приезжему, а особенно холостяку, трудно вырваться скоро, он со вздохом взглянул на припасенную флягу, отправился один в свой номер, смастерил себе, в отместку, порцию забирательного пуншу, закурил трубочку, сел с ногами на окно и стал дожидать приятеля. А на душе-то так весело, что и не сказать словами. «Боже ты мой правый и единый, — думал Антон Степаныч, сидя на окне, — покрой ее святым покровом твоей Небесной Матери; отгони от нее горе злых и печаль лукавых! Дай счастье ей, верной рабе дома твоего! Господи, Господи!» — И он почти вслух молился.

Трактир Каплуновича, куда между тем ушел Щебетковский, кипел народом. Это был аристократический трактир,

содержимый вдовою шкловского негоцианта из иерусалимских помещиков, носившей имя Хайки Абрамовны. Притон всех ремонтеров, проезжих гусаров и туземных гуляк из дворян и купцов, этот приют закопченных трубочным дымом зал и коридоров во время ярмарки особенно оживлялся. Иногда отсюда выходил с разбитым носом сам местный городничий. А когда проходили через город уланы, то отсюда в окно, к счастью только второго этажа, обыкновенно вылетал на улицу без галстука, с колодою смятых карт в руках либо весьма почтенной наружности член уездного суда, либо, вследствие какого-нибудь карточного фокуса за штосом, кто-нибудь из самих господ уланов. Выпивши у буфета рюмку бальзаму, Щебетковский закусил огурцом и вошел в общий зал, из которого три двери вели в три отдельные бильярдные комнаты. По всем углам были кучи посетителей, табачный дым стоял столбом. Лампы только что начинали зажигать. Пробравшись за купеческими и дворянскими спинами поближе к одному из бильярдов, Иван Ильич задумчиво стал раскуривать папироску, сравнивая мысленно это грязное и бедное место наслаждений с зеркальными ресторанами Невского проспекта.

— Ба! Щебетковский! Говоруха! Говори-щебечи, банк мечи! Какими судьбами?

— Силентьев, Вася!

И приятели-соученики обнялись дружески, на время прервавши общую игру в алягер. Щебетковский, опомнившись от первой встречи, стал смотреть на былого товарища, тщетно стараясь угадать в потертом зеленом вицмундире его, в небритом подбородке и в красно-багровых глазах памятную голубую курточку с белым воротником, детски-нежные щечки и светло-синие глазки некогда близкого ему соученика Васи. Дело непостижимое! Отставной и недоученный лицеист Василий Силентьев когда-то действительно пользовался особым расположением другого мальчика, Ивана Щебетковского, слыл в лицее за отличного товарища и лихого малого, отличался необыкновенною памятью, страшною

ленью и сонливостью на уроках и дикою страстью к самым буйным, отчаянным похождениям в ущерб добропорядочному поведению. Изломанные столы и скамейки, изрезанные переплеты книг и платье, разбитые стекла в окнах директора и надзирателей, подожженные волосы у сонных сторожей, чернила, опрокинутые на платье особенно щегольского учителя географии и, наконец, целый ребяческий бунт, устроенный в наказание учителя латинского языка за то, что последний настоял перед директором высечь ученика старшего класса, — были слабыми памятниками пребывания в лицее этого Силентьева. Многие из более впечатлительных товарищей его, бывшие потом либо в полках, либо в канцеляриях, долго еще отыскивали имя его в газетах, детски-преданно ожидая, что вот беспримерный друг их отличится где-нибудь на войне, при взятии штурмом недоступнейшей батареи, или прославится в литературе, или затмит всю предшествующую известность их школы каким-нибудь проектом или решенным трудным делом на гражданской службе. Но имени *Силентьева* не попадалось в газетах, и сам он совершенно исчез из глаз горсти былых друзей детства, рассеянных по свету.

Щебетковский глядел на него и не узнавал его. Что значат семь-восемь лет разлуки! Знаменитый коновод школьных энергических предприятий стоял теперь перед ним оборванный, неумытый и нечесаный. Ворот грязной рубашки выбивался из-под бурого шелкового платка на красноватой шее. Сапоги с загнутыми длиннейшими носками, работы уездного мастера Васюка Васюченка, выказывали в объемистые дырки тело без чулков. Он свирепо косился на шар, ерзая кием по руке и кашляя тем кашлем здоровенных детин из отставных кавалерийских офицеров, который называется «как из бочки», — вообще был, кажется, не прочь убить муху, втесаться в прихвостни к богатенькому барину, лишь бы пообедать на чужой счет, смотрел неприязненным тоном на все, что отзывалось порядочным обществом, и водился уже несколько лет сряду с одними самыми темными и отпетыми забулды-

гами. «Мы, браэц, простяки, батраки, чумаки; мы, браэц, черррнорррабочие!» — говорил он, дерзко глядя в глаза всякому новичку, на уездных пирушках и попойках. В этом самоуничижении, впрочем, укрывался им особый ухарский оттенок: дескать, сволочь ты, барчонок, а вот мы, по пословице, и неумыты, да веселы и сыты! Окончательно сказать, Силентьев, изгнанный некогда, при общем полусожалении, полуторжестве товарищей, из лицея, потом юнкер и с грехом пополам офицер какого-то пограничного полка, наконец — судейский протоколист, изгнанный вскоре и тут из общества смиренной канцелярии, был уже просто грязноватый уездный побродяга и дармоед, еще добрый сердцем, но окончательно растленный провинциальною тиной, нечистый на руку и неофициально, под углом, не раз битый за кое-какие чересчур уже крупные кляузнические проделки.

— Так ты, дружище, здесь служишь? — спросил его Щебетковский, не без тяжелого, грустного чувства, продолжая осматривать жалкую ветошь его мутно-серого наряда и измененные черты его лица.

— Да, брат кобелишко, здесь! Что, небось, забыл, как тебя звали в лицее кобелишкою? Прыток ты был и больно труслив! А? Каков шар? Смотри! Аррр... А мы так, брат, тянем лямку, в чернилах купаемся; а ты, значит, все на высших точках, сюперфлю-вассерфлю пробиваешься? — И, перекосясь лицом и всем туловищем, он стукнул громко по полу кием и стал в дерзкую драматическую позу.

Два сидевшие пехотные офицера переглянулись при этом между собою и ушли, а один купец вдруг рассмеялся, точно из ружья выстрелил, и также пошел, махая рукою, в буфет.

— Фи, нельзя! с фами нельзя, у фас шулерский кий и под руку говоришь! — сказал с сердцем партнер Силентьева, низенький человечек с огромной головой и с кривыми ногами, бросая на бильярд кий и уходя. — Меня предупреждаль, да я не профериль; шулерский кий, шулерский кий, и сами фи шулер! Господа, это шулер! партия не в счет!

— Ха-ха-ха! у-у-у! — затрубил вслед уходящему немцу Силентьев, которому, очевидно, такие отзывы были не в диковинку.

— Хочешь, Щебетковский, сыграем по червонцу в алягер, вдвоем; да закусить вели подать!

— Я в бильярд не играю, а закусить закусим! — И он заказал довольно отборную закуску.

— Ну, по два целковых сыграем!

— Нет, не могу!

— Ну, по гривеннику!

— Да не могу же!

— Ну, я буду и за тебя, и за себя играть! — Силентьев выставил и ловко пустил по красному вдогонку белого.

Пошли расспросы о старине и о старых товарищах.

— Ну, а ты, чем тут служишь?

— Я? Служил в суде, да уже теперь не служу; по маслу, браэц, спустили! В деле Южакова с Сысоевым покривил душою! Знаешь, любовишко завелась; ну, и прихапнул, знаешь, сам-вен-сен-рубль ан-аржан; а секретарь Маслов и донес Борису Карпычу, судье, — ну, и спустили по маслу, этак, знаешь — фюйть! — И, наставивши ладонь, Силентьев свистнул на ветер. У Ивана Ильича даже озноб пошел по спине от такой бесцеремонности былого товарища...

— А что, душа, скажи ты мне по чистой правде: служа здесь в суде, узнал ты здешних помещиков?

— Как свои пять пальцев!

Щебетковский подумал, взял кий и стал играть с Силентьевым, причем из ударов его видно было, что бильярд не совсем ему незнаком.

— Хорошо: коли ты знаешь окружных помещиков, скажи, знаешь ли ты Гончаренка?

— Акима-то Захарыча?

— Да!

Силентьев с громом посадил желтый шар в среднюю и остановился.

— Маненько знаем, — проговорил он.

— А что, как велико имение этого Гончаренка? — спросил Щебетковский опять.

— Фю-фю-фю! — засвистал Силентьев, целясь опять в желтого и поднимая ногу при этом в уровень с ухом.

— А что?

— Да было имение значительное, спроси хоть кого хочешь!

— Как было? А теперь?

— Теперь не совсем! не совсем!

Иван Ильич почувствовал, как бы кто-нибудь стал ему от затылка вдоль спины лить холодную воду.

— Что ты за вздор несешь?.. Ведь он был же откупщиком и страшные куши нажил?

— Так, дружище, так; был и нажил! На откупах нажил, а на подрядах все спустил, да еще чуть ли и не приплатился; селитру вздумал поставлять, а после хлеб и дрова! Его и вкатили в полторы сотни тысяч убытку!

— Да как же это так?! Полно тебе! Ведь у него четыреста тысяч чистого капиталу лежит в ломбарде. — Кий в руках Щебетковского, отставленный от бильярда, дрожал. Сам он был белее стены.

— Четыреста тысяч?! — С этими словами Силентьев тоже оставил кий. — Ну, уже, брат извини; я уже дело-то это почище тебя знаю; я, а после Прокопенко и просьбу ему писали, как тянули его с залогами к расчету. Кроме деревни, у него ничего не осталось; да и та принадлежит не ему одному, а с сестрой — там дева безволосая такая кислая живет, Марфа или Мавра прозывается... Ну, а кроме ее — кроме этой деревни — вот еще что у этого-то Гончаренка есть, коли хочешь знать: на сто десятин соловьиного свисту, да на двести десятин заячьего бегу, да на четыреста или и больше тысяч снетков в Зунде и в Бельте с немецкими осетрами торговлю ведут!.. Человек, что же закуску? человек!.. Вот тебе и состояние его!

Щебетковский очутился в положении преступника, которому прочли приговор. Силентьев межу тем под его ухом

бил по шарам, сердился на полового, что тот не несет закуски, и вдобавок ни с сего ни с того пропел петухом, причем из соседней залы, снова раздосадованные его выходками, выглянули два сердитые пехотные офицера и немец, звавший его шулером. Закуску принесли. Силентьев осушил сразу пять рюмок настойки, заедая ее селедками и икрой, потом принялся за котлеты, потом за соус, там за жаркое, а на конец опять за икру и за настойку. Щебетковский же как замолчал и замолчал. Водки не пил, ничего не ел; рассеянно отвечал на слова Силентьева, рассеянно расплатился с половым. И когда, прощаясь с Силентьевым, почувствовал на губах своих прикосновение жирных и грязных губ его и услышал шепотливую просьбу его: «Же ву при, Говоруха, дай мне взаймы депозитку! Просто, пароль донер, не на что табаку купить!» — тот не отказал и дал ему пятирублевую бумажку. Щебетковский давно шел по темной уже улице города, а Силентьев все еще стоял у бильярда, потупив голову и рассматривая бессознательно бумажку. Такой суммы давно уже, очень давно не было разом в руках загулявшего бедняка...

«Как? Закабалить себя за такой пустяк? — думал между тем Иван Ильич, шибче и шибче шагая впотьмах. — Деревня одна, да и то не вся его, а часть! Ах, я дурак, дурак! Ах, ослиная голова! Что же я думал, где же глаза были? Знакомый Гончаренка священник подтвердил слова Фабрициуса о богатстве Акима Захарыча, упомянувши, что и у мамышевского винокура его деньги были, и порядочный куш взял у него для оборотов еще сгонщик Замуруев, Петр Васильич. Да и тот геморроидальный, тоже коротко знавший Акима Захарыча, сказал: «О-о-о! это целая ротшильдовская компания!» И другие подтверждали мои расспросы! Прямо же нельзя было расспрашивать и производить справки! Неужели же они все сговорились и надули?» — И Щебетковский не знал, что делать.

Бессознательно вошел он в номер темной гостиницы, бросил судорожно шапку и перчатки, потянулся, зевнул, уселся

перед самым носом Фабрициуса, положил ногу на ногу и нервически спросил:

— Ну-с? что же вы, мой несравненный, без меня делали, а?

Антон Степаныч в свой черед, только того и ожидавший, быстро подмахнул стул еще ближе к Щебетковскому, взял его за колени и необыкновенно сладким голосом сказал:

— Итак, Иван Ильич, час настал; радуйтесь и веселитесь: не всегда ходят тучи по небу, бывает...

С этими словами Щебетковский неожиданно захохотал в самое лицо старика, судорожно скрестил руки на груди и, глядя на него лихорадочно блестящими глазами, перебил:

— Бывает все на свете, почтеннейший Антон Степаныч, а досаднее всего то, что иногда черепахи надувают орлов, а лягушки журавлей. Баба бабой и останется...

— Что вы говорите, я вас не понимаю?

— То... что портной испортил мне целую штуку сукна! Но утро вечера мудренее. У меня голова что-то болит! Оставим беседу до завтра!

С этими словами Щебетковский разделся, лег, повозился еще на постели, дождался, пока разделся и его соквартирант, и погасил свечку.

«У-у! да какой же ты зубатый: должно быть, на киях проигрался! Что же? Время не уйдет, расскажем и завтра!» Наутро, после пуншу ли или после тревог предыдущего дня, старик проснулся поздно.

— Где Иван Ильич? — было его первым вопросом священникову кучеру, который, как видно, давно уже вертел носом в передней, ворча над его чемоданом. Кровать Щебетковского была пуста. — Где Иван Ильич? — повторил снова Фабрициус, поднимаясь на постели, с перекошенным от сна лицом и странно охрипшим голосом.

— Уехали! — ответил сурово кучер. — Велели вам сказать, чтоб вы за ним не ездили; а то, говорит, надоедаете!

— Как, что? Что ты врешь? — И негодованию старика не было границ. Щебетковский, однако, расплатился за номер, чай, пищу людей и даже за пунш и за корм лошадей Антона

Степаныча. Старик уселся в таратайку и, повеся нос, направился обратно восвояси в каком-то неопределенно-грустном состоянии духа. Старик впервые своим девственно-непорочным сердцем чувствовал что-то затаенное, недоброе в поступках Щебетковского. Но что это было, он еще не знал...

А между тем в доме нового лица, дальнего соседа Говорухи, Тентерь-Отребинского, в тот же день сидел нежданный гость. Этот гость был Иван Ильич Щебетковский. Но прежде, нежели мы скажем, зачем он сидел у него, объясним, кто был Матвей Леонтьевич Тентерь-Отребинский.

VIII

Тентерь-Отребинский

Далекий сосед Щебетковского, он проживал от него верстах в двадцати, и они почти не знали друг друга. «Кто такой там живет?» — спрашивали проезжие у окрестных мужиков, указывая на темную чащу Суходольского леса, откуда глядела красная верхушка его дома. «А Бог его знает, кто он такой; пан живет, да и только!» Более ничего не узнавали проезжающие, хотя Матвей Леонтьевич Тентерь-Отребинский вообще был человек простой и по-своему́ гостеприимный. Судьба его была долго притчею в околотке.

В детстве он учился отлично, беспрестанно привозил своему крестному отцу и благодетелю похвальные листы; платье содержал в чистоте, говорил тихо, сидел тихо, сморкался тихо и вообще был неглупый и сметливый мальчик. Крестный папенька, принявший его и воспитавший сиротою, постоянно удостаивался ото всех почти вслух при нем произносимой похвалы: «Вот благодетель так благодетель; что он ему? а между тем какие заботы, какие попечения!» Сперва благодетель готовил его просто для какого-то служебного места, изредка только заставляя его набело переписывать бумаги: то частное письмо к кому-нибудь покрасивее, то форменное прошение.

Потом, возымевши мысль, что коммерция более дает выгод в жизни, стал готовить его к себе в приказчики, думая про себя, а еще чаще толкуя своим приятелям: «Вот бедный сирота, голыш, к чему он будет увеличивать только собою толпу взяточников? У меня же ему будет попроще приловчиться к житейскому, меня успокоить и себе скорее нажить кусок!» Университет, куда приемыш определился было изучать медицину и где с успехом уже разбирал тычинки и пестики, по настоянию крестного отца был оставлен. Новый приказчик горячо принялся за конторские счеты, посевы и покосы и на новом пути решительно стал пожинать лавры. «Э-ге-ге! да это просто находка: трудолюбив, честен, кроток, смирен и исполнен страха Божия и уважения к старшим. Не женить ли его на Агафье Семеновне?»

И добросердечный благодетель в третий раз задумал изменить жизненный путь своего питомца. Он положил женить его на весьма сдобной, но уже не первой красоты особе, проживавшей двадцать лет в его усадьбе, во флигеле, в качестве домоправительницы, а для большей верности мужа к жене и обратно, мимо всех своих родных, положил зачислить за питомцем пред свадьбою, при жизни своей, посредством дарственной записи, все свое имение, бывшее у него благоприобретенным. Питомец согласился. После келейного семейного пира чета была помолвлена; помолвка, по настоянию заботливого благодетеля, скреплена была торжественным поцелуем. Через месяц имение было зачислено законною дарственною записью за женихом, и последний введен, в глазах растроганного благодетеля, во владение. «Ну, Матюша, ты теперь богат; все твое, что было мое! Корми же только меня до гроба! Кормите, дети! Будете кормить?» Дети, то есть двадцатилетний жених и тридцатилетняя невеста, объявили, что будут...

Да, впрочем, крестный папенька толковал о прокормлении только так, ради красоты слова. Бил же он наверняка и знал, что рыцарски-стойкого Матюшу не подкупишь ничем и что честь его, в денежных и всяких делах, несокрушима. Пере-

шел Матюша в дом благодетеля (прежде он жил тоже во флигеле) и, пока готовились к свадьбе, стал хлопотать и суетиться еще более. Но вышел непредвиденный случай. Сердобольный крестный папенька, в молодости буян и кутила, но вообще скупого и тугого характера, через полгода после совершения дарственной записи как-то, в пылу заносчивой перебранки, шумной бури самовластия, каковою он иногда имел обычай угощать своих домашних, ни с того ни с сего, не пожалевши прежде целой кучи оскорбительных упреков и угроз, развернулся да и дал полновесную пощечину своему крестнику. Даже Агафья Семеновна при этом привскочила и сказала кислым своим голосом и в нос: «Прокофий Парфеныч, как тебе не совестно!»

Матюши не узнали. В одно мгновение он помертвел. В первом бессознательном движении он хотел было куда-то бежать. Потом обратился к Прокофию Парфенычу и, моргая воспаленными глазами и всхлипывая, сказал: «Я благородный человек и имения вашего до смерти вашей не возьму. А вы, папенька, после этого подлец! Так за даровой хлеб не помахивают; подавитесь им сами, а не я, — а ко мне теперь и не подходите!» «Что ты, что ты, Матюшка, с ума сошел?» — вскрикнул было опомнившийся благодетель. Но Матюша, как некая кара высшая, явился неумолимым. Мерными, быстрыми шагами отправился он в старую баню в саду, растворил ветхую дверь, на посланного за ним лакея крикнул: «Вон отсюда! Знай, что это место теперь мое, и вы сами мои!» — заперся да ровно семнадцать лет и не выходил оттуда. Оброс волосами, пожелтел и высох, как пергамент; корни, как говорится, пустил в своей конуре и не вышел оттуда ни разу, в то время, как все имение и превосходный дом принадлежали ему по праву. «Мне твоего куска не нужно», — говорил он крестному отцу и сдержал слово. Семнадцать лет принимал, говорят, пищу в окно, спал на бараньем тулупе, читал одни святцы и в болезнях отвергал лекарства.

Обидчик через день уже одумался окончательно и страшно перепугался. «Что, как он возьмет да и выгонит

меня отсюда? Теперь ведь он полновластный хозяин: второпях-то я прежде и забыл его женить! Как быть?» Пошли совещания. Прокофий Парфеныч сделал несколько визитов к местным юристам и властям. Происшествие в его усадьбе огласилось. Его утешали; но роковая баня не давала ему покоя. Оно и действительно: крестник, пожалуй, и не требовал от него ничего. Да ведь он *мог* потребовать, *мог* каждую минуту вышвырнуть его из имения со всею его челядью. А тогда одно оставалось на старости лет: ходить по миру с сумою. На Агафью Семеновну мало было надежды. Наступил какой-то праздник и с ним какой-то торжественный день в былой жизни его усадьбы. Прокофий Парфеныч оделся понаряднее, пригласил местного духовника и, оросивши лицо слезами, с причтом отправился к бане. Дверь отперли. «Крестник, Матюша! Матвей Леонтьевич! Я к тебе пришел; прости меня, виноват я перед тобою!» — так сказал старик и опустился перед затворником на колени. Крестник, желтый и страшно исхудалый, как мумия, встал медленно с сырой, подгнившей кровати, покрытой полуистлевшим тулупом, поклонился перед образами, тоже заплакал, однако же ответил: «Бог вас простит, Прокофий Парфеныч; имения вашего я не возьму, пока вы живы; живите в нем мирно и счастливо! Но меня уже вы не увидите; нам вдвоем не житье на свете, и нет между нами отныне ничего общего, хоть и пропаду я в этой клетке, как собака, не сойти мне с этого места!»

Действительно, Прокофий Парфеныч прожил после того еще, как сказано, почти семнадцать лет, не без тревоги, однако, поглядывая на баню, откуда мог ежечасно выйти настоящий владелец, только через первые десять лет своего заточения однажды законно напомнивший о своей личности суду, чтобы не пропустить десятилетней давности. Прокофий Парфеныч скончался. Незадолго до него скончалась и Агафья Семеновна, оставшаяся безбрачною. Едва старый помещик испустил дух, Матвей Леонтьевич узнал об этом, вышел на воздух, шатаясь в полуобмороке, дошел до кабинета, принял ключи от столов и сундуков, и гонцы полетели

от него во все концы. Намека на прошлое как не бывало. Все думали, что в странном наследнике давно уже наглухо вымерли все чувства, все способности ощущать радости, счастье, желания, все средства обонять, осязать, видеть, слышать, вкушать, словом — жить. И все ошиблись. Гонцы привезли цирюльников, портных, сапожников, целую кучу лекарей и чиновников. Деревня была немалая, а скупой покойник оставил еще под спудом не один мешок с целковыми. Было чем выплатить за свое преобразование. Мигом выбрили Матвея Леонтьевича, причесали, умыли, одели по последней моде с ног до головы, написали ему целую кучу рецептов для поправления здоровья и прошений для приема имения во владение, которым наследник, как сказано в прошении, не владел лично по болезни, и надавали всяких свидетельств, с печатями и рукоприкладствами. Гости съезжались, дверь растворилась, и в зал вошел новый владетель села Голенищева-Червонного, Матвей Леонтьевич Тентерь-Отребинский, — настоящая фамилия бедного приемыша, род которого вообще был из старинных родов того околотка. Лица гостей были в недоумении, как встретить его: улыбками или слезами? Покойник, под богатым парчовым покровом, лежал в столовой галерее, где над ним читали и плакали, кому следовало читать и плакать. Стройный, черноволосый, несколько смуглый, новый хозяин, хотя был слегка слаб и мало говорил, обворожил всех приятностью своих манер, белизною белья с бриллиантовыми запонками и баснословно роскошным поминальным обедом. Старика покойника похоронил он с большим почетом, раздал богатую милостыню на погребении, одарил духовенство белое и черное, а также и старых слуг покойника, которых, впрочем, тут же счел долгом спровадить во все концы посредством паспортов и отпускных. Но сам он не проронил ни одной слезы ни в церкви, ни на могиле, ни на прощальном обеде. Гости разъехались. И только подслеповатый дьячок церкви Голенищева-Червонного уверял впоследствии, что слышал, под вечер похоронного дня, когда гостей уже не было, как кто-то во ржи, за садом,

жалобно и ревмя ревел, а потом оттуда поднялся будто бы новый барин Матвей Леонтьевич.

Нельзя сказать, чтобы Тентерь-Отребинский был вполне хомяк и сидень. Ни он ни к кому, действительно, не напрашивался, ни у него не толкалась с утра до вечера уездная челядь. Зато уже если он давал званые обеды и вечера, то последние надолго оставались в умах окрестных жителей. Хозяйство и все дела шли у него отлично. Он не суетился и не метался ни в поле, ни за кабинетным столом. А тысячи отлагались к тысячам, и ни он, ни кто другой не знал, кому достанутся все эти тысячи, потому что Тентерь-Отребинский был совершенно безроден и жениться не располагал. Богачом его назвать — было мало, потому что богачей и без него довольно считалось в окружности. У одного было несчетное количество десятин земли, у другого крестьян, у третьего лесу. У него же и того, и другого, и третьего было множество, ко всему — уже и вдобавок не мнимых, как у Гончаренка, а настоящих было у него, как говорили знающие, ровно пятьсот шестьдесят тысяч серебром. Увы! в уездах суждено большею частию прославляться одним таким состоянием, каковы состояния доброго, но неосмотрительного Гончаренка и ему подобных. Отребинский держал отличного повара, которого сперва обучил на кухне местного генерал-губернатора, потом даже на кухне какого-то министра, отличавшегося гастрономическим вкусом, и, наконец, при одном гениальном парижском ресторатope. Ел он умеренно, но изящно, в высшем смысле этого слова, и всегда почти один. Гостей сзывал он разом уже на большие званые обеды. Пил отборнейшие вина. Носил самое тонкое белье и первейшего вкуса и моды платье. Годы самовольного заточения и поста, казалось, должны были убить в нем органы гастрономических чувств. Но было наоборот. В еде и питье он был так же молод и артистичен, как самый даровитый юноша, и, несмотря на свои почти сорок пять лет, когда гастрономы уже теряют драгоценную свежесть позыва к пище и к питью и стано-

вятся, в большей или меньшей степени, обжорами, находил еще, что в числе здоровых и положительных благ житейских он ничего не знает выше хорошего аппетита. Дамы несколько его боялись и мысленно, хотя совершенно напрасно, считали просто грязным человеком.

Дел спорных всякого рода он вообще избегал; от своих отплачивался, а другим говорил: «Господа! Слезы, вздохи, излияния родства и дружбы, — все это вздор. И вам хочется имение получить, и вам. Бог вас знает, кто из вас прав, кто виноват по совести; ну, а на деле вы обладаете правом законной внешности, а вы нет; ну, и концы в воду! Счастье счастливому и горе дураку!» Резкие суждения ему прощались. Соперников по силе свободы слова и независимости положения в уезде у него не было. Уважая долг общественный, он не подпадал ни единой пене, ни единому взысканию. Вдобавок ко всему сам он ничего особенного не искал, потому что почти все имел. «Я не ищу, — говорил он, — у ближнего ни осла его, ни скота его, ни рабы, ни рабыни его; не ищу, наконец, и жены ничьей, не потому, чтобы принадлежал к глупейшей секте холостяков, а просто потому, что не люблю женщин! Везде, — говорил он, — во всех чувствах и лакомствах нужны только две вещи: здоровье и вкус. А здесь я отстал: под пятьдесят лет трудно влюбляться! В карантине моем состарилось же у меня и сердце. А коли ум бодр, да сердце немощно, то брака быть не может!» — И он мирно проживал в лесной глуши, в своем зажиточном Голенищеве-Червонном. Мужики его благоденствовали, почти не видя его, до того, что окрестные чужие мужики, как сказано уже, даже не знали его и по фамилии. Дела его текли как по маслу. Капиталы его обращались и росли в конторах столичных откупщиков, в двух или трех акционерных обществах и дома кое у кого совершенно незримые. И никто не мешал ни наслаждаться свободою, ни со вкусом есть и пить Матвею Леонтьевичу Тентерь-Отребинскому, сколько его душе было угодно. У него-то сидел в роковой день, по отъезде из города, где

узнал о ложности мнимого приданого Шурочки Гончаренко, Иван Ильич Щебетковский.

Матвей Леонтьевич принял его сухо, но вежливо. На ярко отполированном палисандровом столе обеденной комнаты, отделанной под лепной лакированный дуб, с большим, постоянно горевшим камином, стоял сервиз с закуской и винами, пробки которых украшались серебряными куколками Наполеона и Петра Великого. Красивые лакеи в ливреях и казаки стояли у дверей.

— Вы изволите знать Акима Захарыча Гончаренко? — спросил Щебетковский.

— Как же-с. Как не знать. Я мало с ним знаком, видел его раза два и жалею, потому что, как слышал, это предобрый человек! Говорят, он большой поклонник Украйны и всеми силами старается поддержать ее старинные обычаи?

— Да, это правда, действительно правда... но...

— Говорят еще, наливки у него необыкновенные?

— Истинная правда, и превкусные. Только род его не слишком древний, далее екатерининских времен не восходит. А вот мой род, — если, Матвей Леонтьевич, вам любопытно знать, — идет по прямой линии от знаменитого гетмана украинского Полуботка, который погиб в Петербурге!..

— Может ли быть? Как это любопытно! Это ваш предок! — И хозяин с увлечением пожал руку Щебетковского. — Я в последнее время очень много читал старую историю Малороссии и, не скрою от вас, очень уважаю память вашего предка. Вы должны им гордиться. Так, точно так! Он умер на чужбине!

— Да; но его прах последующие потомки перенесли в теперешнее мое село, где я живу и единственно им владею...

— Очень приятно, очень приятно. Я сам хотя бедного происхождения, но также украинский дворянин и высоко чту это достоинство! Жалею очень, что не женат. Первым делом моим были бы хлопоты об устройстве майората, для поддержания нашего рода в моем лице!

Беседа на минуту прекратилась. Слуги приняли закуску и ушли.

— У меня к вам, Матвей Леонтьевич, есть просьба! — произнес, помолчав, Щебетковский.

— А! вы меня ловите на слове? Извольте, согласен и не отказываюсь от обещания. При нашей встрече у предводителя, в прошлую осень, я, точно, сам вызвался вам на одолжение. Но помните ли вы... Иван Ильич, кажется?

— Так точно, Иван Ильич.

— Помните ли мои слова? Я говорил: мое одолжение вам будет первое и последнее!

С этим словом странный хозяин Щебетковского несколько задумался и еще прервал общее течение речи такими словами:

— В дни моего бедствия, ничтожный и скованный собственною прихотью, я много страдал. Я вам покажусь странным; но то, что я выработал в себе, я никому не отдам. Я выработал следующую мысль: лучше свободы я не знаю ничего! Говоря без тонкостей, я живу, как знаю и как хочу. Ни в ком не нуждаюсь и никому, по правде, не нужен. Откровенностей и исповедей в преданности, а особенно в чувстве дружбы никому не делаю, потому что думаю так: иногда откроешь душу, а туда возьмут да и наплюют. Разумеется, выше денег, то есть выше средства иметь желаемое и при этом никому не кланяться и не петь Лазаря, — повторяю, — нет ничего на свете. Однако же я понимаю комфорт еще и с такой стороны, что если бы, вместо этого дома, судьба кинула меня в лужу мутной воды, то я и там постарался бы найти своего рода лягушачий комфорт и спокойствие. Из-за этого желания спокойствия я ни перед кем и не одолжаюсь: иначе еще придется рассчитываться. Не одолжаю я и сам никого. Вот хоть бы, например, кинулся бы, положим, в воду мой родной брат, которого, впрочем, у меня нет; спасать его я не стал бы. Во-первых, замочишься, а во-вторых, может быть, этого ему и не надо. Да что и скрывать? Одни дураки не подлецы, извините меня! Какой брат на земле не обрадовался бы скорописной, как говорится,

смерти брата, если бы после него осталось наследство? Да-с... Однако же позвольте: в чем ваша просьба? Я ваш должник. Вот вашу только, да этого еще, пожалуй, Гончаренка просьбу я бы и исполнил. Его просьбу, особенно если бы он приехал просить денег взаймы, исполнил бы потому, что тогда, не выезжая из дома, кстати, мог бы с ним познакомиться. А вашу — я уже говорил почему. Ваша покойная бабушка, не дай ей Бог царствия небесного за то, что она сделала меня должником вашим, в дни тягостнейшего моего недуга, неведомо для меня, присылала ко мне лекаря и денег. Говорят, она была помешанная. Это только и мирит меня с нею... В чем же, однако, еще раз позвольте мне спросить, состоит ваша просьба?

Иван Ильич уже знал несколько странности господина Отребинского и потому, нимало не потерявшись, решился стать на его же точку зрения и пойти напрямик.

— Дело мое, Матвей Леонтьевич, вот в чем состоит. С вами, вижу, должно отбросить всякие обряды и говорить откровенно. Спасите меня, Матвей Леонтьевич, я несчастнейший человек!

Тентерь-Отребинский глянул на собеседника и даже сделал движение, как бы думал ухватиться за ручку звонка, желая приказать принести одеколону.

— Говорите, говорите откровенно! Я слушаю!

— Надо вам рассказать с начала. Выпало мне наследство, которого я никак не ожидал. Наследство пустое, всего пятьдесят душ и шестьсот десятин земли...

— Что же, это еще ничего! Кусок изрядный, и можно бы прожить век независимо.

— Да дело в том, что в Петербурге я имел уже обеспеченное место. Жалованья, правда, немного, около семисот рублей серебром; но зато впереди была карьера. Тетка моя близка в Варшаве к одному значительному лицу, и я сам вхож был к министру, которому даже...

— Э-э! послушайте, мой милый, вы заноситесь. Петербург — это все-таки зависимость, а деревня — сущее благо

для человека наших дней. Приволье ничего не делать, есть вкусно, спать без тени хандры и сидеть по целым дням, сложа руки и созерцая собственное свое достоинство... Как хотите, — это завидная участь!

— Да, Матвей Леонтьевич, вам хорошо трунить! А между тем, согласитесь, Петербург, балы, театры, общество, полное высших стремлений, литература. Среди этой горячечной деятельности и сам становишься трудолюбив, честолюбив и ретив к общему благу, к всемирным целям...

— Петербург, — начал задумчиво хозяин, — Петербург, это — невыносимая вещь для всякого человека, любящего более всего самого себя, вот как я, например, то есть любящего достойное любви! Я там не был; но думаю, что это сущая гадость, весь этот жизненный шум и гам, который вы превозносите. Ну, кто меня дернет быть, положим, чиновником, хоть бы и начальником отделения или департамента? Ну, за что я буду рыться с утра до вечера в пыльных и кляузных делах, отыскивая в этом навозе гнусную падаль людских ошибок и злодейств всякого рода; да у меня и груди не достанет для подобных мефитических извержений! Даже из любопытства скверно. Это, как думаю, не город, а обширный пустой гроб, где ползают во фраках и в мундирах тощие черви и с голоду грызут друг друга...

— Так какой же исход всему этому? Ну, я бросил Петербург, приехал сюда, сел на хозяйство, даже увлекся запашками и умолотами. Скука же, однако, сидеть одному в четырех стенах!

— Вы любите читать?

— Да... Но согласитесь, в четырех стенах одному?

— Искусство вас ни одно не занимает?

— Люблю искусства, но сам не художник...

— Сойдитесь с какой-нибудь артисткой, пианисткой, что ли, да помоложе; составьте условия, перевезите ее к себе, вот вам и лакомство — особенно в этом случае музыка хороша! Не шутя; я бы сам договорил себе этакую поставщицу

фортепьянных благ, да туг несколько на ухо и не различаю лучшей пьесы от коровьего мычания...

— Вспало мне, действительно, Матвей Леонтьевич, на мысль пополнить недостаток деревенской холостой жизни по закону. «Не добро человеку быть едину» — как сказано...

— Вы захотели обабиться?

— Да, и нашел милое создание, здоровое, молоденькое существо...

— Поэзия пеленок! Не понимаю и этой страсти; но думаю, извините, что хотя семейные добродетели и картины и трогательны, а жена с флюсом на губе и крик грудного мальчишки, когда спать хочется, все-таки плохая вещь. Так и навостришь лыжи из той же деревни, либо к соседу, либо к соседке, либо в тот же ваш сквернейший Петербург... Не советую вам, мой милый, и жениться. Право, это пустые бредни. Разве уже только увлекся, да что-нибудь плохое сделал, и нужно рассчесться браком...

— Матвей Леонтьевич! Вы меня не выдадите? — спросил Щебетковский торжественно и стиснув ему руку.

— Нет! Только если нужно кого вызывать на дуэль, я не иду в секунданты и беру назад свое слово.

— Матвей Леонтьевич, тут дело не в том. В Петербург нет уже мне возврата! Но злость меня берет, когда подумаю, за что я его оставил! Мы все — люди современные; надеюсь, вы не удивитесь при моих словах. Я встретил здесь девушку, некрасивую, по правде, и даже чересчур некрасивую...

— Это-то милое, чудное создание, что ли?

— Да, — подхватил, несколько смешавшись, Иван Ильич, — здоровое, молоденькое существо, богатое, как мне сказали, и очень богатое, Матвей Леонтьевич, ослепительно богатое...

— А!

— Я увлекся! Приударил, сильно приударил и увлек и ее. Барышня сперва глазки стала делать, кошельки мне вязать, ленточки на память и волоски дарить, а потом и на

свидание пришла... Мы вступили в деятельную переписку, хоть сегодня увози...

— Поздравляю вас, мон шер, от души поздравляю! Что же? Зовете шафером или в посаженые?

И Тентерь-Отребинский с увлечением пожал ему руку.

— Но вот мое горе: меня надули!..

— Быть не может; так-таки и надули?

— Надули! Я узнал, что они просто нищие, хотя и были недавно еще богаты...

— Жаль, очень жаль! Это — дело действительно гадкое.

Иван Ильич примостился к самому носу Матвея Леонтьевича.

— Поезжайте, откажитесь за меня, Матвей Леонтьевич! Вот моя просьба!

— Как так?

— Откажитесь за меня перед отцом, а дочке даже можете не говорить; они уже там сами устроят дела. Главное отец; а она повздыхает и утешится после.

— Да вы-то что же сами?

— Да я боюсь...

— Как так?

И Отребинский глянул не без удивления на собеседника. Но Иван Ильич очень мирно сидел против него, смотря ему в глаза и только пощипывая конец перчатки.

— Именно боюсь. Вы вообразите одно. Девушка очень достойная, милая даже, и такая еще аппетитная, огурчик точно; уверен, и вам понравится. Но если я, с одной стороны, не намерен нищих плодить и разделять с ней брака, то, с другой стороны, вероятно, как я уже обдумал, и отец не захочет шутить. Предложения-то я из предосторожности не сделал, и прямо придраться нельзя; мало ли кто может из молодежи ездить в каждый дом и волочиться... Да, однако же, есть причина...

Отребинский встал, прошелся по комнате и позвонил. Вошел слуга в сером полуфраке с бронзовыми пуговицами и в красном жилете с гербами.

— Вы хотите, чтоб я ехал непременно? — спросил он Щебетковского.

— Да, прошу вас; на вас одна надежда... Вы так смелы... самостоятельны...

— А барышни этой вам не жаль?

— Да посудите сами, — подхватил Иван Ильич, вскочив со стула, — молодость моя, мечты, счастье — все погибнет! А она и милая девушка, и могла бы подарить своею любовью... да что же делать? бедна...

— Сколько же вам нужно приданого?

— Мне сказали, что за нею около четырехсот тысяч, а оказалось ничего. Справки плохо были сделаны прежде. Да я бы и на ста тысячах серебром помирился и уж, клянусь, осчастливил бы свою жену!

— Запрячь шестерик в карету! — обратился Тентерь-Отребинский к лакею. — Малик поедет! Хомуты надеть наборные. Ступай!

Слуга пошел к двери.

— Да, я и забыл вас спросить: к кому же это ехать?

— У этого самого, что я вам говорил, Акима Захарыча Гончаренка случилось это дело; а дочку его зовут Шурочкою, Александра Акимовна.

Сборы были недолги. У Отребинского все дома шло как по маслу. Слегка перекусив, он вышел и тут же сел в карету, объемистую, крепкую и спокойную. Ему туда подали только что привезенную с почты книжку французского журнала. Шестерик вороно-пегих, громадного роста, почти в девять вершков, лошадей, среди которых искусный Малик, сам гигант по стану, ходил, как карлик, стояли как вкопанные, блестя бляхами наборов и распустив до копыт черные, гладкие хвосты.

— Странен немного я покажусь этим господам, — сказал Тентерь-Отребинский из кареты, — ну, да это ничего, мне давно там хотелось быть! Только что же, если они не поверят моему отказу и скажут: быть не может, это достойный и благородный человек?

Иван Ильич, опершись о балюстраду крыльца, кивнул головой и шепнул:

— Не бойтесь, поверят. Лишь бы мне развязать руки для других исканий. Да вы, впрочем, можете нисколько меня не жалеть в этом разговоре; скажите им, что хотите! Скажите, что это сущий негодяй и эгоист; что вы даже не соглашались ехать с таким поручением, а он просил и послал. Лишь бы отказаться... Ведь мы современные люди, Матвей Леонтьевич, не правда ли? — И он засмеялся...

IX

Посольство

Но карета двинулась, подхваченная плотным шестериком вороно-пегих, и Иван Ильич не слышал, что ответил на его слова Тентерь. Да он, кажется, и ничего не ответил, а тут же вынул французский журнал и принялся читать.

Тентерь выехал уже перед вечером и потому по пути к Гончаренке пришлось ему переночевать у знакомого содержателя постоялого двора, забиравшего у него овес и хлеб. От Гончаренка он тоже вернулся уже поздно на другой день. Шестерня вороно-пегих подкатила его к крыльцу, на стемневшем уже дворе, вся в мыле. Слуги выскочили из дверей; за ними на пороге показался встревоженный Щебетковский, без сомнения дожидавшийся возвращения своего посла. После уже Тентерь узнал, что его гость весь день не находил покоя: то сновал перед окнами, то уходил в сад, то писал и рвал какие-то письма; даже плохо пообедал, несмотря на гастрономические дарования повара Матвея Леонтьевича. Взведенный на крыльцо, Тентерь сбросил в передней шинель, протянул руку гостю и велел тотчас подавать свечки и закуску в гостиную. Лицо его, смуглое и бледно-худощавое, было заметно изнурено. Непривычная поездка его утомила.

— Вот, мой несравненный, — сказал он, усевшись в гостиной в мягкие кресла и наливая в граненый стакан тончайшего сорта лафиту, между тем как свечи и лампа под экраном разливали нежный свет по бархату и золоту, картинам и фарфору, коврам и цветам убранной с замечательным вкусом гостиной, — толкуйте после этого о трудах и усилиях для достижения известных целей. Да я бы теперь ни за какие блага не поехал даже вот за пять верст. Всего разломало...

— А я полагал, что у вас очень спокойный экипаж! — сказал как-то особенно тихо и подобострастно сидевший перед ним на кончике дивана Иван Ильич.

— Какое, мой милейший! Экипаж как экипаж. То ли дело сидеть дома да пить вот этакой лафит; не хотите ли, мон шер? Гей! человек! Сигару!

Человек явился, подал на серебряном подносе сигару и неслышными шагами опять скрылся.

— Да, если так жить, как вы живете, — возразил Иван Ильич, тоже наливая лафиту и закусывая сардинкой, — так ни Петербург, никакая в мире забота не придет в голову!

— Ошибаетесь, ошибаетесь. Вот видите ли, даю опять вам честное слово: все от нас зависит. Коли человек одарен порядочным запасом желания быть спокойным и довольствоваться одною возможностью безнаказанно и привольно сидеть, сложа руки и созерцая собственное свое достоинство, то и в луже, не только в этом доме, можно отлично произвести все эти занятия.

— Но неужели же никакого особенно заветного желания у вас, Матвей Леонтьевич, нет? Ни мысли о браке, о большем богатстве, о всеобщем уважении, славе или хотя долговечности?

— Есть одно, сознаюсь: довести свои доходы до того, чтобы наконец представилась возможность, не влезая никому в карман, иметь на жалованье француза-повара, прямо из Парижа, хоть бы, положим, самого Сойе...

— А брак? Молоденькая, свежая, здоровая барышня, которую отдают со слезами и воплями, невинность в батистовой сорочке и бумажной юбке...

— Вы циник, а я цинизма не люблю! — резко перебил Тентерь. — Это как-то дурно действует на мои нервы и на пищеварение. Не хотите ли шампанского?

— Помилуйте, — подхватил Щебетковский, — где же тут пить шампанское, хотя, быть может, мне суждено услышать от вас... не совсем приятный рассказ о моей судьбе?..

— Да... о вашей судьбе? Вот как было дело.

Матвей Леонтьевич еще выпил лафиту и начал:

— Приезжаю я, мой несравненный, к этим Гончаренкам. Докладывают. Хозяин сам выскочил в переднюю. Очень рад, говорит, очень рад! Давно наслышался и желал познакомиться. Вошел я в дом. Там закуска стоит. Попы около прохаживаются. Какой-то гость с фуражкой у печки прислонился и задумчиво смотрит на графинчики. Меня в гостиную. Там дама в шляпке сидит и наряжена. Другие тоже, смотрю, в наряде. Поговорили мы с отцом. Входит дочка, вся в розовом и с лентами. Присела и так, с улыбкою, знаете, на меня поглядела. Думаю, что бы это значило? Уж не на праздник ли семейный какой подоспел?..

Щебетковский при этом сказал:

— А, постойте! — и ударил себя по лбу. — Ах, ведь точно, ведь вы в день рождения Александры Акимовы попали! Вот случай!

— Да, верно, случай. Слушайте же. Сижу я. Входят еще две дамы, из суда кое-кто, еще пятеро. Словом, набралось гостей. Шурочка, или как там вы ее зовете, курочка, что ли, такая живая, подвижная, ходит перед всеми, на меня поглядывает, — нельзя же, в первый раз в доме. Поглядывает, глазенки так бегают. В румянец скоро вошла. Тут подзывает ее какая-то дама, оправила на ней косыночку, обдернула рукавчики и что-то сказала ей, глядя на меня. Подходит дочка ко мне и, не смотря мне в глаза, спрашивает: «Вы не на милодедовскую плотину ехали?» — «На

милодедовскую». — «Иван Ильич не будет?» — «Не знаю, сударыня!..»

— Так и спросила? — перебил Щебетковский.

— Да, спросила. Постояла она, ножкою повернула и говорит опять: «Странно: Иван Ильич с папенькою очень дружен, а сегодня не приехал и уже более недели не был у нас! Вы с ним знакомы?» — «Да так — кланяемся только». — «Тут с ним очень хочет свидеться одна наша знакомая». — И ушла, думая тем скрыть себя. Ну-с, а я жду, помня ваше поручение. Приходило мне при этом в голову, зачем, собственно, открыто отказываться вам, когда явно ничего еще не было между вами: не лучше ли было бы так дело оставить...

— Ох, и мне уже приходило в голову; да сгоряча решил так. Нечего делать... трусил, чтоб не принудили жениться!

— И я так подумал, и я. Набралось гостей довольно. Отслужили молебен. Из столовой загремели тарелки и ножи. Скоро обедать пойдут. А после обеда, дело понятное, за наливки сядут. Когда тут наедине объясняться? Сильно не хотелось откладывать до нового визита. Смотрю, хозяин беседует с одним духовным лицом. Встал я и подхожу. «Извините, Аким Захарыч: имею к вам одно дело». — «А, милости просим, милости просим. Пожалуйте в кабинет, там нам будет просторнее. Не лошадок ли покупать? Есть у меня чудный шестерик, серый в яблоках, все по шести вершков». — «Нет-с, не о лошадях дело». Вошли мы в кабинет, сели у окна. Как начать? «Извините меня, Аким Захарыч, — начал я, — в первый раз к вам приехал и, быть может, сообщу не совсем приятое для вас». — «Не стесняйтесь!» — ответил он и стал крутить усы. Молодец-молодцом, усища по грудь. «Могу ли?» — спросил я и начал теряться. «Не стесняйтесь, милостивый государь!» — повторил он и еще бойчее стал крутить усы. Я начал: «Изволите ли вы знать господина Щебетковского?» Он видно, не ожидал такого вопроса и сперва неопределенно глянул вниз: «Знаю». — «Какого вы мнения о нем?» — «Для чего

вам?» — «Так, это идет к делу». Он выкинул пепел из трубки и ответил: «Не знаю, для чего это вам, только полагаю его за честного и благородного человека». — «Он отъявленный мерзавец и негодяй!» — ответил я...

— Как? Это *вы* сказали? — спросил Щебетковский, привскочив на стуле.

— Вы сами, наипочтеннейший мой, поручили мне это, и это входило в план мой! — ответил спокойно Тентерь. — Не хотите ли хересу? у меня отличный.

— Благодарю вас, не хочется. Продолжайте.

— Отъявленный, говорю, мерзавец и негодяй! На это Гончаренко, ошеломленный и никак этого не ожидавший, сделал то же почти, что и вы. Он побледнел, брови его заходили, а рука стала судорожно ловить упавший чубук, как будто в намерении поблагодарить меня за откровенность. «Что вы, милостивый государь?» — зашипел он хриплым голосом и не смотря на меня. «Что же мне делать? Упросили меня, послали, должен был ехать и поехал!» — «Да как вы смеете забываться?» — кричит. «Успокойтесь, — говорю, — Аким Захарыч, сядьте, вот так! Не горячитесь; я и расскажу! Сядьте». Сел он опять; слушает, а в груди, как меха кузнечные, так и храпит. «Видите ли, — говорю, — в чем дело: может быть, от вас укрылось, только этот господин Щебетковский стал ухаживать за вашею дочерью. Он придумывал для этого все средства. Он успел в этом... и... она его сильно полюбила!» — «Ну?!» — «Он показал ей, что отвечает пламенно и бескорыстно». — «Ну?!» — «Они вступили в переписку». — «Ну, ну?!» — «Стали иметь тайные свидания». — «Да ну-те, наконец, что же из всего этого?» — «Он искал не ее, а ее состояние... Ему сказали, что она богата...» — «Ну, да, — перебил старик — и имеет-таки чем прожить, слава Богу; она у меня одна!» — «Эх, Аким Захарыч, долго вам объяснять это. Человек этот — человек нового поколения. Что вам довольно, ему мало. С чем вы проживете век, припеваючи, среди мирных благ укромного уголка, с тем он сочтет себя нищим и, если бы не

полиция нашего отечества, я думаю — пошел он еще грабить». Понурил старик голову и уже ничего не возражал. «Ему сказали на ветер, что за нею четыреста тысяч, нажитых вами на откупах; он и повел преследования, с тончайшим расчетом людей, подобных ему. Теперь узнал, что за нею очень мало или почти ничего, по его планам и видам, и поручил мне, мне, вашему покорнейшему слуге, ехать к вам и предупредить вас, что он считает долгом, *как честный человек*, — именно, кажется, он так сказал: как честный человек, — отказаться заранее и навсегда от руки вашей дочери, каковые мысли просит осторожно сообщить ей!» — «Зачем же так обижать?» — спросил опять тихо Аким Захарыч, принимаясь дрожащими руками чистить и набивать трубку. Я удивился его словам, тем более, что ожидал другого при этом; ожидал, что он ухватит что ни попало и пустит в голову посла. Оставил потом трубку и встал. «Понимаю, — говорит, а сам силится улыбнуться, — из этого видно, что он очень... очень ловкий человек! — И стал ходить из угла в угол по комнате. — Очень ловкий, весьма, весьма ловкий человек! — И подошел к окну. — Очень, весьма ловок... А вы как думаете?» — спрашивает, барабаня по стеклу. «Думаю тоже, что не без ловкости, хотя и простоват...» — «Где там простоват? — закричал старик, быстро оборотясь, причем лицо его все-все было в слезах. — Удивительно лукав! Повел дело удивительно! Ха-ха! Да и отделал же, вот отделал. Вообразите, ведь знал, что смешно же отцу вызывать на дуэль человека за то, что не хочет быть женихом его дочери, когда тот и предложения не сделал! Ай да молодые люди! ай да молодое поколение! Какие же подлецы! — И, обтерев слезы, стал он еще быстрее ходить по комнате. Но не выдержал и расхохотался, хватаясь за бока и повторяя: — Дрянь, ей-Богу дрянь; не верьте вы этой молодежи! Все дрянь и мелочь! подлость! подлецы! без сердца! Ох-хо-хо!» Прошиб ознобом и меня этот смех старика...

— Что же после этого? — спросил Щебетковский.

— После этого еще случилась оказия. Упал он на диван. Я его успокоил и оставил окончательно придти в себя. «Черт с ним, — решил он о вас, — пропадай он! Я и знать его, собаку, и преследовать не хочу». Вышел я, а сам стал у двери; думаю, что-то будет, не посягнул бы еще на жизнь. Смотрю в щель из-за двери: встал он, вздохнул, подошел к зеркалу над столом, оправился и стал чесаться. Волнение не унималось еще; лицо то багровело, то бледнело. Вдруг щетка над головой его остановилась; он повернулся и стал вслушиваться... шагнул к двери в ширме и распахнул ее. За дверью, войдя туда потихоньку, до начала еще нашего объяснения, коридором, стояла бледная и полуживая Шурочка. Должно быть, инстинктивно угадала она мой приезд и приглашение отца в кабинет и все подслушала...

Щебетковский передернулся на стуле и стал кусать до крови ногти...

— Это ни на что не похоже, — начал он жалобным и плаксивым голосом, — вечно так; перессорят людей, обнесут сплетнями, совестно после и в свет показаться! Наплели мне о ее состоянии, а теперь еще осуждать будут. Ну, чем же я виноват тут? Просто мучение!..

Тентерь взглянул на часы. Лампа и свечи сильно уже нагорели. Было за полночь.

— Ну, Иван Ильич, завтра наплачетесь и надумаетесь, а теперь еще я кончу мою историю. Человек! Готовить постель Ивану Ильичу, а назавтра они утром поедут рано; дать лошадям овса!.. — Читали ли вы, мой милейший, — спросил, уже шутливо и весело мигая, собеседник его, — романы Поля Феваля?

— Читал; а что?

— Там много есть таких патетических сцен, какую я видел у Гончаренка в заключение спектакля. Вообразите, мон шер, после всех передряг, и я, и батюшка, да и сама, кажется, дочка, как и следует, очень плотно закусили за обедом. Выпито было тоже изрядно. Старик разболтался в горячке увлечения о былой службе и лошадях. Встали из-за

стола поздно, и все гурьбой отправились спать по флигелям и по амбарам. Думаю себе: прикорну пойду и я где-нибудь на свежести под кустиком в саду. И пошел. Иду себе с палочкой по дорожке, да поглядываю по сторонам. Вдруг на одной поворотке, как из-под земли выросла, является передо мною эта барышня, Шурочка. Сначала было даже я ее и не узнал. Где там различать: мало ли этого фрукта было там на празднике в ту пору. Смотрю: батюшки вы мои! Что это такое! Вся в огне; коса у височка распустилась; даже красива-то мне она в то время показалась... Стала поперек дороги да и глядит прямо в лицо. «Что вам, — говорю, — угодно, Александра Акимовна?» Оглянула она меня с ног до головы и говорит, а губы как мел: «Странно мне очень ваше поведение. Как вы смели давеча делать такие низости и говорить папеньке такие вещи? Я все слышала». — «Может быть, вы, сударыня, и слышали; только говорил я не от себя, а по поручению: мне все от слова до слова это поручил передать вашему папеньке Иван Ильич!» — «Вы лжете! — говорит и так странно, усмехаясь, на меня глядит. — Вы его задумали очернить, а там сами за меня и посватаетесь... Только не бывать этому, хоть вы и богаты! Лучше утоплюсь, а за вас не пойду!» — «Напрасно, — отвечаю, — затрудняетесь, сударыня. Обо мне весь околоток знает. Брачным делом заниматься я не намерен и умру холостяком, а попал в это дело по доброте характера и чтоб расквитаться насчет обоюдных одолжений. Спросите хоть кого угодно. Сватали за меня Свинчуткину барышню, с хорошим состоянием: не послушался сватьев. Предлагал тоже откупщик Духоблаговский свою дочку и сто тысяч чистогану, — тоже убоялся премудрости». Тут она задумалась и, протянув руку, как будто про себя сказала: «Знаете ли, если бы даже Щебетковский и захотел меня обидеть, я бы и тогда, кажется, выпустила бы из этой руки кровь до последней капли за него». Сказала и ушла. Да что? Я вам замечу: не то удивительно, что она это сказала, а то ведь диковинная вещь, что она в эту минуту верила тому, что

говорила, и как раз выполнила бы слова. Дай ланцет, так жилу бы и пересекла! Ажно, греха нечего таить, загляделся на нее, как пошла опять по дорожке, плывя лодочкою, мелькая полными, круглыми, раскрасневшимися локотками. Ну, что вы задумались, Иван Ильич?

— Я? Ничего...

— То-то ничего. Читали вы когда-нибудь американские сцены или про охоту в Африке?

— Читал...

— Где вам читать! Охотником быть вы не умеете. До охотницкой души надо дослужиться у Бога. Охотник, ведь это — то же дитя, или поэт. А вы — чистейшая проза. Да и я с вами! Ну-с; так вы читали?

— Читал.

— Помните описание, как тигровая самка детей защищает?

— Помню...

— Ну, это все равно как барышня эта Гончаренкова любовь свою в саду защищала! Славная барышня; право, такой комочек, кругленькая — и с сердцем...

Щебетковский кисло улыбнулся.

— Пора спать, — сказал он, принужденно желая придать лицу холодно-спокойное выражение.

— Да, пора. Не хотите ли на ночь наливки или чего-нибудь другого. А? мон-шер? не стесняйтесь!

— Нет, не хочу.

— А вот я так выпью. Хочется пожуировать.

Гость и хозяин расстались. Скоро в двух разных концах дома они расположились на пуховиках, выслали слуг, укрылись одеялами, а свеч еще не тушили. Хозяин лег, выпил стакан сливянки, попробовал спустя немного времени рябиновки с подноса, уставленного бутылками и флягами, и рябиновки выпил сряду две рюмки, достал с этажерки книгу французского журнала и стал читать. Так он делал частенько. Непривычные люди в Малороссии могут назвать это запоем. Ему, однако же, не спалось. Он сел на постель и стал разбирать, отчего

слова: «Славная, однако, барышня эта Гончаренко!» — как врезались в уме, так там и остались. Немного погодя на другом конце дома поднялся на постели и Щебетковский. Он также сел на пуховик, поджав ноги, и стал размышлять. «Странное дело, как пятки чешутся! — думал он. — С Осипа лесничего тоже деньги надо будет получить... Сто да семьдесят два с полтиной от Бугаева, итого сто семьдесят два с полтиной... Да пшеницы можно продать! Не худо бы и на овсе тоже перехватить копейку. У Швецова давно не был. Надо съездить. Тарантас тоже вот бы заказать... — Вдруг дыханье Ивана Ильича замерло. Нежданная мысль прервала его обычные увлекательные грезы. — А что, если я, олух царя небесного, да и тут сделал промах? Что, если в этом-то, собственно, мне налгали, то есть, что Гончаренко беден, а он вдруг действительно капиталист? Батюшки, батюшки! Вот убил-то бобра, вот разодолжил!» — И он почувствовал, как холодная капля пота проступила у него на лбу и сбежала на нос.

X

Шурочка в гостях у Фабрициуса

Наутро Щебетковский прощался с Тентерь-Отребинским несколько сумрачно и кисло.

— Теперь мы с вами квиты за бабушку! — сказал полушутливо хозяин, провожая гостя.

— Что за счеты, помилуйте; я всегда к вашим услугам.

— О, нет, нет! Вы меня не знаете. Что сказано, то уже свято. В вас я, надеюсь, не буду нуждаться. Для собственного же спокойствия и вам не советую склоняться на одолжения с моей стороны.

«Эк, медведь какой!» — думал Щебетковский, садясь в экипаж.

— Советую вам ехать прямиком, через Бувандеевскую усадьбу: скорее доедете; да, кстати, можете и к хозяину

заехать. Он, кажется, сегодня свадьбу справляет. Молодой человек, всего двадцати трех лет. Только что курс в университете кончил и имеет восемьсот душ. Сирота, — и по любви на красавице первейшей женится, на Яснопольской, если слышали.

«Да, хорошо им жениться на красавицах, коли восемьсот душ! — думал Щебетковский, выехавши за деревню. — И какие, однако, тут по околотку и вблизи все тузы живут, а мне не удается!» — И всю дорогу спрашивал кучера о владельце Бувандеевской усадьбы. Даже в трактире по дороге, не доезжая до нее, остановился нарочно и спросил о том же трактирщика. Оказалось, что действительно молодой помещик Бувандеев двадцати трех лет, сирота, приехал из ученья, живет с дядею и женится на Яснопольской. «Черт их возьми, — даже с сердцем подумал Щебетковский, — и зачем я буду к ним заезжать! Точно навязываюсь. Провались они и с свадьбою, и с имением!» Приближаясь, однако, к названному поместью, Щебетковский изменил настроение мыслей. Он поминутно выглядывал из коляски. Усадьба, с флюгером на красной крыше господского дома, показалась среди садов, издали, на отлогом косогоре. За две версты еще стали попадаться поминутно пьяные мужики и бабы, спешившие в Бувандеевскую балку или шедшие уже оттуда. Кое-где под стогами, у дороги, сидели с улыбками, покачиваясь, тоже охмелевшие слобожане. Праздничные лица сияли.

— Что это такое? — спросил Иван Ильич у двух баб, целовавшихся у дороги.

— Пан Буванди женится!

— Была свадьба?

— Была! Да и свадьба же, вот свадьба; сроду такой и не бывало еще. А сегодня пир, и всех угощают. Кто ни приди, так и угощают! Спешите и вы, люди добрые. И вам дадут горелки; а не захотите, так пива, или варенухи, или меду, или чего захотите! Идите только. Славный пан, и его все любят!

И советам целующейся бабы не было конца. Подъехал к усадьбе Щебетковский ближе и увидел, что помещика, действительно, все любили. По улице не было возможности проехать. Почти на версту пространства, без движения, лежали распластавшиеся на земле, испившие чашу угощений. Поравнялся он с трудом с кухней; у ворот стояли две выкрашенные голубою краскою исполинские бочки с водкою. На бочках, подмостив шаткие доски, стоял с флягами какой-то не то писарь, не то ключник, раскрасневшийся и уже с одною улыбкою взамен всех сил, языка и голоса. Всяк, свой и чужой, пеший и конный, тамошний и проезжий, трезвый и уже пьяный, имел право подходить к бочкам и, вступая на барский двор или едучи далее, выпивать из рук улыбающегося виночерпия водки, сколько душе было угодно. А во дворе, что оказалось сквозь ворота, перед окнами господского дома, под звон и гром нескольких бродячих скрипок, цимбал и контрабасов, с поднятыми руками, без шапок и в разнообразных положениях, веселая толпа тех же мужиков и баб отплясывала «метелицу» и «журавля».

— А ты кто? — спросил невпопад Щебетковский у виночерпия, глядя из коляски с тем же приторно-кислым взглядом. Виночерпий поклонился, хотел что-то сказать, но только еще медовее и обязательнее улыбнулся, зевнул и стал опять усердно и яростно черпать из бочек.

— То князь! усердие! — заметили за него мужики, толковавшие у бочек, в задних рядах, и не успевшие еще добраться до щедрого ковшика.

— А где же сам барин? — спросил Щебетковский.

— Где! известно где, с женою... — Ответ был приправлен выходкою, от которой вчуже зависть так и разлилась по каждой жилке Ивана Ильича.

«Эх, черт возьми! — подумал он, поехавши мимо веселого двора далее, — молод, богат и такую, говорят, подхватил! Да что, — прибавил он мысленно уже в поле, когда усадьба, двор и брачный пир Бувандея остались за его спиною, — что сетовать об этих событиях, о вступающих в

брак богачах, о Гончаренках и об всем в мире? Что любовь, что дружба, что чувства — сущий вздор! Комфорт и довольство — вот счастие».

Подъезжая к своему хутору, Щебетковский уже насвистывал какую-то песенку.

Так, собственно, дешево и обошлось это событие Ивану Ильичу. Все зажили по-прежнему мирно и спокойно. Мстить тут было некому, да и не за что. Все тут носило вид благонамеренности и осторожности. Аким Захарыч Гончаренко мог бы, разумеется, погорячиться более, да не захотел, видно, слишком оглашать дела. Притом же очевидного права на это он и не имел. Мало ли на свете, особенно в деревенском быту, случается подобных историй. Иные сватаются и женятся, другие только ухаживают, третьи даже и не ухаживают, а уже просто по одному виду и положению в жизни везде считаются за женихов. Были когда-то в одном месте три офицера, которые походом считали долгом на каждом почти роздыхе, иногда даже на простых дневках, выдавать себя за женихов, свататься и получать согласие дочерей и родителей. Положение жениха им давало более или менее хорошие выгоды: лучшую квартиру, перины, вкусный обед, винную порцию для команды, иногда более или менее грешное или невинное свидание при луне, поцелуи невинности, слезы растроганной матушки, иногда напрокат тарантас и тройку лошадей, а подчас и денежную ссуду от батюшки и тому подобные одолжения. Невеста, разумеется, забывалась на первом же дальнейшем перевале, где тарантас и тройка закладывались общему кассиру и банкиру полка, майору Дряздамордову, а деньги проигрывались в дьябелку или в штос... Словом, поступок Ивана Ильича, хотя и огласился, никого, собственно, не удивил.

Наступила осень. Моросил мелкий, серый дождик, называемый там «мжичкою». Среди обмокших и пожелтелых полей, по сырой, набухшей дороге, тащилась торопливо про-

стая кибитка. Сидевшие в ней прятались при встрече с другими проезжими. Это были девица Гончаренко и ее тетушка, Марфа Захаровна. Воспользовавшись отъездом Акима Захарыча на какую-то конную ярмарку за полтораста верст, после долгих и горячих обсуждений, они понадевали на голову теплые капоры на вате, в виде утиных носов, обмотались платками, наскоро оделись в салопы, смастерили подводу и покатили в ночь к Антону Степановичу. Возница их составленной наскоро, импровизованной тройки юлил на козлах бойко и вертелся, понукая лошадей и посвистывая, как юла. Дорогою тетушка сидела сурово, отпуская только краткие, но вразумительные поучения. Племянница же то и дело высовывала из кибитки посинелое от холоду, как сизая слива, застигнутая морозами, личико, опушенное оборкой старомодного капора.

— Ах, тетенька, ах, Василий, — повторила она, ломая руки, — мы, кажется, никогда не приедем к этому Антону Степановичу.

Они однако же приехали, с грехом пополам, на другой день. Фабрициус вытянул лицо, когда, стоя на крыльце, увидел въехавшую на свой фольварк, с двумя дамами, кибитку и в них узнал Александру Акимовну и Марфу Захаровну.

— Что имеете ко мне? — спросил он при этом резко и даже, вопреки всяким приличиям, забывши подать руку дамам и вывести их из кибитки, но в то же время очень хорошо, хотя и смутно, сознавая причину их появления. Он уже, хотя отдаленно, стороною, был извещен касательно отказа своего соседа через реку. Именно, это произошло так. Вскоре после необъяснимого отъезда Щебетковского из города, из номера, где они остановились вместе, Фабрициус подождал, подождал и решился все-таки первый навестить приятеля. В обычном зеленом халате своем и с платком в руках пошел он из своего жилья к плотине в намерении перейти в Калиновый хутор. На плотине встретился он с дворовою девчонкою, дочкою старой ключницы и домоправительницы Щебетковского, Улиты. Девочка как-то особен-

но бойко посмотрела на Фабрициуса и быстро пошла мимо, чуть поклонившись.

— Эй, ты, шилохвостая, эй! куда бежишь? Чай к женихам? — окликнул ее Антон Степанович, спускаясь к другому уже берегу и не думая ее особенно задеть. Девчонка, однако, приостановилась.

— Может быть, вам женихи нужны, а нам нет! — звонко выкрикнула она и опять пошла вперед, бойко размахивая смуглыми руками.

— Эге! Да какая же ты юркая, обидчивая! Подите пожалуйста — точно ее испугалися! Постой, эй, ты, постой! — Девчонка остановилась на пригорке и откинула с красивого личика космы густых, русых волос. — Эй, ты, послушай!

— Ну, чего вам?

— Барин дома?

— Дома.

— Можно видеть его?

— Можно; только скажу вам, что он уже не поедет к тем панам Гончаренкам, куда вы его возили! — прибавила она неожиданно, как видно, сочтя долгом пригвоздить кстати в речь слух, перешедший уже из барского дома на кухню.

— Как не поедет? Кто тебе сказал это? Ах ты, дура! Вот погоди, я объявлю все Ивану Ильичу! — крикнул Антон Степаныч, даже привскочивши от негодования на месте.

— Кто сказал, уже знаем! А барин не поедет, и вы не ругайтеся; много у вас таких дур найдется, — много! А он не поедет, не поедет! — Девчонка с этими словами ускорила шаги и скрылась за мельницей.

— Тьфу! — произнес на все, помолчав, Фабрициус. Постоял, постоял и, положив, что решительно тут сам черт в догадках ногу сломает, ушел домой. Неразрешимое поведение соседа начинало его обижать и, наконец, просто по-стариковски разбесило. Он положил не церемониться более с этим молокососом за рекою и при встрече так отбрить, чтоб долго помнил. «Он думает, что я его побоюсь! — размышлял сам с собою Фабрициус. — Ого-го! не на таков-

ского напал! Еще молоко не обсохло на губах: вот что! Так отделаю, присрамлю, усовещу, что и своих не найдет! Надо их учить, сорванцов! Кому же и учить, как не нам!»

С этими словами он решился показать характер и выждать самому, чтоб Щебетковский первый к нему явился и просил извинения. Наступила мокрая погода; лист начал опадать. На плотине была слякоть. Сосед не думал приходить, и, казалось, две усадьбы начинают, кроме реки, разделяться навсегда еще другою, более недосягаемою преградою, через которую уже не построишь ни плотины, ни моста. По целым дням Антон Степаныч стоял на крыльце, поджидая Ивана Ильича. К Гончаренкам же он, после своей последней поездки, не решался уже так скоро ехать. Фабрициус поджидал соседа напрасно. В один из таких-то дней въехала к нему во двор с седоками известная уже кибитка.

— Что вы имеете ко мне? — повторил старик, следя глазами всходивших на крыльцо посетительниц. Шурочка, не ответив ни слова, едва кивнула ему головой, хотела развязать застежку у капора, заплакала и быстро прошла из сеней в комнаты. Марфа Захаровна, печальным взором указав ей во след, также молча прошла за нею. Что-то роковое увиделось во всем этом старику.

Успокоившись, Шурочка выпила воды, сняла с вспотевшей груди платок, сняла бережно капор, посадила близ себя старика, который был как ошпаренный и только без причины ерошил себе парик, улыбнулась и стала говорить:

— Душенька, Антон Степаныч, голубчик! идите к Ивану Ильичу!

— Зачем?..

Шурочка вздохнула, подержала руку над сильно дышавшею грудью и ответила, указав на тетку:

— Папеньки нет; он в Тутолмине. Мы с тетенькой уехали потихоньку. Идите к Ивану Ильичу!

— Да зачем же? право, не понимаю!

Шурочка опять перевела дух.

— Как вам сказать? Вот видите ли: к нам приезжал один помещик, такой смуглый, препротивный и, говорят, очень богатый, Тентерь-Отребинский...

— Знаю...

— Он, вообразите, привез отказ от Ивана Ильича. Можете себе представить!

И Шурочка передала все, как было в день ее рождения.

— Ах ты Господи! Да что же это они, с ума сошли, что ли! — произнес на ее рассказ старик и торопливо стал собираться. Надел сюртук и желтые нанковые брючки, которые столько раз на своем веку сам он мыл; бросил их и начал примерять фрак. За фраком и пикейным жилетом, также отброшенными опять, внимание его заняли почему-то вышитые гарусные подтяжки, и он стоял, повертывая и пощелкивая их на ладони.

— Да вы вот что, Антон Степаныч, — сказала заботливо Марфа Захаровна, — теперь уже поздно; напоите нас чаем, а завтра поутру и отправитесь к нему!

— И в самом деле, матушка! — Старик как будто очнулся, засуетился с бабой-кухаркой над самоваром, вздул угли, внес в отведенную гостям комнату свечу, потому что было уже темно, и решил с ними послать предварительно кого-нибудь узнать, дома ли Щебетковский и что делает. Выбор идти дозором пал на кучера гостей, Василия, и Шурочка взялась сама сделать ему наставления.

— Иди в кухню ихнюю, как будто так, чужой, и скажи, что прислан хлеб покупать и просишь о себе доложить. Как введут тебя, ты и скажи: нет ли, барин, хлеба продажного? Да после и скажи, чтоб завтра были дома, что твой барин к ним будет: у Антона Степаныча, мол, остановились, по фамилии зовутся, если спросит, скажи, Тюфякин; так и скажи — Тюфякин. Слышишь, Василий?

— Слушаю.

— Как придешь, прямо ко мне и все расскажи. — Василий ушел, встряхнувши головой. Баба-кухарка Фабрициуса показывала ему дорогу.

Между тем, в ожидании возврата посланного, гостьи сели за чай. Тихо и тревожно беседуя, напились чаю. Баба сняла самовар и чашки и ушла. Антон Степаныч, кряхтя, все ходил взад и вперед по комнате; потом сидел, раскиснув и понурив голову, на диване. Наконец, стал дремать. Гостьи снимали нагар со свечи, шушукались и гадали на картах. Карты в десятый раз раскладывались на столе. Червонный король в десятый раз падал близ червонной дамы. Узенькие губы тетушки не умолкали шептать, а розовые ушки племянницы слушать. Только посланный все еще не возвращался. Наконец, и тетушка стала дремать. Фабрициус просто храпел. Шурочка тихо встала и неслышно вышла освежиться воздухом ночи в сени и на крыльцо. Дождь перестал. Месяц не был виден; но тепло и как-то не по-осеннему кротко дышала ночь. Опершись ножкой о боковую перекладину крыльца, стала она и задумалась. С недавнего времени она себя не узнавала, откуда взялась у нее сила воли. Кровь как-то ходчее и смелее переливалась в жилах. Голос изменился. Сердце жаждало сильных движений. Вдруг за углом домика хрустнули щепки и послышались шаги...

— Ты это, Василий?

— Я, барышня...

— Ну, что? был?

— Ничего... был...

— Говори же, говори,' рассказывай, да тише...

Василий стал у крыльца.

— Прихожу я на кухню.

— Ну?

— Говорю, господин Тюхвакинский прислал. Хлеб есть, говорю, продажный?

— Что же они?

— Баба старая какая-то сидела в кухне и чулок штопала. Сейчас пошла и доложила. Провели меня до него

— Ну, ну?

— Привели в переднюю. Потребовал к себе прямо в залу. Смотрю: лежит на диване и с котенком играет, а тут

же, возле него, чай на подносе стоит и книжка на подушке лежит. У стола чай распивает ихняя ключница; а тут же какая-то черномазенькая девчонка, лет так пятнадцати, чулок вяжет и смеется; должно быть, дочка ключницы, как полагаю. Сейчас подозвал к себе, говорит: «Здравствуй, чей ты?» Тюхваковского, говорю; барин у Антона Степаныча остановился и хлеб покупает, а завтра хотят быть у вас утром! «Хлеб, — говорит, — продажный есть; а только странно, — говорит, — как это твой барин, должно быть, и помещик еще, знается с этою жужжелицею Фабрициусом». Так и сказал — жужжелицею. Стало мне жалко. Я и говорю: как вам не стыдно, барин, лаяться; Антон Степаныч, говорю, человек усердный и господам нашим очень нравится! «Ну, уже поусердствовал он мне!» — добавляет и засмеялся, посмотревши на ключницу; та тоже засмеялась, и девчонка эта за нею. «Посватал, было, — говорит, — меня за нищую, да еще и хорохорится! Дрянь, — говорит, — и принимать его я не намерен! Просто, — говорит, — осрамил меня с этим сватовством, а еще соседом называется!» Очення бранить стал, лаяться на Антона Степаныча, — прибавил Василий.

Шурочка на это ничего не сказала. Только слышно было, как прерывисто дышала она, ухватясь впотьмах за верхушку перил.

— Ну, Василий, больше ничего не было?

— Что было? харциз он проклятый! — даже вскрикнул посол, тряхнув волосами.

— Как ты смеешь так говорить?

— А так же; я проговорился, значит, в сердцах за Антона Степаныча, что человек, мол, крепостной Акима Захарыча, и барину служу верою и правдою, и барин его любит. Он и вскинулся: «Шпионы, — говорит, — уже подсылаются. Вон отсюда!» Да как крикнет, да с чубуком; да травил еще, антихрист, собакою своею...

Александра Акимовна отпустила Василия спать, велевши рано-рано вставать и запрягать, до зари. Сама вошла в

комнату, разбудила Фабрициуса и тетку, весело разболталась, объявила, что Щебетковского нет дома, да и кстати, потому что она уже раздумала сноситься с ним и прекращает всякое знакомство. Собеседники потолковали еще, разошлись спать, и рано на заре домик Фабрициуса опять опустел. Василий сурово сидел на козлах, помахивая вожжами. Лошади еле плелись; на дворе опять было пасмурно и морозило. А сидевшие в кибитке так и катались от смеху. Смешила тетку Шурочка. Все ей доставляло пищу заливаться самым искренним хохотом: и ее ваточный капор в виде утиного носа, на который она прежде не обращала внимания, салоп, и печальная кибитка, и Василий на козлах с озлобленным лицом, и погода, и грязная дорога, и вчерашний вечер.

— Вот потеха, тетенька, — говорила она, — вообразите! Вчера Василию нашему чуть собаки и ног не обкусали! Противный этот Щебетковский, да и Тентерь тоже порядком противный, смуглый такой, глазища так и смотрят, — я думаю, злой и много о себе думает! — Проехали они еще далее. Тетка уже дремала. — Да, я полагаю, — прибавила опять Шурочка, — что и Щебетковский тоже сильно много о себе думает! И чем гордятся эти мужчины!

— Это все так, — заметила тетка, зевнувши и перекрестя рот, — только жаль мне Антона Степаныча! Старик как кур во щи попал в эту историю и как-то странно смотрел, когда мы прощались!

И действительно. Не успели гостьи уехать от Фабрициуса, как он пришел в сильное волнение, оделся в парадное платье, где в карманах так часто лежали делаемые им за обедом катышки для собак, напялил картуз и, ворча, пошел прямо через плотину с целью крупно объясниться с соседом. Но тут случилось бедствие. Щебетковский, видно, ожидал его или увидел издали в окно, только распорядился с быстротою молнии, и старика к нему не допустили. Он был просто вытолкан, с советом

вперед лучше вовсе не переступать плотины, разделяющей две усадьбы, для собственной его безопасности. Ошеломленный и оскорбленный до глубины души, старик ушел к себе обратно.

Вечером, через два или три дня после того, прибежал во двор Щебетковского мальчик-пастух с поля и перепуганным голосом объявил:

— Там на поле, за оврагом, с паном, что за рекою живет, приключилось что-то совсем недоброе. Сидит в халате на кочке да бьет в дудочку, хотя уже перепелов вовсе нет, и сам тут же вававкает перепелом!

Иван Ильич, под шумок осенней непогоды, стал обдумывать, как ему увеличить доход с имения. Оказалось, что из запаса леса его можно продать десятин полтораста, рублей по сто серебром за десятину, итого составляется куш почти в пятьдесят тысяч ассигнациями. Задумал, перекинул на счетах и решил ехать отыскивать покупщиков.

На съезде дворян в городе, для раскладки земских повинностей, в лавке купца, торговавшего хлебом, овцами, чаем, табаком и чем попало, встретился он с Тентерь-Отребинским, которого едва узнал в огромной черно-бурой медвежьей шубе.

— А! господин Щебетковский!

— Матвей Леонтьевич!..

— Что вы здесь?

— Лес хлопочу продать.

— Жениться опять затеваете?

— Нельзя же. Надо исполнить долг жизни.

— И есть невеста?

— Да, есть! — И Щебетковский стал высчитывать: — Хлопкова, Бутеньина, Шандрина дочь... Мало ли их!

Все молоденьких и самых богатых считал. Тентерь запахнулся шубой, так что нос едва торчал, и перебил:

— А Гончаренко?

— Э! Я об них и думать забыл.

— А вот я так думаю к ним опять съездить; жалко, полгода пропустил! — заметил Тентерь-Отребинский.

— Что же? лошадей покупать?

— Да... лошадей!

И, немного помолчавши, Тентерь прибавил:

— Как-то, право, скучно наконец становится дома одному, без особенных занятий и страсти. Повар поваром; помните, я вам говорил, что француза хочу иметь. Только хорошо бы к этому и увлечение какое-нибудь, хоть бы, например, страсть к охоте или лошадь! Мне кажется, если бы я женщину какую нашел, просто бы, кажется, в кабалу к ней пошел. Есть у меня чудак один сосед доктор и другой сосед, тоже приятель. Доктор живет сущим Франклином, все о человечестве и благе толкует и разводит у себя под хатой виноград на солнечной стороне. Этот говорит: коли у тебя будут дети, я их всех в холодной воде стану купать и спартанцев из них сделаю. А сосед винограда не садит и детей не предлагает купать в морозной воде; а советует, когда женюсь, майорат сделать. Сущие чудаки. Да нет, вряд ли мне избегнуть вековать холостяком. Как-то женщины мне кажутся такими странными существами, что, право, смешно даже подумать о волокитстве, а еще тем паче о так называемой страсти. Только, впрочем, эта Шурочка — исключение... Прелесть девочка!

Щебетковский слушал молча и думал:

«Хорошо бы его самого захватить в покупщики леса: он с капиталами, бестия, и, кажется, уж чересчур размечтался».

Через полтора года Щебетковский получил письмо от Тентерь-Отребинского: «Извещаю вас: я женюсь на Шурочке Гончаренко. Не последняя глупость. Впрочем, отец ее не пожалел приданого и дает за нею чистоганом четыреста тысяч!»

XI

Тень прадеда

«Не умела песья нога на блюде лежать, так ступай под стол».

Пословица

«Господа, не забывайте напрасно уроков истории, поучительных дел прошлого: и для них нужны силы и сердце. Наш век им не внемлет. Он вяло идет мимо. Горбатого излечит одна могила».

Лекция всякого русского публициста

Прошло еще пять лет, еще десять, и еще пять. Двадцать лет прошло. Ивану Ильичу Говорухе-Щебетковскому исполнилось сорок девять лет. Много утекло в реке Калиновке воды, и много совершилось событий с тех пор вокруг тихого хутора Ивана Ильича. Какие же перемены произошли в нем самом с тех пор? Большие перемены!

Чин статского советника, столько льстивший в молодости, остался, разумеется, тот же самый. Имение не уменьшилось и не увеличилось. Наружность была почти столько же привлекательна и даже моложава. Но изменилась, и значительно изменилась, внутренняя, душевная его сторона. Зарывшись в хозяйство, где, впрочем, он не рисковал, Иван Ильич вел знакомство с немногими. История с Гончаренками заставила его поудержаться в выездах на первые времена. А потом произошло дело, попадающееся на каждом шагу.

Иван Ильич обзавелся молоденькою ключницей. Через два года эта госпожа уступила место другой. За этою появились новые, и жизнь его потекла мирно, тихо, сухо, себялюбиво и совершенно однообразно. Один день напоминал сотню других. Не опомнился Иван Ильич, как бездна молодых и радужных надежд и увлечений оставили его душу. Будничный, серенький цвет лег на все его мечты почти мгно-

венно. Сытый обед, лежанье в халате за книгой, а потом и вовсе без книги; сборы по целым дням сделать какой-нибудь пустяк: написать письмо в город, приказать починить задвижку у двери, — все это скоро принесло ожидаемый плод. Иван Ильич, недавно еще мечтавший жениться не иначе как на миллионерке, мирился с радостью получить лишние сто рублей за арендуемый шинок на большой соседней дороге. Иван Ильич, гордо отзывавшийся о своей петербургской карьере по службе в одной из модно-властных министерских канцелярий, робел при мысли о дворянских выборах в уезде, жал руку становому и с благоговением смотрел на своего уездного предводителя, тысячедушного отставного гусарского буяна и картежника. Робость стала главною чертою во всем его характере. Несмелый и в хозяйстве, он был далеко оставлен на всех его путях своими соседями-помещиками из молодых, из которых в эти годы у одного явилась винокурня, у другого — сахарный завод, у третьего — новые машины, заменившие прежние сельскохозяйственные орудия. Не видя в сильной конкуренции с людьми капитальными способов самому пуститься в обороты, он от скуки вдался в старинный род хозяйства, делавший и доныне делающий из помещика старосту: начал безостановочно, с утра до вечера, стоять над душою работающего мужика, в то время, как вся работа в день, над которою он назябся и намучился от скуки, стоила иногда гривенник. Служба более не влекла. В карты он не играл. Жениться, или, лучше сказать, посвататься, — не решался. И стал он квадратом, в два обхвата толщиною. Сшил себе широкие штаны, широкий какой-то балахон. Стал пить, есть и спать. И не было в его истории ни одного эпизода, который бы мог напомнить скучающему ученику заманчивую картину вроде открытия Америки, появления Магомета или событий первой французской революции...

Нет, впрочем, было одно яркое событие, и его-то я намерен теперь передать читателю.

Проснулся однажды Иван Ильич и сам пришел в удивление, отчего он так рано проснулся. Дело в том, что его

пощекотала за пятки смазливая бабенка, Акулина XIV, как титуловали себя иные высокие особы в Европе, исправлявшая у него должность домоправительницы.

Утро едва занялось и смотрело, свежее и розовое, из фруктового садика в окна и стеклянные полураскрытые двери с балкона в гостиную.

— Вставайте, срамники, бессапожники, — произнесла веселая домоправительница, — вставайте, бесстыдники! Обоз вернулся с рыбою и с солью!

— Ну, дайте мне, душечка, карпетки и все другое; *оных* не нужно! Застегни вот тут пряжечку; теперь завяжи вот это, а теперь вот это, а теперь уже позови Прошку...

Пришел Прошка, новый слуга, из дворовых парней, в синей чунарке, какую носят сгонщики скота и мещане, весь в репейниках и клочках сена, обличителях его долгого странствия по степным пустырям. Иван Ильич ласково окинул его взором и, как бы любуясь верным слугою, продолжал молчать и улыбаться. Улыбнулся при этом и Прошка.

— Ну, Прохор Тимофеич! Расскажи же ты мне, как ты ездил, продал ли пшеницу, купил ли соли и рыбы, что такое видел и не нападали ли на вас разбойники.

Прошка крякнул.

— Ездил я, пане, хорошо, пшеницу продал; соли и рыбы купил, не видел ничего особого; разбойники тоже не нападали, и все как следует. А вот и остальные от пшеницы деньги.

Он подал пачку ассигнаций.

— Дать Прошке водки! — крикнул барин.

— Известно вашей милости, — заметил Прошка, — я непьющ!

— Да врешь ты, братец; не меня тебе уверять. Любишь ты кокнуть преизрядно, не уверяй!

Прошка точно любил выпить. И теперь даже левый глаз его был меньше правого и готовил прикрыться неугомонною векой, которая всегда, как штора на окне, опускалась сама собою, едва Прошка убивал муху.

Пока Прошку угощали и он клал за пазуху чунарки остальной кусок вкусной булки от хлеба, поданного для закусыванья рюмки водки, Иван Ильич бросил взгляд из окна залы во двор, где из-под рогож с возов выкладывали привезенную рыбу и соль, и увидел, что на одном возу поднялся в треугольной шляпе какой-то незнакомец, очевидно спавший до того на возу, и натягивал на себя темно-зеленый, с красными выпушками мундир и шпагу.

— Кто это такой? — спросил Иван Ильич у Прошки.

— А Бог его знает, кто такой! — ответил Прошка тихо и даже для большей таинственности переступил от порога к середине комнаты. — Попался на дороге, подошел; возьмите да возьмите, говорит, к своему пану. Мы и взяли. Всю дорогу песни пел, свистел на какой-то дудке да спал. Должно быть, заседатель, а может, и не заседатель, а что-нибудь другое!

Не успел этого кончить Прошка, в дверях показался незнакомец. Это был высокого, громадного роста юноша, румяный, с атлетическими членами, голубоокий и с русыми, кудрявыми волосами, которые львиною гривой окаймляли его голову и лезли на глаза. Он вошел, весело расшаркался и еще веселее и развязнее отрекомендовался. Оказалось, что он Феликс Францевич Подгурский, помещик из-под Умани, имеет дом в Бердичеве, едет к родным в Смоленск, но на дороге ограблен, потерял шкатулку с деньгами, подал об этом кому следует объявление и, пока найдется его достояние, просит покрова и гостеприимства Ивана Ильича, как помещика и дворянина, значит, товарища ему по сану и крови.

Иван Ильич, одичавший до невозможности в своем хуторе, принял было сперва эту речь сурово и даже невежливо негостеприимно. Он стал извиняться отрывочно и сухо в невыгодности помещения своего дома, обветшавшего и развалившегося до того, что сам он жил только в двух комнатах, в гостиной и в угольной. Взявшись за подбородок, не бритый уже две недели, он даже хотел сослаться и на него, что вот, дескать, какой у него небритый и непривлекательный под-

бородок. Словом, жутко и дико было ему на первых порах это посещение. Но посетитель не церемонился. Уселся на стуле, закинул ножку за ножку, шляпу взял под плечо, оправился, взглянул с улыбкой на хозяина, и эта улыбка уже не покидала его.

Иван Ильич еще раз потер подбородок, постоял, помолчал и — делать нечего — пошел в свою спальню. Там он скинул балахон, в который одела его Акулина, облачился в какую-то верблюжью куртку и снова явился к гостю.

Чай подали в розовых чашечках, на зеленых блюдах, так походивших на освещавшее их утро, тонувшее в зелени душистого сада. Хозяин и гость разговорились.

— Приятные места, приятные у вас места! — говорил гость.

— Да, Феликс Францевич! Не могу пожаловаться на судьбу! Вот я и в Петербурге служил, и министру был известен, и о громкой карьере мечтал, а как попал сюда, как вкусил благ тихой природы и свободной лени, — то все забыл и считаю... считаю себя... счас... спокойнейшим в мире человеком!

— Так-с, совершенно так; и нельзя не считать. Вы как бы анахорет или пустынник! Вот и я, какой силы и геркулесовского объема человек; а выше тихого приюта дружбы и меланхолии ничего не люблю!

— Так и вы любите меланхолию.

— И я...

— Оставайтесь же со мною подольше разделить это счастие, — сказал Иван Ильич, блеснувши жирными, посеревшими от лени и скуки глазами и ухвативши гостя за руку, — оставайтесь у меня! заживем! Знаете, покой, тишина, сады, женщины!.. Я вас познакомлю с одною прелестною соседкою — из простых! Я эту масть предпочитаю другим. А вы? А?

Феликс Францыч Подгурский на это осклабился по уши и только замотал головою. Грива его как-то задвигалась при

этом и будто ощетинилась сама собою, а затылок и толстые пальцы пухлых рук налились кровью.

— Феликс Францыч, у меня к вам просьба!

— Что такое?

— Скиньте ваш мундир и наденьте мой халат или просторный сюртук!

— С удовольствием.

— Откуда у вас этот мундир? Где вы служите?

— По комиссариату служил и теперь с мундиром в отставке.

Мундир снят в особо очищенной комнате, одной из давно забитых наглухо в верхнем этаже, и Подгурский явился в какой-то просторной полосатой куртке. Веселая домоправительница Акулина XIV, проводившая гостя наверх, укрывшись в коридоре под развешенною перепелиною сетью, подглядела, как он переодевался, и, быстро войдя в кухню, объявила во всеуслышание: «Ну, сударики-молодчики мои! Поселилась у нас фря!» И когда вслед затем ее стали допрашивать — какая же фря? — она залилась истерическим хохотом, упала на лавку и рассказала, как гость снимал мундир и как у него под мундиром не оказалось, кроме флейты в сапоге, ничего более, ни жилета, ни белья. Флейта была любимою забавою Феликса Францыча.

Итак, Подгурский поселился у Говорухи-Щебетковского.

Первое время Иван Ильич очень деликатничал с своим гостем: Феликс Францыч, да Феликс Францыч! Сам ему даже перины ощупывал перед ночлегом, спрашивал, что он любит кушать, и угощал его разными невинными деревенскими удовольствиями: ходил с ним по саду, по выгону, а там и на хуторянские вечерницы, где, мощный Ловлас, сам он вкушал от всяких запрещенных и незапрещенных плодов. Потом они свыклись, ездили несколько раз в церковь, обедали у попа, бывали раза два по делам хозяйства в городе и наконец уже не разлучались. По целым дням сидели они на крыльце, молча или беседуя друг с другом. После веселого разговора, то один вздохнет, то другой. «О, Клеменция,

Клеменция! — взывал иногда при этом Подгурский. — Славная была женщина!» Щебетковский женщин не вспоминал и не жалел; но не раз заводил речь о каком-то старике — Субботе Иваныче, истинном своем друге, смятом бурями судьбы, — и не кончал разговора. И странное дело! Судьбе, наконец, угодно было в лице Щебетковского сыграть роль этого самого Субботы Иваныча...

Как некогда, двадцать лет назад, щегольский Иван Ильич сидел с смиренным Вахненкою, и последнему пришло на мысль женить своего соседа, так и теперь самому Ивану Ильичу, уже маститому, квадратному со всех сторон, помещику и холостяку, пришло в голову женить Подгурского. И все то, что некогда он сам питал в душе, обращалось им теперь к судьбе гостя. Он хотел жениться на богатой, и того давай, дескать, женю на зажиточной. Как знаток по призванию и ремеслу, он повел это дело еще осмотрительнее, чем сам. Но это впереди. Мы еще на рассказе в июне, а дело было в августе.

Как сказано, Иван Ильич ни с того ни с сего чисто полюбил своего гостя. Раз как-то спросил: «А что же ваше дело о пропавшей шкатулке?» — и когда получил в ответ: «А Бог знает! подождем!» — более уже не спрашивал. Пущены были в ход все деревенские увеселения. Иногда даже хозяин и гость, запершись, бражничали. Иван Ильич был на волос от запоя в одиночку. Бывали вечера, когда и тень грусти осеняла их своим покровом. Нахохлившись, как воробьи перед дождем, просиживали они тогда целые часы, не говоря ни слова друг с другом. Было ли это от несварения желудка или так от чего-нибудь, только в это время Феликс Францыч прибегал к своей флейте, вынимал ее и играл на ней до поту лица. Эта игра производила на Ивана Ильича горькое впечатление. Иногда он даже при этом плакал. Желая развеселить хозяина, Подгурский подсаживался ближе.

— Это кто у вас написан на портрете? — спрашивал иной раз в такую минуту Феликс Францыч, указывая на изображение во весь рост, над диваном, молодцеватого муж-

чины на коне, в красном долгополом кунтуше, в усах и при сабле.

— Это мой предок один написан, прадед! — отвечал задумчиво Иван Ильич. — Говорят, он иногда ходит здесь по саду и по дому; тень его ходит! Впрочем, я не боюсь!

И, печально вздохнувши, как бы сравнивая свою неказистую фигуру, гороховый балахон и кудрявый хохолок, с значительною уже проседью, с красивым кунтушем, черными бровями и с залихватскими усами прадеда, Щебетковский прибавлял:

— Великой силы и сана был человек! Гетманом был и целым краем правил. Наш род им и славится. Вон и булава его, и бердыш висят на стене. Неописанной знатности был человек, и еще, куда бы ни шел, в гости или даже так куда-нибудь, везде перед ним играли трубачи, — иначе и не ходил. И кого бы ни поискать по соседству, ни у кого нет такого знаменитого рода!

На эти геральдические сказания гость обыкновенно отмалчивался, зевал в руку, глядя в землю, незаметно вставал, как будто за чем-нибудь важным, шел к домоправительнице в чулан или в кладовую и говорил: «Там, Акулина Парфентьевна, Иван Ильич опять все такое говорит! Вы, душенька, дайте мне груш или меду, что привезли с пасеки! Хочется, душенька!» Домоправительница на это, несмотря на то, что была уже очевидно не прочь побаловать гостя своего барина, сердито фыркала, однако же давала желаемого, прибавляя: «У! Сахар Медовичи! все бы им лакомиться! Нате, да только чтоб Иван Ильич не узнали!»

Подгурский садился в угол и, мурлыкая, как кот, ел втихомолку груши и мед...

В таких-то событиях пришел роковой август.

Иван Ильич однажды ходил-ходил по комнате, потирал руки и лоб, судил, усмехался про себя, бормотал что-то вслух, наконец остановился посреди комнаты, расставил врозь руки, склонил голову, расхохотался почти во все горло и сел писать. Через час было послано письмо к помещице,

знакомой уж нам пани, Прасковье Кондратьевне Дженджерихе, такого содержания:

«Милостивая государыня и, к сожалению, не маменька, Прасковья Кондратьевна! Везу к вам отличного жениха. Согласны?»

И получил на это ответ:

«Государь мой, Иван Ильич, и, к сожалению, не сын мой, ваше высокородие! Вы имеете на примете жениха, а мне сына. Везите. Отчего же: я не прочь и посмотрю. Может, мы и сойдемся, и вы станете сватом, коли не стали сами когда-то сыном. А впрочем, остаюсь, ко услугам, доброжелателька ваша Прасковия Кондратьева дочь Дженджерь».

У пани Дженджерихи в это время уже не было ни одной незамужней дочки. К чему же суровой пани были нужны женихи? Ответ простой. В это время у старшей дочери ее, вышедшей замуж двадцать лет назад, родились две дочки, Маврикия и Капитолина, бывшие теперь уже невестами. Бабушка обеих их приняла на воспитание, а значит — и обязалась выдать их замуж. Это были, несмотря на годы, две дебелые, грузные девы и назывались, вместо Маврикии в Капитолины, одна Маночкою а другая Цапочкою.

Эти барышни не имели решительно никакого понятия о труде и весь день, с утра до ночи, сидели, сложа руки и только помышляя, как бы получше принарядиться. Бабушка была к ним очень слаба и поминутно думала, как бы скорее выдать их замуж. Еще на десятом году старшей, а младшей на девятом стала она делать приданое. Теперь же особенно она торопилась. Ее сильно пугало соседство Головковского уезда, где тогда был рассадник лучших невест. В одном месте, на пространстве двадцати верст, их насчитывалось тогда около двадцати семи, как иногда весною, под ветхим дуплом липы, встречается целая семья груздей и сыроежек. Разумеется, были между этими невестами и застарелые березовики, и скромные дождянки, и даже мухоморы. Но вообще их поколение славилось и только ждало избранника,

который бы явился, мелькнул и погубил их целую кучу. Избранник пока не являлся, и Прасковья Кондратьевна стала ежегодно задавать пир в день рождения своего, в конце августа, чтобы заранее завербовать внимание света на Маночку и Цапочку. В этот день в мирный домик пани Дженджерихи начал съезжаться целый уезд. Так случилось и теперь, когда Иван Ильич в такой праздник решился ей представить своего гостя...

С самого утра штат хуторянской кухни был усилен соседним полковницким поваром, из литовских губерний, Казимиржем Праскундзицким, который, явясь сюда, счел долгом прежде всего напиться пьяным до омертвения, почему и отнесен был в погреб проспаться, и приглашенною же на время женою его, экономкой полковника, Кастульей Кантидьевной. Кастулья Кантидьевна была шляхетского достоинства до выхода в замужество за полковницкого повара, носила постоянно на голове желтый шелковый платок и, являясь на хуторянские съезды с предложением услуг экономки, нализывалась еще прежде супруга и начинала, с пылающими щеками, уверять во всеуслышание, что печение блинов, приготовление водок и закусок, а равно и весь остальной парад, это уже, извините, это уже ее дело и никто до него не коснется. На этот раз собственная ключница пани Дженджерихи, должно быть, угощая повара и его супругу, сама хватила через край и с утра уселась на девичьем крыльце с ключами, тоже в нарядном платке и без ног, сложа руки и поминутно улыбаясь всем мимо идущим...

Наконец, стали являться и гости. Коляска Говорухи-Щебетковского подкатила из последних. Иван Ильич, собственноручно обривший поутру своего сожителя и напомадивший его жасминною помадой, вошел светлее майского утра. Сожитель выпрыгнул за ним тоже в духе, принаряженный в летнюю пикейную пару с плеча гостеприимного хозяина.

— Да, — сказал, входя в переднюю, Иван Ильич, — я вас, Феликс Францыч, и не спросил — говорите вы по-французски?

— О, ке ле мон шер, дас гейст, ми не ки не иси! — ответил без запинки атлетический Подгурский, тряхнувши белокурыми кудрями и усмехнувшись во весь объем румяных и круглых щек. — Разумеется, говорю!

Иван Ильич так и помертвел. Нерешительно ступил он за порог, неловко вошел в гостиную, все обдумывая дикую речь, отпущенную приятелем, и, войдя в круг дам, где ласково приняла его все та же величественная и бойкая, хотя уже совсем седая пани Дженджериха, сказал, махнувши рукой:

— Феликс Францыч Подгурский, помещик из-под Умани, имеет дом в Бердичеве; ехал в Смоленск к родным, но ограблен на дороге и пока гостит у меня...

— Очень рада, очень, Хвеликс Хранцович! — заговорила величественная хозяйка. — А на вас, Иван Ильич, я даже сердита. Отчего вы нас забыли и так редко бываете?

— Что делать? Занялся по имению, Прасковья Кондратьевна!

— Ну, милости же просим!

Гости окружили Говоруху-Щебетковского. Подгурский покрутил усы, глянул козырем вправо, глянул влево и пошел знакомиться с кавалерами и с дамами.

Пока готовился стол к обеду, Подгурский был в этом доме уже свой. Дамы и девицы сразу решили, что он душка и похож на Геркулеса. Вслед за тем как-то найдено, что имя Феликс — значит счастливец, и приятель Ивана Ильича мгновенно стал львом собрания...

Повертываясь на каблуках, Подгурский юлил волчком. Талия его была перетянута куколкой. Словом, он был вполне амурчик. За обедом и после обеда некоторые дамы поспешили тотчас приобрести его в свое расположение, и он, побрякивая цепочкой, занятой у Ивана Ильича, подсаживался то к одной, то к другой. Посчастливилось ему у многих. Во-первых, у одной маменьки, у которой было три дочки, так себе, фидонки, слывшие у местных женихов за особ в черном теле, хотя они и приехали на праздник Прасковьи

Кондратьевны в нарядных кисейных платьицах, в шнуровках и газовых галстучках, причесанные болонками. Во-вторых, Подгурскому повезло счастье у другой маменьки, имевшей всего одну дочь, которая была зато разбитная, смуглая дева, гусар-барышня, с усами в полвершка и с глазами, из которых так и глядело по купидону. Наконец, посчастливилось ему и у третьей маменьки, у одной несчастной и горемычной винокурши, подарившей мужа, в продолжение девяти лет женитьбы, тремя двойнями детей женского пола, и, как нарочно, похожих как две капли воды на печальную маменьку, о которой муж со злобой говорил: «Да-с, жена моя еще так себе, Бог с ней, ничего; да лицо-то у нее, батюшка мой, мордец, вот что!» Но больше всех, разумеется, ухаживала за Подгурским сама величественная Прасковья Кондратьевна. Феликс Францыч развернулся, стал отпускать комплименты и просто всех очаровал.

Все пошли за стол. Обед шел, как везде, сперва тихо, потом шумно, наконец, уже никто никого не слушал, все говорили разом и шумели изо всех сил посудой. Под конец стола экономка Кастулья Кантидьевна, с бантом чепца уже на затылке, внесла дымящуюся чашу варенухи, и тут уже дамы оставили стол, а мужчины принялись пить на всей воле. Кастулья Кантидьевна при этом тоже развернулась и стала рассказывать такие вещи, что пирующие сначала фыркали и хохотали до упаду, а потом должны были просто вывести ее под руки. Немного погодя после обеда загремел из сада хор трубачей, и начались танцы. Тут общая веселость превзошла все меры. Мужчины выходили из сил, танцуя до упаду. И несмотря на то, что у иного плешь светилась, как вычищенный медный таз, а за животом не видно было ног, он носился и юлил легче ветру. Другой был, кажется, не толще чубука и с жиденьким хохолком походил на воробья, а тоже прыгал и носился по комнате фертом. Наконец, третий, который еще вчера ходил падишахом у себя по загонам и огородам, обращая к рабочим лицо, полное торжественности, теперь вертелся, как беше-

ный дервиш. Просто чудеса! Но всех превзошел Подгурский.

После какого-то танца, несмотря на то, что в нем путал страшно все па и не имел решительно никакого понятия о кадансе, он привел всех в неописанный восторг своею любезностью и нашептывая разные милые вещи. Три разбитных девицы из застарелых романтических душ, три соседки, жившие в большой дружбе, взяли его под руки, увели в дальнюю диванную и там на потребованной бумаге, общим приговором, написали ему нежный аттестат сердца, бывший в моде некогда у их бабушек. В аттестате они шаловливо изобразили достоинства амурчика Подгурского, сказали, что он кавалер, достойный общего участия, и подписались вымышленными именами: *Сирень, Привязанность и Вздох.*

Подали десерт. В зале между тем опять зашумели. Феликс Францыч принес свою флейту и стал играть. Тут уже внучки хозяйки, бывшие до той минуты совершенно в тени, не вытерпели и высказались также решительно в его пользу. Но что девицы? Их всегда легко совратить с пути истины и завладеть их неопытным сердцем. Даже мужчины и те ахали от удовольствия при звуках флейты Подгурского. Так, один подслеповатый и расслабленный князь, загулявший чересчур над варенухою, до того при этом растрогался, что, когда замолкли одобрения, увел Подгурского к окну, долго не мог сказать ему ни слова, снял очки, протер их, надел и, наконец, пожавши руки Подгурского, сказал ему: «Душечка, будем говорить друг другу ты!» Феликс Францыч отступил.

— Помилуйте, ваше сиятельство, за что же? Я недостоин; хотя мой слабый талант...

— Ну, так поедем к нашему предводителю! Я с ним знаком: он за вас отдаст дочку!

— Нет, я к предводителю не поеду-с... Есть причина! Благодарю...

— Так уже, душечка, вот что, — подхватил опьяневший князь, — поедем, шерчик, к одним барышням в город! Они споют нам «Катьку»...

Подгурский над городскими барышнями было призадумался. Князь до того расфамильярничался, что стал тыкать ему в живот пальцем. Все кругом тоже шумело. Барышни трещали, как сороки. А на стуле среди двух ненаглядных внучек, Маночки и Цапочки, величественно восседала пани Джендјериха, отирая пот с лица и грустно поглядывая на них, как бы обдумывая, что вот скоро придется проститься с одною из них. Вечер близился, и солнце ярко освещало низенькие комнаты счастливого хуторянского домика. Карьера Феликса Францыча Подгурского, помещика из-под Умани и друга Ивана Ильича Говорухи-Щебетковского, готова была составиться...

Вдруг на улице деревушки раздался колокольчик, и к крыльцу кто-то подкатил на обывательских. Грянули и затихли бубенчики. В лакейской забегали слуги. Дверь в зал растворилась, и вошел всем известный знакомый исправник.

— А! Богдан Богданыч! Богдан Богданыч! Какими судьбами? Вот разодолжили!

Богдан Богданыч, сам хуторянин и потому избранный помещиками в исправники, имел рот, устроенный так, что подбородка и нижней губы как будто и не бывало и будто он каждую минуту собирался свистнуть в ключ, какое сравнение даже поддерживалось самим выговором его, в виде птичьего присвистыванья. Обмахнувшись платком, исправник мелким шагом, как говорится, дребеденью, обкатил весь зал, подошел к ручке каждой дамы, а с хозяйкой поцеловался, кроме того, еще накрест три раза.

— Водочки Богдану Богданычу, водочки! — крикнула хозяйка.

Исправник, выпивши водки, сел перед полукружием гостей, устремившихся к нему с добродушными улыбками и взорами, сам улыбнулся, надел очки, достал из бокового кармана бумагу, развернул ее, щелкнул указательным пальцем и сказал, причем, разумеется, рот его как бы свистнул в ключ: «А я-с, господа-с, к вам-с с новостью-ссс!» Кружок сдвинулся теснее, и он начал читать бумагу вслух: «Сим

имею честь известить наискорейше такого-то предводителя уезда, с просьбою передать секретно таковое же сообщение исправнику оного же уезда, что в таком-то хуторе Калиновый Ключ, принадлежащем помещику Говорухе-Щебетковскому, проживает один предосудительный человек. Особого преступления он не сделал, а выдает себя также за помещика и порядочного человека, в то время, как он... (гм!) ничто иное, как вольноотпущенный человек генерала Стерлитамацкого, разгуливающий в похищенном виц-мундире одного из комиссариатских чиновников. Почему — захватить его и немедленно препроводить ко мне для дальнейших распоряжений. Имя его Феликс Подгурский. Такой-то губернатор, действительный статский советник Махрабатов».

Исправник сложил вчетверо бумагу, всунул ее в карман, снял очки, окинул взором собрание и прибавил: «А сей предосудительный человек, господа, никто иной, как вот кто!»

И, привставши, он торжественно указал на спутника Ивана Ильича. Дамы разахались, мужчины разом заговорили, а бедный Феликс Подгурский как был, так и окаменел.

Зашумели стулья, задвигались ноги и руки, расходились языки. Исправник сказал: «Ну, брат Феликс, поедем, нечего делать; да бери уже кстати и свою флейту, — по дороге сыграешь что-нибудь с горя!» И, уводя Феликса, он стал прощаться со всеми наскоро, говоря, что к вечеру спешит еще представить арестанта в город к предводителю.

— Ишь, какой вы, Богдан Богданыч, — говорили ему на это некоторые из гостей, — всегда вы так! Водки небось выпьете, а там и отколете такую штуку!

— Э! господа-господа! Да в том-то и дело! Я люблю, чтоб все по душе было сделано и дворянству обиды бы не причинило! А тут, господа, кому какая обида? Разве то, что не отличили лакея от помещика? Ну, да теперь по костюму как раз собьешься. Все прилично одеты! Прощайте!

И он уехал, усадивши между двух понятых оробевшего Феликса.

Едва замолк исправницкий колокольчик, едва гости стали приходить в себя от ошеломившего их события и дамы стали собираться уезжать, а Иван Ильич Говоруха-Щебетковский, на которого было не обратили особого внимания, стоял с поникнувшею головой, как вдруг, в виду всех гостей, из залы появилась величественная фигура пани Дженджерихи. Она шла, колыхаясь и тряся седою головой, в гигантском чепце, шла грознее зимних ветров и осенней непогоды, с длинною палкою от комнатной щетки в руках.

— Пошел вон, дурак! — сказала она гневно, глядя прямо в глаза Ивану Ильичу. — Пошел вон, свинья, и не показывайся больше на мои глаза никогда, отныне и вовеки!

Иван Ильич было улыбнулся, даже робко глянул в сторону, как бы отыскивая, к кому это так крупно обратилась гневная пани. Но у Прасковьи Кондратьевны уже лицо сводилось конвульсиями, и на побелевших губах выступила пена.

— Что смотришь? Тебе-то, тебе и говорю! — крикнула она, уже не будучи в силах удержать своего порыва. — Ты двадцать лет назад насмеялся над моими дочками, а теперь внучек моих приехал позорить! Так не бывать же тому, сякой-такой сын! Хлопцы, а нуте его в три шеи! — И сама нанесла палкою первый удар по его благородной спине. Холопы докончили грустную сцену. Прошка хотел защищать барина, но улепетнул при первом звуке ее голоса. Обществу же помещиков и без него было много дела: четыре дамы и пять девиц упали при этом в обморок и требовали их помощи...

Трепещущий, бледный, как стена, и в изорванном сюртуке выскочил Иван Ильич на крыльцо, а оттуда за ворота, где уже ждал его экипаж. Иные говорят, что через двор еще, по приказу хозяйки, гнала его мокрою тряпкой судомойка, а в околице поручено его было вслух бранить трем зубастым бабам из штата заднего двора Прасковьи Кондратьевны.

Как бы то ни было, велика была со стороны Ивана Ильича обида, нанесенная мирной сходке помещиков. Но и возмездие переходило все границы.

Обезумевший от оскорбления, он приехал домой и на первых порах, как баба, расплакался.

— Как! — говорил он, судорожно всхлипывая и расхаживая у себя по гостиной. — Побить помещика и дворянина, да еще такого знатного рода! Да я статский советник; а ведь это выше полковника! Постой же, постой же, подлая баба, я тебя упеку! Да и их всех; всех под суд, всех! О! Я им задам!..

И, утирая слезы негодования, он часа два ходил взад и вперед мимо портрета молодцеватого своего прадеда, не зная, что предпринять. Хотел он скакать прямо к губернатору, потом к губернскому предводителю. Хотел и короче покончить дело: убить из пистолета Прасковью Кондратьевну или, зазвавши ее под видом перемирия к себе, высечь ее на конюшне. Мелькнула у него даже мысль пригласить ее со всеми гостями и даже с исправником к себе на обед и всех отравить.

К ночи он успокоился. Усталый, сел он в кресло, пока постлали ему постель на диване под портретом прадеда. Он лег, но долго еще двигался и решительно не мог заснуть. Шум речей и звон посуды, гуденье труб и танцы долго отдавались в его ушах. Наконец, еще поворочавшись, он зевнул, подумал: «А, черт их, однако, побери! Только я омою кровью это глубокое оскорбление, оскорбление моей чести, чести гражданина, чести всего моего знатного рода!» — И стал забываться легкою дремотою...

Сад, над которым чернела маковка старой фамильной часовни гетмана Полуботка и его потомства, был весь освещен золотым сиянием месяца, и тихая, белая, дремотливая ночь глядела в окна и стеклянные полурастворенные двери с балкона в гостиную. Ни один звук не долетал ни с поля, ни из деревушки.

«Эка досада, однако, — подумал про себя Иван Ильич, — лень встать запереть двери; а то ведь говорят, что

прадед-то мой, гетман Щебетковский, коли он не весь сгнил, любит иногда прохаживаться по саду и даже по комнатам!»

И вдруг Щебетковскому показалось, что в глубине залитого белым, мерцающим сиянием сада мелькнуло над деревьями что-то прозрачное и высокое, как будто кто шел над землею. Дверь на балконе в то же время сама собою еще более растворилась, и на крыльце скрипнула половица. И в то же мгновение на пороге, во весь рост, показался в красном знакомом кунтуше, с саблею и в усах, страшилищный гигантский прадед.

— Здоров был, правнук! — сказал прадед, неслышно подходя к дивану, и Щебетковскому показалось, что под ослепительное и какое-то опьяняющее мерцанье ночи посетитель совершенно темными глазами, скрытыми под парой кустоватых бровей, рассматривал на стенах знакомое оружие, саблю и свой заветный бердыш.

Гетман поднял руку в шитом золотом рукаве, повернулся и указал ею в сад. А там, над вершинами деревьев, как будто взошла темная туча, показались другие головы и туловища: это остальные покойники тоже высунулись и смотрели, что скажет пан гетман.

— Видишь, — сказал прадед, — не я один, то все твои родичи! Все мы за тебя бились и головы несли на съеденье собакам да воронам! Один ты, один ты, поганый выродок, пакостишь весь наш род!

И суровая тень прадеда впотьмах на время поникла головою.

— Что ты делаешь, — сказал опять со стоном и грозно топнувши ногою прадед, — что ты делаешь, говори?! Ну, слушай же ты меня и не пророни ни единого слова! Не даром я потревожил свои старые кости... Так ли жили в старину, то ли делали дворянские потомки, рыцарские души?.. Нет! Мы били татар да ляхов, служили отчизне верою и правдой, а не валялись, как кабаны, в грязи! И не за то я пришел покарать тебя, что ты не носишь сабли, даже не гарцуешь на коне. Всякому своя доля, и не те у вас теперь

времена. Также и не за то, что тебя, моего потомка, поколотили, как последнего щенка, свои же братья, дворяне. Нет в тебе более дворянской крови, хоть и носишь ты чин статского советника... Когда-то держал меня за чуб своею царскою рукою Петр Первый, и в цепи меня заковал, и в темницу ко мне приходил. А я все ему говорил правду! Так и тебе теперь ее всю скажу дочиста! Нет в тебе более дворянской крови, нет ни капли! И не узнать в тебе более нашего потомка! Как же ты смеешь, как ты можешь гордиться и хвастать своими родичами и дедами, ты, что сам старой бабьей юбки не стоишь! Как ты жил и живешь? на что похожи твои дела? куда ты свои силы растратил? какую пользу принес людям? Мы завоевали тебе землю; а вспахал ли ты ее как следует? Мы срубили тебе хутор; а хорошо ли живут на этом хуторе твои мужики? Мы служили родине; а ты ее продал, продал, как изменник, дармоедству, своей утробе и лени! Свистун ты, брат Иван Ильич, свистун и свистуном останешься! всюду ты посовался, понюхал и ничего у тебя не вытанцовалось.

Красный великан кончил, повернулся и, колышась в своем долгополом кунтуше и звеня саблею, медленно двинулся и вышел в раскрытые прозрачные двери гостиной. Там в саду тень его мелькнула снова над мерцающими вершинами деревьев и слилась с сумерками дремотливой ночи.

Иван Ильич в ужасе раскрыл глаза. Ночь была тиха и точно прислушивалась, какую тревогу било сердце Щебетковского.

«Покаюсь, ей-Богу, покаюсь! — подумал про себя Иван Ильич, едва переведя дыхание. — С завтрашнего же дня покаюсь и начну новую жизнь!»

И, перевернувшись на другой бок на мягкой перине, он стал строить планы, что как переменится не только он, но и хутор; как его совсем не узнают и все будут хвалить! Стал он в мыслях сооружать мужикам новые хаты, разводить табуны, отдавать в наем соседям пустопорожние, праздные земли и дошел до того, что начал помышлять уже о службе

по выборам, о попечительстве над уездным училищем, о сельской больнице и, в виде памятника себе в потомстве, о вольной для всего хутора...

Утром он проснулся очень поздно и долго лежал в тупом, бессмысленном настроении духа, как после пьянства или долгой головной боли. Напрасно домоправительница, по обычаю, щекотала его за пятки и дергала его за одеяло, повторяя свои любимые поговорки: «У! бесстыдники, срамники! Вставайте; уже обедать скоро пора!» Суровый и без ответных шуток встал с постели Иван Ильич. Но его скоро развеселил вид полунагого ребенка, который был похож на него самого и, бежавши через двор, расквасил себе нос. Иван Ильич, как был в халате, вышел на крыльцо, подозвал его к себе, посадил на колени и долго, долго так сидел.

День прошел своим чередом. Барин обедал, барин отдыхал, барин чай кушал, ходил, ужинал и спать лег. Вслед за ним так же прошли и другие дни. Касательно же намерений страшной ночи кончилось тем, что, увидавши как-то мимоходом в гостиной портрет прадеда, Иван Ильич позвал домоправительницу, посоветовался с ней и принялся за дело. Он подставил к стене стол, на стол поместил стул, на стул табуретку, велел повернуть портрет лицом к стене, под предлогом бессонниц и дурных мыслей по ночам, и не остался внакладе. На задней стороне портрета был написан затейливым преемником старинного художника, вероятно в минуту отдохновения или по воле какого-нибудь причудливого потомка знатного прадеда, очень красивый белый пудель. Иван Ильич остался им очень доволен и больше уже не переворачивал портрета.

Зажил по-прежнему Иван Ильич Говоруха-Щебетковский, спокойно и привольно. Иногда только выпадали ему хлопоты либо крестить нового обитателя земного мира, рожденного в поварской, либо купить рубашонку и игрушек другим ребятишкам уже на подростке. Прежде прачки и экономки у него менялись часто. Но когда, года два спустя, хотел он сменить Акулину XIV, то эта особа нагнала на

него самого такой копоти, что он боялся, как бы не он ее, а она его самого не выпроводила из Калинового хутора.

Здоровьем он не иссякал. С летами только прибавлялось в нем тело. И никогда более он уже не вспоминал ни о проказах своей молодости, ни о событии у пани Дженджерихи. И только раз в приятельском кругу у исправника, все у того же неизменного Богдана Богданыча, где как-то зашел разговор о Петербурге, о Европе, о выборах и о прочем, он осенился внезапною, неисповедимою, раздирающею грустью и, когда замолк присяжный уездный остряк Петр Матвеич Тертерь-Отребинский, сын известного Матвея Леонтьевича и Шурочки Гончаренко, служивший в предводительской канцелярии и выносивший оттуда разные анекдоты, большею частию таинственного содержания, — Иван Ильич вдруг перебил общий разговор замечанием: «А вот я вам, господа, расскажу, какой скверный сон про моего прадеда я видел один раз!» И поведал неровным, робким голосом, как однажды посетила его беспокойная тень его прадеда.

1860 г.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аракчеевские поселения на Украине **9**, *670*
Бабушкин рай **4**, *351*
Бахчисарайская ночь **10**, *203*
Беглые в Новороссии **1**, *101*
Беглый Лаврушка в Париже **4**, *165*
Бесы **4**, *415*
Бес на вечерницах **6**, *385*
Божьи дети **9**, *178*
Брат и сестра **4**, *397*
Былое и новое **6**, *444*
Бюджет одного взяточника **9**, *699*
В Карасубазаре **10**, *211*
Вечер в Черешнях **6**, *454*
Вечер в тереме царя Алексея **9**, *39*
Воля (Беглые воротились) **2**, *5*
Восемьсот двадцать пятый год **7**, *263*
Воспоминания **7**, *365*
Гвая-Ллир, или Мехиканские ночи **10**, *267*
Гейневский Фауст **10**, *211*
Гроза **10**, *190*
Девочка **9**, *72*
Девятый вал **3**, *5*
Дедовы козы **4**, *405*
Дедов лес **4**, *323*
Дедушкин домик **8**, *570*
Дивногорск **9**, *661*
Доля **4**, *436*
Дорогие слезы **10**, *196*
Екатерина Великая на Днепре **9**, *7*
Ерунда по отделу весенних радостей **10**, *237*
Еще непроходимая ерундища **10**, *239*
Живая свирель **4**, *391*
Жизнь и смерть короля Ричарда III **9**, *413*
Жизнь через сто лет **9**, *127*
Завещание из Евпаторийских равнин **10**, *209*
Знакомство с Гоголем **7**, *367*
Ивашко **4**, *417*
Из Гейне **10**, *219*
Из Мицкевича **10**, *217*
Из путевых заметок **9**, *643*
Именины прабабушки **4**, *303*
Иосафатова долина **10**, *206*
Казнь стрельцов **10**, *200*
Каразин В.Н. **10**, *106*
Карикатура в России в старину **7**, *521*
Квитка-Основьяненко Г.Ф. **10**, *163*
Княжна Тараканова **6**, *133*
Коротышка **4**, *421*
Крымские стихотворения **10**, *203*
Крымский пленник **4**, *399*
Кума-лисица, пастух, рыболов и возница **4**, *384*
К *** **10**, *194*
К графине *** **10**, *201*
К графине *** **10**, *201*
К жене **10**, *194*
К N.N. **10**, *239*
Лесная хатка **4**, *427*
Мадонна **10**, *219*
Мертвая коса **10**, *212*
Мертвец-убийца **9**, *120*
Мирович **5**, *7*
Мисхор **10**, *205*
Младенцы-утопленники **4**, *408*
Московская чума 1770—1771 года **7**, *532*
Московский Дворянский институт **7**, *487*
Наши крылья **10**, *218*
На Индию при Петре I **6**, *5*
Не вытанцовалось **10**, *571*
Немецкие колонии близ Крыма **9**, *687*
«Ни пред одной красавицей колен...» **10**, *195*
Новые места **2**, *289*
Новый грек **10**, *210*
Озеро-слободка **4**, *394*

Ох **4**, *440*
Памяти В.А.Каратыгина **10**, *198*
Папоротник **4**, *438*
Пасечники **9**, *90*
Пельтетепинские панки **8**, *619*
Пенсильванцы и каролинцы **6**, *410*
Песня бандуриста **4**, *449*
Песня могильщика **10**, *226*
Пир Валтасара **10**, *216*
Пир у поэта Катулла **10**, *305*
Письма из-за границы **10**, *345*
Поутру **10**, *204*
Поездка в Ясную Поляну **7**, *415*
Послание из Узембаша **10**, *207*
После концерта Серве **10**, *199*
Потемкин на Дунае **6**, *263*
Прабабушка **4**, *260*
Привет родине **10**, *187*
Прогулка домового **9**, *169*
Проказы духов **9**, *152*
Путь к солнцу **4**, *444*
Разбойник Гаркуша **9**, *196*
Раскаяние разбойника **10**, *199*
Рашель **10**, *197*
Resignation **10**, *222*
Святочные вечера **9**, *117*
Святочный Декамерон
Село Сорокопановка **4**, *190*
Семейная старина **4**, *260*
Сковорода Г.С. **10**, *30*
Славянская весна **10**, *196*
Слеза **10**, *205*
Слободка **8**, *553*
Слобожане **8**, *517*
Смерть **4**, *429*
Смоляной бычок **4**, *411*
Снегурочка **4**, *402*
Сожженная Москва **7**, *5*
Сон в Ивановскую ночь **4**, *432*
«Средь моря жизненной пустыни...» **10**, *195*
Стансы к Сорокину **10**, *238*
Старосветский маляр **3**, *447*
Старые башмаки **9**, *174*
Степи Аккермана **10**, *204*
Степной городок **8**, *528*
Степь **10**, *192*
Стория о Господе и о Земле **7**, *406*
Стрелочник **3**, *485*
Счастливый мертвец **9**, *188*
Таинственная свеча **9**, *161*
Тайна Мохамеда, открытая другу Зопиру **10**, *215*
Татарская басня **10**, *208*
Тень прадеда **4**, *282*
Титания **10**, *233*
У колыбели **10**, *193*
Украинская старина **10**, *5*
Украинские сказки **4**, *381*
Уманская резня (Последние запорожцы) **4**, *59*
Фарис **10**, *227*
Феничка **4**, *381*
Харьковские народные школы **10**, *7*
Христос-сеятель **3**, *476*
Хуторок **10**, *188*
Хуторок в ногайской степи **10**, *214*
Хуторянка **8**, *585*
Хуторок близ Диканьки **9**, *643*
Царевич Алексей **4**, *7*
Царь Алексей с соколом (Первый выпуск сокола) **9**, *25*
Цимбелин **9**, *209*
Черный год **8**, *5*
Четыре времени года украинской охоты **1**, *445*
Чумаки **1**, *355*
Шамиль в Малороссии **9**, *710*
Шарик **9**, *55*
Щербина Н.Ф. (Из литературных воспоминаний) **7**, *436*
Элизиум **10**, *221*
Эпизод из поэмы Адвокатство женщины, Евгении Сарафановой **10**, *242*

СОДЕРЖАНИЕ

УКРАИНСКАЯ СТАРИНА

I. ХАРЬКОВСКИЕ НАРОДНЫЕ ШКОЛЫ 7
II. ГРИГОРИЙ САВВИЧ СКОВОРОДА 30
III. ВАСИЛИЙ НАЗАРЬЕВИЧ КАРАЗИН 106
IV. ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ КВИТКА-ОСНОВЬЯНЕНКО 163

СТИХОТВОРЕНИЯ

Привет родине 187
Хуторок 188
Гроза 190
Степь 192
У колыбели 193
К жене 194
К *** 194
«Ни пред одной красавицей колен...» 195
«Средь моря жизненной пустыни...» 195
Славянская весна 196
Дорогие слезы 196
Рашель 197
Памяти В. А. Картыгина 198
После концерта Серве 199
Раскаяние разбойника 199
Казнь стрельцов 200

К графине *** 201
К графине *** 202
КРЫМСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 203
Бахчисарайская ночь 203
Степи Аккермана 204
Поутру 204
Слеза 205
Мисхор 205
Иосафатова долина 206
Послание из Узембаша 207
Татарская басня 208
Завещание из Евпаторийских равнин 209
Новый грек 210
В Карасубазаре 211
Гейневский Фауст 211
Мертвая коса 212
Хуторок в ногайской степи 214
Тайна Мохамеда, открытая другу Зопиру 215
Пир Валтасара 216
Из Мицкевича 217
Наши крылья 218
Мадонна 219
Из Гейне 219
Элизиум 221
Resignation 222
Песня могильщика 226
Фарис 227
Титания 233
Ерунда по отделу весенних радостей 237
Стансы к Сорокину 238
Еще непроходимая ерундища 239
К N. N. 241
Эпизод из поэмы Адвокатство женщины, Евгении Сарафановой 242
Гвая-Ллир, или Мексиканские ночи 267
ПИР У ПОЭТА КАТУЛЛА 305

ПИСЬМА ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

I. От Петербурга до Берлина 347
II. От Берлина до Парижа 355
III. Париж 366
IV. Французские депутаты в Лувре 377
V. Старосветские помещики на юге Франции 386
VI. Дворянский замок Виллеруа близ Мо 401
VII. Французская деревенька близ Тулузы 417
VIII. От Парижа до Тосканы 438
IX. Венеция 450
X. Турин 471
XI. Рим 491
XII. Неаполь 507
XIII. Лондон 528
XIV. Дунайские княжества 543
XV. В Венгрии 552
XVI. Дрезден 558
XVII. Французские депутаты в Версале 564

НЕ ВЫТАНЦОВАЛОСЬ

Часть первая 573
Часть вторая 663
Алфавитный указатель 747

Григорий Петрович
ДАНИЛЕВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 10

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
И. Сайко

Технический редактор
Н. Привезенцева

Корректоры
В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 1.02.95.
Формат 70 X 108 1/32. Бумага офсетная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 32,9. Уч.-изд. л. 37,67. Тираж 15 000 экз.
Заказ 120

Издательский центр «ТЕРРА». 109280,
Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов в АООТ
«Ярославский полиграфкомбинат». 150049,
Ярославль, ул. Свободы, 97.


Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ